

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЭТНОГРАФИИ



ТОМЪ I

ОБЩІЙ ОВЗОРЪ ИЗУЧЕНИЙ НАРОДНОСТИ

и

ЭТНОГРАФІЯ ВЕЛИКОРУССКАЯ



А. Н. ПЫПИНА



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лин., № 7.

1890.

*«Создана на средства гранта
Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области
культуры и искусства»*



Въ настоящей книгѣ собраны многолѣтнія работы по исторії изученій русской народности, первоначально помѣщавшіяся въ „Вѣстникѣ Европы“ (1881—1888). Объединенные здѣсь въ одно цѣлое, ониѣ были вновь пересмотрѣны и въ различныхъ мѣстахъ болѣе или менѣе значительно дополнены.

Русская этнографія только въ послѣднія десятилѣтія, почти только съ сороковыхъ годовъ, получила характеръ настоящей научной дисциплины: до тѣхъ поръ мы можемъ слѣдить только ея зародыши, первыя попытки, которыя, однако, во-первыхъ сохранили иногда и донынѣ цѣнность научнаго материала и во-вторыхъ имѣютъ несомнѣнныи историческій интересъ какъ ступени общественнаго самосознанія, приводившаго постепенно къ болѣе и болѣе глубокому пониманію собственнаго народа и его жизни и наконецъ подготавлившаго саму возможность точной, правильно постановленной науки. Въ эту прежнюю пору еще не было этнографіи какъ науки, но было несомнѣнное, часто глубоко серьезное стремленіе къ изученію народности, отражавшееся и на другихъ отрасляхъ знанія, какъ исторія, и на развитіи литературы поэтической, имѣвшей для русскаго общества великую воспитательную силу. Исторія этихъ стремленій должна составить необходимое начало исторіи самой науки: въ этомъ смыслѣ исторія русской этнографіи должна быть начата съ первыхъ десятилѣтій XVIII вѣка, съ Петровской реформы и съ первыхъ изученій русской территории и населенія; здѣсь вообще впервые возникаетъ сознательная мысль объ изученіи народа и народности, развившаяся позднѣе въ общественную дѣятельность для народа и въ правильную науку.

Въ своемъ изложениі мы останавливаемся на главнѣйшихъ фактахъ этой исторіи, именно на основныхъ явленіяхъ самой науки и на сопредѣльныхъ явленіяхъ литературы, вліявшихъ на ея движеніе: болѣшія подробности, увеличивъ объемъ книги, сдѣлали бы ее менѣе доступной, — но мы желали бы распространенія историческихъ знаній о предметѣ, столь близкомъ интересамъ каждого просвѣщенного человѣка, въ возможно болѣшемъ кругу читателей, а не въ одномъ тѣсномъ кругу кабинетныхъ специалистовъ. Эти подробности необходимы, однако, для специалиста и для каждого приступающаго впервые къ изученію предмета, и онѣ собраны въ другомъ трудѣ, приготовляемомъ мною къ печати: это — систематическое обозрѣніе русской этнографической литературы, въ формѣ библіографического указателя. Это обозрѣніе, какъ я надѣюсь, доставить изслѣдователямъ небезполезный подборъ фактovъ и справокъ, какого не могла бы дать собственная исторія науки, а для приступающихъ къ изученію предмета послужить руководителемъ въ обширной массѣ разнороднаго матеріала, въ которомъ начинающій обыкновенно только съ трудомъ можетъ осмотрѣться, долго не имѣя возможности составить себѣ отчетливаго понятія о цѣломъ составѣ избранной имъ и полюбившейся науки.

Издание всѣхъ четырехъ томовъ настоящей книги я надѣюсь окончить въ теченіе года, и затѣмъ предполагаю приступить къ окончательной редакціи и изданію систематического обозрѣнія.

А. Пыпинъ.

Мартъ, 1890.

СОДЕРЖАНИЕ.

Предисловие.

Введение. Стр. 1—15.

Глава I.—Общий обзоръ изученій народности и результатъ ихъ въ современныхъ понятіяхъ. Стр. 17—50.

Стремленіе къ изученію народности, стр. 17.

Первые проблески критического отнапенія къ народной жизни: Котошихинъ, Крижаничъ, Посошковъ, стр. 19.

Значеніе Академіи наукъ, 19. Деятельность Гер. Фр. Миллера, 20.

Московскій университетъ, 21.

Татищевъ, 22.

Времена имп. Екатерины II, 23. Новиковъ и Радищевъ, 25.

«Исторія Государства Россійскаго», Карамзина, 27.

Разысканія археографической, 29.

Первые этнографическія работы: Снегиревъ, Сахаровъ, Терещенко; Цертелевъ, Срезневскій, Максимовичъ и пр., 30.

Изученіе славянства, 31.

Новая историческая школа, Соловьевъ и пр., 33.

Основаніе Географического Общества; Второе Отдѣленіе Академіи; новѣйшее развитіе филологии и этнографіи, 34.

Изученіе раскола, 36.

Результаты изученій — сближеніе общества съ интересами народа, 38.

Глава II.—Понятія о народности въ XVIII вѣкѣ. Стр. 51—77.

Поворотъ въ русской жизни послѣ реформы; два склада нравовъ и двѣ литературы, стр. 51.

Отношеніе нового образованія къ народности, 57.

Псевдо-классицизмъ, пренебрегающій народностью, 59.

Другое теченіе, исходящее изъ живого бытового преданія, стр. 60, поддержанного литературными вліяніями, 64.

Чулковъ, 65. Собраніе народной пѣсенной музыки, Прача, 70.

Народные оперы, 71.

Народные обычай, міѳологія: Поповъ, Чулковъ, Глинка, Кайсаровъ и пр. 72.

Записи п'єсенъ, 75.

Начало исторического знанія, 76.

Глава III.—XVIII вѣкъ. Научные изслѣдованія Россіи.

Стр. 78—112.

Забытая дѣятельность XVIII-го вѣка, стр. 78.

Труды Петра В., относящіеся къ введенію науки и къ научному изслѣдованію Россіи, 79.

Вліяніе западной науки; географическая изысканія; труды Мессершмидта, стр. 82, Штрапленберга, 84.

Расширение научного интереса къ Россіи въ Европѣ, 85.

Откуда набирались дѣятели русской науки? 87.

Поѣздки для обученія за границу, 88. Десницкій, 91.

Какъ прививалась наука? 92.

Дальнѣйшее расширение географического знанія: Кириловъ, Бюшингъ, Бакмайстеръ, Сергѣй Плещеевъ и пр., 95.

Географические словари: Полунинъ, Щекатовъ, 98.

Ученые экспедиціи XVIII-го вѣка и трудности ихъ исполненія, 99.

Камчатская экспедиція: Берингъ, Стеллеръ, 101.

Сибирская экспедиція Миллера и Гмелина старшаго, 103.

Гмелинъ младшій, Фалькъ, Георги, Гильденштедтъ, 105.

Палласъ, 106.

Кириловъ, Крашенниковъ, Лепехинъ, Озерецковскій, Иноходцовъ, Соколовъ, Зуевъ, Севергинъ, 108.

Глава IV.—XVIII вѣкъ. Наука и народность. Стр. 113—160.

Отношение науки къ жизни: рационалистическое и утилитарное; «Духовный Регламентъ»; Ломоносовъ, 113.

Обзоръ русскихъ ученыхъ путешествий. «Дневныя Записки» Лепехина, 119.

Озерецковскій, 124. Иноходцовъ, Севергинъ, 126.

Мѣстная описанія. Рычковъ, 127. Крестининъ, Ѳоминъ, 128. Рубанъ, 129.

Значеніе ученыхъ экспедицій и вліяніе науки на развитіе національного самосознанія, 131.

Исторіографія прошлаго вѣка, 134. Татищевъ, 135. Историческіе труды Миллера, 142. Болтинъ, 147.

Глава V.—XVIII вѣкъ. Наука и народность: языкъ народный и литературный. Стр. 161—202.

Переворотъ въ литературномъ языке со времени реформы, 161.

Ломоносовъ, 165; Гредьяковскій, 168.

Ученые общества для рѣшенія вопроса о языке; Россійское собраніе при Академіи наукъ; Переводческій департаментъ; Вольное Россійское собраніе, 172.

Протоіерей Петръ Алексѣевъ, 174.

- Российская академия, 177—192.
- Княгиня Дацкова, 178.
- Румовский, Лепехинъ, Озерецковский, и пр., 180; Болтынъ, 185.
- Отношениe къ народному языку; языкъ областной, 186.
- «Словарь всѣхъ извѣстныхъ языковъ», имп. Екатерины, 190.
- Начало исторіи литературы: Коль, 192; Дамаскинъ Рудневъ, 194; Базе, 196.
- Образовательные результаты реформы, 196.
- Глава VI.—Александровскія времена.** Стр. 203—232.
- Вопросъ о крѣпостномъ правѣ въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка; отрицаніе его у Радищева и консервативная идея Карамзина, 203.
- «Исторія Государства Россійскаго», 215.
- Романтизмъ; этнографические интересы въ поэзіи: Жуковский, 218.
- Научное движение; исторія и археологія; меценатство графа Румянцева, 222.
- Кирша Давиловъ и Калайдовичъ, 226.
- Славянскіе интересы, 230.
- Глава VII.—Н. И. Надеждинъ.** Стр. 233—275.
- Официальная народность, 233.
- Біографія Надеждина, 234.
- Литературные взгляды Надеждина: классицизмъ и романтизмъ, 237; исторія и романъ, 241; состояніе русской поэзіи, 247; европеизмъ и народность, 248; историческая судьба русской литературы, 250; ея общественное положеніе, 256; литературная обработка малороссійского нарѣчія, 260; литературная народность, 261.
- Прекращеніе журнала «Телескопъ», ссылка и новые труды Надеждина, 268.
- Дѣятельность въ Географическомъ Обществѣ, 266.
- Работы по расколу, 269.
- Ходъ развитія, 271.
- Глава VIII.—И. П. Сахаровъ.** Стр. 276—313.
- Біографія Сахарова, 276.
- Историческія мнѣнія Сахарова, въ его «Воспоминаніяхъ», 283.
- Понятія о народности, 288.
- «Сказанія русскаго народа», 292—311.
- «Миѳология», 293; чернокнижіе, 296.
- «Пѣсни русскаго народа», 300. Былины, 305. Сказки, 306.
- Характеръ этнографическихъ работъ Сахарова, 311.
- Глава IX.—Снегиревъ. Пасекъ. Даль.** Стр. 314—355.
- Официальная народность, 314.

Біографія Снегирева, 316.

Ученые работы: «Русские въ своихъ пословицахъ», 321. «Русские простонародные праздники и суевѣрные обряды», 323. Лубочные картинки, 325. Труды археологические, 326.

Вадимъ Пассекъ. Біографія, 329. «Путевые записки», 332. «Очерки Россіи», 339.

Даль. Біографія, 340.

Труды по этнографии, 343.

«Толковый Словарь», 345.

Пословицы, 341.

Цовѣрья, 354.

Глава X.—Археологическое народолюбіе.—Начало малорусской этнографіи.—Виѣшнее положеніе народныхъ изученій.
Стр. 356—389.

Журналъ «Маякъ» 1840—45 г., стр. 356.

Савельевъ-Ростиславичъ, 362.

Морошкинъ, 367.

Изученія малорусскія: кн. Цертелевъ, Максимовичъ, Срезневскій; отношеніе Бѣлинскаго къ малорусской литературѣ, 372.

Виѣшнее положеніе этнографіи: недостатокъ правильной школы съ одной стороны, и съ другой стѣсненія цензуры; взгляды гр. Уварова; положеніе Сахарова, Кирѣевскаго, Бодянскаго и пр., 376.

Глава XI.—Этнографические элементы въ литературѣ отъ Пушкина до 50-хъ годовъ. Стр. 390—424.

Вопросъ о національномъ значеніи Пушкина, 390.

Частное значеніе его произведеній для изученій народныхъ: труды историческіе, 399; отношеніе къ этнографіи, 402.

Теоретическія понятія того времени объ искомой народности: Илліевъ, Рѣчъ о народности, 410; Терещенко, 413.

Загоскинъ и Лажечниковъ, 414.

Даль, 416.

Лермонтовъ, Гоголь, 419.

Литература послѣ Гоголя; наступающій поворотъ въ изученіяхъ народности, 423.

В В Е Д Е Н И Е.

Имя народа теперь у всѣхъ на устахъ. Люди совершенно противоположныхъ воззрѣній говорятъ о немъ, ссылаются на него въ подтвержденіе своихъ идей, выставляютъ заботу о „народѣ“ основаниемъ своихъ общественно-политическихъ мнѣній и плановъ. Въ то же время литература наполняется массой равнообразныхъ изученій народного быта, научныхъ и беллетристическихъ.

Какъ ни отрадно, повидимому, это обращеніе къ народу, оно и прежде могло иной разъ возбуждать недоумѣнія, а въ посдѣднее время особенно наводить на печальные размышенія *). Подъ видомъ любви къ народу слишкомъ часто прячется полное безучастіе къ его самымъ основнымъ интересамъ; мнимыми заботами о его благосостояніи прикрывается пренебреженіе къ нему, или прямо крѣпостническія вожделѣнія къ его экономическому и общественному порабощенію; или, даже при искреннемъ желаніи народного блага, это благо понимается нерѣдко самимъ превратнымъ образомъ, что опять можетъ кончаться только вредомъ для народа. Тѣмъ не менѣе, при всей отвратительности лицемѣрного злоупотребленія именемъ народа, при множествѣ злоупотребленія невѣжественного, въ этомъ распространеніи интереса къ народу есть однако другая, глубоко-искренняя и серьезная сторона, которая даетъ свѣтлая надежды хотя на будущее. Несомнѣнно, въ этой лучшей сторонѣ сказывается, хотя бы въ начаткахъ, народно-общественное самосознаніе, предчувствуя великая историческая задача, предлежащая обществу—и безъ рѣшенія которой грозитъ бѣдствіе самому національному существу: сознается нравственный долгъ образованнаго меньшинства къ народной массѣ и отсюда необходимость серьезнаго изученія.

*) Писано въ 1881 г.

Историческая задача общества ясна: это — стремиться къ тому, чтобы народъ избавился, наконецъ, хотя отъ крупнѣйшихъ тягостей своего нынѣшняго существованія; получилъ возможность правильнаго развитія своихъ материальныхъ и нравственныхъ силъ и возможность выйти изъ умственного младенчества; сознать и осуществить свои общественные и политическіе идеалы.

Въ томъ смѣшніи и противорѣчіи понятій, о какомъ мы упоминали, фальшивое употребленіе имени народа не есть только результа́тъ политической злонамѣренности обскурантизма, но бываетъ и просто слѣдствіемъ недостаточнаго знанія. При множествѣ сдѣланыхъ изученій, онъ далеко не усвоены обществомъ настолько, чтобы повліять па ходячія представленія, и до сихъ поръ не только въ массѣ такъ-называемаго образованнаго общества, но и въ литературѣ держится много старыхъ понятій временъ крѣпостныхъ и полицейскихъ, много предразсудковъ, недодуманныхъ положеній, или вообще нежеланія, или неспособности къ критикѣ, и этимъ пользуются обскуранты для тенденціозныхъ цѣлей. Съ другой стороны незнаніе народной жизни, недостатокъ изученій по нѣкоторымъ сторонамъ народнаго быта, или слабое вниманіе къ тому, что уже нѣсколько изучено, составляютъ источникъ ошибокъ и въ средѣ людей добросовѣстныхъ. Послѣшний идеализмъ, идущій изъ естественнаго желанія создать полное теоретическое и поэтическое воззрѣніе, прибавляетъ свою долю ошибокъ.

Въ числѣ подобныхъ предразсудковъ и заблужденій въ послѣднее время съ особенною назойливостью повторяется, въ искаженномъ видѣ, старая славянофильская теорія о совершенной исключительности русской народности, о зловредности Петровской реформы, будто-бы оторвавшей нашу исторію отъ народа и ему измѣнившей. о происшедшей отсюда „измѣнѣ“ народу всей нашей послѣ-петровской образованности, и т. д. Крайности старой теоріи были давно указаны и она потеряла убѣдительность для тѣхъ, кто способенъ къ здравой исторической критикѣ. Но и до сихъ поръ эта точка зрѣнія находитъ себѣ приверженцевъ или подражателей заявленіями объ ея будто бы чисто „русскомъ“ направленіи, о представляемомъ ею „истинномъ“ патріотизмѣ, и спутываетъ понятія у многихъ, которые не умѣютъ отдать себѣ яснаго отчета въ ея смыслѣ.

Наши взгляды прямо противоположны этому ученію. Мы не думаемъ, чтобы съ Петровской реформой въ русской исторіи произошло перерывъ и измѣна, а напротивъ думаемъ, что въ ней совершилось прямое продолженіе и развитіе нашей исторіи; принятие европейской образованности было не ошибкой, а необходимостью. Отданіе образованнѣхъ классовъ отъ народа, которое дѣйствительно

было и есть, во-первыхъ, происходило не столько отъ образованія высшихъ классовъ, сколько отъ подавленія низшихъ крѣпостнымъ и канцелярскимъ угнетеніемъ: образованіе, конечно, проводило извѣстную черту между народными слоями, но такая черта вездѣ и всегда неизбѣжна между людьми сословіями, прошедшими школу и не имѣвшими ея; такой черты не можетъ не быть между людьми, которые отличаются всѣмъ складомъ теоретическихъ понятій; во-вторыхъ, это отдаленіе началось даже раньше Петровской реформы, именно, когда начали пробиваться первые признаки науки (европейской, потому что другой не было и пока еще нѣть).

Было много говорено о томъ, что при всѣхъ тягостяхъ, которыхъ стоила реформа, именно къ ней сводится все, что въ послѣдніе два вѣка было сдѣлано цѣнного для національного существованія и развитія: громадное расширение территории, пріобрѣтенной для разселенія и дѣятельности русскаго народа; распространеніе практическихъ знаній, которое помогало этой дѣятельности; политическое значеніе Россіи въ средѣ европейскаго и азіатскаго сосѣдства; развитіе науки и литературы и проч.; было замѣчено и то, что многое бѣдственное въ нашей жизни оставалось отъ неполноты реформы, отъ реакціоннаго застоя и невѣжества, питавшихся воспоминаніями „самобытной“ старины XVII вѣка. Но одно историческое явленіе, великой важности, мало обращало на себя вниманіе,—что *новѣйшия образованность* и была именно могущественнымъ побужденіемъ и средствомъ къ достижению того національного *самосознанія*, которое одно можетъ обѣщать полноту народнаго развитія—и представителями котораго покушаются теперь выставить себя тѣ самые, кто отрицается отъ Петровской реформы и клянетъ принесенную ею образованность.

Изученія *національныхъ*, именно изученія народа и народности, съ цѣлью научнымъ образомъ постичь характеръ и жизнь народа, какъ основу національности и государства, и указать истекающія изъ нихъ начала, особенности и современная потребности общественнаго развитія—стали предметомъ вниманія ученыхъ и политиковъ только въ новѣйшія времена европейской образованности; національно-политическая движенія съ конца прошлаго вѣка сдѣлали теперь эти изученія и предметомъ общаго интереса, и вопросомъ науки.

Исторія новѣйшихъ вѣковъ стала тѣснѣе и чаще сталкивать народы въ дружескихъ и враждебныхъ встрѣчахъ; политическая мысль государственныхъ практиковъ и теоретиковъ выходила за предѣлы своего народа, искала общихъ принциповъ и усматривала племенные особенности; въ исторической наукѣ мало-по-малу выростала потребность дать рациональное объясненіе разбросаннымъ фактамъ исторіи. Въ XVII-мъ вѣкѣ уже ставится вопросъ о философіи исторіи.

Восемнадцатый вѣкъ, при всемъ отвлеченному и космополитическому складѣ его общественныхъ теорій, встрѣтилъ въ исторіи вопросъ о „нравахъ“, т.-е. другими словами, о племенныхъ отличіяхъ, о народности. Полигисторы, которыхъ было такъ много въ XVIII столѣтіи, стали обращать вниманіе на бытовыя черты, на народную старину, и дали начало тому археологическому и этнографическому собираянію, которое слагается въ нашемъ вѣкѣ въ правильную науку. Вниманіе къ народнымъ массамъ выростало и изъ научнаго интереса, и изъ либерально-филантропическихъ теорій вѣка и предшествій романтизма, и изъ возникавшаго внутренняго политического броженія европейскаго запада. Усилившіеся протесты противъ старого феодализма, укрѣпивъ политическое сознаніе въ „третьемъ“ сословіи, пролагали путь и для „четвертаго“, для идеи цѣлаго народа, свободнаго и равноправнаго. Европейскія события нашего вѣка дали этому движению еще болѣе крѣпкое основаніе и расширили его идею до господствующаго принципа,—съ одной стороны національно-политического, съ другой демократическаго. Быстрое развитіе культуры и экономической дѣятельности, сильныя столкновенія политическія потребовали вездѣ напряженія національныхъ силъ, которое еще ускоряло ростъ общественного мнѣнія и стѣ нимъ демократическихъ стремленій: требовалось возвысить производительность народныхъ силъ и по необходимости расширить народныя свободы и просвѣщеніе. Косвенное, но несомнѣнное влияніе этого процесса оказалось у насъ въ освобожденіи крестьянъ. Параллельно съ движениемъ демократическимъ, шло движение національностей, которое обнаруживалось возбужденіемъ національныхъ стремленій даже у такихъ племенъ (какъ многія славянскія), которыя уже не считались живыми.

Это обращеніе къ идеѣ народа въ области политической и общественной сопровождалось въ литературѣ необычайнымъ оживленіемъ, цѣлымъ переворотомъ, который создалъ новыя направленія въ поэзіи и рядъ новыхъ специальныхъ отраслей въ наукѣ. Такъ называемый романтизмъ былъ, въ извѣстномъ смыслѣ, демократической реакцией противъ аристократического псевдо-классицизма и вель къ тому, чтобы дать въ литературѣ мѣсто почти нетерпимой дотолѣ народной жизни и народному творчеству. Романтическое движение, въ разныхъ оттенкахъ, охватило всю Европу. Литература измѣнялась въ содержаніи и въ формѣ; преобразовывался самый языкъ—въ богатыхъ, обработанныхъ литературахъ въ книгу проникали не только народный языкъ, но даже провинціальная нарѣчія. Въ сознаніе общества входили этимъ путемъ представленія, прежде незнакомыя литературѣ, элементы еще недавно презираемые; общество знакомилось съ народною жизнью лицомъ къ лицу, въ ея самыхъ

скрытыхъ слояхъ и закоулкахъ; поэзія находила здѣсь богатыя темы для мягкой, увлекающей идилліи и для потрясающей драмы и романа, питала общественное чувство благороднѣйшими внушеніями любви къ народу. Въ области науки интересъ къ народу произвелъ множество въ высокой степени любопытныхъ и поучительныхъ изысканій, которые давали новый видъ исторіи и вносили новое пониманіе народной жизни въ общественное сознаніе. Таковы были изученія въ области исторіи, филологіи, этнографіи, антропологіи, миѳологіи, языка,—какъ въ единичныхъ народностяхъ, такъ и сравнительно. Послѣдняя десятилѣтія нынѣшняго вѣка принесли богатый научный материалъ, съ которымъ впервые становится доступнымъ внутренній смыслъ народной исторіи. Работа теперь въ полномъ разгарѣ, и новѣйшая наука ставитъ уже вопросъ о „народной психологии“.

Таково было европейское движение, какъ видимъ, еще весьма недавнее.

Съ извѣстнымъ различіемъ въ частныхъ условіяхъ, параллельное движение къ освободительно-народнымъ идеямъ представляетъ и исторія нашей образованности со временемъ реформы. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ реформа открывала новыя средства для вѣнѣшняго государственного развитія силъ русского народа и, покинувъ старую национальную исключительность (въ чёмъ и видѣть мнимую „измѣну“ народу), расширила (хотя часто только съ своими тѣсно утилитарными цѣлями) притокъ образованія,—съ тѣхъ поръ въ средѣ *общественной* возникаетъ, въ дополненіе, а иногда и въ противоположность или исправленіе вѣнѣшне-государственныхъ мѣръ, и постоянно растетъ самостоятельное стремленіе къ внутреннему национальному сознанію, стремленіе усвоить и переработать новыя пріобрѣтенія науки къ пользамъ народной массы, къ ея возвышенію умственному, нравственному и общественному. Какъ только образованность начала устанавливаться, она старается освободиться отъ тѣсныхъ утилитарныхъ рамокъ, какія ей обыкновенно ставились, изъ книжной схоластики направляется къ жизни и къ народнымъ интересамъ. Литература XVII-го вѣка, построенная заново на иностранныхъ образцахъ, съ каждымъ шагомъ однако все болѣе и болѣе входитъ въ жизнь, становится выраженіемъ ея лучшихъ движеній, преобразовываетъ старый искусственный книжный языкъ вліяніями живой народной рѣчи и т. д.

Эта образованность прошлаго вѣка, которую съ такимъ легко-мысліемъ обвиняли въ отступничествѣ отъ народа, напротивъ, своими лучшими силами стремилась служить его просвѣщенію, материальному и нравственному освобожденію. Это была несомнѣнная истори-

ческая заслуга нашей образованности съ XVIII вѣка и донынѣ. Обвиненіе въ измѣнѣ, взводимое на нее, есть историческая клевета. И слѣдуетъ еще замѣтить, что эта задача, которую наша образованность прошлаго столѣтія ставила себѣ, была совершенно новая, гдѣ не было передъ ней старого опыта и руководства. Московская Русь не дѣлала этого дѣла. Иной разъ приходилось встрѣтить и самыя серьезныя препятствія этому дѣлу, когда сама правительственная власть обѣ этомъ думала мало или прямо этому противодѣйствовала. Образованность XVIII вѣка начинала совершенно новое дѣло, всего чаще предоставленная самой себѣ, подъ Дамокловымъ мечомъ произвола.

Насъ прервутъ иные негодующимъ замѣчаніемъ: какъ, древняя Русь не имѣла самосознанія, Русь, носившая въ себѣ ту глубину христіанской мысли, ради остатковъ которой только и существуетъ новая Россія; Русь, создавшая своей „національной“ политикой единство народа и сильное государство, самобытное и не слушавшееся Запада; Русь, не знавшая „средостѣній“; Русь, чувствовавшая себя какъ одинъ человѣкъ противъ всякаго недруга, политического и религіознаго, противъ католичества- и „культуры“ Запада (вѣроятно уже тогда начавшаго прогнивать)? и т. д.

Да, дѣйствительно, древняя Русь и старая московская Россія не имѣли того самосознанія, о которомъ мы говоримъ. Старая, до-Петровская Россія относительно Россіи новой представляетъ то же различіе, какъ Европа среднихъ вѣковъ относительно новой Европы. Средневѣковая Европа также имѣла свое самосознаніе, какъ и древняя Россія, но это было самосознаніе совсѣмъ иного рода—инстинктивное, не доконченное, какъ сознаніе ребенка или юноши сравнительно съ сознаніемъ человѣка зрѣлаго или приходящаго въ зрѣлость.

Начать съ того, что средневѣковая Европа, какъ и московская Русь, не были способны къ понятію народной *цѣльности*, вслѣдствіе феодальнаго, или подобнаго, порабощенія и безправности народныхъ массъ. Эти массы были рабочая сила, которая считалась только какъ сила материальная, но пренебрегалась въ общественномъ смыслѣ, точно низшая раса: о нравственномъ ихъ правѣ не могло быть рѣчи; они шли туда, куда ихъ вели, дѣлали то, что приказывалось. То, что можно было назвать національной идеей, могло относиться только къ классамъ привилегированнымъ. Въ средніе вѣка и въ Европѣ, и у насъ національность была гораздо меныше сознаніемъ, нежели чувствомъ и инстинктомъ. Въ цвѣтущія времена католицизма едва ли не выше всего стояло въ этомъ представлениі чувство религіознаго: западная Европа къ чужому ей міру относилась какъ „христіанство“

(chrétienté) къ не-христіанству, именно къ византійской „схизмѣ“ и къ азіатскому магометанству; ея короли были „христіаннѣйше“ и „апостолические“. Древняя Русь такимъ же образомъ всего рѣзче противополагала свое истинное православіе „поганой латыни“ и „не-вѣрному бусурманству“. Народность эмпірически опредѣлялась языкомъ; но близость или даже полное единство народностей по языку не связывала ихъ, не внушала имъ политического стремленія другъ къ другу, какъ части стремятся къ объединенію въ цѣлое,—выше этого чувства стояло не только религіозное соображеніе (руssкіе католики или уніаты считались какъ будто совсѣмъ не русскими,—даже и не въ средніе вѣка католики французы истребляли своихъ протестантовъ, какъ враговъ), но даже просто политическая граница (западный русскій, хотя и православный, былъ для москвича „Литвой“, а южные русскіе „черкасами“). Въ Руси до-татарской національное сознаніе цѣлаго въ этомъ отношеніи было, пожалуй, яснѣе, чѣмъ во времена московскаго царства.

Другая черта неполноты національного сознанія была въ томъ, что національность сознавала себя въ тѣхъ вѣкахъ лишь въ одиночествѣ, въ своихъ исключительныхъ предѣлахъ. Знали и противополагали себя только ближайшему сосѣдству — всего чаще враждебно, вслѣдствіе старыхъ и новыхъ военныхъ столкновеній, религіознаго различія; международное знакомство ограничивалось, кромѣ дипломатическихъ спошенній, вѣдомыхъ только власти, слабо развитыми торговыми связями, и при ограниченности или полномъ отсутствіи сношенній культурныхъ и образовательныхъ, народы мало знали другъ друга и не опредѣляли своей особности въ этомъ отношеніи, или опредѣляли ее только голымъ отрицаніемъ всего чужого... Для старой Россіи все западно-европейское было безразлично „нѣмецкимъ“ или „францкимъ“: этотъ послѣдній терминъ дожилъ отъ далекой древности до самаго конца XVII вѣка, не получивъ ближайшаго определенія! Изъ этого „нѣмецкаго“ и „францскаго“ извѣстны были лишь случайныя черты, и неизвѣстны — главнѣйшия; понятно, что старая національность не могла сознать себя относительно этого чуждаго міра, гдѣ однако совершались великия созданія мысли и художественного творчества,—которыя она должна была для своего собственнаго развитія (и послѣ чувствовала сама потребность) себѣ усвоивать...

Народное сознаніе или представленіе народа о своей жизни не оставались неизмѣнными или тождественными и относительно быта политического и общественнаго.

Обыкновенно говорится, что народъ самъ создаетъ формы своей государственности, и такимъ самымъ подлиннымъ и характеристиче-

скимъ созданиемъ русскаго народа считается въ славянофильской школѣ московское царство. Въ извѣстномъ смыслѣ эта теорія справедлива, но лишь въ цѣломъ и широкомъ, а не въ частномъ смыслѣ: англичанамъ отвѣчаетъ ихъ свободная конституція, туркамъ ихъ безобразная деспотія и т. п.; но, что, напр., соотвѣтствуетъ французамъ,—республиканское ли правленіе, которое они имѣютъ теперь; на-полеоновская ли имперія, орлеанская или бурбонская монархія и т. д.? Дѣло въ томъ, что у народовъ, мало или совсѣмъ не развивающихся, государственные формы могутъ оставаться неподвижны цѣлыми вѣками и поэтому считаться отвѣчающими народному характеру и потребностямъ,—такъ неподвижна турецкая деспотія; но формы европейскихъ государствъ не отличались вовсе этою неподвижностью, и сама англійская конституція, — очень прочная потому, что еще съ среднихъ вѣковъ обеспечивала удачно нѣкоторыя общественные свободы,—постоянно, однако, развивалась и донынѣ развивается по возрастающимъ требованіямъ времени. Европейскія общества пережили нѣсколько весьма несходныхъ государственныхъ состояній; въ данное время, каждую временную форму государства приверженцы ея считали, конечно, единственной соотвѣтствующей характеру страны и народа. Въ наше время мы видимъ, что формы самыя естественные, какихъ слѣдовало бы ждать по здравому смыслу, какъ объединеніе Италии, достигаются только теперь послѣ тысячетѣтней исторіи, — между тѣмъ тридцать лѣтъ назадъ, не далѣе, считались совершенно естественными безсмыленный деспотизмъ въ Неаполѣ, папа съ французскими войсками въ Римѣ, австрійцы въ Миланѣ и Венеціи, и т. д. Наша исторія знаетъ не одну форму государственного быта: быть федеративныхъ земель, вѣчевыя народоправства, великія княженія, московское единовластительство по образцамъ византійскому и ордынскому, одно время съ полу-независимой іерархіей, имперію съ бюрократическимъ управлениемъ и крѣпостнымъ народомъ, имперію съ поставленными задачами широкой общественной реформы... Это былъ историческій процессъ, гдѣ отдѣльный моментъ выражалъ только наиболѣе настоятельныя потребности данной эпохи или преобладаніе того или другого общественного слоя,—и могъ бы считаться выражениемъ цѣлой національной бытовой идеи лишь настолько, на сколько удовлетворялъ потребностямъ *цѣлаго* народа. Могла ли считаться такой окончательной формой та, которая правила восточнымъ деспотизмомъ и основала крѣпостное рабство народа? Очевидно, что московская форма государства и общественного быта была форма историческая и тѣмъ самымя времененная; *возвращеніе* къ ней можетъ быть мечтой или необузданного политического фанатизма, или простого невѣжества. Эта бытовая форма не можетъ слѣдовательно счи-

таться и самымъ подлиннымъ выражениемъ русскаго народнаго характера, русской національности. Притомъ бытова и политическая формы создаются не однимъ исконнымъ характеромъ и волей народа,—предполагая, что они остаются неизмѣнны,—но вмѣстѣ и принудительными внѣшними условіями, противъ которыхъ народъ иногда физически бессиленъ. Эти принудительныя условія являются не только отъ столкновеній съ другими племенами (какъ у насъ татарское иго и т. п.), но и въ самой внутренней жизни народа; известная дѣятельная доля племени, предпримчивые князья съ завоевательной дружиной бывали, конечно, порожденiemъ народа, и масса, принявшая созданный ими порядокъ, подтверждала этимъ, что въ данную минуту не могла бы создать лучшаго порядка; съ течениемъ времени, при этой невозможности, масса покорно привыкаетъ къ возникшей формѣ и, въ ограниченномъ горизонте своихъ понятій, смотрить на нее фаталистически; сама она и ея теоретики наконецъ принимаютъ ее какъ идеалъ. Но и это теоретическое представлениe не совсѣмъ вѣрно съ фактами: созданіе государствъ не обходится безъ насилия. Нѣкоторые изъ нашихъ историковъ похвалялись, что когда европейскія государства основывались завоеваніемъ, наше было основано призваніемъ; они забывали только, что преемники призваннаго на сѣверѣ Рюрика завоевывали (и даже „примучивали“) остальную русскую землю. Насиліе, вѣроятно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ было неизбѣжно, для того, чтобы, хотя противъ воли известныхъ частей племени, объединить его для внѣшней охраны цѣлаго; вѣроятно также, что въ другихъ случаяхъ насилие было произвольно, т.-е. не нужно; но въ концѣ концовъ оно всегда укрѣпляетъ особые эгоистическіе интересы, династій, привилегированныхъ классовъ. Тѣ же историки похвалялись, что у насъ не было западныхъ сословій; западныхъ феодаловъ дѣйствительно не было, но съ первыхъ шаговъ нашей исторіи было привилегированное боярство, служилый классъ, который сталъ наконецъ для народа такимъ же землевладѣльцемъ и рабовладѣльцемъ, какъ западный феодаль... Искать въ подобныхъ явленіяхъ выражений подлиннаго народнаго духа, обязательныхъ, притомъ и для дальнѣйшей исторіи народа, было бы странно.

Татарское нашествіе было громаднымъ фактомъ въ исторіи русской народности. Многіе изъ нашихъ историковъ (славянофилы, Соловьевъ) утверждали, что оно было только внѣшимъ иломъ, которое не коснулось глубины народнаго существа; теперь, кажется, начинаютъ думать, что коснулось. Татары не вмѣшивались во внутреннія дѣла, не трогали, даже ограждали церковь; русскій человѣкъ не переставалъ считать татарина „поганымъ“ по преимуществу; но не даромъ обошлисъ поѣздки князей въ орду, присматриванье татар-

скихъ нравовъ и порядковъ; потомъ московскіе князья въ союзѣ съ татарами, и подкупая ихъ, дѣлали первые опыты знаменитаго „собиранія“; эти союзы и потомъ покореніе татарскихъ царствъ ввели въ русскій высшій классъ цѣликомъ настоящихъ татаръ, князей и царевичей: стали входить даже иные татарскіе обычаи. Московское единодержавіе было—деспотія съ очевидно восточнымъ характеромъ, полувизантійскимъ, полу-татарскимъ.

Московская форма, русская въ XV—XVII вѣкахъ, была нисколько не похожа на до-татарскую форму, которая въ свое время, до XV вѣка, была также самою русскою. Способъ объединенія государства былъ насильственный, и было бы чрезмѣрнымъ оптимизмомъ думать, что это насилие уничтожило въ присоединяемыхъ земляхъ только одно негодное, исторически отжившее, и вводило только одно превосходное, исторически благодѣтельное. Довольно указать двѣ черты московской формы.

Она истребляла преданія и обычаи народнаго самоуправленія: государство было выстроено на настоящемъ крѣпостномъ правѣ, и подданный не даромъ назывался „холопомъ“—онъ былъ имъ въ дѣйствительности; московское управление было „московской волокитой“; церковь XVII-го вѣка примѣнила тоже деспотическое начало къ дѣламъ народной вѣры. Понятіе о единомъ царствѣ покупалось дорогою цѣною. Порабощеніе личности было полное; необходимымъ слѣдствіемъ была порча нравственная, упадокъ личного достоинства, въ приказномъ людѣ—всеобщая подкупность, самоуправство со всѣми низшими, униженность передъ высшими и т. п. Но и „цѣльность“ не была достигнута вполнѣ: народъ протестовалъ противъ насилия бѣгствомъ отъ государства на окраины въ казачество, разбойничествомъ, которое дошло до эпическихъ размѣровъ въ дѣяніяхъ Стеньки Разина, составившихъ, вмѣстѣ съ другими подобными, цѣлый особый циклъ народной поэзіи, которая здѣсь очень расходилась съ государственными идеями Москвы. Въ то же время расколъ отрекся отъ государственной церкви, бѣжалъ въ лѣсныя дебри и въ теченіе двухъ вѣковъ велъ свою отдельную жизнь, не сообщаясь съ государствомъ.

То просвѣщеніе, хотя скромное, какимъ владѣла древняя Русь, въ Москвѣ упало. Писатель, котораго мудрено упрекнуть въ недостаткѣ любви къ русской старинѣ, посвятившій труды всей жизни на ея изслѣдованіе, г. Буслаевъ, нарисовалъ мало привлекательную картину московскихъ нравовъ съ большою примѣсью татарщины, и московской бѣдной книжности въ сравненіи съ той оживленной дѣятельностью, какая еще жила и развивалась въ старобытномъ Новгородѣ. Но дни Новгорода были сочтены... Скудость знаній заставила Москву еще въ XVI столѣтіи, даже для дѣлъ церковнаго ученія

обратиться къ помощи православнаго иноземца, грека Максима, какъ позднѣе понадобились для капитального, предпринятаго тогда дѣла,— исправленія искаженныхъ невѣжествомъ книгъ,— силы малорусской киевской школы. Для прикладного научнаго знанія всякаго рода пришлось еще съ XV вѣка прибѣгать къ усиленному вызову иноземцевъ, населившихъ въ Москвѣ цѣлую нѣмецкую слободу. Не то, чтобы въ высшемъ классѣ и въ самомъ народѣ не было влеченія къ книжному ученію, но государство и іерархія, присвоившія себѣ право думать за всѣхъ, не считали нужнымъ позаботиться о правильной школѣ (до основанія славяно-греко-латинской академіи, которая сама была исключительно схоластической); своихъ людей ученихъ или образованныхъ (кромѣ вызываемыхъ малоруссовъ) не было,— были только книжные начетчики, самоучки, бывалые люди. Мысль до того отвыкла работать, что само религіозное ученіе сводилось на виѣшнее благочестіе, и народно-церковный расколъ не умѣлъ иначе опредѣлить своихъ желаній, какъ защитой буквы.

Московская форма, слагавшаяся въ XV—XVII столѣтіи, наконецъ возобладала въ различныхъ сторонахъ народной жизни; но видѣть въ ней законченное политическое выраженіе русской народности, полагать, чтобы даже въ тѣхъ вѣка и въ этой формѣ народъ вполнѣ выказалъ свое самосознаніе,— есть историческая ошибка. Напротивъ, какъ мы замѣчали, это была временная, переходная форма народной жизни, и столь грубая, что пришлось бы отчаяться во всякой способности русского народа къ историческому развитію, еслибы приведенное мнѣніе оказывалось правдой. Московская форма, напротивъ, подавляла исконныя черты бытового русского склада, начала народнаго самоуправленія, первая связала народную жизнь приказнымъ чиновничествомъ, крѣпостнымъ правомъ, отсутствіемъ всякой заботы о школѣ. Выше классы были вѣрными слугами той формулы, которая должна была выражать національную сущность (и на дѣлѣ вовсе ея не обнимала), потому что этой службой охраняли свой собственный интересъ и свое господство надъ порабощенными народными массами; но люди независимые и просвѣщенные бѣжали изъ отечества, какъ кн. Курбскій. Народъ подчинялся и жилъ въ умственной дремотѣ, мѣшая христіанскую религіозность съ воспоминаніями стараго языческаго преданія, создавалъ себѣ фантастическое представление о библейскомъ властителѣ, подкрѣпляя его реальнымъ, но весьма неточнымъ соображеніемъ, что этотъ властитель—единственная гроза на его угнетателей, и рядомъ съ этимъ въ своей собственной поэзіи идеализируя Стеньку Ризина, превращая древняго Илью Муромца въ казачьяго атамана. Эти два слоя были раздѣлены почти не меныше, чѣмъ позднѣе общество XVIII вѣка отдѣлялось

отъ народа; старый высшій классъ имѣлъ, правда, съ народомъ одну почву въ понятіяхъ церковныхъ (исключая раскола) и почти одно невѣжество, но въ общественномъ смыслѣ точно также считалъ народъ за безправную и служебную массу. Довольно единодушно было подъ конецъ московского періода, кажется, одно отрицательное представленіе: недовѣріе, даже ненависть ко всему иноземному, который развивается у всѣхъ народовъ, принудительно открываясь своимъ режимомъ отъ общенія съ другими народами и отъ науки. Эта крайняя исключительность, эта суевѣрная боязнь всего иноземнаго, эта подозрительность къ наукѣ, какъ дѣлу сомнительному и едва ли не бѣсовскому, была вовсе не вѣнцомъ чисто русской самобытности,— а только прискорбнымъ наслѣдіемъ тяжелой исторіи, слѣдствіемъ и вмѣстѣ новой причиной невѣжества.

Если такимъ образомъ формы не остаются неизмѣнны, подвергаясь вліянію многоразличныхъ историческихъ условій, и въ извѣстныхъ случаяхъ перестаютъ удовлетворять потребностямъ *цѣлого*, то съ другой стороны не остается неизмѣннымъ и такъ-называемый „искоенный“ народный характеръ, изъ котораго ихъ производятъ. Какъ въ одну данную минуту народъ въ разныхъ областяхъ, съ мѣстными и историческими особенностями, представляетъ различныя, иногда чрезвычайно рѣзкія вариаціи типа, такъ вѣка исторіи, счастливые или бѣдственные, спокойные или бурные, свободные или рабскіе, просвѣщенные или невѣжественные, налагаются на народность свой отпечатокъ, болѣе или менѣе глубокій, или совершенствуя ее, или нанося ей порчу, во всякомъ случаѣ видоизмѣня, давая новые черты характера, новые понятія и потребности. Отсюда и необходимость развитія новыхъ формъ... Лучшее, здоровое можетъ пережить, но можетъ и не пережить историческихъ испытаній, и если оно бывало заглушено, не высказывалось потомъ, это не значитъ, чтобы его не было прежде, и что оно не могло бы ожить при новыхъ условіяхъ.

Что московская государственная и бытовая форма не была ни полнымъ и правильнымъ выраженіемъ русской народности, ни окончательнымъ плодомъ народнаго самосознанія, объ этомъ самымъ значимательнымъ образомъ свидѣтельствовала Петровская реформа. Что Петръ не былъ, какъ иные думали, выродкомъ изъ своего народа, а былъ именно его характернымъ и геніальнымъ дѣтищемъ, въ этомъ не сомнѣвается никто, не потерявший исторического смысла. Его дѣятельность стала энергической реформой, часто безогляднымъ отрицаніемъ старыхъ идей и порядковъ, именно потому, что онъ, воплощая и сосредоточивая въ себѣ исторически созрѣвшія потребности *цѣлой* народности, вооружался противъ тѣхъ сторонъ преж-

няго быта, которые связывали материальная и умственная силы народа, останавливали ихъ развитіе,—и чѣмъ упорнѣе были старыя преданія, тѣмъ упорнѣе онъ шелъ противъ нихъ. Съ него начинается новѣйшій періодъ русскаго національного самосознанія.

Задачи были громадны. Народъ долженъ быть прежде всего установить свое виѣшнее политическое бытіе, и этой задачѣ Петръ Великій отдалъ большую долю своей дѣятельности. Другой заботой его было вodворить въ Россіи европейскія знанія, но, какъ ни высоко цѣнилъ онъ самое знаніе, какъ силу, поднимающую людей изъ тьмы невѣжества, эта забота руководима была прежде всего утилитарными цѣлями государства. Непосредственно, положеніе самого народа не облегчилось при Петрѣ, напротивъ, тягости еще возросли, крѣпостное право усилилось,—то время вообще не задавало себѣ этого вопроса, даже къ концу столѣтія освободительная французская философія считала еще народную массу грубой служебной силой;—но, несмотря на то, нравственному вліянію Петровской реформы слѣдуетъ приписать одинъ изъ главныхъ толчковъ къ тому внутреннему общественному—и уже гораздо шире *сознательному*—движенію умовъ, которое развивало понятіе нравственной обязанности служенія обществу, и къ концу XVIII вѣка пришло къ убѣжденію о необходимости освобожденія. „Работникъ на тронѣ“; царь, пишущій и печатающій книги для образования народа; царь, рѣзко отрицающій отжившія преданія,—это было нечто невиданное. Образованность, начинавшаяся подъ такими впечатлѣніями, получила опору въ могущественномъ примѣрѣ, и при всѣхъ, часто непреодолимыхъ, трудностяхъ она не отступала и продолжала дѣло Петра. Государственная задача велась {правительственною} властью; образованность бросила корни въ самомъ обществѣ и уже съ первыхъ шаговъ поставила вопросъ—о народѣ.

Образованность XVIII вѣка начинала совсѣмъ новое дѣло, кото-
раго не готовила московская Россія. Дѣйствительно, то, что можно было назвать въ XVII-мъ вѣкѣ подготовленіемъ реформы, было отрывочно и безсвязно; въ литературѣ, некоторыя новыя стремленія, навѣянныя кіевскими учеными, были слишкомъ случайныя и слишкомъ схоластическія. Первая свѣтская школа является съ XVIII вѣка и съ ней первыя начали настоящей не-схематической науки; непосредственные, хотя на первое время и нечастыя, связи съ западнымъ образованіемъ положили прочныя основанія научному интересу. Движеніе было еще въ зародышѣ, но шло уже по совсѣмъ иному пути: вмѣсто богословскаго направленія прежнихъ книжниковъ, вмѣсто первобытно-эпического міровоззрѣнія народной массы, новая образованность принимаетъ—и не могла не

принять—направленіе научнаго раціонализма и критики. Литература получаетъ совсѣмъ иной видъ и характеръ содержанія. Старая литература, официа́льно признанная ученость и книжность, состояла почти исключительно изъ церковной письменности и архаической лѣтописи и велась на искусственномъ языке, который давно уже становился народу чуждымъ; письменность на живомъ языке народа, или болѣе близкомъ къ народному, состояла въ легендахъ и повѣсти, попадавшихъ на бумагу только въ качествѣ развлечениія и забавы для любителей; поэзія чисто народная преслѣдовалась со временемъ введеніемъ христіанства, сначала проклинаемая какъ поганое язычество, позднѣе осуждаемая какъ грубая потѣха, недостойная книжного человѣка, и до конца XVII-го вѣка не дала почти никакихъ ростковъ личнаго творчества. Новая литература, подъ тѣснѣйшимъ вліяніемъ западно-европейскимъ, вносила новое содержаніе съ новыми формами и заговорила новымъ языкомъ. Ея содержаніемъ стало, во-первыхъ, усвоеніе идей европейской образованности въ переводахъ и собственныхъ произведеніяхъ; во-вторыхъ, изображеніе русской дѣйствительности съ точки зрѣнія новыхъ пріобрѣтенныхъ знаній. Послѣ старого періода, который зналъ почти только одну народную поэзію, не получавшую мѣста въ книгѣ, и одни сухіе зачатки школьнаго стихотворства, въ новой литературѣ впервые является художественное личное творчество, которому предстояло потомъ такое быстрое и блестящее развитіе; съ другой стороны, также почти впервые возникаетъ критическій взглядъ—необходимое орудіе, которымъ можетъ быть достигнуто дѣйствительное самосознаніе и отдѣльной личности, и общества. Этими двумя данными будущность литературы была опредѣлена. Въ языке новая литература такимъ же образомъ оставила старый условный, полу-церковный языкъ, и все больше приближалась къ живой рѣчи общества и народа.

Съ этого времени идетъ совсѣмъ новый рядъ явленій внутренней національной жизни. Характеръ власти и положеніе подданыхъ не измѣнились: монархія Петра Великаго была деспотія, въ сурости не уступавшая XVI—XVII вѣку (отъ которыхъ эта сурость и была унаслѣдована), но она была своего рода просвѣщеній деспотіей, и это имѣло громадное нравственное вліяніе. Пётръ Великій требовалъ ученья и службы отъ лѣниваго и тунеяднаго боярства; давалъ къ этому средства; объяснялъ свои взгляды и планы, отбросилъ условный языкъ прежняго времени и говорилъ реальнымъ и нагляднымъ языкомъ дѣла, и у него тотчасъ явились убѣжденыe приверженцы. Умственный горизонтъ общества чрезвычайно разширился; съ устраненіемъ прежней національной исключительности, съ притокомъ иностранныхъ ученыхъ людей и книгъ, съ увеличеніемъ знаній,

явилась возможность сравненія и критики; успѣхи виѣшней политики, блестящее подтвержденіе заботъ о флотѣ и арміи, торжество надъ Карломъ XII дали удовлетвореніе національной гордости; передъ обществомъ открывались, какъ никогда прежде, виѣшнія и внутреннія дѣла государства, и впервые съ московскихъ временъ возникаетъ дѣйствительное національное самосознаніе, опирающееся на знаніи,—правда, еще въ зачаточной степени, но опредѣленное.

Новая образованность, поставленная подобнымъ образомъ, не могла не возвысить своихъ интересовъ до интересовъ всенародныхъ. И дѣйствительно, какъ мы выше замѣчали, она отремится къ распространенію знаній въ обществѣ, къ изученію страны и народа, болѣе и болѣе сближается съ интересами народной массы, наконецъ, является защитницей ея человѣческихъ и общественныхъ правъ. Если въ наше время потребность въ изученіи народа, стремленіе къ распространенію просвѣщенія въ его средѣ, къ его материальному, нравственному и умственному освобожденію, становятся сознательной обязанностью всякаго серьезно мыслящаго человѣка, и во имя этой цѣли ведется столько ревностной и плодотворной работы,—то въ этомъ сказывается только послѣдній результатъ тѣхъ началь, которыхъ положены были реформой, и тѣхъ трудовъ, которые предприняты были впервые образованностью XVIII вѣка и съ тѣхъ порь непрерывно продолжались.

Матеріалъ этнографіи—народно-поэтическія воззрѣнія и обрядовый бытъ. Изученіе ея—путь къ опредѣленію „народности“. Обзоръ ея исторіи, къ которому приступаемъ, есть вмѣстѣ обзоръ успѣховъ народнаго самосознанія.

ГЛАВА I.

ОБЩІЙ ОБЗОРЪ ИЗУЧЕНИЙ НАРОДНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЪ ИХЪ ВЪ СОВРЕМЕННЫХЪ ПОНЯТИЯХЪ.

Факты, въ которыхъ сказалось стремлениe новаго образованія къ изученію народности и вмѣстѣ къ поднятію положенія народной массы,—словомъ, къ достиженію дѣйствительно цѣльной, сознательной національной жизни, къ тому, что называется народнымъ самосознаніемъ,—эти факты разсѣяны по всей исторіи нашего просвѣщенія послѣднихъ двухъ столѣтій. Мы не будемъ останавливаться на тѣхъ внѣшне-политическихъ и внутреннихъ государственныхъ событияхъ, которые возбуждали національный инстинктъ и тѣмъ прямо или косвенно дѣйствовали и на это образовательное движение, и соберемъ только указанія о томъ специальномъ научно-литературномъ стремлениi къ изученію и возвышенню народности, которое до сихъ поръ слишкомъ мало оцѣняли въ нашей исторіи прошлаго вѣка, да и нынѣшняго.

Это движение шло изъ одного источника, въ двухъ отдельныхъ, но близкихъ направленіяхъ: во-первыхъ, въ постоянно разширявшемся фактическомъ изученіи народа въ разныхъ отношеніяхъ—историческомъ, этнографическомъ, экономическомъ, нравственно-общественномъ; во-вторыхъ, въ также постоянно возраставшемъ стремлениi приблизить литературу къ непосредственной дѣйствительности, примѣнить пріобрѣтаемыя отъ западной науки и литературы знанія и нравственные идеи къ русской жизни, дать литературному языку, дотолѣ искусственно-книжному, болѣе живой народный характеръ, ввести въ литературу самую жизнь народа и ея интересы.

Если мы будемъ искать стимулъ, который возбуждалъ это движение, то найдемъ, что онъ былъ не иной какъ накопившаяся въ

руssкомъ народѣ (и высказавшаяся въ извѣстномъ его слоѣ) потребность просвѣщенія, анализа, совершенствованія, тотъ инстинктъ цивилизациіи, который былъ свойственъ русскому народу, какъ европейскому, а не азіатскому, и который въ теченіе многихъ вѣковъ или находилъ только скучную пищу и принималъ слишкомъ одностороннее и узкое направленіе, или даже совсѣмъ заглушался, а съ конца XVII-го и начала XVIII-го вѣка нашелъ себѣ прочную опору въ *европейской науки*. Понятіе науки было совершенно неизвѣстно старой русской жизни, мысль которой строилась исключительно на авторитетѣ и преданії: бывали и тогда столкновенія мнѣній, споры политическіе, церковные, но только въ предѣлахъ этого авторитета; у насъ „не было инквизиціи“, но еретиковъ жгли точно также, если они выходили изъ этихъ предѣловъ; вѣроятно, жгли бы и ученыхъ, еслибы только они были. И теперь наука не явилась вполнѣ свободною; но она была названа, за нею признано было право существованія, подъ извѣстными условіями она восхвалялась, какъ образованіе человѣческаго разума и какъ государственная потребность, и дѣйствительно уже на первыхъ порахъ вносила въ умственную жизнь новую, неизвѣстную прежде силу—критическій анализъ. Разъ допущенный и воспринятый, онъ долженъ былъ развиваться самъ собою и все сильнѣе; это была, съ одной стороны, разлагающая, но съ другой великая *созидающаia* сила.

Въ спорахъ о значеніи Петровской реформы (то, что они еще тянутся донынѣ, не говорить объ особыхъ успѣхахъ нашего просвѣщенія и показываетъ, что начала, выставленныя реформой, еще не закончили своего примѣненія въ русской жизни), обвиняемой въ измѣнѣ „народнымъ началамъ“, часто забывалось это обстоятельство, а оно весьма существенно. Приходятъ въ негодованіе отъ нарушенія стародавнихъ обычаевъ (которые, по справедливости, нерѣдко были въ самомъ дѣлѣ олицетвореніемъ застоя и невѣжества, пріобрѣтенныхъ изъ Азіи), но надо было, наконецъ, подумать объ удовлетвореніи потребностей ума и здраваго смысла русскаго народа. Вновь появившаяся наука не могла не произвести внутренняго и внѣшняго, бытового разлада; она разлагала много старыхъ попытій, но давала основанія для новыхъ, логически болѣе сильныхъ. Проклинаютъ отдѣленіе образованныхъ классовъ отъ народа,—но соціально оно началось давно, и степень отдѣленія увеличивалась привиженнымъ положеніемъ народа и невѣжествомъ, которое даже до послѣдняго времени намѣренно поддерживалось, конечно, не въ духѣ просвѣщенія, на которое указывала реформа. Недостатокъ образованія, доходящій до полнаго невѣжества въ обыденныхъ предметахъ знанія,—отъ чего бы ни происходилъ,—не можетъ мириться съ поня-

тіями научнаго происхожденія, было ли оно близкое или отдаленное. Вопросъ объ уничтоженіи этого раздѣленія рѣшается тѣмъ, что не должно оставлять народъ въ состояніи полу-дикаго невѣжества; и только выйдя изъ этого состоянія хоть нѣсколько, народъ можетъ подать свой голосъ въ этомъ дѣлѣ, и раздѣленію, какъ оно есть донынѣ, можетъ быть положенъ конецъ.

Исторія нашего общества съ XVIII вѣка представляетъ постоянный ростъ образованности и по содержанію, и по распространенію; вмѣстѣ съ тѣмъ—ростъ народныхъ изученій.

Первые проблески сознательнаго критическаго отношенія къ государственной и народной жизни встрѣчаются въ еще XVII вѣкѣ у писателей, которымъ болѣе или менѣе были близки интересы просвѣщенія. Таковъ былъ Котошихинъ въ своей книгѣ о Россіи; полу-русскій Крижаничъ, ужасавшійся господствующаго въ Россіи невѣжества; человѣкъ изъ народа, Просопковъ, который, не выходя изъ преданій, чувствовалъ, однако, необходимость науки. При Петрѣ, вопросъ науки, хотя всего больше въ утилитарныхъ примѣненіяхъ, поставленъ былъ прямо, и основаніе Академіи наукъ въ Петербургѣ было въ этомъ отношеніи фактомъ великаго значенія. Академія была вмѣстѣ ученымъ и учебнымъ учрежденіемъ; такъ какъ своихъ ученихъ еще не было, то для основанія дѣла приглашаемы были учные иностранцы, въ числѣ которыхъ были знаменитыя европейскія имена (Эйлеръ, Бернулли, Делиль, Байеръ, Шлѣцеръ и друг.), и это имѣло свое вліяніе въ обществѣ, которому нужно было учиться уважать научное знаніе. Позднѣе, Академія стала черезъ мѣру нѣмецкой, но и при этомъ не осталась безъ великаго благотворнаго вліянія на русское просвѣщеніе,—она приняла и образовала многихъ русскихъ ученыхъ: въ средѣ ея дѣйствовалъ Ломоносовъ, въ ея кругѣ воспитались Крашенинниковъ, Лепехинъ, Озерецковскій, Румовскій и пр.; къ ней примыкали и находили въ ней опору люди съ научными интересами, но къ пей не принадлежавшіе (Рычковъ, Татищевъ, Крестининъ и пр.); вообще она была представительствомъ науки, и для грубыxъ нравовъ прошлаго вѣка „де-сіянсь академія“ была по крайней мѣрѣ „вѣдомствомъ“, гдѣ наука имѣла свое официальное мѣсто и право.

Дѣятельность Академіи въ той области, о которой говоримъ, обнаружилась различными способами. Въ академіи началась первая строго научная разработка русской исторіи—могущественное орудіе национальнаго самосознанія. Коль, Байеръ, Миллеръ, Шлѣцеръ, Страттеръ, позднѣе Кругъ, Лербергъ.—и особенно Шлѣцеръ,—несомнѣнно подготовили дорогу Карамзину, не только непосредственными результатами своихъ изслѣдованій, но и еще болѣе своей *исторической*

критикой: ихъ методъ изслѣдованія приносилъ къ намъ прямо тѣ пріемы, которые европейская наука выработывала долгими вѣками критического труда. Шлѣцеръ и въ своей собственной литературѣ былъ однимъ изъ первостепенныхъ представителей исторической критики; въ той же мѣрѣ его научная сила сказалась въ примѣненіи къ русской исторіи. Но выраженію Погодина, вызовъ Шлѣцера былъ „настоящее событіе въ русской исторіи или, по крайней мѣрѣ, въ ея критикѣ: Шлѣцеръ, какъ Цезарь, пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ!“ Его восторгъ передъ Несторомъ, восторгъ, какого до тѣхъ поръ не высказалъ никто изъ самихъ русскихъ, безъ сомнѣнія многимъ внушилъ интересъ и уваженіе къ своей древности.

Въ связи съ этимъ шла другая работа, въ высокой степени важная для нашей исторіографіи—собираніе лѣтописей и вообще историческихъ источниковъ. Здѣсь глубокаго уваженія заслуживаетъ неустанная дѣятельность Герарда Фридриха Миллера, который былъ въ этомъ отношеніи предшественникомъ Новикова и Археографической экспедиціи. Это была опять работа совершенно новая. Старая московская Россія по-своему заботилась о русской исторіи, но у людей того времени выходила только огромная, но грубая компиляція: такие труды, какъ Никоновская лѣтопись, составлялись механически, въ томъ же родѣ, какъ дѣлались лѣтописные своды въ XI—XII столѣтіи. Теперь самая задача исторического знанія была поставлена совершенно иначе и рядомъ съ критической разработкой древней русской исторіи шло собираніе и изданіе историческаго матеріала, лѣтописей, актовъ и т. д. Работа опять начата была при Академіи: еще въ 60-хъ годахъ прошлаго вѣка изданъ былъ Радзивиловскій или Кенигсбергскій списокъ Нестора (принадлежавшій нѣкогда кн. Радзивиллу и находившійся въ Кенигсбергѣ, откуда былъ вывезенъ въ Семилѣтнюю войну), до изданій Археографической Коммиссіи служившій главнымъ источникомъ для древняго періода; издана была Шлѣцеромъ „Русская Правда“; изданы памятники старой исторической работы, какъ Никоновская лѣтопись, Степенная книга и проч. Многочисленные акты, собранные Миллеромъ, онъ помѣщалъ въ своихъ изданіяхъ, въ „Вивліоеніѣ“ Новикова, въ изданіяхъ „Московскаго Вольнаго Собранія“, и даже до послѣдняго времени матеріалы, собранные имъ во время 10-лѣтняго пребыванія въ Сибири (1733—1743), печатались въ изданіяхъ Археографической Коммиссіи. Заботами Академіи, именно Миллера, изданы были прежніе исторические труды, напримѣръ, „Россійская исторія“ Татищева, его же „Судебникъ царя Иоанна Васильевича“—уже послѣ смерти автора; „Ядро россійской исторіи“ Манкіева (Хилкова), „Географический Лексиконъ россійского государства“ Полунина и др. Дѣятельный

Миллеръ, потрудившійся какъ немногіе и послѣ него для русской исторіи, обратилъ вниманіе на мѣстную исторію: кромѣ „Сибирской исторіи“, имъ начатой и по его материаламъ конченной академикомъ Фишеромъ, онъ сдѣлалъ нѣсколько описаній подмосковныхъ городовъ и монастырей, и т. п.

Отъ Академіи идетъ въ прошломъ столѣтіи рядъ другихъ ученыхъ предпріятій—путешествій для изученія Россіи въ естественно-историческомъ и этнографическомъ отношенії. Это были опять первые въ своемъ родѣ труды, богатые результатами и по прямымъ полезнымъ указаніямъ о характерѣ и экономическихъ средствахъ разныхъ краевъ Россіи, и потому, что они опять возбуждали научные интересы по отношенію къ государству и народу и воспитывали общественное самосознаніе. Съ описаніями страны, ея естественныхъ произведеній, являются здѣсь начатки этнографическихъ наблюденій о русскомъ народѣ и инородцахъ, сообщаются указанія археологической и т. п. Назовемъ имена Гмелиновъ, Крашенинникова, Палласа, Лепехина, Озерецковскаго, Георги, Фалька, Гильденштедта и пр.

Къ дѣятельности Академіи относится и основаніе первого журнала („Ежемѣсячная Сочиненія“, Миллера).

Все это возбуждало интересъ къ наукѣ, указывало необходимость изученія страны и народа, открывало въ исторіи вмѣсто безсвязнаго ряда событій, какимъ она представлялась прежде, послѣдовательный ростъ государства въ его отношеніяхъ съ другими народами, въ событіяхъ научало замѣчать проявленія національного характера.

Вліяніе европейской науки, ея точекъ зрѣнія и пріемовъ очевидно; оно шло и отъ дѣйствовавшихъ въ Россіи нѣмецкихъ ученыхъ, и отъ путешествій русскихъ за границу, и отъ европейской литературы. Новымъ сильнымъ проводникомъ европейского знанія сталъ (съ 1755) Московскій Университетъ. Здѣсь, какъ и въ Академіи, недостатокъ людей заставилъ въ первыя десятилѣтія прибѣгнуть къ приглашенію иностранныхъ ученыхъ, опять по преимуществу нѣмцевъ. Притокъ свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ науки, особенно гуманистическимъ и государственнымъ, и здѣсь оказывалъ свое дѣйствіе, возвышая уровень нравственно-общественныхъ понятій; но кромѣ того, въ средѣ самихъ иностранныхъ ученыхъ находились люди, дававшие благотворныя указанія для изученія русской старины и народности,—люди, находившіе въ Россіи второе отечество и полагавшіе усердный трудъ на его изученіе. Назовемъ Маттеи, описавшаго древнія греческія рукописи Синодальной библіотеки; многосторонняго ученаго Буле; профессора Баузе, который составилъ съ знаніемъ дѣла замѣчательное собраніе рукописей и древнихъ предметовъ,—это собраніе, сгорѣвшее въ пожарѣ 1812 года, заключало въ себѣ

настоящія драгоцѣнности, по отзыву знающихъ археологовъ, которые его видѣли¹⁾). Модныя теперь нападки на „европейничанье“ (котораго именно въ XVIII вѣкѣ было гораздо больше, чѣмъ въ нашемъ) забываютъ, что среди несложныхъ примѣровъ, какіе были неизбѣжны при полу-образованности (а для настоящей образованности государство дѣлало слишкомъ мало), дѣятели европейской науки сдѣлали тогда много самаго настоящаго добра, полагали благороднѣйшія усиленія на пользу призывающей или усновляющей ихъ страны, и могли сдѣлать это только въ силу своего европейскаго образованія. Результатъ, полученный изъ этой дѣятельности иноземцевъ въ Россіи или вообще изъ европейской литературы,—было благотворное возбужденіе умственной жизни въ русскомъ обществѣ, и только па этомъ пути возможно было достигнуть здраваго развитія государственного и народнаго.

Время Петра произвело сильное впечатлѣніе на умы, и уже вскорѣ это характеристики выразилось въ дѣятельности Ломоносова, который послѣ Петра былъ, вѣроятно, величайшимъ русскимъ умомъ XVIII-го столѣтія. Къ Ломоносову не осмѣливались касаться клеветы на наше подчиненіе европейской образованости; между тѣмъ Ломоносовъ былъ именно полночайшимъ представителемъ европейскихъ вліяній,—какъ нарочно, человѣкъ изъ самой подлинной народной среды, но великій почитатель реформы и европейскаго знанія. Онъ равнѣ былъ дѣятелемъ чистой науки, и старался въ разныхъ отрасляхъ примѣнять ее къ русской жизни; образованіе его было чрезвычайно разносторонне,—въ философіи ученикъ Вольфа, естествоиспытатель, онъ ищетъ и законовъ русскаго языка, пишетъ русскую исторію и заботится объ „изученіи нѣдръ нашего отечества“, о „размноженіи и сохраненіи россійскаго народа“. Эти заботы были естественнымъ внушеніемъ образованія, которое именно вооружало умъ просвѣщенаго человѣка средствами разумнаго служенія своему отечеству и народу: это образованіе не казалось Ломоносову „чужимъ“, а такимъ, къ какому долженъ бы быть стремиться каждый разумный человѣкъ, желающій своему отечеству пользы.

Старшій современникъ Ломоносова, Татищевъ, имѣть заслуженное имя въ исторіи нашей литературы и образованія, какъ авторъ „Исторіи Россійской“, первого опыта цѣльной (впрочемъ, недоконченной) исторіи, писанной до Миллера и Шлѣцера, но подъ вліяніемъ новыхъ попытій,—плода тридцатилѣтнихъ трудовъ. Его учение пришло въ разгаръ реформы и было, по обычаю, специально-

¹⁾ Нѣкоторыя цитаты изъ него въ „Исторіи“ Карамзина; теперь известенъ только каталогъ этого собранія.

техническое; два года онъ учился въ Германии; не бывши гуманистомъ, онъ зналъ славнѣйшія произведенія философско-политической литературы, тогдашней и болѣе ранней, отъ Макіавеля и Пуффендорфа до Гоббса, Бэйля, Локка, Фонтенеля, и хотя отвергалъ ихъ крайня мнѣнія и называлъ ихъ вредными, но въ своихъ взглядахъ религіозно-бытовыхъ и историческихъ обнаружилъ немалую долю рационализма. Его „Исторія“ еще носить отчасти характеръ лѣтописнаго свода, но уже совсѣмъ не похожа на старыя произведенія этого рода, потому что сопровождаетъ факты прагматическимъ толкованіемъ. Въ своихъ новыхъ мысляхъ онъ былъ очень остороженъ, но взглядъ на народную жизнь былъ явно критической... У приверженцевъ старины онъ прослылъ за безбожника.

Времена Екатерины II были въ прошломъ вѣкѣ по преимущество времениемъ „европейничанья“, доходившаго до размѣровъ, которые становились странными; но въ эти же времена наиболѣе ярко высказалось стремленіе къ изученію народа и къ сближенію съ его жизнью и интересами. Странно, въ самомъ дѣлѣ, что императрица россійской имперіи, обладательница абсолютнѣйшей власти, чрезвычайно къ пей ревнивая, державшая Шешковскихъ для нѣкоторыхъ отправленій этой власти,—обнаруживаетъ рядомъ съ этимъ великия сочувствія къ французскому литературно-философскому движенню, практическій смыслъ котораго былъ, между прочимъ, отрицаніе абсолютизма. Эти сочувствія были увлеченіемъ живого ума, который искалъ новизны и оригинальности, понималъ и не могъ не цѣнить блестящіе и глубокіе таланты Вольтера, Дидро, д'Аламбера, который самъ хотѣлъ блеснуть примѣненіемъ идей, обходившихъ тогда всю Европу. Нѣть сомнѣнія, что въ этихъ сочувствіяхъ бывала настоящая искренность, но едва ли сомнительно также, что былъ и холодный расчетъ: этотъ живой умъ былъ [также достаточно] трезвъ и холоденъ, чтобы идеи не могли переступить той границы, за которую стоялъ ревнивый абсолютизмъ,—здесь онъ самымъ недвусмысленнымъ образомъ отвергалъ тѣ самыя идеи, которыхъ прежде превозносилъ. Думаютъ обыкновенно, что Екатерина II только въ концѣ царствованія отступила въ реакцію; но подобная настроенія не трудно видѣть и въ первое десятилѣтіе ея правленія. Но какъ бы ни было съ ея личными взглядами и политикой, идеи, разъ заявленныя изъ самаго средоточія власти (какъ было въ „Наказѣ“), уже не могли быть остановлены и производили свое дѣйствіе. Вліянія европейской литературы (говоря относительно, по тогдашнему числу образованнаго класса) были сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Они пили черезъ книги, черезъ путешествія и личные встречи; съ начала французской революціи Россію стали наводнять эмигранты, между которыми

бывали люди высокого образования и нравственного характера. Задолго до наплыва эмиграции, патриотические писатели жаловались на галломанию, брали и осмеивали людей, забывавших отечественное для поверхностного подражания, „отрывавшихся от народа“; но теперь „галломания“ еще возрасла главным образомъ, конечно, от недостатковъ самой русской общественности и от слабаго развитія школы. И позднѣе, знаменитый патріотъ 12-го года, Ростопчинъ (кажется, первый основатель „квасного“ патріотизма), не могъ быть безъ французского языка; величайшій русскій поэтъ сказалъ однажды, что ему французский языкъ ближе (*plus familière*), чѣмъ русскій. Нѣтъ сомнѣнія, что было въ галломаніи много явлеиій карикатурныхъ и нелѣпыхъ,—какъ въ извѣстномъ классѣ они есть до сей минуты,—но въ лучшемъ меньшинствѣ образованнаго класса (между прочимъ, дѣйствовавшемъ и въ литературѣ) прочно утверждались ученія французской литературы „просвѣщенія“: ученія о нравственномъ достоинствѣ личности, о гражданской обязанности, о человѣколюбивомъ отношеніи къ народу, объ общественной справедливости. „Наказъ“, составленный подъ явнымъ вліяніемъ философіи „просвѣщенія“, съ буквальными заимствованіями изъ ея писателей,—при всемъ историческомъ недоумѣніи, какое возбуждается теперь,—въ свое время, какъ правительственное заявленіе, подкрепленное на дѣлѣ созывомъ депутатовъ, произвѣль впечатлѣніе на умы и долженъ былъ внушить или поддержать здоровыя общественные понятія. „Наказъ“ служилъ имъ опорой и позднѣе, когда правительственная погода измѣнилась и обѣ идеяхъ „Наказа“ уже не было помину... Въ началѣ царствованія Екатерины поднять былъ вопросъ о справедливости и возможности освобожденія крестьянъ; въ концѣ необходимость освобожденія стала для многихъ убѣжденіемъ (хотя сама власть въ этомъ же періодѣ закрѣпостила сотни тысячъ свободнаго крестьянскаго населенія).

Большинство изъ упомянутыхъ выше ученыхъ историковъ и путешественниковъ дѣйствовали въ царствованіе Екатерины: изданіе лѣтописей, описанія Россіи увеличивали горизонтъ историческихъ и этнографическихъ свѣдѣній; выроставшее политическое могущество Россіи расширяло национальный патріотизмъ до степени, изображаемой поэзіею Державина; этотъ патріотизмъ заставлялъ оглядываться на славныя дѣянія прошедшаго, на доблести русского народа и на его настоящее. Къ послѣднимъ десятилѣтіямъ прошлаго вѣка возникаютъ изученія народнаго характера и этнографической старины.

Сама Екатерина занялась исторіей; въ эти изученія она внесла тотъ разсчитанный оптимизмъ, съ какимъ вообще говорила о русскомъ народѣ и российской имперіи и который долженъ былъ быть

ея политикой. Въ древней Россіи она видѣтъ уже правильную самодержавную монархію и, конечно, при этомъ взглядѣ очень свободно распоряжается фактами. Но исторически важно въ рассматриваемомъ нами предметѣ было то, что исторія получала здѣсь публицистическое примѣненіе, что въ ней искали связей съ настоящимъ, въ ней видѣлась провѣрка національной жизни. Рядомъ съ тенденціознымъ оптимизмомъ были и другія мнѣнія, не менѣе патріотической, но болѣе правдивыя и строгія.

Самыми знаменательными представителями той стороны общественного мнѣнія, которая старалась критически выяснить положеніе вещей, были Новиковъ и Радищевъ. Первому посвящено было въ наше время много изслѣдованій, явилось нѣсколько новыхъ свѣдѣній о второмъ; но значеніе обоихъ все еще опредѣлено не вполнѣ. Новиковъ, послѣ Ломоносова, едва ли не замѣчательнѣйшій представитель умственныхъ стремленій общества прошлого вѣка какъ по настойчивости своихъ исканій и труда, такъ и по своей судьбѣ: сатирическій публицистъ въ началѣ своей дѣятельности, неутомимый издаваль книгъ, историкъ и археологъ, мистическій философъ, онъ въ основѣ всего былъ горячій патріотъ, искашившій просвѣщенія для блага народа, подавленное состояніе котораго ему было видно. Его критическое отношеніе къ жизни касается уже самыхъ серьезныхъ предметовъ общественного и народнаго быта, какъ крѣпостное право, недостатки въ церковной жизни, испорченность чиновничества; его исторические труды, „Вивліоѳика“ и проч., надолго остались однимъ изъ капитальныхъ источниковъ для нашихъ историковъ; предполагали не безъ основанія, что вліяніе Новикова сказалось на комедіи Фонъ-Визина и на „Исторіи“ Карамзина¹⁾.

Дѣятельность Радищева была подорвана катастрофой безжалостнаго преслѣдованія; нѣсколько печальныхъ истинъ, необдуманно высказанныхъ предъ людьми, неспособными признать ихъ, навлекли гоненіе, отъ котораго онъ уже не могъ оправиться. Позднѣйшіе критики бросили въ него еще нѣсколько камней. Но каковы бы ни были частные недостатки его книги, она осталась памятникомъ такого пониманія самой тяжкой пародной бѣды, на которое съ отраднымъ чувствомъ можетъ указать историкъ, какъ на честный голосъ среди лѣстивыхъ и низкопоклонныхъ диенірамбовъ. Нѣсколько страницъ въ его книгѣ—первая ясно поставленная картина крестьянского быта, которой продолженіе явилось только въ сороковыхъ годахъ, съ несмѣлыми осужденіями крѣпостного права въ литературѣ, и затѣмъ уже съ открытыми осужденіями съ конца пятидесятыхъ годовъ.

¹⁾ Незеленова, „Н. И. Новиковъ“. стр. 419—443.

Въ послѣднихъ двухъ десятилѣтіяхъ прошлаго вѣка возникаетъ, въ первыхъ, иногда замѣчательныхъ пробахъ, изученіе народныхъ обычаевъ, преданій, сбираніе народныхъ пѣсень: это было не случайное дѣло простого любопытства, а именно опредѣленное, хотя часто еще весьма неумѣлое желаніе розыскать народную старину, какъ исторически поучительный остатокъ древнихъ временъ. Таковы были въ особенности труды Чулкова, Новикова, Прача. Остатки древности возбуждали все больше историческое любопытство; еще во времена Татищева, въ кругу людей новаго образованія были любители старыхъ рукописей, теперь они являются чаще и съ болѣшимъ пониманіемъ исторического значенія памятниковъ старины. Однимъ изъ такихъ любителей былъ гр. А. И. Мусинъ-Пушкинъ, по мысли кото-раго были собираемы лѣтописи изъ монастырскихъ библіотекъ. Цѣлый рядъ лѣтописей древнихъ и среднихъ временъ изданъ былъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Вопросы исторіи уже связываются съ современностью; между пими чувствуется тѣсная связь; сравнивается старое и новое, разыскиваются причины общественныхъ явлений, указываются ошибки, заявляются идеалы. Таковы слѣдующіе за Татищевымъ и Ломоносовымъ труды кн. Щербатова и Болтина, въ которыхъ видятъ зародыши славянофильства: ихъ смущали въ новомъ русскомъ обществѣ разныя неблагопріятныя явлѣнія, которые были отчасти неизбѣжнымъ слѣдствіемъ броженія, наступившаго послѣ реформы, отчасти дѣломъ неудачныхъ преемниковъ Петра, и возникала мысль, что виновата была самая реформа. Съ другой стороны вѣрнѣе дѣлалъ это сравненіе стараго и новаго молодой Карамзинъ (въ „Письмахъ русскаго путешественника“) и другіе защитники новой Россіи, и развивается культь Петра Великаго, начатый его современными приверженцами.

Оглянувшись назадъ на это историческое изученіе и на результаты его, нѣсколько опредѣлившіеся къ концу вѣка, мы видимъ, что уже и въ этомъ несовершенномъ видѣ историческое знаніе того времени было такимъ фактомъ общественной мысли, о которомъ не имѣло понятія общество до-Петровское. Это была настоящая реставрація исторіи, впервые сознаваемая. Въ первый разъ является мысль опредѣлить съ извѣстною точностью начала нашей исторіи, установлялись факты ея вѣнчанаго и внутренняго теченія; научная критика выясняла ихъ связь и значеніе, давала истолкованіе древнимъ сказаніямъ, которые старыми книжниками только механически повторялись и компилировались. Особая важность этихъ изысканій обнаруживается въ томъ, что многое изъ исторической старины, забытое въ московской книжности, являлось вновь на свѣтъ какъ настоящее *открытие*. Такъ, открытиемъ была сама Несторова лѣтопись, когда ея высокое национально-историческое значеніе было объяснено Шлѣ-

церомъ; такими открытиями были столь важные памятники, какъ Русская Правда, завѣщаніе Владимира Мономаха, Слово о полку Игоревѣ; открытиемъ были собранные теперь акты, впервые подвергнутые критическому изученію; открытиемъ были многіе вновь пріобрѣтенные факты этнографіи и археологіи; неслыханной прежде новостью было вниманіе къ произведеніямъ народной поэзіи; новостью были сопоставленія русскихъ событий съ исторіею иноземныхъ народовъ и т. д. Никогда прежде исторія не понималась въ такой цѣлости и причинной связи старого съ новымъ и прошлаго съ настоящимъ, не ставились вопросы о дальнѣйшемъ пути государственной и народной жизни; или никогда прежде эти вопросы не занимали умовъ въ такой мѣрѣ, какъ теперь, когда они становились близки большому числу образованныхъ людей. Словомъ, уже въ этомъ несовершенномъ видѣ историческихъ и общественныхъ изученій несомнѣнно совершался процессъ національного самосознанія, которому предстояло развиваться далѣе, все шире охватывая явленія пародной жизни и яснѣ осѣщаю ихъ средствами науки и возрастающаго общественнаго чувства.

Времена импер. Павла не были удобны для литературы; за то со вступленіемъ па престолъ Александра I возникаетъ усиленное движение по разнымъ отраслямъ историческихъ и пародныхъ изученій, монументальнымъ и характеристическимъ завершеніемъ которыхъ была „Исторія государства Россійскаго“. Не будемъ исчислять научныхъ работъ, которые шли одновременно съ трудомъ Карамзина и не мало ему содѣствовали. Довольно припомнить имена трудолюбиваго митрополита Евгенія, Успенскаго, Тимковскаго, талантливаго и несчастнаго Калайдовича, Ермолаева, начинавшаго свое знаменательное поприще филолога Востокова, архивныхъ знатоковъ Бантыш-Каменскаго и Малиновскаго и проч., наконецъ, знаменитаго графа Румянцова, который, вынесши изъ „западной“ образованности прошлаго вѣка страстную любовь къ русской исторіи, оказалъ ея разработкѣ великія услуги своимъ покровительствомъ ученому труду, своими великотѣнными изданіями, богатой библіотекой, послѣ его смерти поступившей по его завѣщанію въ общественную собственность „на благое просвѣщеніе“, и который донынѣ не имѣлъ себѣ достойнаго преемника въ нашей аристократіи. „Исторія“ Карамзина была первое широкое научное предпріятіе, которое па десятки лѣтъ стало руководствомъ въ дальнѣйшей разработкѣ и богатымъ запасомъ фактовъ, матеріаловъ и критическихъ разъясненій. Она была и сводомъ всего прежняго труда, и богатымъ складомъ новыхъ фактовъ, и программой. Карамзинъ завершилъ предвидѣущій періодъ исторіографіи, воспользовался всѣмъ его матеріаломъ, прибавилъ множество новаго

и, главное, поставилъ историческій вопросъ такъ широко, какъ до него еще не было сдѣлано: программа обнимала всѣ стороны исторической жизни—государство, церковь, народный обычай, преданія; въ эту программу уже легко пріурочивались дальнѣйшія изысканія и связывались ею тѣ, какія уже были сдѣланы и въ ту минуту дѣлались.

Въ понятіяхъ общества, за немногими исключеніями, трудъ Карамзина сталъ первой національной исторіей. Таковъ онъ былъ въ глазахъ императора Николая, въ глазахъ Пушкина и общественной массы.

Но если „Исторія государства Россійскаго“ была явленіемъ высокой важности для развитія исторіографіи, то во многихъ частностяхъ она осталась произведеніемъ своего времени. Многія положенія ея не были приняты послѣдующей критикой; изображеніе „государства“ въ древнѣйшемъ періодѣ было невѣрно; въ изложеніи, легкомъ привлекавшемъ читателей (что было чрезвычайно важно), еще слышался авторъ „Бѣдной Лизы“, и сентиментальное, мелодраматическое изображеніе древнихъ „россіянъ“ не совсѣмъ отвѣчало исторической дѣйствительности. Съ этой стороны, отражавшей также общественные теоріи Карамзина, трудъ его рано вызвалъ возраженія и меныше выдерживалъ критику, чѣмъ въ специально-историческихъ и археологическихъ изысканіяхъ, гдѣ онъ припоминается и донынѣ.— „Исторія“ стала выраженіемъ и опорой „офиціальной народности“ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Съ другой стороны, противорѣчіе, которое она встрѣтила при первомъ появленіи (въ мнѣніяхъ декабристовъ), не имѣло возможности высказаться правильно въ литературѣ, но не было лишено справедливости и осталось причиной предубѣжденія, сохранившагося надолго. Сущность противорѣчія была въ томъ, что Карамзинъ слишкомъ идеализировалъ государственность и, напротивъ, мало выяснилъ значеніе и положеніе народа.

Движеніе, начавшееся въ нашей исторіографіи послѣ выхода „Исторіи“, было чрезвычайно плодотворное. Изученіе исторіи, послѣ труда Карамзина, стало уже дѣломъ не патріотического любопытства, а обязанности для каждого образованного человѣка: нужно было понимать свою исторію, чтобы можно было служить своему народу и обществу сознательно. Но труда предстояло множество, по разнымъ направлениямъ.

Размножаются ученые изслѣдователи, уже подготовленные школой Шлѣцера и Карамзина къ строгой исторической критикѣ. Мы назвали выше его ближайшихъ современниковъ. Отчасти при немъ же, и особенно послѣ него, работали—его противникъ Каченовскій, его критикъ и послѣ ревностный поклонникъ Погодинъ, Арцыбашевъ,

Д. Языковъ, Устряловъ, М. Соловьевъ, Бутковъ, Куникъ; нѣмецкій юристъ Эверсъ; оріенталисты: Френъ, Шармua, позднѣе Савельевъ, Григорьевъ; финнологи Шѣгренъ, Кастренъ; въ противовѣсъ и дополненіе къ исторії государства Полевой задумалъ, хотя не въ силахъ былъ исполнить, „Исторію русскаго народа“; въ тридцатыхъ годахъ начались историческіе труды Надеждина... Кромѣ исторіи собственно, оживленное движение начинается въ сопредѣльныхъ изученіяхъ старины и народности.

Существенною необходимостью было болѣе внимательное изученіе древнихъ памятниковъ письменности. Мы назвали выше Тимковскаго, Калайдовича, Малиновскаго, графа Н. П. Румянцева. Богатое собраніе рукописей Румянцева, составившее (съ другими коллекціями) Румянцевскій музей, находящійся пынѣ въ Москвѣ, было открыто для науки въ знаменитомъ „Описаніи“ Востокова, которое послужило сильнымъ толчкомъ къ изслѣдованіямъ древней русской литературы. Не менѣе богатое собраніе графа Ф. А. Толстого послужило главнымъ основаніемъ рукописныхъ богатствъ Публичной Библіотеки въ Петербургѣ. Собираніе рукописей стало привлекать больше и больше любителей и изъ людей богатыхъ, и изъ небогатыхъ ученыхъ, и послѣднимъ удавалось на скромныя средства собирать драгоценныя въ научномъ отношеніи библіотеки рукописей: назовемъ собранія Дубровскаго и Фролова (въ Публичной Библіотекѣ) купца Царскаго (потомъ перешедшее къ гр. А. С. Уварову); Сахарова, Погодина („древлехранилище“, проданное имъ въ Публичную Библіотеку), Ундорского (нынѣ въ Московскомъ Музѣѣ), Григоровича (тамъ же), Гильфердинга (позднѣе у Хлудова); въ новѣйшее время—гр. Уварова (въ Шорѣчье), кн. Вяземскаго (въ Обществѣ любителей древней письменности), купца Хлудова, Тихонравова, Забѣлина, Барсова, А. Титова, Вахрамѣева и друг.

Но замѣчательнѣйшимъ предпріятіемъ относительно приведенія въ извѣстность и изданія историческихъ источниковъ была знаменитая археографическая экспедиція, устроенная въ тридцатыхъ годахъ по мысли Павла Строева, въ тѣ времена лучшаго библіографического знатока книжной старины. Масса лѣтописей и всякаго рода историческихъ актовъ, собранныхъ въ офиціальномъ путешестіи Строева, послужила материаломъ для изданій Археографической Комміssіи, которые стали въ сороковыхъ годахъ новымъ, послѣ Карамзина, поворотомъ въ нашей исторіографіи, раскрывши громадный неизвѣстный прежде материалъ; въ тоже время, какъ увидимъ, самыя изслѣдованія принимали новое направленіе съ развитіемъ новыхъ требованій историческаго знанія.

Одновременно съ успѣхами политической исторіи, установляв-

шейся Карамзинымъ, возникала отрасль изысканій, обѣщавшая пролить свѣтъ на исторію племени. Это были изысканія филологическія, впервые съ научной точностью поставленныя Востоковымъ. Небольшое изслѣдованіе его (1820 г.) стало эпохой въ славяно-русской филологии, такъ какъ онъ первый, почти въ одно время съ Гrimmомъ, выставилъ историческое начало въ развитіи языка и указалъ основные звуковые пункты, отъ которыхъ идетъ различіе славянскихъ нарѣчій между собою, и подлинная древнія особенности языка церковно-славянского. Филологическая школа развилаась уже позднѣе, въ сороковыхъ годахъ, но основанія положены здѣсь.

Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ появляются первые труды по собственно-этнографическому изученію русского народа, имѣвшіе научное достоинство: собранія пѣсень, сказокъ, пословицъ, преданій, описанія нравовъ и обычаевъ, старины, народнаго искусства и т. д. Это были въ особенности труды Снегирева, Сахарова, Терещенка; множество пѣсенного и иного этнографического материала стало появляться въ журналахъ. Съ тридцатыхъ годовъ начались другія собранія, издавныя только впослѣдствіи, какъ сборникъ П. Кирѣевскаго, предпріятіемъ котораго былъ заинтересованъ Пушкинъ; какъ собранія пословицъ и сказокъ Даля, какъ его „Толковый Словарь“, изданный имъ въ шестидесятыхъ годовъ, въ концѣ жизни.

Въ эту пору этнографическія изслѣдованія исходятъ уже изъ соизначельного намѣренія изучить въ содержаніи народной поэзіи и преданіяхъ старины истинный характеръ народа, въ его подлинныхъ выраженіяхъ—съ послѣдней цѣлью воспринять народную стихію въ складѣ и интересы общественной жизни. Правда, чувствовалось это смутно, выражалось часто съ натянутую сентиментальностью въ мнимо-народномъ вкусѣ тогдашней офиціальной народности (особливо у Сахарова), съ недостаткомъ критики, по иногда съ немальнымъ знаніемъ и искусственнымъ объясненіемъ древности (особенно у Снегирева). Вообще, это были еще первыя попытки собиранія, внушенныя развитіемъ исторической науки, романтическимъ интересомъ къ стариинѣ и ростомъ общественного сознанія. Настоящая научная точка зрѣнія на предметъ и приемы изслѣдованія еще далеко не выработана (въ этомъ послѣ помогла западная, особенно немецкая наука); у ревнителей этнографіи попадались поддѣльныя, будто бы народныя произведенія (у Сахарова, въ „Запорожской Старинѣ“ Срезневскаго), разоблаченныя только въ послѣднее время, хотя вообще понималась уже и объяснялась необходимость изучать произведенія народной поэзіи въ ихъ подлинномъ видѣ. Но несмотря на молодость дѣла, въ пѣкоторыхъ случаяхъ оно велось съ замѣчателеннымъ

умѣньемъ и на подкладкѣ цѣлой обдуманной теоріи (труды Петра Кирѣевскаго).

Къ изученію народа великорусскаго присоединялось ревностное изученіе малорусской старины и народности патріотами южнорусскими. Еще около 1820 г. издано было кн. Цертелевымъ первое собраніе малорусскихъ народныхъ пѣсенъ; затѣмъ слѣдовали болѣе или менѣе богатые и оригинальные сборники Максимовича, Срезневскаго, Метлинскаго; въ сороковыхъ годахъ явилось замѣчательное по своему времени сочиненіе Костомарова „Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи“ (1843; главнымъ образомъ, однако, малорусской).

Этнографические интересы особенно были усилены новымъ научнымъ движениемъ, идущимъ также съ тридцатыхъ годовъ, — начавшимся изученіемъ славянскаго міра, западнаго и южнаго. Учрежденіемъ въ университетахъ каѳедръ славянскихъ нарѣчій правительство императора Николая, — какъ ни сурово вообще относилось оно къ умственной жизни общества, — оказалось общественной образованности великую услугу, какъ подобную услугу оказало учрежденіе Археографической экспедиціи и комиссіи. Та и другая мѣра отвѣтила на возникавшую потребность; дѣло обѣ археографической экспедиціи началось по частной инициативѣ, славянскія изученія также начались раньше офиціального признанія ихъ необходимости (Шишковъ, Востоковъ, Каченовскій, Калайдовичъ, Венелинъ, Срезневскій, Бодянскій). Для основанія славянскихъ каѳедръ въ университетахъ, въ концѣ 30-хъ годовъ послано было въ славянскія земли нѣсколько молодыхъ ученыхъ, которые уже дома были отчасти приготовлены къ этому поприщу упомянутымъ этнографическимъ романтизмомъ. Путешествіе развило у нашихъ первыхъ славистовъ этотъ романтизмъ до цѣлой теоріи, гдѣ первобытная архаическая, наивная народность какъ-бы противополагалась искусственной цивилизаціи и ставилась для нея примѣромъ и руководствомъ. Эта теорія, отчасти близкая къ славянофильству, но во многомъ съ нимъ несогласная, внушена была зреющимъ возрожденія славянскихъ народностей; никогда достаточно не объясненная этими первыми славистами въ примѣненіи къ общественной практикѣ, она была туманна, но принесла свою долю пользы: внушала любовь къ народу, учила пѣнить народную личность, хотя бы дѣйствительное примѣненіе этого поученія дало и не тотъ результатъ, какой предполагали бы первые слависты. Съ этими изученіями, въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ въ русской литературѣ впервые точно были опредѣлены этнографическія отношенія русского народа къ остальному славянству. Эти отношенія, какъ известно, обратили на себя вниманіе уже давно; еще съ

XVII-го вѣка у Крижанича высказана была политическая славянская теорія: онъ помышлялъ о возможности славянского союза, даже единства подъ главенствомъ Россіи. Эта политическая идея, оставшаяся у Крижанича одинокою и неясно мелькавшая потомъ въ теченіе XVIII-го вѣка, въ новѣйшее время, въ новой окраскѣ, повторилась у одного кружка декабристовъ; о ней напоминали политическая события (какъ освобожденіе Сербіи); въ тридцатыхъ годахъ возникали цѣлые панславистические планы (у Погодина). Другіе могли не дѣлить этихъ мечтаній, по крайней мѣрѣ откладывали ихъ на далекое будущее и руководились только интересомъ къ единоплеменнымъ народамъ и помышляли о нравственномъ союзѣ; но во всякомъ случаѣ было очевидно, что какое-нибудь здравое слѣдованіе по этому пути возможно было бы только при ближайшемъ знакомствѣ съ этнографическими и историческими отношеніями: непосредственныхъ связей не было, мысль возникала изъ племенныхъ инстинктовъ; освѣтить ее могло только научное знаніе.

Изученіе славянства чрезвычайно благопріятно подѣйствовало и на разработку самой русской этнографіи, — собственно говоря, оно впервые дало ей настоящее основаніе, указавъ для древнѣйшей поры народности ея общеславянскую основу. Явилась возможность сравненія языка; сравненія миѳовъ, преданій, поэзіи; сравненія бытовыхъ учрежденій и обычаевъ и, въ концѣ концовъ, опредѣленія общеславянскихъ свойствъ русской народности и ея исключительныхъ особенностей. Съ другой стороны, знакомство съ славянскимъ возрожденіемъ указало примѣръ того благотворного дѣйствія, какое забота о народности можетъ оказать на национальное самосознаніе племенъ, раскрывая для нихъ дорогу просвѣщенія, поднимая и материальныя, и нравственныя ихъ силы. Наконецъ, оно открывало для нашихъ ученыхъ литературы западнаго славянства, до тѣхъ поръ почти совершенно у насъ неизвѣстныя, но представлявшія уже немало замѣчательныхъ трудовъ по славянской древности и этнографіи (Добровскій, Шафарикъ, Копитаръ, Цалацкій, Караджићъ и пр.).

Такимъ образомъ, разширеніе научной области все больше разширяло интересы народности въ общественномъ сознаніи; все болѣе раздвигался горизонтъ наблюденій, размножался материаль фахтовъ, увеличивалось разнообразіе точекъ зрѣнія, съ которыхъ должно быть изучаемо явленіе столь великое и сложное, какъ пародная жизнь и народная сущность. Съ тридцатыхъ годовъ, когда такъ возросла масса исторического материала, возникаютъ первые признаки научнаго движенія, которое развилось позднѣе, въ сороковыхъ годахъ, и ввело новые способы исторического изслѣдованія. Въ передовыхъ кружкахъ недолгое вліяніе Шеллинговой философіи смѣняется господ-

ствомъ гегеліанства: это философское направлениe—при всѣхъ односторонностяхъ, въ какія впадало у насть, какъ въ Германіи—имѣло то благотворное вліяніе, что заставляло искать общихъ оснований въ исторіи народа или руководящей идеи, объяснять событія народной жизни не одними толкованіями тѣснаго прагматизма, но цѣлымъ складомъ основной народной сущности. Исторія переставала быть массой случайныхъ лицъ и событій, исполняющихъ ближайшія цѣли, а послѣдовательнымъ развитіемъ національной идеи. Къ той же эпохѣ относится новый непосредственный притокъ европейской, по преимуществу немецкой науки, какъ путемъ литературы, такъ и путемъ прямого вліянія, черезъ новый рядъ молодыхъ ученыхъ, посланныхъ за границу готовиться къ занятію каѳедръ, въ особенности права и наукъ гуманитарныхъ.

Въ самой Германіи, то было время богатаго развитія историческихъ изученій, и наши ученые усвоивали научные методы или прямо изъ немецкаго университетскаго источника, или изъ открывавшейся передъ ними литературы. Савинъ—въ исторіи права, Риттеръ—въ географіи, Раумеръ, Гервинусъ, Ранке, Лео и пр.—въ политической исторіи, Гриммъ—въ исторіи языка, въ народной міѳологіи и поэзіи, въ археологіи права, Боппъ—въ сравнительномъ языкознаніи, имѣли у насть своихъ, иногда непосредственныхъ учениковъ. Свое значительное вліяніе имѣла научная литература французская, англійская,— и весь этотъ запасъ нового знанія отразился на русскихъ изученіяхъ. Историческое пониманіе стало многостороннѣе, чѣмъ когда-нибудь прежде, критика источниковъ достигала замѣчательной тонкости, методъ изслѣдованія пріобрѣталъ точность логической формулы; къ изученію русской старины и народности примѣнены были тогда только-что прочно утверждавшіяся новыя науки—сравнительное языкознаніе и сравнительная этнографія.

Появлениe новой школы, опредѣленно заявившой себя въ сороковыхъ годахъ и развивающейся до сихъ поръ, стало эпохой въ изученіи русской народности. Это были прежде всего труды Соловьева, Кавелина, Забѣлина, Калачова, Неволина, К. Аксакова, Бѣляева, Костомарова; въ области языка, міѳологіи, народной поэзіи—Срезневскаго, Билярскаго, Каткова; Буслаева, Аѳанасьева и пр.

Собираніе этнографического матеріала приняло въ послѣднія десятилѣтія размѣры по истинѣ грандіозные. Здѣсь благотворное вліяніе имѣло основаніе Русского Географического Общества; разрешеніе его было еще заслугой правительства имп. Николая для общественного образованія, какихъ не представили послѣдующія времена. Въ устройствѣ Географического Общества главнымъ дѣятелемъ былъ Литке, и особенно Надеждинъ; Надеждинъ и его сотоварищи съумѣли

возбудить интересъ къ Обществу, которое вслѣдствіе этого и могло установиться въ широко дѣйствующее предпріятіе. Общество разослало программы для собиранія всякаго рода этнографическихъ свѣдѣній, получило массу материала, который появлялся въ „Этнографическомъ Сборникѣ“ и въ періодическихъ изданіяхъ Общества. Рядъ ученыхъ экспедицій, устроенныхъ Обществомъ, далъ замѣчательные географические результаты относительно разныхъ краевъ нашего отечества; цѣльная географія Россіи собрана въ богатомъ „Географическомъ Словарѣ“ П. П. Семенова и его сотрудниковъ, и пр. За послѣдніе годы замѣчательнымъ трудомъ, облазаннымъ Географическому Обществу, были „Труды этнографической экспедиціи въ юго-западный край“, Чубинскаго, гдѣ собранъ богатѣйший этнографический материалъ. Общество стало наконецъ развѣтвляться: явился Кіевскій, Сибирскій (восточный и западный), Кавказскій, Оренбургскій отдѣлы, которые вели полезную мѣстную дѣятельность. Изъ нихъ, Кіевскій былъ закрытъ правительствомъ въ послѣдніе годы минувшаго царствованія, успѣвъ въ короткое время заявить себя важными этнографическими трудами.

Въ частности, собранія народныхъ пѣсень явились въ рядѣ замѣчательныхъ изданій. Таковы—обширный старый сборникъ Кирѣевскаго, съ дополненіями, изданный Безсоновымъ; сборники Шейна, пѣсень великорусскихъ и бѣлорусскихъ; небольшіе, но любопытные сборники Якушкина, Варенцова; обширный галицко-русскій сборникъ Головацкаго; малорусскія пѣсни у Чубинскаго, Рудченка, Антоно-вича и Драгоманова. Множество небольшихъ мѣстныхъ собраній появлялось въ изданіяхъ Второго отдѣленія Академіи и (еще съ сороковыхъ годовъ) въ журналахъ; дѣтскія пѣсни, Безсонова. Новѣйшее время ознаменовано открытиемъ богатаго запаса еще живого и свѣжаго народнаго эпоса въ олонецкомъ краѣ; это—сборникъ Рыбникова, и въ особенности „Онежскія былины“, послѣдній, по истинѣ монументальный и драгоценный трудъ Гильфердинга. Сказки были изданы Аѳанасьевымъ, Худяковымъ и др.; пословицы собраны Снегиревымъ, Буслаевымъ, Далемъ. Литература народныхъ картинокъ была излагаема Снегиревымъ и недавно замѣчательнымъ образомъ изучена Д. А. Ровинскимъ.

Въ послѣднія десятилѣтія всѣ указанныя и другія изученія сдѣлали новые обширные успѣхи. Мы можемъ здѣсь только отмѣтить труды—по археографіи: Срезневскаго, Бодянскаго, Горскаго, Бычкова, Андрея Попова, Тихонравова, Викторова и др.; по языку: Срезневскаго, который между прочимъ составилъ обширный, нынѣ издаваемый по его бумагамъ, словарь древняго русскаго языка; Буслеева (историческая грамматика русскаго языка), П. Житецкаго

(труды по исторії языка южно-русского), Соболевского, и въ особенности замѣчательныя грамматическая изслѣдованія Потебни; по объясненію средневѣковой поэзіи: Буслаева, Тихонравова, Кирпичникова, по въ особенности Веселовского и Ягича; по исторіи литературы и образованія: Тихонравова, Галахова, Порфириева, Сухомлинова, Стоюнина, Миллера, Ефремова, Незеленова и др.; по исторіи церкви: Филарета Черниговского, митр. Макарія, Знаменского, Голубинского. Большое развитіе пріобрѣла исторія бытовыхъ учрежденій, гдѣ должно назвать, кроме многихъ изъ упомянутыхъ, имена Бѣляева, К. Аксакова, Тюрина, Кавелина, Калачова, Сергѣевича, Наумана, Чичерина, Ф. Дмитріева и др.; особенное вниманіе изслѣдователей привлекла сельская община и вообще обычное право, обширная литература котораго была описана въ замѣчательномъ трудѣ Евг. Якушкина и пр.

Съ 1850-хъ годовъ въ интересахъ народовѣдѣнія, особенно по языку и народной поэзіи, много работало Второе отдѣленіе Академіи наукъ, когда въ это Отдѣленіе, образованное изъ бывшей Россійской Академіи, вступилъ Срезневскій. Съ тѣхъ поръ и донынѣ въ изданіяхъ Второго Отдѣленія явилось множество работъ по русской этнографіи, и въ послѣднее время въ особенности труды Александра Веселовского, составляющіе эпоху въ нашихъ изученіяхъ народной поэзіи, миѳологіи, древней письменной и живой народной легенды.

Одновременно со Вторымъ отдѣленіемъ Академіи большую массу матеріала и этнографическихъ изслѣдованій доставило Московское Общество исторіи и древностей, руководимое до второй половины 1870-хъ годовъ Бодянскимъ.

Въ шестидесятыхъ годахъ возникъ новый дѣятельный органъ народныхъ изученій въ московскомъ Обществѣ любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи. Множество полезныхъ работъ сообщаютъ специальная изданія: „Филологическая Записки“, издаваемыя въ Воронежѣ Хованскимъ, и „Р. Филологический Вѣстникъ“, Колосова, потомъ Смирнова, въ Варшавѣ. Впослѣдствіи упомянемъ о массѣ матеріала, который появляется въ изданіяхъ провинціальной литературы.

Славянскія изученія въ послѣднія десятилѣтія также принесли большое количество цѣнныхъ трудовъ, нерѣдко важные не только для русской литературы, но и для самого славянства. Эти изученія исходили отъ университетскихъ каѳедръ или примыкали къ нимъ. Таковы труды: Срезневского, П. Лавровского, В. Ламанского, Макушева, Будиловича; Бодянского, Евг. Новикова, А. А. Майкова, Гильфердинга, Котляревского, Дринова; Григоровича, Коцубинского, П.

Ровинского и цѣлаго ряда молодыхъ славистовъ, какъ Зигель, Брандтъ, Флоринскій, М. Соколовъ и др.

Не будемъ входить въ подробности тѣхъ изученій, которые направлены были на экономическое и промышленное состояніе народа. Въ прежнее время эти изученія всего чаще исполнялись официально и бюрократическими пріемами; но за послѣднія десятилѣтія, именно съ первой явившейся возможности касаться крѣпостного вопроса, онѣ стали предметомъ сильнаго общественнаго интереса и съ особяною любовью направились къ изученію собственно крестьянскаго быта, сказываясь и здѣсь стремленіемъ къ защитѣ народнаго интереса. Эта защита—факты которой (съ конца пятидесятыхъ годовъ) будутъ причисляться къ благороднѣйшимъ страницамъ русской литературы, когда общество придетъ къ дѣйствительному самосознанію, къ настоящему разумѣнію національной жизни—была параллелью тому теплому живому участію къ народной жизни, которое раньше обнаруживалось въ изученіяхъ народности, проникало лучшія работы въ этнографіи и, какъ дальше увидимъ, одушевляло также наиболѣе жизненные произведенія новой поэзіи. Съ этихъ политico-экономическихъ и общественныхъ изученій открывается тотъ основной мотивъ, на которомъ донынѣ сосредоточиваются изученія, тревоги и идеалы нашей литературы. Вопросъ слишкомъ труденъ, многосложенъ, притомъ слишкомъ былъ спутанъ и затемненъ реакцией послѣднихъ десятилѣтій, но опытъ, часто, къ сожалѣнію, слишкомъ тяжелый, все больше выясняетъ дѣло и начинаетъ указывать пути, которыми вѣрнѣе можетъ быть достигнуто благо народное и общественное: скаживаются недостатки крестьянской реформы, и между прочимъ тѣ, отъ которыхъ предостерегали задолго искреннѣйшіе изъ приверженцевъ реформы; правдивое изслѣдованіе вопроса въ настоящую минуту приходитъ уже нерѣдко къ положеніямъ, какія выставлялись уже тридцать лѣтъ тому назадъ...

Изъ числа новыхъ изученій упомянемъ, наконецъ, одно, можно сказать, впервые возникшее съ конца пятидесятыхъ годовъ, когда улучшившееся положеніе печати дало иѣкоторую возможность высказываться общественному мнѣнію и научному изысканію. Это—изученіе раскола. До пятидесятыхъ годовъ, оно было, собственно говоря, недоступно литературѣ. Въ печати могъ находить мѣсто только взглядъ, господствовавшій въ администраціи свѣтской и церковной, а для нихъ расколъ былъ только предметъ неустаннаго гоненія. Здѣсь вполнѣ держалась точка зрѣнія XVII столѣтія: расколъ былъ лжеученіе; церковь осуждала и проклинала его. Свѣтское правительство „изучало“ его официально, черезъ людей съ „особыми порученіями“, „совершенно секретно“, изучало какъ изучаетъ обвинитель, стараясь

разузнать распространение зла и его степени, разыскать главныхъ зачинщиковъ и пособниковъ, чтобы потомъ опредѣлить соотвѣтственныя кары и мѣры предупрежденія и пресѣченія. Церковное изученіе было чисто обличительное. Изученіе критическое и свободное не существовало. Когда оно стало, наконецъ, вѣсколько возможно, въ литературѣ тотчасъ высказалось иное отношеніе къ предмету. Во-первыхъ, точка зрењія историческая выясняла, что въ условіяхъ своего возникновенія расколъ не былъ вовсе такимъ злонамѣреннымъ преступлениемъ, какимъ по преданію понимала его іерархія и за ней свѣтская власть, что онъ былъ естественнымъ порожденіемъ времени, во многомъ былъ дѣйствительно вѣренъ „старой вѣрѣ“ и „обряду“ XVI—XVII столѣтій, во многомъ былъ слѣдствіемъ скудости просвѣщенія, которымъ московская Россія вообще не была богата, не по винѣ народа;—словомъ, эта точка зрењія уже вносила историческое объясненіе и примиреніе. Другая точка зрењія вносила это примиреніе съ иной стороны: образованіе научало вѣротерпимости, указывало общественный вредъ и неразумность преслѣдованія современного раскола за его двухъ-вѣковсе преданіе, указывало нравственную неприглядность положенія вещей, гдѣ административное подавленіе раскола сводилось на грубые поборы низшихъ полицейскихъ чиновниковъ и духовенства съ раскольничьяго населенія, на отлученіе отъ общественной жизни людей, часто совершенно безобразныхъ, трезвыхъ и трудолюбивыхъ. Эта точка зрењія видѣла, что въ результатѣ преслѣдованія получалось только то, что съ одной стороны угнетались люди за искреннюю вѣру, съ другой — въ большинствѣ случаевъ интересъ церкви (если уже былъ этотъ интересъ въ преслѣдованіи) продавался за взятки, известная всѣмъ кромъ правительства,—и не могла считать такихъ явленій полезными ни для правительства, ни для церкви. Наконецъ, для обѣихъ упомянутыхъ точекъ зрењія послѣдователи раскола были тотъ же русскій подлинный народъ и притѣсненіе его было тяжело по чувству „народности“, которая въ это же время была провозглашаема официально.

Обличительная церковная литература противъ раскола, начавшись въ XVII столѣтіи, продолжалась почти неизмѣнно до послѣдняго времени. Въ „секретной“ литературѣ свѣтской, т.-е. чиновнической, известны сочиненія Надеждина, Даля на службѣ по министерству внутреннихъ дѣлъ; въ томъ же „секретномъ“ періодѣ изучалъ расколъ Мельниковъ, который съ такимъ успѣхомъ въ публикѣ изображаетъ его въ поэтизированныхъ картинахъ впослѣдствіи. Въ числѣ новѣйшихъ обличителей особенно дѣятеленъ г. Субботинъ, сообщавшій, впрочемъ, много фактическихъ данныхъ. Обличеніе, доходившее до

скандала и, какъ говорили, до шантажа, имѣло представителя въ Ф. Ливановѣ. Съ другой стороны, образовалась уже теперь весьма обширная литература безпристрастныхъ историческихъ изслѣдований начиная съ книги Щапова (1857) и до сочиненій Пругавина, Федосѣвца и проч., гдѣ расколъ рассматривается, вѣнчъ обличительного богословія, какъ широкое историческое явленіе народной жизни, старой и новѣйшей, какъ явленіе, развивающееся до сей поры и представляющее въ этомъ развитіи многія любопытныя, здоровыя и привлекательныя черты чисто-русского національного характера. Нѣкоторые изъ новѣйшихъ изслѣдователей, защищая историческую и человѣчную сторону раскола, доходили наконецъ и до преувеличенаго оптимизма... Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ впервые издано было нѣсколько сочиненій раскольнической литературы, имѣющихъ историческое значеніе.

Вопросъ о вѣротерпимости относительно раскола возникаетъ нынѣ не въ первый разъ. Бывали примѣры, что тягость преслѣдованія смягчалась; старообрядцы находили заступниковъ между сильными людьми, съ помощью которыхъ получали нѣкоторую льготу. Въ самомъ обществѣ пробуждалось если не сочувствіе, то болѣе мягкое отношеніе къ этой ревности въ своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ; мистики конца прошлаго вѣка относились сочувственно къ мистическому сектамъ раскола; въ первые годы царствованія императора Александра I положеніе раскола нѣсколько улучшилось. Но все это были отдѣльныя счастливыя случайности; въ царствованіе императора Николая всякия облегченія прекратились; общество не знало дѣлъ раскола, и еслиѣ зналъ, не могло осмѣлиться о нихъ говорить. Въ настоящее время вопросъ вѣротерпимости становится болѣе и болѣе живымъ общественнымъ интересомъ и выясняется въ публицистической литературѣ—въ пользу примиренія старой церковной вражды, уничтоженія „раскола“ въ смыслѣ народно-общественномъ и государственномъ.

Этотъ длинный рядъ разнообразныхъ изученій народа, исходнымъ пунктомъ которыхъ было время Петра Великаго, указываетъ ясно всякому безпристрастному наблюдателю, что реформа, направившая умы подобнымъ образомъ, именно была обнаруженіемъ глубокой народной потребности, что она не отрывала отъ народа, когда естественнымъ и тотчасъ явившимся слѣдствиемъ ея было обращеніе къ народу и изученіе его, столь широкое и разнообразное, о какомъ понятія не имѣла московская Россія. Въ наукѣ, которая впервые при реформѣ получила право гражданства, искали во-первыхъ реальнаго знанія, необходимаго для насущныхъ потребностей общества и

государства, во-вторыхъ идеального содержанія, разширенія понятій о природѣ и человѣкѣ; къ этому тотчасъ примкнуло стремленіе приложить научныя знанія къ ближайшему сознательному изученію народа и къ его пользамъ.

Обращаясь къ литературѣ собственно, т.-е. къ содержанію нашей поэзіи, или того, что замѣняло поэзію, увидимъ явленіе, совершенно параллельное тому, что видѣли въ развитіи научной образованности. Мысль о народѣ, какъ основной стихіи государства, ради которой само государство существуетъ, возникаетъ съ первыхъ шаговъ новой литературы, и чѣмъ дальше, тѣмъ становится яснѣе, реальнѣе, шире; литература подходитъ все ближе къ народной жизни, ея содержанію и языку. Формы литературы были заимствованныя, какъ и формы научнаго знанія, потому что своихъ не было: старая литература не выработала формъ для подобнаго содержанія и для личнаго поэтическаго творчества, но известно теперь, что стремленіе усвоить ихъ предшествовало Петровскому времени,—его можно замѣтить еще въ XVII вѣкѣ. Взяты были эти формы не у какого-нибудь одного народа (у „пѣмцевъ“), какъ подражаніе; они были приняты какъ формы *общеверопейскія*, которыя въ самой Европѣ были наслѣдіемъ отъ классическаго міра и прочно установились только съ эпохи Возрожденія. Кантемиръ беретъ форму у Буало, но и у Горація и Ювенала—изъ того же античнаго источника, изъ котораго черпали и литературы новой Европы.

Со временемъ Петра литература приняла тотчасъ совсѣмъ иной складъ содержанія, чѣмъ было прежде. Какъ известно, самъ Петръ заботился о переводѣ на русскій языкъ книгъ по исторіи, политикѣ и другимъ общеполезнымъ предметамъ; люди его школы: известный Брюсь, князь Дм. Мих. Голицынъ, Кантемиръ, Андрей Матвѣевъ, Савва Рагузинскій, заказывали переводы или переводили сами много капитальныхъ сочиненій стараго и новѣйшаго времени, и въ числѣ ихъ много книгъ именно политическихъ. Такъ были переведены въ тѣ годы книги: Гуго Гроція, Юста Липсія, Слейдана, Баронія, Пуффендорфа и т. д.; наконецъ и „Книга мірозрѣнія“ Гюйгенса, гдѣ излагалась система Коперника, которая въ древней Россіи была бы осуждена какъ злѣйшая ересь. Не всѣ эти книги были напечатаны, многія изъ нихъ оставались въ употребленіи частнаго кружка людей съ серьѣзною любознательностью, но онѣ свидѣтельствуютъ тѣмъ не менѣе о наступившемъ новомъ направленіи умственныхъ потребностей и запросовъ. Извѣстно далѣе, что Петръ и по русскимъ дѣламъ желалъ распространять политическія понятія и знанія. Проповѣдники временъ Петра, его приверженцы, были публицисты, объяснявшіе и защищавшіе реформу съ церковной каѳедры, которая и

заговорила тогда послѣ многовѣкового молчанія; „Духовный Регламентъ“, приписываемый Феофану, но составляющій также (въ неизвѣстной пока степени) трудъ самого Петра, въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ есть настоящая публицистика съ характерными, чисто литературными эпизодами. Это было очень ново и, разумѣется, любопытно для русскаго общества и—что мало обыкновенно замѣчается —эта забота Петра Великаго о воспитаніи политическихъ понятій отразилась потомъ на содержавшіи развивавшейся литературы. Первые писатели, настоящимъ образомъ начинавшіе литературу XVIII в., и ихъ преемники постоянно уже затрагиваютъ эту тему—національный политическій вопросъ. Онъ долго еще возвращался въ литературѣ въ видѣ защиты и прославленія реформы, какъ великаго дѣла, давшаго истинное направленіе всей національной жизни,—и это было естественно: для большой массы все еще казалось, что въ старину было лучше, и надо было защищать просвѣщеніе, а кромѣ того, слѣдовавшее за правленіемъ Петра время слишкомъ часто отставало отъ великаго примѣра и обѣ этомъ примѣрѣ полезно было напоминать. Правда, уже вскорѣ эти разсужденія стали впадать въ рутинные панегирики и стихотворную лесть передъ каждой предержащей властью,—какова бы она ни была,—но осталось вниманіе къ политическому положенію народа, и изъ столкновенія мнѣній мало-малу развивалась способность къ серьѣзной критикѣ общественныхъ дѣлъ.

Новые идеи, явившіяся въ обществѣ изъ запаса европейскихъ знаній, требовали нового литературного языка, потому что старый книжный языкъ, кромѣ того, что не былъ языкомъ живой рѣчи, не имѣлъ ни достаточнаго запаса словъ для выраженія предметовъ нового знанія, ни стилистического строя, достаточно выработаннаго для передачи болѣе тонкихъ оборотовъ мысли. Это преобразованіе языка было великимъ, еще мало оѣняемымъ двигателемъ національнаго сознанія, выражавшагося въ литературѣ. Оно впервые вывело литературу изъ прежней условной области въ реальную среду жизни и доставляло образовательнымъ идеямъ простое и близкое выраженіе. Понятно, что это совершилось не вдругъ; но самый языкъ Петровскаго времени, искусственный и необработанный, испещренный иностранными словами, повидимому, столь уродливый, въ сущности былъ все-таки выше гладкаго церковно-славянскаго стиля лучшихъ церковныхъ писателей XVII вѣка,—потому что построенъ былъ на живой рѣчи. Языкъ первого стихотворенія, присланнаго Ломоносовымъ (какъ нарочно, изъ-за границы), поразилъ какъ-то неслыханное и вмѣстѣ прекрасное: это именно было впечатлѣніе живого языка, явившагося въ книгѣ съ изящной формой, на какую

онъ былъ способенъ, но которой раньше онъ еще никогда не получалъ.

Съ успѣхами книжнаго образованія литературный языкъ все совершенствовался въ одномъ направленіи: каждый первостепенный писатель отмѣчалъ новый шагъ къ *сближенію съ языкомъ общества и народа*. Послѣ Ломоносова, Державинъ и фонъ-Визинъ, Крыловъ, Карамзинъ, Жуковскій открывали своими произведеніями новыя эпохи въ исторіи литературнаго языка; онъ становился съ каждымъ поколѣніемъ все ярче, живѣе, богаче, подвижнѣе, и въ произведѣніяхъ Пушкина наша литература пріобрѣла первостепенные образцы, которые донынѣ, черезъ полстолѣтія (и даже больше) остаются свѣжими, сохранившими для насть все свое изящество — признакъ, что литература достигла въ языкѣ основнаго тона, схватила его *народный складъ*. Позднѣйшая литература разрабатываетъ уже подробности, обогащаетъ литературный языкъ еще неизученнымъ раньше матеріаломъ народной рѣчи, продолжаетъ его стилистическую и эстетическую обработку, разширяетъ для научныхъ цѣлей. Таково, въ этомъ отношеніи, значеніе писателей послѣ-пушкинского времени: Гоголя, Тургенева, Некрасова, Льва Толстого, новой плѣяды писателей, посвящающихъ свой трудъ изученію и изображенію народнаго быта и, наконецъ, писателей въ области науки.

То же стремленіе къ изученію и воспроизведенію народнаго, какое мы видѣли въ научномъ движениі и въ исторіи литературнаго языка, находимъ, наконецъ, и въ содержаніи поэтической литературы.

И здѣсь литература пришла къ народному не вдругъ, и это было понятно. Новая литература, которая явилась прежде всего изъ потребностей научнаго и практическаго знанія и затѣмъ естественно распространялась на область общественно-образовательную и поэтическую, въ своихъ европейскихъ образцахъ увидѣла совсѣмъ незнакомыя раньше идеи и новыя формы; а главное, мысль о собственно народной стихіи была еще слишкомъ далека, и въ первое время трудъ литературы былъ употребленъ на то, чтобы усвоить эти формы, воспринять идеи тогдашней образованности, найти для нихъ выраженіе на русскомъ языкѣ, на которомъ онѣ дотолѣ были неизвѣстны. Писатели XVIII-го вѣка гордились сами, и другіе ставили имъ въ заслугу, что одинъ написалъ первыя трагедіи, другой — комедіи, третій — оды, четвертый былъ первымъ баснописцемъ и т. д. Это была первая необходимая школа начинавшейся литературы. Далѣе, западная литература — въ тѣхъ сторонахъ своихъ, которыхъ дѣйствовали у насть — занята была общими философскими вопросами, критикой нравственныхъ идей, отвлечеными вопросами о человѣческомъ общ-

ствѣ, и все это весьма естественно занимало первыхъ образованныхъ людей новаго общества,—хотя, конечно, въ весьма укороченномъ видѣ. Свой собственный вопросъ для русской литературы состоялъ, какъ мы видѣли, въ защитѣ реформы, т.-е. въ защитѣ той новой образованности, которой она открывала путь: народившаяся личная поэзія высказывала прежде всего идеалы не столько общественные или народные, сколько именно государственные, надежды на просвѣщеніе и величіе націи, на ея политическое могущество, и затѣмъ надежды, что она будетъ имѣть собственныхъ Илліоновъ и Невтоновъ. Но у Ломоносова является уже глубокая забота о массахъ „российскаго народа“ собственно. Ломоносовъ былъ человѣкъ первого послѣ-Петровскаго поколѣнія. Въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія завершалась его дѣятельность, и идея о „российскомъ народѣ“, именно объ его массахъ, продолжается въ сочиненіяхъ Новикова.

Косвеннымъ образомъ мысль о народѣ питала и та область литературы, которая посвящена была интересамъ образованнаго (по преимуществу дворянскаго) класса. Эта литература, во вкусѣ XVIII-го вѣка любившая нравоученіе, старалась смягчать нравы, внушать обязанности къ обществу и дѣйствительно въ этомъ успѣвала. Мало-по-малу, несмотря на все господство крѣпостного права, нравственныя идеи философіи прошлаго вѣка оказывали вліяніе на умы: были люди, которые серьезно задавали себѣ вопросы объ „обязанностяхъ человѣка и гражданина“, и въ послѣдней перспективѣ этихъ обязанностей, еще при Екатеринѣ, возникала мысль объ освобожденіи крестьянъ. Въ книгѣ Радищева теоретическія разсужденія перемежаются картинами изъ крестьянскаго быта, смыслъ которыхъ ясенъ.

Народъ начинаетъ тогда же привлекать литературу съ другой стороны. Въ то время, когда нѣкоторые любители сочли нужнымъ собирать народную поэзію, являются попытки передавать ее въ новой формѣ на народный ладъ (напримѣръ, у Карамзина), вводить въ поэзію черты пароднаго быта (какъ у Державина), поддѣлываться подъ тонъ народныхъ сказокъ (у Чулкова), братъ цѣликомъ народно-бытовой матеріалъ для драматическихъ пьес (у Аблесимова) и проч. Народное не получало еще полнаго права въ литературѣ, ни какъ предметъ, ни какъ форма; все еще полагалось и по старымъ реторикамъ, и по псевдо-классической манерѣ прошлаго вѣка, что оно принадлежитъ къ „низкому слогу“, тогда какъ литература стремилась въ особенности къ „высокому“; народное считалось умѣстнымъ въ поэзіи шутливой и въ комедіи (которая сама по себѣ допускали извѣстную вольность), въ идилліи и эклогѣ, гдѣ русскій воображаемый настушокъ могъ съ успѣхомъ замѣнить такого же воображаемаго Дафниса и Титира;—но уже возникновеніе народныхъ этно-

графическихъ изученій показывало, что готовится иное возрѣніе; смутно чувствовалось, что именно въ народномъ хранится что-то необходимое для нравственной жизни общества и для самой литературы.

Сантиментальная школа сдѣлала шагъ въ этомъ направленіи. Съ романтизмомъ въ литературныхъ взглядахъ произошелъ цѣлый переворотъ, сильно поднявшій и роль народного элемента. Съ виѣшней стороны, романтизмъ уже вскорѣ вытѣснилъ натянутыя и жеман-ныя формы псевдо-классической и тѣмъ далъ просторъ для нового элемента, искашаго мѣста въ литературѣ. Со стороны содержанія романтизмъ, хотя большую частію смутно понимаемый самими нашими романтиками, черпавшими его изъ трехъ разныхъ европейскихъ источниковъ, давалъ, однако, совсѣмъ иное настроеніе и складъ поэзіи; онъ разширялъ поэтическую область и вносилъ въ нее много такого, что могло бы привести въ негодованіе классика, и именно, гонясь за легендарнымъ и чудеснымъ, онъ входилъ въ народное чудесное и вообще въ народный бытъ: тамъ онъ находилъ желаемую оригинальность, простоту и новость красокъ, такъ непохожія на монотонную натянутость псевдо-классицизма и т. д. Новое направленіе очень помогло выработкѣ легкой свободной формы, при которой въ свою очередь становилось легче овладѣвать новымъ материаломъ.

Произведенія Жуковскаго были уже большимъ шагомъ послѣ Карамзина. Пушкинъ, какъ мы замѣчали выше, овладѣваетъ съ великимъ мастерствомъ народною формой и содержаніемъ (съ нѣкоторыхъ его сторонъ); его дѣятельность стала переломомъ въ развитіи нашей литературы. Съ Пушкина,—литературные идеи котораго опять питались западными источниками,—начинаются впервые правдивыя, хотя на первое время, конечно, неполныя, изображенія пародной жизни. Гоголь, воспитанный на впечатлѣніяхъ народного быта своей родины и воспринявший наслѣдіе Пушкина, выполнилъ этотъ литературный переломъ глубокой истиной своихъ изображеній; и правдивости этого реализма, которая донынѣ остается обязательной для русскаго писателя, существенно помогла вѣрному усвоенію народного содержанія. Однимъ изъ первыхъ писателей, въ которомъ удивлялись умѣнью схватывать черты народной жизни и языка, былъ этнографъ Даль; у него было дѣйствительно обширное знаніе народнаго языка и обычая, но онъ не оказалъ большого вліянія въ литературѣ, потому что въ содержаніи разсказовъ ограничивался анекдотически занимательнымъ и не проникалъ въ наиболѣе серьезныя стороны быта, которыхъ тогда были еще закрыты отъ литературы. Въ новомъ поколѣніи писателей, которые были школой Пушкина и Гоголя, отношеніе къ народному быту опредѣляется ясно. Уже Лермонтовъ, въ

великолѣпной пѣснѣ о купцѣ Калашниковѣ, далъ образчикъ глубокаго мастерства въ изложеніи народно-поэтической темы. У Тургенева, Некрасова, Григоровича, Чисемскаго, потомъ у Потѣхина и др. является рядъ замѣчательныхъ изображеній народной жизни, проникнутыхъ сознательными сочувствіями къ народу и внимательнымъ изученіемъ. Произведенія этихъ „людей сороковыхъ годовъ“ шли въ параллель съ общественными стремленіями другихъ писателей той же школы—критиковъ и публицистовъ; со стороны своего общественного смысла, онѣ возникали отчасти подъ несомнѣннымъ вліяніемъ тогдашней западной литературы, и тѣмъ не менѣе еще не было въ нашей литературѣ поры, когда бы съ такою очевидностью высказались сочувствія образованнаго слоя къ интересамъ народной массы, стремленіе защищать ея права, поднять ее изъ материальнаго и нравственнаго униженія и порабощенія, и когда бы съ такимъ успѣхомъ усвоено было искусство литературнаго изображенія народной жизни. Произведенія названныхъ и другихъ писателей были для литературы великимъ пріобрѣтеніемъ, важнымъ не только по художественному, но и по воспитательному значенію для общества. Онѣ предваряли эпоху освобожденія крестьянъ и въ своей области достойнымъ образомъ послужили великому дѣлу...

Дѣйствовавшее потомъ поколѣніе писателей продолжало трудъ этихъ предшественниковъ. Оно воспиталось подъ вліяніемъ общественного и литературного оживленія конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, и его дѣятельность займетъ любопытную страницу въ исторіи русской литературы. Эти писатели—Рѣшетниковъ В. Слѣпцовъ, Левитовъ, Глѣбъ Успенскій, Златовратскій, Наумовъ, Назарьевъ, Нефедовъ и много другихъ—посвятили себя исключительно изученію народной жизни и дали рядъ произведеній различной художественной цѣни, но рисующихъ съ небывалою до сихъ поръ правдивостью и наглядностью пародный бытъ. Видимо, народъ и его жизнь—господствующая мысль образованнаго класса, представляемаго литературой; и въ самомъ дѣлѣ, довольно самаго бѣглого обзора современной литературы, чтобы увидѣть, что вопросъ о народѣ есть всеобщая зума, идеаль и забота. Всюду одинъ глубокій и тревожный вопросъ: имъ по преимуществу занята поэтическая дѣятельность современной литературы; имъ занята публицистика, земскія экономическія изысканія; ему посвящены историческія и этнографическія изслѣдованія. Въ этой массѣ современныхъ изображеній народная жизнь проходитъ передъ нами рѣдко въ свѣтлыхъ картинахъ, которыхъ къ сожалѣнію мало даетъ дѣйствительность, а чаще въ печальныхъ чертахъ его тѣгостей, и иногда, наконецъ, въ мрачныхъ до-

трагизма вопросахъ объ отношеніяхъ этого народа къ обществу и государству.

Мы не упоминали до сихъ поръ о томъ, какую роль играли въ литературномъ развитіи народнаго интереса славянофилы.

Послѣдователи этой школы обыкновенно приписываютъ именно ей великую заслугу въ возбужденіи самого вопроса и въ объясненіи основного характера русской народности, словомъ, въ славянофилахъ видятъ главнѣйшихъ и даже исключительныхъ представителей этого движенія.

Предшествующее изложеніе можетъ достаточно указать, что это вовсе не такъ, что начало движенія восходитъ къ писателямъ XVIII вѣка, и съ тѣхъ поръ постепенно развивалось. Славянофильская школа имѣла свою роль въ развитіи народныхъ изученій, но далеко не столь обширную, какъ говорять ея приверженцы. Школа есть произведение тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, и ея первые тезисы, какъ и у ея тогдашихъ противниковъ, выросли изъ примѣненія къ нашему національно-историческому вопросу — нѣмецкой философіи. Школа заняла мѣсто въ литературѣ, когда нѣсколько даровитыхъ ея представителей выставили свою теорію, доведенную до послѣдняго предѣла исключительности. Крайность, высказанная рѣзко и, у нѣкоторыхъ писателей школы, съ большимъ талантомъ, вызвала ожесточенные споры, которые повели къ новымъ изслѣдованіямъ спорныхъ пунктовъ исторіи и народнаго быта. Въ этомъ возбужденіи была большая заслуга славянофильства. Но утверждать, что именно оно внушило даже своимъ противникамъ интересъ къ народнымъ изученіямъ и сочувствіямъ есть только историческій недосмотръ. У такъ-называемыхъ „западниковъ“, развитіе ихъ народнаго интереса идетъ отъ Ломоносова, Новикова, Радищева, декабристовъ, Пушкина, Гоголя, отъ вліяній европейской литературы; люди „сороковыхъ годовъ“, столько враждовавши съ славянофилами, какъ выше указано, самыя ясныя образомъ въ своихъ произведеніяхъ выразили глубокія народные сочувствія. Эти сочувствія были въ воздухѣ, воспринимались и развивались какъ завѣтъ прежняго развитія, внушились множествомъ вліяній современной жизни, и славянофильская школа, напротивъ, не дала ничего, подобнаго тому богатому литературному развитію, которое представляется съ 40-хъ годовъ въ дѣятельности другой стороны, вызывавшей въ нихъ такую вражду. Откуда же споръ двухъ партій, тянувшейся до настоящей минуты? Оттуда именно, что исходные пункты были различны. Различны были и результаты. Славянофильство съ самого начала приняло складъ мистическо-консервативный, ихъ противники—реально-прогрессивный.

Славянофильство, вслѣдствіе внѣшнихъ и личныхъ условій своего развитія, получило своеобразный характеръ, очень сложный, — но далеко не такой, чтобы оно могло считаться сполна представительствомъ народности. Не всѣ черты школы принадлежали каждому изъ ея представителей, но въ цѣломъ школа носила на себѣ отпечатокъ условій своего происхожденія: она образовалась въ средѣ барства, довольно независимаго, чтобы не войти въ служебную колею Николаевскихъ временъ; по своему образованію и воспринятымъ теоретическимъ понятіямъ, она очутилась въ извѣстной оппозиції съ тогдашними чиновническими властями, которымъ не нравились и казались подозрительны всякия, равно восточные и западные, проявленія самобытнаго общественнаго чувства; но въ то же время она стояла въ извѣстномъ барскомъ отношеніи къ народу, которому давала себя въ истолкователи и представители; состоя изъ москвичей, она отличалась крайнимъ московскимъ партикуляризмомъ, и наки-пѣвшее недовольство „порфироносной вдовы“ отплачивала ненавистью къ Петербургу; толчокъ и основанія къ философскому установленію своего ученія школа получила изъ гегелевской философіи, которая въ тѣ годы имѣла вообще большое вліяніе въ передовомъ литературномъ кружкѣ; и затѣмъ школа усвоила себѣ археологическіе идеалы, которыхъ, по-правдѣ, некуда приложить въ настоящей политической жизни и къ которымъ искренно былъ привязанъ развѣ одинъ Константинъ Аксаковъ, идеалистъ и мечтатель, и заявляла сочувствія къ современной бытовой народности, которая сознательно принималъ, быть можетъ, одинъ только Петръ Кирѣевскій; многие другіе изъ славянофиловъ знали и любили народъ не больше, чѣмъ многие изъ „западниковъ“. Такимъ образомъ, школа представляеть не какое-нибудь непосредственное откровеніе народности, произшедшее отъ мистического наитія народнаго духа, а сложность разнаго рода источниковъ, иногда народу совсѣмъ чужихъ; отсюда возможно было то явленіе, которое въ тайнѣ смущало многихъ, искренно ей вѣрившихъ, напр., что кп. Черкасскій, одинъ изъ становъ школы, былъ въ то же время самымъ сухимъ и рѣзкимъ бюрократомъ, что газета „Русь“ свободолюбіе и народолюбіе старой школы могла мирить съ такою же бюрократическою паклонностью командовать народною жизнью, съ порядочнымъ общественнымъ обскурантизмомъ. Въ прежнее время крайняя несвобода нашей печати побуждала многихъ преувеличивать цѣну оппозиціонныхъ заявлений школы; потомъ, когда виѣшнее положеніе школы бывало вполнѣ благопріятно, становилось ясно, что ея старая теорія была идеалистической фантазіей, совершенно непримѣнимой къ жизни, а въ рукахъ своего послѣдняго главы школа забывала даже свое прошедшее; „Русь“

иногда мало чѣмъ отличалась отъ „Московскихъ Вѣдомостей“. Школа не оставила прямыхъ продолжателей; у тѣхъ, кто выдаетъ себя за преемниковъ ея заслуги, именемъ народа можетъ прикрываться недвусмысленный обскурантизмъ и сомнительное народолюбіе; ихъ противники не дѣлаютъ изъ народа ни ширмы, ни идола, но указываютъ на самыя дѣйствительныя тягости его положенія, материальнаго и нравственнаго, и думаютъ, что если желать, чтобы „народъ“ былъ рѣшавшимъ принципомъ, онъ долженъ сначала выйти изъ покрывающей его темноты, и путь къ этому—не мистика, и возвращеніе „домой“, а общественная свобода и просвѣщеніе.

Безпристрастная исторія нашей общественной образованности послѣ Петра должна будетъ сказать, что эта образованность была не только не измѣнной, но, напротивъ, постояннымъ и успѣшнымъ стремленіемъ къ народу, къ сознательному единенію съ нимъ въ общей нравственно-общественной дѣятельности и просвѣщеніи. Истиннаго „единства“ не знала и старая Россія: единство тѣхъ временъ было единство безсознательной патріархальности, уже тогда отживавшей свой историческій періодъ; новая образованность искала единства сознательнаго, какое дается просвѣщеніемъ и участіемъ къ улучшенію быта народныхъ массъ, материальнаго и нравственнаго. Петровская реформа была первымъ рѣшительнымъ шагомъ на этомъ пути; самый путь былъ уже намѣченъ предъидущей исторіей: дальнѣйшее развитіе русскаго народа было немыслимо безъ усвоенія существовавшей образованности, но первыя попытки были слабы, тѣсны, боязливы; Петръ иовель дѣло съ чрезвычайной силой, даже насиліемъ, которыя явились какъ мѣрка созрѣвшей потребности. Эта потребность не всѣми, чувствовалась, и вслѣдствіе вѣкового застоя введеніе иноземной науки многими встрѣчено съ предубѣждениемъ, даже непавистью; но болѣе приготовленная часть общества примкнула къ реформѣ съ восторженными сочувствіями и къ геніальной личности преобразователя, и къ самому дѣлу. Доказательствомъ того, что сочувствія были искреннія, что въ нихъ сказывалось дѣйствительно чувство глубокой національной необходимости, служать всѣ дальнѣйшіе успѣхи образованія и литературы. Давно уже не было настойчивыхъ требованій власти; преемники Петра продолжали дѣло его вяло, часто только по необходимости, чтобы не уронить своего достоинства, отставал отъ славнаго преданія; государство ограничивало дѣло образованія цѣлями казенной надобности, и не разъ сурово напоминало, что не хочетъ знать широкихъ требованій мысли и знанія,—словомъ, чистый интересъ науки и обра-

зованія мало находилъ поддержки, а иногда встрѣчалъ уже и прямой отпоръ со стороны всемогущей власти; не мало предстояло бороться съ косностью большинства даже верхняго слоя общества; и несмотря на все это, образованіе росло не только числомъ людей, принимавшихъ извѣстное просвѣщеніе, но и серьезностью содержанія. Образованіе стало заботой общества, а государство нерѣдко оставалось къ ней равнодушно, бывало и прямо враждебно: такъ, съ первыхъ десяти-лѣтій нынѣшняго вѣка, когда было основано нѣсколько новыхъ университетовъ, правительство заподозрѣвало ихъ науку (скромное повтореніе западной и немногія попытки своей), и съ тѣхъ поръ университеты никогда не пользовались особымъ расположениемъ власти. Науку двигали и одушевляли общественные силы. Правда, государство все-таки, для подготовки служилаго сословія, доставляло необходимѣйшія матеріальныя средства—основаніемъ школъ и т. п., но въ нихъ не было мѣста для свободной науки, и ея идея сохранилась и развилась только благодаря укрѣпившимся научнымъ потребностямъ общества. Такимъ же образомъ, литература, особенно въ послѣднее время, была чисто созданіемъ общественной силы; государство держало только надъ нею цензурную опеку, и какимъ тѣжкимъ, часто невыносимымъ бременемъ была эта опека—извѣстно достаточно. Тѣмъ больше была заслуга литературы, которая среди бюрократическихъ помѣхъ, успѣла выростить и сберечь свои лучшіе идеалы.

Исторія нашей образованности была чрезвычайно сложна, какъ и естественно было ожидать на переходѣ народа отъ патріархально-деспотического московскаго царства къ государству новѣйшаго склада, отъ невѣжества къ какому бы ни было, по образованію; притомъ государство, которое на первый разъ явилось намъ образцомъ, было извѣстное „полицейское государство“... Все это должно было перебродить въ русскомъ обществѣ, и это броженіе отразилось множествомъ странныхъ явлений, увлеченій, ошибокъ, нелѣпой подражательности, грубости понятій и т. л. Оттого въ самой литературѣ всегда была особенно сильна наклонность къ сатирѣ, отъ сатиры книжной до самой реальнай, отъ временъ Каптемира до Салтыкова,—наклонность къ такъ называемому отрицанію. Но за всѣмъ тѣмъ, въ образованности нашей съ самого начала явились и донынѣ неотступно развиваются стороны вполнѣ положительныя: въ общихъ понятіяхъ — постоянно укрѣплявшееся усвоеніе научнаго знанія, во внутренней общественной жизни—укрѣплявшееся сознаніе народнаго интереса. Это послѣднее прошло различныя степени, начиная отъ слабаго пониманія этого интереса, поглощенаго государствомъ, и отъ полной почти невозможности заявить самый вопросъ; оно прошло потомъ

разных болѣе или менѣе узкія, даже фальшивыя точки зрѣнія, напр., когда знали только панегирики „доблестямъ“ русскаго народа и восхищались добродѣтелями Фрола Силина, или когда любили рассказывать о талантахъ „простого русскаго мужичка“, обѣ его „сметѣѣ“, дѣлающей ненужную школу, и т. п., или поддѣливали русскую народность въ тонѣ чувствительно-патріархальномъ, обскурантно-мистическомъ и т. д.; и наконецъ, въ наше время, съ начатымъ разрѣшениемъ главнѣйшей тѣгости, лежавшей на народѣ, приходитъ къ постановкѣ народнаго вопроса въ его дѣйствительномъ смыслѣ.

Было время, когда подъ напоромъ этихъ влечений общества былъ официаlьно заявленъ принципъ „народности“... Это заявленіе имѣло свое долю нравственнаго вліянія, ставя хотя неясную цѣль однимъ, воздерживая грубый эгоизмъ другихъ; но, заявленіе различнымъ образомъ само себѣ противорѣчило: начало „народности“—въ крѣпостной формѣ, было внутреннимъ противорѣчіемъ, и дѣйствительно вязалось съ самыми грубыми его искаженіями. „Народъ“ этой точки зрѣнія былъ—нѣчто въ родѣ театральныхъ пейзанъ, стоявшихъ на заднемъ планѣ въ разноцвѣтныхъ костюмахъ, какъ фонъ для картины съ маркизами на первомъ планѣ, поющіхъ пѣсни простодушнаго веселія и преданности; за кулисами съ этими пейзанами имѣли дѣло бурмистры и становые. Многимъ мнимымъ представителямъ народа и теперь хотѣлось бы такого или подобнаго порядка вещей, но крестьянская реформа и сопровождавшій ее ростъ общественнаго сознанія произвели иную точку зрения. „Народъ“, въ отдѣльности отъ „общества“ (или отъ „сословія“), есть наибольшая масса цѣлой націи; это—не малолѣтніе, которыхъ всегда слѣдуетъ водить на помочахъ; имя народа никакъ не вывѣска того оракула, вмѣсто кото-раго, какъ въ извѣстной баснѣ, говорилъ спрятавшійся за истукана ловкій шарлатанъ; „народъ“—это такие же люди, какъ „общество“, люди христіански намъ равные; по освободившему ихъ закону—не рабы, а граждане; экономически—несущіе на себѣ главную государственную тѣготу, своими трудами доставляющіе средства государству и обществу, но донынѣ крайне неустроенные, слишкомъ часто бѣдствующіе и имѣющіе все право на помощь и заботу для своего материальнаго обеспеченія и для своего просвѣщенія. Народное благо—высшая цѣль и критеріумъ государственной и общественной дѣятельности; но чтобы можно было сослаться на голосъ народа, чтобы знать дѣйствительное содержаніе народности, нужно, чтобы, она могла высказаться и быть сознанной; нуженъ больший просторъ для народной (земской) жизни и просвѣщенія, чтобы за истинную, подлинную народность не выдавались темные инстинкты временъ рабства и невѣжества. Въ настоящее время „народъ“ несомнѣнно пере-

живаетъ критическую эпоху: по общему отзыву знающихъ наблюдателей, старый бытъ подъ вліяніемъ новыхъ условій отживаеть и падаетъ, нарождаются новые явленія экономической и нравственныя, и въ пору этого кризиса особенно настоятельно требуется кроме материальной заботы и настояще „народное просвѣщеніе“ и свобода для общественной мысли,—только это могло бы устранить печальная явленія, которыя порождаются умственною беспомощностью массы и внутреннимъ броженіемъ общества. Съ другой стороны, отъ тѣхъ, кто берется говорить о потребностяхъ народной жизни, особенно говорить будто бы отъ имени народа, тѣмъ больше требуется честное отношение къ дѣлу и тѣмъ постыднѣе намѣренная ложь, разсчитанная на личную выгоду и интересъ партіи.

ГЛАВА II.

Понятія о народности въ XVIII вѣкѣ.

Послѣ реформы, въ теченіе XVIII вѣка, произошелъ въ русской жизни слѣдующій поворотъ въ образовательномъ отношеніи. Въ прежнее время народъ и высшія сословія („общество“) составляли по складу своихъ понятій почти однородную массу—однородную по бытому и идейному преданію, или по скучности свѣдѣній, не нарушающей ни въ чёмъ этого преданія, по безграничному суевѣрію, по недовѣрію къ научному знанію природы, въ которомъ видѣли волшебство и дѣйствіе нечистой силы;—кстати представителями этого знанія являлись иноземцы, заподозрѣнныя впередъ за поганое латыниство и люторство. Немногія исключенія въ этомъ порядке составляли люди, усвоившіе кіевское образованіе или другими случайными путями успѣвшіе познакомиться съ пользой и интересомъ иноземной науки и ея безвредностью для душевнаго спасенія.—Съ появлениемъ новой школы, съ посылкой русскихъ молодыхъ людей въ ученье за границу, эти исключенія стали умножаться, и вскорѣ, еще при Петрѣ, образовалась хотя все не многочисленная, но уже ясно опредѣлившаяся группа людей нового образованія. Въ этомъ особенно и состоялъ тотъ „разрывъ“ съ народомъ, въ которомъ полагается извѣстной школой преступленіе Петровскаго периода. Мы объясняли въ другомъ мѣстѣ, что существенный „разрывъ“,—который бывалъ у насъ, какъ и у всѣхъ народовъ,—совершился гораздо раньше неравенствомъ состояній, которое давнымъ-давно было узаконено въ неравенство общественныхъ правъ; паденіемъ народныхъ учрежденій; господствомъ приказнаго чиновничества; крѣпостнымъ правомъ. Различие образованія, которое теперь (въ силу этого стараго неравенства) доставалось почти исключительно служилому сословію или высшему классу, увеличило, повидимому, разстояніе между ними, прибавило

разницу понятій, производимую образованіемъ; но въ дѣйствительности, этой новой „разрывъ“ былъ знаменательнымъ историческимъ шагомъ къ общественному самосознанію, которому предназначено примирить общество и народъ, связать ихъ въ единое нравственно-общественное цѣлое. Въ освобожденіи крестьянъ мы видѣли уже одинъ великий фактъ этого исторического процесса.

Современники и позднѣйшіе историки вообще изображали наступившій поворотъ какъ яркій контрастъ старого и нового, и контрастъ дѣйствительно былъ. Въ литературѣ, отражавшей событія, произошла также глубокая перемѣна. Литература, нѣкогда однородная, раздвоилась и распредѣлилась по разнымъ классамъ общества. Старая письменность въ образованномъ классѣ совсѣмъ забылась: здѣсь церковно-лѣтописный складъ старой книжности смѣнился новымъ складомъ содержанія, которое почерпалось изъ западной школы и литературы, и новымъ складомъ языка, который стремился къ сближенію съ языкомъ жизни; новая литература выростала подъ вліяніями новой свѣтской образованности, принадлежавшій по преимуществу высшему общественному классу, дворянству и чиновничеству, военному и гражданскому. Въ эту литературу перешли высшіе интересы научного знанія и поэзіи, выросшихъ подъ вліяніемъ новыхъ условій и возбужденій. Старая письменность продолжала храниться въ народномъ грамотномъ классѣ: купцы, посадскіе люди, грамотные крестьяне продолжали читать старыя душеспасительныя книги, почерпали историческія познанія въ „Хронографахъ“ и „Космографіяхъ“, увеселялись старинными повѣстями и сказками. Въ какой обширной степени старая письменность продолжала жить въ прошломъ столѣтіи, свидѣтельствуютъ массы ея памятниковъ разнаго рода въ спискахъ XVIII столѣтія и цѣлая литература пародныхъ картинокъ, начало которыхъ восходитъ къ до-Петровской старинѣ.

Двѣ литературы, какъ два образованія и два склада нравовъ, были, конечно, крайнимъ контрастомъ *по существу*; этотъ контрастъ и признается обыкновенно какъ рѣзкій исторический фактъ. Но взглянувшись ближе въ дѣйствительность, въ этомъ представлениі надо сдѣлать весьма существенныя ограниченія и оговорки. На практикѣ противоположность не была такою крайнею, и вообще, реформа, круто проводившаяся въ области государственной и служебной, не такъ быстро овладѣвала нравами и обычаями. Историческое преданіе, запомнившее деспотическую мѣры Петра Великаго въ исполненіи его плановъ; дальнѣйшее распространеніе европейскихъ обычаевъ; новѣйшіе доктринерскіе споры о значеніи преобразованія,— создали вообще преувеличенное представление объ этой сторонѣ периода реформы, и оно теперь только можетъ быть пропрѣено, съ ближай-

шимъ изученiemъ тогдашней жизни. Въ самомъ дѣлѣ, перемѣна въ нравахъ, даже въ наиболѣе образованномъ классѣ, была не такая быстрая и глубокая, какъ обыкновенно думаютъ; самое образованіе распространялось не такъ сильно и охватывало не такую массу людей, чтобы перемѣна могла считаться столь внезапной и рѣшительной. На противъ. Извѣстно теперь, что самъ Петръ, при всемъ несомнѣнномъ желаніи передѣлать въ извѣстныхъ отношеніяхъ нравы, при всей ненависти ко многимъ явленіямъ старины, при всей несомнѣнной ломкѣ въ арміи, флотѣ, гражданскихъ учрежденіяхъ, школѣ, книжности,—что *потомъ* отразилось новыми формами общественности и типами людей,—вовсе не былъ врагомъ бытовыхъ обычаевъ, гдѣ они не мѣшали его намѣреніямъ, и самъ соблюдалъ такие обычай. Его сподвижники первого поколѣнія были приверженцы исполнители его дѣла, но помнили, однако, хорошо старые обычай, окружавшіе ихъ повсюду въ казенной службѣ. Семейный и народный бытъ были исполнены этой старины, и послѣ насильственныхъ мѣръ Петра, направленныхъ только на нѣкоторые исклучительные старые обычай (какъ, напримѣръ, невѣжество и умственную лѣнЬ старого боярства, азіатское заключеніе женщины, разныя челѣпныя суевѣрія и предразсудки), на старицу уже не было никакого особенного давленія кромѣ того, какое дѣлалось само собою, естественнымъ ходомъ развивавшейся новизны, потребностями общественной жизни и просвѣщенія. Второе и третье поколѣніе въ своихъ болѣе серьезныхъ представителяхъ были такими же русскими людьми по складу своихъ бытовыхъ понятій и не чувствовали разлада съ народностью, который имъ налагивали наши историки. Средина XVIII вѣка наполнена царствованіемъ Елизаветы; историкамъ оно представляется какъ время русской национальной реакціи (т.-е. побѣды надъ придворной нѣмецкой партіей), хотя западное вліяніе продолжалось. Замѣчательнѣйшіе дѣятели литературы первой половины вѣка, величайшіе поклонники Петра, были самые несомнѣнныя русскіе люди, напр., не только доморощенный самоучка Посошковъ, но Ломоносовъ, прошедший заграничную школу и высоко ее чтившій, Татищевъ, котораго уже винили въ вольнодумствѣ, даже Кантемиръ и проч., писатели, усиленно работавшіе для введенія въ нашу литературу иноземнаго содержанія и стиля. Чѣмъ больше разрабатывается біографія историческихъ дѣятелей прошлаго вѣка, именно изъ того образованнаго дворянскаго класса, который считается по преимуществу „оторваннымъ“ отъ народа,—тѣмъ больше біографы находятъ ихъ людьми чисто-русскаго склада, съ воспитаніемъ, основаннымъ на впечатлѣніяхъ русскаго быта и преданія; они были болѣе специфически „русскими“, чѣмъ нынѣшніе образованные люди съ самими

славянофилами включительно,—такъ что навязывается вопросъ: въ чёмъ же эти люди „оторвались“ отъ народа?

Если народъ становился все-таки дальше отъ высшихъ образованныхъ классовъ, то внешняя общественная причина этого была, какъ мы сказали, отношеніе этихъ классовъ къ народу, какъ помѣщиковъ и чиновниковъ къ крѣпостнымъ; и злоупотребленія первыхъ, вообще равнодушно принимавшіяся самою властью, стали главнымъ источникомъ народнаго раздраженія и недовѣрія къ барству; затѣмъ известное образованіе произвело разницу понятій, гдѣ, перевѣсь познаній былъ не на сторонѣ наивнаго и суевѣрнаго невѣжества; бывали, наконецъ, примѣры, что люди высшихъ классовъ дѣйствительно отрывались отъ народности до нелѣпой французоманіи, до незнанія русскаго языка,—но это составляло принадлежность исключительно той высшей общественной сферы, которая и донынѣ остается въ томъ же безучастномъ отношеніи къ русской жизни: известное число великосвѣтскихъ хлыщей и барынь донынѣ живутъ въ состояніи межеумковъ, сохранившихъ изъ русской жизни только крѣпостническіе вкусы и, конечно, крайне далекихъ отъ настоящаго европейскаго просвѣщенія.

Словомъ, корень удаленія „общества“ отъ народа заключался въ крѣпостничествѣ и въ томъ покровительствовавшемъ ему общественному режимѣ, который дѣлалъ сближеніе съ народомъ невозможнымъ для просвѣщеннѣйшихъ людей, на которыхъ этотъ упрекъ и не можетъ пасть. Болѣе просвѣщенные люди старались о смягченіи этого режима, въ чёмъ и заключалась дѣйствительно важнѣйшая потребность общества. Новиковъ и Радищевъ погибали при злорадныхъ апплодисментахъ крѣпостниковъ. Власть не могла одобрять Чацкаго, но еще раньше подняли противъ него вопль сами люди „общества“, конечно не въ силу того, чтобы приверженность къ иноземному оторвала ихъ отъ народа, а именно въ силу освященнаго закономъ крѣпостничества: они были націоналы, а Чацкій—приверженецъ запада.

Но вѣдь несомнѣнно же, скажутъ намъ, что общество наше не только XVIII-го, но и XIX-го вѣка, и почти до нашихъ дней, жило подражательностью, заимствованіемъ чужого, забывало національныя черты быта, народной поэзіи, искусства, нравовъ, и пр.? Да, но слѣдуетъ вдуматься въ разные мотивы и размѣры этой подражательности и оторванности.

Принятіе нѣкоторыхъ иноземныхъ обычаевъ было очень естественно, безобидно, наконецъ, благотворно, и во многихъ случаяхъ началось задолго до Петра. Если Петръ заводилъ ассамблей, это былъ естественный протестъ противъ теремной жизни, которую мудрео-

исторически и нравственно защищать: женщина пріобрѣтала свое личное право, вступала въ общество, ей становилось доступно образование, нравственное вліяніе въ семье и обществѣ; ассамблея была не нарушеніемъ народнаго обычая,—народъ собственно не зналъ темы, составлявшаго принадлежность зажиточнаго класса,—а отмѣной привившагося обычая восточнаго. Перемѣна одежды, длинной восточной на короткую западную, могла быть непріятна насильственностью; но эта перемѣна не впервые была сдѣлана Петромъ, и западная одежда опять смѣняла не только русскія, но и восточные платья. Въ прежнее время, въ XVI вѣкѣ, у насъ прямо начинали входить восточные моды, доходившія до бритья головъ и ношенія „тафы“, татарской ермолки; бритье бородъ началось еще при Василіи Ивановичѣ¹⁾.

Нѣкоторыя изъ нововведеній были таковы, что, составляя дѣйствительную потребность возникающей общественности, не могли найти для себя основанія въ соотвѣтственномъ русскомъ обычай. Таковы были ассамблеи: въ быту русскаго боярства не было формы общественного собранія мужчинъ и женщинъ, общаго препровожденія времени. Театръ, установившійся въ XVIII-мъ вѣкѣ (собственно долго спустя послѣ Петра) впервые введенъ былъ—при самомъ дворѣ—еще во времена царя Алексѣя, въ разгарѣ московскаго царства, какъ примѣръ такой же нарождавшейся потребности, для которой не было опоры въ русскомъ обычай: этотъ театръ при царѣ Алексѣѣ былъ иностранный. Совершенно такъ продолжался театръ въ XVIII вѣкѣ, когда при дворѣ держалась итальянская опера, французскіе спектакли, балетъ, къ которымъ только долго спустя присоединилась русская сцена,—и зрителей, придворныхъ, надо бывало обязывать подпиской къ посѣщенію театра. Съ тѣхъ поръ театръ оставался дворцовой монополіей, и теперь, когда національные вкусы очень развиваются, друзья искусства и приверженцы народа хлопочутъ о доставленіи этой *иностранный* затѣи народной публикѣ. Очень большая доля иноземнаго входила въ жизнь черезъ иностранное устройство арміи и флота: цѣлый запасъ иностранного входилъ чрезъ школу, научныя знанія, наконецъ литературу. На огульный счетъ, все это была масса всевозможной иноземщины,—но гдѣ же было въ русской національной жизни что-либо, дававшее въ этихъ случаяхъ возможность обойтись безъ иноземщины? И необходимости ея достаточно указывается тѣмъ, что очень многія изъ всѣхъ этихъ нововведеній, чутъ не всѣ, впервые, хотя слабо, возникали

¹⁾ Ср. разныя подробности у Костомарова, „Очеркъ домашней жизни и нравовъ въ XVI и XVII стол.“, 3-е изд. Спб. 1887; Забѣлина, „Домашній бытъ русскихъ патрій и царницъ“, 1862—69.

задолго до Петра. Новѣйшіе обличители реформы видѣли въ изобилії иноземщины неуваженіе къ своей народности, но справившись съ фактами, мы убѣждаемся, что у людей реформы не только отсутствовала мысль объ униженіи своей народности, но, напротивъ, была прямая забота о возвышеніи „российской славы“: иноземное было не цѣлью, а средствомъ, и люди реформы спѣшили только скорѣе имъ воспользоваться; борьба противъ старого застоя была иногда суровая (по *старой* привычкѣ къ суровости), но велась она не противъ народности, а за нее, за ея возвеличеніе. Мысль о *русскомъ* благополучіи, о *русскихъ* успѣхахъ въ войнѣ, наукахъ, промыслахъ и т. д. была господствующая; за русскую народность не было ни малѣйшаго опасенія, не возникало о томъ мысли у самихъ дѣятелей, потому что дѣйствительно она всей силой національного характера, и въ частности цѣлой массой преданій, нравовъ и пр., господствовала надъ входившей иноземщиной, которая въ ея средѣ была небольшимъ процентомъ, сливавшимся и исчезавшимъ.

Петръ сталъ *народнымъ лицомъ*, героемъ народной поэзіи; въ народныхъ представленіяхъ образовался новый типъ царя,—не царя-лѣнивца и полу-монаха XVI—XVII столѣтія, а царя энергического, дѣятельного, всюду проникающаго, дѣйствительно идущаго впереди своего народа.

Нападенія на подражательность западу, на „галломанію“ тогдашняго общества стали ходячей фразой еще съ прошлаго вѣка. Но, свѣряя дѣло съ фактами, нельзя не увидѣть, что въ этихъ нападкахъ была значительная доля недосказанности, или прямо лицемѣрія, и у позднѣйшихъ историковъ, быть можетъ, еще больше, чѣмъ у современниковъ. Выше мы упоминали, что число слѣпыхъ подражателей и настоящихъ „галломановъ“ было во всякомъ случаѣ не такъ велико, чтобы они представляли опасность для національной жизни; качество „галломанства“ въ громадномъ большинствѣ было слишкомъ поверхностное, и оно заслуживало развѣ только водевильной шутки. Национальное чувство могло бы достаточно успокоиться тѣмъ, что немудреныя обличенія „галломаніи“ (по новѣйшему, „европейничанья“) были чрезвычайно изобильны,—начиная отъ Фонь-Визина и... до Достоевскаго, и находили всегда сочувствие въ массѣ общества.

Мы видѣли, наконецъ, въ предыдущей главѣ, что все движеніе науки и литературы, т.-е. наиболѣе просвѣщенной части общества, шло именно къ изученію народности, къ ея осмысленію, къ историческому возстановленію ея прошлаго, къ пониманію настоящаго. Обращеніе къ западу и его знанію именно и дало первыя дѣйствительныя средства къ этому изученію; идеи западнаго просвѣщенія

сообщали болѣе гуманный взглядъ на народъ, учили уважать въ рабѣ человѣческое достоинство, готовили мысль о необходимости освобожденія. Это была неизбѣжная ступень общественного и национального самосознанія, такъ-какъ послѣднее могло совершиться только на почвѣ критической мысли, а не наивно-эпической фантазіи.

Возвращаемся къ отношеніямъ двухъ литературъ старой и новой. Судьба ихъ не могла быть иная. Новое общество, въ самыхъ серьёзныхъ своихъ запросахъ, не могло найти пищи въ старой письменности; новая литература обращалась къ западному образованію, открывавшему *содержаніе*, о какомъ не имѣла понятія (или получала только слабые отдаленные намеки) старая письменность, и это содержаніе естественно привлекало людей новаго порядка; вмѣстѣ съ тѣмъ, безъ обращенія къ западнымъ литературамъ не было средствъ пріобрѣсти тѣ *формы*, которыхъ были необходимы для болѣе широкаго литературнаго развитія: не было образцовъ для эпоса, романа, лирики, драмы,—какъ въ жизни не было формъ болѣе свободнаго общежитія, интересовъ искусства и простого техническаго знанія по всѣмъ его отраслямъ. XVII-й вѣкъ уже чувствовалъ эту самую потребность, что и выказалось давними неумѣлыми попытками усвоить западный романъ, драму, легкую поэзію, комедію Мольера, а наконецъ, двумя-тремя удачными опытами самостоятельной русской поэзіи.

Какое же было въ частности отношеніе новаго образованія и литературы къ *народности*?

Вопросъ объ этомъ отношеніи спутывается обыкновенно тѣмъ, что новѣйшие историки, обоихъ направленій, вносятъ въ сужденія о тѣхъ временахъ нынѣшнія понятія о значеніи народности и забываютъ объ условіяхъ, въ которыхъ начиналась дѣятельность литературы въ тѣ времена.

Прежде всего, въ тѣ времена вопросъ о народности, какъ ставить его теперь, совсѣмъ не существовалъ.

Настоящая основа нашего понятія о народности есть вовсе не мысль о возвращеніи отъ чего-то чужого къ своему, какъ это представляютъ славянофилы, — а мысль объ освобожденіи народа, о расширеніи его общественного права, о введеніи его интересовъ въ область гражданской жизни и просвѣщенія. Это—понятіе существенно новое, развившееся подъ многоразличными вліяніями и особенно подъ вліяніемъ именно западной образованности, вызвавшей чувство человѣческаго достоинства въ личности и чувство достоинства народнаго. На переходѣ отъ XVII къ XVIII столѣ-

тію, еще не очень далеко отъ среднихъ вѣковъ, не только у нась, но и вѣ самой западной Европѣ, собственно „народъ“ былъ служебная масса, которая поставляетъ материальныя средства государства—и даже буквально поставляла, напр., припасы для царского двора—и не можетъ имѣть никакого притязанія на политическую и общественную равноправность¹). У нась, это понятіе о народѣ было унаследовано отъ московского царства, и Петръ, если отягчилъ положеніе массы, требуя большей службы для государства, то слѣдовалъ только прежнему направленію. Но отрицаніе народнаго обычая? Это была одна черта въ цѣломъ процесса реформы, а на реформу должно смотрѣть, какъ на борьбу двухъ историческихъ началъ,—и здѣсь большинство национальной массы стало на сторонѣ, защищаемой Петромъ. Свидѣтельство—вся дальнѣйшая исторія Россіи. Новѣйшее стремленіе къ народности,—не въ понятіяхъ ограниченныхъ людей или фанатиковъ, а людей здравомыслящихъ,—было нимало не отрицаніемъ, а, напротивъ, ревностнымъ развитіемъ реформы. На счетъ реформы ставятъ обыкновенно господство немцевъ при дворѣ и въправленіи, преторіанскія безобразія прошлого вѣка и т. д.; но эти факты относятся къ политическому безправію русского общества, а оно было дѣломъ давнимъ и вкоренившимся, и при этомъничтожество преемниковъ Петра легко давало возможность къ преторіанскому господству. Царствованіе Елизаветы считается возстаніемъ русской народности противъ иноземщины, но основное направленіе образованности не измѣнилось; это было время дѣятельности Ломоносова, безусловного поклонника и послѣдователя реформы.

Ни Петру, ни его приверженцамъ и послѣдователямъ, какъ мы говорили, не могла бы вмѣститься въ голову мысль, чтобы они были противниками русской народности; такая мысль показалась бы имъ безумной, и справедливо: именно русской народности посвящена была вся ихъ самоотверженная работа. Дѣло въ томъ, что понятіе народности, неизвѣстное тогда въ его спеціальномъ новѣйшемъ смыслѣ, совмѣщалось въ национальномъ чувствѣ, и съ этой стороны дѣятели реформы, общество и самая народная масса были удовлетворены,

¹) Намъ дѣлали упрекъ, что мы забываемъ о земскихъ соборахъ. Это было дѣйствительно прекрасное начало, но мы не вводимъ его въ общія очертанія старого быта по слѣдующей причинѣ: земские соборы были историческимъ остаткомъ отъ прежней народоправной старины, къ истребленію которой стремилось московское единовластіе и, наконецъ, этого достигло. Это было не развивавшееся, а истребляемое, отживавшее начало,—отживавшее потому, что оно не могло себя защитить; начало патріархальное, которое по существу уже отрицалось московскимъ порядкомъ, а вовсе не было именно его достояніемъ и достоинствомъ. Если земские соборы могутъ быть политическимъ идеаломъ, то лишь пройдя чеरезъ иныхъ воззрѣнія, въ формѣ сознательного, опредѣленного, а не патріархального учрежденія.

исключая только періодъ бироновщины, когда господствовала придворная партія, поднятая, впрочемъ, самодержавною императрицей. Петръ Великій ни мало не думалъ превращать русскихъ въ шведовъ или голландцевъ; онъ просто желалъ, чтобы русскіе были не глупѣе шведовъ и голландцевъ. Какъ съ реформой, въ понятіяхъ ея приверженцевъ, отождествлялись успѣхи и слава „rossijskago народа“, такъ литература, среди явнаго и нескрываемаго подражанія нѣмцамъ, французамъ и проч., мечтала о томъ, чтобы русскіе, не уступая европейцамъ, имѣли *своихъ* Платоновъ и Невтоновъ, своихъ Расиновъ, Корнелей и даже Вольтеровъ. Убѣжденіе, что доморощенныи Расины и Корнели были *самые русскіе*,—было полное, и въ доказательство являлись трагедіи съ Рюриками, Хоревами, эпическія поэмы съ Владиміромъ, Ioannомъ, баснословные романы изъ временъ русскаго язычества съ жрецами Перуна, комедіи, гдѣ рядомъ съ Скипинами простодушно ставились русскія имена, и т. д. Но мало-помалу въ чужую условную форму стала все больше пробиваться настоящая русская жизнь,—въ комедіи Фонъ-Визина послышались взятыя прямо изъ дѣйствительности рѣчи, когда еще дѣйствовалъ Ломоносовъ, когда еще неизвѣстенъ былъ Державинъ. Начинались нападки на галломанію; нападавшіе не подозрѣвали, что сами были повинны въ ней, копируя французскія книги, но они замѣтили ее въ нравахъ и осудили, повинуясь инстинктивному національному чувству.

Представленіе о народности, особенно господствовавшее въ литературѣ прошлаго вѣка, было окрашено псевдо-классицизмомъ. Французскій ложный классицизмъ имѣлъ свои высокія литературныя достоинства, но по пониманію народнаго элемента въ литературѣ онъ былъ крайне одностороненъ, и его свойства были перенесены къ намъ. Онъ относился къ народу равно фальшиво и въ исторіи, и въ современности: въ обоихъ случаяхъ онъ не понималъ простой реальной дѣйствительности. Въ исторіи, старыя времена представлялись писателямъ того времени или эпохой героической, на манеръ классической древности, какъ она понималась школой; или эпохой патріархальности, съ невинностью первобытныхъ нравовъ, на манеръ классической идилліи и эклоги; или эпохой невѣжественной грубости. Французскій псевдо-классицизмъ презиралъ свою національную старину, не знаявшую изящнаго быта, говорившую „грубымъ“, не выlossenнымъ академіями языккомъ. Къ народу современному онъ былъ высокомѣрно равнодушенъ: въ этомъ народѣ смѣшио было искать героевъ, въ немъ допускали идиллическую патріархальность, а больше находили невѣжественную грубость и простоватость.

Въ этомъ псевдо-классическомъ взглѣдѣ на народъ не трудно

было бы прослѣдить отраженія многоразличныхъ явлений западно-европейской жизни и образованности: отголоски феодального презрѣнія къ пароду, презрѣнія школьнай науки эпохи Возрожденія къ *profanum vulgus*, литературной изысканности, пренебрегавшей грубостью народной рѣчи, и фактической подавленности народа. Этотъ взглядъ, приходившій къ намъ книжнымъ путемъ, находилъ и свои домашнія подтвержденія,—прежде всего, въ бытовыхъ условіяхъ, где народъ былъ крѣпостнымъ, „чернью“, где новая школа выдѣлялась отъ старины, какъ отъ невѣжества, и новые нравы вводили чужую изысканность. Въ литературѣ того времени мы найдемъ изобиліе примѣровъ этого псевдо-классического представлѣнія народности. Такъ оно повторилось въ историческихъ понятіяхъ о стариинѣ и народности. Героическая подкраска древности дошла до самого Карамзина вмѣстѣ съ сентиментальной подкраской сельской „невинности“, „простыхъ нравовъ“ и т. п. Современный народъ въ ходячихъ понятіяхъ былъ народъ „подлый“, правда, не въ томъ отчаянномъ смыслѣ, какой имѣть это слово теперь, но все-таки въ смыслѣ не очень одобрительномъ. Литература всевдо-классическая, занятая отвлеченными моральными идеями, поглощаемая усвоенiemъ образцовъ и имъ подчинявшаяся въ стилѣ и содержаніи, рѣдко вспоминала о народѣ; всего чаще онъ отсутствовалъ въ обиходѣ ея интересовъ, но если появлялись народныя фигуры, то или въ чертахъ крѣпостного быта, какъ подначальная масса, или въ шутливо-комическихъ, или, наконецъ, въ чувствительно-идиллическихъ.

Но рядомъ съ этимъ господствомъ псевдо-классицизма въ высшей литературной сферѣ, очень рано сказывается другое теченіе, еще мало прослѣженное, но заслуживающее вниманія. Школьная ученая литература не заглушила интереса къ народу, народному содержанію и формѣ. Въ разныхъ видахъ, съ различною силой, это влечение къ народному, стремленіе вводить его въ литературу, проявляется съ первыхъ шаговъ новой литературы, и указанный псевдо-классической взглядъ сопровождается другимъ направленіемъ—въ народную сторону. Это не было именно направленіе сознательное, ясно опредѣляющее свои взгляды и цѣли; это былъ скорѣе инстинктъ, простое побужденіе народно-національного чувства.

Первымъ источникомъ этого направленія было естественное продолженіе бытового преданія.

Относительно XVII-го вѣка есть не мало предубѣждений, не мало фальшивыхъ восхваленій и осужденій. Къ числу послѣднихъ принадлежать преувеличенные толки о внезапной измѣнѣ образованнаго класса народности, со временемъ Петра. Напротивъ, дѣдовскіе нравы жили очень долго нерушимыми, и въ разгарѣ XVIII-го вѣка, фран-

цузскихъ вкусовъ двора и крупнаго барства, подъ иноземной вѣшностью, подъ иностранными названіями жили старосвѣтскія понятія, вкусы и обычай, и въ крупныхъ, и въ мелкихъ житейскихъ отношеніяхъ. Возьмемъ нѣсколько примѣровъ.

Общество нашего времени, при всемъ развитіи научныхъ изслѣдований, стоитъ уже очень далеко отъ народнаго быта, преданій, поэзіи,—знаетъ ихъ по книгамъ и настолько, насколько успѣло усвоить разъясненія ученої и поэтической этнографіи. Въ прошломъ вѣкѣ было еще столько простоты или грубоватости быта, что даже люди высшаго барства не бывали далеки отъ „народности“, знали, а иной разъ и раздѣляли, народная понятія, суевѣрія, и услаждались народной поэзіей. Настоящій перерывъ бытового преданія совершился (очень постепенно) уже гораздо позднѣе Петра, въ теченіе XVIII-го вѣка, и въ то же самое время начиналось сознательное стремленіе къ возстановленію этой связи.

Сахаровъ, въ „Сказаніяхъ русского народа“, говоря объ извѣстномъ сборникѣ былинъ, который приписывается Кирпѣ Данилову, а по его мнѣнію сдѣланъ былъ въ Тулѣ Прокофіемъ Демидовымъ, такъ разсказываетъ о барскомъ бытѣ прошлаго вѣка, по собственной памяти и преданіямъ:

„Я зналъ и доселѣ знаю обыкновеніе тульскихъ бояръ сбирать пѣсельниковъ и сказочниковъ, слушать пѣсни и сказки. Чотѣшники,—такъ въ старину называли этихъ людей,—принимали на себя всѣ увеселительныя должности. Они за деньги нанимались: лежать мѣсяцъ на одномъ боку; простоять недѣлю на одной ногѣ; бѣгать на пристяжкѣ вмѣстѣ съ лошадью; выпивать непомѣрное число воды. Всѣ рѣдкости записывались грамотнымъ дворовымъ человѣкомъ. Потѣшники странствовали изъ одного мѣста въ другое во всю свою жизнь, и стекались толпами тамъ, гдѣ щедрость боярская давала имъ пріютъ. Чотѣшника, какъ нового гостя, приводили прежде всего посмотреть на боярскія очи. Дворецкій предлагалъ боярину искусство нового потѣшника. Начиналась проба. Если потѣшникъ нравился боярину, то его оставляли гостить; онъ долженъ былъ и сказывать сказки, и пѣть пѣсни, и творить разныя продѣлки. Въ свободное время умный дворецкій заставлялъ его обучать дворовыхъ людей новыми пѣснями и сказками. Все это дѣлалось на случай, когда боярину бывало скучно, когда не являлось новыхъ потѣшниковъ. Въ скучные часы дворецкій входилъ съ новыми пѣвцами и подавалъ книгу съ чудесными пѣснями и сказками... Таковы были въ старину увеселенія у И. въ селѣ Дѣдновѣ, у М. въ Яковлевскомъ, у И. въ Высокомъ, у М. въ Горенкахъ... Вотъ какъ составлялись сборники пѣсенъ и сказокъ“.

И действительно, біографіи и мемуары прошлого вѣка, разныя случайнія и неслучайнія свидѣтельства тогдашней литературы, даютъ множество указаній, что при всемъ господствѣ крѣпостного права, дѣлившаго помѣщиковъ отъ крестьянъ точно два разныя племени, точно побѣдителей и побѣжденныхъ, старосвѣтской помѣщичій бытъ былъ гораздо ближе, чѣмъ впослѣдствіи, къ быту народному, къ старымъ нравамъ и міровоззрѣнію. Учителя изъ дворовыхъ, „дядьки“ и няни старого времени—до классической няни Пушкина—составляли всегдашнее посредствующее звено, черезъ которое этнографическія черты народной жизни цѣликомъ доходили до сословія, которое считаютъ теперь „оторваннымъ отъ народа западною культурой“, можетъ быть, дѣлая ему этимъ слишкомъ много чести.

Крѣпостное право безъ сомнѣнія влекло за собой множество всякихъ безобразій, отъ мелкихъ притѣсненій до крупной и (за рѣдкими исключеніями) безнаказанной уголовщины—но это принадлежало не къ „оторванности“, а къ самой русской почвѣ. Напротивъ, помѣщичій бытъ былъ своего рода продолженіемъ и примѣненіемъ старого „Домостроя“. Напомнимъ одинъ фактъ, гдѣ это примѣненіе дошло до настоящей виртуозности. Во времена Петра Великаго, учился, еще юношей, „навигацкому“ искусству въ Голландіи Вас. Вас. Головинъ. Впослѣдствіи онъ жилъ въ деревнѣ, и здѣсь обставилъ свой помѣщичій бытъ курѣзными обрядностями въ чисто-русскомъ складѣ, въ стилѣ „Домостроя“. У него было заведено, чтобы къ нему ежедневно являлись съ докладомъ всѣ деревенскія власти; каждый разъ ихъ впускала горничная съ обрядовымъ причитаньемъ: „входите, смотрите тихо, смирно, бережно и опасно, съ чистотою и молитвою, съ докладами и за приказами къ барину нашему, къ государю; кланяйтесь низко его боярской милости и помните-жъ—смотрите накрѣпко!“ Начинались чинные донесенія дворецкаго, ключника, выборнаго и старости. Вотъ, напримѣръ, докладъ выборнаго: „во всю ночь, государь нашъ, вокругъ вашего боярского дома ходили, въ колотушки стучали, въ трещотки трещали, въ ясакъ звенѣли и въ доску гремѣли. Въ рожокъ, сударь, по очереди трубили и всѣ четверо между собою громко говорили. Нощныя птицы не летали, страннымъ голосомъ не кричали, молодыхъ господъ не пугали и барской замазки не клевали, на крышѣ не садились и на чердачѣ не водились“. Староста оканчивалъ свой докладъ такъ: „во всѣхъ четырехъ деревняхъ, милостію Божію, все состоитъ благополучно и здорово: крестьяне ваши господскіе богатѣютъ, скотина ихъ здоровѣеть, четвероногія животныя пасутся, домашнія птицы несутся, на землѣ трясенія не слыхали и небеснаго явленія не видали“ и т. д.¹⁾.

¹⁾ Родословная Головинъ, собранная П. Казанскимъ, М. 1847; Пекарскій, Наука и литер., I, 142—143.

Въ деревенскомъ быту старый обычай хранился иногда однаково обѣими сторонами. Помѣщики-домосѣды хорошо знали и сами исполняли требование старины въ обычаяхъ благочестія, въ повѣрьяхъ и суевѣрьяхъ, увеселеніяхъ, въ вѣрѣ въ колдовство, и т. д. Въ быту хозяйственномъ помѣщики знали и уважали крестьянскій внутренній распорядокъ и обычай¹⁾.

Напомнимъ еще классическую картину старого барского быта въ „Семейной Хроникѣ“ С. Т. Аксакова. Герой хроники, въ которомъ еще слышится дикость временъ, когда русскими боярами и помѣщиками дѣлались настоящіе татары, князья и мурзы, есть такой же вѣрный послѣдователь „Домостроя“, какіе бывали вѣроятно въ XVI вѣкѣ, и съ этой стороны онъ ни мало не „отрывался“ отъ народа. Онъ не далеко ушелъ отъ народа и по образованію. „При общемъ невѣжествѣ тогдашихъ помѣщиковъ, и Багровъ не получилъ никакого образованія, русскую грамоту зналъ плохо; но служа въ полку, еще до офицерскаго чина выучился онъ первымъ правиламъ ариѳметики и выкладкѣ на счетахъ, о чёмъ любилъ говорить даже въ старости“. Это была уже вторая половина XVIII-го вѣка! Онъ и его крестьяне совершенно понимали другъ друга, и по-своему были довольны Домостроевскимъ образомъ правленія,—по его смерти „никогда безъ слезъ о немъ не вспоминали“: домъ онъ держалъ строго; онъ былъ очень добрый человѣкъ, по свидѣтельству автора, но при случаѣ „спуску не давалъ“, свою жену уже старухой таскалъ за волосы, дочерей биваль, его неудовольствія боялись какъ огня... Двоюродная сестра Багрова, очень богатая молодая помѣщица, „страстно любила пѣсни, качели, хороводы и всякия (т.-е. деревенскія) игрища“, „всякаго рода русскихъ пѣсенъ она знала безчисленное множество“. Нѣкоторые изъ помѣщиковъ уфимскаго захолустья въ деревенской жизни совсѣмъ дичали и, по выражению автора, „обашкиривались“, —слѣдовательно „отрывались отъ народности“ совсѣмъ въ противоположную сторону, чѣмъ обыкновенно. Легко было бы размножить эти примѣры изъ бытовой жизни тѣхъ временъ. Напомнимъ еще образчики этого быта въ разсказахъ о старомъ фельдмаршалѣ Каменскомъ²⁾, или въ недавно найденныхъ и изданныхъ запискахъ Толубѣева, который въ концѣ XVIII вѣка росъ, въ Орловской губерніи, среди полнаго господства патріархальной народной старины, сохранившейся вокругъ него въполномъ цвѣту. Самыя записки—интереснѣйший этнографический материалъ³⁾.

¹⁾ В. Семевскій, Крестьяне въ царствованіе Екатерины II. Спб. 1881, въ разныхъ мѣстахъ, объ отношеніяхъ между помѣщиками и крестьянами.

²⁾ Е. Ковалевскій, „Гр. Блудовъ“. Спб. 1866.

³⁾ Записки Никиты Ивановича Толубѣева (1730—1809). Рукопись изъ собранія А. А. Титова. Спб. 1889.

Образование дворянства въ прошломъ вѣкѣ вообще было очень слабое; большинство были „люди неграмматикальные и никакихъ исторій отъ рода не читывавши“, какъ рекомендуетъ себя одинъ защитникъ крѣпостного права въ концѣ прошлаго столѣтія. Новые обычаи, конечно, заходили и въ эту среду; но въ ней легко сбирались и старинные нравы. Эта непосредственная связь съ народностью сохранялась и въ тѣхъ людяхъ этого круга, которые уже были „грамматикальны“ и дѣйствовали въ литературѣ. Читая старыхъ писателей, касавшихся народнаго быта не съ литературно-школьной точки зрѣнія, можно видѣть, что этотъ бытъ, его нравы и языкъ были имъ весьма достаточно известны (напримѣръ, В. Майковъ, Аблесимовъ, Мих. Поповъ, Н. Львовъ и проч.).

Это непосредственное чувство народности и становилось безсознательнымъ противовѣсомъ псевдо-классицизму. Интересъ къ народу возбуждается въ то же время съ серьезной общественной точки зрѣнія, какъ въ известномъ „Разсужденіи“ Ломоносова. Тредьяковскій, защищая тоническое стихосложеніе, считаетъ его наиболѣе свойственнымъ русской поэзіи, и доказательство находитъ въ народныхъ пѣсняхъ. Усердно, какъ и Ломоносовъ, перенося къ намъ псевдо-классическая правила и образцы, онъ въ то же время горячо вступается за достоинство русской народной поэзіи, къ которой тогда многие относились съ пренебреженіемъ. Тредьяковскій высказываетъ любопытное мнѣніе, что первыя народно-поэтическія произведенія принадлежали жрецамъ, и что складъ ихъ сохранился въ нашихъ народныхъ пѣсняхъ, между которыми есть очень древнія. „Народный составъ стиховъ есть подлинный списокъ съ богослужительскаго... Простонародное стихотворство, за подлость¹⁾ стихотворцевъ и материй, отъ честныхъ²⁾ и саномъ именитыхъ людей презираемо было всеконечно, такъ что и понынѣ суетно строптивые люди зазираютъ неосновательно, ежели кто народную старинную пѣсню приведеть токмо въ свидѣтельство на письмѣ“. Отвѣчая тѣмъ, кто говоритъ, что онъ взялъ новое стихотвореніе съ французского, онъ говоритъ: „поэзія нашего простаго народа къ сему меня довела. Даромъ, что слогъ ея весьма некрасный, отъ неискусства слагающихъ; но *сладчайшее, пріятнѣйшее и правильнейшее* разнообразныхъ ея стопъ, нежели тогда греческихъ и латинскихъ, *паденіе* подало мнѣ непогрѣшительное руководство“... Онъ взялъ название изъ французской версификаціи, но—„самое дѣло у самой нашей природной наидревнейшей оныхъ простыхъ людей поэзіи“.

¹⁾ Въ тогдашнемъ смыслѣ: грубость, необразованность.

²⁾ Въ тогдашнемъ смыслѣ: людей высшаго сословія.

Въ самомъ разгарѣ псевдо-классицизма съ его античными героями, натянутыми формами, въ литературѣ продолжается эта наклонность къ „природной поэзіи“, къ простому народному содержанію. Когда нашъ псевдо-классицизмъ высокаго стиля вводитъ русскихъ историческихъ героевъ въ трагедію, пытается ввести русскую жизнь въ комедію, и т. д., популярная литература охотно останавливается на рыцарскомъ волшебномъ романѣ, восточной сказкѣ, шутливой повѣсти, которые даютъ поводъ ввести въ книгу русскую баснословную старину, народную сказку, наконецъ, народную пѣсню. Еще нѣтъ прямого этнографического интереса или литературного нововведенія, но видимо чувствуется сила и красота народной поэзіи, затрогивающей непосредственное чувство, и возникаетъ желаніе ввести ее изъ круга любителей въ литературное обращеніе, наперекоръ школѣ. Нѣтъ яснаго представлениія о старинѣ, котораго не давала и только-что начинавшаяся историческая наука, — но въ чудесныхъ повѣстяхъ съ охотой выводятся сказочные и былинные богатыри; старина возставляется при помощи фантазіи, и въ русскія темы прибавляются преданія, или клочки преданій и имена западно-славянскія, сканди-навскія, литовскія, нѣмецкія, какія нашлись въ литературномъ обиходѣ.

Это направленіе обнаружилось очень рано. Новая образованность медленно одолѣвала старину и новая литература долго не могла установиться. Лишь около 1740 г. является первое стихотвореніе Ломоносова; въ 1755 основанъ Московскій университетъ; въ 1750-хъ годахъ начинается нѣсколько правильный русскій театръ; въ 1764 является первая комедія фонъ-Визина; въ 1770-хъ годахъ едва начинаетъ Державинъ, и въ эти же годы является по своему времени замѣчательный пѣсенный сборникъ, гдѣ на ряду съ книжными пѣснями, какими увеселялась нарождавшаяся читающая публика, поставлены произведенія подлинной народной поэзіи.

Замѣчательнѣйшимъ работникомъ въ этой области былъ трудолюбивый, довольно талантливый писатель, Михайло Дмитріевичъ Чулковъ (ум. 1793), московскій студентъ и сенатскій секретарь, рассказчикъ не безъ юмора и видимо большой любитель народной старины и поэзіи. Труды его даютъ образчикъ тогдашнихъ этнографическихъ понятій.

Въ 1770—74 годахъ Чулковъ издалъ въ Петербургѣ „Собрание разныхъ пѣсень“, въ четырехъ частяхъ. Второе изданіе этихъ пѣсень явилось, уже безъ имени Чулкова, въ шести частяхъ¹⁾, — это такъ

¹⁾ „Новое и полное собрание российскихъ пѣсень, содержащее въ себѣ Пѣсни Любовныя, Пастушескія, Шутливыя, Простонародныя, Хоральныя, Свадебныя, Свя-ист. этногр.

называвшійся „Новиковскій пѣсенникъ“. Сборникъ Чулкова заключалъ въ себѣ два разряда произведеній: во-первыхъ, пѣсни или романсы различныхъ тогдашихъ авторовъ, по преимуществу или исключительно любовные, и во-вторыхъ, множество пѣсень чисто народныхъ (историческихъ и другихъ), которыхъ у него впервые были занесены въ печать въ такомъ изобиліи и въ подлинной народной одеждѣ. Книга, очевидно, пришлась по вкусу читателей: это доказывается скорымъ повтореніемъ изданій и появлениемъ другихъ сборниковъ, подобнымъ образомъ соединявшихъ пѣсни сочиненные и народныя¹⁾). Впослѣдствіи, такого рода пѣсенники размножаются, и постоянно видоизмѣняясь, доходятъ до нашего времени въ произведеніяхъ—по преимуществу московской книжной торговли, имѣющей главное гнѣздо на Никольской.

Въ 1780 г. Чулковъ началъ издавать свои „Сказки“²⁾). Въ „извѣстіи“, т.-е. въ предисловіи къ книгѣ, онъ замѣчаетъ, что „издать въ свѣтъ книгу, содержащую въ себѣ отчасти повѣствованія, которыхъ рассказываютъ въ каждой харчевнѣ, кажется, былъ бы трудъ довольно суетный“, но онъ уповалъ найти свое оправданіе въ слѣдующемъ соображеніи:

„Романы и сказки,—говорить онъ,—были во всѣ времена у всѣхъ народовъ; они оставили памъ вѣрнѣйшия начертанія древнихъ каждыя страны народовъ и обыкновеній, и удостоились потому преданія на письмѣ, а въ новѣйшія времена, у просвѣщенѣйшихъ народовъ, почтили оныхъ собраніемъ и изданіемъ въ печать. Помѣщенные въ Парижской Всеобщей Вивліоенікѣ Романовъ новѣсти о Рыцаряхъ, не что иное какъ сказки богатырскія; и французская Bibliothèque Bleue содержитъ таковыя же сказки, каковыя у насъ разсказываются въ простомъ народѣ. Съ 1778 г. въ Берлинѣ также издается Вивліоеніка Романовъ, содержащая между прочими два отдѣленія: Романовъ древнихъ нѣмецкихъ Рыцарей, и Романовъ народныхъ. Россія имѣеть также свои, но оныя хранятся *только въ памяти*; я заключилъ подражать издателямъ, прежде меня начавшимъ подобный изданія, и издаю сіи сказки Русскія, съ намѣреніемъ сохранить сего

точныхъ, съ присовокупленіемъ Пѣсень изъ разныхъ Россійскихъ Оперъ и Комедій“. Въ Москвѣ, въ университетской типографіи у Н. Новикова, 1780—81. Шесть частей. Затѣмъ „Собрание разныхъ Пѣсень“ вышло „вторымъ тисненіемъ“ въ Москвѣ же, въ типографіи при театрѣ у Хр. Клаудія, въ 1788.

¹⁾ Двѣ части, прибавленные въ „Новиковскомъ пѣсенникѣ“, состоять только изъ пѣсень сочиненныхъ.

²⁾ „Русскія сказки, содержащія древнѣйшия повѣствованія о славныхъ богатыряхъ, сказки народныя и прочія оставшіяся чрезъ пересказываніе въ памяти приключенія“. Въ Москвѣ, въ университетской типографіи у Н. Новикова, 1780—83, 10 ч. Третье изданіе, сокращенное, въ 6-ти частяхъ. М. 1820.

рода наши *древности* и поошрить людей, имѣющихъ время, собрать все оныхъ множество, чтобы составить Вивліоенку Рускихъ Романовъ.

„Должно думать, что сіи приключения Богатырь Рускихъ имѣютъ въ себѣ отчасти дѣла бывшія, и есть ли совсѣмъ не вѣригъ онымъ, то надлежитъ сумнѣваться и во *всей древней исторіи*, коя по большой части основана на оставшихся въ памяти Сказкахъ; впрочемъ, читатели есть ли похотятъ, могутъ различить истину отъ баснословія, свойственного древнему обыкновенію въ повѣствованіяхъ, въ чемъ, однако, никто еще не успѣлъ.

„Наконецъ, во удовольствіе любителямъ Сказокъ включилъ я здѣсь таковыя, которыхъ *никто* еще не слыхивалъ, и которыя вышли въ свѣтъ во первыхъ (т.-е. впервые) въ сей книгѣ“.

Это извѣстіе производить въ читателѣ нѣкоторое недоумѣніе; съ одной стороны, издатель обѣщаетъ повѣствованія, рассказываемы „въ каждой харчевнѣ“, заключающія наши „древности“, хранящіяся „только въ памяти“, — но рядомъ ссылается на Bibliothèque Bleue, на рыцарскіе романы, и „въ удовольствіе любителямъ“ обѣщаетъ и такія сказки, которыхъ „никто еще не слыхивалъ“. Очевидно, здѣсь нечего искать подлинной народной старины. Этнографического пониманія не было; подлинная древность была почти неизвѣстна; за стариною признавалось значеніе только баснословное, и думали, что новѣйшій писатель можетъ смѣло пользоваться ею какъ материаломъ, можетъ исправлять и дополнять этотъ материалъ по своему усмотрѣнію. Чулковъ не усумнился, для сказочной реставраціи русской древности, взять себѣ въ образецъ „Синюю библіотеку“ и берлинское собраніе рыцарскихъ романовъ.

„Сказки“ Чулкова именно и наполнены чудесными разсказами въ этомъ вкусѣ. Богатыри не даромъ названы въ заглавіи и играютъ не малую роль въ его повѣствованіяхъ, отчасти вѣрную съ народной поэзіей, но гораздо больше произвольную. Въ началѣ книги Чулковъ посвятилъ имъ шутливое вступленіе, изъ которого видно, впрочемъ, что онъ хорошо знаетъ ихъ героическая похожденія.

„Мы опоздали выучиться грамотѣ,—говорить онъ,—и чрезъ то лишились свѣдѣнія о славнѣйшихъ нашихъ Рускихъ Иронахъ въ древности, которыхъ довольно числу надлежитъ быть въ народѣ, прославившемся въ свѣтѣ своею храбростью, и которого науки состояли въ одномъ только оружіи и завоеваніяхъ. Насильство времени истребило оныя изъ памяти, такъ что не осталось намъ извѣстія, какъ только со времени великаго князя Владимира Святославича Кіевскаго и всея Россіи“. Этотъ монархъ прославился своими побѣдами, великолѣпiemъ двора, къ которому привлекалъ людей ученыхъ и могучихъ богатырей. „Войски его учинились непобѣдимы,

и войны ужасны; понеже сражались и служили у него славнейшии богатыри: Добрыня Никитичъ, Алеша Поповичъ, Чурило Пленковичъ, Илья Муромецъ и дворянинъ Заалешенинъ... Но и удивительно ли государю премудрому и имѣющему таковыхъ богатырей, покорять народовъ?. Ибо въ старину сражались не по вынѣшнему: довольно-тогда было одной силы и бодрости. Придетъ ли войско непріятелей отъ двухъ до трехъ сотъ тысячъ: всякий монархъ, не имѣющій большаго числа рати, долженъ откупаться златомъ, либо покоряться; но не такъ со Владиміромъ! Онъ посыаетъ лишь одного богатыря, и горе, горе наступающимъ!“ Авторъ приводить эпизодъ изъ подлинной сказки о Добрынѣ Никитичѣ, выѣзжающемъ въ поле на богатырскомъ конѣ, съ однимъ только слугою:... „богатырь гонить силу поганую—гдѣ конемъ вернетъ, тамо улица; онъ копьемъ махнетъ, нѣту тысячи; а мечемъ хватить, гибнетъ тьма людей“.—„Посему нѣть чуднаго, если изъ таковыхъ великихъ воинствъ, наступавшихъ на Россію, не спасалось ни души живой. Подобной несчетной силы, съ каковой въ старину цари персидскіе наступали на Грецію, мало бы было, чтобъ управиться съ нею одному богатырю. Не нужно-было храбрымъ грекамъ терять жизнь свою, защищая Термопилы: довольно бы послать Чурилу Пленковича, и онъ, заслоня сей узкій путь щитомъ своимъ, поморилъ бы всѣхъ съ досады; ибо сломить его было дѣло невозможное. Жаль, что Александръ убрался съ свѣта заблаговременно; не нужно бы ему опиваться вина до смерти: было бы и безъ того кому унять его проказы; послать бы лишь Илью Муромца: онъ на конѣ своемъ поспѣлъ бы двей въ пять въ Индію, догналъ бы его и за Гангесомъ, и второча бы его къ сѣду своему, какъ славнаго Соловья Разбойника, привезъ въ славный Киевъ градъ, гдѣ заставили-бы его сухари толочь“, и т. д.

Первые повѣсти рассказываютъ о князѣ Владиміре, Добрынѣ Никитичѣ, Тугаринѣ Змѣевичѣ, но онѣ уже пересыпаны выдуманными приключеніями; затѣмъ героями сказокъ являются и Алеша Поповичъ, и Василій Богуслаевичъ, и Дворянинъ Заалешенинъ, и Баба-Яга, но рядомъ богатырь Сидонъ, Баламиръ, Гассанъ, волшебница Доброда, и даже польскій волшебникъ Твердовскій и пр., и большою частью плетутся совсѣмъ фантастическая исторія въ духѣ волшебныхъ рыцарскихъ романовъ, безъ мѣста и времени. Мнимый колоритъ русской древности достигается тѣмъ, что въ сказкахъ явитсѧ иногда: скиѳская царевна, обрскій или варяжскій князь, царица Дивара, капище Лады; описывается заря такой картиной: „тьма удалялась и скрывала съ собою звѣзды, убѣгающія пришествія бога Свѣтовида“, и т. п. Но Чулковъ зналъ сказочные и былинные факты богатырской исторіи, которые иногда и приводятся

въ его книгѣ. Между прочимъ, сообщаетъ онъ, что у него самого было собраніе богатырскихъ пѣсень¹⁾, и помѣщаетъ ноты одного былиннаго напѣва. Затѣмъ, среди фантастическихъ исторій являются „сказки народныя“, напримѣръ, шуточный пересказъ, повидимому, подлинныхъ народныхъ сказокъ о воровскихъ продѣлкахъ²⁾, и нѣсколько правоописательныхъ новѣстей собственнаго сочиненія³⁾.

Въ 1782, Чулковъ издалъ „Словарь русскихъ суевѣрій“, который явился потомъ вторымъ дополненнымъ изданіемъ⁴⁾. Книга эта замѣчательна какъ первая чисто этнографическая попытка своего времени. Правда, между „русскими“ суевѣріями болѣшую долю книги занимаютъ вѣрованія и обычаи всякихъ русскихъ инородцевъ,— татаръ, мордвы, чувашъ, камчадаловъ и пр., о какихъ авторъ могъ найти свѣдѣнія въ тогдашней литературѣ путешествій; правда также, что русская миѳология излагается съ разными прикрасами, какія считались въ то время позолительными въ изображеніяхъ „древности“⁵⁾, но въ то же время собрано и аккуратно описано много дѣйствительныхъ народныхъ обычаевъ. Цѣну этихъ описаній достаточно указать тѣмъ, что многими указаніями изъ „Абевеги“ нашелъ возможнымъ пользоваться ученый нашего времени, Аѳанасьевъ, въ своихъ этнографическихъ работахъ, и особенно въ книгѣ: „Поэтическія воззрѣнія Славянъ на природу“.

Если обратить вниманіе на то, что во всѣхъ перечисленныхъ трудахъ русскій писатель былъ почти совсѣмъ лишенъ руководства, какое въ другихъ отношеніяхъ доставляла тогда литература европейская, и напротивъ послѣдняя еще сбивала съ толку „Синими библіотеками“ и рыцарскими романами, то нельзя не оцѣнить этихъ попытокъ, гдѣ среди ошибочныхъ литературныхъ понятій вѣка просвѣчивается стремленіе къ изученію народности, и сочувствие къ народной поэзіи.

Не будемъ исчислять другихъ трудовъ Чулкова и подобныхъ имъ

¹⁾ „Къ крайнему моему сожалѣнію, въ пожарный случай, погибло у меня собраніе древнихъ богатырскихъ пѣсень, между коими и о семь подвигъ Добрыни Никитича“ (борьбы съ Тугариномъ). „Голосъ оныя и отрывки словъ остались еще въ моей памяти, кои и прилагаю здѣсь“. Сказки, 1-е изд. I, стр. 138—139.

²⁾ Напримѣръ, о ворѣ Тимофеѣ, о Щыганѣ, о племянникѣ юномъ.

³⁾ О новомѣдномъ дворянинѣ, Два брата соперники, Досадное пробужденіе.¹

⁴⁾ „Абевега русскихъ суевѣрій, идолопоклонническихъ жертвоприношеній, свадебныхъ простонародныхъ обрядовъ, колдовства, шеманства и проч., сочиненная М. Ч.“ Москва, 1786.

⁵⁾ Ср. объ этомъ негодующія объясненія Сахарова, въ Сказ. р. народа, т. I, гдѣ собраны примѣры этихъ прикрасъ, иногда дѣйствительно нелѣпыхъ, идущихъ еще съ XVII вѣка, съ Иннокентія Гизеля и Стрѣйковскаго.

сочиненій¹⁾ и укажемъ еще другую книгу того времени, весьма замѣчательную по сознательному интересу къ народной поэзіи. Это—очень извѣстное у любителей „Собраніе русскихъ народныхъ пѣсенъ съ ихъ голосами, положенныхыхъ на музыку Иваномъ Прачемъ“²⁾. Въ рукописномъ сборникѣ, извѣстномъ подъ именемъ Кирши Данилова, уже прибавлены были ноты для напѣва. Чулковъ упоминаетъ о своей сгорѣвшей рукописи съ былинными наїзвами. Прачъ въ первый разъ издалъ значительный сборникъ вновь записанныхъ напѣвовъ лирическихъ пѣсенъ: такъ-называемыхъ протяжныхъ и скорыхъ, плясовыхъ, свадебныхъ, хороводныхъ, святочныхъ, наконецъ, малороссійскихъ. Въ послѣдующихъ изданіяхъ собраніе значительно размножено (до 150 пѣсенъ). Изданіе Прача, по отзыву знающихъ людей, есть весьма цѣнныій опытъ изученія народной музыки. Прачъ приступалъ къ дѣлу съ полнымъ пониманіемъ его важности: предисловіе (авторомъ которого называются Н. Львова) посвящено определенію музыкального характера нашей, народной поэзіи, возможныхъ источниковъ нашей пѣсенной музыки (предполагаются источники греческіе); авторъ умѣеть цѣнить старину, въ которой находится иногда и лучшіе музыкальные мотивы; особое „раченіе“ было употреблено на то, чтобы съ возможной точностью записать народную мелодію. „Сохранивъ, такимъ образомъ, все свойство народнаго россійскаго пѣнія, собраніе сіе имѣеть и все достоинство подлинника: простота и цѣлостность онаго ни украшеніемъ музыкальнымъ, ни поправками иногда странной мелодіи нигдѣ не нарушены“. Это понятіе о неприкословенности изучаемаго народнаго матеріала замѣчательно для конца XVIII-го вѣка. Прачу представлялось и широкое научно-музыкальное значеніе его изученій. „Можетъ быть,—говорить онъ,—не безполезно будетъ сіе собраніе и для самой философіи“... „Можетъ, сіе новымъ какимъ либо лучемъ просвѣтить музыкальный міръ? Большими талантамъ довольно малой причины для произведенія чудесъ, и упадшая на Невтона груша послужила

¹⁾ Того же Чулкова: „Пересмѣшникъ, или Славянскія сказки“, 5 частей. Москва. 1783—85; 3-е изд. М. 1789.

— М. Попова: Славенскія древности, 1770—71; 2-е изданіе: Старинныя диковинки или приключенія славенскихъ князей, 1778; 3-е изд. 1793. Объ его миѳології упомянемъ дальше.

— Вечерніе часы, или древнія сказки Славянъ древлянскихъ. М. 1787—88, 6 частей.

— Повѣствователь русскихъ сказокъ, и Продолженіе. М. 1787. 2 ч.

— Бабушкины сказки, Сергея Друковцова, М. 1778 (никакихъ сказокъ нѣть: только безсмысленно разсказанные анекдоты). И т. д.

²⁾ Спб. 1790. Второе изданіе, въ двухъ частяхъ, вышло въ 1806; третье въ 1815, 4°.

къ открытію великой истинны¹⁾... Указывая богатство и разнообразіе мелодического содержанія русскихъ пѣсень, Прачъ еще въ первомъ изданіи ожидалъ, что оно доставитъ богатый источникъ для музыкальныхъ талантовъ (даже иностранныхъ) и для сочинителей оперъ. Въ позднѣйшемъ изданіи онъ уже съ большей увѣренностью думаетъ, что композиторы, „воспользуясь не только мотивами, но и самою странностію (т.-е. оригинальностью) нѣкоторыхъ русскихъ пѣсень, посредствомъ изящнаго своего искусства, доставятъ слуху новыя пріятности и любителямъ музыки новыя наслажденія, чemu уже съ большимъ успѣхомъ подали примѣръ господа Сарти, Мартини, Паскевичъ, Тицъ, Жарновики, Пальтау, Караполовъ (amateur) и другіе²⁾.

Въ изданіи Прача, такимъ образомъ, является уже серьезная, теоретически обдуманная работа надъ русскими пѣснями.

Съ семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, одновременно съ первыми изданіями Чулкова, являются первыи „народныи“ оперы: „Анюты“ Михайлы Чопова (поставленная въ первый разъ въ 1772 г., съ музыкой Фомина); „Мельникъ“, Аблесимова (поставленный въ 1779 г.); „Перерожденіе“ и „Гостиный дворъ“, Михайлы Матинскаго (1777, 1787), и др. Михайло Поповъ, одинъ изъ учениковъ знаменитаго актера Волкова, основателя русскаго театра, вывезенныи имъ изъ Ярославля и учившійся въ шляхетскомъ корпусѣ, послѣ актеръ, затѣмъ секретарь при комиссіи о сочиненіи уложенія, человѣкъ изъ народа, извѣстенъ былъ своими пѣснями и отличался вообще направленіемъ „народнымъ“—ъ тогдашнемъ стилѣ. Матинскій былъ крѣпостной графа Ягужинскаго, получившій на счетъ своего помѣщика основательное образованіе въ Россіи и потомъ въ Италіи. Біографія его неизвѣстна; но это, видимо, былъ человѣкъ даровитый; онъ много писалъ и переводилъ по научнымъ и литературнымъ предметамъ, и сочинялъ комедіи и оперы, въ послѣднихъ и текстъ, и музыку. Къ сожалѣнію, всѣ эти пьесы столь основательно забыты, что мы не можемъ сказать о томъ, въ какой мѣрѣ эти „народныи“ оперы имѣли народную пѣсенную подкладку; но съ литературной стороны, сочиненія Мих. Чопова, Аблесимова и пр., хотя второстепенныя по достоинству, имѣютъ значеніе какъ попытки распространять въ литературѣ народную стихію недурными изображеніями народнаго быта. Современныя свидѣтельства единогласно говорятъ, что эти народныи пьесы и оперы вообще имѣли очень большой успѣхъ^{1).}

¹⁾ Пред. къ изданію 1790 г., стр. XI.

²⁾ Изд. 1815 г., предисловіе, стр. V—VI.

³⁾ Желаніе усвоить русскія народныя черты драмѣ и въ частности оперѣ про-

Народность интересовала и съ другихъ сторонъ; начинаютъ обращать вниманіе и описывать народные обычаи, старину, собирать преданія, пословицы и т. п.¹⁾. Правда, псевдо-классической взглядъ, пренебрегавшій простою народностью по ея грубости, нерѣдко ее уродовалъ, по-своему прикрашивая ее (какъ, напр., Богдановичъ не-лѣпо прикрашивалъ пословицы); тѣмъ не менѣе народная стихія становилась болѣе и болѣе привычной въ книгѣ; некоторые писатели (какъ Фонъ-Визинъ, Новиковъ, Радищевъ, Чулковъ, М. Поповъ, Н. Львовъ, В. Майковъ и др.) еще въ концѣ XVIII-го вѣка умѣли хорошо передавать черты быта, народный языкъ. Все это прокладывало путь для дальнѣйшаго и болѣе сильнаго вліянія народной стихіи въ языке и въ содержаніи литературы.

Впослѣдствіи, когда съ новыми успѣхами литературы требованія возросли и началась критическая этнографія, на эти попытки XVIII в. стали вообще смотрѣть съ пренебреженіемъ, виня ихъ за искаженіе или непониманіе народа и т. п. Такъ, въ особенности строго обличаль ихъ Сахаровъ, отзывы которого одно время были обычнымъ понятіемъ объ „этнографахъ“ прошлаго столѣтія. Успѣхи литературы осудили, конечно, старую манеру относиться къ народной поэзіи; но тѣмъ не менѣе нападки на писателей XVIII-го вѣка были преувеличены—на нихъ надобно было смотрѣть иначе. Нѣ-которые изъ нихъ совершили, безъ сомнѣнія, великія нелѣпости съ нашей точки зреянія, какъ напр., Поповъ въ своемъ „Описаніи славянского баснословія“ (1768), Чулковъ, Григорій Глинка въ „Древней религії Славянъ“ (1801), Кайсаровъ (1807) и пр.; но ихъ не-зачѣмъ причислять къ ученымъ изслѣдователямъ, какъ они себя сами не причисляли,—кромѣ развѣ Кайсарова²⁾. Они не претендовали на ученое изложеніе, даже не подозрѣвали, что подобные предметы должны быть трактованы только подъ условіемъ строгой критики, и думали напротивъ, что эта древность, о которой осталось такъ мало свѣдѣній, гораздо меныше входитъ въ область исторіи, чѣмъ поэзіи. Тогдашняя историческая наука,—не у насъ только, но

является и гораздо раньше: есть извѣстіе о „комедіи на музыке“ Колычева, поставленной въ 1740 годахъ, которая взята была авторомъ, „изъ древнихъ русскихъ сказокъ“; при Елизавете въ головинскомъ „вольномъ театрѣ“ дана была комическая опера „въ русскихъ нравахъ“: „Танюша или счастливая встрѣча“, текстъ которой былъ написанъ Дмитревскимъ, а музыка Ф. Г. Волковымъ.

¹⁾ Упомянемъ, напр., замѣчательный сборникъ пословицъ прошлаго вѣка, изданный (въ „Архивѣ“ Калачова) г. Буслаевымъ.

²⁾ Сочиненіе Кайсарова вышло сначала по-нѣмецки: *Versuch einer slavischen Mythologie*. Göttingen. 1804, потомъ по-русски, 1807. Объ источникахъ его мифологии ср. Срезневскаго, „Чешскія гlosсы въ Mater Verborum“, Сборн. русск. отдѣл. А. Н., т. XIX, стр. 120—121.

и на западѣ,—еще не умѣла понимать древности, едва начиная придавать значеніе произведеніямъ народной поэзіи, и если прымы свидѣтельства были скучны, научные изысканія незрѣлы, то писателямъ популярнымъ, которыхъ привлекала старина, по тогдашнимъ понятіямъ оставалось дополнять воображеніемъ то, чего не давала исторія. Такъ они и дѣлали, и этого не скрывали. Поповъ прямо заявляетъ о своемъ труде: „*Cie сочиненіе сдѣлано больше для увеселенія читателей, нежели для историческихъ справокъ, и больше для стихотворцевъ, нежели для историковъ*“. Дѣйствительно, Херасковъ внесъ его описание древнихъ божествъ въ свою эпическую поэму „*Владимиръ*“, а послѣ Глинка вносилъ въ миѳологію вычитанное у Хераскова и „*морского царя*“ описывалъ по Ломоносовской „*Петріадѣ*“. Во введеніи къ своей книгѣ Глинка также прямо заявляетъ: „Описывая произведенія *фантазіи* или *мечтательности* (такъ онъ считалъ древнюю миѳологію), я думаю, что не погрѣшу, если при встрѣчающихся пустотахъ и недостаткахъ въ ея произведеніяхъ буду дополнять *собственную подъ древнюю стать фантазію...* Я переселяюсь въ пространныя разнообразныя области фантазіи древнихъ Славянъ“—говоритъ онъ, и собирается дополнить недостающее „*по законамъ соображенія или мечтанія*“. Онъ не стѣснялся въ дополненіяхъ, и между прочимъ помѣстилъ въ книгѣ гимнъ Перуну, отсутствующій у историковъ и сочиненный имъ самимъ „*подъ древнюю стать*“:

„Боги велики, но страшенъ Перунъ;
Ужасъ наводить тяжела стопа“, и т. д.

Извѣстно, что одинъ не очень хитрый поддѣльщикъ тѣхъ временъ сочинилъ на мнимо-старомъ языкѣ гимнъ Бояна, найденный въ „*свиткѣ первого вѣка*“, вмѣстѣ съ нѣсколькими „*произреченіями пятаго столѣтія новгородскихъ жрецовъ*“: были люди, которые не рѣшались отвергать его подлинности; Державинъ переложилъ этотъ гимнъ въ новѣйшіе стихи ¹⁾). Волхвъ „*Злогоръ*“, упоминаемый въ гимнѣ, послужилъ героемъ для стихотворенія Державина (1813). Державинъ не одинъ разъ бралъ темы изъ русской старины—какъ

¹⁾ Въ первомъ вѣкѣ писали въ такомъ стилѣ (по переводу Державина):

„Не умолчи, Боянъ, снова воспой:
О комъ пѣть благо тому.
Суда Велесова не убѣжать,
Славы Славяновъ не умалить.
Мечи Бояновы на языкѣ остались;
Память Злоторы волхвы поглотили.
Однину вспоминаніе, Скину пѣсни.
Златымъ пескомъ тризны посыплемъ“.

Ср. Соч. Державина, въ изданіи Грота, Ш, 187.

онъ ее понималъ, и любопытно (и совершенно последовательно), что его привлекали не подлинныя черты ея, а именно тѣ извращенія, какія производились этнографами „для увеселенія читателей“¹).

Далѣе. Сахаровъ по обыкновенію свысока говорить о сборникѣ Чулкова, и винить его, что онъ издавалъ пѣсни съ готовыхъ списковъ, а не „самъ сбираль ихъ, не подслушиваль ихъ въ селеніяхъ“ и пр. Въ предисловіи къ пѣснямъ Чулковъ жалуется, что имѣть плохія рукописи,—„такъ что индѣ ни стиха, ни риѳмы, ниже мысли узнать мнѣ было можно“; если говорится о риѳмахъ, значитъ, рѣчь шла о пѣсняхъ литературныхъ, бывшихъ въ обращеніи и которыхъ издатель не всѣ бралъ съ печати. Какъ именно добывалъ онъ народныя пѣсни, онъ не говоритъ: весьма возможно, что онъ воспользовался ходившими по рукамъ сборниками; возможно также, что не- мало ихъ онъ зналъ и самъ изъ живой народной пѣсни.

Какъ бы ни было, хотя бы Чулковъ и печаталъ пѣсни съ готовыхъ списковъ, мы имѣли бы любопытный фактъ, что интересъ къ народности былъ такъ уже распространенъ къ 70-мъ годамъ прошлаго вѣка, что издатель имѣлъ въ распоряженіи массу пѣсень, записанныхъ любителями (тексты Чулкова нерѣдко замѣчательны). Почти половина сборника Чулкова занята пѣснями народными (по счету Сахарова, изъ 800 всѣхъ пѣсень—336 народныхъ; онъ поставлены обыкновенно особо). Сахаровъ былъ болѣе справедливъ къ Чулкову, когда говорилъ, что „предпріятіе его было самое значительное: онъ первый осмѣлился къ новымъ пѣснямъ тогдашихъ знаменитыхъ писателей присоединить и старыя народныя“. Главной цѣлью Чулкова было дать книгу для любителей пѣсни, какъ увеселенія; народныя пѣсни уже и раньше служили этой цѣли въ извѣстныхъ кругахъ грамотнаго общества, но Чулковъ желалъ распространить ихъ еще болѣе и его большая литературная заслуга состоитъ въ томъ, что онъ не усумнился поставить ихъ рядомъ съ твореніями „зnamenитыхъ писателей“—псевдо-классиковъ, препнебрегавшихъ народными пѣснями, и впервые издалъ много, и погода прекрасныхъ, текстовъ²).

¹) Объ его псевдо-классическомъ взглѣдѣ на русскую народную поэзію, ср. Сочиненія, III, 92 и др.

²) Чулковъ послужилъ отчасти и г. Безсонову (въ изданіи „Пѣсент“ Кирѣевскаго); Безсоновъ справедливо защищаетъ его отъ нападокъ Сахарова, который самъ производилъ надъ памятниками народной поэзіи гораздо худшія искаженія, нежели Чулковъ. См. „Пѣсни“ Кир., вып. 5, стр. III—XIII, CXXI—CXXIII и др.

Въ этихъ и подобныхъ начаткахъ этнографического изученія народности, наши любители прошлаго вѣка руководились только собственнымъ инстинктомъ — т.-е. тѣмъ национально-народнымъ чувствомъ, въ недостаткѣ котораго обыкновенно упрекаютъ литературу XVIII-го столѣтія. Историческое мѣсто этихъ попытокъ въ развитіи литературной народности опредѣляется тѣмъ, что онѣ въ разгарѣ псевдо-классицизма идутъ (хотя безъ явнаго протеста) противъ него, примыкая къ той народно-поэтической струѣ, которая продолжала жить въ народѣ и въ самомъ „обществѣ“ путемъ непосредственнаго бытового преданія,—и вводя наконецъ въ печать тотъ народно-поэтический запасъ, который хранился въ памяти и въ записяхъ любителей.

Этихъ записей известно теперь довольно много отъ XVII в.¹⁾, есть указанія и на XVI столѣтіе. Съ тѣхъ порь идетъ непрерывавшееся рукописное преданіе до сборника Кирши Данилова, и до сборника былинъ съ нотами, который былъ у самого Чулкова, и до тѣхъ рукописей, съ которыхъ онѣ печатали свои пѣсни. Не переводилось и устное преданіе: сказочники (которыхъ держали бывало при московскомъ царскомъ дворѣ), пѣвцы былинъ, духовныхъ стиховъ и пѣсенъ, дѣйствуютъ и по сіе время, а въ XVIII-мъ вѣкѣ повидимому занимались своимъ дѣломъ какъ настоящей профессіей и вовсе не въ одной простонародной средѣ²⁾, — какъ „потѣшники“, описываемые Сахаровымъ, были повидимому прямыми продолжателями старинныхъ скомороховъ.

Это народно-поэтическое преданіе становилось теперь достояніемъ литературы.

Чтобы справедливѣе оцѣнить это обращеніе къ народности и съ нею къ бытовой старинѣ, должно вспомнить, что собственно историческая наука очень немного помогала этому движенію. Самой этой наукѣ старина представлялась чрезвычайно темною. Историки дошлѣцовскіе или до-карамзинскіе блуждали въ разсказахъ о скіеахъ, сарматахъ, мосоахъ и т. п., считая скіеовъ и сарматовъ чуть не за чистыхъ русскихъ; о временахъ болѣе достовѣрной исторіи повторяли Нестора и, не менѣе того, Стрыйковскаго, и только рѣдкіе изъ нихъ имѣли смутное представленіе о той связи, которая — чрезъ вѣка историческихъ перемѣнъ — соединяетъ далекую древ-

¹⁾ Ср. Л. Майкова, „О старинныхъ рукописныхъ сборникахъ народ. пѣсень и былинъ“, въ Журн. М. Народн. Просв. 1880, ноябрь; „Богатырское слово въ спискѣ начала XVII вѣка, открытое Е. В. Барсовымъ“, въ „Запискахъ“ Акад. Н., томъ XL, приложенія, № 5. Спб. 1881.

²⁾ См. Ровинскаго, Русскія народн. картинки. Спб. 1881, V, 100 и слѣд.; ср. книгу А. Фаминцева: Скоморохи на Руси. Спб. 1889.

ность съ новой народностью. Нарождавшемуся историческому знанію приходилось уразумѣвать и разъяснять другимъ, еще менѣе свѣдущимъ, самыя элементарныя положенія и требованія научной критики, устанавливать основные вѣшніе факты исторіи.

Возьмемъ два-три примѣра.

Татищевъ (онъ умеръ въ 1750, но книга его вышла только въ 1768—84 г.), приступая къ дѣлу, долженъ былъ посвятить длинное „предъизвѣщеніе“ объясненію первоначальныхъ понятій обѣ исторіи, обѣ ея научной и практической пользу, и защищаться тутъ-же отъ людей, которые, познакомившись съ его книгой въ рукописи, успѣли усмотрѣть, что онъ „православную вѣру и законъ опровергалъ“, что заставило его прибѣгнуть къ защитѣ новгородскаго митрополита Амвросія.

Въ главѣ „о идолослуженіи бывшемъ“, гдѣ можно бы было ожидать свѣдѣній о миѳологической старинѣ,—заботой Татищева, какъ и другихъ историковъ прошлаго вѣка, было только собрать всякия упоминанія о языческихъ божествахъ славянъ и русскихъ. Татищевъ и собираетъ ихъ изъ всякихъ источниковъ, старыхъ и новыхъ, какіе только могъ добыть. О западномъ славянствѣ онъ знаетъ извѣстія средневѣковыхъ лѣтописцевъ — Гельмольда, „Саксограмматика“; изъ повыхъ цитируются у него: Фабріусъ въ „Исторіи міра“, Кранцій въ „Вандаліи“, Германінъ Гедерихъ въ его „Лексиконахъ древностей и миѳологическомъ“, Арнкіель... Относительно собственно русскаго „идолослуженія“, Татищевъ полагалъ, что у русскихъ были тѣ же божества какъ у западныхъ славянъ, а „о которыхъ Несторъ описалъ, то всѣ суть званія сарматскія или варяжскія“; свѣдѣнія о русскомъ „идолослуженіи“ онъ беретъ изъ Нестора, изъ Стрыйковскаго¹), указываетъ на трудъ Дмитрія Ростовскаго²), наконецъ, замѣчаетъ: „въ Берлинѣ, памятую, напечатана была о сихъ книжка подъ именемъ *Московитише реалия*, токмо я ея нынѣ достать не могу“; далѣе, разсказывается о идолахъ у скиевъ, и проч. Словомъ, дѣло шло только о томъ, чтобы, худо ли хорошо ли, собрать фактическія свѣдѣнія,—да и здѣсь были затрудненія, которая трудно себѣ вообразить. Оказывается, что находились суевѣрные певѣжды, которые заподозрѣвали эти разсужденія о древнемъ „идолослуженіи“: „отъ такихъ безумныхъ,—говорить Татищевъ,—нужно предостерегаться, чтобы объявленное мое о мерзости идолослуженія не приняли за то, что яко бы я оное съ почитаніемъ святыхъ мужей или иконъ равняю (!), на что кратко можно отвѣтствовать словами свя-

¹) „Въ книгѣ 4, гл. 4, изъ русскаго древняго лѣтописца сказуетъ“.

²) Который, по его словамъ, простиенно обѣ этомъ писалъ, но въ печати Татищевъ этого не видѣлъ.

таго Павла: кое соравненіе есть Христа съ Веліаромъ¹⁾). Какъ будто въ самомъ дѣлѣ Татищевъ рекомендовалъ поклоненіе Перуну, Хорсу или Мокошу! Неудивительно, что въ началѣ главы объ „идолослуженіи“ находится философическій трактать объ идолопоклонствѣ вообще.

Но Татищевъ чувствовалъ, что есть связь древности съ новымъ обычаемъ, и въ концѣ первого тома помѣстилъ особую статью „о чинахъ и суевѣріяхъ древнихъ“, т.-е. обычаахъ, повѣрьяхъ и обрядахъ. Въ тѣ времена, какъ онъ писалъ свою книгу, мысль о томъ, что „чины“ должны входить въ исторію, какъ объясненіе событій, рѣдко кому приходила въ голову; и здѣсь опять Татищеву надо было давать общія объясненія. Правда, описание „чиновъ“ очень несовершенно²⁾; но любопытно, что историческая этнографія уже затрагивается въ этихъ первыхъ трудахъ прошлаго вѣка. Писатели популярные дѣлали изъ этнографіи предметъ литературнаго „увеселенія“, но и они предчувствовали болѣе глубокое значеніе предмета, а серьезные историческіе писатели къ концу вѣка уже ясно видѣли всю пустоту произвольнаго раскрашиванія старины³⁾. Многія страницы въ книгѣ Болтина имѣютъ уже положительную цѣнность для исторического изученія народности и приготовляютъ къ научной критикѣ карамзинскаго періода.

¹⁾ Исторія Россійская, т. I, Слб. 1768, стр. 18—19.

²⁾ Рядомъ съ русскими, между прочимъ, описываются и „чины“ инородцевъ,— какъ послѣ въ „Абевегѣ“ Чулкова.

³⁾ Напримеръ, Болтинъ пишетъ о „Досугахъ“ Михайлы Попова (Слб. 1772), которымъ, между прочимъ, пользовался Леклеркъ: „Г. Поповъ, будучи въ древностяхъ славянскихъ мало свѣдущъ, внесъ въ свою баснословію все, что ему ни попалось безъ разбору, и многія такія вещи подъ статью боговъ помѣстилъ, кои никогда славянами богоизвѣстными не были“ и проч. („Примѣчанія на исторію древнія и нынѣшнія Россіи г. Леклерка“. Слб. 1788, I, 98).

ГЛАВА III.

XVIII-й вѣкъ. Научные изслѣдованія Россіи.

Забытая дѣятельность XVIII-го вѣка. — Труды Петра Великаго, относящіеся къ научному изслѣдованію Россіи.—Вліяніе западной науки.—Географическія изысканія; первые атласы Россіи. — Ученые экспедиціи. — Путешественники XVIII-го вѣка, немецкіе и русскіе.

Обратимся къ дѣятельности нашей науки въ XVIII-мъ столѣтіи по изученію русской территории и народа.

Главные факты распространенія школъ и ученыхъ учрежденій прошлого вѣка довольно извѣстны. Исторія его высшихъ учебныхъ и ученыхъ учрежденій немногосложна: двѣ духовныя академіи, академія наукъ съ ея „академическимъ университетомъ“, затѣмъ университетъ московскій и россійская академія—вотъ всѣ учрежденія, въ которыхъ находили мѣсто интересы высшаго научнаго знанія. Въ ихъ дѣйствовали иногда отдѣльныя ученые силы, особенно иностранцы, которыхъ зазывали еще съ конца XVII-го столѣтія. Любопытенъ вопросъ именно о томъ, какъ дѣйствовала вновь явившаяся съ Запада наука: откуда брались ея русскіе адепты, какъ новая наука воспринималась ими, какъ относилась она къ русскому содержанию, оставалась ли чужда ему или, напротивъ, умѣла его понимать и служить ему? Намъ столько наговорили о томъ, что XVIII-й вѣкъ былъ оторванъ отъ русской народности, рабски подчинялся Западу и т. д., что по многимъ отношеніямъ было бы важно отдать себѣ болѣе точный отчетъ въ умственныхъ движеніяхъ и интересахъ того временпр. Восемнадцатый вѣкъ былъ нашимъ ближайшимъ историческимъ предшественникомъ и многіе изъ нашихъ народныхъ интересовъ несомнѣнно коренятся еще въ трудахъ и стремленіяхъ образованныхъ людей XVIII-го вѣка. Познакомившись съ ними, мы должны будемъ убѣдиться, что уже въ то время являлись многія изъ

тѣхъ мыслей и тѣхъ изученій, заслугу которыхъ мы часто приписываемъ своему времени. Изученіе этого прошлаго не только избавить насъ отъ заблуждевія, но разъяснить и исторію самыхъ вопросовъ: мы найдемъ, что они старѣе, чѣмъ намъ обыкновенно кажется, что наше нынѣшнее дѣло—не совсѣмъ наше собственное изобрѣтеніе, а часто только дальнѣйшее развитіе того, что было начато раньше насъ людьми другого вѣка; что трудности, съ которыми мы встрѣчаемся, лежать вовсе не тамъ, гдѣ мы ихъ ищемъ, что мы напрасно отдаѣляемся отъ нихъ ссылками на XVIII-й вѣкъ, который-де оторвался отъ народа и задалъ намъ мудреную задачу возстановленія этой связи, или прячемся отъ вопроса за фразами о западной наукѣ, которая будто бы помѣшала намъ остаться вѣрными своему народу и предаваться самобытному творчеству. Заглянувъ въ исторію, не трудно убѣдиться въ фальшивой безсодержательности подобныхъ жалобъ. Не западная наука отрывала насъ отъ народа и не реформа была источникомъ тѣхъ общественно-политическихъ тягостей, которыхъ пришлось переносить и сознать нашему времени; напротивъ, только наука доставила намъ возможность болѣе широкаго общественнаго и національнаго самосознанія, и только ея широкое дѣйствіе облегчило намъ выходить изъ этихъ тягостей.

Петровская реформа и труды Петра для русскаго просвѣщенія вызывали въ старину и до нашего времени безконечное множество панегириковъ, и въ самомъ дѣлѣ нельзя не изумляться этой дѣятельности, которая распространялась на разнообразнѣйшіе предметы и потребности національной жизни и полагала глубокія основанія дальнѣйшаго развитія. Историки Петра рассказали и объ его трудахъ на пользу школы и образованія. Учреждая элементарныя цыфирныя школы и техническія училища: „навигацкое“, инженерное, артиллерійское и пр., онъ позаботился объ основаніи учрежденія, которое обеспечило бы интересы высшей науки и послужило разсадникомъ ученыхъ силъ на самой русской почвѣ. Безпристрастные наблюдатели давно замѣтили, что у Петра вовсе не было пристрастія къ самимъ иноземцамъ, что, напротивъ, они были для него только средствомъ къ развитію русскихъ силъ, что это были въ его глазахъ только учителя, нужные на времена, а затѣмъ вовсе нежелательные. И дѣйствительно, онъ гонитъ русскихъ въ школу, какъ (замѣтили для успокоенія славянофиловъ) гоняли ихъ при Ярославѣ; онъ обязывалъ иностранныхъ мастеровъ брать русскихъ учениковъ; Академія наукъ, основанная по его плану, должна была служить не только для цѣлей самой науки, но и для образованія ученыхъ русскихъ. На вопросъ, нужно ли было введеніе западной науки, отвѣтала уже старая Москва, когда населила Нѣмецкую слободу вызванными изъ-за границы тех-

никами, докторами, иноземными офицерами, когда вызывала изъ Киева ученыхъ богослововъ, схоластическихъ философовъ и стихотворцевъ. При Петрѣ несравненно шире понята была государственная и народная важность науки: она была нужна не только для просвѣщенія умовъ, но для здраваго отправленія самого государственного хозяйства. Нужны были хорошо организованные арміи и флоты, нужно было знаніе горное, инженерное, промышленное и т. д.; государству нужно было сосчитаться въ своемъ хозяйствѣ, опредѣлить и начертить свою территорію, узнать ближе свои народы—для Россіи особенная и не-легкая задача; нужно было наконецъ узнать свою исторію, правильно устроить средства народнаго образованія. Старая Россія не давала для этого средствъ, и обращеніе къ содѣйствію западной науки было по здравому смыслу неизбѣжно, чтобы сами русскіе научились пользоваться средствами знанія для многоразличныхъ потребностей своего отечества. Нужна была наука со всѣми ея теоретическими основами и практикой, какъ онѣ были понимаемы у народовъ, имѣвшихъ тогда науку. Надобно было призвать знающихъ людей, совѣтоваться съ авторитетными учеными, и Петрѣ не ошибся въ выборѣ, когда совѣтовался съ Лейбницемъ, однимъ изъ знаменитѣйшихъ людей того вѣка. И по сосѣдству, и по обилію ученаго люда, наибольшее число профессоровъ и учителей доставила тогда Германія. Вызовы ученыхъ немцевъ въ Академію наукъ и въ московскій Университетъ не всегда бывали удачны; но число удачныхъ было, вѣроятно, гораздо больше, а нерѣдко въ числѣ приглашаемыхъ бывали люди съ большими научными заслугами и съ честнымъ, просвѣщеннымъ отношеніемъ ко взятой на себя обязанности. Многіе пріобрѣли европейскую славу своими трудами на русской почвѣ и надѣ русскимъ содержаніемъ: назовемъ имена Миллера, Шлѣцера, Шалласа, Гмелина и т. д. Понятно, что иноземные ученые приносили науку въ той формѣ, какъ они сами знали ее на своей родинѣ, съ тѣми общими идеями, на какихъ она тогда строилась, и съ той внѣшностью, какую она имѣла. На современный взглядъ наука, являясь въ такомъ видѣ, съ формами схоластическими, устарѣлымъ языкомъ, терминологіей, странно переводившейся на русскій языкъ, можетъ, пожалуй, показаться чѣмъ-то чуждымъ, что произвольно и насильственно навязывалось русскимъ умамъ, что не имѣло связи съ жизнью и народностью. Но слѣдуетъ наконецъ понять, что это была историческая форма науки, которая въ тѣ времена и не имѣла иныхъ идей и иного выраженія; она являлась къ намъ съ тѣмъ содержаніемъ и въ той одѣждѣ, въ какихъ жила на западѣ. Перелагаясь на русскій языкъ, эта наука получала новую долю какой-то чуждой странности отъ трудности перевода: въ самомъ дѣлѣ русскій языкъ отъ Никоновской лѣтописи, или даже

отъ Симеона Полоцкаго, не могъ вдругъ легко перейти къ изложенію теорій естествознанія, философскихъ и реторическихъ тонкостей и т. п. Потребовалось потомъ цѣлое столѣтіе на то, чтобы нашъ литературный языкъ преодолѣлъ всѣ трудности передачи сложной научной техники и художественного выраженія. На первое время онъ часто бывалъ совершенно безсиленъ передъ этими задачами, въ научной терминологіи употреблялъ цѣликомъ иностранныя слова, греческія, латинскія, даже нѣмецкія и французскія¹⁾), или передавалъ ихъ, какъ Богъ послалъ, славяно-русскими выраженіями, для нашего времени тяжелыми, уродливыми и смѣшными. Неудивительно и это послѣднее: въ началѣ XVIII-го вѣка сами нѣмцы были въ подобномъ затрудненіи — нѣмецкій языкъ считался еще неспособнымъ къ передачѣ высшихъ литературныхъ научныхъ понятій; его замѣняла латынь и даже французскій языкъ, и послѣдній не только въ высшемъ свѣтскомъ быту, но и въ области науки. Частію съ нѣмецкимъ и французскимъ, частію съ латинскимъ языкомъ наука пришла въ первое время и къ намъ; на этихъ языкахъ шло нерѣдко преподаваніе въ „академическомъ университетѣ“ въ Петербургѣ, и въ университетѣ московскомъ; почти до нашихъ дней дожила сколастическая латынь въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, и латинское преподаваніе классиковъ въ университетахъ. Западная литература со временемъ Возрожденія и вплоть до XIX-го столѣтія были переполнены латинскими книгами по всякимъ отраслямъ науки: по-латыни писали не только Коперникъ, но Лейбницъ и Ньютона. Можно себѣ представить, что появленіе науки въ подобной формѣ, на чужомъ языкѣ или въ грубомъ невразумительномъ переводе, испещренномъ чужими словами, должно было быть очень дико для тѣхъ, кому приходилось знакомиться съ нею въ первый разъ; люди Петровского времени бывали въ положеніи простого человѣка, которому приходится выговаривать слова чужого языка. Эта первая трудность, естественная и неизбѣжная, какъ трудно всякое усвоеніе новаго зданія, скоро однако стала исчезать сама собою, по мѣрѣ ознакомленія съ предметомъ; языкъ привыкалъ овладѣвать новыми понятіями, находить для нихъ простое, легкое, живое выраженіе. Знакомство съ наукой въ обществѣ все больше отнимало у нея ту непонятную, отталкивающую внешность, которая поражала на первый разъ; у Ломоносова и другихъ русскихъ академиковъ, наука уже успѣла выработать себѣ правильное выраженіе на русскомъ языкѣ.

Нѣтъ сомнѣнія, что школьнікамъ Петровскихъ временъ прихо-

¹⁾ Сколько нѣмецкихъ словъ принято было въ терминологіи чиновнической, это извѣстно; но забавно, что сама академія наукъ очень долго щеголяла подъ названіемъ „де-сіансъ академія“.

дилось въ первое время очень жутко отъ неумѣлости самихъ первыхъ педагоговъ; нелегко было и тѣмъ, кого Петръ разсылалъ для науки за границу, какъ тому князю Голицыну который, будучи посланъ, уже не молодымъ, учиться навигацкой наукѣ, недоумѣвалъ, какъ ему быть: „наука опредѣлена самая премудрая: хотя мнѣ всѣ дни живота своего на той наукѣ себя трудить, а не принять будетъ, для того—не знамо учитца языка, не знамо науки“. Но собирая черты того времени, можно не разъ убѣждаться, что трудность усвоенія науки была все-таки для тогдашнихъ новичковъ не такъ велика. Ученыхъ людей было немного, немного было ученыхъ учрежденій,—да въ большинствѣ немного было и охоты къ ученью,—но тѣ, которые брались за науку и имѣли удовлетворительныхъ учителей, часто поражаютъ своими быстрыми успѣхами. Въ біографіяхъ тогдашнихъ ученыхъ можно найти не мало примѣровъ, что юноши 18—20 лѣтъ становились уже разумными помощниками своихъ профессоровъ въ ученыхъ трудахъ и экспедиціяхъ, когда въ наше время они въ эти года едва получаютъ аттестатъ зрѣлости (т.-е. собственно, незрѣлости, потому что съ нимъ они только-что получаютъ право приступить къ настоящему высшему образованію): многіе изъ нихъ были люди изъ низшихъ классовъ, и во главѣ ихъ—Ломоносовъ.

На что же направлялась вновь введенная наука; какъ она принималась своими адептами; какие приносила результаты? Чтобы сообщить наглядный примѣръ и войти въ фактическое изложеніе предмета, приведемъ нѣсколько подробностей изъ Петровскихъ временъ о первыхъ прямыхъ воздействиахъ западной науки.

Извѣстно, какимъ чрезвычайнымъ разнообразіемъ отличались теоретические и практическіе интересы самого Петра, сколько личной заботы положилъ онъ для первого введенія элементарныхъ знаній и высшей науки. Исторія всей русской науки возводится къ его времени, и часто къ его собственной личной инициативѣ.

Съ первыхъ годовъ основанной по его плану Академіи наукъ въ нее приглашены были ученые разныхъ специальностей: математики, физики и астрономы; классическіе филологи, историки, ориенталисты. Работа всѣхъ ихъ была необходима и для утвержденія теоретической науки на русской почвѣ, и вмѣстѣ для выполненія разныхъ практическихъ задачъ, важныхъ для государственныхъ цѣлей. На эти послѣднія было особенно обращено вниманіе Петромъ Великимъ.

Для устройства государства практическая помощь науки становилась необходима, какъ сложныхъ рациональныхъ пріемовъ требуетъ большое, правильно поставленное хозяйство. Однимъ изъ первыхъ вопросовъ явилось определеніе самой государственной территории. Этой надобности стремилось удовлетворить уже московское государ-

ство разными описями (на глазомърь) и „Книгой Большому Чертежу“¹⁾. Книга эта заключала много свѣдѣній, по онъ состояли только въ номенклатурѣ мѣстностей и были совершенно лишены той точности, какая нужна для правильной картографіи и какая доставляется только астрономическими опредѣленіями мѣстностей и геодезическими измѣреніями. При Петрѣ впервые начаты были эти геодезическія работы: по разнымъ краямъ Россіи разосланы были геодезисты „для сочиненія ландкартъ“ съ тѣмъ, чтобы послѣ изъ ихъ „партикулярныхъ“ картъ составить „генеральную карту“. Впослѣдствіи эти работы съ новыми дополненіями были изданы въ 1726—1734 годахъ подъ латинскимъ заглавіемъ: *Atlas imperii Rossici* и пр.; это былъ первый правильный атласъ Россіи. Второй атласъ изданъ былъ Академіей наукъ въ 1745 году въ большой коллекціи подробныхъ картъ¹⁾). Къ Петровскимъ временамъ относятся и первыя ученыя экспедиціи: одного ученаго иностранца Петрѣ Великій взялъ съ собою въ персидскій походъ; другой изслѣдовалъ съ естественно-научной точки зрѣнія восточную полосу Россіи (и между прочимъ открылъ нынѣшнія Сергиевскія минеральные воды); третій, наиболѣе известный, докторъ Мессершмидтъ, совершилъ первое ученое путешествіе по Сибири. Съ этимъ докторомъ Мессершмидтомъ (1685—1735) былъ заключенъ контрактъ, въ которомъ онъ обязывалсяѣхать въ Сибирь для занятій: а) географіею страны; б) натуральной исторіей; с) медициною, лѣкарственными растеніями, эпидемическими болѣзнями; д) описаніемъ сибирскихъ народовъ и филологіею; е) памятниками и древностями, ф) вообще всѣмъ достопримѣчательнымъ. Все это Мессершмидтъ взялъ на себя, не имѣя помощниковъ, на очень скромныя средства, и труды его были по истинѣ удивительны: онъ собиралъ растенія, самъ набивалъ чучелы попадавшихся ему птицъ и дѣлать съ нихъ рисунки; на каждомъ значительномъ мѣстѣ, если показывалось солаще, бралъ высоту полюса, составлялъ карты и т. д.; въ то-же время онъ собиралъ сибирскія древности, хлопоталъ у сибирскихъ властей, чтобы ему доставляли всякія „къ древности принадлежащія вещи, якобы языческіе шейтаны (кумиры), великія мамонтовы кости, древнія калмыцкія и татарскія письма и ихъ праотеческія письмена; также каменные и кружечные могильные образы“. Наконецъ онъ былъ ориенталистъ, искалъ монгольскихъ рукописей, собирая слова изъ языковъ сибирскихъ инородцевъ и первый понялъ историческую важность ихъ сличенія и т. д. Труды Мессершмидта въ

¹⁾ Russischer Atlas, welcher in einer General-Charte und neunzehn Special-Charten das gesamte Russische Reich und dessen angränzende Lander, nach den Regeln der Erd-Beschreibung und neuesten Observationen vorstellig macht.. St.-Pet. 1745.

свое время не были изданы ¹⁾; сдѣланный имъ коллекціи сохранились въ Академіи наукъ. По его донесеніямъ, списки которыхъ также сохранились въ академической библіотекѣ, можно составить себѣ понятіе о трудностяхъ, какими сопровождались его изысканія; онъ жалуется, между прочимъ, что изъ русскихъ ему „не обрѣтается“ помощниковъ, и просилъ, чтобы ему дали помощника изъ шведскихъ плѣнныхъ, какихъ было тогда не мало въ Сибири и которые вообще не разъ съ пользой служили самимъ русскимъ властямъ (и въ Сибири, и во внутренней Россіи), какъ люди со свѣдѣніями. Такимъ помощникомъ и для Мессершмидта оказался шведъ Таббертъ: взятый въ плѣнъ послѣ полтавского сраженія, онъ провелъ около 13 лѣтъ въ Сибири, гдѣ отчасти и работалъ съ нѣмецкимъ ученымъ; вернувшись впослѣдствіи домой, онъ получилъ тамъ дворянство и фамилію Страленберга и подъ этимъ именемъ издалъ въ Стокгольмѣ очень извѣстную въ свое время книгу: „Das nord- und ostliche Theil von Europa und Asia“ (1730). При Петре была предпринята и гораздо болѣе отдаленная экспедиція: въ 1719 году отправлены были два геодезиста изъ „навигаторовъ“ для описанія Камчатки; между прочимъ, имъ велѣно было сдѣлать разысканіе—„сошлася ли Америка съ Азіею, чтò надлежитъ зѣло тщательно сдѣлать, не только Зюдъ и Нордъ, но и Остъ и Вестъ, и все на картѣ исправно поставить“. Хотя имъ и не удалось решить вопроса, сошлася ли Америка съ Азіей, Петръ остался доволенъ трудами навигаторовъ и незадолго передъ смертью написалъ новую инструкцію объ осмотрѣ сѣвернаго берега, исполнителемъ которой, уже послѣ его смерти, былъ извѣстный капитанъ Берингъ.

Этотъ интересъ къ географическимъ работамъ у Петра Великаго былъ возбужденъ, какъ предполагаютъ, въ особенности знакомствомъ его съ учеными французской академіи во время путешествія 1717 года, когда онъ самъ былъ избранъ въ члены этой академіи. Эти работы были однимъ изъ первыхъ примѣровъ прямого вліянія „западной науки“; результатомъ была обоядная польза: въ европейской наукѣ явились новые географическія свѣдѣнія, у русскихъ прибавилось знанія своего отечества, и возникъ собственный научный опытъ ²⁾.

¹⁾ См. о нихъ у Палласа: „Neue nordische Beiträge“. St.-Pet. 1782, Bd. III: Messerschmidts siebenjährige Reise in Sibirien. Пекарскій, Наука и литер. при Петрѣ В., I, стр. 350—362.

²⁾ Впослѣдствіи Миллеръ такъ отзывался о значеніи заботъ Петра о русской картографіи: картографія Россіи, благодаря мудрымъ распоряженіямъ Петра Великаго, чрезъ посылку по губерніямъ геодезистовъ и труды оренбургской экспедиціи, „приведена къ такому совершенству, что почти ужо мало къ нимъ прибавленія по-

Эти двѣ стороны познанія проходять и во множествѣ послѣдующихъ трудовъ, исполненныхъ иностранными (особливо вѣмцкими) и русскими учеными въ теченіе XVIII вѣка. Русскій народъ впервые вступалъ въ образовательное общеніе съ Европой: русскіе ученые и вѣмцы, работавшіе въ Россіи и для Россіи, слѣдовали примеру Петра — сообщать „ученому свѣту“ разнообразныя свѣдѣнія о Россіи, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ становились достояніемъ и русскаго образованія. Это время представляетъ вообще замѣчательный въ исторіи науки эпизодъ усиленнаго взаимодѣйствія, до сихъ поръ еще не вполнѣ изслѣдованный и оцѣненный. Избитое представление о „подчиненіи Западу“ есть только одностороннее преувеличеніе одной части совершившагося тогда историческаго явленія. Если Петръ прорубилъ въ Европу окно, то въ это окно кинулись смотрѣть и сами европейцы; если мы искали въ Европѣ необходимыхъ намъ знаній, то и для Европы Россія впервые какъ бы открывалась. Новые сношенія простирались не только на интересы политические, промышленные, торговые, но и на благороднѣйшіе интересы научного знанія. Основаніе школъ, приглашеніе ученыхъ въ академію, призывы иностранцевъ на разныя техническія службы произвели громадный ваплыv образованныхъ иноземцевъ въ Россію¹).

Эти силы были, конечно, неравномѣрнаго качества, но, вообще говоря, было много людей съ хорошими знаніями, съ добросовѣстнымъ отношеніемъ къ дѣлу и, наконецъ, было не мало людей съ замѣчательными достоинствами. Служалось, что Академія находила своихъ дѣятелей между такими, безъ ея вызова прїѣзжавшими учеными²). Эти иноземцы иногда оставались въ Россіи недолго, на срокъ своихъ „контрактовъ“ (потому что часто ихъ дѣйствительно

требно, ибо и въ чужестранныхъ государствахъ, гдѣ науки уже чрезъ нѣсколько сотъ лѣтъ процвѣтаютъ, чутъ могутъ похвалиться такимъ прилежнымъ раченіемъ въ сочиненіи своихъ ландкартъ³. Пекарский, Ист. Акад. Наукъ, I, стр. 339—840. См. также „Записки Геогр. Общества“, 1849, кн. III, статья Бера о заслугахъ Петра Великаго по части распространенія въ Россіи географическихъ знаній.

¹) Укажемъ для образчика рядъ именъ въ одной специальности. Въ книгѣ Я. Чистовича, „Исторія первыхъ медицинскихъ школъ въ Россіи“, Спб. 1883, приведенъ алфавитный списокъ докторовъ медицины, практиковавшихъ въ Россіи въ XVIII столѣтіи. Здѣсь были люди всевозможныхъ европейскихъ націй: вѣмцы изъ всѣхъ концовъ и университетовъ Германіи, вѣмцы русскіе, голландцы, шведы, французы, англичане, шотландцы, португальцы, греки, поляки, датчане и пр., наконецъ русскіе, учившіеся за границей и дома. Подобное разнообразіе мы встрѣтимъ и во многихъ другихъ специальностяхъ, для которыхъ въ прошломъ столѣтіи иноземцы были приглашаемы или прїѣзжали сами, напр., въ дѣлѣ военному, морскому, инженерному горномъ, и проч.

²) Такъ принять былъ въ академію Герардъ-Фридрихъ Миллеръ, Гмелинъ-старшій.

нанимали, какъ ученыхъ рабочихъ, на извѣстное время и для извѣстнаго дѣла), но часто оставались въ Россіи на всю жизнь, принимали русское подданство, усвоивали русскій языкъ и дѣйствовали въ русской литературѣ. Ихъ труды имѣли вообще двоякую цѣль—обогащеніе общей науки, и пользы русского государства и просвѣщенія: поэтому работы ихъ (и не только иностранцевъ, но и русскихъ) писались на какомъ-нибудь иностранномъ языке, латинскомъ, нѣмецкомъ, французскомъ, а когда представляли интересъ общедоступный, выходили также по-русски. Русскіе академики свои труды подобного рода издавали на русскомъ языке.

Съ другой стороны, для европейской науки вновь открывшаяся Россія представила величайшій интересъ. Путешествія западныхъ европейцевъ въ Россію или чрезъ Россію начинаются чуть не съ первыхъ вѣковъ нашей исторіи: страна, ея жители, ихъ нравы, исторія возбуждали живѣйшее любопытство. Знаменитое путешествіе Герберштейна было уже трудомъ съ сознательными научными цѣлями: извѣстно, какимъ важнымъ источникомъ оно осталось до сихъ поръ для нашихъ ученыхъ историковъ. Довольно еще назвать Мейерберга, Флетчера, Олеарія, чтобы указать, съ какимъ серьезнымъ вниманіемъ относились образованнѣйшіе западные люди къ изученію Россіи. Петровская реформа сдѣлала и для европейской науки новое открытие: съ облегченіемъ сношеній, съ первымъ приближеніемъ къ европейскому образованію стала чрезвычайно рости иностранная литература о Россіи, наполняющая теперь огромный отдѣлъ „Russica“ въ нашей Публичной библіотекѣ. Иностранными силами, частію по русской инициативѣ, частію независимо отъ нея, сдѣлано было множество разнообразныхъ изученій. Ученые работы, издававшіяся въ Россіи на иностраннѣхъ языкахъ, прямо дѣлались достояніемъ европейскихъ литературъ; въ то-же время переводились замѣчательнѣйшіе труды, выходившіе по-русски,—такъ вскорѣ послѣ своего появленія переведены были знаменитыя путешествія Крашенинникова, Лепехина, Рычкова; на нѣмецкомъ языке является первый научный комментарій и высокая оцѣнка древнѣйшаго русскаго лѣтописца у Шлѣцера, съ котораго начинается вполнѣ научная разработка русской исторіи. Въ самой Германіи ученые люди посвящаютъ неутомимый трудъ на изученіе географіи, исторіи и этнографіи Россіи, какъ знаменитый Бюшингъ, издатель первой научно составленной географіи Россіи и извѣстнаго „Магазина“, наполненнаго богатымъ материаломъ для русской исторіи. Описанія путешествій, совершонныхъ нѣмецкими учеными па русской службѣ, появлялись по-русски и переводились на другіе европейскіе языки: французскій, англійскій, итальянскій, и въ этихъ переводахъ выдерживали иногда по нѣ-

скольку изданій. Русскія ученыя имѣа еще въ XVIII столѣтіи пріобрѣтали европейскую извѣстность, какъ имена Ломоносова, Крашенинникова, Лепехина; работы старыхъ русскихъ ученыхъ цѣняются и новѣйшими учеными авторитетами. Словомъ, это было дѣйствительное общеніе въ лучшихъ стремленіяхъ научнаго знанія. Дальше увидимъ, какимъ одушевленіемъ бывали проникнуты и наши вѣмецкіе академики, и русскіе ученые, когда въ своеобразныхъ явленіяхъ русской природы и жизни имъ открывалось новое, прежде невѣдомое, поле научныхъ наблюденій.

Откуда набирались эти силы новой русской науки? Обыкновенно говорятъ, что къ новому образованію, а затѣмъ къ разнымъ крайностямъ подражанія иноземному, имѣли пристрастіе только высшіе классы (т.-е. собственно дворянство), которые при этомъ забыли о народѣ и вслѣдствіе того оторвались отъ него. Дѣйствительно, высшіе классы всего больше принимали это образованіе, и это было совершенно естественно: и въ старой московской Россіи это былъ высшій слой народа, откуда набирались царскіе приближенные и сопѣтники; они еще тогда ставились властью надъ народомъ, за свою службу надѣлялись помѣстьями (и жившими на нихъ людьми). По справедливому понятію Петра, новое ученье было той же службой государству; кого же было привлечь къ ней прежде всего какъ не тѣхъ, кто, владѣя помѣстьями, обязанъ былъ службой? Самъ—человѣкъ рабочій, Петръ ненавидѣлъ тунеядство и былъ совершенно правъ, когда расталкивалъ лежебокъ и заставлялъ недорослей учиться. Мало-по-малу недоросли привыкали учиться, хотя и долго спустя, во времена Екатерины II, было много дворянства безграмотнаго (какъ это видно, напримѣръ, изъ исторіи Коммиссіи о сочиненіи уложенія), слѣдовательно, пимало не зараженнаго европейскимъ просвѣщеніемъ. Но все-таки это новое образованіе принималось вовсе не однимъ дворянствомъ; было еще сословіе, которое также естественно привлекалось къ ученію, именно духовенство, искони владѣвшее грамотностью. Еще съ конца XVII вѣка, съ основанія Славяно-греко-латинской Академіи въ Москвѣ, оно стало знакомиться, по кievскому примѣру, съ высшей наукой, и, хотя эта духовно-академическая наука слишкомъ часто была сухой схоластикой, тѣмъ не менѣе она все-таки вводила въ новый міръ научныхъ понятій. Ученое духовенство XVIII вѣка уже сильно отличается отъ своихъ предшественниковъ въ до-Петровской Москвѣ (крайніе примѣры того и другого въ началѣ столѣтія,—напр., извѣстный священникъ Лукьянновъ, путешественникъ ко святымъ мѣстамъ, или Феофанъ Прокоповичъ—раздѣлены цѣлою пропастью), и дало теперь своихъ представителей не только въ церковную, но и въ свѣтскую образованность. Въ новая

школы правительство, въ Петровскія времена и послѣ, брало и дворянъ, напр., изъ дѣтей „солдатъ“ гвардейскихъ полковъ (преображенскаго, семеновскаго, измайловскаго), которые часто бывали дворянами, брало учениковъ духовныхъ семинарій, которые бывали всякаго званія. Наконецъ, опять напомнимъ о Ломоносовѣ, этомъ величайшемъ изъ всѣхъ дѣятелей новой науки въ XVIII столѣтіи, который вышелъ изъ самаго подлиннаго крестьянства. Пересматривая біографіи ученыхъ людей прошлаго вѣка, проходившихъ петербургскую академическую гимназію и „университетъ“, мы находимъ такие примѣры: Румовскій—сынъ священника, учился сначала въ семинаріи; Лепехинъ—сынъ солдата семеновскаго полка, дворянинъ; Озерецковскій—сынъ священника, учился въ семинаріи; Котельниковъ—сынъ преображенскаго солдата, изъ школыѲеофана Прокоповича; Протасовъ—сынъ семеновскаго солдата, учился въ той же школѣ; Соколовъ—сынъ сельскаго пономаря; Иноходцовъ—сынъ преображенскаго солдата; Севергинъ—сынъ „вольнаго человѣка“, придворного музыканта, и т. д. Если прибавить примѣры изъ біографій русскихъ писателей прошлаго столѣтія, мы найдемъ такое же разнообразіе общественныхъ положеній: доходило до того, что бывали писатели—крѣпостные, и писатели не безъ достоинствъ. Какъ выше замѣчено, усвоеніе науки, видимо, не сопровождалось у ея молодыхъ адептовъ никакимъ страданіемъ ихъ национального чувства: нѣть факта, который бы указывалъ на какое-нибудь ненормальное „отрываніе“ ихъ отъ народа. Напротивъ, они преспокойно учились и у русскихъ, и у нѣмецкихъ учителей, выучивались по-латыни или по-нѣмецки, слушали академическія лекціи,ѣздили за границу, усердно отдавались потомъ научнымъ трудамъ „для чести и пользы своего отечества“ и между прочимъ съ великой любовью занимались изслѣдованіями народнаго быта, промысловъ, обычаяевъ, преданій и т. д. Далѣе приведемъ примѣры.

Высшее образованіе въ академическомъ и московскомъ университатахъ и другихъ заведеніяхъ очень часто завершалось посылкой за границу; къ концу столѣтія многіе отправлялись сами въ заграничные, особенно нѣмецкіе университеты: когда императоръ Шавель по вступленіи на престолъ велѣлъ вытребовать домой русскихъ подданныхъ, учившихся въ иностранныхъ университетахъ, то оказалось, что въ Лейпцигѣ было 36, въ Іенѣ 65 учившихся русскихъ. Путешествія бывали обыкновенно не такъ продолжительны, чтобы передѣлывать русскихъ въ иностранцевъ, но, конечно, не мало облегчали знакомство съ состояніемъ ученыхъ идей времени и укрепляли ту благородную солидарность, которая соединяетъ людей разныхъ обществъ въ одномъ интересѣ достоинства человѣческой мысли и знанія. Этую

послѣднюю черту не трудно замѣтить въ біографіяхъ и самыхъ сочиненіяхъ нашихъ ученыхъ прошлаго вѣка. На „ученый свѣтъ“ ссылается не разъ Ломоносовъ, когда хочетъ сильнѣе доказать свою мысль или рекомендовать свой совѣтъ, и эти ссылки бывали очень основательны: „ученый свѣтъ“ давалъ правильное объясненіе явлений природы, указывалъ вредъ какого-нибудь ходячаго обычая или нелѣпость суевѣрія, давалъ полезныя практическія указанія и т. д. „Ученый свѣтъ“ дѣйствовалъ не на однихъ специалистовъ, но и вообще на образованныхъ людей, и кромѣ науки специальной дѣйствовала литература вообще, въ томъ числѣ литература поэтическая. По поводу вліянія западной поэтической литературы въ нашемъ XVIII-мъ вѣкѣ, историки расточали много обвиненій, осуждая подражательность нашихъ писателей; но если не останавливаться на ложной, по нынѣшнему взгляду, условности вицѣнія пріема, составлявшей общую черту вѣка, и вникнуть въ содержаніе идей этой литературы, нельзя не признать за ней большой образовательной цѣни. Еще болѣе такого вліянія оказывала (конечно, въ кругу наиболѣе образованныхъ людей) та литература, которая прямо ставила вопросы о судьбѣ народа, о происхожденіи общества, о правахъ человѣка и гражданина и т. д. Если подводить итоги умственной жизни нашего общества въ прошломъ вѣкѣ, то, очевидно, наибольшее вліяніе Запада надо отнести къ этимъ двумъ сторонамъ его содержанія: чистой наукѣ и общественнымъ теоріямъ. Понятно, что эти вліянія были совершенно законны: въ общей надобности про свѣщенія соглашаются и сами обскуранты, и русскій народъ, если не во имя человѣческаго достоинства, то во имя собственной практической пользы долженъ бытъ столько же, сколько всякий другой, знакомиться съ науками, развивавшими его мысль, дававшими правильное понятіе о природѣ и т. п. Что касается до теорій нравственно-общественныхъ, то у человѣка, вступившаго на путь образования, нельзя было бы отнять права интереса къ существеннымъ вопросамъ обѣ общества и о человѣческой личности, а решеніе этихъ вопросовъ у первостепенныхъ писателей тогдашней европейской литературы часто поражало глубиною и человѣчностью мысли, которая продолжаетъ иногда дѣйствовать и до нашего времени. Въ глазахъ тогдашихъ образованныхъ людей, въ Европѣ и у насъ, эти произведенія были высшимъ достигнутымъ тогда результатомъ человѣческаго знанія и только законыное нѣвѣжество можетъ относиться свысока къ трудамъ людей, какъ мыслители XVIII-го вѣка, какъ Бэйль, Монтескье, Вольтеръ, Руссо, энциклопедисты, или какъ представители чистой науки—Ньютона, Лейбница, Эйлеръ и т. д. Всѣ эти вліянія окружили ту первую образованность, которая возникала

въ средѣ русскаго общества, и нѣтъ ничего удивительнаго, что она имъ подпадала,—это было просто вліяніе логической мысли, и вліяніе логики едва ли должно быть сочтено противонароднымъ. Для образованныхъ людей прошлаго вѣка не было сомнѣнія въ благотворномъ вліяніи принятой ими западной науки; имъ не приходило въ голову заподозрить ее потому, что она—западная. Это послѣднее придумано уже нашимъ временемъ. Правда, моралисты XVIII-го вѣка жаловались на введеніе чужеземныхъ нравовъ, на французское воспитаніе,—но теперь обобщаютъ эту жалобу, или ненависть, на все принятое отъ запада образованіе. Но должно, наконецъ, положить границу между различными фактами. *Разные моды* могли заимствовать, и на дѣлѣ заимствовали, *разныя вещи*—и дурное, и хорошее. Если свѣтское общество брало моды и испорченные нравы, это не значило, что была дурна и вредна заимствованная наука; если для свѣтского тунеяднаго общества шла изъ западныхъ свѣтскихъ образцовъ новая порча, изъ науки выростали здравыя человѣческія понятія, обеспечивались успѣхи общественности и образованія...

Опредѣляя западныя вліянія прошлаго вѣка, наши историки отмѣчали разные ихъ періоды и источники,—указывали, напр., вліянія шведскія и голландскія при Петрѣ, позднѣе—нѣмецкія (къ которымъ причисляется и бироновщина), далѣе періодъ галломаніи и т. д. Но эти опредѣленія бывали обыкновенно слишкомъ случайныя, и въ нихъ смѣшивались совсѣмъ разныя вещи, напр., морская или военная практика, канцелярское управлѣніе, наука и школа, свѣтскіе обычай, литературные вкусы и т. д. Если обращать вниманіе не на одну беллетристику или свѣтскія моды и т. п., то мы найдемъ, что папр., въ самомъ разгарѣ такъ-называемой „галломаніи“ оказываются, напротивъ, очень сильныя вліянія нѣмецкой и англійской литературы. Вообще вліянія основныхъ западныхъ литературъ такъ переплетаются, что довольно трудно, или даже невозможно, указать имъ какіе-нибудь опредѣленные періоды или точный кругъ дѣйствія—тѣмъ болѣе, что къ концу столѣтія въ самой европейской литературѣ происходило уже сильное взаимодѣйствіе: въ нѣмецкой школѣ, въ Лейпцигѣ, наша молодежь напитывалась Гельвеціемъ и Монтескіѣ, Карамзинъ вычи-тывалъ у Лессинга высокое уваженіе къ Шекспиру и т. д.

Въ нашей научной литературѣ прошлаго вѣка можно постоянно встрѣчаться съ многоразличными вліяніями европейской науки, всего больше едва ли не нѣмецкой, которую особенно распространяла и „де-сіянсь академія“; но въ результатахъ мы напрасно искали бы какого-нибудь специального нѣмецкаго или иного вліянія: пріобрѣтался научный методъ, по национальность нашихъ ученыхъ не тер-

п'яла никакого ущерба. Бывали примѣры особаго вкуса и паклонности къ извѣстнымъ явленіямъ европейской жизни и науки, по они взаимно уравновѣшивались и умѣрялись здравымъ смысломъ и чувствомъ дѣйствительности: чужой авторитетъ не становился вѣрой, но будилъ собственную мысль и заставлялъ присматриваться къ своей жизни. Приведемъ для примѣра нѣсколько словъ замѣчательнаго юриста прошлаго вѣка, профессора московскаго университета, Десницкаго (ум. 1789).

Посланный по обычаю за границу для довершенія своего ученаго образованія, Десницкій слушалъ лекціи въ глазговскомъ университѣтѣ: онъ получиль здѣсь степень магистра свободныхъ наукъ, затѣмъ доктора правъ, причемъ получиль и привилегію гражданства, званія особенно почетнаго для ипостранца. Воспитавшись на англійской наукѣ, Десницкій ревностно изучалъ англійскія учрежденія и проникся къ нимъ величайшимъ почтеніемъ; вслѣдствіе того онъ уже тогда относился съ большой критикой къ нѣмецкимъ метафизическімъ теоріямъ. Это былъ одинъ изъ первыхъ русскихъ „англомановъ“.

Десницкій съ великимъ уваженіемъ говорилъ обѣ Англіи, выработанныхъ ею здравыхъ началахъ политической и общественной жизни, обѣ ея высокой образованности, ея трудовой предпріимчивости. „Нѣть въ подсолнечной пынѣ,—говорить онъ,—такового разстущаго, выкапываемаго и животворящаго въ трехъ натуры предѣлахъ, котораго бы могущество британской коммерціи не достало. Британцы, возлюбленные сынове страшныхъ волнъ, открылись свѣту великими въ предпріятіяхъ, счастливыми въ совершеніяхъ, страшными во браняхъ, преславными въ побѣдахъ, неутомимыми въ трудахъ и съ цѣлью несравненными свѣтомъ въ отважности. Британія возсіяла аки солнце; явилась благодать на горахъ—на берегахъ британскихъ; увѣнчалъ Богъ труды сего народа, и слава громкая пронеслась о немъ до конецъ земли“. Эту славу британцы добыли тяжелымъ трудомъ и непоколебимымъ уваженіемъ къ *правамъ разума* и къ *свяности закона*. „Вольность и собственность,—говорить онъ,—написанныя на лицѣ почти у всякаго британца, какъ природныя права, имѣютъ закономъ предписаный предѣлъ, за который вредная наглость и своеvolство прейти не могутъ. Судіи не смѣютъ и не могутъ въ законѣ беззаконствовать. Привести правосудіе въ такое совершенство, чтобы судителю закона и дѣлъ совсѣмъ возможности не было къ злоупотребленію закона, есть такая премудрость правленія, которую кромѣ великобританскаго никакой еще другой изъ древнихъ, ни изъ пынѣшихъ народовъ праведно похвалиться не можетъ“. Напротивъ, Десницкій мало сочувствуетъ Германіи и ея

наукъ и смѣется надъ схоластической метафизикой пѣмецкихъ юристовъ, которые— „могутъ выдумывать столько юриспруденцій, сколько имъ угодно. Изъ всѣхъ писателей, которыхъ я имѣлъ случай читать, усматривается, что нынѣ вездѣ почти правоучительная философія не совсѣмъ къ дѣлу ведетъ. Юриспруденція же натуральная преподается или совсѣмъ старинная, обыкновенно нынѣ называемая казуистическою, или другая, не лучше прежней, сочиняется вновь, и вся почти выбранная изъ римскихъ правъ“ . Указавъ образчикъ такой схоластической казуистики, Десницкій продолжаетъ: „въ такомъ лабиринтѣ они ищутъ общаго всѣмъ натуральнымъ правамъ начала. Суть и другія *principia juris naturae*, которыхъ изысканы больше для мери-діана пѣмецкаго, нежели къ дѣлу въ судахъ. Сей родъ ученыхъ тицеславиѣйшій въ своихъ изобрѣтеніяхъ“ ¹⁾).

Словомъ, въ результатѣ научныхъ вліяній западной школы оказалось вовсе не „рабское подчиненіе“, а такое же усвоеніе знанія, какое совершаются всякимъ *новичкомъ* и въ собственной школѣ. По необходимости, первымъ приемамъ учились на чужомъ языкѣ, но тотчасъ уже является забота создать научное изложеніе на русскомъ языкѣ. На первый разъ это изложеніе было угловато, нескладно, но это было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ того, что старина ничѣмъ, или почти ничѣмъ, не облегчила трудности передачи неизвѣстныхъ ранѣе научныхъ попытій и терминовъ; съ течепіемъ времени эта нескладность сглаживается, по мѣрѣ того, какъ научная техника становится дѣломъ болѣе знакомымъ, и языкъ науки все болѣе сливается съ живою рѣчью общества. Это образованіе научной терминологіи идетъ параллельно съ развитіемъ новаго литературнаго языка, которое

¹⁾) По всей вѣроятности Десницкій былъ тотъ неизвѣстный „англоманъ“, который доставилъ въ Вольное Росс. Собрание при московскомъ университѣтѣ перевѣдь александрийскими бѣлыми стихами монолога Гамлета: „Быть или не быть?“ напечатанный въ „Опытѣ Трудовъ“ Вольнаго Собрания (1774 — 83). Переводчикъ жаловался въ письмѣ, что русскіе стихотворцы слишкомъ робки въ употребленіи метафоръ, и указываетъ на образецъ въ Шекспирѣ и другихъ англійскихъ поэтахъ. Самый переводъ замѣчательнъ для своего времени простотой и вѣрностю подлиннику. „Англоманъ“ рѣзко и вѣрно осуждаетъ французскіе переводы, напр., переводы Вольтера, и думаетъ, что „говорить на французскомъ языкѣ тѣль, какъ Шекспиръ говорилъ на англійскомъ, почти невозможно, а на русскомъ можно ему, по крайней мѣрѣ подражать, и когда не силу и не красу его, то духъ его сохранить“. На письмо „Англомана“ отвѣчалъ профессоръ Барсовъ ссылками на древнихъ риторовъ и сѣдовавшаго имъ Ломоносова, которые остерегали противъ „безмѣрности“ метафоръ, и съ своей стороны, по примѣру Ломоносова, советуютъ искать силы слога въ церковномъ языкѣ; этотъ источникъ, многимъ неизвѣстный или презираемый, однако много изобилуетъ „предъ новѣйшими, часто не весьма чистыми потоками“. См. Біограф. Словарь моск. профессоровъ, М. 1855, I, стр. 56, 297 и слѣд.; Сухомлинова. Исторія Росс. Академіи, т. V (Сборникъ Р. отд. Акад., т. XXII), 1881, стр. 5—7.

вообще представляетъ чрезвычайно интересное явленіе роста языка съ обогащениемъ понятій, и естественная послѣдовательность этого роста даетъ наглядное доказательство жизненности самого исторического факта, который его вызвалъ. Какъ сильно было именно стремленіе усвоить чужую науку русской жизни и заставить говорить ее на русскомъ языкѣ, можно видѣть во множествѣ случаевъ, когда ученые и писатели прошлаго вѣка говорили о своемъ трудѣ въ „на-сажденіи науки“ въ Россіи. Мы постоянно встрѣчаемся здѣсь съ выражениемъ желанія, чтобы трудъ ихъ послужилъ на пользу русскому просвѣщенію, на славу и честь россійского народа, чтобы россійскій народъ сравнялся въ просвѣщеніи съ другими „славными націями“, чтобы россійская земля рождала собственныхъ Платоновъ и Невтоновъ,—какъ въ то же время поэтическая литература хлопотала о томъ, чтобы поскорѣе завести своихъ Малербовъ и Буалѣ, своихъ Корнелей и Расиновъ. Обыкновенно смѣются надъ этими хлопотами и считаютъ ихъ явнымъ доказательствомъ рабства мысли; но если сопоставить ихъ съ упомянутыми сейчасъ заботами объ усвоеніи обществу самостоятельной науки, не трудно видѣть, что въ основѣ лежало не подчиненіе, а именно стремленіе къ независимости, желаніе противопоставить чужой славѣ и авторитету свои, жить собственными, а не чужими силами. Въ литературѣ это желаніе выражалось очень простодушно, и она поторопилась наскоро испечь своихъ Малербовъ и Расиновъ, надъ которыми послѣ столько смѣялась; но не забудемъ, въ какомъ состояніи образованія и при какихъ литературныхъ антецедентахъ все это дѣжалось: новая литература находилась буквально въ младенческомъ состояніи; ея дѣятелей можно было сосчитать по пальцамъ; она еще ломала языки, чтобы съумѣть сказать новыя возникавшія понятія.—немудрено, что ея стремленія переходили въ желаніе сравняться съ данными образцами и авторитетами. Не забудемъ, что французскій псевдо-классицизмъ господствовалъ и надъ такой старой и сильной литературой, какъ германская, въ которой едва начиналась тогда дѣятельность Лессинга. Чтобы увѣриться въ настоящихъ стремленіяхъ литературы, надо обратиться къ тѣмъ писателямъ, которые по своему труду и дарованіямъ и должны считаться настоящими ея представителями. Таковъ былъ Ломоносовъ. Онъ стоитъ такъ wysoko, что на него не посягаютъ укоризны XVIII-му столѣтію; его труда не осмѣливаются отвергать ни явный обскурантизмъ, ни—несколько беззаботное вообще на счетъ исторіи, народничество. Но таковъ же былъ, и раньше Ломоносова, Татищевъ, самый коренной русскій человѣкъ, хотя великий почитатель „Баilla“ (Bayle) и Шуффендорфія. Таковы были, послѣ, молодые ученые путешественники по Россіи, какъ Лепехинъ, питомецъ

нѣмецкой школы, немного раціоналиſтъ и скептикъ, и однако самый непосредственный русскій патріотъ. Таковъ былъ англоманъ Десницкій, котораго, однако, новые историки науки признали „отцомъ природной русской юриспруденціи“ ¹⁾). Таковъ былъ Болтинь, который, начитавшись французскихъ философовъ, былъ однако строгимъ хранителемъ національныхъ предапій, чутъ не народникомъ среди XVIII вѣка...

Мы касаемся здѣсь исторіи русской старой науки лишь съ той стороны, гдѣ она трудилась надъ изученіемъ русской страны и народовъ. Наперекоръ расточаемымъ нынѣ фразамъ о разрывѣ съ народностью, самый простой обзоръ фактovъ убѣждаетъ, что съ первыхъ своихъ шаговъ наша наука высшей практической цѣлью ставила именно изученіе Россіи, ея природной области, ея прошлаго и ея народной жизни. Нѣтъ смысла говорить о разрывѣ тамъ, гдѣ собиралось первое точное знаніе о географіи своей страны, о свойствахъ ея природы, ея удобствахъ и неудобствахъ для человѣческой жизни; гдѣ впервые начиналось критическое изслѣдованіе народнаго прошлаго, собирались его памятники и письменные остатки; гдѣ изучался русскій народъ въ разныхъ краяхъ его громадной территории, описывались его нравы, составлялось первое сознательное понятіе объ его цѣломъ; гдѣ являлась первая широкая мысль объ изученіи различныхъ формъ его языка; впервые заносимы были въ книгу произведенія его поэзіи и т. д. Было бы любопытной темой сравнить въ этомъ отношеніи понятія русскихъ людей XVII и XVIII столѣтій. Русскій человѣкъ XVII вѣка зналъ обыкновенно только свою тѣсную ближайшую обстановку и не помышлялъ о такомъ запаѣ своего отечества, къ какому стремилось XVIII столѣтіе; онъ былъ грубый эмпірикъ, который безъ помощи иноземца не умѣлъ оцѣнить богатствъ своей собственной страны, нуждался въ чужеземномъ руководствѣ для всякаго нѣсколько сложнаго промысла, для торговли и даже для военнаго дѣла; не зналъ въ сущности своей исторіи, потому что о старинѣ получалъ только смутныя понятія изъ древней лѣтописи, уже на половину невразумительной, или изъ исторіографическихъ опытовъ въ родѣ „Синопсиса“, изъ исторіи ближайшой зналъ факты, не освѣщенные критикой; народное чувство было въ немъ сильно, но часто это былъ только фанатической темной истиинкѣ, которому въ чужомъ народѣ видѣлись „поганые“ (хотя бы и христіанскіе католики или протестанты), которому казалась богопротивнымъ волшебствомъ наука, и который отталкивалъ въ ней средства своего умствен-

¹⁾ См. Біогр. Словарь моск. проф. I, 297.

наго и материального успеха. Восемнадцатый векъ питалъ много своихъ грубыхъ заблужденій, но по крайней мѣрѣ онъ сталъ на вѣрный путь научнаго знанія, которое одно могло вывести его изъ патріархальнаго мрака въ сознательную общественную и народную жизнь.

Въ исторію литературы обыкновенно не входитъ изложеніе исторіи науки и распространенія образовательныхъ свѣдѣній. У насъ есть по этому предмету только отдѣльныя (и даже немалочисленныя) работы, не сведенныя однако къ общей исторической мысли. Между тѣмъ для точнаго пониманія хода нашей литературы, какъ „отраженія общества и народа“, именно важно было бы сопоставлять ее съ исторіей образованія и научныхъ познаній. Въ переворотѣ понятій, отличающемъ XVIII вѣкъ, важную роль играло именно это распространеніе знаній черезъ новыя школы и учебныя книги, черезъ иностранныя пособія и собственныя работы. Когда новая поэзія заговорила о величіи „дѣлъ Петровыхъ“, когда новая литература поднимала вопросъ о россійскомъ народѣ и его просвѣщеніи, обѣ исправленіи нравовъ и т. д., всему этому предшествовала школьная наука, политическая свѣдѣнія, о сообщеніи которыхъ народу впервые заботился Петръ Великій, и всякие книжные и практическіе иноземные образцы. Если представить себѣ всю массу внесенного этими путями знанія, часто абсолютно необходимаго для практическихъ нуждъ государства и народа, это одно могло бы внушить болѣе правдивое отношеніе къ нашимъ предкамъ прошлаго столѣтія, положившимъ много добросовѣстнаго и самоотверженаго труда для блага отечества; оказалось бы при этомъ и другое,—что воспринятое знаніе не было однимъ подражаніемъ и, напротивъ, усвоивалось органически, возбуждая самостоятельную и плодотворную дѣятельность...

Итакъ, при Петрѣ Великомъ положено было начало изученіямъ географическимъ. Упомянутая задача, данная отъ самого Петра его первымъ „навигаторамъ“—отыскать, сошлась ли Азія съ Америкой, —весьма характерно указывала, что Россія въ эту сторону не знала конца своихъ владѣній... Первые учебники географіи, какъ, напр., „Географія или краткое земного круга описание“, напечатанная по велѣніемъ царскаго величества въ 1710 году, свидѣтельствуютъ о тѣхъ крайнихъ затрудненіяхъ, какія встрѣчала передача на русскомъ языкѣ географической терминологіи: не было словъ для обозначенія техническихъ названій, и они очень часто оставлялись просто безъ перевода¹⁾). Съ новыми работами по этому предмету

¹⁾ См. примѣры въ книгѣ Пекарскаго и также въ сочиненіи Л. Весина: „Исторический обзоръ учебниковъ общей и русской географіи, изданныхъ со времени Петра Великаго по 1876 годъ (1710—1876)“, Спб. 1877. Эта обширная книга, стояв-

языкъ видимо привыкаетъ къ нему, и въ географической терминологии мало-по-малу убавилось число иностранныхъ словъ и передача понятій нѣсколькоихъ облегчилась. Въ числѣ учебниковъ географіи, изданныхъ по повелѣніямъ Петра, была между прочимъ книга Бернарда Варенія, знаменитаго ученаго XVII вѣка, котораго Гумбольдтъ въ своемъ „Космосѣ“ называетъ великимъ географомъ. Съ этихъ поръ новая наука впервые правильно вошла въ русскую школу, и вообще въ умственный запасъ русскаго народа. Съ основаніемъ Академіи наукъ развиціе географическихъ знаній получаетъ и твердую научную опору: географія обставляется тѣми науками, изъ которыхъ она почерпаетъ свои теоретическія основанія, какъ астрономія, физика, математика и разныя отрасли „натуральной исторіи“. Мы упоминали о первыхъ научно составленныхъ атласахъ, изданныхъ въ первой половинѣ прошлаго столѣтія Кириловымъ и Академіей наукъ. Въ Россіи впервые начинаются астрономическія наблюденія и определенія мѣстностей, безъ которыхъ немыслима точная географія (труды астронома Делиля, доѣзжавшаго до Бerezова, и др.); впервые начинаются наблюденія физическія и собираются данные для определенія климата, почвы и т. д.; наблюденія естественно-научныя, измѣренія геодезическія, собирають экономическихъ свѣдѣній, словомъ, вся та масса матеріала, какая требуется для точнаго географического описанія страны. Ко второй половинѣ столѣтія изложенія географіи, и особенно русской, получаютъ правильный систематический видъ; онъ являются какъ отдѣльныя изслѣдованія, научныя путешествія, общіе курсы предмета, мѣстныя описанія, наконецъ, географические словари. Нѣмецкіе ученые работаютъ параллельно и рядомъ съ русскими. Такъ, однимъ изъ наиболѣе заслуженныхъ географовъ былъ ученый полигисторъ, какихъ такъ много производили тѣ времена, — Антонъ-Фридрихъ Бюшингъ (1724 — 1793). Родомъ нѣмецъ, онъ учился въ университетѣ въ Галле; въ 1748, въ качествѣ домашняго учителя въ домѣ датскаго посланника Линара, онъ прибылъ съ нимъ въ Россію и, по возвращеніи въ Германію въ 1750, началъ рядъ ученыхъ работъ, изъ которыхъ главно было „Землеописаніе“. Въ 1754 г., Бюшингъ получилъ профессуру философіи въ Геттингенѣ, но, павлекши себѣ враговъ своимъ свободнымъ протестантизмомъ, оставилъ въ 1759 профессуру и во второй разъ прѣѣхалъ въ Петербургъ, где сдѣлался пасторомъ при лютеранской церкви св. Павла. Въ Россіи онъ прожилъ до 1765, и за

шая составителю не малаго труда, къ сожалѣнію буквально ограничивается обзоромъ учебниковъ. Нѣсколько расширивъ свою задачу, напр. сдѣлавши хотя краткій обзоръ географической литературы вообще, путешествій и экспедицій, авторъ далъ бы важный трудъ для исторіи русскаго образованія.

тѣмъ по приглашенію Фридриха II занялъ мѣсто совѣтника консисторіи и директора гимназіи въ Берлинѣ. Кромѣ „Землеописанія“¹⁾, гдѣ имѣла мѣсто и Россія, Бюшингъ оказалъ великую услугу изученіямъ Россіи знаменитымъ „Магазиномъ“ (*Magazin fur Historie und Geographie*, 25 томовъ, Гамбургъ, 1765—93), который донынѣ остается богатымъ, неисчерпаннымъ источникомъ важныхъ свѣдѣній о Россіи. Въ самой Россіи географическая работы все больше разширяются. Таковы были труды Татищева, о которыхъ упомянемъ далѣе, историко-географическая и натуралистическая экспедиціи академиковъ. Въ 1759, Академія наукъ, предполагая составить новый атласъ Россіи, возъимѣла мысль собрать подробныя свѣдѣнія о всей имперіи черезъ правительствующій сенатъ (которому въ тѣ времена она была подчинена въ высшей инстанціи). Когда послѣдовало согласіе сената, въ Академіи составлены были вопросы, на которые должны были отвѣтить провинціальныя канцеляріи. Въ январѣ 1760, сенатъ разослалъ въ провинціи указъ съ академической программой, въ тридцати вопросахъ. Въ теченіе семи лѣтъ собралось значительное количество отвѣтовъ, хотя не всѣ и не одинакового достоинства, и Академія постановила издать изъ нихъ точную выборку. Такъ составились „Топографическая извѣстія, служащія для полнаго географического описанія Росс. Имперіи“, изданныя подъ редакціей Лудвига Бакмейстера (4 ч. Спб. 1771—1774). Любопытно, что въ то же время подобную мысль возъимѣлъ Шляхетный кадетскій корпусъ. Для собранія свѣдѣній онъ употребилъ то же средство: воспользовавшись академической программой, онъ расширилъ ее для своей цѣли нѣ-которыми новыми вопросами, и въ декабрѣ 1760 она также была разослана сенатомъ. Понятно, что отвѣты были отчасти тождественные, но иногда болѣе подробные; Шляхетный корпусъ подѣлился ими съ Академіей и Бакмейстеръ воспользовался ими для своего изданія²⁾. Къ концу столѣтія являются уже хорошо составленные учебники, напр., книга московскаго профессора Харитона Чеботарева (1776); „Обозрѣніе Россійскія Имперіи въ нынѣшнемъ ея новоустроеннымъ состояніи“, флота капитана Сергея Плещеева (четыре изданія, 1786—1793), и др. Любопытно „Новѣйшее повѣствовательное землеописаніе всѣхъ четырехъ частей свѣта... Россійская имперія описана статистически, какъ никогда еще не бывало“ (5 ч., Спб. 1795), которое было „сочинено и почерпнуто изъ вѣрнѣйшихъ источниковъ...

¹⁾ О различныхъ русскихъ переводахъ изъ него см. у Весина, стр. 28—39.

²⁾ Вѣроятно, исполненіемъ этого плана (впрочемъ недоконченнымъ) была „Политическая географія, сочиненная въ Сухопутномъ Шляхетскомъ кадетскомъ корпусѣ для употребленія учащагося въ ономъ корпусѣ шляхетства“, 1758—72, о которой см. въ книжѣ Весина, стр. 25—28.

учеными россиянами¹⁾. Правда, върхнѣшіе источники повели авторовъ и къ большимъ нелѣпостямъ, напр., въ рассказахъ о славянской древности, но въ книгѣ собрано было и много полезныхъ свѣденій¹⁾.

Появляются, наконецъ, географическіе словари. Первый трудъ этого рода составленъ былъ (до буквы К) еще въ первой половинѣ столѣтія Татищевымъ,—но одно время затерялся и изданъ былъ уже только въ 1793. Академикъ Миллеръ издалъ „Географическій лексиконъ Россійскаго государства“, составленный любителемъ, воеводой города Верей, Федоромъ Полуниномъ и значительно дополненный самимъ Миллеромъ (М. 1773). Затѣмъ географическій словарь Россіи явился въ многотомномъ труде Льва Максимовича, послѣ еще болѣе размноженномъ въ изданіи Аѳанасія Щекатова. Это были уже цѣлые обширныя предпріятія, богатыя историческими и географическими данными о разныхъ краяхъ и мѣстностяхъ Россіи²⁾. Словарь Щекатова, составленный весьма трудолюбиво по офиціальнымъ даннымъ и по книжнымъ свѣдѣніямъ, въ свое время и послѣ служилъ нашимъ историкамъ обильнымъ источникомъ справокъ по исторической географіи и вообще оставался у насъ незамѣненнымъ до „Географическаго Словаря“ г. Семенова и его сотрудникъ, изданаго Географическимъ Обществомъ.

Но замѣчательнѣйшимъ фактомъ въ развитіи географическаго изученія Россіи былъ длинный рядъ ученыхъ путешествій, начинаящихся со временъ Петра и по его инициативѣ. По основаніи Академіи наукъ, когда ея внутренніе порядки нѣсколько опредѣлились и явился достаточный запасъ русскихъ ученыхъ силъ въ ея ученикахъ, ученые экспедиціи стали однимъ изъ основныхъ предметовъ ея заботъ. Эти путешествія были дѣломъ до тѣхъ поръ не-бывалымъ: впервые изъ правительственного центра направлены были

¹⁾ Объ этихъ учебникахъ, подробности у Весина, стр. 49, 53, 79 и слѣд., 413—414. Объ „ученыхъ россиянахъ“ у Неустроева, „Историч. розысканіе о русскихъ времененныхъ изданіяхъ и сборникахъ за 1703—1802“. Спб. 1875, стр. 534.

²⁾ „Новый и полный географическій словарь Россійскаго государства, собранный Львомъ Максимовичемъ“, 6 ч. М. 1785—1789. Новая обработка этого труда, въ семи томахъ, явилась въ 1801—1808 году. Первая часть озаглавлена такъ: „Географическій словарь Россійскаго государства, сочиненный въ настоящемъ онаго видѣ“. М. 1801, 4⁰,—безъ имени составителей на заглавномъ листѣ, но посвященіе императору Александру подписали: всеподданнейшіе падворный совѣтникъ Максимовичъ и коллежскій регистраторъ Щекатовъ. Вторая часть имѣть очень длинное заглавіе: „Словарь Географическій Россійскаго государства, описывающій азбучнымъ порядкомъ географически, топографически, идрографически, физически, исторически, политически, хронологически, генеалогически и геральдически всѣ губерніи, города и ихъ уѣзды, крѣпости, форпости, редуты“ и пр. „Собранный А. Щ.“ М. 1804. Съ треть资料а тома и до конца ставится имя одного Аѳанасія Щекатова.

въ разные и между прочимъ отдаленнѣйшіе края государства ученыe люди, которымъ поручалось собирать всевозможныя свѣдѣнія о странѣ и народѣ, о природѣ и нравахъ, объ историческомъ прошломъ и современномъ характерѣ и трудахъ населенія, его достаткахъ и недостаткахъ и т. д. Это были люди, не облеченные властью, но люди знающіе и просвѣщенные, цѣль которыхъ была научное изслѣдованіе, предназначеннное для пользы правительства и общества. Находясь тогда подъ высшимъ вѣдѣніемъ сената, Академія въ этихъ дѣлахъ обыкновенно получала отъ него внимательное соображеніе: путешественники получали достаточныя денежныя средства, подготовленныхъ сотрудниковъ изъ студентовъ академического университета и другихъ необходимыхъ помощниковъ. снабжаемы были сенатскими указами и т. д.; но имъ все-таки приходилось бороться съ большими затрудненіями. Не говоря о трудностяхъ самого пути въ далекихъ, мало населенныхъ краяхъ, по дикимъ мѣстностямъ, путешественникамъ приходилось иногда встречаться съ весьма недружелюбными мѣстными властями (напр., сибирскими воеводами), защищать отъ нихъ свое дѣло, испытывать неудобства отъ канцелярскихъ проволочекъ, когда притомъ донесеніе въ Академію или въ сенатъ шло туда и обратно по нѣскольку мѣсяцевъ, подвергаться притиркамъ и доносамъ, даже „слову и дѣлу“. Не легко было и собираніе научныхъ свѣдѣній, когда на мѣстѣ приходилось иметь дѣло съ людьми невѣжественными или просто полудикими. Не легко было (какъ и по настоящую минуту) собираніе этнографическихъ свѣдѣній: если въ академикъ подозрѣвали чиновника, это заставляло относиться къ нему опасливо и подозрительно.

Было бы слишкомъ длинно рассказывать исторію этихъ многочисленныхъ странствій, въ которыхъ съ самаго начала рядомъ выступали и нѣмецкія, и русскія научныя силы. Мы ограничимся общимъ указаніемъ и остановимся ближе на нѣсколькихъ эпизодахъ русскихъ путешествій, которые могутъ характеризовать отношеніе нашей науки прошлаго вѣка къ народному вопросу. Послѣ путешествій Мессершмидта, предприняты были изслѣдованія съверовосточного края Азіи и Камчатки экспедиціями Беринга, Стеллера и Крашенинникова; далѣе большая съверная экспедиція для топографической съемки всего съвернаго берега Сибири; далѣе сибирская экспедиція Миллера и Гмелина-старшаго, къ которой относятся также труды академика Фишера; наконецъ, замѣчательная экспедиція шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, гдѣ работали знаменитый Палласъ, Георги, Фалькъ, Гильденштедтъ, Гмелинъ-младшій, затѣмъ русскіе ученые, какъ Лепехинъ, Озерец-

ковскій, Иноходцовъ, студенты Соколовъ, Зуевъ, Кошкаревъ, далѣе Севергинъ и др.

Какихъ трудовъ и опасностей стоили иногда эти путешествія, обѣ этомъ могутъ дать понятіе нѣсколькихъ примѣровъ. Нечего говорить о томъ, какъ тяжки были полярныя экспедиціи или странствованія въ Камчатку и по (неизвѣстному еще) Охотскому морю, въ сибирскихъ пустыняхъ, восточно-русскихъ степяхъ. Многіе изъ изслѣдователей заплатили за свое дѣло жизнью. Берингъ, сдѣлавши свое открытие, что Азія не сошлась съ Америкой, потерпѣлъ кораблекрушеніе и умеръ отъ лишенія на необитаемомъ островѣ Охотскаго моря, куда спасся со своими спутниками. Стеллеръ, который былъ въ числѣ спутниковъ Беринга и во время путешествія долженъ былъ выносить всякія притѣсненія отъ враждебнаго ему капитана, провелъ жестокую зиму на томъ же островѣ послѣ кораблекрушенія, не переставая дѣлать ученыхъ наблюденія; потомъ, въ Сибири подвергся кляузному доносу, вслѣдствіе котораго уже на возвратномъ пути въ Россію былъ арестованъ въ Соликамскѣ для отправки подъ конвоемъ обратно въ Иркутскъ для допроса; на пути дожнало его оправданіе, и предпринявъ снова обратную дорогу въ Петербургъ, онъ умеръ въ Тюмени послѣ девяти-лѣтняго путешествія (1737—1746). Гмелинъ-младшій, возвращаясь изъ своего путешествія по юго-восточной Россіи и Персіи, былъ захваченъ татарами и умеръ въ плѣну въ 1774. Исторія трудовъ астронома Ловица и его спутника и сотрудника Иноходцова была рядомъ подвиговъ самоотверженія на пользу науки. Странствуя въ степяхъ нижней Волги, ученые подвергались всевозможнымъ лишеніямъ. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ,—рассказываетъ біографъ Иноходцова,—съ ранней весны и до поздней осени, Ловицъ и Иноходцовъ дѣлались обитателями песчаныхъ степей, поселяясь въ палаткахъ, окружали себя научными снарядами и работали неутомимо, подвергаясь разнаго рода невзгодамъ и одолѣвая всякія затрудненія. Самыя приготовленія къ ученымъ работамъ требовали многихъ усилий. Нигдѣ въ окрестностяхъ нельзя было найти мастера для устройства и починки инструментовъ, и Ловицъ долженъ былъ самъ обратиться въ рабочаго и дѣлать все собственными руками. Трудно исчислить всѣ бѣды, большія и малыя, которыя насылались на нашихъ путешественниковъ и силою негостепримной природы и враждебною волею людей. Палающій зной степей, доходившій въ срединѣ лѣта до тридцати-пяти градусовъ въ тѣни, и въ противоположность ему весенніе и осеніе холода дѣйствовали разрушительно на здоровье, такъ что палатка астрономовъ часто обращалась въ лазаретъ. Степные вѣтры заносили песками наблюдательные пункты, поражая и глаза, и легкія наблюдателей. Едва

только наладили они свои инструменты и горячо принялись за дѣло, надъ степью разразился страшный ураганъ, снесшій палатку и разметавшій всѣ инструменты. Но еще горшай бѣда угрожала въ будущемъ, и шла уже не отъ природы, а отъ людей, которыми впрочемъ владѣла въ ту минуту стихійная сила. Все Поволжье было взволновано пугачевцами¹⁾). Извѣстно, что Ловицъ былъ захваченъ и убитъ пугачевцами въ 1774 году. Иноходцовъ едва спасся отъ той же участи.

Переходя къ самымъ путешествіямъ, мы не будемъ останавливаться на подробностяхъ странствій и частныхъ научныхъ результатахъ; намъ важно указать ихъ общее значеніе и личное отношение ученыхъ къ своему дѣлу, отношеніе научное и нравственное²⁾). Если гдѣ имѣютъ смыслъ слова: преданность наукѣ, служеніе пользѣ общества и народа, то они именно съ полнымъ правомъ могутъ быть употреблены о трудахъ нашихъ путешественниковъ прошлаго вѣка, русскихъ и не-русскихъ.

Таковъ былъ названный сейчасъ Георгъ-Вильгельмъ Стеллеръ (1709—1746), извѣстный своими путешествіями въ Камчаткѣ въ связи съ экспедиціей Беринга. Молодой нѣмецкій „гелертеръ“, натуралистъ и медикъ, Стеллеръ попалъ въ Петербургъ случайно, посланный сюда изъ-подъ Данцига съ больными русскими солдатами; въ Петербургѣ, живой, веселый и ученый Стеллеръ полюбился юноше Геофану Прокоповичу, черезъ котораго вступилъ въ отношенія съ Академіей наукъ. Въ 1737 г. онъ по „контракту“ съ Академіей причисленъ былъ къ камчатской экспедиціи и отправился въ путь. Гмелинъ-старшій, съ которымъ Стеллеръ познакомился уже въ Сибири, въ описаніи своего путешествія разсказываетъ, какъ онъ былъ радъ назначенію Стеллера. „Мы очень обрадовались,—говоритъ онъ о себѣ и Миллерѣ,—что этотъ даровитый человѣкъ, послѣ краткаго пребыванія у насъ, достаточно показалъ, что онъ былъ въ силахъ совершилъ такое великое дѣло и добровольно самъ предложилъ себѣ для выполненія его“. Гмелинъ замѣчаетъ „откровенно“, что если бы онъ, Гмелинъ, взялся за это предпріятіе, т.-е. путешествіе въ Камчатку, то экспедиція обошлась бы ея величеству гораздо дороже, такъ какъ онъ не удовлетворился бы такими скромными средствами, какими удовольствовался Стеллеръ. По рассказамъ Гмелина и по офиціальнымъ свѣдѣніямъ, характеръ Стеллера представляется въ очень оригинальныхъ и привлекательныхъ чертахъ человѣка простого, трудолюбиваго, подвижнаго и беззавѣтно-преданнаго своему дѣлу,

¹⁾ Исторія Росс. Академіи, III, стр. 194—195.

²⁾ Исторія этихъ путешествій не собрана въ цѣломъ; но въ отдѣльности многія изъ нихъ пересказаны въ академическихъ исторіяхъ Некарского и Сухомлинова.

притомъ человѣка съ недюжинными дарованіями ученаго. „Мы могли — продолжаетъ опять Гмелинъ, — сколько намъ было угодно представлять Стеллеру о всѣхъ чрезвычайныхъ невзгодахъ, ожидающихъ его въ этомъ путешествіи,— это ему служило только болѣшимъ побужденіемъ къ тому трудному предпріятію, къ которому совершеннное имъ до сихъ поръ путешествіе (отъ Петербурга до Енисейска, гдѣ онъ встрѣтился съ Гмелиномъ) служило только какъ бы подготовкою. Онъ вовсе не былъ обремененъ платьемъ. Если кто принужденъ возить съ собою по Сибири хозяйство, то оно должно быть устроено въ такихъ малыхъ размѣрахъ, въ какихъ только это возможно. У Стеллера былъ одинъ сосудъ для питья и пива, и меда, и водки. Вина ему вовсе не требовалось. Онъ имѣлъ одну посудину, изъ которой есть и въ которой готовили всѣ его кушанья; причемъ онъ не употреблялъ никакого повара. Онъ стряпалъ все самъ, и это опять съ такими малыми затѣями, что супъ, зелень и говядина клались разомъ въ одинъ и тотъ же горшокъ и такимъ образомъ варились. Въ рабочей комнатѣ Стеллеръ легко могъ переносить чадъ отъ стряпни. Ни парика, ни пудры онъ не употреблялъ, и всякий сапогъ, и башмакъ были ему въпору. При этомъ его нисколько не огорчали лишенія въ жизни; всегда оль былъ въ хорошемъ расположениіи духа, и чѣмъ болѣе было вокругъ него кутерьмы, тѣмъ веселѣе становился онъ. У него не было печалей, кромѣ одной, но отъ нея онъ хотѣлъ отѣлаться, и, слѣдовательно, она служила ему болѣе побужденіемъ предпринимать все, чтобы только забыть ее. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы примѣтили, что, не смотря на всю беспорядочность, высказываемую имъ въ его образѣ жизни, онъ, однако, при производствѣ наблюденій былъ чрезвычайно точенъ и неутомимъ во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ, такъ что въ этомъ отношеніи у насъ не было ни малѣйшаго беспокойства. Ему было ни почемъ проголодать цѣлый день безъ Ѣды и питья, когда онъ могъ совершить что-нибудь на пользу науки ¹⁾“.

Встрѣтившись въ Сибири съ сотрудникомъ Беринга, капитаномъ Шпангебергомъ, которому вѣрно было отиравиться къ берегамъ Японіи, Стеллеръ очень желалъ участвовать въ этомъ путешествіи и, объяснявъ въ просьбѣ къ сенату свои ученые планы, о самомъ себѣ выражался: „я, какъ силою, здравиемъ, а паче несказаннымъ желаніемъ ко всякимъ трудностямъ и трудамъ какъ водою вѣкомъ, и притомъ намѣренъ я въ тѣхъ новоизобрѣтенныхъ мѣстахъ побывать, ионеже безъ того едва быть можетъ чтобы туда кто не былъ отиправленъ“. Изъ приведенного разсказа Гмелина видно, что это не

¹⁾ J. G. Gmelin's Reise durch Sibirien, Göttingen, 1751—52, Ш, стр. 175—183.

было у Стеллера фразой, а настоящей правдой. Присоединившись къ Берингу, Стеллеръ долженъ былъ вынести отъ этого моряка не мало грубыхъ притѣсненій, но не унывалъ, и когда наши мореплаватели потерпѣли кораблекрушеніе и должны были зимовать на одномъ изъ необитаемыхъ Алеутскихъ острововъ (названномъ послѣ Беринговымъ), Стеллеръ, не смотря на холодъ, голодъ и всякия лишенія, не падаль духомъ; исполнялъ должности то лѣкаря, то повара, таскалъ съ другими прибываемый моремъ лѣсъ для топлива и т. п.; въ то же время не покидалъ своихъ ученыхъ трудовъ и написалъ здѣсь знаменитое въ ученомъ мірѣ изслѣдованіе *de bestiis marinis*. Выбравшись съ острова, онъ странствовалъ въ Камчаткѣ, гдѣ между прочимъ производилъ изслѣдованія о способахъ мѣстного питанія (одною рыбой, корнемъ растенія сарана, безъ хлѣба) на самомъ себѣ. „Едва на Камчатку прибылъ,—говоритъ Стеллеръ,—не для скучности, но для любопытства, самовольно чрезъ четыре недѣли опытъ учинилъ: держаль себя отъ хлѣбнаго корму, пакиавъ одного изъ тамошнихъ служивыхъ, чтобы довольствовалъ меня тѣмъ коромъ, который они сами имѣютъ, дабы я могъ знать, что у нихъ видѣлъ, и самъ бы тоже при случаѣ (какъ и нынѣ случилось) сказать могъ. И отъ употребленія по тамошнему обыкновенію корму никакой скучи себѣ не имѣлъ“ и т. д.¹⁾.

О трудахъ Герарда-Фридриха или Федора Ивановича Миллера (1705—1784) для русской исторіи, географіи и научно-популярной литературы намъ придется поминать неоднократно. Пріѣхавши въ Россію 20-лѣтнимъ юношей, по вызову Коля, Миллеръ усердно принялъся за трудъ и уже въ 1732 году издалъ первый томъ своего извѣстнаго сборника по русской исторіи „Sammlung russischer Geschichte“, а въ 1733 началъ извѣстное сибирское путешествіе, продолжавшееся десять лѣтъ (1733—1743). Охоту къ сибирскому путешествію возбудилъ въ немъ капитанъ Берингъ, съ которымъ Миллеръ былъ хорошо знакомъ, и обстоятельства помогли осуществиться этому желанію. Путешествіе оказалось далеко не легкимъ, но „никогда потомъ не имѣлъ я,—говоритъ Миллеръ,—повода раскаиваться въ моей рѣшимости, даже и во время тяжкой моей болѣзни, которую выдержалъ въ Сибири. Скорѣе видѣлъ я въ томъ какъ бы

¹⁾ Труды Стеллера печатались послѣ его смерти въ академическихъ „Комментарияхъ“, въ „Neue nordische Beyträge“ Палласа и отдельными книгами; Beschreibung von dem Lande Kamtschatka... herausgegeben von J. B. S. (cherer). Frankf. und Leipz., 1774; Reise von Kamtschatka nach Amerika mit Bering. [Ein Pendant zu dessen Beschreibung von Kamtschatka. St.-Pet. 1793. Его біографія въ „Исторіи Академіи Н.“, I, 587—616, тамъ же отзывы новѣйшихъ ученыхъ о достоинствѣ трудовъ Стеллера.

предопредѣленіе, потому что этимъ путешествіемъ впервые сдѣлался полезныи россійскому государству, и безъ этихъ странствій миѣ было бы трудно добыть пріобрѣтеныя мною знанія". Въ какомъ настроеніи приступалъ онъ къ своему ученому дѣлу, о томъ даютъ понятіе слова его въ русскомъ рукописномъ описаніи сибирского путешествія. Путь по рѣкѣ Иртышу былъ однимъ изъ пріятнѣйшихъ во всемъ его странствіи. „Въ то время,—говорить онъ о себѣ и Гмелинѣ,—были мы еще въ первомъ жару, ибо неспокойствія, недостатки и опасности утрудить насъ еще не могли. Мы заѣхали въ такія страны, которая отъ натуры своими преимуществами многія другія весьма превосходятъ, и для насъ почти все, что мы ни видѣли, новое было. Мы подлинно зашли въ наполненный цветами вертоградъ, гдѣ по большей части растутъ незнаемыя травы;—въ звѣринецѣ, гдѣ мы самыхъ рѣдкихъ азіатскихъ звѣрей въ великомъ множествѣ передъ собою видѣли;—въ кабинетѣ древнихъ языческихъ кладбищъ и тамо хранящихся разныхъ достопамятныхъ монументовъ. Словомъ—мы находились въ такой странѣ, гдѣ прежде насъ еще никто не бывалъ, который бы о сихъ мѣстахъ свѣту извѣстіе сообщить могъ. А сей поводъ къ *произведенію новыхъ испытаній и изобрѣтеній въ наукахъ* служилъ намъ неинако какъ съ крайнею пріятностью". Не обошлось, конечно, безъ такихъ вещей, которые должны были очень охлаждать жарь: кромѣ трудностей пути пришлось испытать разныя каверзы отъ сибирскихъ начальствъ, напр., въ особенности отъ сибирского губернатора Плещеева; но это не помѣшало Миллеру собрать изъ сибирскихъ архивовъ громадный историческій материалъ. Этотъ материалъ послужилъ основаніемъ для первой сибирской исторіи, начатой Миллеромъ и продолженный академикомъ Фишеромъ, и впослѣдствіи служилъ для изданій самого Миллера и другихъ ученыхъ: изъ этого материала черпали князь Щербатовъ въ своей „Исторіи“, Новиковъ въ своей „Древней Библіоѳекѣ“, позднѣе издали Румянцовскаго „Собранія Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ“; этотъ материалъ не былъ истощенъ даже нынѣшней Археографической комиссіей. Мы скажемъ дальше объ историческихъ понятіяхъ Миллера и упомянемъ здѣсь еще только объ его историко-географическихъ изслѣдованіяхъ во внутренней Россіи, примыкающихъ къ категоріи мѣстныхъ изысканій¹⁾.

Однимъ изъ знаменитѣйшихъ именъ въ этой области изслѣдований было имя Іоганна-Георга Гмелина старшаго (1709—1755). Сынъ вѣмецкаго аптекаря, хорошаго натуралиста, Гмелинъ очень моло-дымъ кончилъ курсъ въ тюбингенскомъ университетѣ, защитилъ тамъ

¹⁾ Пекарскій, Ист. Акад. Н., 1, стр. 418—424.

двѣ медицинскія диссертациіи и 18-ти лѣтъ пріѣхалъ, по совѣту одного изъ первыхъ академиковъ, Бильфингера, въ Петербургъ, гдѣ для него тотчасъ ашлось ученое дѣло при Академіи. Въ 1731, онъ сдѣланъ былъ профессоромъ химіи и натуральной исторіи, а въ 1733 назначенъ въ сибирскую экспедицію, продолжавшуюся десять лѣтъ и гдѣ товарищемъ его былъ Миллеръ. Это путешествіе составило ученую славу Гмелина: результатомъ его было донынѣ высоко цѣнное спеціалистами сочиненіе о сибирской флорѣ и описание самого путешествія. По окончаніи путешествія Гмелинъ недолго оставался въ Россіи и вернулся на родину въ Тюбингенъ, гдѣ ему была предложена профессура. „Путешествіе“ Гмелина, которымъ къ сожалѣнію мало пользовались русскіе изслѣдователи, замѣчательно по богатству свѣдѣній о мѣстномъ бытѣ, по внимательности и точности разнообразныхъ наблюденій, любопытныхъ тѣмъ болѣе, что онѣ дѣлались въ такое время, когда еще не изгладились воспоминанія о первомъ завоеваніи Сибири и замѣтна была враждебность между русскими и туземцами. Свое сочиненіе Гмелинъ предпочелъ напечатать за границей, и по мнѣнію новѣйшаго историка Академіи наукъ прекрасно сдѣлалъ, потому что тогдашняя мелочная придирчивость, съ какой смотрѣли въ Россіи на все печатное, не позволила бы ему сохранить своего труда неприкосновеннымъ. Но выходъ въ свѣтъ, книга Гмелина не преминула вызвать въ Россіи строгія осужденія, и въ Академіи былъ поднятъ вопросъ о разсмотрѣніи этого сочиненія, чтобы розыскать, „что въ немъ излишняго, непристойнаго и сумнительнаго находится“ ¹⁾.

Очень извѣстны также труды Самуила-Георга Гмелина-младшаго (1744—1774). Это былъ племянникъ Іоганна-Георга, такъ же рано начавшій свою ученую карьеру: въ 1763 онъ получилъ докторство въ Тюбингенѣ, въ 1767 приглашенъ въ Петербургскую Академію, а въ слѣдующемъ году, одновременно съ Палласомъ, Лепехинымъ, Фалькомъ и другими, началъ свое путешествіе по юго-востоку Россіи, закончившееся смертью въ плѣну. Онъ странствовалъ по Дону, Волгѣ, по южному и западному берегу Каспійскаго моря ²⁾.

¹⁾ Flora Sibirica, 4 т., St.-Pet. 1747—1769; Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bis 1743, 4 т., Göttingen, 1751—1752. Голландскій переводъ 1752—1757; французскій 1767. Англійское извлеченіе въ сборникѣ, извѣстномъ намъ по нѣмецкому переводу: Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen in einem ausf\u00fchlichen Auszuge etc. Aus dem Engl\u00e4ndischen \u00fcbersetzt, 19 т., Berlin, изд. Миліуса, въ 1760—1770-хъ годахъ. Здѣсь т. V, 1767: Reisen durch Sibirien aus denen Beschreibungen Gmelins und M\u00fcllers, стр. 63—249. Біографія у Пекарскаго, Исторія Акад. Н., I, стр. 431—457.

²⁾ Reise durch Russland zur Untersuchung der drey Natur-Reiche, 4 т., St.-Pet. 1770—1784. Извлеченіе въ томъ же Sammlung der besten und neuesten Reisebe-

Назовемъ далѣе академика Йоганна-Петра Фалька, родомъ шведа, принялаго участіе въ большой экспедиції 1768-го года и умершаго въ семидесятыхъ годахъ¹); трудолюбиваго Йоганна-Готтфрида Георги²); А. И. Гильденштедта, который принялъ участіе въ той же экспедиції 1768, проѣхалъ центральную и юго-восточную Россію и много странствовалъ по Кавказу³); наконецъ, названнаго ранѣе Йоганна-Эбергарда Фишера (1697—1771), путешествовавшаго въ Сибири въ 1739—1747.

Но, быть можетъ, величайшая заслуга въ этихъ путешествіяхъ и описаніяхъ Россіи принадлежитъ знаменитому Палласу (1741—1811). Петръ-Симонъ Палласъ, сынъ берлинскаго медика, очень рано заявилъ свои научныя силы; юношей 19-ти лѣтъ онъ защищалъ въ лейденскомъ университѣтѣ свою диссертацио по зоологіи, которая

schreibungen, Миллуса, т. XII, 1774 и т. XVIII, 1773, и также въ Sammlung russischer Reisen, oder Geschichten der neuesten Entdeckungen im russischen und persischen Reiche, etc. Aus den kostbaren und seltenen Werken Pallas, Gmelin, Georgi Lepechin, Falk etc. ausgezogen. 6 томовъ, Берн, 2-te Ausgabe, 1795. Русскій переводъ: Путешествіе по Россіи для изслѣдованія трехъ царствъ естества, въ 1768—1771—1771; 4 части, Спб. 1773—1785; 2-е изд. первой части, 1806.

¹) Beyträge zur topographischen Kenntniss des russischen Reichs, 3 т., St.-Pet., 1785—1786: Reise in Russland. In einem ausf hrlichen Auszuge mit Anmerkungen von J. A. Martyni-Laguna. Berlin, 1794. Русскій переводъ: Записки путешествія Фалька, съ приложеніемъ двухъ атласовъ, въ „Полномъ собраніи ученыхъ путешестій по Россіи“, изд. Акад. Н., 7 ч. Спб. 1818—1825.

²) Bemerkungen einer Reise im russischen Reich im Jahre 1772, St.-Pet. 1775; тоже—in den Jahren 1773 und 1774, тамъ же, 1775; Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion... und  brigen Merkw rdigkeiten; 4 вып., St.-Pet. 1776—1780; тоже: Russland, Beschreibung и проч. два тома, Leipzig, 1783; французскій пер. Спб. 1776; Versuch einer Beschreibung der Residenzstadt St.-Petersburg und der Merkw rdigkeiten der Gegend. 2 тома, Спб 1790; 2-е изд. Рига, 1793; французскій пер. Спб. 1793; Geographisch-physikalische und naturhistorische Beschreibung des Russischen Reichs, 7 томовъ. Königsberg, 1797—1802. Русскіе переводы: Описаніе всѣхъ въ Россійскомъ государствѣ обитающихъ народовъ, пер. съ нѣм., 3 части, Спб. 1776—1777; 2-е изд., испр. и доп., 4 части, Спб. 1799; Описаніе столичнаго города Санктпетербурга, 3 части, Спб. 1794.

³) Betrachtungen  ber die nat rlichen Produkten Russlands, zur Unterhaltung eines best ndigen Uebergewichts im ausw rtigen Handel. Frankf. und Leipzig. 1778; Reisen durch Russland und im caucasischen Geburge. Herausgegeben von Pallas. 2 тома, St.-Pet. 1787—1791; Reisen nach Georgien und Imerethi. Aus seinen Papieren g nzlich umgearbeitet und mit Anmerkungen begleitet von Jul. von Klaproth; Berlin, 1815; Beschreibung der Kaukasischen L nder. Aus zeinen Papieren umgearbeitet von Jul. Klaproth, Berlin, 1834. Русскій переводъ Германа: Географическое и статистическое описаніе Грузіи и Кавказа, изъ путешествія академика Гильденштедта чрезъ Россію и по кавказскимъ горамъ, 1770—1773, Спб. 1809. Въ свое время обстоятельныя свѣдѣнія объ этихъ путешествіяхъ сообщались Бакмайстеромъ въ его „Russische Bibliothek“.

произвела въ ученомъ мірѣ большое впечатлѣніе. Ученая дѣятельность его дала ему мѣсто между величайшими естествоиспытателями прошлого вѣка; его изслѣдованія распространялись на самыя разнообразныя отрасли естествознанія, касаясь самыхъ глубокихъ теоретическихъ его основаній, и вмѣстѣ съ тѣмъ на предметы этнографіи и исторіи, гдѣ имъ затронуто было не мало важныхъ и новыхъ вопросовъ. Вызванный въ Россію въ 1768 году, Палласъ отправился тогда же въ сибирское путешествіе, гдѣ ученымъ предстояло тогда любопытное наблюденіе надъ прохожденіемъ Венеры черезъ дискъ солнца. Въ результатѣ этого и другихъ путешествій Палласа по Россіи и иныхъ изслѣдованій явился длинный рядъ трудовъ, доставившихъ его имени европейскую славу и послужившихъ богатымъ вкладомъ въ физическое, этнографическое и историческое изученіе Россіи¹⁾. Для нашихъ ученыхъ путешественниковъ того времени молодой Палласъ былъ уже авторитетнымъ руководителемъ.

Перечисленные предпріятія и другія путешествія, совершенныя русскими учеными и къ которымъ мы теперь перейдемъ, имѣли великое значеніе и для науки вообще, и въ частности для интересовъ русского просвѣщенія и практической государственной пользы. „Путешествія,—говоритъ Риттеръ въ „Землевѣдѣніи Азіи“,—путешествія, которыя, вслѣдствіе Мессершмидтова, петербургская Академія, не щадя издержекъ, устроивала, при вспомоществованіяхъ императрицъ Анны, Елизаветы и Екатерины II, должно причислить къ самымъ

¹⁾ Не касаясь его специальныхъ сочиненій по естествознанію, какъ знаменитая „Flora Rossica“ 1784—1788), „Zoographia rosso-asiatica“ (1811) и друг., назовемъ лишь тѣ, которая представляютъ болѣе общій интересъ:

Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs, 3 тома, St.-Pet., 1771—1776 (несколько изданій, нѣмецкихъ и французскихъ 1788—1794; итальянскій переводъ 1816; извлечения: въ Voyages en Sibérie, Berne, 1791, и въ упомянутыхъ сборникахъ—Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen, Мюліса, т. XII, 1774, и т. XIX, 1774, и въ Sammlung russischer Reisen, Bern, 1795); Sammlung historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften, 2 тома, St.-Pet., 1776—1781; 2-е изд. Франкфуртъ и Лейпцигъ, 1779; Betrachtungen über die Beschaffenheit der Gebürgen und die Veränderungen der Erdkugel, besonders in Beziehung auf das russische Reich. St.-Pet., 1777; 2-е изд. 1788; французскій пер. 1777; Neue nordische Beiträge, 7 томовъ, St.-Pet. и Leipzig. 1781—1796; Tableau physique et topographique de la Tauride, St.-Pet. 1795, потомъ 1796, 1798; нѣм. пер. St.-Pet. 1796; Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthaltereien des russischen Reichs in den Jahren 1793—1794, 2 тома, Leipzig, 1799—1801, 2-е изд. 1803; не сколько изданій французского перевода 1799—1801, и англійскаго, 1802—1803. Русскіе переводы: Путешествіе по разнымъ провинціямъ Россійскаго государства, пер. съ нѣм. Федора Томанскаго и Василія Зуева, 5 томовъ, Спб. 1773—1778; 2-е изд. 1-го тома, 1809; Краткое физическое и топографическое описание Таврической области, пер. съ фр. Ивана Рижскаго, Спб. 1795.

блестящимъ и успешнымъ предпріятіямъ для науки, просвѣщенія и народнаго благополучія Россіи... Это обширное государство только посредствомъ такихъ путешествій могло достигнуть до самопознанія и самосознанія своихъ частей, природныхъ силь и ихъ благотворного употребленія для своихъ подданныхъ¹⁾». Это значеніе ученыхъ экспедицій XVIII вѣка было тѣмъ болѣе важно, что въ нихъ съ самаго начала принимали дѣятельное участіе русскія силы. Въ ряду ихъ упомянемъ прежде всего тѣхъ Петровскихъ геодезистовъ, которые работали надъ сочиненіемъ первыхъ русскихъ ландкартъ. Выше мы называли издателя первого географическаго атласа Россіи, Кирилова. Это былъ сенатскій оберъ-секретарь Иванъ Кириловичъ Кириловъ; о патріотической ревности его приводимъ слова Миллера, который называетъ его главнѣйшимъ двигателемъ дѣла о второй камчатской экспедиції Беринга. „Кириловъ былъ великий патріотъ и любитель географическихъ и статистическихъ свѣдѣній. Онъ былъ знакомъ съ капитаномъ Берингомъ, который, вмѣстѣ съ двумя своими лейтенантами, Шпангебергомъ и Чириковымъ, изъявилъ готовность предпринять второе путешествіе. Кириловъ составилъ записку о выгодахъ, которыя могла изъ того извлечь Россія, и присоединилъ при томъ другія предположенія о расширеніи русской торговли до Бухаріи и Индіи, чѣмъ потомъ подало поводъ къ возникновенію известной оренбургской экспедиціи, которую онъ самъ начальствовалъ и при которой онъ умеръ въ 1737 году“²⁾.

Назовемъ далѣе Степана Крашенинникова (1712—1755), автора знаменитаго описанія Камчатки: въ 1733 онъ, будучи студентомъ Академіи, отправился въ извѣстную сибирскую экспедицію, въ 1736 поѣхалъ въ Камчатку, куда не могли отправиться сами академики, и возвратился въ Петербургъ въ 1743³⁾.

¹⁾ „Землевѣдѣніе Азіи“, пер. Семенова, II, 344. Ср. Исторію Росс. Акад. II, 247; IV, стр. 4 и слѣд.; Щапова, Соц.-педагог. условія умств. развитія рус. народа, Спб. 1870, стр. 170 и слѣд.

²⁾ О Кириловѣ см. Пекарскаго, Жизнь Рычкова, стр. 5 и сл.; Исторія Акад. Н., I, 320; Устрялова, Исторія Петра В., I, стр. LIX; Свенске, Матеріалы для исторіи составленія атласа росс. имперіи, изданиаго Имп. Академіею Наукъ въ 1745 году. Спб. 1866 (изъ IX тома „Записокъ Ак. Н.“); Бестужева-Рюмина, Біографіи и характеристики. Спб. 1882, стр. 38 и сл.

³⁾ „Описаніе земли Камчатки“, издаво Майлеромъ съ его предисловіемъ и двумя картами, 2 ч., Спб. 1755, 2-е изд. 1786, 3-е изд. въ „Полномъ собраніи ученыхъ путешествій по Россіи“, ч. I, Спб. 1818. Англійскій переводъ, Gloucester, 1764; нѣмецкій (сдѣланный съ англійскаго), Lemgo, 1766 (два изданія); французскій переводъ, Lyon, 1767, и другой, 1768; голландскій, Haerlem, 1770. Извлечееніе въ Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen, Миллуса, т. V, 1767, стр. 250—301. Отзызы тогдашнихъ иностранныхъ ученыхъ о Крашенинниковѣ см. у Пекарскаго. Исторія Акад. Н., I, 608, 611.

Въ 1768 году Академіей предприняты были обширный планъ учёныхъ экспедицій во всѣ края Россіи, для изслѣдований естественно-научныхъ, этнографическихъ, археологическихъ и т. д. Эти экспедиціи составляютъ одинъ изъ лучшихъ фактовъ во всей исторіи Академіи наукъ и вообще въ исторіи русскаго образованія. Экспедиціи направились на сѣверъ, востокъ и югъ Россіи, въ края вообще мало известные, а на востокъ и югъ едва только присоединенные къ Россіи; исполнителями были авторитетные ученые нѣмецкіе и русскіе. Знаменитѣйшимъ дѣятелемъ этихъ экспедицій былъ Палласъ, затѣмъ Георги, Фалькъ, Гильденштедтъ, Ловицъ, затѣмъ русскіе — Лепехинъ, Озерецковскій, Зуевъ, Иноходцовъ, Соколовъ.

Замѣчательнѣйшимъ изъ русскихъ путешественниковъ былъ Иванъ Ивановичъ Лепехинъ (1740—1802). Сынъ семеновскаго солдата, Лепехинъ учился въ академической гимназіи и университетѣ до 1762 г., затѣмъ посланъ былъ въ страсбургскій университетъ, где пробылъ до 1767, занимаясь разными отраслями естествознанія и медициной; онъ получилъ тамъ степень доктора медицины и въ 1768, по возвращенію въ Шетербургъ, былъ выбранъ въ адъюнкты, а въ 1771—въ академики. Въ то же время онъ началъ свои путешествія, изъ которыхъ одно продолжалось съ половины 1768 до половины 1772, а другое сдѣлано было въ 1773. Результатомъ были многотомныя „Дневныя Записки“, которые составили его главную ученую и литературную заслугу. На разнообразномъ ихъ содержаніи мы остановимся далѣе¹⁾.

Другимъ замѣчательнымъ путешественникомъ былъ Ник. Як. Озерецковскій (1750—1827). Сынъ сельскаго священника, онъ учился въ троицкой семинаріи, въ 1767 былъ вызванъ въ академической университетѣ и уже въ слѣдующемъ году, въ качествѣ студента Ака-

¹⁾) Дневныя Записки путешествія по разнымъ провинціямъ россійскаго государства, въ 1768—1771 годахъ, 3 ч. Спб. 1771—1780; 2-е изд. тамъ же, 1795—1814; 4-й томъ „Записокъ“, заключающій путешествіе 1772, изданъ былъ уже послѣ смерти Лепехина, Спб. 1805—Humanissimo Lepchinii genio sacrum. Печатаніе 4-го тома начато было самимъ Лепехинымъ и доведено до 80 страницъ, по смерти его рукописи не нашлось, и съ 81-й страницы идетъ разсказъ Озерецковскаго (до 419; далѣе, двѣ отдельныя записки, Крестинина и Омнина). Послѣднее изданіе записокъ Лепехина въ книгѣ: „Полное Собрание ученыхъ путешествий по Россіи, издаваемое Академіею Наукъ“, вмѣстѣ съ соч. Крашенинникова и Фалька, Спб. 1818—1825, 7 ч. Далѣе: „Словарь минералогический, на нѣмецкомъ, россійскомъ и латинскомъ языкахъ“, изданный Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, Спб. 1770. Нѣмецкій переводъ „Дневныхъ Записокъ“, 3 тома, Altenburg, 1774—1783. Извлечения въ Sammlung russischer Reisen, Bern, 1795. Подробныя свѣдѣнія о жизни и ученой дѣятельности Лепехина въ Исторіи Росс. Акад., Сухомлинова, т. II (Сборникъ Академіи, т. XIV), стр. 157—299 и др.

демі, сдѣлался спутникомъ Лепехина на все время его странствій, 1768—1773. Годы 1774—1779 Озерецковскій провелъ за границей и продолжалъ свои естественно-научныя занятія сначала въ Лейденѣ, потомъ въ Страсбургѣ, гдѣ и получилъ степень доктора медицины. По возвращеніи въ Россію въ 1779, онъ былъ назначенъ адъюнктомъ, а въ 1782 академикомъ. Во время путешествія съ Лепехинымъ Озерецковскій не разъ совершалъ по его указанію самостоятельныя поѣздки и вообще объѣхалъ много мѣстностей на юго-востокѣ и сѣверѣ Россіи, отъ Архангельска до Астрахани. Впослѣдствіи онъ дѣлалъ другія путешествія на Ладожское и Онежское озера, къ верховьямъ Волги, въ Новгородскій край, и въ описаніи своихъ поѣздокъ собралъ очень много важнаго материала естественно-научнаго, этнографическаго и историческаго¹⁾.

Астрономъ и физикъ Петръ Борис. Иноходцовъ (1742—1806), сынъ преображенскаго солдата, учился въ академической гимназіи и университетѣ, потомъ посланъ былъ за границу и, вернувшись, принялъ участіе въ большой академической экспедиціи, въ которой онъ странствовалъ вмѣстѣ съ Ловицомъ по востоку и юго-востоку Россіи, на Уралѣ и Волгѣ, въ 1769—1775. Мы упоминали выше, что Ловицъ былъ убитъ во время этого путешествія; Иноходцовъ едва спасся отъ подобной участіи заблаговременнымъ бѣгствомъ. Впослѣдствіи Иноходцовъ совершилъ другую большую поѣздку въ 1781—1785 по разнымъ краямъ европейской Россіи для астрономическаго определенія мѣстностей. Его работы были весьма разнообразны, простираясь на астрономію, геодезію, физику, минералогію, географію, а также на исторію и этнографію²⁾.

Натуралистъ и медикъ, Никита Петр. Соколовъ (1748—1795), сынъ сельскаго пономаря, учился въ семинаріи, и только-что поступивъ въ академію студентомъ, назначенъ былъ вскорѣ въ оренбургскую экспедицію, „подъ команду“ профессора Палласа, и провелъ въ этой экспедиціи шесть лѣтъ, до 1774 года. Затѣмъ онъ былъ посланъ за границу, откуда вернулся въ 1780, получивъ въ Страсбургѣ степень доктора медицины; въ 1783 онъ былъ назначенъ адъюнк-

¹⁾ Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, Спб. 1792; Описаніе Колы въ Астрахани, Спб. 1804; Обозрѣніе мѣсть отъ Санктпетербурга до Старой Русы и на обратномъ пути, Спб. 1808; Путешествіе на озеро Селигеръ, Спб. 1817. Подробныя свѣдѣнія о жизни и дѣятельности Озерецковскаго въ Исторіи Росс. Акад., т. II, стр. 299—388, 525—542, 574—582.

²⁾ Не упоминая объ его специальныхъ работахъ, отмѣтимъ его статьи: О различіи и измѣненіи климатовъ. Мѣсяцословъ на 1779; статьи историческая и этнографическая въ Мѣсяцословахъ на 1789, 1790, 1796. Біографія его въ „Исторіи Росс. Акад., т. III („Сборникъ“, т. XVI), стр. 168—264, 364—430.

томъ, а въ 1787 членомъ Академіи. Въ экспедиціи Соколовъ былъ дѣятельнымъ и разумнымъ помощникомъ своего профессора. Задача была не изъ легкихъ. Молодой профессоръ и еще болѣе молодой сотрудникъ его должны были вынести не мало опасностей и лишений, и Палласъ отдаетъ великую похвалу трудамъ и характеру своего помощника, которому не разъ поручалъ отдѣльныя путешествія и наблюденія. Путевые записки Соколова въ извлеченіяхъ вошли въ книгу Палласа, гдѣ многія страницы, по указанію послѣдняго, принадлежатъ Соколову. Путешествіе, какъ мы сказали, было не легкое. „Благенство видѣть натуру въ самомъ ея бытіи,—говорить Палласъ,—гдѣ человѣкъ весьма мало отъ нея отшибся, и ей учиться служило мнѣ за утраченную при томъ юность и здоровье изряднѣйшимъ награжденіемъ, котораго отъ меня никакая зависть не отыметъ“! Онъ не разъ говорить о тѣхъ трудностяхъ, какія переносилъ Соколовъ, странствуя въ непроходимыхъ дебряхъ, горахъ и безводныхъ пустыняхъ Урала и Западной Сибири¹⁾.

Упомянемъ еще „Путешественныя записки Василья Зуева отъ С.-Петербургa до Херсона въ 1781 и 1782 году“, Спб. 1787. Зуевъ прежде уже дѣлалъ путешествіе по Россіи и Сибири „подъ предводительствомъ г. Палласа“. Въ 1781 Академія наукъ поручила ему изслѣдованіе края, не затронутаго прежними экспедиціями, а именно главнымъ предметомъ, ему порученнымъ, былъ осмотръ вновь пріобрѣтенныхъ тогда мѣстъ между рѣками Бугомъ и Днѣпромъ, устьевъ Днѣпра и его лимана съ окольо лежащей страной. Въ „Запискахъ“ Зуева разсказано также немало интересныхъ потребностей: таковы, напр., свѣдѣнія о духоборцахъ (онъ называетъ ихъ „духовѣрцами“), цыганахъ и цыганскомъ языке, описание (только наружное, впрочемъ) изслѣдованного теперь Чертомлыцкаго кургана, и пр.

Назовемъ, наконецъ, Вас. Мих. Севергина (1765—1826), дѣятельность котораго переходитъ уже и въ XIX столѣтіе. Сынъ „вольнаго человѣка“, придворнаго музыканта, Севергинъ учился въ академической гимназіи и университетѣ, въ 1785 былъ посланъ за границу и по возвращеніи избранъ былъ въ 1789 адъюнктомъ, а въ 1793 академикомъ. Натуралистъ по специальности, онъ занимался въ особенности минералогіей. Севергинъ былъ ученый весьма трудолюбивый, и главной его заботой было именно примѣненіе добытыхъ наукою свѣдѣній къ русскому содержанію и распространеніе этихъ свѣдѣній въ обществѣ: „единая изъ обязанностей академика есть собранныя наукой свѣдѣнія распространять въ Россійскомъ государствѣ“,

¹⁾ Бiографiя его въ Ист. Росс. Акад. III, стр. 123—168, 341—356.

къ чему стремились и вообще всѣ наши ученые, постоянно заботившіеся не только о теоретическихъ интересахъ науки, но и о ближайшей пользѣ соотечественниковъ. Севергинъ предпринималъ нѣсколько путешествій: въ 1802 по западному краю, въ 1803 въ Новгородской, Псковской, Витебской и Могилевской губерніяхъ, въ 1804 въ Финляндіи ¹⁾.

¹⁾ Записки путешествія по западнымъ провинціямъ Россійского государства, или минералогическая, хозяйственная и другія примѣчанія, учиненные во время проѣзда чрезъ оные въ 1802, 1803 и 1804 годахъ, 3 ч. Спб. 1803—1805; Обозрѣніе Россійской Финляндіи, Сиб. 1805. Біографія въ Исторіи Росс. Акад., т. IV, стр. 6—185, 389—395.

ГЛАВА IV.

XVIII-й вѣкъ. Наука и народность.

Отношение науки къ жизни, рационалистическое и утилитарное: „Духовный Регламентъ“; Ломоносовъ.—Обзоръ русскихъ путешествий: Лепехинъ, Оверецковскій, Соколовъ, Иноходцовъ и пр.—Сильный интересъ къ народному быту.—Возникновение трудовъ по мѣстной истории и этнографии.—Влияние новой науки на развитіе национального самосознанія.—Историческая литература: Татищевъ, Миллеръ, Болтынъ.

Перечисленные нами путешествія русскихъ ученыхъ восемнадцатаго вѣка представляютъ въ особенности любопытный материалъ для сужденія о томъ, въ какое отношеніе новая наука становилась къ русской жизни и старымъ преданіямъ.

При Петрѣ В. и въ теченіе всего XVIII-го вѣка вообще разумному человѣку не приходила въ голову мысль о какомъ-нибудь противорѣчіи между наукой, взятой съ Запада (ея не откуда больше было взять), и нашимъ народнымъ духомъ; тогдашніе образованные консерваторы говорили только о дурныхъ нравахъ, именно нравахъ свѣтского общества, которыхъ не слѣдовало заимствовать—не у Запада, а специальнѣо изъ французскихъ обычаевъ, какъ испорченныхъ. Полагалось напротивъ, что наука намъ необходима, потому что окажеть пользу въ жизни народа и государства и послужить къ возведенію народного духа; ясно было ея противорѣчіе съ суевѣріемъ, но никто не думалъ, что это будетъ противорѣчіе съ духомъ цѣлаго народа.

Отношеніе науки къ жизни опредѣлилось съ первымъ ея появленіемъ въ русскомъ обществѣ. Это было отношеніе рационалистическое и утилитарное. Первое знакомство съ наукой указывало несостоительность множества традиціонныхъ понятій о природѣ и человѣкѣ; наука не могла обойтись безъ этого указанія, стараясь замѣнить не-

правильныя понятія правильными, тѣмъ болѣе, что понятія неправильныя были часто и прямо вредными. Біографія Петра представляетъ множество анекдотическихъ примѣровъ, гдѣ онъ наглядно объяснялъ пользу науки; мысль объ этой пользѣ повторяется безпрестанно въ его распоряженіяхъ и въ самомъ законодательствѣ. „Извѣстно есть всему миру,—говорится въ Духовномъ Регламентѣ,—какова скудость и немощь была воинства россійскаго, когда оное не имѣло правильнаго себѣ ученія, и какъ несравненно умножилась сила его, и надчаяніе велика и страшна стала, когда державнѣйшій нашъ монархъ, его царское величество Петръ Первый, обучилъ оное изрядными регулями. Тожъ разумѣть и о архитектурѣ, и о врачествѣ, и о политическомъ правительствѣ и о всѣхъ прочихъ дѣлахъ. И паипаче тожъ разумѣть объ управлениіи церкви: когда нѣтъ свѣта ученія, нельзя быть добруму церкве поведенію“, и т. д. Съ этимъ понятіемъ пользы соединялось у Петра и раціоналистическое значеніе науки. Петръ былъ у насъ одинъ изъ первыхъ, понявшихъ систему Коперника. Извѣстно, какъ во время путешествія онъ былъ заинтересованъ знаменитымъ готторпскимъ глобусомъ, сработаннымъ въ половинѣ XVII столѣтія подъ надзоромъ извѣстнаго путешественника Олеарія. Цетръ выразилъ желаніе имѣть глобусъ и былъ чрезвычайно радъ, когда этотъ глобусъ ему подарили. „Практическій умъ государя,—говорить одинъ изъ историковъ его времени,—тотчасъ оцѣнилъ всю пользу, какую могъ приносить глобусъ для нагляднаго изученія системы Коперника, а Петръ, несмотря на возгласы современныхъ ханжей, былъ однимъ изъ первыхъ послѣдователей и распространителей ея въ Россії“¹⁾). Раціонализмъ составляетъ вообще существенную черту въ умственномъ характерѣ Петра и, кромѣ другихъ историческихъ условій, объясняетъ многое въ его отношеніи къ старой русской церковности, съ которой такъ тѣсно связывалась русская старина. Однимъ изъ любопытнѣйшихъ примѣровъ этого отношенія служить „Духовный Регламентъ“, составленный, кажется, при гораздо большемъ участіи самого Петра, чѣмъ до сихъ поръ думали. „Духовный Регламентъ“ довольно неожиданно, какъ мы сейчасъ видѣли, объясняетъ пользу науки для церковной жизни указаніемъ этой пользы въ воинскомъ дѣлѣ, и необходимость новаго церковнаго поученія подкрѣпляетъ примѣрами народнаго суевѣрія, противнаго здравому смыслу и вреднаго для самой чистоты религіознаго чувства. Въ церковныхъ правилахъ мы находимъ такимъ образомъ и любопытный этнографической матеріалъ. Въ исчислениі дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣнію „духочнаго коллегіума“, между прочимъ говорится:

¹⁾ Пекарскій, Исторія Академіи Наукъ, т. II, стр. XXXV, прим.

„Смотрѣть исторій святыхъ, не суть ли нѣкія отъ нихъ должно вымышенія, сказующія чего не было, или и христіанскому православному ученію противныя, или бездѣльныя и смѣху достойныя повѣсти, и таковыя повѣсти обличить и запрещенію предать со объявленіемъ лжи во оныхъ обрѣтаемой (приводится примѣръ изъ житія Евфросиніи Псковской о сугубой алліиції)... Обаче духовному управительству не подобаетъ вымысловъ таковыхъ терпѣть, и вмѣсто здравой духовной пищи отраву людемъ представлять, наппаче, когда простой народъ вѣ можетъ между деснымъ и шумъ разсуждать, по что либо видить въ книгѣ написанное, того крѣпко и упрямо держится.

„Собственно же и прилежно розыскивать подобаетъ оные вымыслы, которые человѣка въ недобрую практику или дѣло ведутъ и образъ ко спасенію лестный предлагаютъ, напримѣръ: не дѣлать въ пятокъ и празднованіемъ проводить, и сказываютъ, что Пятница гибнется на непразднующихъ и съ великимъ на оныхъ же угроженіемъ наступаетъ... Суть симъ же подобныя ученія, которыя и честайшиимъ лицамъ за ихъ простоту вѣроятно быти мнятся, и потому вреднѣйшая суть; и таковое Киево-печерского монастыря преданіе, что погребенный тамо человѣкъ, хотя бы и безъ покаянія умеръ, спасеніе будетъ“...

„Могутъ обрѣстися нѣкія и церемоніи непотребныя, или и вредныя. Слышиштесь, что въ Маіой Россіи, въ полку Стародубскомъ, въ день уреченный праздничный водять жонку простовласую подъ именемъ Пятницы, а водять въ ходѣ церковномъ (если то по истинѣ сказуютъ), и при церкви честь оной отдаетъ народъ съ дары и со упованіемъ нѣкоей пользы. Такожъ на иномъ мѣстѣ попы съ народомъ молебствуютъ предъ дубомъ, и вѣтви онаго дуба попь народу раздаеть на благословеніе. Розыскать, такъ ли дѣется и вѣдаются ли о семъ мѣстѣ оныхъ епископи. Аще бо сія и симъ подобныя обрѣтаются, ведутъ людей въ явное и стыдное идолослуженіе.

„О мощахъ святыхъ, гдѣ какія явятся быть сумнительныя, розыскивать: много бо и семъ наплутано; напримѣръ, предлагаются чуждныя нѣкія: святаго первомученика Стефана тѣло лежить и въ Венеціи на предградіи, въ монастырѣ Бенедиктинскомъ, въ церкви святаго Георгія, и въ Римѣ въ загородной церкви святаго Лаврентія; такожъ много гвоздей креста Господня, и мноро млека Пресвятыя Богородицы по Италіи, и иныхъ симъ подобныхъ безъ числа. Смотрѣть же, нѣсть ли и у насъ такового бездѣлія.

„Худый и вредный и весьма богопротивный обычай вишелъ, службы церковныя и молебны двоегласно и многогласно пѣть, такъ что утреня или вечерня, на часті разобранна, вдругъ отъ многихъ поется, и два или три молебны вдругъ же отъ многихъ пѣвчихъ и чтецовъ совершаются...

„Вельми срамное и сие обрѣталося (какъ сказуютъ): молитвы людемъ, далече отстоящимъ, чрезъ посланниковъ ихъ въ шапку давать. Для памяти сіе пишется, чтобъ иногда отвѣдать, еще ли сіе дѣется. Но здѣ не нужда исчислять вся неправости, словомъ реци что либо именемъ суевѣрія парещися можетъ, си есть лишнее, ко спасенію не потребнее, на интересъ только свой отъ лицемѣровъ вымыщенное, а простой народъ прельщающее, и аки снѣжные заметы, правымъ истины путемъ идти возвращающе“¹⁾).

Эта явная антипатія къ народной вѣрѣ въ чудесное, наклонность объяснять происхожденіе народныхъ суевѣрныхъ преданій намѣрен-

¹⁾) Полное собраніе постановлений и распоряженій по вѣдомству православного и сповѣданія Российской имперіи. Спб. 1869, т. I, стр. 6—7.

нымъ вымысломъ лицемѣрныхъ людей, находившихъ въ томъ „свой интересъ“ (что, правда, нерѣдко и бывало) — все это черты чисто рационалистической и они остались характерной особенностью взглядовъ XVIII вѣка.

Прямымъ продолженiemъ этой точки зрења была дѣятельность Ломоносова. Онъ былъ человѣкъ религіозный, но въ большой степени рационалистъ: научная истина и вмѣстѣ практическая польза были постоянной мыслью его трудовъ не только ученыхъ, но нерѣдко и поэтическихъ. Онъ столько же, какъ составители „Регламента“, зналъ обиліе невѣжества въ русской жизни, подозрительное недовѣріе и вражду къ наукѣ, при всякомъ удобномъ случаѣ объяснялъ права и пользу знанія и сожалѣлъ о недостаточности этого знанія въ русскомъ народѣ. Нѣтъ надобности приводить много примеровъ,—болѣе или менѣе извѣстныхъ; ограничимся двумя-тремя указаніями. По поводу астрономического явленія (прохожденія Венеры черезъ солнце), наблюдавшагося въ Академіи въ 1761 г., онъ защищаетъ науку отъ подозрѣній невѣжества и разсуждаетъ о согласіи естествознанія съ религіей, обращаясь къ „благоразумнымъ и добрымъ людямъ“, приводя слова Евангелія, ссылаясь на исторію науки и на Василія Великаго. Религія и наука, каждая имѣютъ свою область. Богъ далъ роду человѣческому двѣ книги: въ одной показалъ свое величие, въ другой—свою волю; первая—видимый міръ, по которому человѣкъ можетъ познать Божіе всемогущество „по мѣрѣ себѣ дарованнаго понятія“; вторая—священное писаніе. Истолкователи послѣдняго—великие церковные учителя; а что касается до перваго, то „въ оной книгѣ сложенія видимаго міра сего, физики, математики, астрономы и прочіе изъяснители божественныхъ въ натуру вліянныхъ дѣйствій суть таковы, каковы по оной книгѣ (т.е. по священному писанію) пророки, апостолы и церковные учителя. Не здраво разсудителевъ математикъ, ежели онъ хочетъ Божескую волю вымѣрить циркулемъ. Таковъ же и богословія учитель, если онъ думаетъ, что по псалтирѣ научиться можно астрономіи и химії“. Итакъ дѣятель науки приравненъ Ломоносовымъ ни болѣе, ни менѣе какъ къ пророку и учителю церкви: и въ наше время немногіе рѣшатся такъ высоко ставить значеніе науки. Ломоносовъ не дѣлаетъ никакой уступки изъ этого права науки и въ другую сторону—въ сторону народнаго невѣжества, которое теперь такъ усердно стараются смѣшать съ „народнымъ духомъ“. Давая свой отвѣтъ ревнителямъ православія, онъ не забылъ и людей, „не просвѣщенныхъ никакимъ ученіемъ“. „Не рѣдко,—говорить онъ,—легковѣріемъ наполненные головы слушаютъ и съ ужасомъ внимаютъ, что при таковыхъ небесныхъ явленіяхъ пророчествуютъ бродящія по міру

богаделенки, кои не токмо во весь свой долгій вѣкъ объ имени астрономіи не слыхали, да и на небо едва взглянуть могутъ, хотя сугорбясь. Таковыхъ несмысленныхъ прорекательницъ и легковѣрныхъ внимателей скудоуміе ничѣмъ, какъ посмѣяніемъ презирать должно. А кто отъ такихъ пугалищъ беспокоится, беспокойство его должно зачитать ему жъ въ наказаніе за собственное его суемысліе. Но сіе больше касается до простонародія, которое о наукахъ никакого понятія не имѣеть". Но любопытнѣйшее изъ сочиненій Ломоносова въ этомъ отношеніи есть знаменитое „Разсужденіе о размноженіи и сохраненіи россійскаго народа“, отъ котораго къ сожалѣнію сохранилась только одна часть. Ломоносовъ ставитъ существенный вопросъ народной жизни—самое сохраненіе и размноженіе этой жизни, и наука привела его къ строгому осужденію многихъ формъ стародавняго обычая: онъ не имѣлъ никакихъ опасеній, что этимъ будетъ поколеблена нерушимость „народнаго духа“. Ломоносовъ не замаскировывалъничѣмъ слабыхъ сторонъ народнаго преданія и прямо отвергалъ его, когда оно противорѣчило здравому смыслу и пользѣ самого народа. Таковы его разсужденія о вредѣ для народной жизни, „отъ суевѣрія и грубаго упрямства происходящемъ“, какъ напр. о нелѣпости крестить младенцевъ въ ледяной водѣ, о заговѣньяхъ и разговѣньяхъ и т. п. Онъ суроно обличаетъ „невоздержаніе и неосторожность съ установленными обыкновеніями, особенно у насъ въ Россіи вкоренившимися и имѣющими видъ некоторой святости. Паче другихъ именъ пожираютъ у насъ масляница и св. недѣля великое множество народа однимъ только перемѣннымъ употребленіемъ питья и пищи. Легко разсудить можно, что готовясь къ воздержанію великаго поста, во всей Россіи много людей такъ загавливаются, что и говѣть времени не остается. Мертвые по кабакамъ, по улицамъ и по дорогамъ и частые похороны доказываютъ то ясно. Разговѣніе тому же подобно. Да и дивиться не для чего“. Розговѣніе представляетъ картину необузданнаго обжорства и пьянства, которому предаются бывшіе постники, „какъ съ привязу спущенные собаки“. „О, истинное христіанское пощеніе и празднество! не на такихъ ли Богъ негодуетъ у пророка: праздниковъ вашихъ ненавидѣтъ душа моя и кадило ваше мерзость есть предо мною!“ Бросается въ глаза сходство взглядовъ Ломоносова съ тѣмъ, какъ относился къ подобнымъ обычаямъ „Духовный Регламентъ“.

Литература XVIII-го вѣка нерѣдко возвращалась къ темъ предразсудковъ и невѣжества не только простого народа, но средняго и дворянскаго, и самаго духовнаго сословія, и, какъ бы ни были подражательны формы и каковы бы ни были другіе недостатки этой литературы (слишкомъ часто бичевавшей „маленькихъ воришекъ для

удовольствія большихъ"), трудно сказать, чтобы Кантемиръ, Ломоносовъ, фонъ-Визинъ, Новиковъ были отступниками отъ своего народа...

Тоже рационалистическое и утилитарное направление мы встречаемъ у нашихъ первыхъ ученыхъ путешественниковъ; и ихъ труды въ этомъ отношеніи тѣмъ болѣе важны исторически, что въ нихъ наука становилась лицомъ къ лицу съ народною жизнью. Мы приводили примѣры того, съ какой ревностью эти ученые вступали въ новые, неизвѣданныя прежде области, открывавшія богатую добычу для науки, и какъ въ то же время ихъ постоянно сопровождала мысль о пользѣ Россійскаго народа, о его достоинствѣ и славѣ.

Любопытнѣйшимъ произведеніемъ этой литературы ученыхъ путешествій были, безъ сомнѣнія, „Дневные Записки“ Лепехина. Молодой ученый, хорошо подготовленный въ различныхъ отрасляхъ естество-занія, докторъ страсбургскаго университета, отправлялся на нѣсколько лѣтъ въ путешествіе по далекимъ окраинамъ Россіи, гдѣ онъ долженъ былъ стать въ прямое соприкосновеніе съ народомъ, кромѣ явлений природы наблюдать и жизнь этого народа. Но распра-страняемымъ нынѣ предразсудкамъ надо было бы ожидать, что Лепехинъ, этотъ типъ „петербургскаго“, по тогдашнему образованнаго человѣка, останется чуждъ народу, не замѣтитъ или не пойметъ его быта, занимаясь своими специальными вопросами, „чуждыми“ народу, или, наконецъ, отнесется къ народу съ высокомѣрнымъ пренебреженіемъ. Достаточно прочитать нѣсколько страницъ „Дневныхъ Записокъ“, чтобы убѣдиться въ противномъ. У Лепехина нѣть и тѣни такого, придуманнаго теперь, отношенія. Онъ — человѣкъ ученый, знающій многое, чего не знаютъ не только деревенскіе, но и огромное большинство неученыхъ городскихъ жителей; встрѣчаясь съ невѣжествомъ или незнаніемъ, онъ не думаетъ отказываться отъ своего знанія изъ опасенія противорѣчить „народному духу“, но и не величается имъ. Предметъ его изученій, между прочимъ, и народъ: онъ часто видѣтъ несовершенства его понятій и быта, но всегда это для него *свой* народъ, и ему не приходитъ на мысль чѣмъ-нибудь себѣ выдѣлять отъ него, кромѣ того, что ему случилось пріобрѣсти знанія, которыми ему хотѣлось быть полезнымъ и этому народу. Форма его „Записокъ“ чрезвычайно проста: онъ ведетъ дневникъ своего путешествія изо дня въ день, не только отъ города до города, но отъ деревни до деревни, и записываетъ свои наблюденія, встрѣчи и разговоры безхитростно, безъ всякихъ предвзятыхъ мыслей, какъ будто эти встрѣчи даже съ самыми захолустными населеніемъ были для него дѣло совершенно привычное. Въ „Запискахъ“ постоянно перемежаются ученые описанія природы и простые рассказы

о народномъ бытѣ: по пути нашъ ученый обращаетъ вниманіе на почву и геологическія свойства края, уйдетъ со станціи впередъ и собираетъ растенія и насѣкомыхъ; встрѣтившись и познакомившись съ крестьяниномъ-охотникомъ, добываетъ черезъ него разныя породы звѣрей и птицъ, и за страницами описаній мѣстной природы и ландшафта, любопытныхъ растеній, бабочекъ, птицъ и рыбъ, слѣдуютъ разсказы о крестьянскомъ земледѣліи и промыслахъ, подробныя описанія мѣстныхъ производствъ, наконецъ, бесѣды съ хозяевами-крестьянами, у которыхъ остановился, и гдѣ конечно выступаютъ на сцену всякие деревенскіе интересы, радости, а чаще заботы—и все это совершенно понятно нашему путешественнику, не требуетъ для него никакихъ толкованій, какъ будто онъ самъ давній деревенской житель, которому все это давно знакомо; при случаѣ онъ дастъ полезный совѣтъ и замѣтитъ въ дневникѣ, какими мѣрами можно было бы помочь какой-нибудь крестьянской бѣдѣ и неустройству. Судя по разсказу, и самъ путешественникъ не внушилъ народу недовѣрія, съ нимъ охотно бесѣдовали, развѣ кому-нибудь приходило въ голову увидѣть въ немъ „чиновника“—качество, въ какомъ онъ самъ не желалъ являться народу. Наконецъ, онъ интересовался историческими преданіями и народными повѣрьями, и собралъ не мало матеріала, любопытнаго для историка и этнографа. Это простое отношеніе къ предмету изученій сказывается на самомъ языке „Записокъ“; онъ очень простъ и тогда, когда авторъ говоритъ о предметахъ научныхъ, и тогда, когда онъ переходитъ къ обыденному крестьянскому житию. Онъ можетъ даже удивить однимъ свойствомъ, котораго, пожалуй, не ждали бы отъ ученаго петербуржца прошлаго вѣка: это—большое знаніе народной рѣчи; авторъ въ простомъ разсказѣ употребляетъ такія народныя слова, которыя далеко нельзя назвать общеупотребительными и которыя однако не казались ему неудобными въ ученой книгѣ.

Таковъ общий литературный характеръ „Записокъ“. Самое направление писателя отличается именно тѣмъ же рационалистическимъ и утилитарнымъ характеромъ. Лепехинъ интересуется народными понятіями, но его взглядъ на ихъ содержаніе есть взглядъ критический: онъ любопытны ему въ интересѣ научномъ; онъ записываетъ ихъ, какъ мѣстную бытовую черту, необходимую „для познанія россійскаго народа“, но не думаетъ видѣть въ нихъ существо народности. То время было по преимуществу разсудочное, и рядомъ съ передачей исторической легенды, народного повѣрья и примѣты, является критическая оцѣнка—со стороны разумности повѣрья, достовѣрности преданія, или неразумности и недостовѣрности, и это было тѣмъ естественнѣе, что путешественникъ видѣлъ всѣ эти народныя

представленія во-очію и на практикѣ: онъ, наприм., объясняетъ естественнымъ путемъ плавающіе острова въ озерѣ Поганомъ, съ которыми соединялась историческая легенда; объясняетъ непрактичность традиціонныхъ врачебныхъ средствъ, употребляемыхъ народомъ, ошибочность или неполноту иныхъ народныхъ примѣтъ надъ явленіями природы и т. п., но точно также объясняетъ ихъ правильность, когда онѣ вѣрно подмѣчаютъ происходящее въ природѣ. Точно также путешественникъ говоритъ и съ самимъ народомъ. Въ его литературной манерѣ сказывается обычный стиль прошлаго вѣка, и вмѣстѣ особенности его личнаго характера. Онъ обстоятельно передаетъ подробности путешествія, снабжая разсказъ размышеніями по поводу встрѣченныхъ фактовъ и случаевъ, небольшими правоописательными картинками и т. п. Юмористическая складка, которая была въ характерѣ его ума, находила себѣ пищу въ иныхъ встрѣчахъ съ захолустной жизнью, съ деревенскими и городскими оригиналами, въ дорожныхъ приключеніяхъ.

„Записки“ Лепехина отличаются чрезвычайнымъ разнообразіемъ предметовъ, на которыхъ останавливалось его вниманіе: не говоря о томъ, что относится специально къ естествознанію и имѣло свою важность для изученія природы нашего отечества, остановимся лишь на томъ, что касалось изученія народа. Рѣдкій путешественникъ нашего времени можетъ представить такое разнообразіе свѣдѣній естественно-научныхъ, бытовыхъ и этнографическихъ; наука, конечно, специализируется, но вмѣстѣ съ тѣмъ, къ сожалѣнію, становится тѣснѣ и горизонтъ отдѣльного наблюдателя. Современный натуралистъ рѣдко подумаетъ объ археологіи и этнографіи; этнографъ рѣдко владѣеть точными понятіями о свойствахъ почвы, о климатическихъ условіяхъ, имѣющихъ, однако, существенное вліяніе на самый складъ мѣстнаго быта. На все это одинаково распространялась ученая любознательность Лепехина, и вездѣ онъ является просвѣщеннымъ наблюдателемъ, способнымъ опредѣлить значеніе подобныхъ условій. Въ старомъ городѣ его интересуютъ остатки древности, и онъ умѣеть отчетливо разсказать о нихъ; въ деревнѣ выслушиваетъ народныя преданія и повѣрья, провѣряетъ ихъ мѣстными данными, указываетъ различные роды и способы крестьянскаго труда; на Волгѣ опишетъ волжскія суда и способы плаванія; встрѣтивши какіе-нибудь заводы, кожевенные, мыловаренные, сѣрные и т. п., подробно разсказываетъ о тѣхъ приемахъ, съ какими ведется дѣло, сличаетъ съ такими приемами въ другихъ мѣстахъ, указываетъ ихъ удобства и неудобства; расскажетъ, какъ поступаютъ крестьяне въ случаяхъ скотскаго падежа (онъ встрѣчалъ ихъ очень часто) и постарается отыскать причину бѣды; расскажетъ народныя примѣты относительно

погоды, болѣзней и т. п., объяснить ихъ дѣйствительную или вѣроятную подкладку, или укажетъ ихъ несообразность; описать народные обычай, расскажетъ о встрѣченныхъ имъ инородцахъ, остановится на объясненіи ихъ быта, нравовъ, вѣрованій, одежды и т. д. Два, три образчика дадутъ понятіе о его манерѣ, гдѣ не разъ проглядываетъ добродушная шутка и юморъ, которые не мѣшаютъ ему дать точное понятіе о дѣлѣ. Вотъ, напр., его рассказы о народномъ врачевствѣ и знахарствѣ.—Во время пребыванія во Владимірѣ путешественники между прочимъ набрали травы, называемой „царь-трава“ или „большой прикрыть“:

„Дворница, старуха пожилая, которая въ городѣ, какъ мы послѣ спровѣдали, за сродницу Эскуляпову почталаася, увидя копенку травы, спрашивала у насъ: на какую потребу мы травы собираемъ? Но какъ мы ей отвѣтствовали, что мы никакого другого къ тому предмета, кроме любопытства, не имѣемъ, и сплы сихъ травъ не разумѣемъ, то она столь была ободрена нашимъ отвѣтомъ, что не оставила и похулилъ нашего предмета, и возгордясь своимъ знаніемъ сказала: и золото въ рукахъ незнающаго грязь. Потомъ взяла царь-траву, и называя ее земнымъ сокровищемъ, отрадою болящихъ, и проч., вознамѣрилась быть нашимъ Иппократомъ. Это царь-трава — продолжала она,— трава надъ травами, угодная во многихъ болѣзняхъ, отъ утробы, водяной болѣзни, отъ матки, когда она засидеть въ горлѣ; отъ паралича, отъ всякой нечисти. Я бы безъ сумнѣнія навѣль страхъ читателю, если бы привелъ здѣсь толкованія почтенной нашей бабушки на помянутыя болѣзни. Но какъ бабушка начала на своеемъ безмѣнѣ развѣшивать пріемы, то и у насъ стали волосы дыбомъ, и выshedъ изъ терпѣнія, осмѣлилися попротивурѣчить Ескуляповой сродственницѣ. Споръ нашъ съ начала обоюду былъ нарочито горячъ; но бабушка скоро опѣшила. Одержанная пами побѣда весьма была намъ пепріятна: ибо никто болѣе бабушки къ разговору склонить не могъ, и мы нашу неосторожностию лишилися случая испытать сокровенную Владимирской врачебницы. Она еще болѣе находилась въ трусости, когда отъ бывшихъ у меня солдатъ спровѣдала, что я принадлежу такъ же къ числу врачей, и стороною старалася насъ увѣритъ, что рассказывала слышанное, а сама никого не лѣчитъ. Сей случай сдѣлалъ меня осторожнымъ, чтобы никогда не сказываться докторомъ между чернью, но употреблять мой академический чинъ.

„Хотя такое лѣченіе, сравнивая съ запсками и примѣчаніями врачей, кажется быть убийственнымъ: однако должно и то взять въ разсужденіе, что ежели бы наша бабушка часто своимъ лѣченіемъ отправляла на тотъ свѣтъ, то бы безъ сумнѣнія скоро потеряла себѣ довѣренность. Можетъ статься, что крѣпость сложенія нашихъ простолюдиновъ въ состояніи понесть и ядовитое лѣкарство; и всякъ, кто предосудительныхъ мыслей о ядовитыхъ тѣлахъ не имѣеть, безпрекословно со мною согласится, что многія, называемыя отъ насъ ядомъ, могутъ въ рукѣ разумнаго быть божественнымъ лѣкарствомъ, только бы онѣ не были развѣшаны по бабушкиному безмѣну“¹).

Старый обычай былъ въ тѣ времена еще такъ силенъ, что наши

¹) „Дневныя Записки“, Спб. 1771, т. I, стр. 16—18.

путешественникъ встрѣтилъ захарство не только у владимирской дворничихи, но и у чиновнаго офицера въ Арзамасѣ:

„Хотя городъ Арзамасъ снабдены ученымъ врачемъ, однако люди въ болѣзняхъ своихъ полагаютъ болѣе надѣяніе на незаконно ко врачеванію рожденныхъ, какъ-то на старухъ, малыханицъ, ворожей и прочая. На сколько тамъ наши единоземцы не рѣдко подвергаютъ себя въ опасность жизни, не трудно будетъ заключить изъ слѣдующаго.

„По утру весьма рано постыдилъ насъ одинъ изъ чиновныхъ отставныхъ офицеровъ, о котораго имени и чинѣ благопристойность упомянуть не дозволяетъ. Онъ былъ человѣкъ пожилой и словоохотливъ. Рассказывая многія свои странныя похожденія, которыя намъ, какъ всякъ легко понять можетъ, не весьма были пріятны, довелъ рѣчь до нашихъ врачей, при которой, если бы кто имѣлъ охоту, совершенно бы могъ научиться злословію. Сколько онъ унижалъ наше трудами и порядочными ученіемъ пріобрѣтенное искусство врачеванія, столь много выхвалилъ покойной бабушкѣ своей лѣчебникъ и неудобопонятную его пользу.

„Оказывая желаніе быть соучастниками его премудрости, безъ дальнаго прощенія, Брамарбазъ¹⁾ обѣщалъ намъ открыть сокровенная своего наследственнаго лѣчебника; и такъ пошли мы съ нимъ за городъ по Алаторской дорогѣ. Первою встрѣчею намъ была плакунъ-трава (*Lithrum folicaria*), которую нашъ Иппократъ, пошепталъ, не знаю что, сорвалъ и остановясь говорилъ: плакуномъ ее называютъ для того, что она заставляетъ плакать нечистыхъ духовъ. Когда будешь при себѣ имѣть сію траву, то всѣ непріязненные духи ей покоряются. Она одна въ состояніи выгнать домовыхъ дѣдушекъ, кикиморѣ, и проч., и открыть приступъ къ заклятому кладу, которой нечистые стрегутъ духи; что послѣднее собственнымъ своимъ утверждалъ примѣромъ, хотя онъ съ пріобрѣтеннымъ кладомъ столь бѣденъ, сколько можно представить себѣ бѣдность въ совершенномъ ея видѣ. Отъ чертей дошло дѣло до ворожей. Колюка (*Carlina vulgaris*), въ великомъ множествѣ, по пригоркамъ растущая, по дала къ тому поводъ. Траву сію,— продолжалъ онъ,— должно знать всякому военному и проѣзжающему человѣку. Дымомъ ея когда окурить ружье, то никакой колдунъ его заговорить не можетъ.

„Царь-трава имѣла такія же похвалы, какъ отъ Владимирской врачебницы²⁾, и т. д.

И затѣмъ идетъ на цѣлыхъ шести страницахъ перечисленіе лекарственныхъ травъ, дѣйствіе которыхъ объяснялъ арзамасскій захарь и къ которымъ Лепехинъ прибавилъ ихъ ботаническія названія. Очевидно, мы имѣемъ тутъ дѣло съ народнымъ старымъ „травникомъ“ или „зеленикомъ“ еще въ живомъ употребленіи, и любопытно, что находимъ его въ дѣлѣ у „чиновнаго офицера“. Останавливаясь въ деревнѣ, нашъ путешественникъ обстоятельно описываетъ способы крестьянскаго труда, разсказываетъ бытовыя повѣрья, деревенскіе нравы и обычаи, и если бы новѣйшіе народники больше

¹⁾ Дѣйствующее лицо изъ комедіи Сумарокова „Тресотиніусъ“, — офицерь-хвастунъ.

²⁾ Тамъ же, стр. 72 и слѣд.

знакомы были со старой литературой, они увидѣли бы, что Лепехинъ больше ста лѣтъ тому назадъ описывалъ бытовыя формы, которыхъ, по ихъ мнѣнію, чуть ли не въ первый разъ ими открыты. Укажемъ, напр., на описание деревенской помочи (I, стр. 129—130): рассказавъ о помочи обыкновенной, Лепехинъ упоминаетъ и другой ея родъ, который „всякой похвалы достоинъ“ и называется сиротскою или вдовькою помочью. Лепехинъ разсказываетъ о дѣлежѣ пашни, уборкѣ хлѣба, устройствѣ одоньевъ и овиновъ, постройкѣ избъ, и, встрѣчаясь въ восточныхъ краяхъ Россіи съ инородческими племенами, даетъ любопытные факты объ ихъ отношеніяхъ съ русскими. Плавая по Волгѣ, онъ выслушиваетъ народныя легенды (любопытная легенда о Царевѣ курганѣ, I, стр. 234—235) и старается провѣрить ихъ фактическими наблюденіями. Дальше упомянемъ объ его археологическихъ и историческихъ замѣткахъ, которыхъ остаются любопытны и понятны.

Однимъ словомъ, мы видимъ въ Лепехинѣ умнаго наблюдателя, съ простымъ здравымъ отношеніемъ къ дѣлу, разносторонне подготовленнаго къ изученію, которое онъ предпринимаетъ, вовсе не чуждаго народной жизни и не имѣющаго понятія объ „оторванности“, которую хотятъ павязать ему услужливые потомки. Научное знаніе, съ которымъ онъ обращается къ народной жизни, есть такое простое знаніе природы, исторіи, человѣческаго труда, въ которомъ онъ и вообразить не могъ какого-нибудь противорѣчія съ народнымъ духомъ, и онъ очень естественно примѣняетъ его къ различнымъ явленіямъ русской жизни и природы. Какъ ученый и какъ человѣкъ своего времени, онъ былъ, конечно, раціоналистъ; иначе и не могло быть; но онъ записалъ рассказы Эскулаповой родственницы или офицера-захаря въ Арзамасѣ, какъ потому, что это была любопытная черта народнаго быта, такъ и потому, что ему уже видѣлась важность этихъ фактовъ для науки, хотя настоящая этнографическая наука въ то время еще не существовала. Народная жизнь не представляла какой-нибудь особливой новости для Лепехина, человѣка самаго петербургскаго и воспитавшагося на самой западной наукѣ: явленія этой жизни были любопытны ему, какъ ученому, иногда бывали ему новы, какъ уроженцу другого края и человѣку другихъ занятій, но вовсе не были сюрпризомъ. У себя дома онъ былъ окруженнъ тою же русской жизнью; тогдашняя городская (даже столичная) жизнь отличалась еще большой патріархальностью, была переполнена старинными правами и народнымъ обычаемъ: на городскихъ улицахъ сиравлялись деревенскіе праздники и шли кулачные бои; служилое дворянство было въ большинствѣ наѣзжее, привозившее въ своей дворянѣ деревенскіе элементы и не прерывавшее связей съ деревнею;

въ быту средняго класса (какъ теперь въ извѣстной части купечества и мѣщанства) свято хранились дѣдовскіе пріемы, и Лепехинъ могъ бы знавать Эскулаповыхъ родственницъ въ самомъ Петербургѣ. Немудрено, что въ „Запискахъ“ видно хорошее знаніе народнаго языка: въ самомъ его разсказѣ встрѣчаются термины, иногда, вѣроятно, неизвѣстные новѣйшимъ народникамъ.

Деревня временъ Лепехина живеть вполнѣ патріархальною жизнью, но въ средѣ помѣщиковъ уже принимаются техническія знанія и научная любознательность. Таковъ былъ въ то время извѣстный П. И. Рычковъ, котораго Лепехинъ посѣтилъ въ его заволжскомъ имѣніи.

Озерецковскій былъ спутникомъ Лепехина въ качествѣ студента и участникомъ его работъ, и его собственныя путевые записки составлялись въ томъ же духѣ и по той же программѣ. Въ это время онъ уже исполнялъ самостоятельно особыя поѣздки, и многія описанія его вошли въ составъ „Записокъ“ Лепехина. Это былъ опять натуралистъ, археологъ и этнографъ; интересъ научный опять соединяется съ вопросами практической пользы. Отмѣтая характеръ мѣстности, описывая флору и фауну, онъ собираетъ мѣстныя географическія названія, статистическая свѣдѣнія о народныхъ промыслахъ и нерѣдко даетъ любопытныя бытовыя картинки, которыя могутъ послужить цѣннымъ матеріаломъ для исторической этнографіи. При собираніи свѣдѣній Озерецковскій поступалъ вообще съ большою осмотрительностью: онъ собираль ихъ отъ свѣдущихъ мѣстныхъ людей и знатоковъ края изъ всякихъ классовъ общества, сличаль данные и старался провѣрять ихъ собственными наблюденіями. Дальше мы упомянемъ объ его историческихъ наблюденіяхъ, а здѣсь ограничимся двумя-тремя образчиками бытовыхъ описаній, относящихся къ Олонецкому и Новгородскому краю.

„Въ селѣ Видлицѣ былъ я въ праздникъ Иліи пророка. По окончаніи обѣдни, женскій полъ разбрелся по кладбищу, церковь окружающему, и каждая женщина, поклонясь со знакомою ей могилою, обнимала оную обѣими руками. То же самое дѣлали онъ и между собою при свиданіи одной съ другою: охватывались только руками, а не цѣловались. Такое повѣрье во всей странѣ сей есть общее. Другое обыкновеніе—строить въ деревняхъ и въ лѣсу часовни, ставить въ нихъ образа, изъ коихъ всегда бываетъ одинъ мѣстный, то-есть такой, которому предпочтительнѣо передъ другими часовня посвящается. Большая часть часовенъ посвящены Иліѣ пророку и святителю Николаю...

„Въ Старой Русѣ середа и пятница дни весьма непріятные и тягостные отъ бродягъ, приходящихъ въ городъ изъ всего округа не просить, а требовать милостины отъ всякаго дома, по заведенному тамъ обыкновенію. Не успѣть хозяинъ или хозяйка дома одѣлить копѣйками мужиковъ, бабъ, дѣвченокъ, ребятишекъ и пр., какъ тотчасъ приходить къ окну другіе канюки, которымъ неѣтъ счету, сколько ихъ по середамъ и пятницамъ въ городѣ таскается. Въ

другіе дни ихъ не бываетъ. Бродяги сіи не отходять отъ дома, развѣ отгонишь ихъ тѣмъ, когда позовешь мужика покопать въ огородѣ землю, а женщину или дѣвку вымыть полъ въ горницѣ...

„Во время ярмарки на Валаамѣ, деревенскія женщины и дѣвки ранѣе всѣхъ отъ сна пробуждались, и вставши, немедленно бросались къ водѣ, чтобы умываться. Дѣйствіе сіе продолжается у нихъ не мало времени, потому что онѣ, во-первыхъ, полощутся водою, потомъ моются мыломъ, которое смыть, натираются бѣлизнами, и натервшись, стоять или сидѣть на судахъ безъ всякаго дѣйствія, давая время бѣлизнамъ хорошенько вобраться въ кожу. Послѣ сего бережно смываютъ ихъ съ лица, и какъ многія изъ нихъ зеркаль не имѣютъ, то смотрятся въ воду, и съ помощью сего зеркала уравниваютъ на себѣ подложную бѣлизну, которую, наконецъ, прикрашиваютъ румянами; надѣваютъ на себя кумачные сарафаны и повязываются алыми платками или лентами, и тогда уже съ судовъ своихъ сходятъ. Многіе безъ сумнѣнія уборку сію похулятъ, особенно за излипшее употребленіе бѣлизнъ, которая составляется изъ вредной свинцовой извести; но поэзіку деревенскія женщины убираются такимъ образомъ только во время ярманки, а въ домахъ у себя въ одни большиѣ праздники, то бѣление сіе ни маю лицъ у нихъ не портить, а доказывается, напротивъ того, ихъ опрятность, веселось духа и охоту вѣваться, когда есть кому казаться. Изъ сего ясно также видѣть можно, что въ нравахъ ихъ грубости нетъ, и что народъ, который нечется о убранствѣ, весьма способенъ къ принятію просвѣщенія, ему приличнаго“.

Отъ путешественника не укрылись и такія черты нравовъ, которыхъ свидѣтельствовали о самоуправствѣ и грабительствѣ чиновнической братіи и о загнанности народа:

„При устьѣ Большой Инцы,—говорить онъ,—жилъ одинъ только крестьянинъ, который, испугавшись ночного моего прѣѣзда, въ кѣти своей, за одною только отъ меня перегородкою, вслухъ совѣтуетъ съ женою своею, чѣмъ меня подарить. По окончаніи совѣта, который весь я слышалъ, приносить онъ мнѣ рублевикъ съ боязнью, со страхомъ, чтобы я малымъ его подаркомъ не огорчился. На вопросъ мой, за что даетъ онъ мнѣ рубль, отвѣчалъ онъ, чтобы я его не обидѣлъ. — Шоди съ твоимъ рублемъ, сказалъ я; мнѣ обидѣть тебя незачто. — Когда мужикъ вышелъ отъ меня въ сѣнцы къ женѣ своей, и отдалъ ей рубль, то она сказала: другому офицеру пригодится. Такимъ-то образомъ бѣдные люди отъ проѣзжающихъ безчинниковъ тамъ откупаются“.

По своему взгляду на вещи, ученому и житейскому, Озерецковскій былъ человѣкъ той же школы. Такъ, напр., онъ смотрѣть на монастыри и на расколъ: въ одномъ случаѣ онъ руководится соображеніями пользы и вознагражденія за труды, въ другомъ—побужденіями вѣротерпимости, которая мало придаетъ значенія внѣшнимъ формамъ религіознаго чувства. Разсказывая о Валаамскомъ монастырѣ, жизнь въ которомъ, за исключеніемъ одной годовой ярмарки, представляетъ почти абсолютное единеніе, Озерецковскій прибавляетъ:

„Потому валаамскій монастырь наиспокойнѣйшимъ можетъ быть убѣжденіемъ для такихъ людей, конъ въ обществѣ исполнили долгъ человѣка и гражданина, и тѣмъ заслужили, чтобы оно позволило имъ препровождать остальную

жизнь въ совершенномъ спокойствіи, не требуя отъ нихъ больше никакого служенія. Но грѣшно бы было, если бы такое спокойствіе безъ разбору давалось людямъ, обществу не служившимъ, которые однимъ только отрицаніемъ отъ міра право на то снискиваютъ". Монастырь на Череменецкомъ озерѣ, близъ Луги, имѣеть „собственное землепашество, скотоводство и рыбную ловлю. Разумѣется, что монахи сами ни земли не пашутъ, ни скота не пасутъ, ни рыбы не ловятъ, а отдаютъ угодья свои крестьянамъ; сами же живутъ какъ помѣщики, имѣя превыгодныя мѣста, на какихъ лежать всѣ въ Европѣ монастыри, которыхъ многое множество" и т. д.

Раскольники, по его мнѣнію, — „такіе же христіане, какъ я и всякий мнѣ подобный, но думаютъ, что особливыми своими обрядами въ богослуженіи лучше угождаются Богу; у всѣхъ сего рода людей спасеніе души есть главная причина ихъ заблужденій" ¹⁾.

Не будемъ останавливаться на описательныхъ трудахъ названного выше академика Ипоходцова: довольно сказать, что въ нихъ опять господствуетъ та же программа, какую мы видѣли у Лепехина, но съ большимъ количествомъ свѣдѣній географическихъ и статистическихъ. Ипоходцовъ посвящаетъ также не мало труда на разысканія исторической и сообщаетъ не мало подробностей о мѣстномъ бытѣ, нравахъ, обычаяхъ, одеждѣ, препровожденіи времени, такъ что его описанія причисляются къ лучшимъ этнографическимъ трудамъ нашей литературы прошлаго вѣка ²⁾. Такимъ же характеромъ отличаются путешествія академика Севергина, где опять среди естественно-научныхъ описаній разсѣяно не мало любопытныхъ этнографическихъ и бытовыхъ данныхъ и т. д. ³⁾.

Въ то же время, когда Академія предпринимала рядъ ученыхъ экспедицій въ разные края Россіи, интересъ къ изученію своего отечства развивается въ средѣ частныхъ лицъ, и эта сторона тогданий описательной литературы опять чрезвычайно любопытна исторически, какъ фактъ самостоятельного общественного интереса къ дѣлу. Ученые путешественники въ самыхъ далекихъ заходустьяхъ встрѣчали людей съ научною любознательностью, съ хорошимъ и разностороннимъ знаніемъ своего края, отъ которыхъ имѣло случалось

¹⁾ Путешествіе по озерамъ Ладожскому и Онежскому, стр. 66 — 68, 78 — 80, 109—110; Путешествіе на озеро Селигеръ, стр. 33—34, 41—42; Путешествія Лепехина, ч. IV, стр. 92 и проч.; Сухомлинова, Ист. Росс. Акад. II, 329—334.

²⁾ Ист. Росс. Акал., т. III (Сборникъ, т. XVI, 1877), стр. 217—233, 430.

³⁾ Сухомлиновъ, тамъ же, т. IV (Сборникъ, т. XIX, 1878), стр. 55 и слѣд. Отмѣтимъ, напр., разсказы о городахъ Торопцѣ, Порховѣ, Валдаѣ; замѣчанія о финскомъ населеніи въ западномъ краѣ, где одну изъ причинъ умственной и физической подавленности этого населенія Севергинъ очень основательно видѣтъ въ крѣпостномъ правѣ и т. п. Но при описаніи русско-польскихъ провинцій ученый академикъ имѣеть наивность говорить о „шизматикахъ“, не подозрѣвая, что это просто — русские православные.

получать весьма полезную поддержку. Въ литературѣ второй половины столѣтія является новый разрядъ сочиненій, посвященныхъ именно мѣстнымъ изученіямъ. Не входя въ подробности этой литературы, укажемъ нѣкоторые факты. Однимъ изъ первыхъ дѣятелей этой мѣстной литературы былъ извѣстный Петръ Ивановичъ Рычковъ (1712 — 1777). Сынъ купца, водившаго дѣла съ иноземцами, Рычковъ не прошелъ никакой правильной школы, но владѣя хорошо нѣмецкимъ языкомъ (которому отецъ хотѣлъ выучить его для торговыхъ дѣлъ), нашелъ службу сначала въ купеческой конторѣ одного иностранца, а вскорѣ и казенное мѣсто бухгалтера въ таможнѣ. Въ этой же должности онъ отправился въ 1734 г. на службу въ „оренбургскую экспедицію“, которой начальствовалъ названный нами раньше Кириловъ, а за нимъ Татищевъ, извѣстный историкъ. Оба начальника были просвѣщенные люди, проникнуты великою ревностью къ изученію отечества, и подъ ихъ вліяніемъ Рычковъ усердно занялся изслѣдованіемъ края, гдѣ проходила его служебная дѣятельность. Онъ дослужился до чиновъ и деревень, былъ членомъ корреспондентомъ Академіи наукъ и дѣятельнымъ писателемъ по исторіи оренбургскаго края, и по различнымъ вопросамъ торговой и хозяйственной практики. Много его сочиненій помѣщено было въ „Сочиненіяхъ и переводахъ, къ пользѣ и увеселенію служащихъ“, Миллера, съ которымъ онъ велъ дѣятельную переписку, въ „Трудахъ“ тогда только-что основаннаго Вольнаго Экономического общества, отъ котораго получалъ медали; было наконецъ и нѣсколько отдѣльныхъ изданій. Труды его обратили на себя вниманіе и въ нѣмецкой литературѣ, въ которой былъ въ тѣ годы вообще большой интересъ къ изученію Россіи¹⁾.

Труды Рычкова имѣютъ свои немалые недостатки, и именно недостатокъ критического отношенія къ источникамъ, свидѣтельствующій объ отсутствіи правильной школы; но они важны по обилію свѣдѣній — самъ Палласъ началъ было переводъ „Оренбургской топографіи“. Мѣстная исторія была, по мнѣнію Рычкова, необходима: „общая исторія всей Россіи,—говоритъ онъ въ предисловіи къ своей „Казанской исторіи“,—чтобъ быть ей полною и совершенною, по вели-

¹⁾ „Исторія Оренбургская“ помѣщена была въ „Сочиненіяхъ и переводахъ“, изд. Миллера, 1759; „Топографія Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губерніи“, 2 ч. Спб. 1762 (нѣмецкіе переводы: настора Газе въ Бюшивговомъ „Магазинѣ“, V, 1771, и Родде, Рига, 1772); „Опытъ казанской исторіи древнихъ и среднихъ временъ“, Спб., 1767 (нѣм. переводъ, Рига, 1772); „Введеніе къ астраханской топографіи“ и пр. (книга слабая), М. 1774. Наконецъ, Рычковъ составилъ записки объ осадѣ Оренбурга Пугачевымъ, и оренбургскій „Топографический лексиконъ“,—послѣдній затерялся. Біографія въ книгѣ Пекарскаго: Жизнь и литературная переписка П. И. Рычкова. Спб. 1867.

кости имперіи и по множеству ея провинцій, изъ которыхъ въ древнія времена во многихъ бывали особенные царства и княженія, необходимо требуетъ особенныхъ описаній"... Сынъ Рычкова, Николай, также работалъ въ этой описательной литературѣ. Записанный въ полкъ мальчикомъ, онъ 21 года уже вышелъ въ отставку съ чиномъ капитана, въ 1767 г., и въ томъ же году опредѣленъ „въ команду г. профессора Палласа“, т.-е. въ составъ его ученой экспедиціи. Рычковъ-младшій не имѣлъ настоящей подготовки, но добросовѣстный и усердный работникъ, онъ собралъ много полезныхъ свѣдѣній по исторіи и этнографіи съверо-восточного края Россіи, а позднѣе о киргизъ-кайсацкихъ степяхъ¹⁾.

Еще болѣе, чѣмъ Рычковъ-старшій, были самоучками два усердные труженика по мѣстной исторіи архангельского края — Крестининъ и Фоминъ. Вас. Вас. Крестининъ (1728—1795), „архангелогорскій гражданинъ“, повидимому самоучка, представляетъ тѣмъ болѣе любопытный примѣръ серьезной любознательности и упорнаго труда, положенного имъ на изученіе своей родины. Его отецъ изъ бѣдныхъ сиротъ Холмогорского посада вышелъ въ первостатейные купцы и занималъ важныя посадскія должности въ Архангельскѣ (напр., былъ бургомистромъ), но потомъ потерялъ состояніе, и Крестининъ-сынъ не былъ богатъ и жилъ собственными трудами. Онъ также занималъ разныя посадскія должности, бывалъ посадскимъ старшиной, архиваріусомъ въ магистратѣ, мѣщанскимъ писаремъ; впослѣдствіи, за свои службы по выборамъ онъ получилъ званіе „степенного гражданина“. Можно замѣтить, что онъ зналъ по-немецки и по-латыни. Среди провинціального захолустья и невѣжества собрался въ Архангельскѣ въ 1760-хъ годахъ небольшой кружокъ людей, на которыхъ отозвалось просвѣтительное вліяніе времени. Душою этого кружка былъ Крестининъ, къ которому присоединился молодой купецъ Александръ Фоминъ и еще два-три человѣка, между прочимъ прокуроръ Нарышкинъ. Они возъимѣли мысль завести нѣчто въ родѣ историческаго общества для изученія своего края; но обстоятельства мало благопріятствовали ихъ работѣ: захолустное невѣжество всегда съ недовѣремъ и недоброжелательствомъ смотрѣтъ на такія попытки умственнаго труда; любители исторіи, какъ говорятъ, прослыли вольнодумцами и даже „фармазонами“. Въ 1768 они просили разрѣшенія пересмотрѣть мѣстные архивы, но получили отказъ, а въ 1770-хъ

¹⁾ „Журналъ или дневныя записки путешествія капитана Николая Рычкова по разнымъ провинціямъ россійскаго государства 1769 и 1770 года“ и „Продолженіе Журнала“, Спб. 1770—1772; „Дневныя записки путешествія кап. Ник. Рычкова въ киргизъ-кайсацкой степи 1771 году“. Спб. 1772. Нѣмецкій переводъ всѣхъ записокъ, Рига, 1774. — Объ авторѣ ихъ въ той же книгѣ Пекарскаго, стр. 114, 125 и слѣд.

годахъ архивъ губернскій канцелярії, гдѣ было, безъ сомнѣнія, много важныхъ остатковъ старины, сгорѣлъ. Между тѣмъ общество распалось, но Крестининъ продолжалъ трудиться; великой нравственной поддержкой послужило ему знакомство съ Лепехинымъ и Озерецковскимъ, которые заѣхали въ архангельскій край въ 1771 году. Ученые путешественники получили отъ Крестинина много важныхъ указаний и, благодаря имъ, онъ впослѣдствіи сдѣланъ былъ корреспондентомъ Академіи наукъ.—Ревностнымъ поискамъ Крестинина удалось собрать много важного исторического материала, не только по истории края, но и по далекой русской древности. Такъ, онъ доставилъ для „Древней Россійской Вивліоѳики“ Новикова цѣлый рядъ замѣчательныхъ памятниковъ, извлеченныхъ имъ изъ старой Кормчей, какъ, напр., Уставъ князя Владимира о церковныхъ судахъ и о десятинахъ, дополненіе къ нему вел. кн. Ярослава Владимировича и новый важный текстъ Русской Правды. Впослѣдствіи, въ IV-мъ посмертномъ томѣ путешествія Лепехина напечатано было Озерецковскимъ нѣсколько двинскихъ грамотъ съ объясненіями Крестинина; другія работы помѣщалъ онъ въ академическихъ изданіяхъ, какъ „Новый Ежемѣсячный Сочиненія“ и мѣсяцесловы. Наконецъ Крестининъ издалъ нѣсколько отдельныхъ сочиненій по истории двинского края¹⁾.

Упомянутый А. И. Фоминъ, въ 80-хъ годахъ прошлаго вѣка публичный нотаріусъ въ Архангельскѣ, составилъ описание Бѣлаго моря, былъ также корреспондентомъ Академіи наукъ и членомъ Вольнаго Экономического Общества²⁾.

Для мѣстныхъ описаній Россіи много работалъ плодовитый собиратель Вас. Григ. Рубанъ (1739—1795). Онъ учился въ кіевской, потомъ въ московской славяно-латинской академіи и московскомъ университетѣ, издавалъ нѣсколько журналовъ и много писалъ по истории и статистикѣ Малороссіи; въ своихъ „Любопытныхъ мѣсяцесловахъ“ (съ 1776) онъ помѣстилъ много матеріаловъ для мѣстной исторіи (росписи губерній или намѣстничествъ, съ показаніемъ числа

¹⁾ „Историческіе начатки о двинскомъ народѣ древнихъ, среднихъ, новыхъ и новѣйшихъ временъ“, ч. I (доведено до конца XVII вѣка). Спб. 1784; „Историческій опытъ о сельскомъ старинномъ домостроительствѣ двинскаго народа въ сѣверѣ“, Спб. 1785; „Начертаніе исторіи города Холмогоръ“, съ двумя таблицами, издано академикомъ Озерецковскимъ, Спб. 1790; „Краткая исторія о городѣ Архангельскомъ“, Спб. 1792.

²⁾ Описаніе Бѣлаго моря съ его берегами и островами вообще, и пр. Спб. 1797. Біографическія свѣдѣнія о Крестининѣ и Фоминѣ см. въ журналахъ: „Маякъ“ 1844, № 10, стр. 54, и „Финскій Вѣстникъ“, 1845, т. VI, стр. 195; далѣе „Архангельскія Губ. Вѣдомости“, 1858, № 43, ст. Гр. Заринскаго, и 1871, № 58—73, въ статьяхъ П. Е. (Ефименко); „Что сдѣлано для исторіи крайняго сѣвера и что слѣдуетъ сдѣлать“, о Крестининѣ и Фоминѣ въ № 60—62.

провинцій и городовъ; описанія епархій и т. п.); издалъ описанія Петербурга и Москвы и т. д.¹). Въ Малороссіи, присоединеніе которой не было еще слишкомъ давнимъ фактомъ, мѣстный интересъ подобныхъ изученій связывается еще съ воспоминаніями о недавней исторической особности, съ чувствомъ особности этнографической, и мѣстная исторія вызвала рядъ отчасти замѣчательныхъ работъ, которыхъ, впрочемъ, въ то время обращались больше въ рукописяхъ и изданы были уже къ нашему времени. Такова, напр., замѣчательная книга Шафонскаго, изданная уже въ наше время²): это—поистинѣ драгоценный материалъ для изученія южной Россіи, своей мыслью и исполненіемъ не уступающій лучшимъ работамъ новѣйшихъ статистиковъ народнаго быта. Таковы были историческіе труды Ханенка, Симоновскаго, Ригельмана и др. Изданы были еще въ прошломъ столѣтіи „Записки о Малороссіи, ея жителяхъ и произведеніяхъ“, Якова Марковича (ч. I, Спб. 1798).—Упомянемъ еще отдѣльные географическіе труды Засѣцкаго, московскаго профессора Дильтея, Миллера, Павла Сумарокова и др.³.

Наконецъ, большая масса описательныхъ, географическихъ и историческихъ работъ помѣщалась въ „Мѣсяцесловахъ“, издававшихся Академіей наукъ. Эти статьи были потомъ соединены въ особомъ сборникеъ, составляющемъ весьма цѣнныи историко-географический материалъ⁴).

¹⁾ Землеописаніе Малая Россіи, Спб. 1777; Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга, въ 1703 по 1751 годъ, сочин. Андрея Богданова, дополнено и издано В. Рубаномъ, Спб. 1779; Описание императорскаго столичнаго города Москвы, Спб. 1782; Всеобщій и совершенній Гонецъ и Путеукаатель, или полный повсемѣстный россійскій и повсюдный европейскій дорожникъ, 2 части, Спб. 1791.—О Рубанѣ, см. Филарета, Обзоръ дух. литературы, кн. 2, изд. 2-е Черниговъ, 1863, стр. 126—128; Ист. Росс. Акад. I, стр. 304—308.

²⁾ Черниговскаго намѣстничества топографическое описание съ краткимъ географическимъ и историческимъ описаніемъ Малая Россіи, сочиненное Аѳанасіемъ Шафонскимъ, въ Черниговѣ, 1786 года. Кіевъ, 1851.

³⁾ Историческая и топографическая извѣстія по древности о Россіи, и частно о городе Вологдѣ и его уѣздѣ, и о состояніи онаго по нынѣ, собралъ Алексѣй Засѣцкій, М. 1780; Собрание нужныхъ вещей для сочиненія новой географіи о россійской имперіи, часть 1-я: О тульскомъ намѣстничествѣ, соч. Филиппа Дильтея; на россійскомъ и французскомъ языкахъ, Спб. 1781; Описание живущихъ въ казанской губерніи языческихъ народовъ, соч. Герарда Миллера, Спб. 1791; Путешествие по всему Крыму и Бессарабіи въ 1799 году, соч. Павла Сумарокова, М. 1800. О географическихъ работахъ Дильтея, см. въ „Біографическомъ словарѣ моск. профессоровъ“, т. I, стр. 309—310.

⁴⁾ Собрание сочиненій, выбранныхъ изъ мѣсяцеслововъ на разные годы, издано Академіею наукъ. 10 частей, Спб. 1785—1793.—Объ этой литературѣ мѣстныхъ описаній см. еще въ книгѣ В. Семевскаго: Крестьяне въ царствование имп. Екат. II, Спб. 1881, стр. XLV.

Вся эта литература описаній Россіи, отмѣченная здѣсь только въ самыхъ общихъ чертахъ, составляетъ именно произведение реформы и „петербургскаго периода“, и не требуетъ особенныхъ объясненій то, какое значеніе принадлежитъ ей въ вопросѣ развитія нашего національного сознанія. Русскому народу привелось, еще въ незаконченномъ складѣ самаго государства, раскинуться на такія громадныя пространства, что вопросъ національного сознанія получалъ у насъ особенную черту, незнакомую другимъ народамъ. Нѣмцу, французу, англичанину старыхъ временъ не трудно было освоиться со всѣми краями своего отечества, составить понятіе объ его цѣломъ и варіаціяхъ страны и населенія. У насъ было не то. Не только въ старое, но и въ наше время только очень рѣдкимъ людямъ удавалось своими глазами видѣть разные концы государства, населенные и русскими, и не-русскими, совершенно непохожіе одинъ на другой по всѣмъ условіямъ почвы, климата и быта: отдѣльныя части государства разъединялись громадными пространствами, трудностью сообщеній, наконецъ національностью, языкомъ, религіей, всей прежней исторіей,—но съ этимъ разъединялось конечно и сознаніе. Мѣстныя населенія жили особнякомъ, чуждыми другъ другу, а вмѣстѣ чуждыми тѣмъ умственнымъ и нравственнымъ возбужденіямъ, которыя проис текаютъ изъ болѣе тѣснаго общенія. Правда, были сильные элементы объединенія: безграницый авторитетъ власти, централизація управлениія, одна вѣра и языкъ огромнаго господствующаго большинства; но при недостаткѣ общественно-бытового соединенія и взаимодѣйствія національная жизнь самого большинства оставалась въ какомъ-то безсознательномъ туманѣ подъ властью инстинктивныхъ побужденій преданія и случайностей. Если въ административномъ смыслѣ отдѣльные края Россіи становились въ старину настоящими сатрапіями подъ самовольнымъ и грабительскимъ правленіемъ воеводъ, отъ которыхъ жители—„сироты“ бѣгали съ своими „животишками и дѣтишками“, или на которыхъ они слезно (и всего чаще бесплодно) жаловались въ Москву, то подобный разбродъ долженъ былъ отражаться и въ умственной жизни народа, въ стихійномъ складѣ народнаго сознанія. Тѣ живыя силы, какія не могли отсутствовать въ народѣ, силы ума, таланта, любознательности, пропадали отъ недостатка школы и недостатка общенія: имъ не на чемъ было развиваться и горизонтъ съуживался. Въ то время какъ въ европейской литературѣ совершались уже великія пріобрѣтенія научнаго знанія, у насъ не было признаковъ научныхъ понятій о природѣ, ни географическаго знанія своей страны, ни сознательнаго пониманія своей исторіи. Петровская реформа внесла великую двигательную силу—научное знаніе. Только съ этимъ пріобрѣтается болѣе или

мене́е точное представле́ниe о дѣйствительности народной жизни, ея усло́віяхъ, ея ви́шнемъ и внутреннемъ складѣ, которое указываетъ народу возвышенныя цѣли просвѣщенія и вызываетъ къ жизни умственныя силы и поэтическое творчество народа. Мы привели слова знаменитаго европейскаго ученаго, который въ нашихъ старыхъ путешествіяхъ XVIII вѣка видѣлъ не только великое обогащеніе науки, но знаменательный фактъ национального самосознанія. Дѣйствительно, эти работы первыхъ русскихъ изслѣдователей были дѣломъ никогда раньше небывалымъ: онѣ заключали въ себѣ начало новыхъ внутреннихъ отношеній общества и народа, освѣщенныхъ научнымъ зна- ниемъ и сознательной общественной мыслью. Вотъ еще слова исто-рика русской науки прошлаго вѣка, гдѣ указывается великое зна- ченіе трудовъ нашихъ ученыхъ какъ для чистой науки, такъ и для прямыхъ потребностей русского общества. То поколѣніе русскихъ ученыхъ,—говорить онъ,—которое дѣйствовало во второй половинѣ прошлаго столѣтія, образовывалось подъ непосредственнымъ влія-ніемъ Ломоносова и продолжало преданія его дѣятельности; черезъ это посредство оно продолжало преданіе Петровской реформы.

, Румовскій, Котельниковъ, Протасовъ получили свое научное образование подъ руководствомъ Ломоносова; Лепехинъ и Иноходцовъ были учениками Румовского и Котельникова; Озерецковскій, Соколовъ, Севергинъ образовались подъ благотворнымъ вліяніемъ Лепехина, и т. д. Названныя нами поколѣнія русскихъ ученыхъ, отъ Ломоносова до Севергина, связаны между собою основными началами своей научной дѣятельности и литературнымъ преданіемъ, вытекавшимъ изъ жизненныхъ условій времени и исторического хода русской образованности.

„Всѣ эти ученые принадлежали, подобно Ломоносову, къ математикамъ и натуралистамъ и, также подобно ему, расширяли кругъ своей дѣятельности, перенося ее въ область чисто литературную. Такое же явленіе замѣчается и у другихъ народовъ, будучи естественнымъ слѣдствіемъ тогдашняго состоянія наукъ и образованности въ Европѣ. Заслуги нашихъ ученыхъ признавались и признаются какъ современными имъ свѣтилами науки, такъ и позднѣйшими судьями (отзывы Палласа, Леонарда Эйлера)...

„Русскимъ ученымъ восемнадцатаго столѣтія приходилось, подобно Ломоносову, прокладывать путь къ водворенію у настѣ науки и защищать права ея въ борьбѣ съ невѣжествомъ, равнодушіемъ и предразсудками. Сама жизнь за-ставляла Ломоносова такъ часто и такъ горячо доказывать, что наука не враждебна религії; что изученіе законовъ природы не умаляетъ, а возвышаетъ религиозное чувство, и что великій грѣхъ возставать на науку и задерживать ея свободное развитіе. Одинъ изъ учениковъ Ломоносова, Протасовъ, подробно объяснялъ значеніе слова „природа“ съ цѣлью опровергнуть обвиненіе, взво-димое на науку, что будто бы она принисываетъ природѣ и ея законамъ ту силу и то всемогущество, которыхъ неотъемлемо и нераздѣльно принадлежать божеству. Подобная же мысль проглядываетъ и въ доказательствахъ важности и значенія той или другой науки, приводимыхъ ея представителями...

„Вторая половина восемнадцатаго столѣтія ознаменована пробужденіемъ

въ русскомъ обществѣ самосознанія. Въ литературѣ оно выразилось въ дѣятельности Новикова—въ содержаніи и направленіи его журналовъ, въ изданіи памятниковъ исторической жизни русского народа, и т. д. То же стремленіе къ самопознанію обнаруживается и въ ученыхъ путешествіяхъ по Россіи, предпринятыхъ съ цѣлью ознакомиться съ естественными и бытовыми особенностями Россіи. Еще Ломоносовъ доказывалъ необходимость путешествія по Россіи для опредѣленія географического положенія мѣстъ, для производства meteorологическихъ наблюденій, вмѣстѣ съ тѣмъ для собиранія лѣтоцисей, и т. п. Такъ же широко задуманы и достойнымъ образомъ исполнены путешествія по Россіи, совершеннныя Лепехинымъ, Иноходцовымъ, Озерецковскимъ, Соколовымъ, обогатившія науку новыми данными и положившими твердое начало всестороннему изученію Россіи.

„Русскіе академики, оть Ломоносова до Севергина, трудились для возврѣнія знаній въ Россіи, для поднятія умственного уровня русского общества и для народного образованія. Съ этими цѣлями они составляли учебники и руководства на русскомъ языкѣ, читали публичныя лекціи, помѣщали научныя, общедоступныя, статьи въ повременныя изданія, и т. д. Членамъ Академіи науки и Россійской академіи принадлежитъ честь создания и усовершенствованія русской научной терминологии. Благодаря ихъ усилиямъ, наука впервые заговорила у насъ на родномъ языкѣ—событие въ высшей степени важное не только въ исторіи русского литературного языка, но и въ исторіи русской образованности вообще. Въ литературѣ всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ считается эпохой введеніе родного языка въ область науки, и высоко цѣнятся заслуги лицъ, которыхъ, подобно Вольфу въ Германіи, начали писать о научныхъ предметахъ на отечественномъ языке.“

„Трудясь для науки и просвѣщенія, наши ученые, оть Ломоносова до Севергина, отзывались на требованія общественные, и не мало содѣствовали внесенію въ общество просвѣтительныхъ началъ. То, что написано Озерецковскимъ по поводу университетовъ и цензуры, проникнуто такимъ уваженіемъ къ правамъ разума и къ свободѣ изслѣдованія, такимъ сочувствіемъ къ наукѣ и литературѣ, что должно быть по всей справедливости отнесено къ лучшимъ произведеніямъ тогдашней, не только русской, но и вообще европейской, публицистики“¹⁾.

Такимъ образомъ, научное изслѣдованіе Россіи шло рядомъ и въ одновремъ духѣ съ лучшими стремленіями литературы. Общественная мысль все болѣе останавливается на положеніи народа, на характерѣ его понятій, на степени его образованія или невѣжества, на его материальныхъ и умственныхъ правахъ и потребностяхъ. Въ 1760-хъ годахъ возникала мысль объ освобожденіи крестьянъ. Въ 1780-хъ годахъ, когда правительство еще не было напугано французской революціей и сохранило прежнія просвѣтительные намѣренія, предпринять былъ замѣчательный планъ народного образованія и основаніе „народныхъ училищъ“, для которыхъ издана была извѣстная книжка: „О должностяхъ человѣка и гражданина“. Указателемъ того, къ чему приходила общественная мысль, служитъ книга Радищева, которая

¹⁾ Исторія Росс. Академіи, IV, стр. 2—5.

любопытнымъ образомъ приняла тогда форму такихъ же „дневныхъ записокъ“, какъ путешествія нашихъ ученыхъ.

Тотъ же общій характеръ, какой имѣли труды нашихъ ученыхъ въ области естествознанія и описанія Россіи, гдѣ даже натуралистъ становился этнографомъ и затрагивалъ жизненные вопросы быта, повторяется и въ развитіи нашей исторіографіи.

Нѣть надобности входить здѣсь въ подробности развитія нашей исторіографіи съ ея спеціальной технической стороны: какъ возникали первыя научныя работы по русской исторіи, собирались ея памятники, начиналась историческая критика, дѣлались первые опыты ея систематического построенія и т. д. Обо всемъ этомъ есть¹⁾ довольно свѣдѣній въ литературѣ¹⁾). Развитіе научной исторіографіи само по себѣ составляетъ знаменательный фактъ въ судьбѣ нашей образованности: съ этимъ получалась первая возможность уразумѣнія прошедшаго, которое до тѣхъ поръ было доступно только чрезъ посредство компилиативнаго набора фактовъ, или сырого, полу-забытаго, полу-понимаемаго преданія. Исторіографія прошлаго вѣка успѣла сдѣлать, говоря безотносительно, не очень много. Занятая въ особенности вопросами о началѣ государства, первыми поисками матеріаловъ и ихъ первоначальнымъ разборомъ, она не оставила цѣльного труда и, кромѣ опыта Шлѣцера, не успѣла даже намѣтить цѣльного плана: Карамзину пришлось быть первымъ строителемъ русской исторіи. Тѣмъ не менѣе историки прошлаго вѣка имѣютъ великую заслугу: какъ названные выше ученые натуралисты и путешественники впервые приводили въ извѣстность и въ сознаніе общества самую территорію отечества, ея природу, населеніе, формы народнаго быта, такъ историки впервые собирали забытые памятники старины, пытались внести связь въ *disjecta membra* исторического преданія, понять ихъ исторической смыслъ. Тѣ и другіе одинаково старались на мѣсто грубаго и неполнаго эмпіризма поставить точное знаніе, отдать себѣ отчетъ въ прошлыхъ и настоящихъ

¹⁾ См. Очеркъ литературы русской исторіи до Карамзина, А. Старчевскаго, Спб. 1845; Общія понятія о хронографахъ вообще и описаніе нѣкоторыхъ списковъ ихъ, хранящихся въ библіотекахъ спб. и моск., Н. Иванова, Казань, 1843; Н. М. Карамзинъ. Матеріалы для біографіи, М. Погодина, 2 т., М. 1866; „Современное состояніе русской исторіи какъ науки“ (Моск. Обозр., 1859, кн. I, въ началѣ статьи); отдѣльные изслѣдованія о нѣмецкихъ и русскихъ историкахъ прошлаго вѣка, наир. Соловьевъ—о Миллерѣ, Шлѣцерѣ, Болтинѣ и др.; Нила Попова—о Татищевѣ; А. Н. Попова—о Шлѣцерѣ; Бестужева-Рюмина—о Татищевѣ и Шлѣцерѣ; Сухомлинова—о Болтинѣ; Невеленова—объ историческихъ трудахъ и изданіяхъ Новикова; Доброволькова—о „Собесѣднике“ и историческихъ трудахъ имп. Екатерины II, и т. д.

фактахъ народной жизни, уразумѣть ея нужды и найти средства къ ихъ удовлетворенію. Словомъ, это былъ умственный переворотъ, логически да и фактически слѣдовавшій изъ реформы,—потому что первые начатки исторического знанія, какъ и описаній Россіи, восходять ко временамъ Петра, къ трудамъ его собственнымъ и его непосредственныхъ выучениковъ. Итакъ, не касаясь частныхъ вопросовъ исторіографіи прошлого вѣка, остановимся лишь на нѣсколькихъ примѣрахъ того общаго настроенія, въ какомъ совершились работы тогдашнихъ историковъ, и гдѣ мы опять встрѣтимся съ самыми непосредственными вліяніями западной науки и ихъ отраженіемъ въ русскихъ умахъ.

Здѣсь опять бросаются въ глаза два явленія: во первыхъ, что дѣйствительное вліяніе западной науки тотчасъ обращается въ разумное примѣненіе къ русской жизни и содержанію, и во-вторыхъ, что люди, наиболѣе серьезно принимавшіе это вліяніе и работавшіе въ его смыслѣ, оставались однако такими русскими людьми, какихъ только можно желать. Въ исторической литературѣ таковы были два замѣчательнѣйшіе писателя прошлого вѣка на этомъ поприщѣ, Татищевъ и Болтынъ. Тотъ и другой ревностно старались усвоить себѣ замѣчательнѣйшіе труды европейской науки въ области исторіи, любили опираться на западные авторитеты и брали у нихъ много готовыхъ мыслей и фактovъ; но это не помѣшало имъ съ одной стороны быть отличными знатоками русской жизни, а съ другой—сохранить всѣ тѣ черты ума, какія считаются особенностями русского ума, и оставаться горячими приверженцами своего русскаго. Общій характеръ ихъ научнаго взгляда былъ тотъ же, какой мы отмѣчали у ихъ ученыхъ современниковъ: и тотъ, и другой—раціоналисты, какъ истыя дѣти прошлого вѣка; у обоихъ ревностная забота воспользоваться указаніями западной науки для русскаго просвѣщенія и народной пользы.

Біографія Вас. Никитича Татищева (1686—1750) была очень подробно разработана нашими историками¹⁾. Довольно сказать, что

¹⁾ Ниль Поповъ, В. Н. Татищевъ и его время, М. 1861; Пекарскій, Новыя извѣстія о Татищевѣ, Спб. 1864, и его же книга о Рычковѣ, Спб. 1867; В. Н. Татищевъ, администраторъ и историкъ начала XVIII вѣка, въ „Біографіяхъ и характеристикахъ“, Бестужева-Рюмина, Спб. 1882 (стр. 1—175).

Въ 1886 г. вспоминалось двухсотлѣтіе рожденія Татищева, и по этому случаю явилось нѣсколько новыхъ работъ по его біографіи и объясненію его литературной дѣятельности:—„Первое водвореніе въ Москвѣ греколатинской и общей европейской науки. Рѣчь, читанная въ засѣданіи Имп. Общества исторіи и древн. Росс. 19 апр. 1886 г. въ память двухсотлѣтней годовщины рожденія первого русскаго историка, В. Н. Татищева“, Ив. Е. Забѣлина, въ „Чтеніяхъ“, 1886, кн. IV, стр. 1—24.

— Ученые и литературные труды В. Н. Татищева (1686—1750). Рѣчь, произ-

онъ получилъ образованіе въ Петровской школѣ: это образованіе было научно-практическое, такъ что интересъ къ описанію Россіи и изученію ея исторіи, наполнившій его литературную дѣятельность, былъ развитъ въ немъ не самой школой, а именно духомъ времени, возбуждавшимъ въ серьезныхъ умахъ пытливую любознательность. Служба заводила его въ разные края Россіи, въ разныя отрасли управлениія, и наблюдательность дала ему большой опытъ и практическое знаніе жизни. Пріятельство съ єеофаномъ Прокоповичемъ и другими учеными людьми, вѣроятно, помогло ему освоиться въ историко-философской литературѣ. Онъ съ великой ревностью сталъ заниматься русской исторіей, собирая гдѣ только могъ историческіе памятники, лѣтописи и т. п. Его „Исторія Россійская“ была собственно не исторія, а лѣтописный сводъ, но этотъ сводъ уже совсѣмъ не былъ похожъ на произвольныя старыя компиляціи. Собирая лѣтописныя извѣстія, Татищевъ постоянно сопровождаетъ ихъ критическимъ разборомъ, опредѣляетъ степень ихъ вѣроподобности и останавливается на томъ, какое, по его мнѣнію, наиболѣе отвѣчаетъ условіямъ времени. Татищевъ старается возстановить фактъ съ его дѣйствительнымъ смысломъ, понять его происхожденіе и послѣдствія. Вмѣстѣ съ тѣмъ,—и это въ особенности интересно,—онъ старается опредѣлить себѣ самый характеръ времени, политическія и общественные формы государства и ихъ различное вліяніе.

Это былъ не только пріемъ первоначальной критики, но уже высшій, такъ сказать, философскій взглядъ на исторію. Откуда онъ взялся? Конечно, Татищевъ не вынесъ его изъ своей артиллерійской и инженерной школы, а пріобрѣлъ изъ чтенія въ кругу образованѣйшихъ людей той эпохи, подъ вліяніемъ того умственного толчка, который былъ данъ реформой. Любознательность Татищева была именно чертою времени. Петръ уже старался развивать политическія понятія, употребляя для этого и офиціальные объявленія, „вѣдомости“ и „реляціи“ о государственныхъ событияхъ, и газету, и народные праздники, и церковную проповѣдь, наконецъ литературу: по его ініциативѣ, и даже при его личномъ трудѣ, впервые стали печататься книги о политической исторіи, о государственномъ управлениі,—появляется въ русской одеждѣ Самуилъ Пуффендорфій съ

нес. въ торжеств. собраніи Имп. Академіи Наукъ 19 апрѣля 1886 года, чл.-корр. Н. А. Поповымъ—въ Журн. Мин. Просв. 1886, юнь, и отдельно, Сиб. 1886.

— В. Н. Татищева Разговоръ о пользѣ наукъ и училищъ. Съ предисловіемъ и указателями Нила Попова, въ „Чтеніяхъ“, 1887, кн. I, и отдельно, М. 1887.

— Духовная Василія Никитича Татищева. Издана подъ наблюденіемъ члена Казанского Общества археологіи, исторіи и этнографіи, Андрея Островскаго. Казань 1885,—при „Извѣстіяхъ“ названаго Общества, и друг.

его „Введеніемъ“ и книгою „О должностяхъ человѣка и гражданина“; является „Феатронъ или позоръ исторической“, Стратемана и т. п. Въ связи съ этимъ, въ рукописяхъ того времени является цѣлый рядъ переводовъ изъ политической и философской литературы того времени, гдѣ мы встречаемся съ неслыханными дотолѣ на русскомъ языкѣ именами извѣстныхъ европейскихъ ученыхъ и философовъ: такъ находятся здѣсь знаменитая книга Гуго Гроція „О законахъ брани и мира“; того же Пуффендорфа — „О законахъ естества и народовъ“; Бесселя — „Политического счастія Ковачъ“; Юста Липсія — „Увѣщаніе и приклады политическіе“; другія „Увѣщанія политическія“ Гвиччардини (подъ именемъ „господина Гвикцеардина“); разные „Дискурсы политичные“ и т. п.; являются въ печати и въ рукописяхъ переводы книгъ Аполлодора, Квинта Курція, Тита-Ливія, Баронія, Мавро Урбіна, Іоанна Слейдана и т. д.¹⁾). Эта литература Юстовъ Липсіевъ, Пуффендорфовъ, Гвиччардини и проч.; печатные переводы Петровскаго времени; цитаты тогдашнихъ писателей — даютъ понятіе о литературныхъ интересахъ образованныхъ людей той эпохи и, въ ихъ числѣ, Татищева.

„Исторія Россійская“ Татищева имѣетъ необычную для нашего времени форму. Это—соединеніе сухого лѣтописнаго свода, представляющаго материалъ, и многочисленныхъ примѣчаній, въ которыхъ заключается критическая и объяснительная работа автора. Эти примѣчанія останавливаются на себѣ вниманіе двумя чертами: во-первыхъ, обилиемъ указаний на иностранную литературу, которою авторъ пользовался; во-вторыхъ, массой разнаго рода историческихъ и практическихъ свѣдѣній, собранныхъ имъ самимъ и свидѣтельствующихъ объ его старательномъ изученіи Россіи. Въ книжкѣ Пекарскаго о Татищевѣ напечатанъ между прочимъ каталогъ его библіотеки, который даетъ понятіе о разнообразіи его любознательности; результаты чтенія оказываются и въ цитатахъ. Онъ знаетъ греческихъ и римскихъ классиковъ, средневѣковыхъ лѣтописцевъ (въ русскихъ переводахъ или по чужимъ указаніямъ); его справочными книгами были: Вальха—Лексиконъ философскій; Буддея—Лексиконъ историческій; Гейнсіуса или Мартиньера—Лексиконъ географическій; Лексиконъ святыхъ; Лексиконъ математическій; Іохера—Лексиконъ ученыхъ; извѣстный Лексиконъ критическій „Баилевъ“; наконецъ, общія руководства, какъ Фабріуса—Исторія міра; Себастіана Мюнстера—Космографія; Варенія—Генеральная географія (въ русскомъ пере-

¹⁾ Изъ такихъ книгъ составлена была старинная библіотека, находящаяся нынѣ въ Толстовскомъ собраніи Публичной Библіотеки, и принадлежавшая князю Д. М. Голицыну, одному изъ „верховниковъ“. Ср. объ этомъ въ книгѣ Д. Корсакова, „Воспомініе имп. Анны Іоанновны“. Казань, 1880, стр. 289 и далѣе.

водѣ); Вольфа—Мнѣніе о естественныхъ приключеніяхъ; историческая книга де-Ту, Слейдана, Theatrum Europaem; Имгофа — Залъ исторической, и проч. По русской и славянской древности онъ знаетъ книгу Фриша о глаголитѣ, Клюверія о скиѳахъ и сарматахъ, примѣчанія Бержерона къ путешествіямъ Плано-Карпини, Асцелина и Рубруквиса, переведенная на русскій языкъ; знаетъ путешествія по Россіи Олеарія, Страленберга, сочиненія Миллера, Рычкова; далѣе, всякия специальная исторіи: древне-германскую, цельтическую, сибирскую, калмыцкую и т. д. Въ предметахъ философско-политическихъ онъ ссылается на Пуффендорфа—О должностяхъ человѣка и гражданина; Локка—Правленіе гражданское; на книгу Маккіавеля (существовавшую въ русскомъ переводе); на „Гобезіева“ Левіаѳана, на сочиненія Декарта, Ньютона, Галлея и т. д. Книги въ родѣ послѣднихъ Татищевъ читалъ, или по крайней мѣрѣ цитировалъ съ большой осторожностью; ихъ философское, натуралистическое, или историческое содержаніе нерѣдко очень мало, или совсѣмъ не подходило къ обычнымъ русскимъ понятіямъ: въ глазахъ тогдашнихъ охранителей Татищевъ, какъ человѣкъ, обрацавшійся съ подобными вещами, и безъ того пріобрѣль репутацію вольнодумца или даже безбожника; поэтому, называя Маккіавеля или Гобезія, онъ считаетъ нужнымъ замѣтить, что это писатели „вредительные“, которыхъ нужно читать съ осторожностью, по самъ онъ видимо любилъ ихъ почитывать.

Съ другой стороны, Татищевъ былъ весьма разностороннимъ самостоятельнымъ наблюдателемъ. Для своей книги онъ успѣлъ собрать обширный матеріалъ старыхъ рукописей, между прочимъ такихъ, которые исчезли потомъ и сохранились теперь только въ его указаніяхъ и извлеченіяхъ, какъ напр. знаменитая Іоакимовская лѣтопись и разныя отдельныя лѣтописныя извѣстія. Въ то же время онъ собралъ множество бытовыхъ фактовъ современной ему жизни, такъ что въ разнообразномъ практическомъ знаніи Россіи съ нимъ, какъ и съ Болтинымъ, пожалуй, не сравняются кабинетные исторіографы нашего времени. Такъ,—рассказываетъ его біографъ,—онъ роется въ архивахъ, покупаетъ рукописи на площадяхъ у разносчиковъ; читаетъ у кн. Д. М. Голицына письмо царя Михаила Феодоровича къ Федору Шереметьеву, у кнзя А. М. Черкасского два или три письма царя Алексѣя Михайловича къ И. Бор. Черкасскому; разѣзжая по уральскимъ горамъ, бесѣдуетъ съ инородцами; спрашиваетъ поясненія слова: татарь—у бухарцевъ; о томъ же спрашиваетъ Дондукъ-Даши, его абугелюнга; черезъ оренбургскаго ассесора Рычкова разспрашиваетъ ученыхъ магометанъ о разныхъ наименованіяхъ заморскихъ народовъ, и тѣ доставляютъ ему письменные отвѣты; того же

требуетъ отъ служившихъ при немъ восточныхъ переводчиковъ; переписывается о литовскихъ древностяхъ съ однимъ знатнымъ смоленскимъ шляхтичемъ; чуваши, черемисы толкуютъ ему свои собственные имена; о томъ же распрашиваетъ онъ vogуличей черезъ переводчиковъ; говоритъ съ грузинскимъ царевичемъ Бакаромъ о книгахъ Меѳодія Патарскаго; донскіе казаки показываютъ ему различные мѣстности, слывшия знаменитыми въ древности; кабардинскіе уздени передаютъ ему преданія кавказскихъ горцевъ; онъ самъ осматриваетъ развалины старыхъ городовъ на рѣкахъ Ахтубѣ, Волгѣ, Ингулу, Пронѣ, и посыаетъ съ тою же цѣлью офицеровъ и геодезистовъ; евреи ему показываютъ свои библіи въ сверткахъ; онъ дѣлаетъ наблюденія надъ солнечными затмѣніями, записываетъ себѣ на память годы, когда было сѣверное сияніе, когда являлись метеоры, плодилась саранча, записываетъ различные повѣрья и т. д. „Много бы можно было собрать подобныхъ подробностей и мелкихъ, иногда случайныхъ, чертъ изъ жизни Татищева; онъ весь—вниманіе и любопытство, онъ пользовался каждымъ удобнымъ случаемъ для пополненія запаса своихъ свѣдѣній“¹⁾). Подобные черты личнаго и ученаго характера мы найдемъ далѣе у Болтина. Какъ сравнить съ этимъ историковъ новѣйшихъ, которые зарываются въ кабинетахъ и архивахъ, и могутъ писать исторію Россіи, не интересуясь фактами живого народнаго преданія и быта...

Вліяніе иноземной литературы отразилось на самыхъ задачахъ, которыя ставилъ себѣ Татищевъ. Въ тогдашнемъ состояніи едва начинавшаго образованія, при новыхъ заботахъ, предстоявшихъ болѣе сложному государственному управлению, въ виду настоятельныхъ потребностей научнаго знанія, Татищевъ понялъ, что первые необходимѣйшіе труды должны быть направлены на собираніе русской географіи и исторіи. Это было непосредственное примѣненіе и продолженіе Петровскихъ идей; работы Татищева частію совпадали съ только-что начавшейся тогда дѣятельностью Академіи наукъ, но частію и предшествовали ей. Онъ составляетъ замѣчательное „Предложеніе о сочиненіи исторіи и географіи россійской“, которое было внесено въ Академію и уже начало-было приносить свои результаты. Это была цѣлая обширная программа вопросовъ по предметамъ исторіи, географіи и народнаго быта, задача для цѣлыхъ экспедицій (какъ позднѣйшая академическая экспедиція), для труда цѣлыхъ поколѣній ученыхъ; вопросы не были голословны—имъ предшествовало объясненіе великой важности историческаго и географическаго знанія для цѣлей государства и для всякаго просвѣщенаго человѣка: во-

¹⁾ Н. Попова, „Татищевъ и его время“, стр. 434—435.

просы сопровождались объясненіемъ самаго способа собиранія свѣдѣній, напр., среди народа (что могло бы быть полезно и въ настоящее время); не были забыты такие предметы, какіе составляютъ теперь заботу археологіи и этнографіи; было наконецъ предостереженіе о томъ, чтобы не поддаваться ложнымъ показаніямъ или хвастовству. Обращеніе съ западными учеными энциклопедіями внушило Татищеву мысль составить подобный трудъ о Россії: таковъ былъ его „Лексиконъ Россійскій, историческій, географическій, политической и гражданскій“; такова, наконецъ, была и его „Россійская Исторія“.

Положеніе людей новаго образованія въ Петровскомъ и послѣ Петровскомъ обществѣ было не легко. Общество первой половины прошлого столѣтія, мимо оторванное отъ старыхъ началъ, напротивъ, въ громадномъ большинствѣ было такъ крѣпко къ нимъ привязано, что первые шаги научнаго изслѣдованія и простой любознательности были окружены чрезвычайной подозрительностью. Если Ломоносову и его ученикамъ приходилось защищать право и невредность науки, то въ началѣ столѣтія, когда начиналъ свои работы Татищевъ, эта защита была еще необходимѣе. Этому предмету посвященъ вновь открытый и чрезвычайно любопытныи трудъ Татищева: „Разговоръ двухъ пріятелей о пользѣ наукъ и училищъ“¹⁾. Разговоръ даетъ чрезвычайно любопытныи черты тогдашняго умственнаго состоянія общества, той заботы, какая лежала на первыхъ любителяхъ науки. Это была забота объ укрѣпленіи въ русской жизни того знанія, въ которомъ они видѣли кровную потребность русскаго народа, необходимѣйшее условіе его благосостоянія, и которое надо было защищать отъ озлобленныхъ враговъ, ссылавшихся (какъ и донынѣ!) на мнимое преданіе и мнимыя особенности этого же народа.

Знакомство съ философско-политическими произведеніями XVII и начала XVIII вѣка ярко отразилось на историческихъ взглядахъ Татищева. „Баиль“, „Гобезій“, Христіанъ Вакхъ и другіе подобные писатели внушили Татищеву большое недовѣріе ко вся кому древнему баснословію и наводили на простыя реальныя толкованія событий; онъ остается, и считаетъ нужнымъ выставлять себя человѣкомъ религіознымъ, но не пропускаетъ случая возставать противъ своекорыстія и „выдумокъ“ духовенства, какъ любили говорить объ этомъ тогдашніе скептики и раціоналисты. Разсужденія этого рода имѣютъ у Татищева двоякую цѣль—не только объяснить старыя события, но

¹⁾ Изложеніе въ „Біографіяхъ и характеристикахъ“, Бестужева-Рюмина, стр. 69—71, 99 и слѣд., а затѣмъ полное изданіе Нила Попова.

и подѣйствовать на современниковъ; изъ исторіи онъ выводить и нравоученіе. Вотъ, напр., одно изъ его разсужденій о суевѣріяхъ: „Ужасно и прискорбно было Нестору писать суевѣрствіе народа, неимущаго имало ума и просвѣщенія, но разсудя по настоящему въ христіанахъ именующихся, что имѣя законъ божій и другими вольными науками умъ просвѣщенный, не меньше оныхъ суевѣрствуетъ. Я не почитаю то въ диво, когда слышу отъ людей къ знанію закона божія неприлежащихъ и о разсужденіяхъ певнимающихъ, а вкоренинныя имъ суевѣрныя бабы басни и безумныхъ наукъ толкованія за истину почитающихъ; но дивнѣе всего оного, когда видимъ и слышимъ нѣкоторыхъ тѣхъ, которые особливо народомъ и властію избраны и учреждены на проповѣдь слова и закона божія къ наученію народа истинной вѣрѣ Христовѣ и благонравію, яко соль обуявшая ни сами хотятъ законъ божій разумѣть, ни народъ обучать, и еще того тягчѣе, когда слышимъ преданія и узаконенія человѣческія, и для своихъ лакомствъ вымысленное за сущее, яко спасенію нужное предаютъ“. Въ другомъ примѣчаніи Татищевъ говоритъ: „Здѣсь Несторъ сказуетъ о нѣкоихъ волхвахъ, или обманщикахъ, съ пространствомъ, частью сумнительно, частью къ исторіи не касается, того ради я сократилъ, а въ концѣ обстоятельно положилъ. Сіе недивно, что тогда народъ, не имѣющій довольнаго ума и просвѣщенія, такимъ безумнымъ баснямъ, или паче сущимъ вракамъ, вѣрилъ; но удивительнѣе видимъ нынѣ, сколько есть суевѣрныхъ, которые безумныхъ ханжей или пустосвятовъ разсказы и враги паче святаго писанія и ученія мудрыхъ людей почитаютъ, яко то имеющіеся старовѣры, или паче сказать, пустовѣры, христовщина какой то былъ безумный и мерзкій законъ, славный пустосвятъ и плутъ Андрюшка, и другіе, не говорю о подлыхъ, но знатныхъ женѣ и мужей суевѣрныхъ, сколько въ безуміе привели, и къ своему бого-мерзкому соборищу пріобщили. Я сіе не пишу въ обличеніе и поношеніе впадшихъ въ такія мерзости; ибо они могли уже, или могутъ покаяться; но паче для тѣхъ, которые впредь таковыхъ ханжей услышатъ разсказы, чтобъ себя отъ вѣроятности остерегли, а паче прилежали умъ свой святымъ писаніемъ, въ немъ же мы вѣримъ животъ вѣчный пріобрѣсти, и вольными науками просвѣтить, и не токмо себя, но и другихъ, отъ таковыхъ паденій охранить“ ¹⁾).

Татищевъ направляетъ свое обличеніе суевѣрія не на однихъ старовѣровъ специально, но и вообще на людей стараго вѣка, охра-

¹⁾ Исторія Росс. Татищева, кн. II, примѣч. 134. Ср. другія выписки, характеризующія Татищева со стороны его церковныхъ, философскихъ и политическихъ мнѣній, въ книгѣ Н. Полова, стр. 464 и слѣд.

нявшихъ дѣдовскія суевѣрныя преданія, и такихъ людей было въ его время множество въ самомъ высшемъ и „образованномъ“ классѣ.

Отраженіемъ чтенія европейскихъ писателей были у Татищева разсужденія о духовенствѣ, къ которымъ онъ возвращается много-кратно, приписывая духовенству съ самыхъ первыхъ порь стремленіе къ властолюбію, къ захвату земель и имуществъ, къ вліянію на свѣтскія дѣла. Въ событияхъ старыхъ временъ онъ вообще старается открыть практическія причины и побужденія дѣйствующихъ лицъ, старается понять въ исторіи дѣйствительную жизнь. Не всѣ его опыты рационалистической критики бывали вѣрны, приложенія заимствованного взгляда бывали поспѣшны; но во всякомъ случаѣ въ замѣчаніяхъ его было много разумнаго, и стремленіе видѣть въ исторіи не одну далекую чуждую легенду, а дѣйствительную жизнь прошлыхъ вѣковъ было вѣрнымъ приступомъ къ научному пониманію дѣла. Наконецъ, несмотря на всѣ заимствованія отъ иностраннѣхъ авторитетовъ, Татищевъ остается чисто русскимъ человѣкомъ, вполнѣ пропитаннымъ особенностями русской жизни; его господствующая особенность есть не столько разсужденіе ученаго, опирающагося на многочисленныхъ изслѣдованіяхъ, сколько сильный здравый смыслъ практическаго человѣка, опытнаго въ житейскихъ дѣлахъ; характерную черту времени и людей его круга практическихъ дѣльцовъ, составляетъ и то, что Татищевъ, какъ можно видѣть по приведенной выпискѣ,—очень небрежно относился къ языку, и безъ того неровному и необработанному въ то время. Онъ пишетъ иногда полуграмотно.

Возвратимся теперь къ историческимъ трудамъ Миллера. Однаковость положенія дѣла вызывала у нѣмецкаго ученаго тѣ же представленія о необходимыхъ научныхъ работахъ, какъ было у Татищева. Тотъ и другой одинаково думали о необходимости собиранія материала, историко-географической энциклопедіи: какъ Татищевъ собирая свой географическій и гражданскій лексиконъ, такъ Миллеръ трудился надъ дополненіемъ и изданиемъ географического словаря Полунина; какъ Татищевъ составлялъ упомянутое „Предложение“ о собираніи историческихъ и бытовыхъ свѣдѣній о Россіи, такъ Миллеръ предъявлялъ свои проекты обѣ учрежденія при Академіи „департамента россійской исторіи“ ¹⁾). Планъ этого учрежденія, составленный Миллеромъ вскорѣ по возвращеніи изъ путешествія, въ 1744 году, замѣчательнымъ образомъ предупреждаетъ ту мысль, съ какою почти сто лѣтъ спустя была предпринята Археографическая экспедиція, а по обширности предполагавшихся работъ идетъ и го-

¹⁾ Шекарскій, Исторія Акад. И., т. I, стр. 338—342.

раздо дальше. Понятія нашихъ историковъ XVIII-го вѣка о задачахъ исторического знанія, конечно, не имѣли уже ничего общаго съ теологической точкой зрѣнія старыхъ историковъ-лѣтописцевъ. Исторія перестаетъ быть для новыхъ изыскателей рядомъ случайныхъ событий, объясняемыхъ путемъ религіознаго фатализма; напротивъ, они ищутъ въ ней внутренней связи событий, соединенныхъ какъ причина и слѣдствіе, и думаютъ (какъ Миллеръ), что она есть „зерцало человѣческихъ дѣйствій, по которому о всѣхъ приключеніяхъ нынѣшнихъ и будущихъ временъ, смотря на прошедшія, разсуждать можно“. Положеніе историческаго писателя было въ тѣ времена окружено очень серьезными трудностями, но эти трудности не ослабили у Миллера строгаго понятія обѣ исторической правдивости. „Все заключается въ трехъ словахъ,—писалъ онъ объ обязанностяхъ историка:—быть вѣрнымъ истинѣ, безпредвзятнымъ и скромнымъ. Обязанность историка трудно выполнить: вы знаете, что онъ долженъ казаться безъ отечества, безъ вѣры, безъ государя. Я не требую, чтобы историкъ разсказывалъ все, что онъ знаетъ, ни также все, что истинно, потому что есть вещи, которыя нельзя разсказывать, и которыя, быть можетъ, мало любопытны, чтобы раскрывать ихъ предъ публикою; но все, что историкъ говоритъ, должно быть истинно, и никогда не долженъ онъ давать поводъ къ возбужденію къ себѣ подозрѣнія въ лести“...¹⁾ Біографы Миллера рассказываютъ о томъ, какъ тяжело давалась ему литературная работа; для нея требовалась настойчивость не совсѣмъ обыкновенная. При изданіи „Ежемѣсячныхъ Сочиненій“, первого нашего ученово-литературнаго журнала, ему приходилось выносить не только непріятности отъ цензуры, но и отъ придворныхъ сплетенъ, отъ чрезвычайно притязательнаго патріотизма иныхъ читателей и т. п. Въ работахъ историческихъ эти затрудненія достигали до крайней степени. Весьма осторожный академическій біографъ Миллера, по поводу отѣзда Гиельмина старшаго изъ Россіи, не могъ удержаться отъ замѣчанія, что этому отѣзду нельзя не радоваться для судьбы его трудовъ, такъ какъ товарищъ его Миллеръ, благодаря той средѣ, въ которой онъ жилъ, обнародовалъ едва сотую часть тѣхъ драгоценныхъ извѣстій, какія были имъ собраны и находились въ его полномъ распоряженіи²⁾.

Мнимое „подчиненіе западному вліянію“ у людей прошлаго вѣка было такъ слабо, что даже образованные люди были чрезвычайно недовѣрчивы къ тому, что казалось западнымъ мнѣніемъ, и до край-

¹⁾ Пекарскій, Исторія Акад. Н., т. I, стр. 81.

²⁾ Тамъ же, стр. 370—449.

ности притязательны тамъ, гдѣ, по ихъ мнѣнію, затрагивалось достоинство русскаго народа. Простое требованіе исторической критики, въ сущности нисколько не касавшееся этого достоинства, поднимало цѣлые бури; простое упоминаніе иныхъ мрачныхъ событий русской исторіи съ негодованіемъ осуждалось, какъ оскорбленіе націи. Это была, съ одной стороны, простая непривычка къ исторической критикѣ, съ другой — проявленіе (хотя неловкое) того самаго чувства, какое называютъ теперь чувствомъ национальной самобытности и т. п. Выше мы замѣчали, что то же ревнивое чувство национального достоинства, а не „рабское подчиненіе“, побуждало нашихъ писателей прошлаго вѣка отыскивать въ своей средѣ россійскихъ Пиндarovъ, Расиновъ и Вольтеровъ: это было, по тогдашнему глубокому убѣждѣнію, не умаленіе, а возвышеніе русскаго достоинства, свидѣтельство, что русскіе уже равняются съ другими просвѣщенными народами. Дѣло въ томъ, что тогда и не знали другихъ образчиковъ превосходства.

До чего доходила тогда нетерпимость и подозрительность въ вопросахъ исторіи, даютъ понятіе извѣстные разсказы о томъ, какой переполохъ произвела диссертација Миллера о происхожденіи Руси, или о томъ, съ какимъ озлобленіемъ Ломоносовъ нападалъ на Шлѣщера. Приведемъ еще только двѣ-три подробности изъ біографіи Миллера. Послѣдній былъ уже старый заслуженный человѣкъ, множествомъ трудовъ доказавшій свою ревность къ изученію Россіи, привавшій, наконецъ, русское подданство,—но все это не спасало его отъ самыхъ ожесточенныхъ нападокъ, и между прочимъ не со стороны какихъ-нибудь легкомысленныхъ невѣждъ, но самихъ ученихъ, какъ Ломоносовъ. Въ 60-хъ годахъ прошлаго столѣтія, Ломоносовъ, въ качествѣ академического совѣтника, продолжалъ то недоброжелательство, какое Миллеру прежде приходилось испытывать наравнѣ отъ русскаго Теплова и нѣмца Шумахера. Поводомъ служили историческія работы Миллера и изданіе „Ежемѣсячныхъ Сочиненій“, противъ которыхъ Ломоносовъ возставалъ съ цензурной точки зрѣнія. По мнѣнію Ломоносова, у Миллера нѣть достаточно патріотизма, и отзывы его о трудахъ послѣдняго представляютъ образчикъ крайней нетерпимости. По словамъ Ломоносова, въ каждомъ произведеніи Миллера „множество пустоты и нерѣдко досадительной и для Россіи предосудительной“; вездѣ онъ „всѣваетъ, по обычаю своему, занозливыя рѣчи“ и „больше всего высматриваетъ пятна на одеждѣ россійскаго тѣла, проходя многія истинныя ея украшенія“. Ломоносову не правилось и то, что Миллеръ занимался изслѣдованіями о „смутныхъ временахъ Годунова и Разстрѣги—самой мрачной части россійской исторіи“; не правилось, что „напр., описывая

чувашу, не могъ пройти, чтобы ихъ чистоты въ домахъ не предпочтеть россійскимъ жителямъ". Подобная обвиненія противъ Миллера были собраны Ломоносовымъ въ статьѣ, озаглавленной: „Для извѣстія о нынѣшнихъ академическихъ обстоятельствахъ“, и посланной имъ къ президенту академіи наукъ. Академический біографъ обоихъ догадывается, что Ломоносовъ не удовольствовался донесеніемъ ближайшему начальству, потому что черезъ нѣсколько времени Миллеръ получилъ „жестокій выговоръ“ отъ высшаго правительства за „нѣкоторыя въ его сочиненіяхъ о россійской исторіи находящіяся непристойности“. Миллеръ оставилъ намекъ объ этой враждѣ къ нему Ломоносова, говоря въ письмѣ къ Рычкову объ одномъ человѣкѣ, который всегда желалъ его погибели и „добился таки, что я не смѣю продолжать новой русской исторіи“. Еще по поводу сибирской исторіи Миллера Ломоносовъ представлялъ академической канцеляріи, что въ ней непристойны подробности автора о пушкарѣ Воротилѣ и его „худыхъ поступкахъ“, такъ какъ, по мнѣнію Ломоносова, „весъма неприлично, когда сочинитель довольно другихъ знатныхъ дѣлъ и приключений имѣть можетъ“. Ломоносову не нравилось даже упоминаніе о построеніи такихъ церквей, какія потомъ погорѣли, и выраженіе: „праздность всероссійского престола“ въ междуцарствіе¹⁾.

Отношенія Миллера и Ломоносова чрезвычайно характерны для опѣнки тогдашней роли науки въ русскомъ обществѣ. Если можно еще понять озлобленіе Ломоносова противъ Шлѣцера, въ характерѣ котораго было раздражающее высокомѣре, отзывавшееся и въ сочиненіяхъ, то это озлобленіе очень мало извинительно относительно Миллера. Случилась, можетъ быть, и здѣсь нѣкоторая неосторожность со стороны Миллера; но общій характеръ его дѣятельности былъ таковъ, что добросовѣстному критику не придется въ голову мысль, будто въ самомъ дѣлѣ Миллеръ въ русской исторіи намѣренно искалъ только досадительныхъ и занозливыхъ вещей; но въ времена просто непонятенъ былъ указанный выше исторической взглядъ, какой воспитала въ Миллерѣ тогдашняя наука. Миллеръ былъ, конечно, правъ, когда находилъ нужнымъ собираніе древнихъ „лже-басней“ (!), изслѣдованіе о смутныхъ временахъ или упоминаніе о пушкарѣ Воротилѣ, хотя бы поступки этого Воротилки и были худы. и т. д. Воспитанный въ нѣмецкой школѣ, Миллеръ выносилъ изъ

¹⁾ Пекарскій, Исторія Акад. Н., т. I стр. 338, 380, 406—407; т. II, стр. 720 и слѣд. См. также разсказъ объ изумительныхъ придиракахъ къ сибирской исторіи Миллера и къ изданію сибирскихъ лѣтописей, которая, по мнѣнію академическихъ цензоровъ, должны были быть очищены отъ древнихъ „лже-басней“ и о которыхъ должны бы разсудить „министры и правительствующій сенатъ“, а не Миллеръ. Тамъ же, I, стр. 353—355.

ией строгое представлениe о научной и нравственной обязанности историка и, если самъ Ломоносовъ этого не понималъ, это указываетъ, что съ нимъ и масса общества еще не разумѣла науки и грубо понимала самыя требованія національного достоинства, которое вовсе не увеличивалось скрываніемъ ненрѣятныхъ историческихъ фактovъ или ихъ закрашиваніемъ. Тогдашняя обвиненія этого рода намъ представляются уже мелочными и несправедливыми; по въ другомъ видѣ онѣ повторяются до сихъ поръ: еще недавно одинъ изъ самыхъ авторитетныхъ русскихъ писателей подновлялъ эту войну противъ пѣмцевъ-историковъ, а другой скорбѣлъ, что „русскому человѣку“ не легко быть объективнымъ относительно Шлѣцера; сколько разъ донынѣ повторяются противъ самихъ русскихъ ученыхъ злостныя обвиненія въ недостаткѣ патріотизма, въ желаніи очернять извѣстныя явленія русской исторіи...

Вліяніе Миллера имѣло вѣроятно свою долю въ характерѣ академическихъ ученыхъ путешествій. Въ нихъ не послѣдне мѣсто занимаютъ интересы исторические. Ученые странствователи, хотя по профессии натуралисты, не пропускали исторической мѣстности безъ того, чтобы не собрать о ней мѣстныхъ преданій, книжныхъ свѣдѣній, не отмѣтить сохранившихся памятниковъ и т. п. Лепехинъ въ своихъ запискахъ помѣщаетъ подробный разсказъ о Пловучемъ озерѣ и мѣстныя легенды объ убієніи Андрея Боголюбскаго: заѣхавъ на Волгу, осматриваетъ Царевъ-Курганъ, сооруженіе котораго „приписывалось“ грабителю и ираотцу донского войска, Стенькѣ Разину; дѣлаетъ раскопки, находитъ подъ нѣкоторымъ слоемъ земли кости слона и остатки оружія и дѣлаетъ при этомъ свои оригинальныя соображенія¹⁾; помѣщаетъ подробное описание развалинъ Болгаръ, говоритъ о старыхъ преданіяхъ у инородцевъ и т. д. Этнографическая описанія инородцевъ: мордвы, чувашъ, татарь, калмыковъ, „кизильбашей“ у Лепехина и другихъ тогдашнихъ ученыхъ путешественниковъ давали едва ли не въ первый разъ точное понятіе объ этихъ племенахъ, мало по малу входившихъ въ составъ русского народа. Озерецковскій собиралъ на мѣстѣ историческія извѣстія и предавалъ объ Олонецкомъ краѣ, о старой Двинской землѣ, приводилъ грамоты, указывалъ на рукописныя богатства новгородскихъ монастырей; въ свое первое путешествіе опѣ между прочимъ, собралъ на мѣстѣ свѣдѣнія о родѣ Ломоносова и „первоначальныхъ ума его открытіяхъ“, и „планъ мѣсть, прилежащихъ къ Куростровской волости, гдѣ родился г. Ломоносовъ“²⁾). Астрономъ и нату-

¹⁾ Дневные Записки, I, 296 и слѣд.

²⁾ Дневн. Записки Лепехина, т. IV, стр. 298—303, и карта въ концѣ тома. Планъ напечатанъ въ 1788.

ралистъ Иноходцовъ въ своихъ этнографическихъ описаніяхъ обращаетъ большое вниманіе и на исторію, разсказываетъ о прошлой судьбѣ края или города, пользуясь для этого, какъ настоящій исторікъ-спеціалистъ, сохранившимися памятниками старины, лѣтописями и грамотами, изъ которыхъ приводить много извлечений, мѣстными преданіями, разсказами старожиловъ и т. д. ¹⁾). Въ той литературы мѣстныхъ описаній, какая начинала развиваться со второй половины прошлаго вѣка, заключаются также цѣнныя начатки мѣстной исторіи.

Однимъ изъ замѣтальнѣйшихъ дѣятелей всей нашей литературы прошлаго вѣка былъ Иванъ Никитичъ Болтинъ (1735—1792), на которомъ мы и остановимся нѣсколько подробнѣе. Біографія его пѣрвымъ выяснилась только въ послѣднее время изъ архивныхъ документовъ. Происходя изъ достаточнаго дворянскаго рода, Болтипъ учился дома и 16-ти лѣтъ поступилъ на службу въ конную гвардію, гдѣ его товарищемъ въ продолженіе многихъ лѣтъ былъ Потемкинъ, который впослѣдствіи сохранилъ съ нимъ очень дружескія отношенія и не разъ оказывалъ ему и его роднѣ свою могущественную протекцію. Въ конной гвардіи Болтинъ остался до 1768, когда перешелъ на службу въ таможенное вѣдомство, сначала начальникомъ одной таможни па югѣ, потомъ въ главномъ таможенномъ управлѣніи. Въ 1781 онъ назначенъ былъ прокуроромъ военной коллегіи, а въ 1788 членомъ этой коллегіи. Послѣ присоединенія Крыма, онъ былъ вызванъ Потемкинымъ на югъ, въ 1783, и нѣкоторое время былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ Потемкина по устройству новопріобрѣтеннаго края. Такова была, въ общихъ чертахъ, его біографія ²⁾.

Гораздо интереснѣе была бы исторія его образованія, о которой, впрочемъ, мы не имѣемъ другихъ данныхъ, кроме его сочиненій. Какъ многіе дѣятели прошлаго вѣка, Болтинъ, послѣ домашняго

¹⁾) Таковы, напр., его разсужденія о началѣ города Вологды, причемъ онъ сообщаетъ любопытныя мнѣнія о происхожденіи имени Вологды „отъ баснословныхъ какихъ-то Волотовъ, подобныхъ греческимъ гигантамъ, якобы они задолго прежде просвѣщенія святымъ крещеніемъ тутъ жили, и построивъ сей городъ, назвали оный, такъ какъ и рѣку, по имени своему, Волотой или Володой“. Мѣсяцесловъ исторический и географический на 1790 годъ, стр. 33 и слѣд.; Сухомлиновъ, Исторія Росс. Акад., т. III, стр. 218—225.

²⁾) Наиболѣе обстоятельное жизнеописаніе Болтина собрано частію по новымъ архивнымъ материаламъ, у Сухомлинова въ „Исторіи Росс. Акад.“, т. V (Сборникъ, т. XXII), 1881, стр. 62—296, 317—432. Изъ другихъ трудовъ о Болтинѣ отмѣтимъ статью Соловьевъ: „Писатели русской исторіи XVIII вѣка“, въ „Архивѣ“ Калачова, т. II, 1855 и П. Знаменского: „Историческіе труды Щербатова и Болтина въ отношеніи къ русской церковной исторіи“, въ Трудахъ Кіевской Дух. Акад., т. II, 1862.

ученъя и не прошедши никакой высшей школы, вступилъ прямо въ практическую жизнь: природный умъ и любознательность повели его къ обширному чтенію; не знаемъ, имѣлъ ли онъ при этомъ какого-нибудь руководителя, но въ его чтеніе вошли именно замѣчательнѣйшія произведенія вѣка, не только тѣ, какія были особенно въ ходу по своей доступности, но и труды серьезнаго ученаго характера. Съ другой стороны, Болтина случилось не мало разъѣзжать по Россіи какъ по своимъ, такъ и по служебнымъ дѣламъ; поездки давали много пищи для его наблюденій, которыя отличались вообще чрезвычайной внимательностью и точностью, соединяясь обыкновенно съ кругомъ вопросовъ, составлявшихъ его научный интересъ. Это былъ умъ точный, положительный, не склонный къ фантазіи. Не знаемъ опять, что навело его на занятія русской исторіей; но онъ, не будучи ученымъ по профессіи, сталъ однимъ изъ сильнейшихъ знатоковъ дѣла, какие были въ то время. Очевидно, къ этому интересу влекла тогда живые пытливые умы самая сила вещей: возникала потребность исторического самосознанія; въ исторіи искалось разрѣшеніе вопросовъ, какіе выростали въ обществѣ вслѣдствіе Петровской реформы; желали выяснить себѣ русское прошедшее и настоящее, роль русскаго народа среди народовъ европейскихъ, свойства русскаго образованія и т. д. Со времени реформы прошло уже болѣе полувѣка, видѣлись ея результаты, являлась возможность провѣрки, и однимъ изъ главныхъ средствъ къ этому представлялась исторія.

Въ послѣднее время Болтина причисляли иногда къ предшественникамъ того направленія, которое заявляетъ притязаніе быть самымъ настоящимъ русскимъ. Дѣйствительно, Болтинъ могъ давать отчасти поводъ къ этому нѣкоторыми эпизодами своихъ сочиненій, гдѣ онъ противопоставляетъ русское съ иноземнымъ и вооружается противъ иноземныхъ вліяній, особенно французскаго, настаивая взамѣнъ того на необходимости самостоятельнаго характера нашей жизни. Можно замѣтить, что исканіе зачатковъ славянофильства въ одномъ изъ характернѣйшихъ писателей прошлаго вѣка мало влажется съ утвержденіемъ объ оторванности нашего тогдашняго образованія отъ народныхъ началъ; но на дѣлѣ предположеніе о славянофильствѣ Болтина не совсѣмъ подтверждается фактами. Нашему славянофильству отвѣчаютъ въ прошломъ вѣкѣ не столько такие люди, какъ Болтинъ, человѣкъ ума по преимуществу критическаго, сколько тѣ патріоты-самохвалы, которые тогда находили, что Россія достигла уже во всѣхъ отношеніяхъ великаго совершенства, не нуждается больше ни въ какихъ заимствованіяхъ у Европы, представляетъ вообще лучшій изъ всѣхъ возможныхъ міровъ. Болтинъ не былъ изъ

такихъ людей. Если онъ нападалъ на Леклерка, это не значитъ, что онъ нападалъ на Европу: самодовольный французъ, съ нѣсколько сомнительной біографіей, могъ самъ по себѣ быть достаточнымъ объясненіемъ антипатіи, которую онъ внушалъ Болтина. Довольно было его исторического невѣжества и нахальства, чтобы Болтинъ обрушился на него съ своими желчными опроверженіями, какъ желчно опровергалъ и русскихъ историковъ. Но присматриваясь ко всему складу его мыслей, въ немъ не только нельзя найти какой-нибудь принципіальной вражды въ Европѣ, но напротивъ, понятія его самымъ тѣснымъ образомъ примыкаютъ къ европейскимъ идеямъ вѣка. Болтинъ—такой же просвѣщенный русскій человѣкъ XVIII-го столѣтія, какими были Татищевъ, Ломоносовъ, Лепехинъ, Новиковъ и проч.; онъ не знаетъ другого просвѣщенія кромѣ европейскаго, и желая, чтобы этого просвѣщенія было въ Россіи какъ можно больше, конечно, онъ желалъ также, чтобы оноскорѣе получило возможность жить своими силами, не нуждаясь каждый разъ въ иностранномъ учителѣ; и во всякомъ случаѣ не думалъ, чтобы европейское образованіе состояло лишь въ свѣтской пустотѣ богатыхъ тунеядцевъ и перениманіи чужихъ модъ, съ которымъ могло соединиться на дѣлѣ круглое невѣжество. Какъ увидимъ далѣе, высшіе авторитеты мысли были для Болтина въ первостепенныхъ умахъ тогдашней европейской, особенно французской, литературы.

Основнымъ, даже исключительнымъ, интересомъ литературной дѣятельности Болтина была русская исторія. Ему, какъ и всѣмъ истинно-научнымъ умамъ того времени, было ясно, что настоящее изученіе русской исторіи прежде всего требуетъ собранія и реставраціи ея памятниковъ. Старая Россія такъ мало сдѣлала для этого, что новому времени приходилось разыскивать вновь самыя основныя произведенія русской старины, абсолютно забытыя въ московскомъ періодѣ. Цѣлый рядъ памятниковъ русской древности былъ настоящимъ открытиемъ прошлаго вѣка. Петръ Великій открылъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ списковъ русской лѣтописи; Шлѣцеръ открылъ истинное значеніе Нестора для исторической науки; Болтинъ открылъ настоящее значеніе „Русской Правды“; гр. Мусинъ-Пушкинъ открылъ „Слово о полку Игоревѣ“; Миллеръ цѣлую массу историческихъ документовъ, которымъ безъ него грозила бы гибель; открыты были Духовная Владимира Мономаха, Судебникъ и т. д., какъ немного времени спустя Калайдовичъ открылъ Ioanna экзарха Болгарскаго, Кирилла Туровскаго, эпический сборникъ Кирши Данилова и проч. Болтинъ въ небольшомъ дружескомъ кружкѣ, къ которому принадлежали гр. А. И. Мусинъ-Пушкинъ и Елагинъ, занимался именно этимъ старымъ полузабытымъ періодомъ русской исторіи,

толковалъ Русскую Правду и Духовную Владимира Мономаха, собирая старыя рукописи и т. д. Это изученіе было въ тѣ времена несравненно труднѣе, чѣмъ теперь: памятники не были изданы, варианты не сличены; иные встрѣчались въ первый разъ, и надо было продѣлать надъ ними всю ту предварительную критическую работу, которая теперь представляетъ эти памятники готовымъ, осмотрѣннымъ со всѣхъ сторонъ, материаломъ, такъ что остается дѣлать выводы. Болтингъ съ большой проницательностью ориентировался въ этомъ сыромъ материалѣ и указывалъ его историческую цѣнность. О достоинствѣ его трудовъ въ этомъ отношеніи можетъ дать понятіе отзывъ Шлѣцера: опытный и требовательный вѣмецкій критикъ, не любившій расточать своихъ похвалъ, называетъ Болтина „величайшимъ русскимъ знатокомъ отечественной исторіи“ и замѣчаетъ, что еще никто изъ русскихъ не писалъ исторіи своего отечества съ такими познаніями, остроуміемъ и вкусомъ, хотя въ частности Шлѣцеръ рѣзко оспаривалъ многія мнѣнія Болтина.

Къ сожалѣнію, Болтингъ не предпринялъ систематического труда по русской исторіи. Замѣчательно, что кромѣ книги противъ Леклерка другіе важные труды Болтина, даже специально археологическіе, изданы были только послѣ его смерти ¹⁾). Самый разборъ сочиненія Леклерка и отвѣтъ на книжку князя Щербатова, гдѣ всего

¹⁾ Примѣчанія на исторію древнія и нынѣшнія Россіи г. Леклерка, сочиненныя генераль-маиоромъ Иваномъ Болтинымъ. 2 ч. 4°. Спб., 1788. Съ эпиграфомъ: Je voudrais que chacun ecrivit ce qu'il sait et autant qu'il en sait, mais pas plus. Montaigne.

— Отвѣтъ генераль-маиора Болтина на письмо князя Щербатова, сочинителя Россійской Исторіи. Спб., 1789. Этотъ отвѣтъ былъ вызванъ книгой: „Письмо князя Щербатова, сочинителя Россійской Исторіи, къ одному его пріятелю, въ оправданіе на нѣкоторыя сокрытыя и явныя охуленія, учиненные его исторіи отъ г. генераль-маиора Болтина, творца примѣчаній на Исторію древнія и нынѣшнія Россіи г. Леклерка“. М. 1789. Подразумѣваются охуленія, сдѣянныя Болтинымъ въ книгѣ противъ Леклерка. По выходѣ „Отвѣта“ Болтина, Щербатовъ отвѣчалъ новой книгой, изданной уже послѣ смерти Щербатова: „Примѣчанія на отвѣтъ г. генераль-маиора Болтина на письмо князя Щербатова“. М. 1792.

— „Книга Большему Чертежу, или древняя карта Россійскаго Государства, поновленная въ разрядѣ и списанная въ книгу 1627 года“. Спб., 1792. (Болтинское изданіе Чертежа повторено было Д. Языковымъ, Спб., 1838, съ прибавленіемъ сюда же „Древней Росс. Гидрографії“, изданной Новиковымъ въ 1773. Затѣмъ, новое изданіе, по нѣсколькоимъ рукописямъ сдѣлано было Спасскимъ, М. 1846).

— Духовная великаго князя Владимира Всеволодовича Мономаха, названная въ лѣтоиси суздальской Псющенце. Спб., 1793.

— Критическая примѣчанія генераль-маиора Болтина на первый и второй томъ Исторіи князя Щербатова, 2 ч. Спб., 1793—1794.

— Правда Русская или законы великихъ князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича. М. 1799.

больше высказались исторические вгляды Болтина, были вызваны случайными поводами. Но по всему характеру его трудовъ Болтинъ былъ всего менѣе дилеттантъ.

Какимъ же образомъ сложилось историческое міровоззрѣніе Болтина? Нашъ историкъ былъ близко знакомъ съ капитальными философско-политическими произведеніями тогдашней французской литературы, и онѣ несомнѣнно оказали вліяніе на складъ его мыслей. Новѣйший біографъ замѣчаетъ, что это вліяніе было очень второстепенное, что взгляды Болтина политические и соціальные коренятся въ русской дѣйствительности, добыты изысканіями въ русской истории, наблюденіями надъ жизнью общества и народа, что „цитатами изъ европейскихъ авторитетовъ только поясняется и подтверждается то, что сложилось въ умѣ его помимо всякихъ чужихъ вліяній (?)”, а на основаніи данныхъ, представляемыхъ отечественною исторіею и современнымъ состояніемъ Россіи“. Біографъ прибавляетъ далѣе, что „руssкія лѣтописи и русскія села и деревни служили ему источниками: изъ нихъ получалъ онъ свѣдѣнія о томъ, какое правление всего пригоднѣе для Россіи, о томъ, какъ дѣйствуетъ у насъ крѣпостное право“ ¹⁾). Нѣть сомнѣнія, что въ решеніи ближайшихъ вопросовъ Болтина и не было другихъ источниковъ, кроме русскихъ лѣтописей и русской деревни, т.-е. данныхъ русского быта; но въ историческихъ предметахъ, его занимавшихъ, была другая сторона, гдѣ ему помогли не лѣтописи и не деревня. Это—самая постановка предмета, самая мысль изслѣдованія тѣхъ или другихъ государственныхъ и общественныхъ отношеній, и нравственно-политическая точка зреинія писателя. Русская жизнь сама по себѣ еще не помышляла о многихъ изъ тѣхъ вопросовъ исторіи и современности, которые занимали Болтина; въ русской литературѣ того времени многія мысли Болтина были новостью, и теоретической источникъ ихъ находится именно во вліяніяхъ западной литературы. Біографъ Болтина собралъ самъ много фактовъ этого вліянія и составилъ длинный списокъ западныхъ писателей, начиная съ среднихъ вѣковъ и до современниковъ русского историка, которыхъ онъ цитируетъ въ своихъ сочиненіяхъ ²⁾). Старые писатели нужны были Болтину по фактическимъ свѣдѣніямъ, новые давали ему не малый запасъ мыслей, которая опъ примѣнялась къ своему изслѣдованію русской жизни. Возьмемъ нѣсколько примѣровъ. Однимъ изъ наиболѣе сильныхъ авторитетовъ Болтина былъ знаменитый Бэйль (Bayle, 1647—1706), тотъ самый „Баиль“, которымъ поучался еще Татищевъ. Знаменитый француз-

¹⁾ Исторія Росс. Акад., V, стр. 224—225.

²⁾ Тамъ же, стр. 135 и слѣд.

скій эмігрантъ при самомъ началѣ XVIII-го столѣтія былъ замѣчательнымъ представителемъ скептическаго раціонализма, составлявшаго потомъ отличительную черту вѣка, и именно этой стороной своей дѣятельности онъ дѣйствовалъ на двухъ важнѣйшихъ нашихъ историковъ прошлаго столѣтія. Какъ авторъ извѣстнаго „Словаря“, Бѣйль становился и въ этомъ отношеніи какъ бы предшественникомъ энциклопедистовъ. Наши писатели находили въ „Словарѣ“ массу справочныхъ философско-историческихъ свѣдѣній и охотно брали изъ него факты, потому что имъ сочувственно было самое освѣщеніе, въ какомъ эти факты здѣсь появлялись. Новѣйшій біографъ указалъ у Болтина много заимствованій изъ Бѣйля, между прочимъ такихъ, которыхъ не были имъ самимъ отмѣчены, и заключаетъ: „Словарь Бѣйля, по всей вѣроятности, былъ настольною книгою Болтина, который до того сдружился съ своимъ любимымъ писателемъ, что слова и мысли его приводилъ какъ бы невольно: они припоминались ему при каждомъ малѣйшемъ поводѣ, вслѣдствіе того *сильнаго впечатлѣнія*, которое производили они на его ясный и воспріимчивый умъ. Болтинъ выписывалъ изъ Словаря Бѣйля не только фактическія свѣдѣнія, не только *философскіе выводы* и воззрѣнія, но и множество отдѣльныхъ мыслей, летучихъ замѣтокъ, счастливыхъ выражений и т. п. Идетъ ли рѣчь объ истинномъ значеніи воинскихъ доблестей и побѣдъ, которыхъ такъ высоко цѣнятся и современниками, и потомствомъ; указывается ли на призваніе писателя и на печальныя уклоненія отъ его благородныхъ обязанностей, и т. п.—все подтверждается и какъ бы скрѣпляется умнымъ и правдивымъ свидѣтельствомъ Бѣйля. Свой образъ мыслей относительно значенія литературы и обязанностей писателя Болтинъ выражаетъ словами Бѣйля, утверждающаго, что писатели, достойные своего имени, не признаютъ другой власти, кромѣ правды и разума, и подъ ихъ защитою ведутъ войну со всяkimъ уклоненіемъ отъ разума и правды, со всѣмъ ложнымъ и нечистымъ“¹⁾). Такимъ образомъ заимствованія изъ Бѣйля простирались на весьма существенные пункты во всемъ складѣ мыслей Болтина, и очень мудрено сказать, чтобы нашъ историкъ составлялъ свои идеи лишь на основаніи того, что узнавалъ изъ лѣтописей и изъ деревни... Другимъ авторитетомъ Болтина былъ нерѣдко цитируемый имъ „писатель знаменитый нашего вѣка“, подъ которымъ разумѣется Вольтеръ. Изъ него, какъ изъ Бѣйля, Болтинъ заимствовалъ не только факты, но и общія философскія положенія, и напр. то раціоналистическое свободомысліе, которое у Болтина, какъ у Татищева, давало поводъ къ первой критической оцѣнкѣ церковнаго элемента

¹⁾ Тамъ же, стр. 143—144, 215.

нашій історії. Отношеніе науки къ религії, историческая роль духовенства, значеніе народного обычая опредѣляются у Болтіна подъ несомнѣннымъ вліяніемъ Вольтера и съ точки зрењія, которой не знали ни лѣтощись, ни деревня, обѣ стоявшія на точкѣ зрењія непосредственно патріархальной. Даље, большимъ уваженіемъ Болтіна пользуется писатель, который былъ столь почитаемымъ авторитетомъ для самой императрицы Екатерины при составленіи „Наказа“—Монтецкіе; затѣмъ Рейналь и Руссо. Изъ всѣхъ этихъ писателей Болтінъ бралъ общія представленія о политическихъ учрежденіяхъ, формахъ благоустроенаго общества, отношеніяхъ закона и обычая и т. п. Словомъ, присматриваясь къ теоретическимъ взглядамъ Болтіна, нельзя не видѣть, что они образовались подъ сильнымъ вліяніемъ западныхъ и особенно французскихъ философско-историческихъ учений. Вмѣстѣ съ тѣмъ эти взгляды представляли нѣчто новое, неизвѣстное старымъ традиціоннымъ понятіямъ нашего общества.

Болтінъ, какъ и Татищевъ (но уже гораздо многостороннѣе послѣдняго), ищетъ объясненія событий въ реальныхъ условіяхъ жизни; чудесное не находитъ мѣста въ исторіи и объясняется только сувѣріями вѣка; чтобы объяснить прошедшее, историкъ старается раскрыть и сопоставить обстоятельства и интересы, среди которыхъ совершились события. Въ соответствіе съ авторитетными писателями того времени, Болтінъ настаиваетъ на необходимости для историка и политика уразумѣть существенные особенности народа, или, по нынѣшнему, понять свойства народности. Въ этихъ свойствахъ нѣть ничего произвольного и сверхъестественнаго: онѣ проис текаютъ изъ совокупности причинъ нравственныхъ и физическихъ, и въ ряду послѣднихъ особенно отъ климата. Какъ историкъ не можетъ объяснить судьбы народа, не принявъ во вниманіе народныхъ свойствъ, такъ политикъ въ своихъ практическихъ мѣрахъ необходимо долженъ сообразоваться съ ними, чтобы не впасть въ ошибку. Производя нововведеніе, необходимо сообразоваться съ обычаемъ и мѣстными условіями; иначе законы будутъ напрасны или даже вредны.

Русскій народъ Болтінъ считаетъ народомъ вполнѣ европейскимъ въ томъ смыслѣ, что это—народъ равноправный съ европейцами и вполнѣ способный къ тому высокому просвѣщенію, какого достигла Европа. Болтінъ знаетъ и указываетъ различія въ характерѣ племенъ и въ складѣ ихъ исторіи (какъ не забываетъ мѣстныхъ отличій въ кругу самой русской народности), но совершенно признаетъ ту однородность русскихъ съ народами Европы, какую хотѣли отвер-

¹⁾ Ср. Исторію Росс. Акад., V, стр. 188 и слѣд.

гать новейшие славянофилы ¹⁾). Этими общими понятиями о народныхъ особенностяхъ и необходимости просвѣщенія, опредѣляются мнѣнія Болтина о новейшихъ событіяхъ русской исторіи. Онъ говоритъ съ великимъ почтеніемъ о дѣятельности Петра Великаго, въ которомъ видѣлъ героя и насадителя наукъ, но строго осуждаетъ оказавшіяся потомъ неблагопріятныя вліянія западныхъ нравовъ, и испорченному новому обществу противополагаетъ здравую простоту старого обычая. Онъ съ величайшимъ негодованіемъ говоритъ о временахъ Бирона, о которыхъ зналъ еще по живымъ преданіямъ. Онъ привѣтствовалъ времена Екатерины II, которая, по тогдашнему представлению, дала свободу мысли и совѣсти русскому народу. Любовь къ старинѣ, въ которой Болтінъ цѣпилъ простоту нравовъ, не мѣшила ему высоко оцѣнивать это освободительное настроеніе временъ Екатерины (въ первые годы ея царствованія), весьма мало похожее на эту старину. Онъ радуется, что съ воцареніемъ Екатерины „свѣсть не судится, мысль свободна, языкъ развязанъ“. Въ духѣ этой терпимости и согласно своему взгляду на значеніе народнаго обычая, которого не слѣдуетъ измѣнять насильственно, Болтінъ относится весьма разумно къ расколу. Если разсмотрѣть,—разсуждаетъ онъ,— обряды и религіозныя понятія нашихъ раскольниковъ, то не найдется въ нихъ ничего такого, что противорѣчило бы правиламъ и обязанностямъ истиннаго христіанина и доброго гражданина. „Какой вредъ, напримѣръ, наносили государству бороды? Никакой. Какую пользу принесло обритіе ихъ? Никакой же, но принужденіе къ тому великій вредъ причинило. Когда характеръ мой хороший, что кому нужды до того, что лицо у меня мохнато; что платье на мнѣ длино; что знаменуя себя крестомъ, не такъ персты складываю какъ другіе; что вмѣсто трехъ разъ, по два раза аллилуia читаю; что по солнцу, а не противу солнца обращаюся; что старопечатныя книги признаю исправнѣйшими новыхъ, и проч.?... Оставь слабости при мнѣ, если основаніе сердца моего благо. Призывая всѣ сіи мелочные обряды и ничего въ существѣ своемъ незначущіе, за важные, за необходимые ко спасенію, подвергаю себя всеобщему осмѣянію, являю свое невѣжество, невѣгласіе; но не дѣлаюся преступникомъ, не заслуживаю ненавидѣнія, наказанія, гоненія. Наблюдая сіи странности, могу быть вѣренъ Государю, усерденъ къ отечеству, добрымъ и честнымъ членомъ въ общежитіи, храбрымъ солдатомъ, трудолюбивымъ земледѣльцемъ, хорошимъ семьяниномъ. Пусть мнитъ о вѣщахъ всякой по своему, но дѣлаетъ только то, что повелѣваетъ законная власть. Не будетъ о мнѣніяхъ спора, прекратятся и разгласія. Не будетъ принужденія, насилия, исчезнетъ изувѣрство. Не

сильно могущество власти противу мрачныхъ привидѣній невѣжества и суеты: свѣтъ единъ заставляетъ ихъ исчезати”¹⁾.

Новѣйшій біографъ, отмѣчая у Болтина наклонность къ старинѣ, указываетъ также его нерасположеніе къ Франціи и французскому вліянію. „Вліяніе Франціи,—говоритъ онъ,—чувствовалось у насъ не только въ литературѣ, но и въ жизни. Оно отражалось не только въ нашихъ понятіяхъ, но и въ нашихъ нравахъ, общественныхъ и даже семейныхъ; оно разрывало живую связь русскихъ людей съ русскою землею; оно грозило имъ умственнымъ и нравственнымъ порабощеніемъ (?). Сама собою создалась у насъ обличительная литература, направленная противъ иноземнаго вліянія. Въ смѣлыхъ и правдивыхъ укорахъ, выходившихъ изъ круга людей, подобныхъ Новикову и Болтину, слышится не слѣпая ненависть къ иностранцамъ, а горячая любовь къ Россіи и сознаніе духовныхъ силъ русского народа”²⁾. Болтинъ, какъ и Новиковъ, не разъ возвращается къ обличенію вредныхъ слѣдствій французского воспитанія и приписываетъ ему презрѣніе къ прекраснымъ обычаямъ родной старины по той причинѣ, что такихъ обычаевъ не водится у французовъ; онъ возмущается, что русскіе люди дѣлятся на „благородныхъ“ и „чернь“, и первые смѣются надъ народными старыми обычаями. Мы объясняли въ другомъ мѣстѣ, къ чему исторически сводится французское вліяніе и разрывъ съ народомъ. Общественные формы и обычай не падаютъ безъ достаточной причины отъ чьего-нибудь произвола; въ старыхъ обычаяхъ было много прекраснаго, но много и не-прекраснаго, и это послѣднее должно нести на себѣ въ значительной степени вину тѣхъ пововведеній, которыя его устраивали: не мудрено затѣмъ, что съ непривлекательными подробностями старины падало и то, чтѣ въ ней было хорошаго и сочувственнаго. Съ другой стороны, процентъ французского вліянія былъ не великъ, и оно приносило не однѣ только прискорбныя послѣдствія: Болтинъ не вспомнилъ (да и его біографъ также), что раздѣленіе на благородныхъ и чернь началось гораздо раньше французского вліянія (оно началось съ появленія привилегированной дружины и „смердовъ“ или „холоповъ“, и продолжалось во все теченіе русской исторіи); что французское вліяніе вызывалось скучностью умственныхъ интересовъ старого патріархального общества и недостаткомъ общественности въ старыхъ нравахъ, и наконецъ, что французское вліяніе очень помогло нашему собственному сознанію. Прекрасный образчикъ послѣдняго представляетъ тотъ самый писатель, изъ котораго

¹⁾ Примѣч. на Исторію Леклерка, II, стр. 363—364.

²⁾ Исторія Росс. Акад. V, стр. 194.

мы приводимъ обличеніе французскаго вліянія: Болтінъ пропитанъ былъ этимъ вліяніемъ; его научными авторитетами были знаменитые тогда французскіе писатели, между прочимъ тѣ самые, которые по-томъ считались наиболѣе зловредными¹⁾, по это не помѣшало ему оставаться самымъ русскимъ человѣкомъ и цѣнить преданія старины; напротивъ, съ помощью французскихъ мыслителей онъ и научился сознательно относиться къ этой старинѣ, понимать силу обычая и его народное право. Болтіну и Новикову было трудно сказать, а нынѣшнему біографу можно было не забыть, какая роль въ вопросѣ о французскомъ вліяніи принадлежала одному существенному обстоятельству, которое тутъ несомнѣнно дѣйствовало, — именно, примѣру самого двора.

Болтінъ не настаивалъ на освобожденіи крестьянъ; въ полемикѣ съ Леклеркомъ онъ даже выставляетъ положеніе русскихъ крестьянъ болѣе обеспеченными, чѣмъ положеніе земледѣльца европейскаго; но съ другой стороны онъ не думаетъ скрывать, что измѣненіе этого дѣла желательно,— только оно должно произойти медленно и постепенно. Любопытно, что и здѣсь онъ подкрѣпляетъ свои разсужденія французскимъ авторитетомъ и ссылается на слова Руссо, что „прежде должно учинить свободными души рабовъ, а потомъ уже тѣла“; эту мысль онъ приписываетъ и Екатеринѣ, и объясняетъ ею основаніе училищъ „для нижнихъ чиносостояній“, которое, по его мнѣнію, должно было „приготовить души юношества, въ нихъ воспитывающемаго, къ воспріятію сего великаго и божественнаго дара“²⁾). Радищевъ тогда же отвѣчалъ на это предположеніе страшной картиной положенія крѣпостного, получившаго по волѣ барина высшее образованіе и „приготовленнаго къ воспріятію божественнаго дара“, но оставленнаго наслѣдникомъ этого барина въ крѣпостныхъ... Болтінъ не скрывалъ отъ себя и отъ своихъ читателей, что одною изъ причинъ, требовавшихъ измѣненія въ положеніи крестьянъ, были свойства помѣщичьей власти: между помѣщиками бывали люди жестокіе и безчувственные, „дѣлающіе стыдъ русскому имени и человѣчеству“, бывали „чудовищные и презрительные выродки въ природѣ“... Но

¹⁾ Имя Вольтера стало обозначеніемъ необузданнаго и безнравственнаго вольнолюбія; обѣ Рейналѣ вспомнила сама императрица Екатерина, дѣлая замѣтки на книгу Радищева.

²⁾ Прим. на исторію Леклерка, II, стр. 236 — 237. Въ другомъ мѣстѣ Болтінъ говоритъ: „При дачѣ рабамъ свободы, все благоразуміе въ томъ, по мнѣнію моему, должно состоять, чтобы не прежде ону имѣть даровать, какъ науча ихъ познавать ея цѣну, и какъ надлежитъ ею пользоваться; въ противномъ случаѣ, вместо благодѣянія сдѣланъ будетъ имѣть вредъ, зло и гибель... La liberté est un aliment de bon suc, mais de forte digestion; il faut des estomacs bien sains pour le supporter (*Rousseau*)“. Тамъ же, стр. 328.

какъ бы ни смотрѣлъ Болтина на вопросъ освобожденія, который въ то время былъ, и самому Болтипу казался еще неосуществимымъ, онъ зналъ фактическое положеніе народа въ свое время никакъ не хуже, чѣмъ въ наше время знаютъ это положеніе новѣйшіе народники. Онъ совершенно понимаетъ и толково объясняетъ порядки и обычай общиннаго землевладѣнія¹⁾ и вообще хорошо знакомъ съ бытомъ, народными преданіями и обычаями, народной поэзіей и языкомъ. Онъ пользуется этимъ материаломъ и въ своихъ историческихъ изслѣдованіяхъ, приводитъ народныя пѣсни, повѣрья, пословицы, какъ остатокъ и свидѣтельство минувшихъ временъ. Ему известны и произведенія былинной поэзіи, къ которымъ однако онъ относится иначе, чѣмъ наши новѣйшіе ученые. Болтина не думаетъ приписывать былинамъ такую древность, такое полу-мистическое національное значеніе, какъ это склонны были дѣлать теперь. Для изображенія древнѣйшаго быта надо, по его мнѣнію, обращаться никакъ не къ этой народной поэзіи, а къ древнимъ письменнымъ памятникамъ, къ лѣтописи Нестора, къ законамъ Ярослава и Изяслава, къ договорамъ, грамотамъ, церковнымъ памятникамъ и т. п.; напротивъ былинная поэзія, которой придается теперь такое значеніе, не пользуется сочувствіемъ Болтина ни съ исторической, ни съ поэтической стороны. Пѣсни обѣ Ильи Муромца, о пирахъ князя Владимира и проч., по мнѣнію Болтина,—пѣсни „подлыхъ“, безъ всякаго складу и ладу. „Подлинно таковыя пѣсни изображаютъ вкусъ тогдашняго вѣка, но не народа, а черни, людей безграмотныхъ, и можетъ быть, бродягъ, кои ремесломъ симъ кормилися, что слагая таковыя пѣсни, пѣли ихъ для испрошеннія милостиыни; подобно тому, какъ и нынѣ нищіе, а паче слѣпые, слагая нелѣпые стихи, поютъ ихъ ходя по торговамъ, гдѣ чернь собирается. Сказанная пѣсни такого-жъ точно рода какъ сіи нищенскія, называемыя стихами, и сочинены подобными авторами; слѣдовательно вкуса и нравовъ народа изображать не могутъ“²⁾.

¹⁾ Исторія Россійской Академіи, V, стр. 234, 414. Сколько указанія Болтина и другихъ названныхъ нами раньше ученыхъ, путешественниковъ, историковъ и этнографовъ, послужили для новыхъ изслѣдователей народнаго, специально крестьянскаго вопроса въ прошломъ столѣтіи, читатель можетъ увидѣть въ книгѣ г. Семевскаго: „Крестьяне въ царствованіе имп. Екатерины II“. Спб. 1881. О Болтина см. еще того же автора: „Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинѣ XIX вѣка“. Спб. 1888, т. I, глава XIII.

²⁾ Примѣч. на исторію Леклерка, II, стр. 60. Замѣтимъ, что простой, безграмотный народъ, авторъ народной нашей поэзіи, у самого Болтина является въ видѣ весьма презираемой имъ „черни“.

Замѣчаніе Болтина о происхожденіи былинъ не такъ поверхно-
стно, какъ можетъ казаться нѣкоторымъ любителямъ былинной поэзіи.
По всей вѣроятности во времена Болтина былина не имѣла уже,
какъ и теперь, общаго распространенія въ народѣ или, какъ теперь,
извѣстна была только въ видѣ отдельныхъ сказочныхъ сюжетовъ,
гдѣ Илья Муромецъ, национальный герой, шелъ рядомъ съ Бовой-
Королевичемъ и Ерусланомъ: Болтину могло казаться, что изобра-
женіе былиннаго богатыря есть не общенародное созданіе, а фан-
тазія одного разряда народныхъ пѣвцовъ и сказочниковъ, какъ ду-
ховные стихи были дѣломъ своихъ особыхъ специалистовъ. Изслѣдо-
вателямъ новѣйшимъ также приходила мысль о частномъ сословномъ
происхожденіи былины. Наконецъ, Болтину не безъ основанія могла
не правиться новѣйшая форма былинныхъ сказаний, гдѣ старыя черты
эпоса подиали позднѣйшему огрубленію народной фантазіи и самаго
выраженія.

Общее значеніе Болтина наиболѣе отчетливо опредѣлено въ ха-
рактеристикѣ Соловьева. Болтинъ былъ свидѣтелемъ перемѣнъ, ко-
торая произошла со второй половины прошлаго вѣка во взглядахъ
общества на науку и просвѣщеніе. Въ началѣ вѣка, въ эпоху пре-
образованія, на науку смотрѣли преимущественно съ точки зрѣнія
практической пользы; теперь обратили вниманіе на вопросъ о воспи-
таніи. Моралисты временъ Екатерины II постолино говорили о вос-
питаніи, какъ залогѣ благосостоянія общества. Это отразилось и во
взглядахъ на русскую исторію. Въ Петровскія времена надо было
защитить права просвѣщенія противъ невѣжества и суевѣрія, и при-
верженцы новаго порядка естественно проникались враждой къ ста-
рицѣ, которая казалась олицетвореніемъ предразсудковъ и невѣжес-
тва. Теперь вопросъ ставился иначе, и одно образованіе ума, безъ
воспитанія нравственнаго, стало казаться недостаточнымъ—оно часто
сопровождалось нравственной порчей или пристрастіемъ къ чуже-
земному, хотя бы и дурному. „Лучшіе умы,—говорить Соловьевъ,—
стали вооружаться теперь уже не столько противъ вредныхъ слѣд-
ствій стариннаго, до-Петровскаго быта, сколько противъ вредныхъ
слѣдствій односторонняго стремленія ко всему новому и чужому:
отсюда недовольство предшествовавшимъ направлениемъ; борьба съ
нимъ нечувственно вела къ примиренію съ стариной, которая уже
не возбуждала сильной вражды, ибо признала себя побѣжденной и
прикрылась другимъ слоемъ, а на мѣсто ея явился другой, новый
врагъ, болѣе опасный. Въ борьбѣ съ недавнимъ зломъ нечувству-
тельно стали бросать благопріятные взгляды на старину отдаленную,
именно уже потому, что она была враждебна новому врагу, противъ

которого нужно было вооружиться всеми средствами; нужно было показать его незаконное вторжение на место прежнего, лучшаго, а между темъ старина, вслѣдствіе самого отдаленія своего и неизвѣстности, начала представлять пріятные образы. Это недовольство направлениемъ, господствовавшимъ въ первую половину восемнадцатаго вѣка, и примиреніе съ враждебпою ему стариной до-Петровскою объясняетъ памъ взглядъ Болтина на древнюю русскую исторію¹⁾.

Мы упоминали о томъ, насколько это новое обращеніе къ старинѣ выдерживало историческую и общественную критику. Старина могла казаться привлекательной, какъ патріархальный бытъ, не испытавшій множества новыхъ условій и соблазновъ, которые иногда отражались неблагопріятно на нравахъ и обычаяхъ; любители старины во времена Болтина обращали на нее свои взгляды не въ силу жизнного сознанія, а путемъ теоретического разсужденія и при этомъ обыкновенно забывали, что старину вообще нельзя рассматривать съ точки зрѣнія однѣхъ лучшихъ ея сторонъ: они были такъ переплетены со всѣмъ ея характеромъ, что выборъ въ сущности немыслимъ, что взять одно было бы невозможно безъ другого, вмѣстѣ съ лучшимъ придется и самое худшее; съ патріархальной простотой нравовъ, которая прельщала моралистовъ прошлаго вѣка, какъ и ихъ нынѣшнихъ подражателей, неразрывно соединялось и патріархальное невѣжество, и еслибы возможно было когда-нибудь возстановленіе старины, то націи и обществу снова пришлось бы вынести такой же кризисъ ожесточенной борьбы противъ нея, какимъ однажды она была удалена. Но возвращеніе и невозможно: стремленіе къ этому возвращенію бываетъ только или мечтой идеалистовъ-археологовъ, или ретроградовъ; попытки фактическаго возстановленія старины всегда сводились къ одной декораціи и театральному, или балаганному, переодѣванью. Старинный обычай сохраняетъ жизненное могущество только тамъ, где онъ несетъ съ собой, какъ въ Англіи, преданіе общественной свободы и самодѣятельности.

Но Болтинъ исторически любопытенъ не этой наклонностью идеализировать старину, а общимъ отношеніемъ его къ историческому и народному вопросу. На этомъ, безъ сомнѣнія умнѣйшемъ изъ нашихъ историковъ прошлаго вѣка, мы убѣждаемся еще разъ, что принятие западной науки не только не было подчиненіемъ чужому, отдаленіемъ отъ національного содержанія, а напротивъ будило мысль, вело ее на критическую работу и въ концѣ концовъ возвращало къ

¹⁾ Архивъ историко-юридическихъ свѣдѣній, Калачова, кн. II, половина первая, 1855, ст. Соловьевъ: „Писатели русской исторіи XVIII вѣка“.

тому же национальному содержанию, но понятому уже сознательно. Такъ, у писателей XVIII вѣка возникалъ интересъ къ народу не какъ чужое указаніе, а какъ живая органическая мысль, исторію которой не трудно прослѣдить не только въ теченіе XVIII-го вѣка, но даже и раньше, въ проблескахъ критической мысли XVII-го столѣтія.

ГЛАВА V.

XVIII-Й ВѢКЪ. НАУКА И НАРОДНОСТЬ: ЯЗЫКЪ НАРОДНЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

Переворотъ въ литературномъ языке со временемъ реформы.—Ломоносовъ.—Ученые общества для решенія вопроса о языке.—Россійское собрание, при Академіи наукъ.—Вольное собрание при московскомъ университѣтѣ.—Свящ. Петръ Алексеевъ.—Россійская академія.—Княгиня Дашкова.—Румовскій, Лепехинъ, Болтинъ.—Языкъ областной.—Начало исторіи литературы: Коль, Дамаскинъ-Рудневъ, Баузе.

Исторія нашего литературного языка со временемъ реформы разработана до сихъ поръ чрезвычайно мало. Кромѣ книги г. Буслаева: „О преподаваніи отечественного языка“ (1844), где намѣчены многие вопросы этой исторіи; кромѣ старой книги К. Аксакова и новой книги г. Будиловича о Ломоносовѣ и, наконецъ, кромѣ отдѣльныхъ замѣтокъ въ „Филологическихъ Разысканіяхъ“ г. Грота, не было предпринято никакихъ специальныхъ работъ, которыя выяснили бы эту исторію со временемъ Петра и до нашего времени. Между тѣмъ, предметъ исполненъ интереса. Литературный языкъ есть вѣрное отраженіе умственного и поэтическаго содержанія общества въ данную эпоху, отраженіе тѣхъ путей, какими это содержаніе развивалось, и отношений, въ какихъ оно находилось къ народной старинѣ и настоящему. Исторія нашего литературного языка въ теченіе прошлаго вѣка можетъ стать любопытнымъ дополненіемъ къ исторіи реформы со всѣмъ ея разностороннимъ дѣйствіемъ на умы и нравы общества, всѣмъ новымъ запасомъ идей, всей борьбой старого съ новымъ, ихъ совмѣстнымъ существованіемъ въ жизни, и все болѣе сильнымъ притокомъ народной стихіи въ новую возникавшую умственную жизнь. Ранѣе мы упоминали о томъ, какимъ образомъ на ломаномъ, странномъ книжномъ языке Петровскаго времени сказывалось

сначала тягостное усвоеніе чуждыхъ понятій; какъ потомъ съ привычкой къ новому знанію, сглаживались грубыя и угловатыя формы новаго языка и, наконецъ, мало-по-малу онъ выростали въ новую живую и изящную рѣчь. Противники Петровской реформы ссылались не разъ на эту угловатость старого языка, противостоявляя ей мѣткость и свѣжесть простой народной рѣчи, и выводили заключеніе о противуестественности самаго дѣла, говорившаго языккомъ Петровскихъ временъ. Забыто было въ этомъ противоположеніи только одно — что сравнивались вещи не однородныя: языкъ Петровской книги потому именно и былъ тяжель, что ему приходилось выражать неизвѣстная прежде понятія, которыхъ совсѣмъ не могла выразить народная рѣчь того времени; эта послѣдняя до тѣхъ поръ лишь и могла быть свѣжа и красива, пока не выходила изъ своего ограниченного обихода реальныхъ представлений; но она была совершенно бессильна для понятій изъ области невѣдомаго до тѣхъ поръ отвлеченно-научнаго и практическаго знанія. Нужно было вспомнить о всемъ положеніи вещей наканунѣ реформы.

Это положеніе было таково. *Русский литературный языкъ*, какъ онъ есть теперь, въ то время не существовалъ: въ книжномъ обращеніи была неопределенная амальгама изъ двухъ, хотя по происхожденію близкихъ и исторически связанныхъ, по тѣмъ не менѣе различныхъ стихій. Эти стихіи, церковная и народная, существовали рядомъ, но церковная была все-таки чужда самой жизни, и старые книжники до конца не могли выяснить себѣ ихъ взаимнаго отношенія и выработать живую литературную рѣчь. Настоящимъ нормальнымъ языкомъ книги считался церковный, т.-е. собственно говоря, та особая разновидность старо-славянскаго языка, которая образовалась съ теченіемъ вѣковъ отъ неизбѣжнаго воздействиія живого русскаго говора. Вмѣстѣ съ тѣмъ настоящей книгой, заслуживающей вниманія, считалась только книга божественная или учительная (то же понятіе о книгѣ сохраняется и до сихъ поръ въ народѣ, и новѣйшіе охранители — не вѣдая, что творятъ — любятъ ссыльаться па это въ укоръ либеральной литературѣ, которая старается довести до народа извѣстную долю научнаго мірского знанія). Жизнь, конечно, брала свое, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше въ книгу, или въринѣ, въ письменность врывается народный языкъ. Онъ уже издавна вошелъ въ ту часть письменности, которая передавала реальный дѣла народной жизни — грамоты и договоры, дѣла административныя и судныя, законодательство, наконецъ, въ тотъ отдѣль литературы, кото-раго, при всѣхъ усилияхъ, не могла подавить церковная книжность, — въ произведенія народно-поэтической письменности. Тѣмъ не менѣе онъ не былъ признаваемъ, и до XVIII вѣка ни одно изъ про-

изведеній этой послѣдней литературы не было удостоено печати, да и не помышляло этого удостоиться. При такомъ положеніи вещей не возможно говорить о томъ, что книжный языкъ XVIII вѣка былъ „дурнымъ русскимъ языкомъ“, хуже языка XVII вѣка—послѣдній просто совсѣмъ не съумѣлъ бы говорить о тѣхъ предметахъ, о которыхъ, худо ли, хорошо ли, началъ говорить языкъ XVIII вѣка. Книжный языкъ XVII столѣтія былъ языкъ церковной книги и только; для остальныхъ потребностей умственной жизни онъ не давалъ никакихъ средствъ выраженія; литература поэтическая не признавалась въ самомъ принципѣ.

Понятно, такимъ образомъ, что когда съ реформой возникалъ цѣлый рядъ новыхъ потребностей, являлся впервые новый запасъ научныхъ знаній, нарождалось впервые личное поэтическое творчество, отмѣтившее цѣлый новый періодъ во внутренней жизни національности,—для всего этого въ языке старой книги не было выраженія, и предстояла трудная задача найти это выраженіе—почти безъ всякой прежней подготовки и безъ предшественниковъ¹⁾). Понятно, что этотъ трудъ не могъ быть исполненъ сразу; напротивъ, потребовался цѣлый рядъ поколѣній для совершенія дѣла, которое стало великимъ пріобрѣтеніемъ народной мысли и народной рѣчи. Въ судьбѣ новаго литературного языка очевидны всѣ свойства жизненнаго исторического процесса. Во-первыхъ, зачатки этого труда надъ литературнымъ языкомъ восходятъ ко временамъ задолго до Петровской реформы; во-вторыхъ, онъ совершается съ замѣчательной послѣдовательностью, все болѣе расширяя кругъ своего содержанія и захватывая народную стихію, и въ результатѣ впервые онъ создалъ то, чего *не имѣла* старая, московская Россія—*русскій* литературный языкъ, способный служить цѣлямъ просвѣщенія и поэтическаго творчества и глубоко проникнутый чисто русскимъ народнымъ элементомъ. Созданіе этого новаго литературного языка, завершаемое только въ XIX столѣтіи, составляетъ такой же многозначительный фактъ національнаго самосознанія, какой мы видѣли выше въ разнообразныхъ изученіяхъ Россіи и ея исторіи, какой представляется все умственное и литературное движеніе прошлаго вѣка. Во всемъ этомъ XVIII вѣкѣ только отвергалъ узкую односторонность или простое патріархальное невѣдѣніе старой русской жизни и впервые возвысился до дѣйствительнаго національнаго самосознанія.

Образованіе новаго языка было исторической необходимостью

¹⁾ Говоримъ: *почти*, потому что въ XVII вѣкѣ были уже, какъ сейчасъ скажемъ, хотя отрывочные, но несомнѣнныя признаки стремленія къ реформѣ и вмѣстѣ къ расширенію литературного языка, но все-таки Петровскому времени пришлось за многое браться впервые.

Литература XVII-го вѣка, хотя слабыми и невѣрными шагами, несомнѣнно вступала на новую дорогу: рядомъ со старой традиціонной книжностью появлялись произведенія совсѣмъ новаго характера; возникало замѣтное вліяніе кіевской школы и черезъ нее польской литературы; появляются переводы изъ западныхъ литературъ—книгъ географическихъ и историческихъ, наконецъ, повѣстей и драматическихъ пьесъ. Все это вмѣстѣ произвело въ книжномъ языкѣ чрезвычайную путаницу; онъ представлялъ безсвязную массу необработанныхъ элементовъ: церковно-славянскую или русскую основу съ различными варваризмами, особенно польскими, латинскими и южно-русскими. Наконецъ, явилось и стихотворство съ тѣмъ же вавилонскимъ смѣшеніемъ языковъ, о которомъ трудно сказать, какому языку оно принадлежало больше: славянскому, великорусскому, южно-русскому или бѣлорусскому; въ то же время существовалъ болѣе или менѣе чистый славянскій языкъ у церковныхъ стилистовъ, чистый русскій языкъ у писателей дѣловыхъ. Это было состояніе броженія, гдѣ новые элементы заявили свое присутствіе, но еще не срослись ни во что органическое. Языкъ Петровскаго времени съ его извѣстными свойствами—тѣмъ же еще неорганизованнымъ смѣшеніемъ славянскаго и русскаго, обиліемъ иностранныхъ словъ, въ сыромъ видѣ вставленныхъ въ русскую рѣчь,—въ сущности не представлялъ никакой новой ломки языка, какъ обыкновенно говорятъ, а былъ только второю ступенью ранѣе начавшагося броженія, второю въ томъ смыслѣ, что продолжалось прежнее неустановившееся положеніе языка, который, воспринимая новыя понятія, еще не находилъ для нихъ органическаго выраженія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это было уже пѣчто совершенно новое, носившее въ себѣ зародыши будущаго могущественного развитія. Дѣятельность геніального человѣка наложила печать на самый языкъ и, разбудивши национальную мысль, дала новыя средства, мотивы для развитія языка. Въ языкѣ资料 самого Петра еще слышатся входившіе по привычкѣ церковные элементы, но основа чисто русская: Петръ черпалъ изъ первыхъ источниковъ; онъ говорилъ простымъ народнымъ, нерѣдко грубо сильнымъ языккомъ, безъ церемоніи вставляя въ него иностранныя слова, когда нужно было обозначить вещь, для которой еще не было русскаго названія. Но въ этомъ смѣшеніи было сильное, здоровое зерно: этотъ языкъ служилъ живому дѣлу, которое становилось государственнымъ дѣломъ великаго народа; его новизны не были повтореніемъ изъ вторыхъ или третьихъ рукъ чужихъ понятій, а были выражениемъ жизпен-наго факта, результатомъ пріобрѣтаемаго свѣжаго реальнаго знанія. Формы тогдашняго языка указывали путь, какимъ съ этихъ поръ предстояло развиваться русской рѣчи: въ основу долженъ стать

языкъ жизни, языкъ народной дѣятельности; въ него должны были войти тѣ новыя пріобрѣтенія, которыя дала наука въ ея многоразличныхъ отрасляхъ, съ ея практикой и теоріей. Таковъ и былъ дѣйствительно дальнеѣшій ходъ книжнаго языка въ XVIII столѣтіи. Послѣдующее время устранило изъ языка то, что было въ немъ вѣнчаннымъ, по необходимости сѣяннымъ заимствованіемъ, но осталась здоровая сущность движенія: онъ сталъ давать новые ростки, развивавшіеся собственными его внутренними силами; онъ вступалъ въ *новый исторический періодъ*. Съ этого возбужденія, данного новымъ образовательнымъ содержаніемъ, собственно и началось первое полное проявленіе всего богатства и жизненности русскаго языка. Процессъ развитія не довершенъ и по настоящее время—потому что сама русская образованность еще далека отъ самобытности (затрудненной безъ свободы науки и слова),—но, конечно, никогда еще нашъ языкъ не видалъ такого роскошнаго развитія, въ какомъ онъ является у лучшихъ писателей нашего времени, когда онъ овладѣваетъ одинаково и высшими областями научнаго знанія, и самыми тонкими выраженіями поэтическаго творчества, и самыми своеобразными проявленіями народности. Ничего подобнаго не представляль онъ въ свои прежніе періоды, и ближайшимъ исходнымъ пунктомъ этого движенія было Петровское время.

Въ эпоху преобразованія не нашлось, да по обстоятельствамъ времени и не могло найтись, писателей и теоретиковъ языка, которые въ состояніи были бы внести единство въ это броженіе и установить нормы языка. Въ полномъ разгарѣ было самое дѣло: собирался новый материалъ, вызывались новыя стихіи будущаго движенія, и невозможна была пока никакая организація этого множества нового лексического материала и новыхъ оборотовъ рѣчи; самая литература была въ большинствѣ дѣловая, научная, техническая. Петръ былъ однимъ изъ ея ревностныхъ дѣятелей: среди самыхъ серьезныхъ государственныхъ дѣлъ, военныхъ и административныхъ, онъ заказывалъ книги и переводы, самъ выправлялъ ихъ и, случалось, съ похода посыпалъ прочитанныя корректуры. Въ это бурное и занятое время некогда было думать о точныхъ правилахъ и изяществѣ выраженія. Время для „музъ“, т.-е. грамматики и вопросовъ о стилѣ, было впереди, и оно дѣйствительно пришло съ первымъ ученымъ поколѣніемъ, которое училось въ Петровское время и начало свою самостоятельную дѣятельность послѣ него. Главнымъ представителемъ этого поколѣнія явился Ломоносовъ. Много было говорено объ его великихъ заслугахъ въ русской наукѣ и литературѣ, и дѣйствительно любопытно, что Ломоносовъ начинаетъ свою многообъемлющую и творческую дѣятельность вслѣдъ за преобразованіемъ госу-

дарственнымъ. И здѣсь Западъ доставляетъ теоретическія знанія и возбужденія, которыя естественно связались съ историческими требованиями русской жизни и нисколько не противорѣчили особенностямъ русской національной природы. Вопросъ объ языкѣ самъ собою представлялся Ломоносову на первыхъ порахъ его дѣятельности, и онъ возвращался къ нему до своихъ послѣднихъ дней. Какъ человѣкъ науки и писатель, Ломоносовъ не могъ не поставить себѣ этого вопроса въ виду упомянутой неурядицы въ формахъ и материалѣ языка, и опѣ желалъ поставить на ея мѣсто тотъ порядокъ, какой свойственъ всѣмъ богатымъ литературою языкамъ, древнимъ и новымъ. Нужно было найти правильныя формы языка, чтобы онъ могъ дать выраженіе и для строгихъ положеній науки, и для изящныхъ образовъ поэзіи. Образомъ при установлѣніи правильъ языка естественно представлялась общая грамматическая система европейскихъ языковъ, классическихъ и новѣйшихъ; но Ломоносовъ видѣлъ, что имѣеть дѣло съ материаломъ весьма сложнымъ, разнороднымъ по составу и частію совершенно необработаннымъ. Сами собою возникали вопросы объ отношеніяхъ языковъ церковно-славянского и русскаго и о литературныхъ формахъ поэтическаго творчества, въ частности о складѣ русскаго стихотворства¹⁾.

Изученіе Ломоносова можетъ достаточно объяснить тѣ недоумѣнія, какія господствуютъ до сихъ поръ о тносительности языка прошлаго столѣтія, и опровергнуть тѣ обвиненія, какія падаютъ на этотъ языкѣ за мнимую порчу русской стихіи и заимствованіе стихій иноzemныхъ. Самого Ломоносова трудно обвинить въ поблажкѣ иноземному и въ неумѣньѣ цѣнить свой народный материалъ и преданія. У него, ближайшаго свидѣтеля того броженія, какое совершилось въ языкѣ, мы не найдемъ тѣхъ легкомысленныхъ обвиненій, на какія такъ щедро потомство. Въ вопросѣ объ иноязычной стихіи, входившей въ русскій языкѣ, какъ вслѣдствіе реформы Петра, такъ и вообще отъ внесенія научныхъ свѣдѣній съ ихъ терминологіей, Ломоносовъ разсуждалъ такъ же, какъ разсуждаемъ и мы теперь: онъ

¹⁾ Послѣ книги г. Буслаева, любопытнымъ началомъ историческихъ изысканій въ этомъ вопросѣ была известная диссертациѣ К. Аксакова о Ломоносовѣ (1846). Другимъ важнымъ трудомъ была книга А. Будиловича: „М. В. Ломоносовъ, какъ натуралистъ и филологъ, съ приложеніями, содержащими материалы для объясненія его сочиненій по теоріи языка и словесности“ (Спб. 1869), и другая: „Ломоносовъ какъ писатель. Сборникъ материаловъ для разсмотрѣнія авторской дѣятельности Ломоносова“ (Спб. 1871). Здѣсь собраны любопытные факты и сопоставленія для объясненія теоретическихъ понитій Ломоносова о русскомъ языкѣ и материалъ для характеристики его собственнаго стиля. Другія подробности по вопросу объ языкѣ въ первой половинѣ XVIIІ вѣка читатель найдетъ въ „Історії Академіи Наукъ“, Пекарскаго, т. II. Мы ограничиваемся только немногими указаніями.

не желалъ наводненія русскаго языка чужими словами, старался, гдѣ возможно, передавать ихъ въ русскомъ переводѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ хорошо понималъ, что иностранная стихія входитъ въ языкъ не случайно и не по чьему-нибудь произволу. „Замѣчательно, — говоритъ г. Будиловичъ, — что во всѣхъ сочиненіяхъ Ломоносова ни разу не встрѣчается упрека Петру за его преувеличенное пристрастіе къ иноземной стихіи въ языкѣ, наукѣ и администрації, не встрѣчается не потому, чтобы Ломоносовъ это одобрялъ или не замѣчалъ, а потому, что по взглѣду Ломоносова слово одновременно понятію, лексикологическое богатство языка развивается вмѣстѣ съ развитіемъ народа, и притомъ внутреннимъ ростомъ или внешнимъ наносомъ, смотря по тому, развилось ли понятіе органическимъ процессомъ жизни, или навязано¹⁾ извнѣ путемъ заимствованія. Но такъ какъ образованность народовъ очень часто двигается и направляется толчками извнѣ, то, по мнѣнію Ломоносова, и заимствованія въ языкѣ — дѣло не личнаго произвола, а почти исторической необходимости; конечно, народъ, усвоивая со временемъ принесенную къ нему изчука мысль, облекаетъ ее въ своеобразную форму, творить для нея слово, но это не всегда случается: остается много формъ чуждыхъ, которыхъ, однако, „чрезъ долготу времени... входятъ въ обычай... и то, что предкамъ было не вразумительно, потомъ становится пріятно и полезно“²⁾. Сознавая все это, Ломоносовъ, вмѣсто того, чтобы обвинять предшественниковъ, старался на дѣлѣ замѣнять иностранныя слова русскими, и когда случалось, создавалъ въ духѣ языка новые слова, которыхъ послѣ и входили въ употребленіе. Онъ самъ, однако, не боялся употреблять иностранныя слова, когда это было нужно. Другой вопросъ состоялъ въ отношеніяхъ церковнаго и русскаго языка. Эти отношенія въ это время не были, да и не могли быть научно опредѣлены. Въ старину, какъ замѣчали уже и иностранцы, у русскихъ въ книгѣ господствовалъ славянскій языкъ, а въ обыденной жизни — русскій; это преданіе перешло и въ XVIII вѣкъ, и теоретически признавалось правильнымъ. Но жизнь все больше захватывала книгу, литература перестала быть исключительно или по преимуществу церковной, а вмѣстѣ съ тѣмъ все больше требовалъ места въ книгѣ живой русскій языкъ. Ломоносовъ не въ силахъ былъ помирить противорѣчія старого обычая и новаго требованія — не потому,

¹⁾ Выраженіе неточное: русскимъ начала прошлаго вѣка никто ничего не „навязывалъ“, да и физически не могъ навязывать. Они брали чужое *сами*, потому что въ немъ нуждались. Точно также далѣе, „толчки извнѣ“ дѣйствуютъ лишь потому, что народы сами становятся чувствительны и воспріимчивы къ вліяніемъ иноземной цивилизациіи и *сами* ея ищутъ.

²⁾ „Ломоносовъ, какъ натуралистъ и филологъ“, стр. 89.

чтобы въ немъ было не довольно народной стихіи, а потому, что сама она еще не была столько развита, чтобы стать достаточнымъ книжнымъ выражениемъ для новыхъ понятій: въ то время никто не считалъ возможныхъ относительно ея такого принципіального притязанія. Исходъ изъ затрудненія Ломоносовъ нашелъ въ средней мѣрѣ—въ простомъ соединеніи славянскаго и русскаго элементовъ, которые признавалъ какъ бы равноправными, или даже отдавая предпочтеніе церковному: различную роль ихъ онъ опредѣлялъ не столько по основаніямъ филологическимъ и по значенію русскаго языка въ жизни, сколько по основаніямъ реторическимъ. Ломоносовъ представлялъ себѣ градацію употребленія церковнаго и русскаго языка по тремъ стилямъ, причемъ церковный языкъ особенно служилъ для стиля высокаго, т.-е. для всѣхъ возвышенныхъ мыслей и возвышенныхъ предметовъ поэзіи, и известно, какъ много авторитетъ Ломоносова содѣйствовалъ дальнѣйшему сохраненію церковнаго элемента въ литературномъ языкѣ. По замѣчанію г. Будиловича, основаніемъ этого особенного уваженія къ церковному языку было то, что церковный языкъ представлялъ историческое звѣнo между старой и новой русской литературой ¹⁾), что въ его области было уже выработано много средствъ возвыщенного выраженія, которыми Ломоносовъ и дорожилъ, какъ унаследованнымъ готовымъ богатствомъ. Съ другой стороны, въ книжныхъ произведеніяхъ чистаго русскаго языка, ограниченныхъ прежде одними дѣловыми, реальными интересами, онъ не находилъ ни тѣхъ элементовъ высокаго стиля, ни средствъ для передачи отвлеченно-научныхъ понятій, какія были необходимы для новой литературы и гораздо легче доставлялись оборотами церковнаго языка.

Такимъ образомъ, наплыvъ жизненнаго реализма и иностранныхъ словъ, отличающихъ языкъ Петровской реформы уравновѣшивался историческимъ элементомъ, въ церковномъ языкѣ. Этотъ элементъ былъ такъ привыченъ, что указаніе на него не возбуждало никакихъ сомнѣній и было признано всѣми единогласно. Когда ставился прямо вопросъ объ языкѣ народа, литературные авторитеты того времени, хотя безпрестанно враждовавшіе между собою, были единодушны: народный языкъ былъ языкъ „подлый“, народная пѣсни—пѣсни „подлые“; простой слогъ, т.-е. простой разговорный и народный языкъ Ломоносовъ допускалъ только въ „подлыхъ“ комедіяхъ и подобныхъ низкихъ сочиненіяхъ; Тредьяковскій называетъ разговорный языкъ „яицичымъ вздоромъ или мужицкимъ бредомъ“. На самомъ дѣлѣ, не было, однако, никакой возможности положить гра-

¹⁾ Будиловичъ, тамъ же, стр. 90.

ници между двумя элементами языка, какъ скоро литература все больше приближалась къ жизни и должна была говорить языкомъ привычнымъ для общества: общество все-таки не говорило по-славянски; въ разговорномъ языкѣ сами законодатели не все признавали низкимъ и дѣлали предположеніе о какомъ-то среднемъ уровнѣ языка, который, хотя и не былъ церковнымъ, однако, могъ быть допущенъ въ книгу безъ ущерба ея приличію и достоинству. Этотъ средній уровень былъ, очевидно, языкъ возникавшаго теперь впервые болѣе или менѣе образованнаго общества, языкъ, выроставшій уже подъ вліяніемъ книжнаго знанія и терявшій патріархальную грубоватость простонародной рѣчи¹⁾). Формы и обороты этого языка еще не установились, и законодатели потратили не мало хлопотъ на то, чтобы решить: какъ приличнѣе или изящнѣе говорить: глазъ или око, лобъ или чело, щеки или ланиты, опять или паки и т. п.; они то пугались „грубаго деревенскаго“ языка, то опасались „къ превеликому себѣ посмѣшству“ употреблять церковныя выраженія въ любовныхъ или геройскихъ разговорахъ²⁾.

При всемъ уваженіи къ церковному языку, они не въ состояніи были опредѣлить точной мѣры его употребленія и противорѣчили не только одинъ другому, но и самимъ себѣ, когда возвращались къ этой темѣ при разныхъ случаяхъ. Ясно, что причина колебанія заключалась именно въ неопределеннности цѣлаго положенія языка; но въ концѣ концовъ, несмотря на всѣ разсужденія о пользѣ церковныхъ книгъ, о „важности“ славянскаго языка и т. п., перевѣсь падалъ все больше на сторону народной рѣчи, составлявшей основу языка общества, и въ литературномъ языкѣ все больше преобладала народная, а не церковная стихія. Понятіе обѣ этой народной стихіи было смутно; таковы у самого Ломоносова тѣ различныя названія, которыми онъ ее обозначаетъ: подлныя слова; слова простонародныя; слова новыя или гражданскія; слова обыкновенныя россійскія; про-

¹⁾ По мнѣнію Тредьяковскаго, это былъ именно языкъ *двора*, благоразумнѣйшихъ министровъ, премудрѣйшихъ священноначальниковъ и знатнѣйшаго дворянства. Г. Будиловичъ думаетъ (стр. 92), что Тредьяковскій говорить здѣсь какъ вѣрный ученикъ тогдашнихъ французовъ, считавшихъ нормою языкъ Версаля; но должно согласиться, что въ этомъ именно кругу (между прочимъ, въ „священноначальникахъ“) онъ могъ не безъ основанія предполагать наиболѣе образованныхъ людей тогдашняго русскаго общества. Дальше увидимъ, что самъ Тредьяковскій не выдерживаетъ этого пренебрежительного отношенія къ народной рѣчи. Отчасти оно происходило, у него, какъ у Ломоносова, отъ вліяній псевдо-классицизма, пріучавшаго къ напыщенности и высокому „стилю“, отчасти отъ почтенія къ церковному славянству.

²⁾ Бібліографіческія Записки, 1859, ст. 518—519. Полное собрание сочиненій Сумарокова. М. 1782, X, стр. 111.

стые разговоры; простой российский языкъ; просторѣчіе. Границы между всѣми этими оттѣнками были очень неясны и естественно: литературная правоспособность тѣхъ или другихъ словъ и оборотовъ народной рѣчи должна была опредѣлиться живымъ употребленіемъ, а это употребленіе, usus, было еще ново.

Народный языкъ или разговорная рѣчь тѣмъ не менѣе неудержимо входили въ языки литературный, и въ первой половинѣ столѣтія уже явно обозначились двѣ отдѣльные книжныя области: церковная и „гражданскай“; въ первой крѣпче держались книжныя славянскія преданія (сохраняющіяся въ ней донынѣ), во второй—открывалось обширное поле развитія литературного языка на чисто-народной основѣ. На первое время законодатели съ трудомъ допускали народную рѣчь—не потому, чтобы имъ мѣшало въ этомъ ихъ новое образованіе, а именно потому, что были слишкомъ сильны *преданія старой книжности*, не допускавшей въ книгу народнаго языка. Въ дѣйствительности умственная жизнь, возбужденная реформой, имѣла глубоко-народную тенденцію, и вслѣдствіе того заслуга введенія въ книгу народнаго языка принадлежала именно реформѣ: за народный языкъ было новое направленіе, за церковный—старое. На самыхъ первыхъ порахъ литературы XVIII вѣка народный языкъ все больше и больше изгоняетъ славянщину, и уже вскорѣ сами теоретики прямо заявляютъ о его литературныхъ правахъ. Въ грамматикѣ Ададурова (1731) говорится, что „нынѣ всякий славянизмъ, особенно въ склоненіяхъ, изгоняется изъ русскаго языка“. Тредьяковскій, издавая въ то же время знаменитую „Бѣзу въ островъ любви“, пишетъ (1730), что „оную не славянскимъ языкомъ перевель, но почти самымъ простымъ русскимъ словомъ, т.-е. каковымъ мы межъ собою говоримъ“, и причиной этого было то, что „языкъ славянскій,—по его словамъ,—нынѣ жестокъ моимъ ушамъ слышится, хотя прежде сего не только я имъ писываль, но разговариваль со всѣми“. Въ „Разговорѣ объ ортографії“, разсуждая о новой гражданской печати, Тредьяковскій замѣчаетъ, что „писать такъ надлежить, какъ звонъ требуетъ“. Сумароковъ „общее употребленіе за уставъ себѣ почитаетъ“. Извѣстно, какое вліяніе оказала народная поэзія на новую форму стиха: объясняя замѣну старого силлабического размѣра тоническимъ стихосложеніемъ, Тредьяковскій указываетъ прямо (1734), что „всю силу сего новаго стихотворенія взяль изъ самыхъ внутренностей свойства, нашему стиху приличнаго, и буде желаютъ знать, то мнѣ надлежить отъявить, что поэзія нашего простого народа къ сему меня привела“. Онъ восхваляетъ „сладчайшее, пріятнѣйшее и правильнѣйшее разнообразныхъ ея стопъ, нежели греческихъ и латинскихъ, паденіе“, и замѣчаетъ опять, что свое новое стихосложеніе „занялъ

у самой нашей природной, наидревнѣйшей оныхъ простыхъ людей поэзіи”¹⁾). Эти примѣры достаточно указываютъ, при всей неясности положенія языка, при всѣхъ колебаніяхъ книжныхъ законодателей, что народный языкъ оказывалъ неодолимое вліяніе, и именно въ силу новаго горизонта понятій, собиравшихся въ литературѣ. Ломоносовъ, хотя и не рѣшилъ теоретически вопроса объ отношеніяхъ церковнаго и народнаго языка, посвящаетъ, однако, послѣднему большое вниманіе и находить въ немъ главный матеріалъ для будущаго развиція книжнаго языка. Едвали не первый онъ указываетъ на „дialekty“ русскаго языка, которыхъ находить три: московскій, съверный или поморскій, и украинскій или малороссійскій. Видимо, онъ имѣеть мысль объ ихъ историческомъ правѣ, и въ своей грамматикѣ даетъ мѣсто многимъ провинціализмамъ. Его соперникъ, Сумароковъ, укоряетъ его даже, что въ своей грамматикѣ Ломоносовъ „московское нарѣчіе въ холмогорское превратилъ“ и тѣмъ ввелъ въ нее много порчи языка; но въ дѣйствительности Ломоносовъ отдавалъ предпочтеніе московскому нарѣчію: „московское нарѣчіе не токмо для важности столичнаго города, но и для своей отмѣнной красоты прочимъ справедливо предпочитается“; въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ, что „московскій діалектъ главный и при дворѣ и дворянствѣ употребительный“. На основаніи грамматики и другихъ трудовъ Ломоносова, историкъ его филологической дѣятельности замѣчаетъ, что „заемствую формы изъ другихъ нарѣчій, Ломоносовъ хотѣлъ только показать, что нарѣчіе московское не есть норма русскаго языка, что въ образованіи его должны принять участіе и другіе мѣстные діалекты, подчиняясь въ спорныхъ вопросахъ авторитету, равно для всѣхъ обязательному, языка церковно-славянскаго“²⁾). Надо прибавить только, что это было у Ломоносова едвали опредѣленной мыслью, а скорѣе инстинктомъ и догадкой.

Мы говорили выше, съ какимъ крайнимъ недовѣріемъ принимались тогда всякия попытки критического отношенія къ старинѣ не только ближайшихъ, но и Рюрикова вѣка. Опасливость была доведена до послѣдняго предѣла; она свидѣтельствовала прежде всего о непривычкѣ къ научной критикѣ, но вмѣстѣ указывала и другое, именно, что авторитетъ старины вовсе не былъ потрясенъ въ умахъ до той степени, какъ обѣ этомъ говорятъ. Напротивъ, затрогивать старицу было не безопасно, и какъ съ одной стороны Тредьяковскій считаетъ пужными большія оговорки и извиненія, чтобы говорить о „подлыхъ“ пѣсняхъ и ихъ языкахъ въ виду важности церковно-сла-

¹⁾ Будиловичъ, тамъ же, стр. 91 и слѣд.; Исторія Акад. Наукъ, т. II, стр. 49 и слѣд.

²⁾ Будиловичъ, тамъ же, стр. 100.

вянскаго языка, такъ онъ съ великою осторожностью приступаетъ къ вопросу „объ ортографіи россійской“, гдѣ разсказываетъ исторію славянской азбуки и разныхъ ея перемѣнъ. Собираясь печатать эту книжку, онъ обращается съ специальнымъ прошеніемъ къ тогдашнему президенту академіи, гр. Разумовскому (1747), „увѣряя, — пишетъ онъ, — подъ лишеніемъ чести и живота, что въ сей моей книжкѣ нѣть никакихъ противностей православной вѣрѣ, самодержицѣ, отечеству, доброправію; также нѣть въ ней никакихъ обидныхъ словъ и изображеній ни тайныхъ, ни явныхъ никому“¹⁾).

Такимъ образомъ у насъ только въ первой половинѣ XVIII-го вѣка поднимался тотъ основной вопросъ литературы, вопросъ объ ея орудії, который въ западныхъ литературахъ былъ решенъ гораздо раньше: у итальянцевъ въ XIV вѣкѣ съ Дантомъ, Петраркой и Боккачіо; у англичанъ въ XVI вѣкѣ; у немцевъ тогда же, съ Лютеромъ; у французовъ въ XV — XVI-мъ, съ литературой Возрожденія. Въ новыхъ славянскихъ литературахъ (за исключеніемъ польской) этотъ вопросъ усердно, и часто съ большими трудностями разрабатывался съ конца прошлаго и даже въ XIX столѣтіи...

Заботы объ усовершенствованіи языка уже вскорѣ послѣ основанія Академіи наукъ выразились практическими предпріятіями. Въ 1735 году при Академіи основано было особое общество, цѣлью котораго было стараться „о возможномъ дополненіи россійскаго языка, о его чистотѣ, красотѣ и желаемомъ потомъ совершенствѣ“; имѣлось въ виду представить не только переводы „степенныхъ“ авторовъ, но и исправную грамматику, „согласную мудрыхъ употребленію“, словарь, реторику и стихотворную науку: „изъ основательныхъ грамматики и краснѣя реторики,—говорилъ Тредьяковскій,—не трудно произойти восхищающему умъ и сердце слову пітическому“. Особенностью заботой былъ уже тогда „дикціонарій полный и довольный“. Первое засѣданіе этого собранія происходило въ мартѣ 1735 года, и главными членами его были: Тредьяковскій, Ададуровъ и „ректоръ нѣмецкаго языка“ Швановичъ; академическимъ переводчикамъ предписано было собираться еженедѣльно для исправленія переводовъ. Но о дѣятельности этого общества известно очень мало, и въ 1743 г. оно было уже закрыто. Современники называли его „Россійскимъ собраніемъ“, а Татищевъ именуетъ его даже „Россійской академіей“ и замѣчаетъ, что она учреждена была „на томъ основаніи, какъ во Франціи“ и подчинена была президенту Академіи

¹⁾ Исторія Акад. Наукъ, т. II, стр. 121.

наукъ. Впослѣдствіи митрополитъ Евгеній объяснялъ закрытіе собранія немногимъ числомъ способныхъ соченовъ и „неостепененіемъ самой словесности и языка нашего“, что и было вѣроятно¹). Вопросъ былъ еще неносиленъ.

Вторымъ предпріятіемъ подобнаго рода, имѣвшимъ цѣлью усовершенствованіе языка, былъ такъ-называемый „Переводческій департаментъ“ или „Коммисія для переводовъ“, основанная въ 1768. Потребность въ переводахъ чувствовалахъ съ двухъ сторонъ: желали усвоить русской литературѣ знаменитыя произведенія европейскихъ писателей и вмѣстѣ усовершенствовать на этомъ трудѣ самый русскій языкъ. Въ тѣ годы императрица Екатерина исполнена была либеральными намѣреніями и, заинтересованная этимъ дѣломъ, назначила изъ собственныхъ денегъ 5,000 рублей „въ пользу общества“; завѣданіе дѣломъ было поручено Козицкому, гр. В. Г. Орлову и гр. А. П. Шувалову. Новое общество взялось за трудъ довольно ревностно и между прочимъ придавало особенную цѣну переводамъ греческихъ и римскихъ писателей; по на первый разъ оно выбрало для перевода: „Разсужденіе короля прусскаго о причинахъ установлѣнія и уничтоженія законовъ“; „Кандид“, Вольтера; „Персидскія письма“, Монтескье; нѣсколько жизнеописаній изъ Плутарха, нѣсколько статей изъ „Энциклопедіи“, словарь французской академіи, для перевода котораго образовалось цѣлое общество, и т. д. Впослѣдствіи Коммисія для переводовъ подверглась нареканіямъ за лѣнивое отношеніе къ дѣлу и употребленіе денегъ не на то, на что ониѣ были назначены; она была закрыта въ 1783, при основаніи Россійской академіи. Тѣмъ не менѣе въ результатѣ ея трудовъ оказалось значительное количество изданий, между которыми были, напр., переводы изъ Гомера, Илатона, Тацита, Цицерона, Юлія Цезаря, Овидія, Виргилія, Іосифа Флавія; далѣе, изъ Тасса, Локка, Геллерта, Вольтера, Корнеля, Робертсона („Исторія Карла V“), Ахенваля („Начертаніе исторіи новѣйшихъ европейскихъ державъ“), путешествія Палласа и Гмелина, статьи изъ Бюшинговой географіи, множество статей изъ французской „Энциклопедіи“ и т. д.²).

Далѣе, въ 1771 году съ подобными цѣлями основано было новое общество, „Вольное россійское собраніе“ при московскомъ университѣтѣ. Цѣлью было опять „исправленіе и обогащеніе россійскаго языка, чрезъ изданіе полезныхъ, а особливо къ наставленію юношества потребныхъ, сочиненій и переводовъ, стихами и прозою“; пер-

¹) Пекарскій, Исторія Акад. Наукъ, т. II, стр. 50—51; Исторія Росс. Акад. т. I, стр. 5—6; Кунікъ, Сборникъ матеріаловъ для исторіи Академіи наукъ въ XVIII вѣкѣ. Спб. 1865, ч. I.

²) Исторія Росс. Акад., т. I, стр. 6—9.

вымъ трудомъ, которымъ хотѣли заняться, было опять „сочиненіе правильнаго россійскаго словаря по азбукѣ“; наконецъ, общество ставило себѣ и болѣе серьезныя историко-литературныя задачи. „Столь обширное владѣніе россійское, — говорится въ „Объявленіи любителямъ россійскаго языка“, — состоящее изъ разныхъ народовъ и въ разныхъ климатахъ, можетъ любопытство трудящихся членовъ довольно снабдить рѣдкими и достойными примѣчанія вещьми. Публичныя и приватныя книги и писемъ хранилища, содержащія въ себѣ достопамятныя предковъ россійскихъ дѣла, глубокою древностію закрытыя, могутъ такимъ образомъ отворены быть и издаваемы въ свѣтъ для удовольствія общеноароднаго и для приведенія въ совершенство россійскія со временемъ исторіи“. Общество имѣло свое изданіе ¹⁾ и закрылось въ 1783 году при основаніи Россійской академіи, куда и зачислены были его главные члены. Труды Вольнаго собранія очень цѣнились въ свое время и считались такимъ же важнымъ материаломъ при составленіи академическаго словаря, какъ сочиненія Ломоносова ²⁾.

Главнымъ изданіемъ Вольнаго россійскаго собранія былъ Церковный Словарь протоіерея Петра Алексѣева.

Петръ Алексѣевичъ Алексѣевъ (1727 — 1801), сынъ пономаря, былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ духовныхъ писателей прошлаго вѣка. Онъ учился въ славяно-латинской академіи въ Москвѣ, началъ затѣмъ церковное служеніе при Архангельскомъ, потомъ при Успенскомъ соборѣ; наконецъ, былъ протоіереемъ Архангельского собора и вмѣстѣ катихизаторомъ или преподавателемъ закона Божія въ московскомъ университетѣ. Извѣстнѣйшій изъ трудовъ его есть „Церковный словарь“, о которомъ скажемъ далѣе, потомъ „Исторія греко-россійской церкви“, оставшаяся въ рукописи, такъ же какъ „Словарь еретиковъ и раскольниковъ“; далѣе, изданіе знаменитаго „Православнаго Исповѣданія“ Петра Могилы съ новыми объясненіями и проч. Онъ усердно занимался русскими древностями, былъ въ сношеніяхъ съ учеными людьми своего времени, былъ членомъ Вольнаго собранія и Россійской академіи. Алексѣевъ, будучи ученымъ, могъ бы назваться и замѣчательнымъ общественнымъ дѣятелемъ своего времени: онъ не оставался чуждъ вопросамъ жизни, хотя по условіямъ положенія эта сторона его мнѣній не могла быть выскаживаема открыто. Дѣло въ томъ, что Петръ Алексѣевъ вмѣшался тогда въ старую, хотя скрытую распирю между чернымъ и бѣлымъ духовенствомъ. Онъ былъ рѣшительнымъ противникомъ исключитель-

¹⁾ Опытъ трудовъ Вольнаго россійскаго собранія. 6 частей, М. 1774 — 1783.

²⁾ Исторія Росс. Акад., т. I, стр. 9 — 11; Біограф. Словарь московскихъ профессоровъ, 1855, статья о Барсовѣ.

наго права монашества на высшія духовныя должности, не только считалъ возможнымъ для священника получить санъ епископа, не поступая въ монахи, но утверждалъ (ссылаясь на несомнѣнныя факты въ исторіи первыхъ вѣковъ христіанской церкви), что епископство вообще должно принадлежать бѣлому духовенству, потому что званіе монаха, по самому его существу, несовмѣстно съ мірскими почестями и властью. Понятно, что при тогдашихъ условіяхъ, т.-е. при полной безгласности общества въ его внутреннихъ интересахъ, и когда притомъ именно монахи стояли во главѣ духовнаго управлениія, Алексѣевъ не могъ и думать открыто высказывать подобный мнѣнія: на дѣлѣ, различіе взглядовъ сводилось къ мелкимъ столкновеніямъ, которые кончались кляузными придирками и притѣсненіями со стороны епархіальной власти, а теоретическая и историческая защита мнѣній ограничивалась частной перепиской и рукописными статьями, всыпывающими на свѣтъ божій только теперь, лѣтъ черезъ сто ¹⁾). Вследствіе этого различія во взглядахъ, Петръ Алексѣевъ нашелъ злѣйшаго врага въ своемъ ближайшемъ начальствѣ — митрополитѣ Платонѣ, отъ преслѣдований котораго спасали его только дружескія отношенія съ священникомъ Памфиловымъ, духовникомъ императрицы, пепріятелемъ митр. Платона, и съ Потемкинымъ. Ученость Алексѣева была старомодна; онъ былъ большой пачетчикъ въ церковной литературѣ и русской старинѣ, но любопытно встрѣтить, что тогдашняя европейская литература коснулась и его. Объясняя, напр., что обычай избирать епископовъ изъ среды монашества есть явленіе позднѣйшее, онъ иронически совѣтуетъ о причинахъ, вызвавшихъ этотъ обычай, сиравтися въ книгѣ Монтескѣю: „О великости и упадкѣ римлянъ“ ²⁾).

Важнѣйшимъ трудомъ Алексѣева и важнѣйшимъ изданіемъ Вольнаго собранія при московскомъ университѣтѣ былъ Церковный Словарь, изданный въ 1770-хъ годахъ ³⁾). Трудъ Алексѣева не есть сло-

¹⁾ Таково, напримѣръ: „Разсужденіе на вопросъ: можно ли достойному священнику, ниповавъ монашество, произведену быть во епископа“,protoiereя Петра Алексѣева, въ Чтен. моск. Общества исторіи и древностей, 1867, кн. III. Другіе материалы для біографіи Алексѣева были изданы въ „Русскомъ Архивѣ“ г. Бартенева.

²⁾ Подробная біографія Алексѣева и обзоръ его сочиненій въ „Исторіи Росс. академіи“, I, стр. 280—343, 424—427.

³⁾ Вотъ полное его заглавіе: „Церковный Словарь, или истолковавіе реченій славенскихъ древнихъ, такожъ иноязычныхъ, безъ перевода положенныхъ въ священномъ писаніи и другихъ церковныхъ книгахъ, сочиненный московского Архангельскаго собора protoiereемъ и московской духовной консисторіи членомъ Петромъ Алексіевымъ, рассматриванный Вольнымъ россійскимъ собраніемъ при императорскомъ московскомъ университетѣ, и изданный по одобренію святѣйшаго правительствующаго синода конторы. Печатанъ при императорскомъ московскомъ университетѣ,

варь въ обыкновенномъ значеніи слова. Цѣлью составителя была не столько филологія, сколько объяснительное пособіе для чтенія церковныхъ книгъ: рядомъ съ простымъ словарнымъ объясненіемъ мало попятныхъ церковныхъ словъ и формъ, здѣсь находится много объясненій историческихъ, археологическихъ, литературныхъ, по разнымъ предметамъ церковнаго вѣроученія, исторіи, богослужебныхъ обрядовъ, церковныхъ обычаевъ и т. п. Алексѣевъ первоначально составлялъ свою книгу по собственной любознательности, потомъ нашелъ, что она можетъ быть полезнымъ руководствомъ для его университетскихъ слушателей и вообще для любителей церковнаго чтенія. Пріемъ книги въ Вольномъ собраніи видимо поощрилъ его, и за первой книгой вскорѣ послѣдовали дополненіе и продолженіе, увеличившія объемъ ея втрое. Источники, которыми пользовался Алексѣевъ, были очень разнообразны: во-первыхъ, книги библейскія и церковныя, затѣмъ писатели классическіе, византійцы, западные ученые XVII-го вѣка (пѣмецкій ученый Кирхеръ, французскій элленістъ Гоаръ, англійскій богословъ Лайтфутъ, голландскій филологъ Меурсіусъ, итальянскій историкъ Бароніо); паконецъ, старая и современная Алексѣеву русская литература. Въ нашей старинѣ онъ знаетъ не только печатныя книги, но и рукописи; послѣднія — по синодальной библиотекѣ, описаніемъ которой онъ занимался: такъ онъ ссыпался на рукописную лѣтопись, Налею, Ичелу и т. п.; онъ пользовался старыми азбуковниками, словарями Берынды, Федора Поликарпова, изъ которыхъ бралъ иногда готовыя объясненія, дополняя ихъ новыми подробностями. По библейской археологіи онъ вносилъ въ свою книгу толкованія европейскихъ церковныхъ ученыхъ, приводилъ реальные объясненія древняго быта; въ толкованіи церковныхъ словъ онъ обращается перѣдко къ „простому“ языку, приводить подробности изъ народнаго быта и повѣрій. Относительно самаго языка онъ стоитъ на общепринятой тогда точкѣ зрѣнія, т.-е. имѣеть смутное представлениe объ отношеніяхъ церковно-славянскаго и русскаго языка, считаетъ ихъ почти тождественными, принимал между ними только разницу тона и слога: языкъ церковный есть только древній языкъ, притомъ выражавшій возвышенные предметы; языкъ русскій есть просторѣчіе, занятое обыденными и низкими предметами; средство для усовершенствованія просторѣчія заключается

1773 года“, 8⁰, 24 неперемѣчен. стр. посвященія императрицѣ Екатеринѣ и предисловія, и 396 стр. Въ 1776 вышло „Дополненіе къ Церковному Словарю“, изданное на этотъ разъ по одобренію архіепископа Платона (6 неперемѣчен. и 324 стр.). Въ 1779 вышло „Продолженіе Церковнаго Словаря“, опять по одобренію архіепископа Платона (299 стр.) Второе изданіе Словаря, 3 части, Спб. 1794; 3-е изд., 5 частей, М. и Спб. 1815—1818; 4-е изд., вновь дополненное, Спб. 5 частей, 1817—1819.

въ усвоеніи достоинствъ церковнаго языка. Въ предисловіи къ первому изданію Словаря, гдѣ Вольное собраніе объясняетъ значеніе труда Алексѣева, указывается на нынѣшнее „обще воспріятое отъ ученыхъ людей стараніе о чистотѣ россійскаго слога, и почтенной древности изъ подспуда на свѣтъ произведеніе“; указывается далѣе безпримѣрная красота слога въ старыхъ, переведенныхъ съ греческаго, нашихъ книгахъ и „способность славянскаго языка ко изъясненію краткими словами великихъ мыслей, чего на другихъ европейскихъ языкахъ безъ пространнаго описанія выразить не можно“; и затѣмъ говорится: „итакъ, кромѣ собственной высшаго рода пользы, какую истинный христіанинъ получаетъ отъ прилежнаго чтенія и подражанія книгъ церковныхъ, въ разсужденіи общества (польза изученія церковнаго языка) есть та, что любезное наше отечество въ скоромъ времени увидитъ на своемъ коренномъ языке достойныхъ витіевъ, стихотворцевъ и исторіи писателей, кои оставя иноязычные для насъ не знакомые выговоры, собственную красоту россійскаго слога искажающіе, и при частой перемѣнѣ къ осознательному упадку его наклоняющіе, россійскимъ чистымъ словомъ прославятъ громкія дѣла нынѣшняго знаменитаго вѣка“.

Трудъ Алексѣева впослѣдствіи былъ въ числѣ важнѣйшихъ материаловъ, послужившихъ для словаря Россійской академіи.

Въ 1783 было наконецъ основано учрежденіе, завершившее прежнія попытки соединенія ученыхъ силъ для изученія и усовершенствованія языка. Это была известная Россійская академія, которая смѣнила упомянутый выше Переходческій департаментъ, приняла въ себя главныхъ лицъ московскаго Вольного собранія и собрала вновь кругъ дѣятелей, ученыхъ и писателей, для работъ по русскому языку и словесности. Россійская академія имѣть въ исторіи нашей литературы репутацію довольно неопределеннную: во времена императора Александра и Николая, времена Карамзина, Жуковскаго и Пушкина, эта Академія, сдѣлавшись гнѣздомъ литературнаго старовѣрства, играла столь странную роль въ нашей литературнѣй жизни, что имя ея стало наконецъ посмѣшищемъ и синонимомъ самаго узкаго и притомъ въ сущности невѣжественнаго буквовѣдства и вражды ко всѣмъ лучшимъ стремленіямъ литературы, ко всѣмъ успѣхамъ языка. Съ этимъ преданіемъ память о Россійской академіи перешла къ новымъ поколѣніямъ, и это преданіе распространилось на всю исторію этого учрежденія съ самого его основанія. Какъ ни было желательно осо-бое ученоп-литературное учрежденіе, посвященное специально интересамъ русской литературы и языка, никто не подумалъ сожалѣть о Россійской академіи, когда она была закрыта въ 1841 году, и взамѣнъ ея основано отдѣленіе русскаго языка и словесности въ Ака-

демії наукъ. Сама Россійская академія представлялась тогда учрежденіемъ, неспособнымъ возродиться къ чему-нибудь живому; это было просто старый хламъ, который надо было убрать. Это обстоятельство и мѣшало долго исторической оцѣнкѣ этого учрежденія въ тѣ первые годы его существованія, когда Россійская академія при всей тогдашней слабости научного знанія сослужила полезную службу русскому языку и литературѣ. Историческое обозрѣніе ея трудовъ сдѣлано теперь г. Сухомлиновымъ: въ его обширномъ сочиненіи собрано множество данныхъ о литературной дѣятельности и біографіи лицъ, принадлежавшихъ къ Россійской академіи. Иные думаютъ даже, что слишкомъ много; въ дѣйствительности, не мало изъ собранныхъ подробностей слишкомъ мелочны (напр., повторенія въ текстѣ „Исторіи“ офиціальныхъ бумагъ, рѣчей, черновыхъ переводовъ и т. п., которымъ могло бы быть мѣсто развѣ въ приложеніяхъ); излагаемая ученая исторія часто не имѣетъ ни какого отношенія собственно къ Россійской академіи (и, напр., относится только къ Академіи наукъ), такъ что вообще эта книга, при ея большомъ объемѣ, не совсѣмъ отвѣчаетъ правиламъ исторической перспективы.

Мы не будемъ входить въ подробности объ основаніи Россійской академіи. Дѣйствующимъ лицомъ при этомъ была особенно княгиня Е. Р. Дашкова (1743—1810), которая затѣмъ стала президентомъ какъ ея, такъ и Академіи наукъ, до 1796 года, именно до воцареніи императора Павла: онъ, какъ известно, терпѣть не могъ кн. Дашковой, удалилъ ее отъ всѣхъ ея должностей и сослалъ въ деревню. По уставу Россійская академія имѣла цѣлью своихъ трудовъ очищеніе (или даже „вычищеніе“) и обогащеніе русского языка, и для этого должна была составить русскую грамматику, словарь, реторику и правила стихотворства. Лепехинъ, который былъ непремѣннымъ секретаремъ Академіи въ первый periodъ ея существованія, опредѣлялъ ея задачи такими словами: „ей предлежало возвеличить россійское слово, собрать оное въ единый составъ, показать его пространство, обиліе и красоту, постановить ему непреложныя правила, явить краткость и знаменательность его изреченій, и изыскать глубочайшую ею древность“. Это былъ трудъ большого общественнаго значенія, какъ вопросъ литературнаго языка всегда имѣеть большую важность въ первые periodы установленія литературы. Княгиня Дашкова желала указать и другую цѣль существованія Академіи—грубую лесть императрицѣ Екатеринѣ. Академіческій историкъ дѣлаетъ весьма удачное сравненіе между рѣчью Тредьяковскаго при открытии „Россійскаго собранія“ (1735), гдѣ онъ говоритъ о доблестяхъ Анны Ioанновны, и „докладомъ“ клигини Дашковой, по которому рѣшено было основаніе Академіи. Именно, Тредьяковскій говорилъ: „По-истинѣ

дѣйствія и добродѣтели увѣнчанныя сея героини (Анны Иоанновны) толь велики, какъ всему земному кругу извѣстно, что ни самый совершенно исполненный языкъ рѣчей въ себѣ равныхъ, дабы описать опыя, найти не можетъ. И сего-то ради нынѣ должностъ сія вамъ вручается, чтобы, поскольку возможно, въ совершенство приводить намъ языкъ и чрезъ то-бѣ имѣть хотя малое средство къ прославленію дѣлъ и добродѣтелей государыни нашей". Княгиня Дацкова въ своемъ докладѣ пишетъ: „никогда не были столько нужны для другихъ народовъ обогащеніе и чистота языка, сколько стали оныя необходимы для нась. Намъ нужны новыя слова, вразумительное и сильное оныхъ употребленіе для изображенія всѣмъ и каждому чувствованій благодарности за монаршія благодѣянія, толико же доселѣ невѣдомыя, сколь неисчислены; для начертанія оныхъ на вѣчныя времена съ тою же силою, какъ онѣ въ сердцахъ нашихъ, и съ тою красотою, какъ ощущаемы въ счастливой вѣкѣ вторыя Екатерины" ¹⁾).

Личный составъ Академіи былъ опредѣленъ въ 60 человѣкъ. Онъ наполненъ былъ, хотя не вдругъ, извѣстнѣйшими учеными и писателями того времени, членами Академіи наукъ, московскими профессорами изъ членовъ Вольнаго собранія, наконецъ значительнымъ числомъ духовныхъ лицъ: изъ послѣднихъ укажемъ въ особенности Дамаскина-Руднева иprotoiereя Алексѣева; было не мало важныхъ архіереевъ, которые, кромѣ соображеній іерархическихъ, были, вѣроятно, избираемы и въ качествѣ, такъ сказать, практическихъ представителей церковнаго языка.—Ученыхъ филологовъ въ то время не существовало, какъ не было еще и самой науки: являлась только любознательность къ вопросамъ языка и заботы о внѣшней литературной обработкѣ стиля; и трудность исполненія задачъ, намѣченныхъ себѣ Российской академіей, увеличивалась тѣмъ, что решать эти задачи приходилось людямъ, которые вовсе и не готовились къ ихъ решенію. Тѣмъ не менѣе работы Академіи за это первое время должны занять почетное мѣсто въ исторіи изслѣдованій нашего языка. Передъ тѣмъ дѣло остановилось на трудахъ Ломоносова; Российская академія достойнымъ образомъ продолжала его работу; можно сказать, завершила ее. Какъ мы видѣли, во времена Ломоносова вопросъ объ отношеніи церковнаго и народнаго языка не былъ решенъ: Ломоносовъ старался сохранить въ книжномъ языкѣ большое участіе церковнаго элемента, какъ историческую связь съ прошлымъ, какъ обширный запасъ средствъ выраженія для высокаго слога, какъ прекрасный образецъ для дальнѣйшихъ образованій въ языкѣ; вмѣсть

¹⁾ Исторія Росс. Акад., т. I, стр. 13—14.

съ тѣмъ, хотя понизивъ чиномъ (т.-е. отводя въ средній и низкій штиль), онъ давалъ въ книгѣ мѣсто живой народной рѣчи,—и цѣлый литературный языкъ являлся въ видѣ средняго термина между этими двумя стихіями. Весь XVIII вѣкъ прошелъ въ безусловномъ теоретическомъ признаніи церковнаго языка, какъ главной, возвышенѣйшей части языка литературнаго, хотя на практикѣ живой языкъ все больше завоевывалъ себѣ мѣста въ книгѣ, пока наконецъ Карамзинъ заявилъ, что надо писать такъ, какъ говорятъ, хотя прибавлялъ, что и говорить надо такъ, какъ пишутъ. Шишковъ довелъ пропаганду церковнаго языка до тридцатыхъ годовъ нашего столѣтія, но Россійскую академію довелъ до каррикатуры, гдѣ русскую литературу представляли наконецъ Б. Федоровъ и знаменитый Красовскій... Но при всемъ признаніи авторитета церковнаго языка, XVIII-й вѣкъ чувствовалъ наплыvъ народной стихіи, преданіе видимо нарушалось, и наконецъ вопросъ требовалъ разрешенія; а для этого прежде всего необходимо было выяснить самый составъ тѣхъ элементовъ языка, о которыхъ шла рѣчъ, т.-е. опредѣливши грамматику (гдѣ чисто церковныя формы были уже устраниены самимъ употребленіемъ), собрать лексический материалъ языка церковнаго и русскаго съ его книжнымъ и разговорнымъ употребленіемъ. Такъ и поступила Академія. „Словарь Академіи Россійской“, въ силу преданія, не былъ словарь *русскаго языка*, какъ мы теперь его понимаемъ, а словарь языка церковно-славянскаго и русскаго; но онъ далъ материалъ и вмѣстѣ толчекъ къ окончательному разрешенію вопроса. Изъ церковнаго языка, для цѣлей книжной русской рѣчи, явно отпадалъ большой процентъ; съ другой стороны, явно выросталъ большой процентъ чисто русскаго запаса словъ и оборотовъ. Мы увидимъ дальше, что народная стихія силою вещей требовала себѣ литературнаго права: она не только все больше входила въ книгу въ видѣ словъ, уже имѣвшихъ право гражданства въ разговорномъ употребленіи, но и въ видѣ словъ *специально народныхъ, областныхъ*.

Когда составъ Академіи обозначился и сдѣланъ былъ первый приступъ къ работѣ, то оказалось, что людьми, наиболѣе или даже единственными способными къ этой работѣ, были не тѣ практическіе представители церковнаго языка, о которыхъ мы сейчасъ упоминали, а ученые академики, которыхъ мы встрѣчали на поприщѣ разнобразныхъ изученій Россіи и народа. Дѣло Россійской академіи оказалось въ рукахъ ученыхъ натуралистовъ; главными были — астрономъ и физикъ Румовскій; наши старые знакомцы — натуралисты, физики, математики, астрономы, Лепехинъ, Озерецковскій, Иноходцовъ, Соколовъ, Протасовъ, Котельниковъ, но въ особенности Лепехинъ, этотъ дѣятельный и благородный ученый, котораго Озерец-

ковскій называетъ „мужемъ въ честности святымъ“ ¹⁾, и который былъ непремѣннымъ секретаремъ Россійской академіи съ-ея основанія до его смерти. Историкъ Академіи не разъ отмѣчаетъ, что участіе натуралистовъ было для дѣла очень полезно: они не только расширяли лексический составъ словаря, обогащая его языкомъ научной терминологіи и обихода народной жизни, которую многіе изъ нихъ такъ внимательно наблюдали, но вносили пріемъ точнаго изслѣдованія въ вопросы словоизводства и грамматики, гдѣ прежде господствовалъ обыкновенно чистый произволъ.

Прежде всего надо было составить планъ для работъ по словарю; затѣмъ должно было слѣдовать собираніе словъ и приведеніе ихъ въ порядокъ, наконецъ обработка собранного материала. Составленіе общаго плана словаря было поручено Румовскому, фонъ-Визину и еще тремъ членамъ академіи; планъ былъ признанъ удовлетворительнымъ. Затѣмъ при распределеніи самой работы на первый разъ образовано было три отдѣленія или, какъ ихъ тогда назвали, три „отряда“: грамматикальный, объяснительный (определение значенія словъ, объясненіе ихъ синонимами, примѣрами и т. п.) и издательский. Впослѣдствіи, открывались новые стороны дѣла, для которыхъ устраивались новые отдѣлы. Такъ, въ словарь должны были войти слова изъ области наукъ, художествъ, ремесль, а также названія предметовъ естественныхъ, которыя всѣ „человѣкъ въ понятіи своеимъ вмѣстить не можетъ“; поэтому образованъ особый отдѣль для объясненія словъ техническихъ. Далѣе встрѣчались затрудненія при определеніи корней словъ, причемъ приходилось имѣть дѣло съ словами или формами, вышедшими изъ употребленія или потерявшими первоначальный смыслъ; поэтому устроенъ былъ особый отдѣль для работъ по словоизводству. Далѣе въ числѣ сообщеній отъ постороннихъ лицъ, въ Академію представленъ былъ сборникъ, составленный маюромъ Челищевымъ и заключавшій въ себѣ областныя слова, которыми могли бы быть замѣнены слова иностранныя; для разсмотрѣнія этого сборника составленъ былъ особый отдѣль. Для облегченія окончательной обработки словаря и его „изданія набѣло“ составленъ былъ новый отдѣль изъ 10 членовъ, разсматривавшій окончательно все, что было приготовлено общими трудами академиковъ ²⁾.

Обратимся къ частностямъ дѣла. Академія предположила прежде всего изданіе словаря этимологического, т.-е. расположеннаго по корнямъ словъ, къ которымъ присоединялись рядомъ слова производныя.

¹⁾ „Дневные Записки“ Лепехина, т. IV, посмертный, стр. 297.

²⁾ Исторія Росс. Акад., т. II, стр. 136—138; изложеніе плана академическихъ работъ у Лепехина, —тамъ же, стр. 284 и слѣд.

Мы видѣли, какъ распределены были подробности работы. Главными дѣятелями были названные выше ученые, вступившіе въ составъ Россійской академіи изъ Академіи наукъ. Кромѣ лицъ, которыхъ біографія намъ уже извѣстна, слѣдуетъ упомянуть объ одномъ ученомъ, который положилъ особенные труды на предпріятія Россійской академіи и вообще имѣлъ большое имя въ нашей наукѣ прошлаго столѣтія. Это былъ Степанъ Як. Румовскій (1734—1812): сынъ священника, онъ учился въ невской семинаріи, потомъ 14 лѣтъ поступилъ въ академической университетъ и, по окончаніи тамъ курса, посланъ былъ (1754) за границу, гдѣ работалъ два года въ Берлинѣ подъ руководствомъ Леонарда Эйлера ¹⁾). Вернувшись въ Росію, онъ началъ свою дѣятельность въ Академіи наукъ и, кромѣ специальныхъ трудовъ по астрономіи, физикѣ, метеорологіи въ академическихъ изданіяхъ, не мало работалъ по предметамъ естествознанія въ изданіяхъ популярныхъ. Въ 1761 году Румовскій сдѣлалъ путешествіе въ Сибирь, и въ Селенгинскѣ производилъ наблюденія надъ прохожденіемъ Венеры черезъ солнце; въ другой разъ ѿздилъ съ подобною цѣлью въ Колу, въ 1769. Наконецъ, онъ пріобрѣлъ большую извѣстность въ тогдашней литературѣ переводомъ Тацита ²⁾). Упомянемъ, наконецъ, что Румовскій долго завѣдывалъ такъ-называемымъ географическимъ департаментомъ, и большой научной заслугой его считается изданіе географическихъ положеній (1786). Въ 1803 году Румовскій назначенъ былъ попечителемъ казанского учебнаго округа и былъ также членомъ главнаго правленія училищъ ³⁾.

Переводъ Тацита, сдѣланный астрономомъ и считавшійся классическимъ, даетъ новый примѣръ той многосторонности занятій и интересовъ, какая нерѣдко отличала ученыхъ XVIII вѣка, въ томъ числѣ и нашихъ. Они неизмѣнно проходили классическую школу и надолго сохраняли ея преданія, чего именно въ наше время искусственно усиленного классицизма и не бываетъ. Многосторонность была кстати для той дѣятельности, которая неожиданно открылась для нашихъ астрономовъ, физиковъ, натуралистовъ и ученыхъ путе-

¹⁾) Впослѣдствіи Румовскій перевелъ знаменитыя „*Lettres à une princesse*“ своего учителя на русскій языкъ: „Письма о разныхъ физическихъ и филозофическихъ материахъ, писанныя къ нѣкоторой нѣмецкой принцессѣ, юсъ французскаго языка на россійскій переведенныя Степаномъ Румовскимъ“, Спб. 1-я часть вышла въ томъ же году, какъ и подлинникъ, именно въ 1768; 2-я и 3-я въ 1772—1774. Въ 1796 году вышло четвертое изданіе этого перевода.

²⁾) „Лѣтопись К. Корнелія Тацита“, 4 тома, Спб. 1806—1809.

³⁾) О попечительствѣ Румовскаго въ Казани, не весьма удачномъ, см. обстоятельная свѣдѣнія въ книгѣ И. Булича: „Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго университета (1805—1819). Разсказы по архивнымъ документамъ“. Казань, 1887.

шественниковъ съ основаніемъ Россійской академіи. Ихъ труды со-
ставили главную основу ея дѣятельности и главную ея заслугу.

Это относится всего болѣе къ Румовскому, Лепехину, Озерецков-
скому и Иноходцову.

Румовскій былъ уже съ самаго начала одинъ изъ главныхъ участ-
никовъ при составленіи первого плана, по которому Академія пред-
приняла свои работы по словарю. Затѣмъ онъ принялъ участіе и
въ самой работѣ, и былъ членомъ отдѣловъ: объяснительного, тех-
нического, словопроизводного, областного, редакціоннаго и общаго,
замѣнившаго собою потомъ почти всѣ другіе отдѣлы. Въ частности,
онъ взялъ на себя выборъ словъ изъ старого Новгородскаго лѣто-
писца, изданнаго тогда Новиковымъ; взялъ на себя одну букву сло-
варя и объясненіе словъ, относящихся къ математикѣ и астрономіи;
разсматривалъ съ другими сотрудниками сборникъ Челищева; съ
Иноходцовымъ и Озерецковскимъ назначенъ былъ въ такъ-называемый
издательный отдѣлъ, которому поручена была окончательная обра-
ботка словаря. Впослѣдствіи, когда этимологическій словарь былъ
оконченъ и изданъ, и имѣлъ большой успѣхъ, Академія предпри-
няла составленіе другого словаря уже не въ словопроизводномъ, а
въ азбучномъ порядкѣ, и Румовскій былъ опять приглашенъ къ этой
новой работѣ. Планъ новаго словаря былъ составленъ имъ и Озе-
рецковскимъ, и онъ былъ членомъ комитета, которому поручено было
все веденіе дѣла. Впослѣдствіи, Румовскій названъ былъ первымъ
въ числѣ академиковъ, трудамъ которыхъ Академія обязана состав-
леніемъ и довершениемъ азбучнаго словаря. Изъ протоколовъ Ака-
деміи видно, что онъ, Румовскій, принималъ самое дѣятельное уча-
стіе въ работахъ; любопытно, что у него уже возникала мысль объ
исторіи языка ¹⁾.

Не менѣе, если еще не больше Румовскаго, трудился въ Акаде-
міи Лепехинъ. Этотъ профессоръ натуральной исторіи и докторъ ме-
дицины выбранъ былъ непремѣннымъ секретаремъ Академіи и оста-
вался имъ до конца своей жизни. Собственно по уставу полагалось

¹⁾ „Оставаясь въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ на общемъ уровнеѣ филологическихъ и литературныхъ понятій того времени,—говорить г. Сухомлиновъ,—Румовскій возвы-
шался надъ ними научною основательностью своихъ соображеній и требованій; онъ
созналъ необходимость обращаться къ исторіи языка, приводилъ свидѣтельства изъ
древнихъ и старинныхъ памятниковъ, и для объясненія свойствъ и корней русскаго
языка указывалъ на родственные ему славянскіе. Въ литературныхъ сужденіяхъ Ру-
мовскаго слышится голосъ человѣка мыслящаго, щедро надѣленнаго здравымъ смы-
ломъ, и выѣтъ съ тѣмъ проглядываетъ иронія, которая составляетъ одну изъ осо-
бенностей его мысли, обнаруживалась во многомъ, что выходило изъ-подъ его пера—
отъ задушевной переписки съ друзьями до офиціальныхъ бумагъ, отправляемыхъ
въ различныя вѣдомства“. Ист. Росс. Акад., II, стр. 135.

два непремѣнныхъ секретаря, но Лепехинъ не имѣлъ помощника и исполнялъ всю работу одинъ. Работа была сложная — веденіе всего распорядка академическихъ занятій и собственные труды по словарю. Лепехинъ принималъ самое дѣятельное участіе въ составленіи словопроизводного словаря, и работалъ по всѣмъ главнымъ отдѣламъ предпріятій Академіи: онъ взялъ на себя собраніе словъ по нѣсколькимъ буквамъ словаря, объяснялъ „всѣ слова, изъявляющія естественные произведенія въ отечествѣ нашемъ“, также орудія, употребляемыя въ рыбныхъ и звѣриныхъ промыслахъ, причемъ воспользовался для научной номенклатуры множествомъ народныхъ названій¹⁾; онъ представилъ также собраніе и опредѣленіе словъ, вошедшихъ въ нашъ языкъ изъ языковъ азіатскихъ; въ вопросахъ о происхожденіи словъ, особенно сложныхъ, Лепехинъ, какъ и Румовскій, указывалъ на родственную связь русскаго языка съ языками славянскими. Издание этимологическаго словаря исполнено было Лепехинымъ и его сотоварищами, Румовскимъ, Иноходцовымъ и Озерецковскимъ. Впослѣдствіи ему поручено было также и издание словаря азбучнаго²⁾.

Очень дѣятельнымъ работникомъ былъ Озерецковскій. Мы упоминали уже обѣ участіи его въ разныхъ трудахъ по словарю: онъ былъ членомъ отдѣловъ объяснительного и издательского, доставляя слова для словаря этимологическаго и азбучнаго, предпринятаго въ 1794 году; опредѣляя слова, употребляемыя въ русскомъ языкѣ для названія болѣзней; впослѣдствіи при новой обработкѣ академическаго словаря (1814—1815) взялъ на себя собрать слова неизвѣстныя, необыкновенныя или мало употребительныя по ботаникѣ и т. д.

Подобнымъ образомъ трудились для словарей другіе натуралисты — Иноходцовъ, Соколовъ, Котельниковъ, Протасовъ, которые также были членами Россійской академіи. Такъ математикъ Сем. Кир. Котельниковъ (1723 — 1806) объяснялъ слова, относящіяся къ опредѣленію мѣры, вѣса и денегъ; Алексѣй Прот. Протасовъ, медикъ и анатомъ (1724—1796), опредѣляя „слова, до тѣлораззятія касающіяся и употребляемыя въ книгопечатнѣхъ“, также слова, относящіяся къ болѣзнямъ; Никита Петр. Соколовъ, названный нами раньше, участвовалъ въ работахъ техническаго отдѣла и взялъ на себя объясненіе словъ по химіи и фармаціи. Выше мы упоминали нѣсколько разъ о трудахъ Иноходцова: онъ былъ вообще однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ Россійской академіи, куда избранъ

¹⁾ Историкъ Россійской академіи взялъ на себя трудъ выбрать изъ „Дневныхъ Записокъ“ Лепехина длинный списокъ словъ, относящихся къ номенклатурѣ растений и животныхъ. Т. II, стр. 483—514.

²⁾ Исторія Росс. Академіи, т. II, стр. 280—293.

былъ въ 1785 году „по извѣстному его знанію россійскаго слова“, и много работалъ по обоимъ словарямъ Академіи и въ частности объяснялъ слова, относящіяся до математики. Далѣе, въ работахъ Академіи принимали участіе многіе другіе ученые и писатели, между которыми особенно должно назвать Болтина.

Въ работахъ Россійской академіи Болтингъ принялъ очень дѣятельное участіе (въ 1784—91 годахъ). Онъ былъ членомъ главнаго редакціоннаго комитета, дававшаго окончательную обработку всему собранному материа1у, и одинъ изъ первыхъ получилъ за свои труды золотую медаль отъ Академіи. Его мнѣнія очень цѣнились, потому что дѣйствительно въ средѣ академиковъ онъ былъ одинъ изъ лучшихъ (конечно, эмпирическихъ) знатоковъ русскаго языка, старого книжнаго и народнаго. Очень любопытнымъ и самымъ важнымъ по Россійской академіи трудомъ Болтина были его замѣчанія на первоначальный планъ академическаго словаря (составленный безъ его участія). Замѣчанія Болтина видимо произвели впечатлѣніе на академиковъ: онъ были новы и сильны, разборъ ихъ занялъ нѣсколько засѣданій, въ которыхъ академики не разъ менѣли свои рѣшенія—и въ концѣ концовъ во многомъ согласились съ Болтинымъ. Присмотрѣвъ его замѣчанія, можно видѣть, что его вмѣшательство очень расширило первоначальный планъ: составленный сначала въ тѣсномъ книжническомъ духѣ, планъ долженъ былъ раздвинуть свои рамки и дать больше места языку жизни и народному элементу¹⁾. Академические отчеты при словарѣ отмѣчаютъ „полезные совѣты“, которые Болтингъ подавалъ своими „примѣчаніями“; упоминаютъ, что онъ сообщилъ „выписанныя имъ въ великомъ числѣ слова изъ многихъ книгъ славянскихъ, яко плодъ долговременныхъ трудовъ своихъ“.

Припомнимъ еще профессора Десницкаго, избраннаго въ Академію при самомъ началѣ: въ работахъ по словарю онъ взялъ на себя выборъ словъ изъ древнихъ памятниковъ, напримѣръ, изъ Судебника Алексея Михайловича, „Устава“ Ивана Васильевича и Русской Правды.

Въ собираніи и объясненіи словъ участвовали, далѣе, авторитетные писатели: Державинъ, фонъ-Визинъ, Княжнинъ, Богдановичъ (сообщившій, между прочимъ, сдѣланное имъ собраніе народныхъ словъ и поговорокъ), историкъ кн. Щербатовъ, Янковичъ де-Миріево, гр. А. И. Мусинъ-Пушкинъ (сообщившій „изъясненія на нѣкоторыя древнія слова“), Ив. Сем. Захаровъ (сообщившій „нѣкоторыя слова, плотниками и каменщицами употребляемыя“ и „нѣкоторыя во псовой охотѣ извѣстныя“). Далѣе, въ трудахъ Академіи участвовали вы-

¹⁾ См. въ Ист. Росс. Акад., V, стр. 277 и слѣд.

сокопоставленныя духовныя лица: митрополитъ новгородскій Гавріиль, архієпископы исковскій Иннокентій, екатеринославскій Амвросій, епископы воронежскій Иннокентій, орловскій Аполлосъ, нижегородскій Навель; нѣсколько ученыхъ іереевъ: Ив. Ив. Памфиловъ, Іоаннъ Красовскій, Вас. Григорьевъ, Вас. Данковъ, Савва Исаевъ и др. Объ участіи высокопоставленного духовенства отчеты, помѣщавшіеся при словарѣ, выражаются такъ: „рачительно удостоиваль своими посѣщеніями академическія собранія“, „на нѣкоторыя сумнительныя словъ знаменованія сообщалъ свои изъясненія“; „примѣчаніями своими вспомоществовалъ общему труду“; просто „сообщалъ свои примѣчанія“, и т. п. Наконецъ, трудамъ Академіи не остались чужды и нѣкоторые государственные люди, какъ, напр., Ив. Ив. Шуваловъ, гр. А. С. Строгановъ, П. А. Соймоновъ, О. П. Козодавлевъ, И. И. Мелліссіно, А. А. Ржевскій. Сама „предсѣдатель“ Академіи, кн. Дацкова, какъ говорятъ отчеты, „по отмѣнному усердію своему къ преуспѣянію общаго труда предсѣдательствовала непрерывно во всѣхъ Академіи собраніяхъ“ и въ частности „дѣлала объясненія къ словамъ, нравственныя качества изображающимъ“. Работы въ Академіи не помогли ей, однако, правильно писать свою фамилію, которую она упорно писала: „Дашкава“.

При опредѣленіи характера словаря Россійской академіи въ особенности любопытно ея отношеніе къ народному языку. Какъ ни были склонны тогдашніе знатоки языка къ преувеличенію значенія церковнаго элемента въ литературномъ языѣ, языкъ народный захватывалъ въ словарѣ главное мѣсто. То обстоятельство, что законодательство въ языѣ досталось здѣсь въ руки натуралистовъ, было очень благопріятно для признанія этого права народнаго языка: они не были церковными книжниками и школа не дала имъ пристрастія къ церковности; какъ ученые изслѣдователи, они приготовлены были предположить въ языѣ известныя естественныя требования и законы историческіе, о которыхъ иные изъ нихъ и догадывались¹⁾; въ своихъ путешествіяхъ они встрѣчали подлинную народную жизнь, видѣли воочію богатство и разнообразіе народной рѣчи, и имъ естественно представлялась мысль, что это богатство не должно было лежать втухъ и оставаться мертвымъ капиталомъ,—напротивъ, оно должно стать общимъ достояніемъ, послужить обогащеніемъ для всего русскаго языка. Задолго до предпріятій Академіи, въ запискахъ

¹⁾ Выше мы упоминали это о Румовскомъ. Лепехинъ, объясняя планъ работы Академіи по словарю, дѣлаетъ такое замѣчаніе о старинныхъ словахъ: „занимаются древнія слова, хотя на первый случай неудоборазумительнымъ кажущіеся, откроютъ со временемъ обширное поле къ размышленіямъ или объ историческихъ истинахъ или о древности языка праотцевъ нашихъ“. Исторія Росс. Акад., т. II, стр. 288.

нашихъ путешественниковъ было уже впередъ собрано много народнаго материала — въ разсказахъ о народномъ бытѣ, о разныхъ формахъ народнаго труда, и въ передачѣ пародной номенклатуры растеній, животныхъ и всякихъ произведеній природы. Все это было прямой материалъ для словаря, но этимъ дѣло не ограничивалось: вскорѣ представился вопросъ о специальному народномъ языкѣ, о мѣстныхъ нарѣчіяхъ и словахъ областныхъ. Мы упоминали выше, что вопросъ о нарѣчіяхъ русскаго языка занималъ уже Ломоносова, и онъ предполагалъ, что эти нарѣчія должны внести свой вкладъ въ общую литературную рѣчь русскаго народа¹⁾; Тредьяковскій хотя въ аляповатой формѣ, но признавалъ несомнѣнно важность народнаго языка. Въ первой половинѣ прошлого вѣка русскія грамматическія формы уже окончательно одержали верхъ въ книгѣ надъ церковными; больше и больше проникалъ въ книгу и лексический составъ народнаго языка; продолжали еще появляться новые словообразованія по церковному образцу, но рядомъ шло и образованіе новыхъ словъ въ духѣ народнаго. Московское Вольное собраніе, предварившее планы Российской академіи, уже признало нужнымъ воспользоваться для словаря мѣстными особенностями русскаго языка и приступило къ собранію „рѣдкихъ словъ, въ Москвѣ малоизвѣстныхъ“. Будущіе члены Российской академіи ученые путешественники еще ранѣе понимали важность народнаго и мѣстнаго языка. На нихъ обратилъ вниманіе Лепехинъ; Озерецковскій приводитъ подробности мѣстнаго говора на съверѣ, записываетъ мѣстныя слова, относящіяся къ явленіямъ природы и народному быту, и часто приводитъ подобныя слова въ своихъ латинскихъ мемуарахъ въ изданіяхъ Академіи наукъ²⁾. Астрономъ Иноходцовъ доставилъ въ Россійскую академію сборникъ областныхъ словъ, относящихся къ ремесламъ, промысламъ, обрядамъ и обычаямъ въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи; сборникъ этотъ сдѣланъ былъ имъ во время его путешествій³⁾. Мы упоминали выше, что цѣлый сборникъ областныхъ словъ былъ сообщенъ Академіи нѣкіимъ маіоромъ Челищевымъ: этотъ сборникъ тѣмъ любопытнѣе, что со-

¹⁾ Въ мнѣніи своемъ о Шлѣцерѣ, Ломоносовъ упрекаетъ его, что онъ — новичокъ еще въ россійскомъ языке, „а напротивъ того, представиль бы себѣ иѣкоего изъ нашихъ природныхъ, которой съ малолѣтства спозналъ общей Россійской и Славянской языки, а достигши совершенного возраста съ прилежаніемъ прочелъ почти всѣ, древнимъ славено-моравскимъ языкомъ, сочиненныя и въ церкви употребительныя книги. Сверхъ того, довольно знаетъ всѣ провинциальные диалекты здѣшней имперіи, также слова, употребляемыя при дворѣ между духовенствомъ и между простымъ народомъ, разумѣя притомъ польской и другіе съ россійскимъ сродные языки“. Билярскій, Матеріалы для біографіи Ломоносова. Спб. 1865, стр. 703.

²⁾ Ист. Росс. Акад., т. II, стр. 336—340.

³⁾ Тамъ же, т. III, стр. 234, 243, 247—251.

ставлялся, видимо, совсѣмъ независимо отъ Академіи, опять по собственной иниціативѣ собирателя ¹⁾.

Въ Россійской академіи этотъ вопросъ долженъ былъ потребовать яснаго рѣшенія, и былъ рѣшенъ, кажется, только по упомянутому вмѣшательству Болтина. На первый разъ Академія рѣшила было совсѣмъ не допускать въ словарь подобныхъ словъ. Въ первоначальномъ планѣ было сказано: „*московское нарѣчіе* предпочитать прочимъ, а провинціальный и *неизвѣстныя въ столицахъ* слова и реченія *не должны* имѣть въ словарѣ мѣста“. Въ этомъ постановлѣніи хотѣли, кажется, слѣдовать мыслямъ Ломоносова объ этомъ предметѣ (хотя его настоящія мысли были не совсѣмъ таковы). Но Болтінъ рѣшительно возсталъ противъ такого мнѣнія: онъ не былъ согласенъ съ нимъ ни относительно предпочтенія московскаго нарѣчія, ни относительно словъ, неизвѣстныхъ въ столицѣ. „Нельзя сказать вообще, — писалъ онъ въ своихъ замѣчаніяхъ, — чтобы нарѣчіе московское прочимъ предпочитать довѣло, ибо въ числѣ реченій, московскими уроженцами употребляемыхъ, есть многія изуродованныя, непригожія и устанившіяся отъ чистаго языка и отъ правильнаго выговора... Также и провинціальный слова, неизвѣстныя или неупотребляемыя въ столицахъ, напрасно изгонять изъ словаря, понеже нѣкоторыя изъ нихъ послужатъ къ обогащенію языка, каковы суть: луда, тундра и проч. Другія, прямо отъ славянскаго языка начало свое ведущія (каковыхъ въ новгородскомъ и малороссійскомъ множествѣ есть), могутъ послужить къ объясненію производства другихъ словъ, въ общемъ употребленіи находящихся. А нѣкоторыя могутъ употребляемы быть въ сочиненіяхъ издѣвочнаго рода, а особливо, гдѣ надобно будетъ заставить поселянина говорить. У малороссіянъ есть многія собственные слова и названія, кои во всякихъ судопроизводствахъ и сдѣлкахъ употребляются. У белоруссовъ также есть собственные названія и реченія, нигдѣ кромѣ Бѣлоруссіи не употребляемыя, но необходимо нужныя къ свѣдѣнію для всѣхъ вообще, по причинѣ употребленія ихъ во всякихъ письмахъ. Всѣ таковыя реченія, хотя не повсемѣстно употребляемыя, но могущія для всѣхъ вообще быть нѣкогда потребны къ свѣдѣнію, должны въ словарѣ имѣть мѣсто. Подъ именемъ словаря разумѣется такая книга, въ которой не одни отборные и употребительныя, но и *всякородныя слова*, т.-е. добрыя и худыя, низкія и благородныя, употребительныя и неупотребитель-

¹⁾ Это былъ тотъ другъ Радищева, о которомъ вспоминала импер. Екатерина по поводу книги послѣдняго. Общество любителей древней письменности издало подъ редакціей Л. Майкова любопытное путешествіе этого Челищева на сѣверъ Россіи, въ концѣ XVIII-го вѣка.

ныя (кромѣ неблагопристойныхъ токмо) помѣщены быть имѣютъ право“.

Въ Академіи было не мало людей, которые считали нужнымъ „вычищать“ языкъ и, вѣроятно, желали помѣщать въ словарь именно отборныхъ слова. Теперь Академія отказалась отъ первопачального своего предположенія и приняла было мнѣніе Болтина почти цѣликомъ; а именно, постановила: держаться московскаго нарѣчія; но съ тѣмъ, чтобы *никоторыя неправильности* его въ словахъ и выраженияхъ „исправить по выговору и произношенію св. писанія (?) и другихъ славянскихъ книгъ“; областные слова вносить *всю безъ изъятія*. Что такое „выговоръ и произношеніе св. писанія“, — было не совсѣмъ вразумительно, и рѣшеніе относительно областныхъ словъ черезъ чурь поспѣшно. При дальнѣйшемъ пересмотрѣ предмета, постановленіе о московскомъ нарѣчіи осталось безъ измѣненія, а относительно словъ областныхъ рѣшено: вносить не всю областные слова, а только тѣ, которые служатъ названіями для вещей, орудій и т. д., въ столицахъ неизвѣстныхъ, а также и тѣ, которые поведутъ къ обогащенію языка, или же изяществомъ своимъ превосходятъ слова, употребляемыя въ столицахъ для названія тѣхъ же предметовъ¹⁾.

Лешехинъ, объясняя съ своей стороны планъ работы по словарю, указываетъ, что Академія, имѣя своими сотрудниками „многихъ въ знаніи отечественнаго языка искусствныхъ мужей, какъ здѣсь (въ Петербургѣ) пребываніе свое имѣющихъ, такъ и по разнымъ мѣстамъ въ отдаленности отсюда живущихъ“, ожидала отъ послѣднихъ, что они прибавятъ къ ея матеріалу и *нарѣчія*, употребительныя въ отдаленности отъ столицы; значеніе областныхъ словъ для словаря объясняется такъ: „въ отдаленности отъ столицъ употребляемыя слова и названія орудій, художникамъ, ремесленникамъ и промышленникамъ извѣстныя, послужатъ къ замѣнѣ введенныхъ словъ иностранныхъ“²⁾.

Академія была права въ своей разборчивости (хотя понятія ея о дѣлѣ все еще были неясны): въ тогдашнихъ условіяхъ, обогащеніе книжного языка массою словъ, принадлежащихъ мѣстному быту и не заходившихъ дальше своего края, было, пожалуй, преждевременно, т.-е. непосильно для литературы, и значеніе областныхъ словъ и нарѣчій для объясненія цѣлаго языка и его исторіи было мало по-

¹⁾ Ист. Росс. Акад. V, стр. 284—286.

²⁾ Въ другомъ случаѣ говорится, что изъ областныхъ словъ предполагали воспользоваться для словаря тѣми, которые „свою ясностію, силою и краткостію могутъ служить къ обогащенію языка или означаютъ тѣхъ странъ произведенія или, наконецъ, могутъ послужить къ замѣнѣ словъ иностранныхъ“. Ист. Росс. Акад. II, 286—287; Ш, стр. 247.

иятно. Но эта мысль объ областномъ языке во всякомъ случаѣ любо пытна въ исторіи нашего литературнаго языка, какъ предчувствіе будущаго преобладанія народнаго элемента: развитіе новаго литературнаго языка находило живой источникъ именно въ народной рѣчи, и проводниками ея въ литературу, рядомъ съ лучшими писателями того времени, являются именно ученые люди, лучшіе представители „западнаго“ образованія въ нашемъ обществѣ, и притомъ—особенно натуралисты.

Результатомъ всѣхъ этихъ трудовъ былъ извѣстный этимологіческій словарь Россійской академіи, изданный въ 1798—1794 г. ¹⁾). Вмѣстѣ съ этимъ Академія, какъ выше упомянуто, предприняла другой словарь, въ азбучномъ порядкѣ. За него взялись тѣ же ученые (Лепехинъ не дожилъ до начала его печатанія), и словарь изданъ былъ уже въ новомъ періодѣ дѣятельности Академіи ²⁾.

Въ тѣ же годы было задумано и совершено еще одно предпріятіе по языкоизданію, а именно, въ 1784 имп. Екатерины „предпріяла по собственному своему начертанію собирать словарь *всѣхъ извѣстныхъ языковъ*“. Это предпріятіе внушило было, съ одной стороны, возникшимъ тогда интересомъ къ общимъ историческимъ вопросамъ о человѣчествѣ, о первобытныхъ временахъ, первопачальныхъ формахъ обществъ и т. п.; съ другой, такъ сказать, мѣстными соображеніями. Вопросъ могъ быть особенно любопытенъ для русской императрицы: „Въ ея одномъ национальнѣйшемъ владѣніи,—говорится въ предисловіи къ этому словарю,—не считая мало разнствующія между собою нарѣчія, говорять болѣе нежели шестьдесятъ языками, изъ коихъ многіе, напаече въ Кавказѣ и Сибири, ученымъ понынѣ еще вовсе познаны“. Такимъ образомъ, и этотъ словарь имѣлъ отношеніе къ изученію Россіи: въ словарѣ являлся и русскій языкъ, рядомъ съ нарѣчіями другихъ славянскихъ племенъ, что давало возможность нагляднаго сличенія, и указанія о языкахъ множества русскихъ инородцевъ. Предисловіе указываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что иностранные языки и нарѣчія изъ всѣхъ частей свѣта никогда еще не были собраны въ такомъ множествѣ въ видѣ словаря. Словарь предполагался въ двухъ отдѣлахъ: первый долженъ былъ заключать языки европейскіе, азіатскіе и острововъ южнаго океана; второй—

¹⁾ Словарь Академіи Россійской. Часть I, отъ А до Г. Спб. 1789. Часть II, отъ Г до З, 1790; часть III, отъ З до М, 1792; часть IV, отъ М до Р, 1793; часть V, отъ Р до Т, 1794; часть VI, отъ Т до конца, 1794. 4°. Въ каждомъ томѣ до 1,200 столбцовъ; въ концѣ каждого тома алфавитный списокъ всѣхъ словъ, упомянутыхъ въ томѣ, съ указаніемъ столбца для отысканія въ словарѣ словоизводномъ.

²⁾ Словарь Академіи Россійской, по азбучному порядку расположенный, 6 частей Спб. 1806—1822.

языки африканские и американские. Редакция издания была поручена знаменитому Палласу, и первое отдельение словаря вышло въ 1787—89 годахъ¹⁾.

Въ предисловии объяснено, изъ какихъ источниковъ заимствованы слова—они брались частью изъ путешествий или „путешественныхъ описаній“, и изъ рукописныхъ словарей и сочинений; число всѣхъ языковъ въ изданномъ словарѣ доходило до 200, и половина сборника, по словамъ Палласа, составлена была самой императрицей. Что касается исполненія словаря, сравненіе языковъ было чисто виѣшнее, механическое: изъ множества языковъ были собраны, по источникамъ болѣе или менѣе достовѣрными или недостовѣрными (и никакъ не проверенными), отдельные слова и расположены подъ рубрики понятій отвлеченныхъ и названій реальныхъ предметовъ, напр.: Богъ, лебо, отецъ, мать, сынъ, дочь... человѣкъ, голова, лицо, глазъ... слово, сопѣ, любовь, трудъ, боль, сила, власть, бракъ... солнце, мѣсяцъ, звѣзда... гора, долина, огонь, глубина, высота и т. д.; названія нѣсколькоихъ растеній, животныхъ, качественные прилагательные, нѣсколько глаголовъ, наконецъ, числительные имена; всѣхъ рубрикъ было 285.

Словарь изданъ былъ въ небольшомъ числѣ экземпляровъ, которые разосланы были европейскимъ дворамъ и знаменитѣшимъ ученымъ; только 40 экз. пошли въ продажу. Словарь не могъ такимъ образомъ получить обширного распространенія, и вообще нельзя сказать, чтобы имѣлъ успѣхъ. Онъ вызвалъ довольно много отзывовъ въ европейской печати, съ обязательными панегириками,—но, какъ ни слабо еще было научное пониманіе дѣла, явилась и настоящая критика. Послѣдняя не могла не обратить вниманія, съ одной стороны, на то, что источники словаря оставались совершенно не проверенными, и самыя слова брались не всегда въ точномъ соотвѣтствіи съ переводимымъ понятіемъ или названіемъ предмета; съ другой, на то, что такой же произволъ господствовалъ и въ русской транскрипціи. Имп. Екатерина, повидимому, поняла всю важность сдѣланныхъ возраженій и не увлеклась восхваленіями другихъ критиковъ; по крайней мѣрѣ, полагаютъ, что критика охладила ея намѣреніе продолжать словарь: второе отдельеніе его, которое должно было заключать языки африканские и американские, осталось неизданнымъ²⁾.

¹⁾ „Сравнительные словари всѣхъ языковъ и нарѣчий, собранные десницею все-высочайшей особы. Отдѣленіе первое, содержащее въ себѣ европейскіе и азіатскіе языки. Часть первая“. Спб., 1787. 4°, 6 и 411 стр. Часть вторая. Спб. 1789, 491 и 4 стр. Заглавіе и предисловіе переведены также по латыни: *Linguarum totius orbis Vocabularia comparativa, Augustissimae cura collecta* и пр. Предисловіе подписано Палласомъ.

²⁾ Наиболѣе серьезныя возраженія противъ словаря сдѣланы были въ статьѣ

Между тѣмъ, собрался матеріаль и для второй части; но Екатерина уже не хотѣла заниматься этимъ дѣломъ, и самъ Палласъ, кажется, тоже очень почувствовалъ неудачу; новая работа была передана Янковичу де-Миріево, извѣстному своими трудами по главному правленію училищъ. Матеріаль первого словаря съ прибавленіемъ языковъ африканскихъ и американскихъ (причёмъ цифра всѣхъ сравниваемыхъ языковъ возрасла съ 200 до 279) былъ расположенъ въ азбучномъ порядкѣ¹⁾. При словарѣ нѣть никакихъ объясненій—не указаны ни его источники, ни даже имя составителя; въ началѣ прибавленіе только листокъ съ объясненіемъ особыхъ значковъ при буквахъ—для большей точности транскрипціи²⁾.

Еще одинъ предметъ занялъ пашихъ ученыхъ XVIII вѣка. Это—исторія литературы или, какъ тогда говорили, ученая исторія, опять новое проявленіе научнаго интереса, неизвѣстнаго старымъ временамъ, новый фактъ развивавшейся потребности историческаго изданія. И здѣсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, XVIII вѣкъ имѣлъ отчасти своихъ предшественниковъ; но, какъ всегда, факты XVII вѣка были слабой, неопределеннай поштквой, которая въ XVIII вѣкѣ является уже съ болѣе точной и ясной научной подкладкой. Въ XVII вѣкѣ, какъ извѣстно, сдѣланъ былъ опытъ собрать факты русской литературы; это—„Оглавленіе книгъ, кто ихъ сложилъ“, простой библіографіческій списокъ, Сильвестра Медвѣдева, ученаго человека своего времени. Теперь, опыты литературной исторіи начинаютъ принимать форму критического изслѣдованія, не въ томъ смыслѣ, копечно, какъ понимается исторія литературы въ наше время (она понималась тогда только, какъ біографія и библіографія), но уже съ очевиднымъ желаніемъ точно собирать факты и объяснять главные явленія литературной исторіи. Первый ученый, работавшій въ этомъ направленіи, былъ Іоганнъ-Петръ Коль (ум. 1778), вызванный въ Россію въ числѣ первыхъ академиковъ. Коль пробылъ очень недолго въ Петербургѣ (1725—1727), но успѣлъ воспользоваться этимъ

кенигсберского профессора Крауса: однако, Екатерина послала ему въ подарокъ брилліантовый перстень.

¹⁾ „Сравнительный словарь всѣхъ языковъ и нарѣчий по азбучному порядку расположенный“. Четыре части. Спб. 1790—1791, 4⁰. Въ томахъ страницъ около 500, въ каждомъ.

²⁾ Подробная исторія этихъ словарей, также прежнихъ изслѣдовавій русскихъ и работавшихъ въ Россіи иѣменскихъ ученыхъ по части лингвистики (со времени Петра В.), отзывы ученой критики и пр. собрали въ книгѣ Фр. Аделунга: *Catherinen's der Grossen Verdienste um die vergleichende Sprachenkunde*, St.-Pet. 1815 2⁰. XIV и 210 стр.

короткимъ пребываніемъ, чтобы приобрѣсти свѣдѣнія въ русскомъ языке и старинѣ: уже вскорѣ по возвращеніи въ Германію, онъ издалъ книгу, которая была въ сущности первымъ историко-литературнымъ трудомъ по нашей книжной древности¹⁾). Какъ нѣмецкіе ученые путешественники пролагали путь русскимъ ученымъ въ изслѣдованіяхъ нашей страны, природы и быта, какъ Байеръ, Миллеръ, Шлѣцеръ содѣйствовали первому установленію исторической критики, такъ Коль былъ первымъ примѣромъ нѣмецкаго „гелертера“, положившаго свой трудъ на изученіе нашей книжной древности. Вопросы русской литературной исторіи вообще занимали нѣмецкихъ ученыхъ, работавшихъ при Академіи наукъ. Въ историческихъ трудахъ Шлѣцера является историко-литературная критика старыхъ памятниковъ; новѣйшая литература русская занимала Штелина, а въ особенности Бакмейстера, въ трудахъ котораго²⁾ собрано много важныхъ свѣдѣній для исторіи нашей науки и литературы прошлаго вѣка. Очень рано мысль объ исторической судьбѣ языка и литературы является у русскихъ писателей. Мы упоминали выше, какъ Тредьяковскій находилъ уже историческій источникъ настоящаго русскаго стиха въ „поэзіи нашего простого народа“; его рѣчъ при открытии Россійского собранія (1735) вызвала письмо Татищева (1736), гдѣ затрагиваются исторические вопросы русской литературы; эти послѣдніе прямо ставить Тредьяковскій въ своей статьѣ 1755 года „О древнемъ, среднемъ и новомъ стихотвореніи россійскомъ“, какъ и въ „Разговорѣ объ ортографіи“ 1747 года³⁾). Въ 1768 г. въ одномъ лейпцигскомъ журналь явилось безъ имени автора „Извѣстіе о нѣкоторыхъ русскихъ писателяхъ“, которое вышло потомъ во французскомъ переводе отдельной книжкой (въ Ливорно, 1771 и 1774). Этотъ переводъ въ наше время былъ вновь розысканъ и перепечатанъ (1851) извѣстнымъ библіографомъ С. Д. Полторацкимъ, а затѣмъ явился на русскомъ языке⁴⁾). По новѣйшимъ изслѣдованіямъ, это „Извѣстіе“ со-

¹⁾ Johannis Petri Kohlii, *Introductio in historiam et rem literariam Slavorum imprimis sacram, sive historia critica versionum slavonicarum maxime insignium, nimirum Codicis sacri et Ephremi Syri, duobus libris absoluta*. Альтона, 1729.

²⁾ Russische Bibliothek zur Kenntniss des gegenwrtigen Zustandes der Literatur in Russland (два тома, 1772—87); *Essai sur la Biblioth que et le Cabinet des curiosit es et d'histoire naturelle de l'Acad mie etc.* (1776), и др.

³⁾ Ср. Пекарскаго, Ист. Акад. Наукъ, т. II, стр. 50—52, 120, 177 и слѣд.

⁴⁾ *Neue Bibliothek der sch nen Wissenschaften und der freien K nste*, Leipzig. 1768. VII Bd., *Nachricht von einigen russischen Schriftstellern* и пр.; *Essai sur la litt rature russe, contenant une liste des Gens de lettres russes qui se sont distingu s depuis le r gne de Pierre le-Grand*. Par un Voyageur russe. A Livorne, 1771, и 1774. Перепечатка Полторацкаго въ петербургскомъ журналь *Revue Etrang re* 1851, октябрь; русскій переводъ въ Библіогр. Запискахъ, 1861, т. III. Новое изданіе въ „Материалахъ для исторіи русской литературы“, II. А. Ефремова. Спб. 1867.

ставлено было знаменитымъ актеромъ Дмитревскимъ, который былъ также писателемъ и жилъ за границей во время напечатанія этой статьи. „Ізвѣстіе“ было первымъ началомъ нѣсколько дѣльныхъ обзоровъ русской литературы, и между прочимъ появленіе его побудило къ подобному труду Новикова, который издалъ въ 1772 свой „Опытъ исторического словаря о россійскихъ писателяхъ“¹⁾.

Подъ вліяніемъ нѣмецкой школы образовались историко-литературные понятія мало извѣстнаго, но замѣчательнаго русскаго библіографа прошлаго вѣка, Дамаскина (1735—1795). Дмитрій Семеновъ-Рудневъ, потомъ въ монашествѣ Дамаскинъ, учился въ московской Славяно-латинской академіи и былъ потомъ учителемъ реторики и греческаго языка въ крутицкой семинаріи. Въ 60-хъ годахъ прошлаго столѣтія решено было послать нѣсколькихъ молодыхъ, хорошо подготовленныхъ семинаристовъ за границу для довершенія ихъ образования; Дамаскину въ это время было уже 30 лѣтъ, но онъ также выразилъ сильное желаніе продолжать ученіе и вызвался быть инспекторомъ при этихъ молодыхъ людяхъ и вмѣстѣ съ пими слушать лекціи. Такимъ образомъ, онъ провелъ шесть лѣтъ въ Гётtingенѣ (1766—1772), гдѣ, по тогдашнему обычаю, его занятія распространялись на самые разнообразные предметы; это были: богословіе, церковная исторія, толкованіе ветхаго завѣта на еврейскомъ языкѣ и нового завѣта на греческомъ, экспериментальная физика, универсальная и европейская исторія, статистика и математика, нѣмецкій и французскій языки, естественное право, сельская экономія, философія, дипломатика. Университетъ, въ средѣ профессоровъ котораго были знаменитые ученые, видимо возбуждалъ самостоятельную дѣятельность Руднева, и, напримѣръ, слушая у Михаэлиса еврейскій и арабскій языкъ и объясненіе подлинныхъ текстовъ писанія, Рудневъ дѣжалъ уже любопытныя для его профессора сличенія славянской библіи съ греческимъ оригиналомъ. Критические пріемы нѣмецкой школы Рудневъ примѣнялъ къ изученію источниковъ и литературы русской исторіи. „Въ послѣднемъ году передъ выѣздомъ изъ университета,— говорить онъ,— упражнялся я по большей части въ россійской исторіи, прискавъ, а многихъ и перечитавъ, авторовъ до россійской исторіи надлежащихъ, какъ иностраннныхъ: на нѣмецкомъ, французскомъ, англійскомъ и латинскомъ, такъ и на русскомъ, о сведеніи коихъ почти совсѣмъ готова уже у меня и книжка, которую я со временемъ выдать въ свѣтъ намѣренъ“. Рудневъ избранъ былъ въ члены геттингенского исторического института, въ собраніи котораго онъ

¹⁾) „Опытъ“ перепечатанъ въ тѣхъ же „Матеріалахъ“ г. Ефремова. Тамъ же перепечатаны еще историко-литературная записка Штелина, статьи Домашнева и др.

прочелъ свое разсужденіе: „О слѣдахъ славянскаго языка въ писателяхъ греческихъ и латинскихъ“, къ сожалѣнію затерявшееся. По возвращеніи изъ Гёттингена, Рудневъ долженъ былъ явиться на академической экзаменѣ въ присутствіи членовъ святѣйшаго синода. Экзаменъ происходилъ изъ разныхъ предметовъ, какимъ онъ обучался за границей: изъ философіи, математики, исторіи, физики, химіи, естественной исторіи и изъ языковъ латинскаго, греческаго, еврейскаго, французскаго и нѣмецкаго. Экзаменъ былъ вполнѣ успѣшный, и когда не осуществился планъ основанія въ Москвѣ богословскаго факультета, гдѣ предполагалось дать мѣсто Рудневу, онъ назначенъ былъ профессоромъ въ Славяно-латинскую академію; потомъ, принявши монашество съ именемъ Дамаскина, онъ назначенъ былъ ректоромъ Академіи, а затѣмъ сдѣланъ былъ епископомъ сѣверскимъ, и послѣ нижегородскимъ. Въ 1794 онъ поселился на покой въ одномъ изъ московскихъ монастырей и умеръ въ слѣдующемъ году ¹⁾.

Не останавливаясь на его церковныхъ сочиненіяхъ, именно проповѣдяхъ, гдѣ любопытнымъ образомъ сказываются просвѣтительныя идеи вѣка, укажемъ только труды его, относящіеся къ предметамъ историко-литературнымъ. Это, во-первыхъ, ученымъ образомъ исполненія изданія латинской книги єѳофана Прокоповича объ исхожденіи святого духа ²⁾ и сочиненій Ломоносова; во-вторыхъ, обширный трудъ по русской библіографіи: „Библіотека россійская, по годамъ расположенная отъ начала типографіи въ Россіи по нынѣшнямъ времена“, и заключающая книги, начиная отъ изданій доктора Скорины, 1518, до 1785 года. Къ сожалѣнію, этотъ трудъ Дамаскина, весьма замѣчательный для своего времени, остался неизданнымъ и хранится до сихъ поръ въ рукописи въ московской Духовной академіи. Въ началѣ „Библіотеки“ помѣщено „Краткое описаніе россійской ученой исторіи“, любопытный историко-литературный очеркъ ³⁾.

Въ то время „ученая исторія“ большею частью состояла только въ сборѣ біографическихъ и книжныхъ фактовъ, какъ, напр., и въ „Словарѣ“ Новикова; но Дамаскинъ связываетъ ее съ исторіей просвѣщенія, или даже сливаєтъ ихъ въ одно. Ученую исторію Россіи Дамаскинъ дѣлить на три періода: первый — отъ начала русской письменности до начала книгопечатанія, или отъ Владимира Святого до Ивана Грознаго; второй — отъ начала книгопечатанія до введенія гражданскаго шрифта, или до Петра Великаго; и третій — отъ Петра

¹⁾ Біографія его въ Исторіи Росс. Акад., т. I, стр. 139—183, 407—414.

²⁾ Tractatus de processione S. S., изданный имъ еще за границей; въ Готѣ, 1772 г.

³⁾ Оно напечатано въ Исторіи Росс. Акад., т. I, въ біографіи Дамаскина, стр., 170—181.

В. до новѣйшаго времени. Дамаскинъ пользовался библіотеками общественными и частными, зналъ библіотеки патріаршую, типографскую, академическую, бралъ книги отъ частныхъ лицъ, у раскольниковъ и проч. Его библіографія не есть простой перечеть книгъ; онъ останавливается на болѣе важныхъ и рѣдкихъ изданіяхъ, рассматриваетъ ихъ содержаніе, приводитъ болѣе или менѣе подробныя выписки, сравниваетъ различныя изданія; кромѣ печатныхъ книгъ, упоминаетъ довольно много рукописей; при сочиненіяхъ переводныхъ указываетъ ихъ иностранные подлинники, причемъ дѣлается, напр., важныя указанія переводовъ изъ византійской литературы и т. д.

Далѣе встрѣчаемся опять съ ученымъ нѣмцемъ, много поработавшимъ для изученія русской, особенно книжной старины. Это московскій профессоръ Фед. Григ. Баузе (1752—1812). Пріѣхавши въ Россію въ 1773, Баузе трудился на педагогическомъ поприщѣ, и въ 1782 былъ приглашенъ въ московскій университетъ на юридическую каѳедру, по смерти Дильтея. Величайшей заслугой Баузе, которая, къ сожалѣнію, подорвана была двѣнадцатымъ годомъ, было собраніе рукописей и другихъ остатковъ русской старины, въ то время едва ли не самое замѣчательное изъ всѣхъ частныхъ собраній. Ученый пѣмецъ-юристъ превратился въ страшнаго русскаго археолога; его собраніемъ пользовались въ свое время и высоко его цѣнили русскіе ученые, между ними Калайдовичъ и Карамзинъ; имя Баузе осталось однимъ изъ самыхъ почтенныхъ именъ русской археографіи. Онъ умеръ въ 1812 году, и въ томъ же году погибло въ московскомъ пожарѣ его драгоценное собраніе. Изъ ученыхъ трудовъ Баузе относится къ нашему предмету его латинская рѣчь о состояніи просвѣщенія въ Россіи до Петра Великаго, гдѣ онъ хотѣлъ отдать справедливость прошлымъ вѣкамъ и вмѣстѣ защитить Россію отъ давниной ненависти и нареканий иноземцевъ ¹⁾.

Когда въ 1805 году задумано было по плану М. Н. Муравьеваго, тогдашняго попечителя московскаго университета, составленіе исторіи русской словесности, то въ комитетъ для исполненія этого дѣла назначенъ былъ Баузе вмѣстѣ съ профессорами Страховымъ и Антонскимъ. Планъ остался, кажется, невыполненнымъ ²⁾.

Мы привели вѣсколько данныхъ о дѣятельности русской науки, зародившейся съ Петровской реформы, въ теченіе XVIII-го вѣка. Количество этихъ данныхъ могло бы быть очень размножено, но и

¹⁾ *Oratio de Russia ante hoc saeculum non prorsus inculta, nec parum adeo de litteris earumque studiis merita.* M. 1796.

²⁾ Біографія Баузе въ „Словарѣ моск. проф.“ 1855, I, стр. 68—89.

то, что приведено, можетъ достаточно указать историческое положеніе вещей. Выше мы говорили о теоріи, которая усиливается извратить историческое понятіе о Петровской реформѣ, обо всемъ нашемъ XVIII вѣкѣ и цѣломъ характерѣ нашей жизни—съ тѣхъ поръ какъ она, покинувъ прежнюю національную исключительность, начала по немногу усвоивать европейскую науку и примѣнять ее къ познанію собственного русского отечества¹⁾). Факты не подтверждаютъ этой теоріи.

Очень естественно было, что наука не могла быть пересажена на русскую почву вдругъ, что для первыхъ русскихъ образованныхъ людей невозможно было обойтись безъ помощи и руководства. Своей школы не было; наука по большей части впервые появлялась на русской почвѣ, не находя въ старомъ обычаяѣ и понятіяхъ никакой опоры, никакого облегченія первыхъ трудныхъ шаговъ; въ большинствѣ даже высшаго класса не было охоты и любопытства къ новому знанію; въ старомъ книжномъ языке, на половину церковномъ, на половину приказно-дѣловомъ, не было словъ для понятій новой науки. Одной изъ первыхъ заботъ реформы было основаніе русской школы, приготовленіе русскихъ ученыхъ людей, которые могли бы самостоятельно разрабатывать науку и примѣнять ее къ различнымъ потребностямъ русской жизни. Петръ Великій не думалъ передѣлывать русскихъ ни въ нѣмцевъ, ни въ голландцевъ; но очень желалъ, чтобы русскіе не были глупѣе ихъ и не были предметомъ эксплуатациіи иноземцевъ вездѣ, гдѣ требовалось примѣненіе научнаго или практическаго знанія. Какъ ни были ничтожны люди, въ рукахъ которыхъ осталось дѣло Петра по его смерти, дальнѣйшее время принесло не мало результатовъ, вполнѣ отвѣчавшихъ идеѣ реформы: не говоря о разныхъ практическихъ пріобрѣтеніяхъ, увеличившихъ государственныя средства и силу Россіи, величія пріобрѣтенія были

¹⁾ Такъ, еще недавно И. Аксаковъ писалъ на эту тему: „Нельзя отрицать, что все сильнѣе и сильнѣе начинаетъ чувствоватьться въ нашемъ обществѣ своего рода тоска по родинѣ, т.-е. тоска по корню, по своему истинному народному типу, который все еще не вполнѣ дается нашему разумѣнію, воспитанному исключительно на явленіяхъ чужой жизни (?)—для которого нѣть еще у насъ и надлежащихъ орудій познаванія (?), такъ какъ благодаря чуть не двухголовому упражненію въ ученическихъ чувствахъ (!), непосредственное чувство народности въ нашей образованной средѣ болѣе или менѣе заглушено, а мысль постоянно дробится и преоламливается сквозь призму иностраннѣхъ понятій“ („Русь“, 1884, № 7, стр. 2). Дѣйствительно два вѣка тому назадъ наша мысль начала преодоляться сквозь призму иностраннѣхъ понятій; но мы видѣли, что это были понятія о географіи, исторіи, физики, грамматикѣ, 2-й части ариѳметики и т. п. По недавнимъ изслѣдованіямъ г. Бобынина оказывается, что правила о дробяхъ въ московской Россіи не знали; пора бы однако перестать считать понятія о дробяхъ иностраннными для насъ и по сю пору, и видѣть въ ихъ усвоеніи національное несчастіе.

сдѣланы въ области умственнаго развитія. Ломоносовъ былъ человѣкъ перваго поколѣнія, воспитавшагося въ духѣ реформы; при участіи его непосредственнаго вліянія и съ тѣмъ же характеромъ научныхъ понятій и отношенія къ русской жизни воспиталось второе поколѣніе: это были тѣ Румовскіе, Лепехины, Озерецковскіе и пр., которые предпринимали далекія странствія по Россіи, неутомимо работали для изученія русской природы и народа и оставили примеръ честнаго служенія пользамъ нації. Нерѣдко это были люди, вполнѣ стоявшіе на уровнѣ тогдашней науки; вмѣстѣ съ тѣмъ это были самые настоящіе русскіе люди. Довольно познакомиться съ ихъ дѣятельностью, чтобы увидѣть, сколько разумнаго труда положили на свои изученія, съ какимъ простымъ и теплымъ чувствомъ относились къ тому народу, отъ котораго будто бы должна была отрывать ихъ „западная“ наука: въ условіяхъ того времени, они зывали русскій народъ не хуже новѣйшихъ присяжныхъ народниковъ и работали для изученія его не менѣе. Мы видѣли, что вліяніе западной науки именно и состояло въ томъ, что въ своихъ практическихъ приложеніяхъ она постоянно направляла умы на изученіе своей почвы, своего народа, своего прошлаго, что она именно вела къ національному самосознанію.

Мы упоминали также, что было бы исторически ошибочно, и въ общественномъ смыслѣ недобросовѣстно, смѣшать подъ именемъ оторванности отъ народа въ одну кучу пустоту свѣтскаго общества и серьезный трудъ, совершившійся въ наукахъ и литературѣ, не говоря о томъ, какъ противно здравому смыслу считать науку измѣнной народному началу. Люди первой категоріи не были бы ближе къ народа, еслибы и не говорили по-французски и не ходили во французскихъ кафтанахъ: ихъ отрывала отъ народа эксплуатациѣ его труда, бюрократическое равнодушіе къ его интересамъ; но сказать, что западная наука оторвала отъ народа Ломоносова, или всѣхъ тѣхъ людей науки прошлаго вѣка, которые послѣ него шли его путемъ, есть простая безсмыслица.

Но была дѣйствительно другая „оторванность“—не отъ народа, а отъ певѣжства старой его жизни. Русскіе люди вступали въ XVIII вѣкъ съ полнымъ запасомъ стародавняго патріархального міровоззрѣнія, нетронутаго наслѣдіемъ среднихъ вѣковъ, со всѣми простодушно фантастическими представленіями о природѣ и человѣкѣ, со всѣми подробностями старыхъ повѣрій и суевѣрій, гдѣ рядомъ съ образами народной поэзіи стояли самыя нелѣпныя традиціонныя понятія о природѣ. Противники реформы обыкновенно забываютъ эту сторону дѣла; между тѣмъ, именно здѣсь, въ этой области каждо дневныхъ привычныхъ понятій, и произошло главное столкновеніе

между людьми старого вѣка и новой школы. Первые были, конечно, глубоко убѣждены въ истинѣ всѣхъ тѣхъ фантастическихъ представлений, которыми была оплетена ихъ мысль; убѣждены тѣмъ болѣе, что очень часто къ этой фантастикѣ присоединялось суевѣріе церковное. Новая школа на первыхъ же порахъ столкнулась съ этимъ вѣковымъ міровоззрѣніемъ: въ то время, какъ старинные люди представляли, напр., землю въ видѣ плоскаго круга, надъ которымъ ходить солнце, луна и звѣзды, люди, пропедвіе новую школу, считали ее шаромъ, который самъ обращается вокругъ солнца; когда первые приходили въ ужасъ отъ появленія кометы, отъ затмѣнія или другого необычнаго явленія природы, другіе находили этому объясненіе въ первоначальныхъ понятіяхъ космографіи и физики; когда первые окружали себя множествомъ суевѣрныхъ пугалъ, противъ которыхъ употреблялись патріархальныя средства, дошедшія цѣликомъ изъ глубочайшихъ временъ народнаго младенчества въ видѣ заговоровъ, примѣтъ, предохранительныхъ и очистительныхъ обрядовъ и колдовства, вторые искали естественной причины явленій и простыхъ средствъ здраваго смысла и знанія. Между двумя міровоззрѣніями, очевидно, лежала пропасть: онѣ, конечно, могли сталкиваться и дѣйствительно сталкивались ежеминутно. И естественно, что на одной сторонѣ оказывалась пародная масса, не имѣвшая школы, а на другой — высшіе и средніе классы, имѣвшіе эту школу въ большей или меньшей степени. Къ наиболѣе образованнымъ людямъ принадлежали: помѣщичье сословіе, бюрократія, военные власти; но вмѣстѣ съ тѣмъ эти люди, хороши и дурные, были проводниками высшей власти и, по старому обычаю, болѣе или менѣе самоуправными распорядителями народной жизни,—хотя въ огромномъ большинствѣ ихъ образованіе было очень скучное. Отсюда та „рознь“, вину которой хотятъ взвалить исключительно на западную образованность.

Мы имѣли случай объяснять, что въ подобныхъ обвиненіяхъ совершаются нечто въ родѣ исторического подлога: главный источникъ розни — притѣсненіе народа — восходитъ гораздо раньше временъ Петра, и указывать причину розни въ образованности, значитъ отводить глаза отъ настоящаго положенія вещей въ угоду обскурантизму. Образованіе, какое можно приписать массѣ бюрократическихъ и иныхъ угнетателей народа, смѣшно назвать образованіемъ; напротивъ, это была болѣшею частью самая жалкая полуобразованность, которую странно ставить на счетъ „западной наукѣ“, и виною которой была просто наша собственная скучность въ хорошей школѣ и невыгодныя условія нашей литературы и общественнаго мнѣнія. Но та „рознь“, которая заключалась въ *различії понятій*, всегда неизбѣжна при встрѣчѣ патріархального суевѣрія съ научнымъ зна-

ниемъ; пропасть между ними должна быть наполнена не отречениемъ общества отъ науки и не малодушнымъ урѣзываніемъ послѣдней, а возможнымъ расширеніемъ школы и народныхъ знаній. Это не легко, по по крайней мѣрѣ это должно быть идеаломъ; если уже теперь некоторые народы достигли до всеобщей обязательной школы, то почему когда-нибудь это невозможно будетъ и для насъ?.. Когда мы читаемъ „Духовный Регламентъ“, осуждающій народную темноту, или горячія тирады Ломоносова о необходимости знанія для народа, мы видимъ, что просвѣщенныхъ людей прошлаго вѣка поражала масса вреда, идущаго отъ народнаго невѣжества, и этотъ вредъ, простиравшійся наконецъ на самое физическое существованіе народа, не подлежалъ и не подлежитъ сомнѣнію. Можетъ быть, реформа поступила бы благоразумнѣе, еслибы вела свое дѣло съ меньшою рѣзкостью, съ большимъ вниманіемъ къ старой народной привычкѣ и участіемъ къ соціальной беспомощности народа, но, къ сожалѣнію, сама эта рѣзкость была также старой привычкой, наследствіемъ отъ московскаго царства, въ другихъ отношеніяхъ столь же мало внимательнаго къ правамъ и нуждамъ народа.

Истинное дѣйствие воспринимаемой западной образованности съ самого начала состояло именно въ томъ, чтобы приложить новую науку къ изученію отечества, къ распространенію здравыхъ научныхъ понятій и полезныхъ практическихъ знаній. Эта цѣль глубоко овладѣвала лучшими людьми прошлаго вѣка. Въ самомъ дѣлѣ, съ той поры впервые появляется точное географическое изученіе Россіи, съ помошью научныхъ средствъ астрономіи, физики, геодезіи, многочисленныхъ и трудныхъ путешествій; впервые дѣлаются изученія климата, почвы, условій народнаго труда; изучается составъ населенія, съ различными оттѣнками русскаго народа и разнообразными племенами инородцевъ; впервые опредѣляются этнографическія черты этого населенія, его быта, преданій и обычаевъ; впервые старательно собираются остатки старины, съ тою любознательностью и тѣмъ чувствомъ уваженія, какія внушило историческое пониманіе; многие замѣчательные памятники старой письменности являются изъ-подъ спуда, забытые и уже непонимаемые московскимъ періодомъ; наконецъ, впервые возникаетъ правильное историческое знаніе, стремившееся раскрыть внутреннія отношенія событий и связь прошедшаго съ настоящимъ. Если прибавимъ, наконецъ, что впервые, въ литературѣ и извѣстной части общественного мнѣнія, ставится вопросъ нравственно-общественный, вопросъ о достоинствѣ человѣческой личности, говорится первое слово въ пользу освобожденія крестьянъ и вмѣстѣ въ защиту человѣческой мысли и слова, вообще

ставится вопросъ о внутренней реформѣ, обѣ автономіи общества — составляющей до нынѣ глубочайшій интересъ общественный и народный, — мы не можемъ не признать, что въ этотъ XVIII-й вѣкъ, отягчаемый теперь столькими обвиненіями, возникло напротивъ, среди всѣхъ его тягостей и заблужденій, глубоко знаменательное явленіе нашей исторической жизни: съ нимъ, въ лучшихъ людяхъ общества, впервые начинается истинное *национальное самосознаніе*.

Новая образованность въ первое же время стала приносить свои *самостоятельные* результаты: кромѣ великой услуги, какую они дѣлали своему собственному обществу, они вносили цѣнныій вкладъ въ общее научное знаніе. Эти труды русскихъ ученыхъ тотчасъ обратили на себя вниманіе европейской науки.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ XVIII-го вѣка впервые начинается настоящая *русская литература*, — не то смышеніе церковно-славянской книжности съ разрозненными (и недопускаемыми въ книгу) попытками народного творчества, — смышеніе, которое въ теченіе долгаго ряда вѣковъ до-Петровской исторіи не привело ни къ какому органическому результату, не связало двухъ элементовъ старой книжности въ одно цѣлое, не дало ни содержанія, ни формъ ни для поэтическаго творчества, ни для науки. Нѣчто совершенно иное начинается послѣ реформы: народная мысль была возбуждена, и въ резулѣтѣтъ создаетъ совсѣмъ новую литературу, которая впервые обѣщаетъ въ будущемъ дѣйствительную литературу русскаго народа. Старая книжность не была просто отвергнута, т.-е. не была прервана историческая связь: напротивъ, эта книжность вошла цѣлымъ элементомъ въ новую литературу и даже упорно защищала свою исключительность до первыхъ десятилѣтій нашего вѣка; но въ то же время все больше занимаетъ мѣста въ книгѣ чисто-народный языкъ, и этотъ новый литературный языкъ служить выраженіемъ, съ одной стороны, научному знанію, съ другой — поэтическому творчеству съ общественнымъ и народнымъ содержаніемъ. Долго шелъ процессъ образованія новой литературы, гдѣ сталкивались и наконецъ сживались разнородные элементы старого преданія и живой дѣйствительности; наконецъ, послѣ долгихъ колебаній, поисковъ и часто ошибокъ, создалась литература, которая впервые имѣла полное право называться русской национальной литературой. Ея орудіемъ стала новый, небывалый прежде языкъ. Въ его области совершился такой же сложный процессъ, какъ и въ области самыхъ понятій; онъ сохранилъ очень многое изъ старого книжнаго языка, но вмѣстѣ далъ полноправность чисто народной рѣчи, и она стала корнемъ, изъ котораго развилось роскошное разнообразіе новыхъ формъ. Въ этомъ

языкъ впервые раскрылось то рѣдкое богатство оригинального выраженія, какое хранилось въ зародышѣ въ русской народной рѣчи, и которое до тѣхъ поръ никогда не проявлялось въ такомъ обиліи и съ такой силой. Съ новаго периода нашей національной жизни впервые образовался истинно-русскій *литературный языкъ*.

ГЛАВА VI.

АЛЕКСАНДРОВСКІЯ ВРЕМЕНА.

Вопросъ о крѣпостномъ правѣ въ концѣ XVIII-го и началѣ XIX-го вѣка. Отрицаніе его у Радищева и консервативная идея Карамзина.—Романтизмъ.—Этнографические интересы въ поэзіи: Жуковскій.—Научное движение: исторія и археология, меценатство гр. Румянцева, Кирта Даниловъ и Калайдовичъ.—Славянскіе интересы.

Восемнадцатый вѣкъ не былъ, какъ мы видѣли, ни равнодушенъ къ изученію народности, ни безплоденъ въ этомъ трудѣ. Можно даже сказать, что въ то время возникали такія понятія о народѣ, которыя въ сущности до сихъ поръ не восприняты извѣстной долей общества вынѣшняго, которая, однако, любить или находить выгоднымъ рядиться въ народолюбіе.

Разумному интересу къ народности предстояли тогда двѣ задачи: во-первыхъ, правильно уразумѣть фактическое положеніе въ государственномъ порядкѣ тѣхъ народныхъ массъ, которыми создается „народность“; во-вторыхъ, если еще не изучить, то по крайней мѣрѣ понять важность изученія тѣхъ бытовыхъ чертъ, въ которыхъ сказался характеръ и историческая судьба народа.

Если оцѣнивать съ спокойной исторической критикой результаты XVIII-го вѣка въ этихъ двухъ отношеніяхъ, за нимъ необходимо признать немалую историческую заслугу. Образованность этого вѣка, выроставшая на лонѣ унаследованнаго отъ Москвы XVII-го вѣка крѣпостного права, успѣла у лучшихъ людей прийти къ самому рѣшительному отрицанію учрежденія, державшаго огромную массу народа на степени „хамова отродья“ и ту же точку зрѣнія распространявшаго на остальную долю простого народа, хотя бы и не крѣпостную. Этимъ однимъ отрицаніемъ сдѣланъ былъ громадный шагъ въ нравственно-общественномъ развитіи и въ разумномъ пониманіи

народности: *этого* понятія о необходимости народного освобождения, нравственного и политического, *не знала* старая московская Россия. Образованность XVIII-го вѣка поняла и необходимость этнографическихъ изученій. Правда, достигнутые результаты, съ нынѣшней научной точки зрењія, были еще очень скучны,—но по сравненію съ тогдашимъ общимъ состояніемъ этого знанія, они представляются весьма значительными: въ нѣкоторыхъ случаяхъ, наши этнографы того времени положительно опережали этнографовъ западно-европейскихъ, напр. въ интересѣ къ чистой, непосредственной народной поэзіи.

Съ такими задатками, изученія народности перешли въ XIX-е столѣтіе.

Значительнѣйший дѣятель первой четверти столѣтія есть безъ сомнѣнія Карамзинъ. Нѣть надобности говорить объ общемъ характерѣ его взглядовъ: мы имѣли не разъ случай говорить о немъ¹⁾, и здѣсь коснемся лишь его взглядовъ на народъ и народность въ тѣхъ двухъ отношеніяхъ, которыхъ мы указывали: въ пониманіи фактическаго положенія народной массы въ государствѣ, и въ специальнѣ научномъ изученіи народной старины, характера и обычая.

Относительно первого, Карамзинъ, при всей наклонности къ филантропической сантиментальности и даже въ молодой периодъ его либеральныхъ взглядовъ, какъ известно, не доходилъ до пониманія необходимости освобождения крестьянъ. Чувствительность и восхищеніе патріархальной простотой и добродѣтелями „поселянъ“ были сами по себѣ, а крѣпостное право надъ „мужиками“ само по себѣ. Можно было бы предположить впередъ, что при этой точкѣ зрењія будетъ невозможно живое уразумѣніе народности и правильное отношеніе къ народу: плантаторъ не могъ бы никогда вѣрно понять и изображать характеръ и жизнь пегра, и крѣпостникъ не могъ понять крѣпостного народа; нужно человѣческое отношеніе къ людямъ, нужно признать ихъ нравственную равноправную личность, чтобы понять ихъ внутреннюю жизнь, ихъ нравственное существо. Иначе отношеніе будетъ съ самаго начала фальшивое: „народъ“ будетъ представляться только грубой подначальной толпой; даже мягкое чувство къ нему будетъ не ясное гражданское чувство, а балованная сантиментальность, которая каждую минуту можетъ перейти въ барское распеканье, и рука, протянутая къ народу, можетъ облечься въ ежовую рукавицу.

Это отношеніе къ народной массѣ, конечно, должно назваться

¹⁾ Въ послѣднее время, развитіе идей Карамзина снова указано было въ изслѣдованіи г. Алексея Веселовскаго: *Западное влияніе въ русской литературѣ*, „В. Евр.“ 1882, и въ отдельномъ изданіи, М. 1883.

пренебреженіемъ. Восемнадцатый вѣкъ унаслѣдовалъ его отъ крѣпостнаго XVII-го вѣка; а если теперь винять въ этомъ высшіе классы, принявшиѣ западное образованіе (за отсутствіемъ восточнаго), то пусть внесутъ въ число обвиняемыхъ имя знаменитѣйшаго русскаго историка, основателя нашей исторіографіи. Что восемнадцатый вѣкъ въ концѣ концовъ, у своихъ болѣе искренно размышлявшихъ представителей, додумался до иного отношенія къ народу, доказательствомъ осталась книга Радищева, старшаго современника Карамзина. Объ этой книгѣ было не мало говорено за и противъ, но все-таки не оцѣнено по справедливости отношеніе автора къ народу. Радищевъ выступилъ въ своемъ „Путешествіи“ горячимъ противникомъ крѣпостнаго права. Императрица Екатерина, сама сильно распространившая область крѣпостнаго права, была страшно озлоблена „Путешествіемъ“, и ея разборъ книги послужилъ текстомъ для допросовъ Шешковскаго; близко знакомая съ идеями вѣка, но уже очень къ нимъ охладѣвшая, она крайне враждебно отнеслась къ Радищеву и съ теоретической точки зренія. Отношеніе Пушкина къ Радищеву было двойственное, но въ извѣстной статьѣ Пушкинъ о немъ судить очень сурово. Нѣть спора, что въ содержаніи книги Радищева есть доля теоретического увлеченія, совсѣмъ забывшаго объ условіяхъ русской дѣйствительности, есть крупные литературные недостатки; но даже критики, не очень расположенные къ характеру его идей, признали подъ конецъ, что отрицаніе крѣпостнаго права было исторической заслугой Радищева¹). До сихъ поръ, однако, почти не обращено вниманія на литературную сторону тѣхъ отдельловъ „Путешествія“, которые посвящены изображенію крестьянскаго быта. Дѣло въ томъ, что книга Радищева написана весьма неровно; изъ его собственныхъ указаний видно, что она составлена изъ статей, писанныхъ въ разное время и, конечно, въ разныхъ настроеніяхъ: можно отличать страницы, написанныя подъ вліяніемъ чтенія, книжно-теоретическія, и другія, гдѣ авторъ говорилъ просто и непосредственно. Не разъ, излагая высокіе общіе вопросы, онъ заговариваетъ славянскимъ стилемъ, тяжелымъ и утомительнымъ; языкъ его становится проще, когда онъ приближается къ дѣйствительности, но всего болѣе стиль становится живымъ, легкимъ, естественнымъ, когда авторъ передаетъ черты и сцены народнаго быта. Книга пересыпана эпизодами подобнаго рода: и въ этихъ случаяхъ только изрѣдка современного читателя остановитъ устарѣвшее книжное слово прошлаго вѣка,—но въ цѣломъ можно совсѣмъ забыть, что читаешь пи-

¹⁾ Ср. Исторію русской словесности, Галахова, въ послѣднемъ изданіи, I, ч. 2 стр. 274.

санное сто лѣтъ назадъ. Такъ какъ книга очень рѣдка и забыта, приводимъ два-три примѣра,—тѣмъ болѣе, что они нагляднѣе объяснятъ нашу мысль.

Въ главѣ, обозначенной „Любани“, рисуется одна изъ тѣхъ многихъ картинъ, какими Радищевъ изображалъ дѣйствія крѣвностного права:

„Въ нѣсколькихъ шагахъ оть дороги увидѣлъ я пашущаго почву крестьянина. Время было жаркое. Посмотрѣлъ я на часы—перваго сорокъ минутъ... Сегодня праздникъ.—Пашущій крестьянинъ принадлежитъ конечно помѣщику, который оброку съ него не беретъ ¹⁾.—Крестьянинъ пашетъ съ великимъ тщаніемъ.—Нива, конечно, господская.—Соху поворачиваетъ съ удивительною легкостію.—Богъ въ помощь, сказалъ я, подошедъ къ пахарю, который не останавливался доканчивать зачатую борозду.—Богъ въ помощь, повторилъ я.—Спасибо, баринъ, говорилъ мнѣ пахарь, отряхая солинки и перенося соху на новую борозду. — Ты, конечно, раскольникъ, что пашешь по воскресеньямъ. Нѣть, баринъ, я прямымъ ²⁾ крестомъ крещусь,—сказалъ онъ, показывая мнѣ сложенные три перста.—А Богъ милостивъ, съ голоду умирать не велить, когда есть силы и семья.—Развѣ тебѣ во всю недѣлю нѣть времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и въ самый жаръ. — Въ недѣль-то, баринъ, несть дней, а мы шесть разъ въ недѣлю ходимъ на барщину; да подъ вечерокъ возимъ оставшее въ лѣсу сѣно на господскій дворъ, коли погода хороша; а бабы и дѣвки для прогулки ходятъ по праздникамъ въ лѣсъ по грибы да по ягоду ³⁾. Дай Богъ, (крестясь), чтобъ подъ вечеръ сего дня дождикъ пошелъ .. Велика ли у тебя семья?—Три сына и три дочки. Первень-кому-то десятой годокъ.—Какъ же ты успѣваешь доставать хлѣбъ, коли только праздникъ имѣешь свободнымъ?—Не одни праздники, и почь наша. Не лѣнись нашъ братъ, то съ голоду не умрешь. Видишь ли, одна лошадь отдыхаетъ; а какъ эта устапеть, возьмусь за другую; дѣло-то и споро.—Такъ ли ты работась на господина своего?—Нѣть, баринъ, грѣшио бы было такъ же работать. У него на пашнѣ сто рукъ для одного рта, а у меня двѣ для семи ртовъ, самъ ты счетъ знаешь. Да хотя растянишь на барской работѣ, то спасибо не скажутъ... ⁴⁾.

Вотъ другая картинка—купца-кулака. Карпъ Дементьевичъ, проживающій въ Новгородѣ, знакомъ автору, которому нѣкогда сдѣлалъ кляузный денежный подвохъ. Здѣсь они опять встрѣтились.

„Ба, ба, ба! добро пожаловать, откуды Богъ принесъ,—говорилъ пріятель Карпъ Дементьевичъ, прежде сего купецъ третьей гильдіи, а нынѣ имянитой гражданинъ.—По пословицѣ, счастливой къ обѣду. Милости просимъ садиться.—Да что за пиръ у тебя?—Благодѣтель мой, я женить вчера парня своего“... (Благодѣтель—потому, что авторъ нѣкогда пособилъ ему записаться въ имѣнитые граждане, а онъ потомъ устроилъ „благодѣтелю“ упомянутую кляузу).

„Карпъ Дементьевичъ человѣкъ признательной.—Невѣстка, водки нечаян-

¹⁾ А держить, т.-е., на барщинѣ.

²⁾ Т.-е. настоящимъ.

³⁾ Т.-е. опять для барского дома.

⁴⁾ Путешествіе изъ Петербурга въ Москву. Слѣд. 1790, стр. 14 и слѣд.

ному гостю.—Я водки не пью.—Да хоть прикушай, здоровые молодыхъ... И сѣли за столъ.

„По одну сторону меня сѣлъ сынъ хозяійскій, а по другую посадилъ Карпъ Дементьевъ свою молодую невѣстку... Прервемъ рѣчъ, читатель. Дай мнѣ карапашъ и листочекъ бумаги. Я тебѣ въ удовольствіе нарисую всю честную компанію... Если точныхъ не сиши портретовъ, то доволенъ буду ихъ силуэтами..

„Карпъ Дементьевъ—сѣдая борода, въ восемь вершковъ отъ нижней губы. Носъ кляромъ, глаза ввалились, брови какъ смоль, кланяется обѣ руки, бороду гладить, всѣхъ величаетъ: благодѣтель мой.—Аксинья Пароентьевна, любезная его супруга. Въ шестьдесятъ лѣтъ бѣла какъ снѣгъ, и красна какъ маковъ цвѣтъ, губки всегда скимаетъ кольцомъ; ренесако не пить, передъ обѣдомъ поль-чарочки при гостяхъ, да въ чуланѣ стаканчикъ водки. Прикащикъ-мужикъ хозяину на счетъ показывается... По приказанію Аксиньи Пароентьевны, куплено годового запасу 3 пуда бѣлы ржевскихъ и 30 фунтовъ румянъ листовыхъ... Прикащики мужинны—Аксиньины камердинеры.—Алексѣй Карповичъ—сосѣдъ мой застольной. Ни уса, ни бороды, а носъ уже багровой, бровями моргасть, въ кружокъ остриженъ, кланяется гусемъ, отряхая голову и поправляя волосы. Въ Петербургѣ былъ сидѣльцомъ. На аршинъ когда мѣрлеть, то спускается на вершокъ; за то его отецъ любить, какъ самъ себя; на пятнадцатомъ году матери даль онлеуху.—Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бѣла и румяна. Зубы какъ уголь. Брови въ нитку, чернѣе сажи. Въ комашавѣ сидѣть потупя глаза, но во весь день отъ окошка не отходитъ, и пялить глаза на всякаго мужчину. Подъ вечерокъ стонть у калитки.—Глазъ одинъ подбитъ. Подарокъ ея любезнова муженька для первого дня¹... и т. д.¹.

Карпъ Дементьевъ, настоящій типъ кулака, нажилъ деньги обманами и злостнымъ банкротствомъ, изъ которого вышелъ цѣлъ и невредимъ. Со времени несостоятельности торгуется его сынъ; купленный домъ записанъ на имя жены.

Укажемъ еще эпизодъ о пищемъ слѣпцѣ, поющемъ духовные стихи (глава „Клипъ“). Бытовая картина, нарисованная здѣсь, немного сантиментальна, стиль не выдержанъ, но опять чрезвычайно интересно отношеніе автора къ народному быту.

„Какъ было во городѣ во Римѣ, тамъ жилъ да былъ Евфиміанъ князь... Поющій сю народную пѣснь, называемую Алексѣемъ Божіимъ человѣкомъ, былъ слѣпой старикъ, сидящій у воротъ почтоваго двора, окруженній толпою по большей части ребятъ и юношей. Сребровидная его глава, замкнутыя очи, видѣ спокойсївія, на лицѣ его зрячаго, заставляли взирающихъ на пѣвца предстоять ему съ благоговѣніемъ. Ненікусный хотя, его пачѣвъ, но нѣжностію изреченія сопровождаемый, проникалъ въ сердца его слушателей, лучше природѣ внѣмлющихъ, нежели возвращенные во благогласіи уши жителей Москвы и Петербурга внѣмлють кудрявому напѣву Габріелли, Маркези или Тоди. Никто изъ предстоящихъ не остался безъ выбленія внутрь глубокаго²), когда Клинскій пѣвецъ, дошедъ до разлуки своего героя, едва прерывающимся ежемгно-

¹) Путешествіе, стр. 105 и слѣд.

²) Т.-е. безъ внутренняго потрясенія.

венно гласомъ изрекалъ свое повѣствованіе. Мѣсто, на коемъ были его очи, исполнялося изступающихъ изъ чувствительной отъ бѣль души слезъ, и потоки онъхъ пролились по ланитамъ воспѣвающаго. О природа, колико ты властительна! Взирал на плачущаго старца, жены возвращали; со устью юности отлетѣла сопутница ея, улыбка; на лицѣ отрочества являлась робость, неложной знакъ болѣзненаго, но неизвѣстнаго чувствованія: даже мужественной возрастъ, къ жестокости толико привыкшой, видѣлъ воспирялъ важности. О, природа! возопіялъ я паки...

„Сколь сладко неязвительное чувствованіе скорби! Колико сердце оно обновляется, и онаго чувствительность. Я рыдалъ въ слѣдъ за ямскими собраниемъ, и слезы мои были столь же для меня сладостны, какъ историнутыя изъ сердца Вертеромъ...“

„По окончаніи пѣснословія, всѣ предстоящіе давали старику, какъ будто бы награду за его трудъ. Онъ принималъ всѣ денежки и полушки, всѣ куски и краюхи хлѣба довольно равнодушно, но всегда сопровождала благодарность свою поклономъ, крестясь и говоря къ подающему: дай Богъ тебѣ здоровья!“ и проч. ¹⁾.

Подобные эпизоды достаточно свидѣтельствуютъ, что сочувствія къ народу, заявляемыя книгой Радищева, были искреннимъ убѣженіемъ писателя: они говорятъ языкомъ жизни, сопровождаются правдивыми и яркими изображеніями пароднаго быта, которыя удивительно встрѣтить въ тогдашней литературѣ. При всѣхъ раньше пами указанныхъ попыткахъ литературы подойти къ народному быту, она не достигала той прямой постановки предмета, какая сдѣлана въ „Путешествіи“ Радищева: литература вращалась въ поверхностныхъ сюжетахъ, шутливыхъ и анекдотическихъ — тогда какъ здѣсь затронутъ самый корень пароднай жизни, и писатель приступаетъ къ ней, вооруженный и знаніемъ дѣла, и умѣньемъ вѣрно владѣть народной рѣчью, которое вполнѣ усвоено было литературой только иѣсколько десятилѣтій и иѣсколько литературныхъ переворотовъ спустя.

Замѣчательный фактъ, представляемый „Путешествіемъ“, становится особенно любопытнымъ исторически, когда мы сопоставимъ съ нимъ пониманіе народности у первостепенного писателя поколѣнія, уже болѣе молодого,—у Карамзина. Не будемъ говорить о томъ, что Карамзинъ, при всѣхъ его „республиканскихъ“ убѣженіяхъ, всю жизнь остался противникомъ мысли объ освобожденіи крестьянъ (принимимъ, что Радищевъ даже на допросахъ у Шешковскаго, когда онъ обнаружилъ большой упадокъ духа, не отрекся отъ своихъ идей объ освобожденіи крестьянъ): какъ ни было въ существѣ противонародно это воззрѣніе, еще можно представить его себѣ не какъ одно грубое преданіе рабовладѣльчества, а какъ обдуманную (хотя

¹⁾ Путешествіе, стр. 401 и слѣд.

и малодушную) общественную *теорію*; но съ этимъ воззрѣніемъ роковымъ образомъ соединялась невозможность понять правильно внутреннюю жизнь народа и характеръ народности...

Вопросъ былъ не изъ легкихъ. Вся литературная эпоха, въ са-
мыхъ европейскихъ образцахъ, по которымъ учились наши писатели,
была еще далека отъ мысли о полномъ освобожденіи народныхъ
массъ; историческая жизнь еще не ставила этого вопроса, потому
что раньше стояли на очереди другіе,—и наша литература, которой
столько приходилось учиться изъ чужихъ источниковъ, показала
много жизненного смысла, когда сама, внѣ чужихъ указаній, стала
обращаться къ народности, т.-е. заявила сочувственный интересъ къ
народнымъ массамъ, смутно догадываясь о національномъ значеніи
ихъ бытового содержанія. Это искаспіе было вѣрно теоретически, пре-
красно въ общественномъ смыслѣ,—но на дѣлѣ „народность“ лите-
ратуры была бы возможна лишь тогда, когда получила бы граждан-
скія права въ самой жизни, и литература долго колебалась между
угадываемымъ новымъ стилемъ языка и содержанія, и старымъ сти-
лемъ псевдо-классическимъ: въ исторической дѣйствительности во-
просъ объ освобожденіи еще не назрѣлъ, трудно было поднимать его
съ нравственной стороны, когда масса „общества“, — въ которой
должна была возобладать эта мысль, — еще нуждалась въ общемъ
гуманитарномъ образованіи. Радищевъ, который служить намъ здѣсь
литературно-исторической мѣркой, намѣтилъ этотъ угадываемый на-
родный стиль; но не могъ выдержать, и въ другихъ эпизодахъ са-
маго „Путешествія“ быть послѣдователемъ той же старой школы;
его заслугой остается то, что западный философскій гуманизмъ онъ
умѣлъ примѣнить не въ однихъ отвлеченныхъ разсужденіяхъ, но въ
живомъ сочувствіи къ положенію народа, для изображенія котораго
онъ умѣлъ поэтому находить и вѣрный, живой стиль. Карамзинъ
напротивъ остался всегда только при одной теоретически-либеральной
сантиментальности, и она стала характерной чертой его отношенія
къ народу. Когда писатель брался за тему народа, ему представ-
лялся отвлеченный, на дѣлѣ не существующій идиллическій „посе-
лянинъ“, и онъ питалъ къ нему теоретическую нѣжность; но когда
передъ нимъ вставала сама дѣйствительная жизнь, то къ „мужику“
прилагалась уже не идиллическая теорія, а реальная крѣпостная
практика. Это, разумѣется, могло не мѣшать Карамзину лично быть
добрѣмъ человѣкомъ, снисходительнымъ помѣщикомъ,—но онъ ни-
когда не могъ переварить этой двойственности, и позднѣе искренно
негодовалъ на „либералистовъ“ временъ Александра I, когда они
нашли, что „мужикъ“ именно и есть тотъ „поселянинъ“, которому
старая сантиментальная философія оказывала столько участія... .

Простое, фактически правдивое сочувствіе Радищева къ народу, иногда дѣйствительно горячее (какъ въ эпизодѣ о старикѣ, пѣвшемъ „Алексѣя Божія человѣка“), было неизвѣстно Карамзину: народная жизнь представлялась ему всегда только съ точки зрењія сантиментальной идилліи и насторали, и въ его изображеніяхъ является поэтому только въ искусственной, односторонней или фальшивой формѣ и окраскѣ.

Рядъ цитатъ наглядно укажетъ это отношеніе Карамзина къ народу, къ его жизни и обстановкѣ.

Въ 1793, онъ воспѣваетъ Волгу на берегахъ которой онъ родился:

Рѣка священнѣйшая въ мірѣ,
Кристальныхъ водъ царица, матъ!
Дерзну-ли я на слабой мирѣ
Тебя, о Волга, величать,
Богиней пѣсни вдохновенный,
Твою славой удивленный?
Дерзну ль...
Хвалить красу твоихъ бреговъ,
Гдѣ грады, весы процвѣтаютъ, и проч.
(„Сочиненія“, изд. 4-е, 1834—35, I, стр. 10 и слѣд.).

Въ этой реторической формѣ трудно ожидать вѣрныхъ картинъ волжской природы и народнаго быта, и ихъ дѣйствительно неѣтъ.

Въ 1798, Карамзинъ пишетъ куплеты для „сельской комедіи“, которая была играна „благородными любителями театра“. Вотъ для образчика—

Хоръ земледѣльцевъ.
Какъ не пѣть памъ? Мы щастливы.
Славимъ барина-отца.
Наши рѣчи не красивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане насы умнѣе,
Ихъ искусство—говорить.
Что же умнѣемъ мы? Сильнѣе
Благодѣтелей любить („Сочин.“ I, 194 и слѣд.).

Въ комедіи выводятся „сельскій любовникъ“ и „сельская любовница“ (т. е. пейзане), „староста“ и т. п.; ихъ рѣчи—такія же красивыя какъ рѣчи самого автора.

Въ „Натальѣ, боярской дочери“ (1792), событие, отнесенное къ древней Россіи, разсказывается въ чрезвычайно чувствительной поэзии, гдѣ русская старина идеализирована весьма мало вѣроятнымъ образомъ.

„Кто изъ насть не любить тѣхъ временъ, когда русскіе были русскими (?); когда они въ собственное свое платье паряжались, ходили своею походкою,

жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ по своему сердцу, то-есть, говорили какъ думали?“

„Много красавицъ въ Москвѣ бѣлокаменной, ибо царство русское искони (?) почталось *жилишемъ красоты и пріятностей*; но никакая красавица не могла сравниться съ Натальей...“

„Цвѣтущія поля и дымящіяся деревни, откуда съ веселыми пѣснями выѣзжали *трудолюбивые поселенцы* на работы свои — поселяне, которые и по сіе время ни въ чёмъ не перемѣшились, такъ же одѣваются, такъ живутъ и работаютъ, какъ прежде жили и работали, и среди всѣхъ памѣній и личинъ представляютъ намъ еще истинную русскую физiогномiю“ (VI, стр. 86, 91, 94).

Несравненно выше по мысли „Мареа Посадница“. Тема благородной борьбы за народную свободу произвела въ ту пору сильное впечатлѣніе на читателей именно теоретическимъ гуманизмомъ, но самыя изображенія быта были до послѣдней степени натянутыя и реторическія.

И старая Русь, и современная пародная жизнь, и въ историческихъ обобщенiяхъ, и въ повѣствовательныхъ картинахъ Карамзина являются въ краскахъ этой подрумяненной сантиментальности, въ тонѣ идилліи или мелодрамы. Карамзинъ самъ долженъ былъ чувствовать, что эта идиллія, въ которую такъ часто онъ впадалъ вмѣстѣ со всей литературой того времени, не есть настоящая правда. Оспаривалъ Руссо (въ прекрасной статьѣ: „Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщенiи“, 1793 г.), Карамзинъ усумнился въ „Сатурновомъ вѣкѣ“ и „счастливой Аркадіи“. „Правда,—говорилъ онъ,—сія вѣчно цвѣтущая страна, подъ благимъ свѣтлымъ небомъ, населенная простыми, добродушными пастухами, которые любятъ другъ друга какъ нѣжные братья, повинуются однимъ движенiямъ своего сердца и блаженствуютъ въ объятiяхъ любви и дружбы, есть нѣчто восхитительное для воображенія чувствительныхъ людей; но будемъ искренны и признаемся, что сія счастливая страна есть не что иное, какъ пріятный сонъ, какъ восхитительная мечта сего самаго воображенія“ (VII, 97). Но сколько разъ онъ самъ вводилъ черты этой Аркадіи и Сатурнова вѣка въ свои изображенія русской старины и народности, и искренность могла бы опять подсказать, что эти черты были мечтой воображенія.

Остановимся еще на двухъ-трехъ подробностяхъ. Статья „Деревля“ (1792) посвящена описанію прелестей уединенiя:

„Благославляю васъ, мирная сельскiя тѣни, густыя, кудрявые рощи, душистые луга и поля, златыми класами (т.-е. колосьями) покрытые! Благословляю тебя, тихая рѣчка, и васъ, журчащіе ручейки, въ нее текущіе! Я пришелъ къ вамъ искать отдохновенія... Я одинъ—одинъ съ своими мыслами—одинъ съ природою...“

„Вижу садъ, аллеи, цвѣтники—иду мимо ихъ—осиновая роща для меня привлекательнѣе. Въ деревнѣ всякое искусство противно...“

„Какая свѣжестъ въ воздухѣ!.. Уже стада разсыпаются вокругъ холмовъ; уже блестаютъ косы на лугахъ зеленыхъ; поющій жаворонокъ вѣется надъ трудящимся поселяниномъ—и *нижная Лавинія* приготовляетъ завтракъ своему *Палемону*. Гуляю среди полей разноцвѣтныхъ”... (VII, 104 и слѣд.).

Авторъ наслаждается, конечно, и барскимъ комфортомъ; кто-то готовить ему обѣдъ, „услужливый садовникъ“ (еще бы онъ не былъ *услужливъ!*) приносить ему корзинку съ благовонною малиною: „тонкая дремота на нѣсколько минутъ покрываетъ глаза мои флеромъ—зефиръ свѣвааетъ его“. Авторъ бесѣдуетъ лишь съ Томсономъ, ЛаФонтеномъ (вѣроятно *Les Contes*) и Грессетомъ,— и замѣчательно, что для трудолюбивыхъ поселянъ не досталось, кромѣ упомянутаго, ни одного слова!

Въ знаменитой статьѣ „О любви къ отечеству и народной гордости“ (1802 г.) Карамзинъ затрагиваетъ тему, которая съ разными видоизмѣненіями повторяется и въ настоящую минуту.

„Я не смѣю думать,—говорить онъ,—чтобы у насъ въ Россіи было немногого патріотовъ; но мнѣ кажется, что мы излишно *смиренны* въ мысляхъ о народномъ пашемъ достоинствѣ—а смиреніе въ политикѣ вредно. Кто самаго себя не уважаетъ, того, безъ сомнѣнія, и другое уважать не будуть...

„Успѣхи литературы нашей доказываютъ великую способность русскихъ. У французовъ еще въ шестомъ—нацесть вѣкѣ философствовалъ и писалъ Монтань: чудно ли, что они вообще пишутъ лучше насъ? Не чудно ли, напротивъ того, что иѣкоторыя наши произведения могутъ стоять наряду съ ихъ лучшими, какъ въ живописи мыслей, такъ и въ оттѣнкахъ слога? Будемъ только справедливы, любезные сограждане, и почувствуемъ цѣну собственнаго. Мы никогда не будемъ умы чужимъ умомъ и славны чужою словою: французскіе, англійскіе авторы могутъ обойтись безъ нашей похвалы, но русскимъ нужно по крайней мѣрѣ вниманіе русскихъ“ (VII, стр. 116, 120—121).

Въ статьѣ „О случаяхъ и характерахъ въ русской исторіи, которые могутъ быть предметомъ художествъ“ (1802), Карамзинъ, по поводу мысли задавать художникамъ темы изъ русской исторіи, говоритъ:

„Должно пріучить россіянъ къ уваженію собственнаго; должно показать, что оно можетъ быть предметомъ вдохновеній артиста и сильныхъ дѣйствій искусства на сердце. Не только историкъ и поэтъ, но и живописецъ и ваятель бывають органами патріотизма“... (VII, 122).

Всѣ эти прекрасныя пожеланія повторяются до сихъ поръ. И въ послѣдніе дни можно читать жалобы и укоры на то, что мы слишкомъ смиренны передъ Еврошой, что мы „лакействуемъ“ передъ западной цивилизаціей и т. п. Какъ бы то ни было, можно замѣтить одно, что и въ карамзинское время, и послѣ, этимъ жалобамъ недоставало опредѣленности — чего и отъ кого хотять, и какъ можетъ быть вообще достигнуто то, чего хотятъ. Къ кому направляется жа-

лоба на излишнее *смиреніе*, вредное въ „политикѣ“? Къ обществу эта жалоба не могла быть обращена ни тогда, ни послѣ, такъ какъ оно не имѣло голоса въ „политикѣ“, не имѣло даже средствъ определить свое мнѣніе: для того, чтобы со стороны общества возможно было какое-нибудь заявленіе подобного рода, надо же было, чтобы оно имѣло известную свободу выраженія: слова и печати. Такимъ образомъ, *этотъ* упрекъ никакъ не могъ быть отнесенъ къ обществу. То же общество и сама народная масса являли могущественное возбужденіе, когда вставали жизненные исторические вопросы, и сила возбужденія способна была оказать надолго великое нравственное вліяніе. Таковъ былъ 12-й годъ. Но въ другое время, по другимъ вопросамъ (а бывали вопросы капитальные), обращались ли когда-нибудь къ мнѣніямъ и къ свободнымъ силамъ общества?

Прекрасны далѣе заботы объ уваженіи къ русской литературѣ, но понятно, что истинное значеніе литературы могло основаться прежде всего на ея внутреннемъ достоинствѣ, на силѣ ея содержанія, которая явились бы какъ результатъ работы русской мысли и поэтической дѣятельности, а такой результатъ могъ быть достигнутъ лишь при одномъ условіи,—которое опять не было въ рукахъ *одного* только общества,—при условіи расширенія средствъ образованія и простора для работы мысли. Было бы пріятно, еслибы высшая аристократія тѣхъ временъ знала нѣсколько больше русскую грамоту; но и тогда, когда бы она выучилась этой грамотѣ, для литературы не было бы отъ этого большой пользы, если Магницкіе и Руничі сохранили возможность дѣлать свои гнусные нападенія на университетскую науку, если самъ Карамзинъ такъ вооружался противъ „либералистовъ“, въ стремленіяхъ которыхъ было несомнѣнно многое, отвѣчавшее истиннымъ нуждамъ русского народа, — каково напр., уничтоженіе крѣпостного права. Въ эпоху Карамзина еще можно было не понимать, а въ наше время очевидно, что хохайничанье надъ наукой Магницкихъ и Руничей и есть именно глубокое униженіе литературы, дѣло въ величайшей степени гнусное, потому что противонародное, и что беззащитность умственной жизни общества больше, чѣмъ многое иное, должна была бы озабочивать искреннихъ патріотовъ.

Не подлежитъ спору, что не только историкъ и поэтъ, но и художникъ бываютъ органами патріотизма. Но какъ для національного достоинства литературы нужно не столько меценатство высшаго общества, сколько присутствіе условій для ея свободнаго развитія (т.-е. для развитія умственныхъ силъ народа, находящихъ въ ней свою дѣятельность и выраженіе), такъ національное искусство разовьется не однимъ лишь покровительствомъ, а тѣмъ же ростомъ внутренняго

сознанія общества, и въ сущности требуетъ тѣхъ же условій для своего процвѣтанія, какъ и литература. Покровительство, „заказы художникамъ“ могутъ дать искусству только внешнія материальныя средства,—при дурномъ вкусѣ заказчиковъ могутъ даже вредно вліять на искусство, расложеніе фальшивое исполненіе фальшивыхъ темъ. Искусство идетъ обыкновенно вровень съ умственнымъ состояніемъ общества, и лучшая, хотя косвенная, услуга ему, внѣ собственно technicalской стороны, можетъ быть сдѣлана тѣми же заботами о расширѣніи внутренней жизни общества, о возвышеніи его гражданскаго достоинства и просвѣщенія.

Любопытно, что эти темы почти безъ перемѣны повторяются и до настоящаго времени,—такъ мало тогда и нынѣ сентиментальные романтики „народности“ понимали простыя историческія условія роста національной литературы и искусства. Желанія прекрасныя, но всегда или недосказанныя или недодуманныя, а иной разъ просто лицемѣрныя.

Рядъ прекрасныхъ мыслей высказанъ Карамзінымъ въ статьѣ „О новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи“ (1803), по поводу плановъ импер. Александра I по этому вѣдомству.

„Петръ Великій,—говорилъ Карамзінъ,—учредилъ первую академію въ пашемъ отечествѣ, Елизавета—первый университетъ, Великая Екатерина—городскія школы; но Александръ, размножая университеты и гимназіи, говоритъ еще: да будетъ свѣтъ и въ хижинахъ. Новая великая эпоха начинается отнынѣ въ исторіи правственнаго образованія въ Россіи, которое есть корень государственного величія и безъ котораго самая блестящія царствованія бывають только личною славою монарховъ, не отечества, не народа. Россія, сильная и счастливая во многихъ отношеніяхъ, унижалась еще справедливою завистію, видя торжество просвѣщенія въ другихъ земляхъ и слабый невѣрный блескъ его въ обширныхъ странахъ ея. Римляне, уже побѣдители вселенпой, были еще презираемы греками за ихъ невѣжество, и не силою, не побѣдами, но только ученіемъ могли наконецъ избавиться отъ имени варваровъ. Не одно народное славолюбіе... терпѣть отъ недостатка въ просвѣщенії; нѣть, опъ мѣшаетъ всякому дѣйствію благотворныхъ намѣреній правитель... Александръ желаетъ просвѣтить россіянъ, чтобы они могли пользоваться его человѣкоубивыми уставами, безъ всякихъ злоупотребленій и въ полнотѣ своего спасительного дѣйствія“ и пр. (VIII, стр. 221 и слѣд.).

Эти простыя истины о просвѣщеніи, составляющемъ корень государственного величія, забываемыя теперь потомствомъ въ одичайшой злобѣ противъ „интеллигенціи“,—указывали одну изъ несомнѣнѣйшихъ потребностей русскаго народа, который здѣсь выдѣляется Карамзінимъ и отъ государства, и отъ династіи; но въ то же время Карамзінъ считалъ освобожденіе крѣпостной массы этого народа преждевременнымъ и вреднымъ. Какъ будто образованіе могло быть распространено въ крѣпостныхъ „хижинахъ“! Было, правда, не мало

примѣровъ образованія, которое давалось помѣщиками инымъ изъ обывателей этихъ хижинъ,—но въ результатѣ бывали возмутительные примѣры этого противоестественного соединенія образованія и рабства; этихъ примѣровъ не забылъ Радищевъ въ „Шутешествіи“—онъ разсказываетъ исторію образованнаго раба, который тѣмъ горше чувствовалъ свое бѣдственное положеніе, а затѣмъ изъ рукъ филантропа, который далъ ему образованіе, попалъ по наслѣдству въ руки варвара.

Итакъ, отношеніе Карамзина къ народу было двойственное и противорѣчивое: съ одной стороны, мягко-романтическое, съ другой, жестко-практическое. Онъ любилъ „поселянъ“, когда они воображались ему аркадскими пастушками, но въ дѣйствительности народъ былъ собраніемъ людей „низкаго состоянія“, изъ котораго Карамзинъ не торопился его выводить. Это двойственное отношеніе проходитъ и въ „Исторіи государства Россійскаго“. Карамзинъ съ мечтательнымъ восторгомъ говоритъ о „рussиянахъ“, которыхъ видитъ со временемъ Рюрика, придаетъ имъ не мало любезныхъ качествъ, бережно извиняетъ иные недостатки ихъ вліяніями „вѣка“; но въ сущности, народъ для него—только служебная масса, назначенная исполнять потребности государства: въ древнихъ „рussиянахъ“ онъ провидитъ только вѣрноподданныхъ имперіи, преданныхъ служителей государства и покорныхъ крѣпостныхъ. Великое „народное“ значеніе „Исторіи“, о которомъ обыкновенно говорятъ, заключается въ образовательномъ значеніи этого труда для высшихъ классовъ: обществу, почти не знаяшему своего прошедшаго, Карамзинъ далъ впервые произведеніе изящное—въ господствовавшемъ тогда стилѣ, произведеніе въ духѣ европейскаго образованія, въ высокомъ національно-государственномъ тонѣ, которое съ этой стороны и подействовало на общество, только-что пережившее события, гдѣ глубоко затронуто было именно это національно-государственное чувство. Но пониманіе собственно народной стороны исторіи у Карамзина было неполное и часто невѣрное, какъ это съ самаго начала, при первомъ появлѣніи книги, очень справедливо указывали его противники изъ лагеря „либералистовъ“.

При всемъ томъ, за Карамзиномъ остается великая заслуга для изученія „народности“. Онъ послужилъ этому изученію всѣмъ научнымъ значеніемъ своего монументальнаго произведенія. Историческое знаніе судьбы народа есть необходимая основа для пониманія народности, и все, сдѣланное Карамзиномъ для нашей исторіографіи, есть его вкладъ въ изученіе народности. Его историческая критика пролила много свѣта на внутренній бытъ старого общества и варода,—

какъ никогда до него; онъ поставилъ много вопросовъ этого рода, и если не всегда вѣрно рѣшалъ ихъ, то утверждалъ критическое отношеніе къ нимъ, вызывалъ новый пересмотръ фактovъ, въ концѣ котораго раскрывалась истина. Съ нимъ оканчивались прежнія темпныя представленія о русской древности, смѣщеніе подлинныхъ фактovъ съ фантазіями средневѣковыхъ и повѣйшихъ книжниковъ. Давно замѣчено было, что самъ Карамзинъ росъ въ пониманіи русской старины и народности по мѣрѣ того, какъ подвигалась его работа: ма-нерный стиль становился проще и живѣе, освѣщался колоритомъ лѣтоиспной старины, пріобрѣлъ новую оригинальность.

Восхваляя заслугу Карамзина, указывали иногда, что въ „Исторіи“ Карамзинъ былъ уже не тѣмъ сентиментальнымъ мечтателемъ, какъ въ своихъ первыхъ произведеніяхъ, а зреющимъ мыслителемъ-историкомъ. Но эта похвала требуетъ оговорки. Исторія не есть идиллія, самая тема труда привязывала къ фактамъ, и притомъ задатки болѣе сухого, консервативнаго настроенія были у него издавна, не по одному погружению въ государственную идею, а по болѣе прозаическимъ внушеніямъ практической дѣйствительности, какъ мы о томъ уже говорили. Таковы не весьма сочувственные взгляды, высказанные еще до „Исторіи“, въ „Запискѣ о древней и новой Россіи“. Съ другой стороны, вліянія старой школы не прекратились и теперь, и если въ однихъ случаяхъ вредили книгѣ, давая фальшивый тонъ, подслащая изображенія старины, то въ другихъ, напротивъ, старый идеализмъ внушилъ нѣкоторые взгляды и эпизоды, принадлежащіе къ самымъ привлекательнымъ въ „Исторіи“.

Дѣло въ томъ, что Карамзинъ и теперь оставался человѣкомъ европейскихъ идей и образованія: на русскую исторію онъ смотрѣлъ съ точки зреінія европейскихъ литературныхъ идей; въ своемъ трудѣ хотѣлъ сдѣлать для русскаго общества то, чѣмъ дали своему обществу знаменитые историки европейскіе—хотѣлъ дать равныя картины, изобразить характеры, историческіе перевороты. Эти вліянія европейской литературы сказались на историческихъ взглядахъ Карамзина свѣтлымъ чувствомъ общечеловѣческой идеальной правды. „Можетъ быть,— говорить одинъ критикъ,— всѣ изысканія Карамзина неправильны или должны быть дополнены; но всѣ его *сочувствія* въ высшей степени правильны, потому что они общечеловѣческія. Великая честь Карамзину, что и въ голову ему не приходило оправдывать Ивана Грознаго въ его тиранствахъ, порицать Тверь и Великій Новгородъ въ ихъ сопротивленіи, какъ дѣлаютъ во имя условныхъ теорій наши современные историки... Въ безобразно ли фальшивой (по требованіямъ нашего времени) повѣсти „Мареа Посадника“, въ краснорѣчивыхъ ли страницахъ о паденіи Великаго Нов-

города, — Карамзинъ остается вѣрнымъ самому себѣ и общечеловѣческимъ идеямъ... Это—великая заслуга, и этимъ отчасти объясняется фанатизмъ къ карамзинскому созерцанію русской жизни благороднѣйшихъ личностей” (напр., у Пушкина). „Его исторія была, такъ сказать, пробнымъ камнемъ нашего самопознанія. Мы съ нею росли, ею мѣрялись съ остальною Европою, мы съ нею входили въ общиј круговоротъ европейской жизни“ ¹⁾.

Эта сторона „Исторіи“ сообщала изображеніямъ Карамзина человѣчную, поэтическую окраску, которою она и увлекала своихъ читателей, и въ то же время—эти сочувствія къ падающему Новгороду и обвиненія противъ безумствъ Грознаго остаются гораздо болѣе вѣрными въ широкомъ народно-историческомъ смыслѣ, чѣмъ московская исключительность новѣйшаго славянофильства.

Но если было много благотворнаго въ томъ вліяніи, которое Карамзинъ прямо и косвенно оказалъ на развитіе научнаго изслѣдованія нашей старины, на возбужденіе интереса къ ней въ обществѣ, то въ литературномъ ея вліяніи была своя невыгодная сторона. Такъ именно дѣйствовала искусственная, слишкомъ часто фальшивая манера Карамзина. Его книга надолго осталась единственнымъ историческимъ кодексомъ, и на ней утвердилась, на нѣ сколько десятилѣтій, почти вся литература повѣсти, романа, драмы, бравшихъ свои сюжеты изъ русской старины. Толчекъ къ развитію исторического романа и внѣшніе его пріемы далъ Вальтеръ-Скоттъ, материалъ и сентиментальная манера брались изъ Карамзина. Шодражатели, какъ обыкновенно, развивали именно слабую сторону оригинала, и отсюда въ нашей литературѣ развивается цѣлый потокъ фальшивыхъ изображеній русской старины, начинателемъ которыхъ въ романѣ явился Загоскинъ. Извѣстно, какой чрезвычайный успѣхъ имѣлъ его первый романъ: этотъ успѣхъ на три четверти былъ приготовленъ Карамзиномъ, который возбуждалъ интересъ къ стариинѣ въ томъ самомъ духѣ; остальное сдѣлала форма романа. Отъ Карамзина шли и тѣ недостатки, которые въ то время считались достоинствами: въ „Юріи Милославскомъ“ нельзя не видѣть продолженія „Марѣи Посадницы“ и „Наталы боярской дочери“, подкрепленныхъ „Исторіей“ съ ея сентиментальнымъ представлѣніемъ старины и народности. Лажечниковъ—также ученикъ Карамзина; но онъ былъ умнѣе и талантливѣе Загоскина, лучше былъ знакомъ съ исторіей, и его произведенія гораздо серьезнѣе, хотя и въ нихъ остается искусственное отношеніе къ стариинѣ, которая, впрочемъ, и донынѣ мало дается нашимъ романистамъ.

¹⁾ Сочиненія Ап. Григорьева. Спб. 1876, I, стр. 499, 508.

Подавляющей авторитетъ Карамзина тяготѣль и надъ могущественнымъ талантомъ Пушкина: „Борисъ Годуновъ“ построенъ на исторической рамкѣ и характерахъ, данныхъ Карамзинымъ—и это не послужило въ пользу драмы. Наша критика весьма несходныхъ направлений говорила объ этомъ согласно¹⁾.

Дѣятельность Карамзина была предисловиемъ къ нашему романтизму. Извѣстно, что нашъ романтизмъ, котораго самымъ характернымъ представителемъ считается и былъ Жуковскій, не былъ какимъ-либо яснымъ, определеннымъ направлениемъ: его истинное значеніе мало сознавали сами его дѣятели и приверженцы²⁾, и онъ можетъ быть опредѣленъ только какъ сложность разнообразныхъ вліяній ромаптизма французскаго, нѣмецкаго и англійскаго, вліяній, которыя находили воспріимчивую почву въ парождавшихся новыхъ стремленияхъ самой русской литературы. У насъ отражались черты каждого изъ иноземныхъ источниковъ, и французская борьба противъ ложнаго классицизма за большую свободу формы и содержанія, и легендарные разсказы или скептическій протестъ англійскихъ поэтовъ, и средневѣковый мистицизмъ романтиковъ нѣмецкихъ или восторженный гуманизмъ Шиллера. Каждое изъ этихъ теченій находило отзывъ и приурочивалось къ русской почвѣ—отчасти потому, что эти новыя поэтическія стремления были у насъ желаннымъ оружиемъ противъ отжившихъ направлений (напр., противъ нашихъ псевдо-классиковъ и славянистующей, реторической школы Шишкова), а также потому, что новая поэзія и безъ этихъ частныхъ поводовъ увлекала своимъ общечеловѣческимъ содержаніемъ и художественной прелестью. Во всякомъ случаѣ, было одно приобрѣтеніе: „романтизмъ“ помогалъ литературѣбросить съ себя шелуху реторической и сухой условности псевдо-классицизма, давалъ болѣе глубокое основаніе поверхностной сантиментальности, указывалъ поэтическую цѣну народнаго преданія и, наконецъ, приближалъ къ „народности“ вообще.

Въ этой общей сторонѣ романтизма Жуковскому принадлежитъ неоспоримая заслуга какъ поэту, который хотя не былъ богатъ собственной оригинальностью, но, какъ первостепенный переводчикъ, какъ мастеръ языка, былъ посредникомъ нашей литературы съ ро-

¹⁾ Ср. Бѣлинскаго, Сочиненія, т. VIII, стр. 611—641; Сочин. Ап. Григорьева, I, стр. 499 („Исторія Карамзина... испортила величайшее созданіе Пушкина — Бориса Годунова“), 501, и друг.

²⁾ Ср. различные отзывы Жуковскаго, кн. Вяземскаго, Пушкина и др. изъ второго и третьего десятилѣтія нынѣшняго вѣка.

мантизмомъ западнымъ въ его разныхъ направленихъ (кромъ общественно-либерального), самъ при этомъ подчинился его вліяніямъ и открылъ имъ путь въ нашей литературѣ. И псевдо-классицизмъ, построенный на школьной теоріи, всегда сильно реторической, спускался къ дѣйствительности развѣ только въ комедіи и въ шутливой поэмѣ, а больше вращался между ходульными героями съ возвышенными чувствами и т. п.; романтика расширила поэтическую область, сближала поэзію со всѣми нравственными движеніями жизни, вводила народность не въ принижающемъ комическомъ тонѣ, а какъ глубокую нравственную стихію, цѣнную по ея первобытности, и незамѣтно демократизировала поэзію. Романтизмъ, особенно нѣмецкій, повидимому, любилъ погружаться въ чистую фантастику, съ волшебствомъ, привидѣніями, чертами и т. п., по источникомъ этой манеры было средневѣковое и современное *народное преданіе*. Такимъ образомъ, народное нашло узаконенный доступъ въ поэтической обиходъ литературы; за чужими явились и свои преданія и легенды, въ той же самой идеализациіи первобытно-народнаго. Съ другой стороны, романтизмъ взамѣнъ ложно-классического однообразія искалъ пестрыхъ красокъ, колорита мѣста и времени, и здѣсь являлось новое побужденіе наблюдать бытовыя народныя черты... Жуковскій уже вскорѣ подъ руководствомъ нѣмецкихъ романтиковъ стремится создать русскую балладу въ „Громобоѣ“ и „Вадимѣ“, направляется въ русскую народную миѳологію въ „Свѣтланѣ“, нѣсколько лѣтъ обдумываетъ какого-то, оставшагося ненаписаннымъ, „Владимѣра“ (подъ которымъ разумѣлся древній кievскій князь), позднѣе пересказывается въ стихахъ народныя сказки и т. д. Въ 1816 году онъ уже заботится о собираніи народныхъ пѣсенъ, предавай и проч.

Отсюда уже яснѣ успѣхъ этого интереса къ народности въ сравненіи съ тѣмъ, что мы видѣли въ XVIII вѣкѣ.

Въ томъ вѣкѣ это былъ интересъ непосредственный, который могъ опираться на свѣжихъ еще бытовыхъ вкусахъ и привычкахъ: записываніе пѣсенъ, какъ „охота“, шло еще отъ семнадцатаго вѣка; но историческая свѣдѣнія были грубы, и такъ какъ народъ по тогдашнимъ понятіямъ былъ „чернью“, то въ литературномъ воспроизведеніи „народность“—все еще въ согласіи съ псевдо-классической теоріей—могла явиться только въ комедіи или шутливой пьесѣ и оперѣ. Теперь точка зрѣнія была хотя все еще не ясная, но уже болѣе глубокая; историческая знанія о старинѣ стали шире, особенно послѣ Карамзина; хотя еще подъ чужими внушеніями, но серьезно берется народное преданіе, въ немъ отыскивается поэтическое содержаніе и воспроизводится въ литературѣ рядомъ съ лучшими произведеніями западно-европейскихъ поэтовъ. Форма воспроизведенія пока далеко

не выработана, отчасти фальшива,—какъ въ „русскихъ“ балладахъ Жуковскаго,—но уже начаты поиски за подлиннымъ материаломъ именно съ этой специальной задачей—овладѣть народнымъ содержаниемъ для высшихъ слоевъ литературы.

Было, къ сожалѣнію, много недочетовъ въ этомъ движениі и виѣшняя условія общественности стояли на дорогѣ этому нарождавшемуся влечению къ народности. Лучшіе люди XVIII вѣка рѣшились указать тяжелую дѣйствительность народной жизни, но эти указанія были подавлены съ грубымъ насилиемъ, и это, безъ сомнѣнія, былъ большой ударъ для общественной мысли. Романтическое стремленіе къ народности могло бы стать плодотворнѣе, еслибы могло быть поддержано серьезнымъ интересомъ общественнымъ.

„Народность“, которая нашла мѣсто въ произведеніяхъ Жуковскаго, довольно странная. Поэтъ нелегко находилъ для нея настоящее выраженіе. Прослѣдивъ его манеру трактовать народно-старинныя темы, найдемъ ея тѣсную связь съ литературными пріемами прошлаго вѣка. Въ первыхъ произведеніяхъ, напр., въ прозаическихъ разсказахъ: „Вадимъ Новгородскій“ (1803), „Три пояса, русская сказка“ (1808), „Марьина роща“ (1808), это та же манера „сказокъ“ Чулкова, смягченная карамзинскимъ стилемъ и сантиментальностью, и тѣ же странныя представлениа о русской древности. Въ стихотворныхъ пьесахъ Жуковскій слѣдуетъ послушно за своими иностраннными образцами. Онъ очень умѣетъ цѣнить ихъ собственное достоинство¹⁾, и затѣмъ, нимало не сомнѣваясь, въ чужеземной поэзіи, не имѣющей ни малѣйшаго отношенія къ русской жизни, онъ ищетъ пути къ своей народности, идетъ ощупью, и если самъ не находить дороги, то помогаетъ найти ее другимъ. Въ 1806 г., онъ пишетъ „Пѣснь барда вадъ гробомъ славянъ побѣдителей“, и притомъ „относящуюся къ военнымъ обстоятельствамъ того (1806 г.) времени“,—хотя у славянъ никогда не бывало „бардовъ“,—и рисуетъ невозможную поэтическую картину. Онъ не сомнѣвается братъ цѣликомъ чужія темы, краски и подробности и, слегка поддѣлывая ихъ подъ русскій тонъ, выдаетъ за русскія; за то въ романѣ Шиллера онъ помѣщаетъ мнимаго древне-русскаго „Услада“ („Жалоба“, 1810).

„Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“, гдѣ сказалось столько прекраснаго поэтическаго настроенія, переполненъ искусственной условностью въ подробностяхъ: мало того, что русскіе генералы 12-го

¹⁾ Какъ, напримѣръ, восхищаетъ его Гебель. Въ 1816 г., онъ пишетъ къ А. И. Тургеневу объ „Овсяномъ киселѣ“: „Это переводъ изъ Гебеля, вѣроятно, тебѣ неизвѣстнаго поэта, ибо онъ писалъ на швабскомъ діалектѣ и для поселянъ. Но я ничего лучше не зналъ! Позвія во всемъ совершенствѣ простоты и непорочности“ (Сочин., изд. Ефремова, 1878, т. VI, стр. 401).

года сражаются копьями, стрѣлами и щитами, они извлекли это вооруженіе и боевые обычай даже не изъ древне-славянской, а изъ галльской и оссіановской древности. Въ „Свѣтланѣ“ (1811) только первая строфа даѣтъ вѣрную картинку русскаго гаданья, а затѣмъ она опять романтична по-нѣмецки.

Важно было, однако, то, что рядъ изящныхъ переводовъ сообщалъ литературѣ и образованнѣмъ людямъ совсѣмъ новое представление о народномъ преданіѣ, научалъ искать и находить въ немъ поэтическую прелестъ. Если въ западныхъ литературахъ романтизмъ, известными своими сторонами, поднималъ элементъ народности, то и у насъ онъ дѣлалъ тоже самое. Строфа „Свѣтланы“ предвѣщала народно-поэтическія пьесы Пушкина. Наконецъ, съ романтизмомъ начинается новое обращеніе къ собиранію народной поэзіи.

Въ 1816, когда Жуковскій думалъ о „Владимірѣ“, занялся для него исторіей, собиралсяѣхать въ Кіевъ и Крымъ, онъ заботился и о собраніи народныхъ сказокъ и преданій. Онъ поручалъ своимъ племянницамъ Зонтагъ и Кирѣевской, жившимъ въ Бѣлевѣ, записывать для него деревенскіе разсказы, надѣясь потомъ привести этотъ материалъ въ порядокъ. На поэзію національную, — говорилъ онъ имъ,— никто не обращаетъ вниманія: въ сказкахъ заключаются народныя мѣнія; суевѣрныя преданія даютъ понятіе о нравахъ и степени просвѣщенія старины. Въ связи съ романтизмомъ возникаютъ у тогдашихъ критиковъ и теоретиковъ (кн. Влаземскій, кн. Одоевскій и др.) вопросы о „народности“, какъ цѣли или свойствѣ литературы¹⁾). Собираніе произведеній народной поэзіи занимаетъ Пушкина какъ сильно развитый съ дѣтства личный вкусъ и какъ важная вещь для собственного творчества и литературиыхъ интересовъ. Въ младшемъ поколѣніи, двоюродный внукъ Жуковскаго, Петръ Кирѣевскій является первымъ собирателемъ съ опредѣленной,

¹⁾ Нацр. издатели „Мнемозина“ (1824—25), кн. Одоевскій и Кюхельбекеръ, гордились, что заставили другія изданія говорить о необходимости народности въ поэзіи (IV, 233). О послѣднемъ „Мнемозинѣ“ выражалась такъ:

„При основательнѣйшихъ познаніяхъ и большемъ нежели теперь трудолюбіи нашихъ писателей, Россія по самому своему географическому положенію могла бы присвоить себѣ всѣ сокровища ума Европы и Азіи...“

„По недовольно присвоить себѣ сокровища иноплеменниковъ: да создастся для славы Россіи поэзія истинно русская... Вѣра народцевъ, нравы отечественные, лѣтописи, пѣсни и сказанія народныя—лучшіе, чистѣйшіе, вѣрнѣйшіе источники для нашей словесности.“

„Станемъ надѣяться, что наконецъ наши писатели, изъ коихъ особенно нѣкоторые молодые одарены прямымъ талантомъ,бросятъ съ себя поносныя цѣпи нѣмецкія и захотятъ быть русскими“, и проч. (II, 42—43).

Въ послѣднемъ случаѣ авторъ статьи „особенно имѣлъ въ виду А. Пушкина, котораго три поэмы, особенно первая, подаютъ великую надежду“.

сознательной цѣлью и вѣрными пріемами. Ему сообщалъ и Пушкинъ свои находки.

Въ одно время съ этимъ литературнымъ развитіемъ интереса къ народности путемъ изученій историко-общественныхъ и путемъ поэзій, параллельно съ трудами Карамзина, шла другая дѣятельная работа—въ области специального изслѣдованія всякихъ памятниковъ старины.

Въ обыкновенныхъ понятіяхъ, археологія считается чѣмъ-то столь далекимъ отъ живыхъ изученій народа, что археологъ является синонимомъ ученаго гробокопателя, черстваго и несимпатичнаго чудака. Есть разныя причины, почему, напримѣръ, у насъ, археологія имѣеть такую славу, и одна изъ нихъ та, что эта наука (какъ всякая другая) имѣеть свою сложную технику, которая не легкодается и не имѣеть ничего привлекательнаго и показного. Но археологія есть необходимое предисловіе и къ исторіи, и къ этнографії. Это есть изученіе древнѣйшаго быта, слѣдовательно, подкладка для описанія временъ историческихъ и для изслѣдованія народныхъ представлений, глубокая основа которыхъ коренится въ отдаленнѣйшихъ вѣкахъ народнаго существованія: археологія изучаетъ народный и общественный бытъ до тѣхъ эпохъ, когда начипаются для нихъ ясныя историческія свѣдѣнія.

Понятно изъ этого, что въ исторіи изученій народности большая доля труда и заслуги принадлежитъ, кромѣ историковъ, и чистымъ археологамъ. Правда, на первыхъ шагахъ, при неразработанности предмета, археологія еще слишкомъ бывала занята необходимыми приготовительными изученіями, рѣдко касалась жизненныхъ процессовъ народной древности способомъ, вразумительнымъ для профановъ, и имѣла лишь очень немногихъ дѣятелей съ талантомъ; но въ общемъ ходъ нашей исторической науки, начало нынѣшняго столѣтія ознаменовано замѣчательными трудами, которые давали залогъ дальнѣйшаго успѣха исторической и этнографической науки.

Не входя въ подробности, укажемъ лишь главнѣйшія имена людей, работавшихъ здѣсь одновременно съ Карамзинымъ.

Европейская, въ частности нѣмецкая, наука и теперь, какъ въ XVIII вѣкѣ, сослужила здѣсь полезную службу указаніемъ методовъ и ихъ приложеніемъ.

Труды Шлѣцера по древней исторіи продолжали Лербергъ и византистъ Кругъ, работы которыхъ справедливо называли классическими; дерптскій профессоръ Густавъ Эверсъ; ориенталистъ Френъ; Аделупгъ, Кеппенъ. Извѣстный покровитель Карамзина и попечитель московскаго университета, Муравьевъ, вызвалъ въ Москву извѣстныхъ классическихъ ученыхъ и историческихъ критиковъ:

Маттеи, описавшаго греческія рукописи синодальной библіотеки; эстетика Буле, занявшагося также русской древностью; Баузе, собравшаго замѣчательную библіотеку рукописей. Подъ ихъ руководствомъ воспитался извѣстный профессоръ Романъ Тимковскій, первый критический издатель лѣтописи Нестора; Буле и Баузе имѣли, кажется, вліяніе и на ученое образованіе Калайдовича, о которомъ дальше упомянемъ.

По собственной исторіи, отчасти независимо отъ Карамзина, отчасти въ связи съ его книгой, работали, кроме названныхъ пѣмцевъ, Гавр. Успенскій (1765—1820), Арцыбашевъ (ум. 1841); тогда же начались первые труды Погодина. По археологіи вещественныхъ памятниковъ работали Кеппенъ, Кругъ, П. Бекетовъ, Аделунгъ, Ходаковскій (изслѣдователь старыхъ городищъ, составившій о нихъ оригиналную теорію), Оленишъ, Бороздинъ, Ермолаевъ. По археологіи и исторіи церковной—митрополитъ Евгеній, который послужилъ и для исторіи литературы двумя словарями—писателей духовнаго чина и свѣтскихъ. По археографіи, собираюю рукописей, описанію архивовъ цѣпные труды совершили начальникъ московскаго Архива коллегіи иностранныхъ дѣлъ Н. Бантышъ-Каменскій, Малиновскій, протоіерей Григоровичъ, и началъ свои замѣчательные поиски Навель Строевъ. Но едва ли не замѣчательнѣйшимъ по таланту изъ всѣхъ этихъ дѣятелей археографіи былъ Константинъ Калайдовичъ, даровитый, многосторонній ученый съ яснымъ критическимъ взглядомъ, оказавшій наукѣ великую услугу открытиями въ старо-славянской и древней русской литературѣ.

Въ области филологіи въ ту же эпоху заявилъ себя Востоковъ—небольшимъ, но богатымъ по содержанію „Разсужденіемъ“ о древнеславянскомъ языке (1820), съ которого считается научное развитіе славянской филологіи и гдѣ положено первое прочное основаніе для опредѣленія взаимнаго отношенія славянскихъ нарѣчій.

Въ высокой степени замѣчательнымъ фактомъ тогдашней ученой исторіи является меценатство графа Н. П. Румянцева. „Это былъ истинный, искренній любитель и знатокъ русской исторіи,—говорить Погодинъ, еще заставшій его дѣятельность,—что касается до частностей, въ которыхъ онъ не уступалъ никакому ученому специалисту... Первымъ свидѣтельствомъ его любви былъ докладъ на высочайшее имя объ изданіи государственныхъ грамотъ, при московскомъ Архивѣ, первый томъ которыхъ, съ его гербомъ, вышелъ въ 1813 году¹⁾). Все древнее, стаинное возбуждало любопытство графа Румянцева; онъ читалъ постоянно

¹⁾ Это было знаменитое „Собрание государственныхъ грамотъ и договоровъ, хранящихся въ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ“, четыре огромныхъ фоліанта. М. 1813—1827.

все, относящееся къ русской исторіи, отыскивалъ вездѣ ея любителей, привлекалъ къ занятіямъ, искалъ случаевъ начинать историческія работы, задавалъ вопросы, указывалъ источники, снабжалъ книгами, поручалъ изслѣдованія, употреблялъ всѣ зависѣвшія отъ него средства для содѣйствія всякому предпріятію. Всякое открытие принималось имъ къ сердцу; онъ повѣщалъ прочихъ своихъ сотрудниковъ, славилъ въ обществѣ, и возбуждалъ соревнованіе, помогалъ деньгами, ходатайствовалъ, покупалъ, печаталъ, издавалъ, и около него со-ставилось цѣлое общество ревностныхъ, трудолюбивыхъ, талантли-выхъ дѣятелей, имъ найденныхъ, взысканныхъ, ободренныхъ, вос-питанныхъ... Во всѣхъ архивахъ снимались копіи, во всѣхъ библіо-текахъ дѣлались извлеченія, во всѣхъ древнихъ городахъ произво-дились поиски по порученію графа Румянцова. Издавалі слѣдовали одно за другимъ: „Государственные грамоты“, въ четырехъ фоліан-тахъ, „Памятники XII вѣка“ съ словами Кирилла Туровскаго. „Древнія русскія стихотворенія“, изслѣдованія Лерберга, „Бѣлорусскій архивъ“, „Законы Ивана Васильевича“ и „Судебникъ“, Ioannъ Экзархъ Бол-гарскій“, біографія Герберштейна, путешествіе Мейерберга, „Опытъ о новгородскихъ посадникахъ“, Описаніе Корсунскихъ воротъ“ Аде-луинга. Сверхъ того, на счетъ графа Румянцова напечатаны были „Kritische Vorarbeiten“ Эверса, „Словарь русскихъ писателей духов-наго чина“ митрополита Евгенія, „Жизнь Свидригайла“ Коцебу, „Изслѣдованіе о словѣ о полку Игоревѣ“ Пожарскаго.

Далѣе, Ногодинъ даетъ слѣдующую картину этой историко-архео-логической дѣятельности:

„Главными дѣятелями (работавшими подъ покровительствомъ графа Румянцова или въ связяхъ съ нимъ) были въ Москвѣ Калайдовичъ и Строевъ, подъ надзоромъ Малиновскаго; въ Штербургѣ Востоковъ, Аделунгъ, Кеппенъ, Кругъ, Фрецъ, Анастасевичъ; въ столицы ми-трополитъ Евгений, протоіерей Григоровичъ и проч... Главные дѣятели, въ свою очередь, имѣли свойхъ помощниковъ и агентовъ; образова-лись торговцы-антiquarii и вмѣстѣ опытные знатоки, преимущественно въ Москвѣ, около Калайдовича... Калайдовичъ пріохотилъ и возбудилъ многихъ искателей, образовалъ знатоковъ между пими. Шуховъ пріобрѣлъ отличныя свѣдѣнія въ военномъ оружіи, Мат-вѣевскій въ монетахъ, Молошниковъ въ образахъ, Большаковъ въ старопечатныхъ книгахъ, Пискаревъ, Лопухинъ въ рукописяхъ. Первое мѣсто между этими второстепенными дѣятелями принадлежить за-райскому купцу К. А. Аверину... Въ надеждѣ на хорошее возна-гражденіе, пашколовные искатели пустились во всѣ стороны на ловлю всякихъ достопамятностей, а на ловца и звѣрь бѣжитъ, какъ извѣстно; они отыскали дорогу во всякия заповѣдныя мѣста, проникли во всѣ

захолустья, и собралось въ Москвѣ множество сокровищъ историческихъ и археологическихъ, которыхъ, кромѣ графа Румянцова, поступали и въ другія, вновь образовавшіяся, собранія: къ гр. Ф. А. Толстому—рукописи и книги; къ Бекетову—монеты, медали; къ Карабанову—вещи; къ Медынцеву—панагіи, кресты, монеты; къ Царскому въ Москвѣ—образа, рукописи; къ Черткову въ Петербургѣ—монеты и книги; къ Лаштеву въ Вологдѣ—рукописи¹⁾.

Румянцовъ распространилъ свои ученые связи и порученія за границу; онъ имѣлъ тамъ своихъ корреспондентовъ, вступать въ сношенія съ европейскими учеными, какъ византинистъ Газе, какъ ориенталисты Сенъ-Мартенъ, Гаммеръ, Тихсенъ и т. д.

Такого живого интереса въ старинѣ, отъ вершинъ общества и до людей самаго скромнаго положенія, наша общественная жизнь до тѣхъ поръ не видывала,—и тѣмъ, кто нѣсколько знакомъ съ развитіемъ нашей исторической науки, известно, какія важныя прорѣтенія были для нея сдѣланы за это время. „Исторія“ Карамзина шла въ ряду этихъ фактовъ, и самъ Карамзинъ то давалъ указанія, то самъ пользовался указаніями многихъ изъ названныхъ ученыхъ; его трудъ былъ завершеніемъ этого периода. Какъ будто не случайно, Карамзинъ и Румянцовъ въ одинъ годъ кончили свое поприще.

Какъ видимъ, разрабатывалась только древняя исторія, — новая рѣдко затрагивалась въ литературѣ, а новѣйшая совсѣмъ отсутствовала. Причина была простая: новѣйшая исторія — вѣдь официально заявляемыхъ фактовъ и военныхъ разсказовъ, всегда восхвалительныхъ — была бы суждениемъ о дѣйствіяхъ правительства, хотя бы прошлаго, а такое сужденіе было немыслимо въ обществѣ, которое еще помнило разсказы о „словѣ и дѣлѣ“, у котораго были на свѣжей памяти судьба Новикова и Радищева. Но кромѣ того, эти стремленія къ старинѣ имѣли смыслъ какъ естественный вопросъ о началахъ исторіи, которыхъ были еще до того темны, что, начавшись при Карамзинѣ, долго и послѣ него могла существовать такъ-называемая „скептическая школа“, отвергавшая почти всю русскую древность до XIV столѣтія: главнымъ начинателемъ этой школы былъ Каченовскій и на скептицизмъ его Погодинъ однажды удачно отвѣтилъ замѣчаніемъ, что множеству нашихъ старинныхъ князей сть ихъ

¹⁾ Погодина, „Судьбы археологіи въ Россіи“, въ Журн. Мин. Народ. Просв. 1869, сентябрь, стр. 32 и слѣд., и тоже въ Трудахъ 1-го археол. съѣзда. Позднѣе такими путями и самъ Погодинъ собралъ известное „Древлехранилище“, выгодно имъ проданное въ Публичную Библіотеку. Въ другомъ мѣстѣ мы подробно говорили объ этой эпохѣ нашей научной исторіи, о дѣятельности Румянцова и его сотрудниковъ, на основаніи книги А. Кочубинского: „Начальные годы русского славяновѣдѣнія“, Одесса, 1887—1888 (ср. „Вѣсти. Евр.“, 1888, октябрь).

разными семейными связями труднѣе было быть выдуманными, чѣмъ существовать на самомъ дѣлѣ. Нужно было выяснить начала, происхожденіе, родовой характеръ исторического народа, а съ тѣмъ вмѣстѣ и народности.

Археологія имѣла и болѣе прямая связи съ этнографіей. Въ концѣ прошлаго столѣтія археологи открыли единственную въ своемъ родѣ древнюю поэму „Слово о полку Игорѣ“ (1-е изданіе, 1800), которая съ тѣхъ поръ и донынѣ служитъ темой многоразличныхъ гаданій о древне-русской поэзіи. Теперь археологи розыскали другое замѣчательное произведеніе народно-поэтической старины, связанное уже и съ новыми временами преемствомъ преданія — знаменитый сборникъ былинъ и пѣсенъ Кирши Данилова, который до новѣйшихъ открытій Рыбникова и Гильфердинга и до изданія собранія Кирѣевскаго оставался единственнымъ, извѣстнымъ въ литературѣ, памятникомъ нашего старого народнаго эпоса. Сборникъ Кирши изданъ былъ въ первый разъ, очень плохо, въ 1804 году ¹⁾), безъ имени издателя, которымъ былъ Якубовичъ, и напечатано здѣсь только 26 стихотвореній цѣлаго сборника. Издатель сообщилъ „къ публикѣ“ лишь самыя неопределенные указанія о сборнике ²⁾). Второе болѣе полное и обстоятельное изданіе сдѣлано было Калайдовичемъ, „по приказанію“ графа Румянцева, въ 1818 году ³⁾.

Такъ какъ, за утратой рукописи, изданіе Калайдовича остается единственнымъ текстомъ этихъ произведеній, а его предисловіе первымъ изслѣдованіемъ нашего народнаго эпоса, то мы остановимся на немъ нѣсколько подробнѣе. Калайдовичъ далъ обстоятельную исторію и описание рукописи. Открытие и сохраненіе сборника Данилова онъ приписываетъ И. А. Демидову, тогда уже умершему, для котораго она была списанъ лѣтъ за 70 передъ тѣмъ (т.-е. въ полу-

¹⁾ Древнія русскія стихотворенія. Москва, 1804. 8^о. 324 стр. Изданіе посвящено Д. П. Трощинскому, который былъ тогда министромъ удѣловъ и главнымъ директоромъ почты; въ посвятительныхъ стишкахъ (приписываемыхъ Ключареву) его просить „въ свободный часъ услышать сей простой гласъ славенской музы“.

²⁾ „Нечаянный случай доставилъ мнѣ рукопись древнихъ стихотвореній, которая, можетъ быть, дорого стоила собирателю ея. Желая принести общее удовольствие, я издаю теперь сіи стихотворенія, съ надеждою усугубить тѣмъ Русской Литературѣ, любителямъ Древностей и вообще читателямъ всякаго состоянія.—Не дѣлаю здѣсь историческихъ замѣчаній, къ которымъ временамъ отнести должно сочиненія сіи; но ежели оныя охотно приняты будуть, то при второмъ изданіи прибавлены быть могутъ пустыя (?) замѣчанія“.

³⁾ Древнія Россійскія Стихотворенія, собранныя Киршею Даниловымъ, и вторично изданія, съ прибавленіемъ 35 пѣсенъ и сказокъ доселѣ неизвѣстныхъ, и нотъ для напѣва. М. 1818. XL и 423 стр., 4^о. Это изданіе, нынѣ очень рѣдкое, повторено недавно Комиссіей печатанія госуд. грамотъ и договоровъ, при моск. Главн. архивѣ мин. иностр. дѣль: „Др. Росс. Стихотворенія“ и проч. изд. З-е. М. 1878.

винѣ прошлого столѣтія); по его смерти рукопись перешла къ Н. М. Хозикову, а имъ въ 1802 г. подарена Ф. П. Ключареву (извѣстному московскому почтѣ-директору). Этотъ послѣдній, „по разсмотрѣніи оригинала, нашелъ ихъ (памятники) довольно любопытными для просвѣщенной публики“ и поручилъ ихъ изданіе служившему подъ его начальствомъ А. Ф. Якубовичу, который въ 1804 г. издалъ „лучшія, по его мнѣнію, изъ этихъ стихотвореній“, намѣреваясь издать тогда и остальные во второй части; но обстоятельства помѣшили явиться полному изданію. Рукопись осталась собственностью Якубовича, а въ 1816 г. получилъ ее въ собственность графъ Румянцовъ.—Изданіе Якубовича оказалось весьма неточнымъ.

Въ обширномъ предисловіи Калайдовичъ опредѣляетъ характеръ памятниковъ. Сочинителемъ или, вѣроятѣ, собирателемъ древнихъ стихотвореній,—„ибо многія изъ нихъ принадлежатъ временамъ отдаленнымъ“,—былъ, по его мнѣнію, Кирша (или Кириллъ, по малороссійскому говору) Даниловъ, вѣроятно казакъ, „ибо онъ нерѣдко воспѣваетъ подвиги сего храброго войска съ особеннымъ восторгомъ“. Имя этого Кирши, по увѣренію Якубовича, стояло на первомъ, потерявшемся послѣ, листѣ сборника; имя Кирилла Даниловича упоминается въ небольшой пѣснѣ сборника (№ 36).

Калайдовичъ пытается затѣмъ отыскать „мѣсто рожденія или пребыванія“ этого Кирши, и забывая, что онъ былъ скорѣе собирателемъ пѣсень, которыхъ могли происходить изъ разныхъ краевъ, старается решить вопросъ по мѣстнымъ упоминаніямъ самыхъ бывалинъ: въ одной (о Добрынѣ) говорится—„по-нашему по-сибирскому“, въ другой (о Васильѣ Буслаевѣ)—„у насть въ Новѣгородѣ“, въ третьей (о Чурильѣ игуменѣ)—„у насть въ Киевѣ“. Очевидно, что послѣднія упоминанія относятся къ тексту рассказа, а первое—къ случайному мѣстопребыванію какого-то пѣвца, можетъ быть, вовсе и не самого Кирши: Калайдовичъ относитъ ихъ къ „сочинителю“.

По языку, не древнему, по напѣву, по содержанію, Калайдовичъ не находитъ возможнымъ отнести „сочинителя“ къ тѣмъ вѣкамъ, которые онъ изображаетъ; а по пѣснямъ, гдѣ воспѣвается рожденіе Петра I и упоминаются события его времени, Калайдовичъ думаетъ, что „собиратель“ долженъ принадлежать къ первымъ десятилѣтіямъ XVIII вѣка,—но полагаетъ, что „начало“ этихъ стихотвореній скрывается во временахъ отдаленныхъ. Именно, „повсемѣстная извѣстность некоторыхъ изъ піесъ, помѣщенныхъ Даниловымъ“¹), убѣж-

¹) Калайдовичъ называетъ слѣдующія: „Никитѣ Романовичу дано село Преображенское“; „Князь Романъ жену теряль“; „Усы, удали молодцы“; „о станишникахъ или разбойникахъ“ и др. По словамъ его, эти пѣсни „изстари поются съ большими или меньшими различіемъ“, и онъ указываетъ ихъ въ „Карманномъ Шеснинѣ“

даетъ автора, что не Даниловъ первый ихъ сложилъ. „Можетъ быть, онъ имѣлъ древнѣйшіе остатки народныхъ пѣсенъ, но, къ сожалѣнію, ихъ передѣлалъ“.

О содержаніи пѣсенъ Калайдовичъ говоритъ: „Народныя сказки сохранили память о великолѣпіи Владимировыхъ пировъ и о могучихъ богатыряхъ его, которыхъ онъ, подобно Карлу Великому, дарами и почестію привлекалъ ко двору своему. Большая часть пѣсенъ и сказокъ Данилова посвящены славѣ сего князя и подвигамъ храбрыхъ его витязей“. Указавъ по былинамъ черты этихъ пировъ князя и дружины, Калайдовичъ приводитъ о томъ извѣстное свидѣтельство Несторовой лѣтописи и собираетъ упоминанія лѣтописи и преданія о богатыряхъ, отнесенныхъ былиной къ эпохѣ Владимира — о Добрынѣ, Алешѣ Поповичѣ, Ильѣ Муромцѣ, Ставрѣ, затѣмъ о Васькѣ Буслаевѣ и проч., пріурочиваетъ къ исторіи и болѣе позднихъ героевъ, упоминаемыхъ въ сборникѣ. „Изъ сихъ примѣровъ видно, что нашъ стихотворецъ кое-что зналъ, но другимъ разсказывалъ по своему“... Далѣе, по мнѣнію Калайдовича, если Даниловъ находилъ источники для своихъ пѣсенъ въ исторіи, то несравненно больше матеріала дали ему „народныя сказки“, и указываетъ сходство былинъ Данилова съ упомянутыми у насъ выше сказками Чулкова ¹⁾

Относительно изложенія, Калайдовичъ указываетъ простоту стихотвореній Данилова, обиліе повтореній, анахронизмы; языкъ ихъ народный, съ частымъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ же выраженій, иногда съ вышедшими изъ употребленія словами. „Права Данилова на красоты слога самыя ограниченныя“. „Даниловъ писалъ болѣе для людей необразованныхъ — потому у него много фарсовъ; пѣль не для бессмертія, а для удовольствія своихъ слишкомъ веселыхъ слушателей — посему-то онъ пренебрегалъ умѣренностью и правилами благопристойности. Мѣста въ нашемъ изданіи, означенныя точками, показываютъ, что тутъ пѣвецъ нашъ, пресыщенный дарами Бахуса и мечтами о сладострастныхъ вакханкахъ, терялъ совершенно уваженіе къ стыдливости... Опъ даже цѣлая семья пѣсенъ ²⁾ пустилъ

И. И. Дмитрева (з часги, М. 1796), въ собраніи разныхъ Каиновыхъ пѣсенъ, приложенныхъ къ „Исторіи Ваньки-Каина“ (М. 1792), и прибавляется: „Я самъ слышалъ и живо впечатлѣлъ въ памяти заунывной тонъ пѣсни: Князь Романъ жену терялъ, и протяжной: о станинникахъ или разбойникахъ“. Онъ приводитъ также свидѣтельство Татищева, въ „Ист. Росс.“ М. 1768, ч. I, кн. I, стр. 50.

¹⁾ Калайдовичъ приписываетъ сказки Чулкова другому лицу — Левшину. Ср. „Роспись“ Смирдина (составленную Анастасевичемъ), Саб. 1828 („Чулковъ“) и Справочный словарь о русскихъ писателяхъ и ученыхъ, сост. Геннади и Собко, Берлинъ, 1876—1880, т. II, стр. 417.

²⁾ Эти семь пѣсенъ, перечисленныхъ у Калайдовича по заглавіямъ, и не вошли въ изданіе. Кроме ихъ, не вошли еще двѣ: „Изъ монастыря Бого любова Старецъ

по тому пути, на коемъ впослѣдствіи прославился Барковъ, хороший поэтъ, къ сожалѣнію, талантъ свой во зло употребившій“.

Наконецъ, Калайдовичъ говоритъ о размѣрѣ стихотвореній (тоническомъ), о ихъ родахъ (эпическомъ, лирическомъ, смѣшанномъ, сатирическомъ), напѣвѣ, о внѣшнемъ расположеніи изданія.

Таково содержаніе предисловія, въ которомъ находимъ первый опытъ изслѣдованія о древнемъ русскомъ эпосѣ, и тогдашняя наиболѣе совершенныя понятія объ этомъ предметѣ. Калайдовичъ, по своимъ знаніямъ въ русской древности, былъ тогда едва ли не самый компетентный, послѣ Карамзина, ученый, который могъ бы дать комментарій къ „стихотвореніямъ Кирши Данилова“¹⁾. Наибольшей его заслугой надо признать то, что онъ все-таки оцѣнилъ важность этихъ произведеній и необходимость точнаго издаванія ихъ текста и приступилъ къ критикѣ ихъ содержанія, припомнавъ все, что относится къ нимъ въ исторіи и что было известно изъ этихъ преданій въ литературѣ. Но понятія его о происхожденіи и характерѣ пѣсенъ были крайне недостаточныя. Съ одной стороны, эпическое преданіе было видимо потеряно даже для самыхъ страшныхъ, какъ Калайдовичъ, любителей старины, — несмотря на то, что онъ еще „слышалъ и живо впечатлѣль въ памяти“ нѣкоторые эпизоды преданія и изъ этого могъ бы понять его значеніе. Съ другой стороны, не народилась еще научная точка зрѣнія и онъ не зналъ, куда отнести „стихотворенія Данилова“.

Калайдовичъ не отдаетъ себѣ отчета въ народно-поэтическомъ творчествѣ. Онъ понялъ-было, что Даниловъ былъ только „собиратель“, — но затѣмъ все-таки видѣть въ немъ „сочинителя“ (въ дѣйствительности, Данилову могла принадлежать развѣ какая-нибудь отдѣльная пѣсенка изъ этого собрания), который кое-что зналъ изъ *исторіи*, но только по своему передавалъ; жалѣетъ, что Даниловъ передѣлывалъ старыя пѣсни. Калайдовичъ думалъ, что богатырскія *сказки* были источникомъ стихотвореній Данилова, т.-е. былины, а не наоборотъ, что эти сказки были только разрушенныя былины. Въ заглавіи книги и въ предисловіи Калайдовичъ находитъ у Кирши Данилова „сказки“, которыхъ тамъ вовсе нѣтъ — слѣд. самая былина казалась ему сказкой. Ему видимо представлялся эпическій *пѣвецъ* по псевдо-классической піитикѣ, но пѣвецъ простонародный, необразованный, обращавшійся къ такимъ же слушателямъ, притомъ иногда „слишкомъ веселымъ“, — такъ что всѣ черты именно народнаго творчества, его пріемы, прорухи, языки и т. д. онъ приписываетъ тому

Игришище, въ насмѣшивомъ тонѣ написанная, и Голубина книга сороки пядень, неприличная по смѣщенію духовныхъ вещей съ простонароднымъ разсказомъ“.

¹⁾ Карамзинъ не воспользовался „Др. Росс. Стихотвореніями“.

же Данилову. Собственное или внушенное цензурой понятие о благочинии заставило его совсемъ исключить изъ издания¹⁾ знаменитую легенду о „Голубиной книгѣ“, надъ которой послѣ такъ много ломали голову наши изслѣдователи и которая доставила имъ столько археологического наслажденія...

Это былъ первый шагъ въ изученіи нашей народной поэзіи... Такой же первый шагъ сдѣланъ былъ тогда въ другой области—въ изученіи славянства. Славянскій міръ съ давнихъ временъ былъ мало извѣстенъ въ Россіи, даже тѣ его части, которые кромѣ единоплеменности связаны были съ народомъ русскимъ одною вѣрою, которые нѣкогда доставляли Руси книжное просвѣщеніе, а послѣ искали у нея покровительства своей вѣрѣ и народности отъ турецкаго угнетенія. Изъ русскихъ государей, Петръ Великій впервые взглянулъ на славянскій міръ съ сознательными и частію утилитарными сочувствіями. Войны съ Турціей въ XVIII вѣкѣ и началѣ нынѣшняго столѣтія, производившія въ южномъ славянствѣ болѣе или менѣе сильное возбуждающее дѣйствіе, цѣлое переселеніе сербовъ въ Россію при Елизаветѣ, сербское восстаніе и освобожденіе—въ самой Россіи напомнили объ южныхъ единоплеменникахъ и единовѣрцахъ, но напомнили еще слабо: въ массѣ общества и въ ученомъ-литературномъ кругу были весьма неясныя представленія о братскихъ племенахъ южныхъ, а тѣмъ болѣе западныхъ. Третья глава въ первомъ томѣ Карамзина дала русскимъ читателямъ впервые нѣкоторое понятіе о цѣломъ славянствѣ, его современныхъ вѣтвяхъ и его древнѣйшей исторіи,—понятіе, заимствованное особливо изъ пѣмецкихъ книгъ и частію изъ Добровскаго: но представленіе о взаимныхъ отношеніяхъ славянскихъ племенъ, по состоянію тогдашихъ знаній, было весьма недостаточно и у Карамзина, а современное положеніе южнаго и особливо западнаго славянства (кромѣ Польши) было извѣстно лишь крайне отрывочно²⁾.

Историко-этнографические труды Александровой эпохи коснулись и этой темной области. Мы назвали выше „Разсужденіе“ Востокова, 1820 г., которому пришлось потомъ получить значеніе исходнаго пункта въ строго-научномъ развитіи славянского языковѣданія. Въ

1) Впрочемъ, еслибы и не исключилъ онъ самъ, то испрѣменно исключила бы цензура, которая и долго спустя никакъ не могла уразумѣть, что народная поэзія можетъ явиться въ ученомъ изданіи только въ своемъ подлинномъ видѣ.

2) Книга Владимира Броневскаго, „Записки морскаго офицера въ продолженіи кампаніи на Средиземномъ морѣ, подъ начальствомъ вице-адмирала Д. Н. Сенявина, отъ 1805 по 1810 годъ“. Спб., 1818—19, 4 части,—есть едва ли не единственная книга, где русскій человѣкъ замѣтилъ на западѣ своихъ единоплеменниковъ и отнесся къ нимъ съ интересомъ и сочувствиемъ.

то же время научный интерес къ славянству выразился другими фактами. Въ 1819 году знаменитый дѣятель сербскаго литературнаго возрожденія, Караджичъ, прѣѣжалъ въ Россію: въ Москвѣ „Общество любителей россійской словесности“ выбрало его членомъ, въ Петербургѣ Россійская академія присудила ему медаль за сербскій словарь, только-что тогда изданній; графъ Румянцовъ нашелъ ему ученыя порученія; Библейское Общество поручило переводъ Новаго Завѣта на сербскій языкъ, переводъ, впрочемъ послѣ перепорченный другимъ сербомъ, харьковскимъ профессоромъ Стойковичемъ, которому Библейское Общество довѣрило его редакцію. Около этого времени сдѣлано было у чеховъ „открытие“ древнихъ (или, по новымъ изслѣдованіямъ, мнимо-древнихъ) памятниковъ чешской литературы: президентъ Россійской академіи занялся ими и въ 1820 году издалъ съ русскимъ переводомъ „Краледворскую рукопись“ и „Судъ Любушки“. Въ тѣ же двадцатые годы возникало извѣстное научно-поэтическое сближеніе съ польской литературой; завязывались нити примиренія и взаимнаго интереса — у насъ съуваженіемъ назывались имена Лелевеля, Нарушевича, Линде, отдавалась дань удивленія Мицкевичу; „Историческая пѣсни“ Нѣмцевича послужили образчикомъ для историко-патріотическихъ „думъ“ Рылѣева, Бюхельбекера: сами писатели польскіе обращались къ обще-славянскимъ вопросамъ. Польское восстаніе 1831 года сильно, если не окончательно подорвало это движеніе, но оно не осталось безъ результата для научнаго развитія и для мысли о возможности будущаго новаго сближенія. Далѣе, въ тѣхъ же двадцатыхъ годахъ переселился въ Россію карпатскій русинъ Венелинъ, который въ русской литературно-научной обстановкѣ нашелъ опору для своихъ славянскихъ стремленій и сталъ возбудителемъ болгарской народности; въ нашей литературѣ Венелинъ, по вопросу о началахъ русской исторіи, былъ ревностнымъ приверженцемъ той школы, которая, прошедши черезъ Морошкина и Савельева-Ростиславича, продолжается въ трудахъ г. Иловайскаго и частію г. Забѣлина ¹⁾.

Это первое болѣе или менѣе самостоятельное изученіе славянскаго міра уже вскорѣ, въ тридцатыхъ и особливо въ сороковыхъ годахъ, укрѣпилось на научной почвѣ и имѣло важное значеніе для изученія русской народности. Опредѣлялся исходный пунктъ русской народности, намѣчались ея коренные славянскія свойства. Прежнее темное представленіе о славянствѣ русскаго народа говорило въ сущности только, что русскій народъ принадлежитъ къ какому-то

¹⁾ Подробности объ этомъ движеніи въ моихъ статьяхъ по исторіи русского славяновѣданія въ „Вѣстн. Евр.“, 1889, апрѣль—сентябрь.

большому семейству племенъ; теперь историческое изслѣдованіе опредѣляетъ черты первобытнаго племени и вышедшей изъ него народности, указываетъ степени родства нынѣ существующихъ членовъ славянской семьи. Для возникавшей научной этнографіи является возможность новаго опредѣленія древнѣйшей эпохи народности, ея внутренняго содержанія, поэзіи, обычая и преданій изъ сравненія съ другими славянскими племенами. Въ литературѣ поэтической впервые являются переводы изъ славянской народной поэзіи — изъ сербскихъ пѣсенъ Караджича (переводы Востокова), „Пѣсни западныхъ славянъ“, въ передачѣ Пушкина по Меримѣ, и пр.

Таково было состояніе изученій русской народности въ Александровскія времена. При всемъ бытовомъ отдаленіи литературы и образованнаго (преимущественно дворянскаго) общества отъ народной жизни, не только продолжается стремленіе къ ея изученію, но еще возрастаетъ и развѣтвляется: археологія, исторія, филология, славянскія изученія становятся, иногда впервые, на почву науки, расширяютъ горизонтъ историко-этнографического наблюденія и начинаютъ привлекать на себя вниманіе общества; романтизмъ, выросшій подъ вліяніемъ западныхъ литературъ и нерѣдко рабски за ними слѣдовавшій, въ концѣ концовъ опять приходитъ къ русской народности, относится къ ней съ ласковымъ поэтическимъ чувствомъ, воспроизводить ее въ „изящной словесности“. Правда, воспроизведеніе было далеко несовершенное, но уже въ этомъ періодѣ началъ дѣйствовать Пушкинъ. Съ слѣдующею четвертью столѣтія его дѣятельность развилась въ полномъ блескѣ, и настроеніе умовъ было таково, что когда было официально провозглашена известная система, то рядомъ съ православіемъ и самодержавіемъ постановлено было и начало народности.

ГЛАВА VII.

Н. И. Надеждинъ.

Официальная народность.—Литературные взгляды Надеждина: классицизмъ и романтизмъ, исторія и романъ, состояніе русской поэзіи, ходъ русской исторіи, судьба русского языка, европенізмъ и народность.—Дѣятельность въ Географическомъ Обществѣ.—Работы по расколу.—Ходъ развитія.

Вторая четверть столѣтія, занятая и характеризуемая царствованіемъ импер. Николая, начинаетъ все болѣе становиться достояніемъ правдивой исторіи, и въ литературѣ явилось уже не мало материаловъ, рисующихъ эту своеобразную эпоху,—когда официально заявленная „народность“ шла рядомъ съ крѣпостнымъ состояніемъ народа; когда свѣтило русской литературы, Пушкинъ, хотя поощряемый при дворѣ, былъ въ ежовыхъ рукавицахъ гр. Бенкендорфа; и всякое движение общественной мысли, въ которой надо бы ждать выраженія этой „народности“, было подъ строжайшимъ надзоромъ бюрократіи и подавлялось тотчасъ, какъ только въ немъ усматривалось уклоненіе отъ предписанного пути.

Мы говорили въ другомъ мѣстѣ¹⁾ объ „официальной народности“ этого времени, и не повторяя сказанного, перейдемъ къ тому, что сдѣлано было въ эту эпоху для этнографического изученія народности.

Официальное заявленіе „народности“, сдѣланное ученымъ министромъ народного просвѣщенія, какъ будто шло рядомъ съ общественнымъ мнѣніемъ, отражая то возбужденіе національного принципа, которое распространялось у насъ отчасти какъ самостоятельный результатъ исторического развитія, отчасти какъ новое явленіе, при-

¹⁾ „Характеристики литер. мнѣній отъ 1820-хъ до 1850-хъ годовъ“, изд. 2-е. Спб. 1859, глава III.

вивавшееся подъ европейскими вліяніями¹⁾. Этому заявлению тогда дѣлалось множество панегириковъ, какъ національному откровенію; на дѣлѣ, направленіе литературно-общественного интереса въ сторону народности было отъ него совершенно независимо: литература жила своей внутренней жизнью, шла своими путями,—она стремилась въ этомъ направленіи и ранѣе; явленіе величайшихъ національныхъ писателей, Пушкина и Гоголя, совпадавшее съ заявлениемъ, было плодомъ предыдущей исторіи общества. Но при всемогуществѣ офиціального авторитета, заявленная программа не осталась безъ своего дѣйствія на характеръ литературы и науки: именно исторіографіи и этнографіи. Это дѣйствіе было двоякое: очень благотворное, когда правительственная власть, въ виду „народности“, оказывала содѣйствіе научному изслѣдованію, напр., учрежденіемъ Археографической комиссіи и разрѣшеніемъ Географического Общества; но и менѣе благотворное, когда программа, тѣмъ или другимъ путемъ, производила извѣстное давленіе: у изслѣдователей, кромѣ интересовъ науки и безкорыстной любви къ народу, стала сказываться и видимая наклонность идти въ угоду данной программѣ. Многимъ безъ сомнѣнія казалось, что программа и есть то самое, къ чему стремились ихъ собственные мысли... но рядомъ съ этимъ „офиціальная народность“ породила множество общественного, литературного и научного лицемѣрія: изображеніе и толкованіе народности пригонялось къ условному офиціальному представлению, которое строилось по Державину и Карамзину, въ соединеніи съ бюрократическими и помѣщицкими взглядами, съ двусмысленной любовью къ „мужичку“ и съ такъ-называемымъ „кваснымъ“ патріотизмомъ, для которого найденъ былъ тогда терминъ—или Полевымъ, или кн. П. А. Вяземскимъ (авторомъ „Русскаго Бога“).

Но какъ въ литературныхъ изображеніяхъ надо всѣмъ этимъ возобладала истина, внушаемая произведеніями Пушкина и Гоголя, такъ и въ изученіяхъ историко-этнографическихъ, еще въ томъ же періодѣ, взяло верхъ научное отношеніе къ предмету, къ которому присоединилось правдивое чувство народности.

Въ ряду писателей, которымъ принадлежитъ въ этомъ періодѣ заслуга основанія научной этнографіи, одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ занимаетъ Н. И. Надеждинъ (1804—1856). Не останавливаясь на подробностяхъ его ученой и литературной дѣятельности²⁾

¹⁾ Ср. объясненія г. Алексія Веселовскаго въ книгѣ: „Западное вліяніе“ и пр.

²⁾ Укажемъ его извѣстную, вирочемъ недоописанную, „Автобіографію“, съ дополненіями П. С. Савельева, въ Р. Вѣстн. 1856, № 9, стр. 49—78; „Воспоміянія о Н. И. Надеждинѣ“, Срезневскаго, въ „Вѣстникѣ Геогр. Общ.“, ч. XVI, 1855, V, 1—16.

коснемся ея лишь по связи съ литературнымъ и научнымъ вопросомъ о народности.

Надеждинъ былъ одинъ изъ талантливѣйшихъ русскихъ ученыхъ. Одаренный сильнымъ теоретическимъ умомъ и памятью, хранившей обширныя историческія, богословскія, литературныя свѣдѣнія, рано развившійся, онъ своими первыми трудами обратилъ на себя вниманіе и уже вскорѣ пріобрѣлъ почетное имя въ литературѣ и на университетской каѳедрѣ.

Съ первыхъ шаговъ въ журналистикѣ, Надеждину пришлось вмѣшаться въ ожесточенные споры о классицизмѣ и романтизмѣ. Послѣдній, высшимъ представителемъ котораго считался Пушкинъ, былъ горячо защищаемъ его школой и имѣлъ на своей сторонѣ всѣ шансы побѣды. Съ вѣрой въ своего предводителя, школа Пушкина высокомѣрно относилась къ противникамъ, которые могли выставить лишь устарѣлые взгляды и тяжеловѣсныя произведенія. Старый „Арзамасъ“ дѣлалъ изъ этого спора простую шутку и глумленіе; Пушкинъ, самъ нѣкогда принадлежавшій къ „Арзамасу“, и его друзья относились къ „классицизму“ не иначе. Школа считала свое дѣло безповоротно побѣдившимъ, „романтизмъ“—завоевавшимъ свое положеніе, а въ немъ видѣлся ей истинный успѣхъ русской національной литературы. Надеждину, который вступалъ въ литературу съ горячими желаніями того же успѣха, повидимому, естественно было стать въ рядахъ новой школы. На дѣлѣ, онъ явился ея рѣзкимъ, упорнымъ противникомъ. Къ сожалѣнію, ему пришлось писать сначала (1828) въ журналѣ Каченовскаго, издававшемся плохо, не имѣвшемъ авторитета, вызывавшемъ насмѣшки своими странностями; но приверженцы романтизма скоро увидѣли, что „Никодимъ Надоумко“ (псевдонимъ Надеждина)—противникъ серьезный, не подѣть стать Каченовскому, надѣяться которымъ они привыкли подсмѣиваться; начались злѣйшія нападенія, неумѣренность которыхъ показывала, что новый критикъ задѣвалъ за живое. Съ 1831 Надеждинъ началъ издавать свой журналъ „Телескопъ“, въ томъ же духѣ, но съ болѣшимъ вліяніемъ. Въ концѣ концовъ, его взгляды пріобрѣтали силу; враги, какъ „Телеграфъ“ Чолевого, незамѣтно стали повторять его мысли. Самъ Пушкинъ помѣстилъ въ журналѣ Надеждина извѣстную остроумную полемическую пьесу, подѣ псевдонимомъ Теофилакта Косичкина.

О журнальной дѣятельности Надеждина, см. „Современникъ“, 1856, № 7 (статьи о Пушкинѣ, ст. 3-я; и 1856, № 4 („Очерки Гоголевскаго периода русской литературы“, ст. 4-я). Мнѣнія о характерѣ Надеждина (въ петербургскій периодъ его жизни) въ литературныхъ кругахъ, см. у Панаева, „Литер. Воспоминанія“, Спб. 1876, стр. 149—158, и др.

Въ чёмъ былъ предметъ спора? Въ своей автобіографіи Надеждинъ объясняетъ, и это вѣрно съ фактами, что въ тогдашихъ спорахъ его поражало, что обѣ стороны чрезвычайно темно понимаютъ не только различіе классицизма и романтизма, но и истинный смыслъ и задачи поэзіи, и вообще искусства; романтики легкомысленно повторяли чужія фразы о романтизмѣ, безъ мѣры преувеличивая значеніе нововведеній и теряя смыслъ къ дѣйствительности, къ прошедшему и настоящему литературы. Надеждинъ высоко цѣнилъ геніальный талантъ Пушкина, но это не останавливало его строгихъ осужденій тому, что у самого Пушкина отзывалось ложной манерой школы. Въ новомъ спорѣ, который теперь завязался, столкнулись два различные способа пониманія: „романтики“, Полевой и др., не были теоретиками, довольствовались внушеніями личнаго вкуса, поверхностнымъ пониманіемъ западнаго романтизма; Надеждинъ, напротивъ, былъ именно теоретикъ, образовавшійся на нѣмецкой философіи, дававшій искусству основаніе въ глубокой ідее, умѣвшій защищать свои взгляды съ сильной логикой, съ обширнымъ запасомъ знанія. Преувеличенія и легкомысленная пустота большинства „романтиковъ“ бросались ему въ глаза; въ ихъ писаніяхъ онъ не только не видѣлъ успѣха, но находилъ прямой вредъ для литературы; поверхностныя понятія о смыслѣ искусства казались ему настоящими „нигилизмомъ“. Надеждинъ не вѣрилъ въ достоинство байроническихъ поэмокъ и разныхъ стишковъ, гдѣ вслѣдъ за Пушкинымъ и поэтическая мелкота предавалась самодовольному эпикурейству въ мнимомъ жреческомъ служеніи искусству: Надеждинъ указывалъ ничтожество, на которое размѣнивалось романтическое направленіе, на потерю всякаго чувства дѣйствительности и истинныхъ цѣлей поэзіи. Его статьи въ „Вѣстникѣ Европы“ 1828—29 и въ первые годы „Телескопа“ были приготовленіемъ къ тому страстному отрицанію, съ которымъ выступилъ Бѣлинскій въ „Литературныхъ Мечтаніяхъ“. Это была потребность и предчувствіе иного развитія литературныхъ силъ, болѣе широкаго захвата жизни: это дали потомъ произведенія Пушкина, въ ихъ цѣломъ, и Гоголь. „Школа“ отошла окончательно въ прошедшее.

Не будемъ повторять того, что было уже указано¹⁾ изъ этой полемики Надеждина съ романтической школой, и приведемъ рядъ другихъ цитатъ, чтобы выяснить его точку зреенія на положеніе литературы въ связи съ цѣлью вопросомъ нашего національнаго развитія.

¹⁾ Въ статьяхъ „Современника“ 1855—56: „Гоголевскій періодъ русской литературы“.

Біографъ Надеждина, извѣстный оріенталистъ и археологъ Савельевъ, близко его знаяшій, говоря о разбросанности трудовъ Надеждина, при всей обширности его знаній не оставившаго цѣльныхъ крупинныхъ трудовъ, дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе о его характерѣ: „Въ другой средѣ и при другихъ обстоятельствахъ, Надеждинъ могъ бы озnamеновать свое поприще болѣе сосредоточенными трудаами, не вынуждаемый исходить съ высоты своей эрудиціи на тѣ ступени, которыя, въ зреломъ обществѣ, не нѣждаются уже въ элементарныхъ пособіяхъ или предоставляются писателямъ второстепеннымъ. Но онъ былъ, прежде всего, человѣкъ своей страны и своего времени, поставляемый обстоятельствами въ разныя среды, съ которыми долженъ былъ идти въ уровень. Этому способствовали и живость его, и гибкость характера, которая, при всей твердости ума и мысли, умѣла принаровляться ко всѣмъ понятіямъ и всѣмъ степенямъ образованности“...¹⁾). Если обратить вниманіе на то, что уже въ то время „Телеграфъ“ говорилъ о „приторпомъ патріотизмѣ“ Надеждина²⁾, то, хотя бы и согласиться съ Савельевымъ, что Надеждинъ „вездѣ оставался вѣренъ идеѣ самостоятельной русской науки, вносиль ее въ каждый кругъ, гдѣ ни вращалась его дѣятельность“, и что „въ распространеніи ея и состоитъ его несомнѣнная заслуга современному обществу“, надо полагать, что современникамъ была довольно замѣтна „гибкость“ въ его изложеніяхъ русской національной идеи. И дѣйствительно, у него не разъ можно встрѣтиться съ „приторнымъ патріотизмомъ“, или съ тѣмъ способомъ выраженія, который невыгодно для Надеждина напоминалъ писателей совсѣмъ иной категоріи; но тѣмъ не менѣе, тамъ, гдѣ онъ чувствовалъ себя свободнымъ, идетъ непреклонная критика господствующаго моднаго направленія—въ пользу сознательного труда для литературы народной, или національной.

Въ послѣдующихъ цитатахъ мы встрѣтимся съ тѣмъ и другимъ.

Въ первой, вводной статьѣ „Телескопа“—о современномъ направлении просвѣщенія—Надеждинъ исполненъ патріотическихъ ожиданій: „Духъ творческаго соревнованія жизни, одушевляющій нынѣ Европу, возвѣялъ и въ нашемъ отечествѣ. Для насъ зачинается эра живой народной словесности“³⁾). Правда, нашихъ проявленій этого духа еще немногого въ сравненіи съ Европой: но Россіи еще предстоитъ

¹⁾ „Р. Вѣстн.“ 1856, № 9, стр. 75.

²⁾ Въ извѣстномъ разборѣ его докторской диссертациіи (о романтизмѣ), повтореннемъ въ „Очеркахъ русской литературы“ Шолевого, Спб. 1839. Ср. также болѣе ясные отзывы у Панаева, „Литер. Воспоминанія“.

³⁾ Доказательство тому онъ видѣлъ тогда въ басняхъ Крылова и въ „Юріѣ Милославскомъ“, Загоскина.

великое будущее. „Стойте только взглянуть на карту земного шара, чтобы исполниться святого благоговѣнія къ судьбамъ, ожидающимъ Россію. Неужели этотъ колосъ воздвигнутъ нарасно мудрою міродержавною десницею?.. Нѣть! Онъ долженъ имѣть великое всемірное назначеніе... Тучи бродятъ надъ Европою; но на чистомъ неѣ русскомъ загораются тамъ и здѣсь мирныя звѣзды, утѣшительныя вѣстницы утра. Всегда-ль должно будетъ ихъ разглядывать въ телескопъ?.. Придетъ время, когда онѣ сольются въ яркую пучину свѣта!..“ (Тел., 1831, т. I, 45—46).

Объясняется название журнала, которое одно уже говорить, какъ представлялось Надеждину положеніе русского просвѣщенія.

Въ первой статьѣ журнала за 1832 годъ продолжается противоположеніе нашего благополучія съ бѣдствіями Европы. „Нашъ царь былъ для насъ животворнымъ свѣтиломъ... И тогда какъ Европа, привѣтствуя утѣшительную будущность, не можетъ не чувствовать раскаянія и стыда, мы вступаемъ теперь въ новый годъ съ чистой неомрачаемой радостью“ (т. I, стр. 10). Но, какъ сейчасъ мы видимъ, онъ высоко уважаетъ эту кающуюся Европу, и въ томъ же томъ журнала (вѣроятно, болѣе искренно) рисуетъ, съ народно-патріотической точки зренія, печальную картину жалкаго положенія русского просвѣщенія.

Въ „Огчетѣ за 1831 годъ“ Надежинъ изумляется „необыкновенной скучности“ и безплодію русской литературы. Она бывала, однако, богата; у нея былъ Ломоносовъ, Державинъ, и есть Жуковскій, Пушкинъ, Дмитріевъ и Крыловъ. Неужели же для нашей молодой литературы уже начинается упадокъ? (это—во время процвѣтанія романтизма). „Наше младенчество отзывается старостью и хилостью... Неужели наше просвѣщеніе отцвѣло, не разцвѣтши? Неужели намъ суждено, не живши, состарѣться?“

Авторъ не думаетъ этого; но онъ видитъ застой и приписываетъ его—могуществу чуждаго вліянія, отяготѣвшаго надъ нами съ самыхъ первыхъ минутъ нашего пробуденія, т.-е. при Петрѣ Великомъ.

Это чуждое вліяніе съ одной стороны было благодѣтельно, потому что „вдвинуло насъ въ составъ просвѣщенаго міра, отъ котораго отдѣлялись мы глухою, пепроходимою стѣною, и дало намъ возможность участвовать въ умственномъ капиталѣ человѣчества, накопленномъ совокупными силами народовъ, въ продолженіе тысячелѣтій“. Но съ другой стороны, вліяніе было вредно ¹⁾:

¹⁾ Пусть читатель не постыдится на насъ за обиліе цитать изъ статей Надеждина: мы убѣдились собственнымъ опытомъ, что полный экземпляръ журнала Надеждина есть уже великая библіографическая рѣдкость. Въ Петербургѣ изъ большихъ,

„Открывшаяся передъ нами роскошь европейского просвѣщенія ослѣнила нашу неопытность; мы захотѣли немедленно наслаждаться ею, позабывъ, что она стоила Европѣ тмочисленныхъ трудовъ, вѣковыхъ усилий. Чтобы пріобрѣсть законныя права на сіе наслажденіе, надлежало обратить богатство европейской образованности въ нашу собственность, приспособить ее къ русскому духу и возрастить, собственными силами, изъ внутреннихъ соковъ русской жизни. Это требовало трудовъ, которые показались намъ тяжелы и скучны“... (Мы просто пересадили чужія растенія, которыхъ, питаясь русской почвой, все-таки остаются чужими)... „Тяжело, а должно признаться, что доселѣ наша словесность была—если можно такъ выразиться—барышней европейской; она обрабатывалась руками русскими не по-русски; истощала свѣжіе неистощимые (?) соки юнаго русскаго духа для воспитанія произрастеній чуждыхъ, не нашихъ. Что у насъ теперь своего? Поэтическій нашъ метръ выкованъ на германской наковальне; проза представляеть вавилонское смѣщеніе всѣхъ европейскихъ идіотизмовъ, наростиавшихъ поочередно слоями на дикую массу русскаго неразработанного слова. Какими произведеніями можемъ мы похвалиться, какъ нашими собственными? Театръ у насъ представлялъ всегда жалкую народію французской чопорной сцепы; объ эпопеяхъ и говорить нечего; лирическое одушевленіе временъ очаковскихъ выливалось въ офиціальныхъ формулахъ, общихъ всей Европѣ; въ балладахъ, коими смѣнилось царство оды, развертывалась нѣмецкая трескучая фантазмагорія ¹⁾; современныя поэтическія мечты, думы, грезы отзываются или, по крайней мѣрѣ, хотятъ отзываться байронизмомъ. Такимъ образомъ благодатный весенний возрастъ словесности, запечатлѣваемый у народовъ, развивающихся изъ самихъ себя, свободною естественностью и оригинальною самообразностью, у насъ напротивъ обреченъ былъ въ жертву рабскому подражанію и искусственной принужденности. Обыкновенно ставить это въ вину и въ укоръ русскому характеру, признавая его неспособнымъ къ самообразной производительности: но не будемъ слишкомъ строги къ самимъ себѣ. Не одна наша словесность терпитъ сюю участъ“... (и въ примѣръ приведены маленькая литературы, которыхъ даже старше насы по европейскому просвѣщенію: шведская, датская, голландская).

„Само собою разумѣется, что сіи часильственные наросты не могли укореняться глубоко въ литературной нашей почвѣ и разростаться богатою жатвою. Напротивъ, они весьма скоро выцевѣтали, блекли и опадали“... (Направленія и моды быстро мѣнялись: Ломоносовъ, Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ; новѣйшее направление тоже недолговѣчно: „новое броженіе, пробужденное свое-нравными каризами Чушкина, метавшагося изъ угла въ уголъ (!), угрожало также всеобщюю эпидемію, которая развѣялась собственною вѣтротѣнностью“). „Кончилось тѣмъ, чѣмъ обыкновенно оканчивается всякое круженье—утомле-

болѣе или менѣе доступныхъ библіотекъ, полный экземпляръ есть только въ Публичной Библіотекѣ; въ другихъ—не имѣется.

Отсутствіе издания сочиненій Надеждина свидѣтельствуетъ лишній разъ о томъ, какъ слабо у насъ пониманіе образовательныхъ интересовъ общества, и—вина тѣхъ, въ чьихъ рукахъ была возможность такого изданія. Сочиненія Надеждина могли бы имѣть много полезнаго дѣйствія въ свое время; теперь, онѣ уже становятся только историко-литературнымъ материаломъ.

¹⁾ Въ томъ же году, по поводу повѣстей Рудаго Панька, т.-е. Гоголя, Надеждинъ указывалъ—„до какой высокой степени можетъ быть поэтизирована славянская народная фантазмагорія“ (1832, V, стр. 107).

ніемъ, охладѣніемъ, усыпленіемъ! Пустота, естественное слѣдствіе безразсуднаго расточенія силъ, обнаружила сама себя повсюду". (Война между классицизмомъ и романтизмомъ заставила самоувѣренность признаться въ своей внутренней ничтожности).

(Упадокъ—явный; но наковецъ долженъ произойти поворотъ). „Въ русской словесности близокъ долженъ быть поворотъ искусственного рабства и принужденія, въ коемъ она доселѣ не могла дышать свободно, къ естественности, къ народности. Направление сіе ощутительно отчасти и въ вышихъ слояхъ нашего литературного міра. Романы Загоскина, въ коихъ русская народность выработана до идеального изящества,... между собственно-поэтическими произведеніями, „Борисъ Годуновъ“ (Пушкина) и „Мареа Посадница“ (изданная Погодинымъ) отличаются глубокою народностью... Но блестательнѣйшимъ разсвѣтомъ русской народности поэзіи порадовала нась прекрасная сказка Жуковскаго ¹⁾, явившаяся на рубежѣ истекшаго года“... ²⁾.

Въ приведенной цитатѣ выраженія о русскомъ духѣ оставались неопределены:—какъ приспособить европейскую образованность къ этому духу, какъ возрастить ее изъ внутреннихъ его соковъ?—но рѣзко обозначено подавляющее вліяніе этой образованности, и требование самостоятельного труда, *естественности и народности*. Въ тогдашнемъ запасѣ литературы было еще мало произведеній, которыхъ подходили бы къ этому требованію, и Надеждинъ, рядомъ съ „Борисомъ Годуновымъ“, радуется сочиненіямъ Загоскина, Погодина, сказкѣ Жуковскаго, баснямъ Крылова: но онъ съ вѣрнымъ чутьемъ угадывалъ близость поворота къ желанной полной „самообразной производительности“. Поворотъ наступалъ уже въ ту минуту: появились первыя произведенія Гоголя. Надеждинъ съ первого раза восхищался его рассказами, а когда въ два-три года явились еще новыя произведенія Гоголя, то въ томъ же журналѣ ученикъ Надеждина, Бѣлинский, съ восторгомъ привѣтствовалъ въ нихъ новый наступающій періодъ русской литературы. Вопросъ о „классицизмѣ“ и „романтизмѣ“ провалился сквозь землю.

Но пока онъ еще былъ въ наличности. Надеждинъ возвращается къ нему еще нѣсколько разъ, и въ томъ же году о немъ напоминали новыя стихотворенія Пушкина ³⁾). Отношеніе Надеждина къ Пушкину выше указано: въ той самой статьѣ, о которой мы здѣсь гово-

¹⁾ Это была „Сказка о спящей царевицѣ“, напечатанная въ „Европейцѣ“, И. В. Кирѣевскаго.

²⁾ „Отчетъ за 1831 годъ“, Телескопъ 1832, I, стр. 147—159. Въ той же книжкѣ, стр. 167 и слѣд., помѣщена университетская рѣчь М. А. Максимовича—о русскомъ просвѣщеніи, развивающая ту же основную мысль: европейское просвѣщеніе стало нашей потребностью; но стремленіе это, дошедшіе до крайности, должно было разрѣшиться „отчетнымъ сознаніемъ“, которое столь прилично европейской просвѣщенности“, и ознаменоваться обращеніемъ къ своему, народному.

³⁾ „Телескопъ“, 1832, III, стр. 103 и слѣд.

римъ, Надеждинъ признаетъ, что талантъ Пушкина доходитъ иногда до „исполинскаго величія“,—но именно поэтому онъ не прощаетъ Пушкину его байроническихъ прихотей, его уступокъ легкимъ взглядамъ на поэтическую дѣятельность и, кажется, старается увѣрить его въ пустотѣ похвалъ, расточаемыхъ легкомысленными пріятелями, и вызвать на трудъ, отвѣчающій величію его таланта. Новая пѣсня „Онѣгина“, тогда вышедшая, еще разъ убѣждаетъ Надеждина, что „поэтъ не имѣлъ при немъ ни цѣли, ни плана, а дѣйствовалъ по свободному внушенію играющей фантазіи“. Приводя стихи „Онѣгина“:

„Кто бъ ни былъ ты, о мой читатель,
Другъ, недругъ“, и проч. (пѣсня VIII).

Надеждинъ замѣчаетъ: „Явно, что Пушкинъ съ благороднымъ самоотверженіемъ созналъ наконецъ тщету и ничтожность поэтическаго сущесловія, коимъ, увлекая другихъ, не могъ, конечно, и самъ не увлекаться. Его созрѣвшій умъ проникъ глубже и постигъ вѣреи тайну поэзіи: онъ увидѣлъ, что для генія—повторимъ давно сказанную остроту—не довольно создать Евгения“... Теперь Пушкинъ обратился къ русской народной старинѣ, въ „волшебной мглѣ“ которой разыгрались первыя мечты его поэтической юности; но Надеждинъ (восхищавшійся сказкой Жуковскаго) недоволенъ сказками Пушкина. Онъ видѣтъ въ нихъ—,одно принужденное усилие, tour de force могущественнаго, но безжизненнаго искусства“; онъ соглашается, что эта новая попытка Пушкина обнаруживаетъ тѣснѣшее знакомство съ наружными формами старинной народности; но „смысьль и духъ ея остается все еще тайною, не разгаданною поэтомъ“.

Надеждинъ заключаетъ выводомъ, что „нашій поэзіи не дождаться обновленія, пока русскій духъ не обратится внутрь себя, не отыщеть въ самомъ себѣ источника новой самобытной жизни... Но какъ приняться, какъ начать это великое дѣло?.. Европейскія литературы возвращаютъ теперь свою народность, обращаясь къ своей старинѣ. У насъ это возможно ли? Таково-ли наше прошедшее, чтобы возстановленіемъ его можно было осѣменить нашу будущность?“ Къ этому существенному вопросу Надеждинъ намѣревался обратиться впослѣдствіи по поводу „тѣхъ произведеній нашей словесности, кои, подъ именемъ романовъ, стремятся собственно и исключительно къ поэтическому возсозданію старины русской“¹⁾.

Вопросъ о русскомъ духѣ былъ и тогда не новый, но весьма неопределенный: какъ этому духу отыскать въ самомъ себѣ источникъ новой жизни? Давно уже говорили, что надо обратиться къ народ-

¹⁾ Тамъ же, стр. 123.

нымъ преданіямъ, поэзіи; теперь призываютъ насъ вернуться „паздъ, домой“... Надеждинъ думалъ иначе. Какъ ни возставалъ онъ противъ подчиненности Европѣ, „обращеніе духа внутрь себя“ зовсе не обозначало для него возвращенія въ отжитой старинѣ.

По поводу историческихъ романовъ Шолевого, Свивина, Масальскаго, Лажечникова, Надеждинъ возвратился къ поставленному раньше вопросу: даетъ ли русская старина поэтическій материалъ для обновленія народнаго духа въ литературѣ, какъ онъ это видѣлъ въ литературѣ европейской¹⁾.

По взгляду Надеждина, „романъ“ есть именно романъ исторической, потому что для картины романа нужно законченное, опредѣленное состояніе общества. Онъ естественъ и богатъ именно тамъ, гдѣ была богатая событиями и мыслью *исторія*. Такъ богата, напримѣръ, исторія французская, даже самая новѣйшая. „При быстротѣ перемѣнъ событий, которая намъ кажется современными, во Франціи имѣютъ полное право поступать въ вѣдомство исторіи и романа. Министерство Виллеля наравнѣ съ министерствомъ Ришелье записывается въ скрижали исторіи и представляется въ романической космограмѣ: баррикады юльскія идутъ обѣ руку съ баррикадами Лиги“²⁾... Обращаясь къ вопросу о возможности русского исторического романа, Надеждинъ набрасываетъ оригинальный взглядъ на русскую исторію.

„Теперь естественно представляется вопросъ, до которого мы доходили и прежде,—начинаетъ Надеждинъ:—есть ли у насъ матерія для романа, имѣемъ ли мы *прошедшее?* Съ первого взгляда такой вопросъ можетъ заставить многихъ улыбнуться; но мы просимъ терпѣливо насть выслушать. Конечно, по лѣтописямъ и хронографамъ, народу русскому считается около десяти вѣковъ непрерывнаго быта. Восемь столѣтій уже исповѣдуемъ мы христіанскую вѣру; и почти за шесть вѣковъ можемъ представить письменные документы нашего существованія. Но чѣмъ это было за существованіе? Жилъ ли подлинно народъ русскій въ это длинное тысячелѣтіе? Оставляя времена „великановъ сумрака“, Рюрика и Олега, когда самое бытіе оказывается историческою проблемою³⁾, взглянемъ на такъ называемый періодъ удѣльной системы, коимъ поглощается первая половина тысячелѣтняго цикла палихъ воспоминаній. Чѣмъ представляютъ намъ въ эти пять вѣковъ отечественныя преданія? Дремучій лѣсъ безличныхъ именъ, толкующихся въ пустотѣ безжизненнаго хаоса. Напрасно живописное краснорѣчіе Карамзина усиливалось оѣнить сю мрачную пустоту риторическою прелестью разсказа: его исторія удѣльной Руси не могла возвыситься до степени живой исторической картины и, при всемъ наружномъ великолѣпіи своего уранства, осталась сухою, мертвую хроникою. Нельзя по-

¹⁾ См. „Телескопъ“, 1832, IV, стр. 233—246.

²⁾ Послѣднее представляли тогда романы Бальзака.

³⁾ Это думалъ Надеждинъ, имѣя въ виду дѣйствовавшую тогда „скептическую школу“—Каченовскаго и его послѣдователей.

ставить это въ вину искусству исторіографа: ему не съ чего было списывать! Нельзя жаловаться и на скучность лѣтописей: пѣть вечного было записывать! Нашъ удѣльный періодъ былъ періодомъ хаотического броженія разнородныхъ частицъ, изъ которыхъ должна была выработатьсь жизнь народа русскаго... Тѣ ошибаются, кои считаютъ междусобіемъ, наполняющія сей періодъ, признаками напряженія жизни и потому сравниваютъ состояніе Руси удѣльной съ драматическимъ волненіемъ древнихъ греческихъ или среднихъ итальянскихъ республикъ, такъ поэтически изображеныхъ кистью Фукидида и Сисмонди. Нашего удѣльного періода нельзѧ даже сравнивать съ меровейскимъ періодомъ французской исторіи, заклейменнымъ въ исторіи чертой *тунеядства*¹⁾. Сей послѣдній не былъ и не могъ быть чуждъ жизни: ибо во время его не приготавлялось новое твореніе народа, прежде не существовавшаго, а совершилось пересозданіе римской обветшавшей гражданственности, чрезъ водвореніе на развалинахъ ея новыхъ пришельцевъ... (Слѣдуютъ историческая объясненія объ эпохѣ меровинговъ). „Посему возможность романнической переработки древней французской исторіи для насъ очень понятна...

„Но у насъ какая рѣшительная противоположность, какое безконечное различіе! Наша национальная жизнь, наша исторія развивается совсѣмъ иначе, при другихъ условіяхъ, по другимъ законамъ! Русскій народъ отличается отъ всѣхъ новыхъ европейскихъ народовъ тѣмъ, что сотворилъ самъ себя, изъ себя самого, не чрезъ возсозданіе обветшалыхъ элементовъ пріобщеніемъ новыхъ, а самобытно и самозиждательно... Въ многосложной массѣ настоящаго европейскаго населенія, ~~Это~~ слой чисто первородный! Въ продолженіе первыхъ шести вѣковъ, составляющихъ нашу исторію до Иоанна Ш, слой сей только-что кристаллизовался, если можно такъ сказать, физически, наполняя собой обширное пространство европейскаго востока, отведенаго ему въ удѣль... Въ сей чисто инстинктуальной, механической потребности расширенія, составляющей, по общимъ законамъ бытія, первое условіе всякаго органическаго образованія, заключается причина разъединенія древней Руси“ (т.-е. въ удѣльной системѣ)... „Сie непреодолимое стремленіе къ расширению должно бы было кончиться совершеннымъ разрушениемъ народной цѣлости... Но, по мудрѣмъ установамъ Промысла, народу русскому не суждено было погибнуть! Въ то время какъ Русь была готова совершенно распасться и потерять навсегда самобытную свою цѣлость, иго татарское отяготѣло надъ нею. Сie иго, подавивъ собою землю русскую, сократило ея необузданную расширимость. И когда, послѣ первыхъ минутъ ощущенія, въ порабощенномъ, но несокрушенномъ народѣ, пробудилось снова самочувствіе, то его дѣятельность, по естественной реакціи, приняла обратное направленіе, устремилась впутрь себя, начала тяготѣть къ средоточію. Развитіе сего поваго, центростремительного направленія занимаетъ собою послѣднюю половину удѣльного періода нашей исторіи. Въ продолженіе ея, великокняжескій титулъ, какъ видимый символъ средоточнаго национальнаго единства, долго носился по всѣмъ концамъ земли русской, не находя твердой точки, где бы могъ незыблемо укорениться. Переходя изъ Владимира то въ Тверь, то въ Илліній Новгородъ, заходя даже въ Рязань и Смоленскъ, онъ удержался, наконецъ, въ Москвѣ, где превратился въ краеугольный камень единодержавія, коимъ началась истинная органическая жизнь народа русскаго. Вотъ, по нашему мнѣнію, подлинное значеніе такъ называемаго удѣльного періода нашей исторіи! Это былъ,—повторяемъ снова,—періодъ фи-

¹⁾ Здѣсь разумѣются такъ называемые *rois-fainéants*.

вническаго образованія массы, изъ которой долженъ быль выработаться народъ русскій! Жизни въ собственномъ смыслѣ тогда не было и не могло быть: ибо жизнь требуетъ могущественнаго начала духа, коимъ бы пропикалась и двигалась тяжелая вещественная масса. Но въ то время что могло быть симъ животворнымъ началомъ? Единство политического состава? Оно не существовало! Единство общихъ идей? Ихъ не было! Русскіе, во времія удѣловъ, не имѣли ни общихъ идей объ отечествѣ; ибо каждый считалъ свою родину своей отчизной; киевлянинъ ненавидѣлъ сѣверянина, рязанецъ владимирца; ни общихъ идей о правѣ, ибо всякий князь судилъ и рядилъ по своему¹⁾; ни даже на конецъ общаго слова; ибо языкъ, раздробленный на многочисленныя нарѣчія по всей обширности древней русской земли, нигдѣ не достигъ литературнаго образованія, которое одно возводить его на степень всеобщей національной рѣчи. Отсюда — рѣшительное отсутствіе не только драматическаго движенія, но даже пластической изобразительности въ воспоминаніяхъ нашей древней исторіи. При совершенномъ бездѣйствіи пружинъ, коими возбуждается народная дѣятельность, у насъ не могло выражаться тогда ни одного глубокаго характера, ни одной рѣзкой физіономіи.. Все различіе физіономій, сохраненныхъ намъ лѣтописцами, заключается въ болѣе или менѣе рѣзкихъ отгѣнкахъ набожности... Коротко сказать: нашъ древній удѣльный періодъ получаетъ иѣ-которую жизнь только въ сказаніяхъ Патерика и Четій-Миней. Для исторіи онъ мертвъ: тѣмъ болѣе для романа! И еслибъ кто вздумалъ освѣтить лучами фантазіи таинственную мглу его, то онъ могъ бы создать развѣ поэтическую легенду, изъ христіанскихъ благочестивыхъ преданій!..

„Такимъ образомъ изъ тысячелѣтняго цикла нашей исторіи, шесть вѣковъ не принадлежать собственно біографіи народа русскаго... Съ Иоанна III должно считать собственно жизнью русскаго народа. Но и здѣсь цѣлые два вѣка про текли еще въ младенческихъ нестройныхъ движеніяхъ организующагося государства... Въ продолженіе ихъ, Россія съ неимовѣрною скоростью протекла всѣ періоды органическаго государственного развитія, для совершенія коихъ европейскому западу потребно было цѣлое тысячелѣтіе. Отсюда сіи два столѣтія представляютъ удивительную фантазмагорію быстрыхъ, внезапныхъ переворотовъ, кои тѣснятъ и обгоняютъ другъ друга. Царствованіе Иоанна IV, распадающееся на двѣ, столь противоположныя другъ другу, половины, представляетъ въ себѣ любопытное совмѣщеніе, съ одной стороны прекрасной рыцарской эпохи, когда Казань и Астрахань, Ливонія и Сибирь, оглашались славными подвигами героевъ русскихъ, съ другой,—мрачнаго періода тираній, гдѣ могущественная пята царя московскаго раздавила на самомъ цвѣту поздній всходъ русскаго феодализма. Наши народныя войны съ поляками, во времена Самозванцевъ, имѣли весь энтузіазмъ и всю святость крестовыхъ походовъ. Установленіе патріаршества усилило іерархической элементъ въ новой организаціи государства русскаго, который, въ лицѣ Никона, возвысился до отчаянной Гильдебрандской борбы съ самодержавiemъ и, вмѣстѣ съ Никономъ, пожралъ самъ себя. Наконецъ нашъ Петръ воплотилъ въ себѣ реформацію!.. Всѣ сіи великие перевороты, столпившіеся въ тѣсномъ промежуткѣ двухъ столѣтій, натурально не оставили времени юному исполнцу русскому подержаться на одной постоянной точкѣ, выработать себѣ опредѣленную физіономію и проявиться въ цѣломъ мірѣ оригиналныхъ характеровъ и дѣй-

¹⁾ „Русскую Правду“ Надеждинъ считалъ „мѣстнымъ обрядникомъ, перенятымъ у чужеземцевъ“.

ствій. Въ сін два столѣтія, лицо его, подобно лицу младенца, мѣнялось безпрестанно, ни одна черта не могла нарѣзаться на немъ глубоко, ни одной характеристической примѣты не могло удержаться долго. Всѣ движения его были мгновенные, летучія; вся жизнь — порывъ, изступленье!... Посему и эти два вѣка представляютъ не роскошную жатву для русского исторического романа. Въ нихъ много эпического величія и лирическаго одушевленія, но мало драматической полноты жизни! Этоничъмъ столько не подтверждается, какъ примѣромъ *Юрія Милославскаго*, коего истинное достоинство состоитъ въ лирическомъ оживленіи самого торжественнаго момента сей блестательной эпохи! Да и не здѣсь ли должно искать изъясненія драматической неполноты *Бориса Годунова!*..

„Итакъ, гдѣ же начинается полная русская исторія?.. Не дальше Петра Великаго! Слѣдовательно, все наше прошедшее ограничивается однимъ вѣкомъ! Мы живемъ пока въ первой главѣ нашей исторіи! И эта первая глава такъ свѣжа, такъ нова!... Исторія еще не давала себѣ права до нея касаться“...

Такимъ образомъ, призывъ „народнаго духа“ вовсе не обозначалъ грубаго возвращенія къ XVII вѣку, которое проповѣдовалось потомъ славянофилами и обскурантами. По взгляду Надеждина, физіономія русской народности въ тѣхъ вѣкахъ еще не установилась: она мѣнялась безпрестанно, подобно лицу младенца, и это справедливо,— потому что дѣйствительно все еще шло воспринятіе новыхъ этнографическихъ элементовъ, новыхъ историческихъ условій и опытовъ, новыхъ знаній и образованности. Полная русская исторія начинается только съ Петра Великаго,—т.-е. съ утвержденія Россіи, какъ государства европейскаго, съ первыхъ прочныхъ начатковъ общечеловѣческаго просвѣщенія: это опять было справедливо—потому что только разумно управляемое государство даетъ возможность развитія народныхъ силъ, и только просвѣщеніе даетъ „народному духу“ средство къ самосознанію.

Въ „Обозрѣніи русской словесности за 1834 годъ“¹⁾, Надеждинъ опять возвращается къ темѣ о „запустѣніи“, о „старческомъ изнуреніи“, постигшемъ нашу литературу „въ такой ранней молодости“, и причину онять указываетъ въ ея несчастной подражательности.

„Крайность литературного изнеможенія, въ коемъ мы годъ отъ году погрязаемъ глубже²⁾), естественно должна была открыть глаза многимъ и вчуши, если не ясную, опредѣленную мысль, по крайней мѣрѣ глубокую, настоящую потребность возстановленія, перерожденія. Отсюда возрастающей съ нѣкотораго времени стыдъ прежняго, слѣпого пристрастія къ чужому; отсюда—суетливость о своемъ, отечественномъ, русскомъ, всюду обнаруживающа, въ различныхъ видахъ! Можетъ бытъ, у иныхъ, это слѣдствіе того же

¹⁾ „Телескопъ“, 1835, I, стр. 5—16.

²⁾ „Даже бесконечная жизнь Евгения Онѣгина,—замѣчаетъ онъ передъ тѣмъ,—прекратилась; даже неистощимая фамилія Выжигиныхъ перестала давать новыхъ отродья“.

обезъянства; тѣмъ лучше, что зло само для себя служить антидотомъ, что клинъ выбивается клиномъ! Но отъ чего жъ это спасительное противуядіе распространяется такъ медленно, дѣйствуетъ такъ слабо?...

„Литература есть пульсъ внутренней жизни народа. Но внутренняя жизнь слагается изъ двухъ составныхъ началь: умственного начала мысли и дѣятельного начала энергіи. Гдѣ сіи начала не достигли степени должна развиція, тамъ жизнь еще дремлетъ, литература нѣмотствуетъ!“...

Мысль есть необходимая принадлежность человѣческой природы; но есть примѣры цѣлыхъ народовъ, какъ будто обиженныхъ въ этомъ отношеніи. Въ древности, віотійцы прославились тупоумiemъ; теперь, Китай и Японія казались Надеждину осужденными на младенческое слабоуміе. „Была пора,—замѣчаетъ Надеждинъ,—и даже весьма недавно, когда нась, русскихъ, разумѣли не лучше“, а теперь, хотя не сомнѣваются въ нашемъ умѣ, но еще мало увѣрены, способны ли мы къ самобытному творчеству. Дѣйствительно, у нась мыслители рѣдки, и мыслять они лѣниво и застѣнчиво. „Ни по какой отрасли наукъ мы не можемъ представить *собственно наими* добытой *собственно намъ* принадлежащей ленты, которая и-бѣ, съ рускимъ штемпелемъ, была пущена во всемирный оборотъ, присовокуплена къ общему капиталу современного просвѣщенія“.

Отчего это?—на этотъ вопросъ Надеждинъ даетъ весьма опредѣленный отвѣтъ, который ясно указываетъ его взглядъ на потребности „народного духа“ и который, хотя высказанъ болѣе полувѣка назадъ, при всѣхъ успѣхахъ русской науки остается и теперь совершенно вѣренъ для массы русскаго общества.

„Въ русской головѣ,—говорить онъ,— достанетъ мозгу на многое, но къ сожалѣнію, это богатое вещества не обрабатывается надлежащимъ образомъ... Мы учимся очень худо—такъ худо, что должны стыдиться самихъ себя“. (Благодаря заботамъ правительства, средства къ образованію у нась постоянно умножаются)—„но какъ отвѣтствуемъ мы на сіи предупредительныя, призывающыя мѣры? Не вынуждаемъ ли мы нашимъ непростительнымъ хладнокровіемъ, для того чтобы заманить нась въ классы, привѣшивать къ дверямъ классные чивы; для того, чтобы усадить нась за книги, обертывать ихъ въ табель о рангахъ! Какъ ни тѣжко, а должно сознаться, что искренняя, безкорыстная любовь къ ученію есть пока у нась явленіе весьма рѣдкое, а безъ сей любви никакая наука не дается, развѣ на прокатъ, для выставки. Спрашивается: какое вліяніе должна имѣть подобная *закоснѣлость умственного образованія* на литературу? У нась доселѣ существуетъ ложное предубѣжденіе, будто между учепостью и литературою нѣть никакого соотношенія, кроме развѣ непріязненнаго. Предполагаютъ, что литературѣ подъ вліяніемъ учености тѣжко, трудно, удушиливо. Но не такъ думаютъ въ другихъ странахъ Европы, гдѣ по болѣшей части одно и то же слово означаетъ и литературное, и ученое; гдѣ школы считаются необходимымъ преддверiemъ жизни; гдѣ словесность есть не что иное какъ шнуровая книга современного капитала идей и знаній.. Безъ сомнѣнія, и у нась не прежде должно ожидать литературы живой, самобытной, какъ въ то время, когда мысли нашей даются *свѣжей, укрѣпляющей* воз-

духъ, когда умъ, изощренный упражненiemъ, обогащенный наукою, выработаетъ и пустить въ ходъ достаточное количество идей свѣтлыхъ, животворныхъ. Безъ понятія, слово—пустой звукъ; безъ идей, литература — мѣдь звенящая!“

Нужно сосредоточенное напряженіе всѣхъ нашихъ силъ могуществою твердої воли: безъ того невозможенъ ни одинъ шагъ впередъ ни въ знаніяхъ, ни собственно въ литературѣ...

Въ томъ же смыслѣ написана характерная статья о русской поэзіи¹⁾), гдѣ бѣдность этой поэзіи объясняется недостаткомъ серьезной и сильной общественной жизни, и этотъ недостатокъ изображается рѣзкими полемическими чертами...

„Поэзія,—говорить Надеждинъ,—существуетъ не въ одномъ словѣ, не въ однихъ книгахъ. Слово есть выраженіе, органъ, тѣло поэзіи; но душа ея заключается въ душѣ. Основаніемъ поэзіи слова должна быть поэзій мыслей поэзіи дѣйствій, поэзіи чувствованій... Гдѣ же у насъ поэзія? Я не нахожу ея въ нашемъ народномъ мышленіи, ибо у насъ еще нѣть своего русскаго, самобытнаго и самообразнаго мышленія. Много ли у насъ мыслящихъ даже чужимъ, выноснымъ умомъ? Не ограничивалась ли доселѣ вся мысленная наша дѣятельность жалкимъ подбираньемъ крохъ съ богатой трапезы европейскаго просвѣщенія? И эти крохи обращаются ли въ сокъ и кровь нашего умственнаго организма?.. Всякая умственная дѣятельность начинается съ самопознанія; но сознали ль мы себя какъ русскихъ, объяснили ль настоящее положеніе въ системѣ рода человѣческаго; опредѣлили ль должная отношенія къ окружающей насъ природѣ, къ развивающейся вокругъ насъ жизни? Мы еще не знаемъ самихъ себя... Мы не думаемъ о себѣ; о чёмъ же можемъ думать? Отъ того-то все наши умственные труды представляютъ такой смутный, безобразный хаосъ; отъ того-то мысли наши толкуются взадъ и впередъ, мнуть и сбиваются другъ друга, словно въ вавилонскомъ столпотвореніи. Тамъ азіатскій фатализмъ съ французскимъ легкомысліемъ, здѣсь измѣдская мечтательность съ англійскимъ сплюномъ! Какъ же тутъ искать, гдѣ тутъ быть поэзіи?.. Ея нѣтъ и въ нашихъ дѣйствіяхъ, въ нашихъ житейскихъ отношеніяхъ, въ нашихъ общественныхъ нравахъ. Ибо, что наша жизнь, что наша общественность? Либо глубокій, неподвижный сонъ, либо жалкая игра китайскихъ, бездушныхъ тѣней. Поэзія правовъ состоять въ ихъ живомъ, искреннемъ, самообразномъ развитіи: она невозможна безъ сильныхъ, глубокихъ страстей, вызванныхъ со дна души, не вышешигъ давленіемъ разсчетовъ, но избыткомъ внутренней полноты.. А у насъ будто есть страсти?.. По именамъ, они все есть у насъ: но это не страсти, а страстишки, мелкія, ничтожныя, презрѣнныя. Не стану распространяться о томъ, что слишкомъ извѣстно: не буду описывать подробно всей сухости, всей пустоты, всей мертвоты безцвѣтности нашихъ нравовъ; скажу одно, въ чёмъ заключается все. Лучший цвѣтъ общественной жизни, ея высочайшая поэзія выражается въ женщинахъ, прекраснѣйшемъ созданіи, коимъувѣнчался прекрасный миръ божій! Но что у насъ женщина? Признаюсь, я не могъ доселѣ составить себѣ идеала женщины русской: я не знаю элементовъ, изъ которыхъ бы онъ могъ быть составленъ. Я и не пишу въ на-

¹⁾ „Письма въ Кіевъ, къ М. А. М—чу (Максимовичу), о русской литературѣ. Письмо первое: Куда гѣвалась наша поэзія“, въ „Телескопѣ“ 1855, т. I, стр. 149—158.

шемъ обществѣ женщины Бальзака, этой давной поэмы, для созданія коей потребно было двѣнадцать вѣковъ непрерывно возрастающей цивилизациі... Можно бѣло было удовольствоваться малѣйшимъ біеніемъ жизни, малѣйшею искоркою огня; но жизни своей, не взятой на проматъ изъ магазина; но огня настоящаго, не поддѣльного, не выписаного, не сшитаго изъ тряпья, раскрашенаго красною краскою, какъ огонь театральный!.. Да, у насъ нѣтъ женщины, нѣтъ, стало и любви, первого, необходимаго условія поэзіи жизни... Наші нравы или суздальской иконной работы, или китайской шпалерной живописи, только въ шляпкахъ Гербо, съ прическою г. Нарцисса! Въ нихъ нѣтъ души, нѣтъ жизненного румянца, нѣтъ произвольнаго движенія. Гдѣ-жъ тутъ быть поэзі?..—Итакъ, если мы хотимъ искать, если мы надѣемся сыскать у себя поэзію, надо ограничиться словомъ, прибѣгнуть къ книжному міру, вслушаться въ паденіе стопъ, въ созвучіе риѳмъ, нѣтъ ли тамъ поэзіи?...

Остановимся, наконецъ, на статьѣ послѣдняго года „Телескопа“, гдѣ въ послѣдній разъ высказываются эти общіе взгляды Надеждина.

Статья называется: „Европеизмъ и народность въ отношеніи къ русской словесности“¹⁾.

„Странный вопросъ, странный споръ занимаетъ теперь нашу критику,—начинаетъ Надеждинъ,—или, лучше, составляетъ единственный призракъ (не хочу сказать — призракъ) литературнаго самосознанія въ нашемъ отечествѣ. При всей очевидности быстраго, непрерывнаго возрастанія нашей литературной производительности — когда итоги книжного бюджета годъ отъ году увеличиваются въ каталогахъ и отчетахъ... у насъ существуетъ сомнѣніе, идетъ споръ: есть ли въ нашемъ отечествѣ литература!“—(Надеждинъ разумѣеть, конечно, споръ, возбужденный первыми статьями Бѣлинского). По-видимому, не стоило бы обращать внимание на такой дикій парадоксъ; но на дѣлѣ, не смотря на темную безвѣстность людей, возставающихъ противъ русской словесности, на ихъ плебейскую безъименность въ литературной іерархіи, ихъ выходки „потревожили заслуженныхъ, именитыхъ ветерановъ книжного дѣла, возмутили ихъ сладкій покой на благопріобрѣтенныхъ лаврахъ, взволновали патротическую желчь, оскорбили народную гордость“. Но понятно, откуда идетъ озлобленіе этихъ ветерановъ, отчего они „хватаются за ржавый мечъ тяжелыхъ остротъ и пошлихъ ругательствъ“: дѣло въ томъ, что сомнѣнія безъименныхъ плебеевъ вовсе не ничтожны, какъ ихъ хотятъ представить; ихъ выходки проникнуты живымъ, задушевнымъ чувствомъ; они — не только не „ренегаты, отирающіеся отъ своего отечества“, но напротивъ, въ нихъ „ярко свѣтить самый благороднѣйшій патротизмъ, горить самая чистѣйшая любовь

¹⁾ „Телескопъ“, 1836, I т. (XXXI цѣлаго изданія), сгр. 5—60, 203—264.

къ славѣ и благу истинно русскаго просвѣщенія, истинно русской литературы". Надеждинъ съ негодованіемъ отвергаетъ эти обвиненія: неужели тотъ — отступникъ, кто съ прискорбiemъ видитъ слабость своеzemнаго образованія, неразвитость своего языка, кто съ ожесточеніемъ вопіетъ противъ людей, которые изъ слѣпой гордости или по другимъ побужденіямъ усиливаются задержать наше просвѣщеніе и нашу литературу въ томъ низменномъ состояніи, „которое донынѣ возбуждается къ намъ одно жалкое презрѣніе европейскихъ нашихъ собратій?" Нѣтъ:

„Будь благословенно это отступничество отъ пагубнаго самообольщенія ложной гордости, примѣръ коего поданъ намъ Великимъ изъ Великихъ, Отцомъ и Зиждителемъ настоящаго величія Россіи!"

Въ сущности, этотъ споръ именно доказываетъ, что у насъ есть, наконецъ, литература живущая, самосознающая. Въ этомъ не трудно убѣдиться. „Пусть всякий русскій положить себѣ руку на сердце и скажетъ по совѣсти: неужели это сердце не содрогалось никогда отъ громовыхъ звуковъ Державина, не расширялось сладкимъ умиленіемъ при задумчивой пѣснѣ Жуковскаго, не горѣло и не било при иномъ раскаленномъ стихѣ Пушкина"? Все, что возбуждаетъ живое сочувствіе, само должно быть живо. Въ чёмъ же состоитъ эта жизнь литературы?

Всякая жизнь, и литературная въ томъ числѣ, говорить Надеждинъ, слагается изъ двухъ противодѣйствующихъ элементовъ, центростремительного и центробѣжнаго, различное дѣйствіе которыхъ производитъ два основныхъ явленія развитія. Въ одномъ періодѣ, литература народа стремится выразить его особую личность, народный духъ со всѣми его чертами, родимыми пятнами. „Это направление есть безусловная, исключительная народность литературы, составляющая отличительный характеръ всѣхъ первыхъ періодовъ литературной жизни, во всѣ времена, у всѣхъ народовъ". Но творческій геній народа встрѣчается затѣмъ съ другими соприкосновенными народами и, „по закону естественного сочувствія, по закону взаимнаго притяженія, коимъ держится цѣлостъ и единство вселенной", береть участіе въ ихъ жизни, пользуется ихъ пріобрѣтеніями, и сообща съ ними стремится продолжать свое бесконечное развитіе. Отсюда — другая сторона литературы, — ея стремленіе къ общности, къ „чужеядству": „сей характеръ въ большей или меньшей степени принадлежалъ всѣмъ литературамъ, совершившимъ вполнѣ поприще жизни". И такъ, оба направлениія законны, и здоровое развитіе литературы состоить въ правильномъ ихъ *соединеніи и взаимности*. „Но горе, если одно направленіе — какое бы ни было — возьметъ рѣшительный верхъ надъ другимъ, ограничится самимъ собою, воца-

рится единодержавно въ духѣ народа! Тогда литературная жизнь, какъ бы ни была могуча въ кориѣ и широка въ развитіи—подвергается неминуемой опасности засохнуть на цвѣту, умереть преждевременно. Коснѣя въ однѣхъ и тѣхъ же формахъ, безъ движенія, которое возможно только при взаимномъ сраженіи противоположныхъ элементовъ,—она застаивается и гнѣтъ, какъ атмосфера, не потрясаемая электричествомъ, какъ запертое со всѣхъ сторонъ озеро, чуждое волненій". И такъ, для успѣховъ литературы вообще необходимо гармоническое сліяніе обоихъ направленій: „литература живая должна быть плодомъ *народности*, питаемой, но не подавляемой *общительностью*“, т.-е. связью съ просвѣщеніемъ другихъ народовъ,—въ нашемъ случаѣ, западной Европы.

Но если мы захотимъ примѣнить это общее основаніе къ исторіи нашей литературы, наскъ тотчасъ останавливается препятствіе: мы не знаемъ исторіи нашей литературы; относительно ея, „мы бродимъ ощущью, повторяемъ безотчетно несвязныя *преданія*, коснѣемъ подъ игомъ слѣпого *суевѣрія*“.

И затѣмъ онъ излагаетъ своеобразный взглядъ на русскую литературную исторію, совпадающей съ его взглядомъ на исторію национально-политическую. Онъ оспариваетъ прежде всего „общее мяѣніе“, по которому русское слово производится отъ языка церковно-славянского и церковно-славянская письменность ошибочно считается первымъ периодомъ *нашей* литературной исторіи.

„Это мяѣніе составляетъ родъ народного суевѣрія: вѣковое предубѣждение постановило его выше всѣхъ сомнѣній и споровъ. И добро бы это мяѣніе оставалось только въ глубинѣ сердецъ какъ благочестивое вѣрованіе, или повторялось лишь въ книгахъ какъ стариинное преданіе! Нѣть! Оно бывало не рѣдко вачаломъ дѣятельнаго возбужденія для нашей словесности, лозунгомъ литературной реформы. Въ церковно-славянскомъ языкѣ первѣдко поставлялся единственный идеалъ усовершенствованія нашего выиѣшняго слова...—Спрашивала: въ дѣлѣ столь важномъ, въ дѣлѣ, могущемъ имѣть такое сильное и глубокое вліяніе на судьбу всей нашей литературы — можно ль довольствоваться одною слѣпую вѣрою? — Не надлежало ли бы нашимъ грамотѣямъ и книжникамъ... подвергнуть строгому изслѣдованію это усыновленіе языка русского языку церковно-славянскому?... и пр.

Этого сдѣлано не было. Между тѣмъ, настаиваетъ Надеждинъ,— русскій языкъ „является существенно отличнымъ отъ церковно-славянского во времена самыя древнія“ и „значитъ: въ понятіяхъ о нашей литературѣ мы заблуждаемся съ первого шага!“ Литература на церковномъ языкѣ не была русская литература.

Русскій языкъ,— говорить онъ,—въ семье славянскихъ нарѣчий есть языкъ отдельный, самостоятельный. Онъ даже не принадлежитъ къ одной изъ тѣхъ двухъ отраслей, на какія Добровскій раздѣлилъ

всѣ славянскія нарѣчія (съверно-западная и юго-восточная), и со-ставляетъ особую восточную категорію¹). „Это возстановленіе рус- скаго языка въ своемъ достоинствѣ весьма важно, не столько по мелочнымъ разсчетамъ народнаго самолюбія, сколько потому, что, опредѣляя настоящія отношенія его къ другимъ, избавляетъ отъ опасности чуждаго несвойственнаго вліянія. Таково именно было влія- ніе церковно-славянскаго языка, подавившее въ самомъ началѣ рус- скую пародную рѣчь и долго, очень долго препятствовавшее ея раз- витію въ живую народную словесность“.

Этимъ взглядомъ Надеждинъ въ первый разъ вѣрно освѣщаетъ характеръ нашей старой литературы и еще длившіеся споры о *старомъ и новомъ слогѣ*. Обыкновенно привыкли думать, что принятие церковно-славянской письменности было благотворнымъ преимуществомъ для древней Руси предъ европейскимъ западомъ, получив-шимъ Св. Писаніе на латинскомъ языкѣ. Надеждинъ думаетъ, на- противъ, что это отдѣленіе церковнаго языка отъ народнаго имѣло для европейскихъ литературъ самая благотворныя слѣдствія: „бра- годаря небреженію пишущей (по-латыни) касты, народная рѣчь спаслась отъ всякаго насильственнаго искаженія; педантизмъ книж- никовъ ворочался съ своей варварской латынью и спокойно остав- лялъ живые народные языки изливаться звонкой, чистой, свободной струей изъ устъ менестрелей и труверовъ“. Наконецъ, сама латынь уступила пародной рѣчи, одряхла и „скончалась въ архивной пыли, подъ грудою фоліантовъ“. Такимъ образомъ вліяніе христіан- ства въ западной Европѣ не убило народности въ литературѣ, но сообщило ей новый духъ, не сокрушая тѣла.—У насъ было совсѣмъ напротивъ. Св. Писаніе было принесенено къ намъ на языкѣ сродномъ и понятномъ. Наши предки поражены были звуками языка близкаго, могущественнаго и стройнаго, и подъ его впечатлѣніемъ они есте- ственно отреклись для него отъ своей грубой, необразованной рѣчи: такимъ образомъ, при первомъ введеніи письма на Русь, письмен- ность стала церковно-славянскою: для народной рѣчи — „оставлены были въ удѣль только пизкія житейскія потребы; она сдѣлалась языккомъ простолюдиновъ.“

¹) Надеждинъ упоминаетъ здѣсь (стр. 32), что, бывши за-границей, узналъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что знаменитый Шафарикъ, „въ приготовляемомъ новомъ изданіи исторіи славянскихъ языковъ и литературъ“, измѣнилъ свое прежнее мнѣ- віе о принадлежности русскаго языка къ юго-восточной группѣ (рядомъ съ болгар- скими и сербскими) и „призналъ русскій языкъ третьей, чисто восточной отраслью славянскихъ языковъ, во всѣхъ отношеніяхъ равной двумъ первымъ“. — Но это не подтвердилось въ изданіи Шафарикомъ черезъ нѣсколько лѣтъ „Славянской Этно- графіи“.

„Единственное поприще, гдѣ она могла развиваться свободно, подъ сѣнью творческаго одушевленія, была народная пѣсня; но и здѣсь надъ ней тяготѣло отверженіе, гремѣло проклятие. Народныя пѣсни въ самомъ народѣ считаются понынѣ грѣховодной забавой, тѣшеньемъ бѣса! У нашихъ предковъ законное безгрѣшное употребленіе поэзіи разрѣшалось только въ составленіи акаѳистовъ и каноновъ, или въ пѣннѣ духовныхъ стиховъ, гдѣ донынѣ звучитъ священное церковно-славянское слово ..—Такъ, въ продолженіе многихъ вѣковъ, послѣдовавшихъ за введеніемъ христіанства, языкъ русскій, лишенный всѣхъ правъ на литературную цивилизацию, оставался неподвижно, *in statu quo*—безъ образования, безъ грамматики, даже безъ собственной азбуки, приюровленной къ его свойствамъ и особенностямъ. И между тѣмъ предки наши, въ ложномъ ослѣпленіи, не сознавали своей бессловесности; они считали себя грамотными, у нихъ были книги, были книжники; у нихъ была литература! Но эта литература не принадлежала имъ: она была южно-славянская по материнѣ, греческая—по формѣ; ибо кто не знаетъ, что богослужебный языкъ нашъ отлитъ весь въ формы греко-византійскія, можетъ быть даже съ ущербомъ славянизма?“

Ученые историки литературы и долго послѣ продолжали повторять „суевѣрія“,—но изслѣдованіе старины выиграло бы, если бъ обратило больше вниманія на точку зрења Надеждина. По его взгляду, порча русской народности *чуждыми и несвойственными* вліяніями началась со введенія церковно-славянской письменности: это ставило вопросъ совершенно наоборотъ, чѣмъ его ставилъ нѣкогда Шишковъ противъ Карамзина, потомъ Шевыревъ, и наконецъ славянофилы и ихъ школа. *Русской народной литературы* не было въ старомъ періодѣ; ее надо было еще создавать...

При этомъ характерѣ старой письменности, естественно было, что когда Смотрицкій воззимѣлъ мысль о грамматикѣ русскаго языка, онъ и составилъ ее по всѣмъ формамъ греческой. „Не забудьте, — говорить Надеждивъ,— что по учебной книжѣ Смотрицкаго образовался Ломоносовъ:— и тогда поймете, какъ глубоко, какъ могущественно, какъ исключительно было вліяніе церковно-славянской или, лучше, славяно-греческой письменности на языкъ русскій; поймете, чего должно было стоить, чего стоило оно чистой народности русскаго слова?“

Народный языкъ живучъ; вѣка рабства не могутъ подавить его; русскій языкъ не охотно покорялся, и въ самостоятельныхъ русскихъ произведеніяхъ онъ сказывался изъ-подъ славянского давленія. Но затѣмъ произошло новое событие, опять изображаемое Надеждінъ очень своеобразно.

„Половина Руси—и половина наиболѣе развитая, наиболѣе вкусившая жизни и образованія, даже *наиболѣе русская* (я говорю это *по твердому, глубокому уѣзженію*)—половина юго-западная, гдѣ находился Кіевъ, мать градовъ русскихъ, гдѣ благочестивое вѣрованіе водружило крестъ Андрея и благоговѣйное

„Единственное поприще, гдѣ она могла развиваться свободно, подъ сѣнію творческаго одушевленія, была народная пѣсня; но и здѣсь надъ ней тяготѣло отверженіе, гремѣло проклятіе. Народныя пѣсни въ самомъ народѣ считаются понынѣ грѣховной забавой, тѣшеньемъ бѣса! У нашихъ предковъ законное безгрѣшное употребленіе поэзіи разрѣшалось только въ составленіи акаѳистовъ и каноновъ, или въ пѣніи духовныхъ стиховъ, гдѣ донимиѣ звучитъ священное церковно-славянское слово...—Такъ, въ продолженіе многихъ вѣковъ, послѣдовавшихъ за введеніемъ христіанства, языкъ русскій, лишенный всѣхъ правъ на литературную цивилизацию, оставался неподвижно, *in statu quo*—безъ образования, безъ грамматики, даже безъ собственной азбуки, приноровленной къ его свойствамъ и особенностямъ. И между тѣмъ предки наши, въ ложномъ ослѣпленіи, не сознавали своей бессловесности; они считали себя грамотными, у нихъ были книги, были книжнички; у нихъ была литература! Но эта литература не принадлежала имъ: она была южно-славянская по матеріи, греческая—по формѣ; ибо кто не знаетъ, что богослужебный языкъ нашъ отлить весь въ формы греко-византійскія, можетъ быть даже съ ущербомъ славянизма?“

Ученые историки литературы и долго послѣ продолжали повторять „суевѣрія“,—но изслѣдованіе старины выиграло бы, если бъ обратило больше вниманія на точку зрењія Надеждина. По его взгляду, порча русской народности *чуждыми и несвойственными* вліяніями началась со введенія церковно-славянской письменности: это ставило вопросъ совершенно наоборотъ, чѣмъ его ставилъ нѣкогда Шишковъ противъ Карамзина, потомъ Шевыревъ, и наконецъ славянофилы и ихъ школа. *Русской народной литературы* не было въ старомъ періодѣ; ее надо было еще создавать...

При этомъ характерѣ старой письменности, естественно было, что когда Смотрицкій возъимѣлъ мысль о грамматикѣ русскаго языка, онъ и составилъ ее по всѣмъ формамъ греческой. „Не забудьте, — говорить Надеждинъ,— что по учебной книжѣ Смотрицкаго образовался Ломоносовъ:— и тогда поймете, какъ глубоко, какъ могущественно, какъ исключительно было вліяніе церковно-славянской или, лучше, славяно-греческой письменности на языкъ русскій; поймете, чего должно было стоить, чего стоило оно чистой народности русскаго слова?“

Народный языкъ живучъ; вѣка рабства не могутъ подавить его; русскій языкъ не охотно покорялся, и въ самостоятельныхъ русскихъ произведеніяхъ онъ сказывался изъ-подъ славянского давленія. Но затѣмъ произошло новое событие, опять изображаемое Надеждінымъ очень своеобразно.

„Половина Руси—и половина наиболѣе развитая, наиболѣе вкусившая жизни и образованія, даже *наиболѣе русская* (я говорю это *по твердому, глубокому убѣждѣнію*)—половина юго-западная, гдѣ находился Киевъ, мать градовъ русскихъ, гдѣ благочестивое вѣрованіе водружило крестъ Андрея и благоговѣйное

предавіе преклонялось предъ златыми вратами Ярослава, гдѣ просіяли первые лучи христіанства, занялась первая заря народнаго самосознанія, совершились первые подвиги народной героической юности—эта половина увлеклась вихремъ событий въ чуждую сферу, потеряла свою самобытность, примкнула къ народу, хотя единоплеменному, но въ продолженіе вѣковъ, подъ вліяніемъ особыхъ обстоятельствъ, выработавшему себѣ особый, самоцвѣтный характеръ. Я разумѣю соединеніе такъ-называемыхъ Чермной, Бѣлой и Малой Россіи съ Польшею, подъ несобственнымъ названіемъ великаго княжества Литовскаго. Это соединеніе не имѣло существенного вліянія на языкъ собственно народный... Но въ отвопеніи къ образованію по всѣмъ частямъ, и слѣдовательно къ образованію словесному, литературному, соединеніе это имѣло сильное и обширное вліяніе. Политическая связь вынуждаетъ изученіе языка господствующаго народа... Языкъ и литература польская точно такъ же близки русскому языку, какъ языкъ и литература церковно-славянская. Что же удивительного, если русскіе, прицѣпясь всѣми нитями своего бытія въ Польшѣ, влюбились въ ея языкъ и литературу? Что удивительного, если видя бѣдность своего родного нарѣчія, запущенного вѣковымъ небреженіемъ, и сознавая, хотя можетъ быть темно, тяжесть чуждыхъ оковъ, возложенныхыхъ на него языккомъ церковно-славянскимъ—тамъ поставили идеалъ литературного совершенства, гдѣ сосредоточивалось ихъ государственное бытіе?.. *Славяно-греческая письменность* скоро вытѣснена была изъ Русского Запада и уступила мѣсто новому книжному языку, новой литературѣ, которую можно назвать *славяно-латинскою*”...

Обѣ эти письменности, не смотря на всю противуположность, были равно несвойственны Руси: „она перемѣнила только цѣпи, и осталась по прежнему безсловесно!“ Попытки литературной независимости обнаружились на востокѣ, съ первыми лучами независимости политической—въ Московскому царствѣ. Надеждинъ объясняетъ это такъ:

„Съ самобытностью пробудилось самосознаніе народа—развязался языкъ!— Оттого ли, что новыми *условіями* общественной жизни продлились новые отношенія, новые идеи, для выраженія коихъ недоставало словъ въ церковно-славянскомъ языкѣ, или можетъ быть, удаление Москвиі во глубину Сѣвера и разрывъ прежнихъ тѣсныхъ связей съ Югомъ, застудивъ русскую рѣчъ въ совершенно полночные формы, рѣзче обнаружили ея несходство и несовмѣстность съ языккомъ церковно-славянскимъ,—какъ бы то ни было, только положительные факты доказываютъ, что, со временемъ утвержденія на Москвѣ средоточія Восточной Руси, языкъ ея укрѣпился, изъявилъ права на самобытное существование независимо отъ церковно-славянского, и мало-по-малу завладѣлъ особымъ отдѣломъ письменности, гдѣ достигъ наконецъ значительной степени выразительности и силы...“ (Это былъ дѣловой, приказный языкъ, который все больше развивался съ возвышеніемъ Московского царства...). „Я конечно удивлю многихъ знатоковъ отечественной исторіи, когда скажу, что вѣкъ царя Грознаго, вѣкъ, столь поворно обезщещенный въ нашихъ воспоминаніяхъ, былъ блестящею эпохой русского народнаго бытія, золотымъ утромъ русской народной словесности: но не онъ ли, не этотъ ли вѣкъ завѣщалъ намъ столько прекрасныхъ пѣсенъ, воспѣвающихъ паденіе Казани и Астрахани, гремящихъ про славу Шуйскаго и шепчущихъ про ужасъ Опричнины—столько драгоценныхъ перловъ истинной русской поэзіи, гдѣ поэзія выраженія достойно равняется съ

блестательной поэзіей дѣятельности?.. Самъ Грозный царь—главный герой и единственный двигатель въ дивной поэмѣ своего царствованія—былъ вмѣстѣ первымъ представителемъ словеснаго образованія своей эпохи” (посланіе къ Кулбскому, посланія въ монастыри)...

Настали бурныя времена междуцарствія: Западъ хлынула на Востокъ, потомъ Москва сама двинулась на Западъ; Киевъ сдѣлался снова русскимъ; Киевская академія стала разсадникомъ всего русского образованія; первое высшее училище въ Москвѣ была знаменительно названная *славяно-греко-латинская* академія. „Ей недоставало только бездѣлицы—быть *русской!*“

„Въ такомъ положеніи засталъ русскую грамотность и русскій языкъ — Петръ Великій!.. Это былъ не языкъ, а смѣшеніе языковъ — настоящее вавилонское столпотвореніе!.. Но Петру было не до того, какъ говорить народъ его: онъ началъ съ *дѣла*, оставилъ въ нокой *слово*.. Скоро цѣль была достигнута: азіатская лѣни спала съ плечъ вмѣстѣ съ широкимъ охабнемъ; азіатское самодовольство облетѣло вмѣстѣ съ бородою. Россія двинулась съ Востока—и при мнѣнула къ европейскому Западу!.. Но такой переворотъ былъ слишкомъ поспѣщенъ“ (и отсюда крайности послѣдующаго подражанія)... „Безъ сомнѣнія, гений преобразователя зналъ несокрушимую упругость народнаго духа: зналъ, что будсть время, когда онъ вступить снова въ свои права, *гордый не невѣжественнымъ самообольщеніемъ, а благороднымъ сознаніемъ своего совершеннолитія*, чувствомъ *неоспоримаго равенства* съ своимъ европейскими братьями: и вотъ чѣмъ должно объяснять его равнодушіе ко всему, что относилось собственно къ русской народности, слѣдственно, и къ русскому слову!—Самодержецъ, требовавшій единства во всѣхъ наружныхъ формахъ своего народа по образцу европейскому, вѣдалъ, что слово, одно, непокорно ничьимъ велѣніямъ, что его нельзя обрѣти какъ бороду, обрѣзать и перекроить какъ платье. Онъ сдѣлалъ съ нимъ все, что было въ его власти: согласно съ своей идеей, измѣнилъ буквенный костюмъ его по-европейски, и осталъное предоставилъ самому себѣ!—Вотъ почему литературный характеръ царствованія Петрова представляетъ такое удивительное разнообразіе“ (церковно-славянскій элементъ, доведенный до совершенства у Димитрія Ростовскаго; школьнно-латинскій — у Феофана; масса иностранного, западнаго, въ языке правительственноемъ). ...„Въ такомъ жалкомъ беспорядкѣ, въ такомъ хаотическомъ смѣшеніи предстало русское слово Ломоносову!“

Въ противорѣчіе тому же „суевѣрію“, Надеждинъ не видѣтъ въ Ломоносовѣ *преобразователя* языка. Ломоносовъ самъ прошелъ чрезъ „макаропическую тарабарщину“, „черезъ всѣ ярусы вавилонскаго столпотворенія“: онъ благоговѣлъ передъ великолѣпіемъ языка церковно-славянскаго, въ синтаксисѣ преклонялся передъ ораторствомъ Цицерона и Плинія, изъ Гермапіи вывезъ новый размѣръ для поэзіи. Онъ слѣпилъ изъ русскаго языка любимую его мозаику, но изъ славяно-греко-латинскаго направленія извлекъ все лучшее, впервые далъ языку правильную, благоустроенную форму, хотя эта форма *не была* русская народная. Форма эта была книжная, искус-

ственнаѧ; оттого она не могла удержаться въ литературѣ. Но славяно-греко-латинскіе элементы языка онъ такъ ослабилъ, что они уже не могли вновь получить силы; нѣмецкое вліяніе не могло быть сильно по тогдашнему состоянію нѣмецкой литературы... Къ сожалѣнію, явился еще болѣе опасный врагъ 'народности — французское вліяніе. Сообщеніе французскаго характера нашей литературы приписываютъ обыкновенно Карамзину, но это несправедливо, потому что раньше въ этомъ направленіи шли уже Кантемиръ, Тредьяковскій и Сумароковъ. Ихъ работа не была успѣшна, потому что „они плотничали топоромъ и скобелью, а отличительная прелесть французской литературы состояла въ филограмовой, тонкости работы!“ Карамзинъ понялъ это, „принялся нѣжить и холить русскій языкъ, чтобы дѣлать изъ него такія же маленькия куколки, какими тогдашняя французская литература наполняла дамскіе будуары“. У Карамзина, „вдругъ послѣдовала чудная перемѣна въ языкѣ русскомъ: все увѣсистое, школьнное было выкинуто; антикварная пыль славянизма смѣтена до порошинки; длинный, тягучій періодъ раздробился на мелкія фразы; звуки подобрались въ нѣжные мелодическіе аккорды“. Карамзинъ изнѣжилъ черезчуръ русскій языкъ, и съ этой стороны Надеждинъ находитъ, что негодованіе защитниковъ „старого слога“ противъ Карамзина было совершенно справедливо. Не удивительно, что Карамзинъ скоро устарѣлъ: вліяніе его кончилось; но послѣдующая литература, въ другой формѣ, продолжаетъ то-же подражаніе, особливо французамъ.

Это стремленіе къ подражанію у насъ называютъ „европеизмомъ“, и Надеждинъ видитъ въ его крайности причину бѣдственнаго положенія литературы. „Послѣ вѣковыхъ опытовъ и усилий, мы дошли до того, съ чего начали прочія европейскія литературы—до совершенного раздѣленія между живой народной рѣчью и книжнымъ литературнымъ словомъ!.. Какъ быть литературѣ *русской*, когда нѣтъ еще языка *русскаго*?—Да, разсматривая внимательно настоящее положеніе нашей письменности, невольно призадумаешься, невольно погрузишься въ грусть, и спросишь уже—не *есть ли*, а—*можетъ ли* даже *быть* у насъ своя живая литература?“

Въ другой обширной статьѣ, продолжающей эту тему, Надеждинъ говоритъ о состояніи русскаго языка: „Вавилонская башня не достроилась; не построить и намъ литературы, если мы не условимся въ языкѣ, не будемъ всѣ говорить одной рѣчью“; нужно, чтобы *вещество* литературы не состояло изъ разнородныхъ, другъ друга уничтожающихъ элементовъ, но было проникнуто одною животворной гармоніей, Надеждинъ высказываетъ много дѣльныхъ замѣчаній о состояніи нашего языка, въ разныхъ слояхъ общества, въ книгѣ и

въ разговорѣ; обѣ иностранныхъ элементахъ нашего языка; о „богатствѣ“ его, которое на дѣлѣ часто оказывается бѣдностью. Между прочимъ Надеждинъ вступилъ въ полемику съ „Наблюдателемъ“, гдѣ въ эти годы однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ былъ Шевыревъ¹⁾: онъ полагалъ, что въ литературу долженъ быть введенъ и долженъ ей помочь свѣтскій элементъ, вліяніе и вкусы свѣтского круга. Надеждинъ отвѣчаетъ²⁾:

„По мнѣнію „Наблюдателя“, литература должна говорить языками высшаго общества, держаться паркетнаго тона, быть эхомъ гостиныхъ; и въ этомъ отношеніи, онъ простираетъ до фанатизма свою нетерпимость ко всему уличному, мѣщанскому, чисто-народному. Вотъ почему, всегда вѣжливый, всегда уклончивый, всегда въ бѣлыхъ перчаткахъ и съ мѣрпою, величавою поступью, онъ забываетъ свою изученную холодность, разсчитанное подобострастіе, и со всѣмъ возможнымъ для него жаромъ ожесточенія преслѣдуетъ, напримѣръ, г. Загоскина, самаго народнаго изъ нашихъ писателей; русскій кулакъ дѣлаетъ ему вертижи, русскій фарсъ бросаетъ его въ лихорадку. За то, поэзія г. Бенедиктова, вся изъ отборныхъ, блестящихъ фразъ, въ которыхъ, конечно, пельзя не признать относительного достоинства, кажется ему чудомъ совершенства, геркулесовскими столбами поэтическаго изящества. При всемъ должномъ уваженіи къ его образованности, къ его легкимъ приемамъ и тонкому обращенію, нельзя однако, не сознаться, что основная мысль, которая предсѣдательствуетъ въ его сужденіяхъ, не совсѣмъ истинна теоретически и вовсе неудобоприлагаема на практикѣ. Во-первыхъ, никакое сословіе, никакой избранный кругъ общества не можетъ имѣть исключительной важности образца для литературы. Литература есть гласъ народа; она не можетъ быть привилегіею одного класса, одной касты; она есть общій капиталъ, въ которомъ всякий участвуетъ, всякий долженъ участвовать. Если можетъ быть какое-нибудь общеніе, какой-нибудь дружный, братскій союзъ между разными сословіями, разными классами народа, такъ это въ литературѣ и чрезъ литературу. Основаніе народнаго единства есть языкъ; стало, онъ долженъ быть всѣмъ понятенъ, всѣмъ доступенъ! — Не такъ ли и бываетъ вездѣ, гдѣ литература развита, гдѣ литературная жизнь не сочится по каплюмъ, а разливается безбрежнымъ океаномъ?...“

„Во-вторыхъ, положимъ, что исправленіе вкуса должно начинаться облагородствованіемъ формъ, что это облагородствованіе всего скорѣе должно обнаруживаться въ гостиныхъ, на этой верхушкѣ общественной пирамиды, которая раньше должна озаряться лучами восходящей цивилизациі; положимъ, что литература должна чуждаться шума улицъ и пазучать по камертону бель-этажи; спрашивается, возможно ли это у насъ, при настоящемъ состояніи русскаго языка въ бель-этажахъ? Говорить ли тамъ, умѣютъ ли говорить по-русски? Я очень знаю, что теперь не то уже, чтѣ было прежде, что въ высшихъ слояхъ³⁾ нашего общества прекратилась прежняя несчастная подражательность, что тамъ занимается свѣтлая заря патріотической гордости, что языкомъ русскій уже не ссылается въ переднія и на кухню, что литературу⁴⁾ русскую любить и не⁵⁾ стыдится этой любви; но все это пока еще ограничивается однimi⁶⁾ желаніями, однimi⁷⁾ благородными порывами.“

¹⁾ О его тогдашней журнальной дѣятельности см. подробно въ „Очеркахъ Гоголевскаго периода“. „Современникъ“, 1855—56.

²⁾ Телескопъ, 1836, т. XXXI, стр. 216 и далѣе.

Наше высшее общество, образованнѣйшій цвѣтъ нашего отечества, жаждеть русской литературы, учится русскому языку; а намъ велять у него учиться!!! — Я не ставлю ему этого въ вину; я слишкомъ далекъ отъ той плебейской за-виости, которая вымѣщаетъ свое внѣшнее уничиженіе отрицаніемъ вся资料 внутренняго превосходства въ томъ, что выше ея. Нѣть! У насъ потому не говорять по-русски въ гостиныхъ, что нельзя говорить, не чѣмъ говорить; по-тому что нѣть словъ, нѣть фразъ, нѣть оборотовъ для мыслей, которыхъ тамъ въ ходу, для предметовъ, вкругъ которыхъ обращается свѣтской разговоръ. Цивилизациѣ нашего высшаго общества родилась не сама собой, а взята готовая съ чужого образца; она вытврежена наизусть съ чужого голоса. Мысли, формы, обычаи, вещи, все что относится къ такъ называемой свѣтской, обра-зованной жизни, все у насъ не свое, чужое! И оно перешло къ намъ вдругъ, нахлынуло внезапнымъ потопомъ, такъ что некогда было придумать названій для всѣхъ этихъ небывалыхъ идей и вещей, некогда было переводить ихъ по-русски. Теперь и рады бы перевѣстъ, да ужъ трудно; слова русскія, выгнанныя изъ высшаго общества, достались въ удѣлъ простолюдинамъ; отъ нихъ пахнетъ сермякомъ; ихъ звукъ кажется грубымъ и жесткимъ; отвыкшее ухо не можетъ выносить ихъ; да они ужъ не выражаютъ того, что хотѣлось бы выразить; употребленіе въ низкомъ народѣ привязало къ нимъ и смыслъ низкой! Вотъ почему съ русскимъ языкомъ не разговаришься въ гостиной; вотъ почему по-русски нельзя пожелать и доброго утра, порядочной, не французской фразой; вотъ почему русскій комолиментъ тяжелъ, русская любезность тупа, русское красное слово плоско и неуклюже: вотъ почему многія русскія слова счи-таются пепристойностью въ хорошемъ обществѣ, тогда какъ французскія, точь-въ-точь имъ соотвѣтствующія, говорятся безъ всякаго принужденія, безъ вся-каго зазора: такъ, напр., какая дама не скажетъ по-французски: „couleur de ruse“ и какой кавалеръ осмѣлитсѧ передъ ней назвать по-русски настѣ-комое, сообщившее имъ этому модному цвѣту!.. Кто-жъ виновать въ этомъ? Виновато не нынѣшнее, а прежнее время, которое нахваталось чужихъ идей, чужихъ привычекъ, чужихъ формъ, не позаботясь ихъ усвоить, срастить съ собой, претворить въ себя, какъ растеніе или животное претворяетъ въ суще-ство свое всѣ чуждяя вещества, которымипитается!—Было время, когда ученые точно также не находили для своихъ идей словъ въ отечественномъ языкѣ, жили и пробовали латинью; но это прошло наконецъ въ странахъ, гдѣ языки достигъ высшей степени литературного развитія: такъ, во Франціи теперь даже медики пишутъ рецепты по-французски. Тоже будетъ и у насъ съ высшимъ обществомъ; оно не будетъ имѣть нужды во французскомъ языке, станетъ го-ворить по-русски, когда русскій языкъ приоровится ко всѣмъ его потребно-стямъ, когда все можно будетъ сказать по-русски. А для этого надо, чтобы языкъ намъ развилъ все свое богатство, обнаружилъ всѣ свои сокровища, на-ладился на всѣ тоны, изогнулся во всѣ формы, примѣнился ко всѣмъ идеямъ! А это должна дать ему литературная дѣятельность, литературная практика!... — И такъ система „Московскаго Наблюдателя“, какъ я уже сказала, будучи неосновательна въ идеѣ, совершенно невозможна для исполненія по настоя-щему состоянію нашей цивилизациї. Будь она принята, чего Боже избави! нашъ бѣдный языкъ, и безъ того ужъ такъ обезсиленный, такъ истощенный, скоро выцѣлъ бы совершенно, самымъ жалкимъ, самымъ ничтожнымъ пусто-дѣвѣтомъ.

„Въ лексикографическомъ отношеніи, всего обыкновеннѣе у насъ хвастаться богатствомъ отечественного языка, и съ тѣмъ вмѣстѣ на дѣлѣ показывать со-

вершенно противное, побираться пищевики по всѣмъ языкамъ міра, древнимъ и новымъ, восточнымъ и западнымъ. Съ одной стороны, должно сознаться, что наше хвастовство не безъ основанія. Русскій языкъ дѣйствительно богатъ, бояче всѣхъ новыхъ языковъ Европы. На иное понятіе онъ можетъ выставить до десяти синонимическихъ словъ, отличающихся другъ отъ друга оттѣнками силы и выразительности, такъ что смыслъ понятія выражается цѣлой гаммой звуковъ. Но это богатство хуже бѣдности; это богатство Тантала, который умираетъ съ жажды и голода, стоя по горло въ водѣ, окруженный прелестными плодами! — Отчего-жъ такое странное противорѣчіе? — Во-первыхъ, это разнообразіе подобнозначащихъ словъ, большей частію, соотвѣтствуетъ у насъ разнообразію народныхъ сословій и ихъ разговора; такъ что въ этой лѣстницѣ синонимовъ низшая ступень вязнетъ въ типѣ простонародія, тогда какъ верхняя упирается въ облака книжнаго высокопарнаго языка. Такъ напримѣръ, слово „дядька“ очень низко, а полнозначащее ему „иѣстуинъ“ слишкомъ ужъ высоко; и мы, владѣя двумя чисторусскими словами, прибѣгаемъ къ иностранному „гувернѣръ“, чтобы не показаться мѣщанами или педантами. Подобныхъ примѣровъ можно выставить тысячу. Большая часть нашихъ словъ, за введеніемъ иностраннѣхъ, вовсе оставлена, вовсе вышла изъ употребленія; какъ монеты старого чекана, они не ходятъ при всей ихъ внутренней цѣнности. Таковы, напримѣръ, всѣ названія старинныхъ должностей, всѣ выраженія обрядовъ, привычекъ и характеристическихъ идей прежніаго русскаго быта, заслоненнаго отъ насъ вѣкомъ Петра Великаго: они имѣютъ теперь миниатюристную важность, какъ сребро Ярославле, какъ деньги Псковская! Въ третьихъ — и это обстоятельство особенно важно, заслуживає особенного вниманія — языку нашъ, при всемъ богатствѣ относительно выраженія многихъ понятій, въ разсужденіи другихъ дѣйствительно бѣденъ. Это пиською не удивительно! Всякой языкъ идетъ наравнѣ съ понятіями говорящаго имъ народа; въ немъ нѣть и не можетъ быть слова для идей, которыхъ народъ не имѣеть. По каждый народъ, пока онъ сокрушить въ самомъ себѣ, пока еще не вошелъ въ міровую школу взаимнаго обученія, каждый народъ, живущій однимъ собою, естественно ограничивается въ своемъ умственномъ богатствѣ болѣе или менѣе тѣсною сферию своего существованія; его идеи не простираются за границы природы, его окружающей, не выходятъ изъ предѣловъ, въ которыхъ движется жизнь его; онъ не имѣеть понятія ни о естественныхъ предметахъ, лежащихъ вѣнѣ его горизонта, ни о нравственныхъ явленіяхъ, чувствахъ, убѣжденіяхъ, страстиахъ, которыхъ имъ самимъ еще не испытаны; не имѣеть понятія — не умѣеть и назвать ихъ! — Такъ напр. народъ русскій, затерявшійся въ глубинѣ сѣверныхъ пустынь, далеко отъ береговъ моря, не имѣлъ понятія о морской силѣ; и вотъ почему въ языкѣ русскомъ нѣть слова, которымъ бы можно было выразить „флотъ“.

„Такая бѣдность есть достояніе всѣхъ языковъ безъ исключенія; ибо въ этомъ отношеніи всѣ народы подчинены одному условіямъ“...

Итакъ, есть бѣдность, какая бываетъ во всѣхъ языкахъ безъ исключенія, когда имъ приходится передавать особенности чужой природы и жизни; —

„Но, къ сожалѣнію, наша бѣдность обширнѣе: у насъ недостаетъ словъ для идей общихъ, міровыхъ, для идей, которыхъ принадлежать не одному народу, а всему человѣчеству. Причина этому понятна... Еслибы русскій народъ самъ дошелъ, самъ изъ себя произвелъ эти идеи, онъ создалъ бы и слова для

нихъ, точныя, опредѣленныя, выразительныя. Но... вся образованность наша пришла къ памъ со стороны, взята нами у чужихъ народовъ. И добро бы это заимствование было постепенно, этотъ приливъ мало-по-малу проникалъ къ памъ и давалъ досугъ и возможность обратить приносимыя идеи въ памъ собственность, въ сокъ и кровь нашей жизни; нѣтъ! Онъ хлынулъ на насъ вдругъ, залилъ насъ всемирнымъ потопомъ! Когда могучая рука Петра отворила для насъ всѣ хляби европейскаго просвѣщенія, европейской цивилизациіи, языкъ нашъ былъ еще молодое растеніе, только-что начавшее распускаться подъ благодатнымъ солнцемъ народной самобытности. Весьма естественно, его не могло достать на всѣ вдругъ открывшіяся потребности, вдругъ нахлынувшія идеи, и онъ долженъ быть не только отказаться отъ поставки новыхъ словъ на новыя понятія, но даже потерять возможность дать настоящую зрѣлость уже прозябшимъ листкамъ, развернувшимся почкамъ, долженъ быть опустить вѣтви, пригнуться къ землѣ, отречься вовсе отъ цвета и плодотворенія, какъ былинка, застѣчненная проливными дождями"... (Въ высшемъ обществѣ, принявшемъ европейскіе права, онъ уступилъ мѣсто языку французскому; но этимъ не ограничились)... „Въ нашемъ ученомъ языкѣ господствуетъ греко-латинская терминология; судебный языкъ испещренъ латино-немецкими выраженіями; языкъ искусства живетъ итальянской техникой; промышленность, торговля и мореплаваніе затромождены англійской фразеологіей. Даже простой народъ, не понимая идей, перенимлъ, какъ скворецъ, тму этихъ чужихъ словъ, и щеголяетъ ими, передѣлавъ на свой салтыкъ”...

Противодѣйствовать этому очень не легко, потому что не легко составлять новыя слова. Улучшенію языка будетъ содѣйствовать болѣе широкая литературная жизнь и критика; для лексического обогащенія должны послужить родственные языки.

Чтобы узнать пародъ вполнѣ, надо изучать его не отдельно, а въ той группѣ, семье, породѣ, къ которой онъ принадлежитъ. Въ языкахъ этой группы надо искать и источниковъ для обогащенія своего языка. „Неоспоримо,—говоритъ Надеждинъ,—философическое знаніе общіей основы человѣческаго слова, то, что называется всеобщей грамматикой или философіей грамматики, бросаетъ много свѣта на изученіе каждого языка порознь; но ближе и точнѣе, съ большей пользой и обширѣйшимъ примѣпеніемъ, языкъ изучается въ своей группѣ, въ своемъ семействѣ”. Надеждинъ почти называетъ сравнительную грамматику, которая только-что въ то время основывалась и еще не была примѣнена къ славянскимъ парѣчіямъ. „Такое изученіе, открывая всѣ формы слова, развиваемаго изъ одного вещества однимъ духомъ, знакомить короче съ этимъ духомъ, а тѣмъ самымъ, при отдельномъ изслѣдованіи каждого языка въ изученной группѣ, даетъ возможность угадывать, что этимъ языкомъ недосказано, и, по аналогіи прочихъ сродныхъ, предчувствовать, какъ это должно быть доказано”...

Надеждинъ указываетъ на громадное родственное племя: „нашъ языкъ принадлежитъ къ многочисленному семейству славянскому: и

такъ вотъ гдѣ рудники его богатства!“—Это цѣлый „рой живыхъ нарѣчій“, которыми оглашается большая половина Европы, отъ лагунъ Венеціи до болотъ Помераніи; это—племя, которое, „не смотря на вѣковыя угнетенія, мужественно борется съ враждебной нѣмечиной“. Надеждинъ удивляется „стрannому ослѣплению“, которое закрываетъ отъ насъ дружнюю и одноплеменную половину Европы; указываетъ распространеніе славянской рѣчи, новѣйшее движение въ средѣ славянскихъ народностей; средство обогатить и возрастить нашъ языкъ со стороны лексикографической есть—изученіе славянскихъ языковъ и нарѣчій; онъ убѣжденъ, что „только подать голосъ, и славянскіе братья съ радостью откроютъ намъ всѣ свои сокровища, усердно пойдутъ съ нами на общее дѣло... мы будемъ работать не одни, и наша работа, сдѣлавшись дружнѣе, будетъ удачнѣе“.

Къ этому, Надеждинъ дѣлаетъ примѣчаніе, любопытное въ настоящую минуту, когда многимъ стала невразумительна дозволительность литературнаго развитія малорусскаго нарѣчія:

„Считаю не излишнимъ, —говоритъ Надеждинъ,—сдѣлать здѣсь замѣчаніе, которое также можетъ быть обращено въ пользу нашей словесности. Съ недавняго времени появились у насъ *счастливые опыты* литературной обработки малороссійского нарѣчія. Иными эти опыты кажутся пустою, бесполезною забавою. Но я думаю противное. Малороссійское нарѣчіе можетъ также служить къ обогащенню нашего языка. Пусть украинцы знакомить насъ съ ними въ своихъ поэтическихъ думахъ, въ своихъ добродушныхъ „казыкахъ“! Мы должны имъ быть душевно благодарны“ ¹⁾.

Для синтаксического улучшенія литературнаго языка нужно обратиться къ живой народной рѣчи, пѣснѣ, поговоркѣ, прибауткѣ, въ которыхъ надо видѣть своеобразное и натуральное биеніе пульса живого русскаго языка. Нечего опасаться, что простонародная форма можетъ унизить языкъ,—эта форма не есть что-нибудь вещественное: „синтаксическая форма есть рама, въ которую можно вставить и пузырь, и масляную бумагу, и бемское стекло, и дорогое венеціанское зеркало!“ Въ нашей литературѣ есть уже блестательные примѣры возведенія простонароднаго языка на высокую степень литературнаго достоинства (онъ называетъ басни Крылова и опять романы Загоскина).

Но языкъ есть только вещество, матеріалъ литературы; самый богатый и образованный языкъ будетъ мертвъ, если не повѣстъ въ немъ духъ жизни. Въ нашей литературѣ есть жизнь, есть творческое начало; но въ какомъ состояніи?—подъ вліяніемъ самаго позор-

¹⁾ „Телескопъ“ давалъ място статьямъ, писаннымъ въ интересахъ малорусской литературы.

наго рабства; эта жизнь есть постоянное самоубийство; творческое начало гибнетъ подъ ярмомъ несчастнаго подражанія. Но что разумѣть подъ *народностью* литературнаго духа, отсутствіе которой авторъ оплакиваетъ какъ величайшее литературное бѣдствіе?

„Многіе подъ народностью разумѣютъ однѣ наружныя формы русскаго быта, сохранившися теперь только въ простонародіи, въ низшихъ классахъ общества. И вотъ тма тмущая нашихъ писателей, особенно писачекъ изъ заднихъ рядовъ, ударились, со всего розмаха, лицомъ въ грязь этой грубой, запачканной, безобразной народности, которую всего лучше слѣдовало бы называть простонародностью. Они погрузились во шти, въ квасъ, въ брагу, забились на полати, обливаются ерофеинчью, закусываютъ лукомъ, передразниваютъ мужиковъ, сидѣльцевъ, подъячихъ, ямщиковъ, харчевниковъ; и добро бы, подобно знаменитому А. А. Орлову, главѣ этой школы народныхъ писателей, ограничивались современными картинами низшихъ слоевъ общества, чтѣ имѣло бы, по крайней мѣрѣ, достоинство вѣрности; нѣтъ! они теребятъ русскую исторію, малютъ ея лучшія эпохи своей мазилкой... О такой народности, что и говорить? Ее надо гнать изъ литературы... Впрочемъ, и здѣсь должно сдѣлать важное исключеніе... Отчего, напр., у Загоскина русскій мужикъ не только не противенъ, но положительно хороши, интересенъ, поэтиченъ (если можно такъ выразиться)? Отчего, у Гоголя, казакъ мертвѣцки пьяный, по уши въ грязи, съ подбитыми глазами, отчего Иванъ Никифоровичъ, даже въ натурѣ, означенованъ какою-то неизъяснимою, очаровательною прелестью, которая заставляетъ прощать или, по крайней мѣрѣ, пропускать межъ пальцевъ его противо-общественное положеніе? Я говорю это, чтобы доказать, что народность и въ этомъ ограниченномъ, грязномъ смыслѣ, пройдя чрезъ горнило вдохновенія, можетъ имѣть доступъ въ литературу, и слѣдовательно не заслуживаетъ безусловнаго преслѣдованія, отверженія!“¹⁾.

Народность, которой Надеждинъ требовалъ для литературы, была конечно, шире. Онъ такъ излагаетъ свои мысли о предметѣ, который и донынѣ возбуждаетъ ожесточенные споры; какъ увидимъ, онъ самъ не избѣжалъ рискованныхъ положеній.

„Подъ *народностью* я разумѣю совокупность всѣхъ свойствъ, наружныхъ и внутреннихъ, физическихъ и духовныхъ, умственныхъ и нравственныхъ, изъ которыхъ слагается фізіономія русскаго человѣка, отличающая его отъ всѣхъ прочихъ людей—европейцевъ столько же, какъ и азіатцевъ. Какъ ни рѣзки отгѣники, положенные на насъ столь различными вліяніями столь разныхъ цивилизацій, русскій человѣкъ, во всѣхъ сословіяхъ, на всѣхъ ступеняхъ просвѣщенія и гражданственности, имѣеть свой отличительный характеръ, если только не прикидывается умысленно обезьяною. Русскій умъ имѣеть свой особый гибкій; русская воля отличается особенной, ей только свойственной упругостью и гибкостью; точно также какъ русское лицо имѣеть свой особый складъ, отличается особымъ, ему только свойственнымъ выраженіемъ. У насъ стремленіе къ *европеизму* подавляетъ всякое уваженіе, всякое даже вниманіе къ тому, что именно русское, народное. Я совсѣмъ не вандалъ, кото-

¹⁾ Припомнимъ, что въ тѣ годы произведения Гоголя вызывали именно такія осужденія; его винили за грязь и неприличіе его рассказовъ.

рый бы желалъ отшатнуться опять въ вѣкъ, задвинутый отъ насъ Петромъ Великимъ (по счастливому выражению одного уважаемаго литератора). Но позволю себѣ сдѣлать замѣчаніе, что въ Европѣ, которую мы принимаемъ за образецъ, которую такъ усердно копируемъ (?) всѣми нашими дѣйствіями — народность, какъ я ее понимаю, положена во главу угла цивилизациіи, столь быстро, столь широко, столь свободно распространяющейся. Если мы хотимъ въ самомъ дѣлѣ быть европейцами, походить на нихъ не однимъ только платьемъ и наружными пріемами, то намъ должно начать тѣмъ, чтобы выучиться у нихъ уважать себя, дорожить своей народной личностью сколько-нибудь, хотя не съ такимъ смѣшнымъ хвастовствомъ какъ французы, не съ такой чванной спѣсью какъ англичанинъ, не съ такимъ глупымъ самодовольствомъ какъ нѣмецъ. Обольстительная идея космополитизма не существуетъ въ нынѣшней Европѣ: тамъ всякий народъ хочетъ быть собою, живеть своей самобытной жизнью. Ни въ одномъ изъ нихъ цивилизациія не изгладила родной физіономіи; она только просвѣтляетъ ее, очищаетъ, совершенствуетъ... И никто изъ нихъ не стыдится себя, не гнушается собой; напротивъ, все убѣждены твердо и непоколебимо, что лучше ихъ, выше ихъ, умнѣй и просвѣщенѣй нѣть на свѣтѣ! И литературы ихъ въ высшей степени самобытны, своеобразны, народны! Отчего-жъ мы русскіе боимся (?) быть русскими? Отчего намъ стыдиться даже нашихъ штей... Отчего намъ не хвалиться своимъ богатырствомъ, драгоцѣннымъ наслѣдіемъ удалыхъ предковъ“ (когда другие народы хвалятся подобными же венцами)... „Недавно было у насъ жестокое нападеніе на Загоскина, за то, что онъ заставилъ русскаго погрозить кулакомъ варягу. Боже мой! какъ ухватились за этотъ бѣдный кулакъ! съ какимъ жаромъ, съ какимъ краснорѣчиемъ доказывали, что хвалиться кулакомъ и стыдно, и неувѣжественно, и унизительно для нашего вѣка, и позорно для нашего просвѣщенія, однимъ словомъ—*не-европейски*. Постѣднее точно правда: европейцу какъ хвалиться своимъ щедушнымъ, крохотнымъ кулачишкомъ!(!) Только русскій владѣеть кулакомъ настоящимъ, кулакомъ *somme il faut*, идеаломъ кулача, если можно такъ выразиться. И право, въ этомъ кулакѣ нѣть ничего предсудительного, ничего визкаго, ничего варварскаго, напротивъ очень много значения, силы, поэзіи!.. Дѣло не въ кулакѣ, а въ употребленіи кулача: если этотъ кулакъ основалъ самобытность великой имперіи, раздвинулъ ее на седьмую часть земного шара, отстоялъ мужественно отъ всѣхъ враговъ; то честь и хвала ему!.. Знаю, что теперь намъ надо еще учиться, да учиться у Европы, но не съ тѣмъ, чтобы потерять свою личность, а чтобы укрѣпить ее, возвысить!—Древняя Греція также училась у Азіи, и долго была подъ наукой; но она не сдѣлалась Азіей, напротивъ, сама покорила, цивилизовала Азію!.. Пусть русскій умъ питается европейскою жизнью, чтобы быть истинно русскимъ; пусть литература его, освѣжаясь воздухомъ европейскаго просвѣщенія, остается тѣмъ, чѣмъ должна быть всякая живая, самобытная литература—самовыраженіемъ пароднымъ!“

Оставался существенный вопросъ: что выражать ей,—въ чёмъ состоить русская народная физіономія?—Мы ея не имѣемъ,—говорить европейцы, не къ нашей чести; „но не дай Богъ, чтобы русскій говорилъ это съ убѣждениемъ искреннимъ, сердечнымъ!“ Надеждинъ, однако, не даетъ положительного опредѣленія:

„Я не берусь здѣсь представить полное изображеніе русскаго человѣка, въ его своенародной чистотѣ; потому что въ самомъ дѣлѣ черты его такъ не-

ясны, такъ не развиты, такъ заѣплены выписными мушками (?)... Я повторю лишь съ великимъ поэтомъ, въ которомъ русскій народъ возвышался до свѣтлago, торжественнаго самосознанія:

О Россъ! о родъ величодушный!
О твердо-каменная грудь!
О исполинъ, царю послушный!
Когда и гдѣ ты досягнуть
Не могъ тебя достойной славы?..

„Литература у насъ есть; есть и литературная жизнь; но ея развитіе стѣсняется односторонностью подражательного направленія, убивающаго народность, безъ которой не можетъ быть полной литературной жизни.

„Въ основу нашему просвѣщенію положены *православіе, самодержавіе и народность*. Эти три понятія можно сократить въ одно, относительно литературы. Будь только наша словесность народною: она^{*} будетъ православна и самодержавна!“

Этотъ годъ „Телескона“ (1836) былъ послѣднимъ годомъ литературно-публицистической дѣятельности Надеждина: съ тѣхъ поръ онъ уже не возвращался къ ней, и труды его приняли другое направленіе. Въ этомъ первомъ періодѣ его дѣятельности,—которой образчики мы приводили,—надо признать весьма характерное явленіе, которое въ процессѣ тогдашняго литературнаго развитія служитъ переходнымъ звѣномъ отъ періода Пушкинского къ Гоголевскому, и въ историко-этнографическихъ понятіяхъ отъ „суевѣрія“ къ научной критикѣ. Онъ началъ и продолжалъ рѣзкимъ осужденіемъ „романтизма“, въ которомъ видѣлъ послѣднее проявленіе ненавистной ему подражательности. Онъ высоко ставилъ геніальную силу Пушкина, и потому строго судилъ его податливость той поверхностной манерѣ, которая усвоена была школой изъ чужихъ образцовъ. Послѣ, когда Пушкинъ сталъ не столько предметомъ для критического анализа, сколько для апoteозы, филиппики Надеждина должны были производить странное впечатлѣніе; но довольно вникнуть въ нихъ нѣсколько, чтобы убѣдиться, что онъ вовсе не были легкомысленны. Надеждинъ забывалъ только, что сама исторія имѣла свои условія, что романтизмъ былъ ступеню развитія и уже готовилъ свои результаты въ Гоголѣ и его школѣ. Но Надеждинъ былъ правъ въ томъ, что русскаго содержанія, простоты стиля было еще мало въ нашей литературѣ, и высокое значеніе Гоголя состояло въ выполненіи той задачи, которая чувствовалась Надеждинымъ: поэтому ученикъ и преемникъ Надеждина и явился вслѣдъ за нимъ восторженнымъ почитателемъ Гоголя.

И въ другомъ отношеніи Надеждинъ былъ переходнымъ явленіемъ. Въ тридцатыхъ годахъ подготавлялось то раздвоеніе передового слоя литературы, которое выражилось борьбой „западниковъ“ и

„славянофиловъ“. Надеждинъ не былъ ни тѣмъ, ни другимъ; не былъ западникомъ, потому что клеймилъ западное вліяніе какъ „подражаніе“, которому было, однако, еще не мало дѣла, и провозглашалъ „народность“—въ чертахъ, иногда черезчуръ первобытныхъ; но не былъ и славянофиломъ, потому что видимо былъ рационалистъ, мало вѣрилъ въ древнюю Русь и преклонялся передъ Петромъ Великимъ. Но оба направленія какъ будто скрывались въ немъ въ зародыши, и оба впослѣдствіи могли бы найти съ нимъ точки соприкосновенія. Былъ, наконецъ, въ немъ элементъ „кваснаго“ патріота, иѣвца офиціальной народности; но и этому элементу онъ противорѣчилъ высокимъ уваженіемъ къ труду европейской образованности и къ дѣятельной исторической жизни европейского общества.

Въ историческомъ объясненіи русской народности Надеждинъ опять сильнѣе, чѣмъ кто-нибудь, противодѣйствовалъ національной сентиментальности. Онъ первый ясно поставилъ вопросъ о формированиіи русской народности, которую привыкли считать готовою уже съ IX вѣка, вмѣстѣ съ государствомъ: Надеждинъ указалъ ея исторические пласти. Судьба русскаго языка никакъ до него не была опредѣлена столь категорически, и въ сущности вѣрно¹⁾,—потому что дѣйствительно первая самостоятельная и широкая дѣятельность русскаго языка въ литературѣ начинаетъ проявляться только съ XVIII вѣка... Таковы были взгляды Надеждина, насколько они выразились въ его ранней журнальной дѣятельности. Ему, однако, не удалось выяснить тѣ прямые требования, какія онъ такъ настойчивоставилъ литературѣ во имя народности. Что такое эта народность? Опредѣливши ее въ общихъ словахъ, какъ сложность народныхъ свойствъ и особенностей, онъ затруднился ближе указать ихъ, и только ссылался на Державина и гр. Уварова, которые далеко не могли быть сочтены за ея компетентныхъ истолкователей. Онъ требовалъ далѣе, какъ прежде Карамзинъ, чтобы русскіе „дорожили своей народной личностью“ и смѣло ею хвалились: но здѣсь опять остается неизвѣстно, къ кому требование адресуется и въ чёмъ должно бы состоять на дѣлѣ, а не на фразѣ, уваженіе къ народной личности. Адресуется онъ, видимо, къ образованному обществу; но, какимъ бы ни былъ нашъ „европеизмъ“, онъ конечно утопалъ въ массѣ чисто русскихъ учрежденій и формъ общественности... Въ ряду особенностей, которыми надо было „хвалиться“, Надеждину представилась сила и поэзія русскаго кулака—одна изъ тѣхъ необузданностей, которыхъ очень вредили литературному значенію Надеждина.

¹⁾ Въ частности, проявленія русской народной рѣчи въ старой письменности были обильнѣе, чѣмъ принимаетъ Надеждинъ. Дѣло въ томъ, что эта письменность была въ то время еще мало извѣстна.

Судя по горячей защитѣ, кулакъ былъ для него не случайнымъ пріемомъ, а напротивъ, особынмъ поводомъ для національной русской похвальбы. Можно было бы замѣтить, что у иныхъ народовъ кулаки вовсе нашимъ не уступаютъ; что этого рода достоинство не есть главное и наилучшее, и что, напр., для англичанъ національная гордость далеко не заключается въ похвальбѣ ихъ боксерами. Въ нашихъ собственныхъ глазахъ другіе народы, имѣющіе для паче авторитетъ, получали его не одними подобными свойствами, и для нашей національной гордости было бы по-истинѣ жалко, еслибъ намъ можно было противопоставить этому авторитету одни кулаки, тѣмъ болѣе, что исторически не одинъ же кулакъ „основалъ самобытность великой имперіи“. Наконецъ, этого рода похвальба слишкомъ поддается злоупотребленію въ обществѣ, слабо образованномъ, является даже аргументомъ противъ образованія,—чего, вѣроятно, самъ Надеждинъ никакъ не желалъ и что, однако, бывало и доселѣ бываетъ. Другое обстоятельство также не было выяснено Надеждинымъ. Очевидно, что требование „народности“ не могло быть предъявлено къ одной литературѣ: оно относилось и къ самой жизни: но исполнилось ли оно здѣсь? Давала ли жизнь, или ея руководящая сила, тѣ условия, въ которыхъ могла бы широко и свободно развиваться дѣятельность народной мысли, заявляясь „народная личность? Ссылки на Державина и гр. Уварова въ этомъ не убѣждали...

Безусловно справедливо было то, что намъ еще нужна школа и школа. Но для „самосознанія“ требовалась дѣйствительная школа, съ необходимой для нея свободой изслѣдованія. Была ли эта свобода? Надеждинъ испыталъ по этому вопросу реальный *argumentum ad hominem*, когда журналъ его былъ запрещенъ и самъ онъ былъ высланъ въ Усть-Сысольскъ.

Надеждинъ пробылъ въ ссылкѣ недолго, только годъ. Надо отдать справедливость тому времени, что въ Надеждинѣ оцѣнили научную силу, и дѣятельность его скоро возобновилась—въ другомъ примѣненіи. Онъ покинулъ съ тѣхъ поръ совсѣмъ литературу и публицистическую критику, которую вѣль въ журналѣ, эстетику и археологію искусства, которыя читалъ въ университѣтѣ. Та „гибкость“, о которой упоминаетъ его бiографъ, устроила ему совсѣмъ иную служебную и писательскую карьеру. Черезъ вѣсмъ лѣтъ, редакторъ „Телескопа“ сдѣлался редакторомъ „Журнала министерства внутреннихъ дѣлъ“, (съ 1843) и своего рода свѣдущимъ человѣкомъ по историческимъ и бытовымъ вопросамъ, по которымъ его спрашивали въ министерствѣ. Но основной интересъ его все-таки уцѣлѣлъ.

Труды Надеждина направились теперь въ особенности на науч-

ное изслѣдованіе той народности, которую доселъ онъ защищалъ въ своей литературной критикѣ. Эти труды были обширны и разнообразны. Біографъ замѣчаетъ, что 1836—38 годы были едва ли не самые дѣятельные въ жизни Надеждина по числу напечатанныхъ трудовъ. Еще изъ Усть-Сысольска онъ прислалъ около ста статей, между прочимъ и обширныхъ, для „Энциклопедического Лексикона“ Плюшара: это были статьи по церковной исторіи, философіи и эстетикѣ, по древней и новой исторіи и литературѣ, по русской и славянской исторіи, географіи и этнографіи ¹⁾; и въ то же время напечаталъ въ „Бібліотекѣ для Чтенія“ нѣсколько замѣчательныхъ изслѣдованій ²⁾.

По возвращеніи изъ Усть-Сысольска, Надеждинъ прожилъ нѣсколько лѣтъ на югѣ Россіи, въ дружескихъ отношеніяхъ съ попечителемъ одесского округа, Д. М. Княжевичемъ, и въ работахъ по древностямъ и исторіи этого края, въ основаюномъ тогда „Одесскомъ обществѣ любителей исторіи и древностей“. Въ 1840—41 году, по порученію Княжевича, Надеждинъ сдѣлалъ обширное путешествіе по славянскимъ землямъ, и во время пребыванія въ Вѣнѣ напечаталъ статью о нарѣчіяхъ русскаго языка, до сихъ поръ не потерявшую своего значенія ³⁾. Въ 1842 году, онъ отправился въ Петербургъ и, какъ сказано, съ 1843 года сдѣлался редакторомъ журнала министерства внутреннихъ дѣлъ и ученымъ авторитетомъ министерства. Въ „Журналѣ“, кромѣ разнаго рода дѣловыхъ статей, напечатанъ былъ имъ новый рядъ цѣнныхъ трудовъ по географическому, этнографическому и статистическому изученію Россіи ⁴⁾.

Но гораздо болѣе широкая дѣятельность его по распространенію этнографическихъ изученій развилась въ Географическомъ Обществѣ. Если не ошибаемся, ему принадлежитъ значительная доля въ возбужденіи самой мысли объ этомъ учрежденіи, одной изъ главныхъ задачъ котораго должно было стать изученіе русскаго народа: во всякомъ случаѣ ему принадлежитъ большая заслуга въ постановкѣ этнографическихъ работъ Общества, которыхъ уже вскорѣ стали при-

¹⁾ Томы VIII—ХII, буква В. Отмѣтимъ, напр., статьи: Венеды, Венды, Винды; Великая Россія; Версификація; Весь; Восточная каоолическая церковь, и друг.

²⁾ Б. для Чт. 1837: „Объ историческихъ трудахъ въ Россіи“; „Объ исторической истинѣ и достовѣрности“; „Опытъ исторической географіи русскаго міра“.

³⁾ Вѣнскія Jahrbücher der Litteratur, 1841, Bd. XCI.

⁴⁾ Отмѣтимъ слѣдующія статьи:—Новороссійскія Степи; Сѣверо-западный край имперіи въ прежнемъ и настоящемъ видѣ; Племя русское въ общемъ семействѣ Славянъ (т. I); Изслѣдованія о городахъ русскихъ: введеніе; вліяніе гражданственности азіатской; вліяніе гражданственности европейской (т. VI-VII);—объемъ и порядокъ обозрѣнія народного богатства, составляющаго предметъ хозяйственной статистики (томъ IX) и друг.

носить драгоценные научные результаты. Его имя не стоит въ числѣ учредителей потому только, что во время открытия Общества Надеждина не было въ Петербургѣ. По возвращеніи онъ прочелъ въ первомъ годовомъ собраніи Общества (въ ноябрѣ, 1846) статью „Объ этнографическомъ изученіи народности русской“¹), котораго и представилъ примѣры. Этнографія справедливо казалась Надеждину самой существенной стороной въ дѣятельности нового Общества: если понятіе „народности“ заявлялось правительственною властью, если оно становилось лозунгомъ литературныхъ направленій, если въ словесности поэтической появлялись уже правдивыя изображенія пародной жизни и типовъ, то оказалась настоятельная необходимость въ научномъ изслѣдованіи народа, которое могло бы стать прочнымъ основаніемъ для этого, раскрывавшагося съ разныхъ сторонъ, интереса къ народности. Въ упомянутой статьѣ Надеждинъ указалъ теоретический объемъ этнографіи съ такой широтой, какой у насъ еще не было видано. Но для правильной постановки дѣла требовалась огромная масса наблюдений; нужно было содѣйствіе множества лицъ, изъ разныхъ краевъ Россіи, съ ихъ мѣстными указаниями и свѣдѣніями,—нужно было установить собираніе этихъ свѣдѣній по определенному плану, съ ответами на поставленные вопросы. Надеждинъ взялъ на себя составленіе первой программы и составилъ ее, при содѣйствіи niektórychъ другихъ членовъ Общества, въ 1847, и она была разослана, въ 7000 экземпляровъ, во всѣ края нашего отечества²). „Эта разсылка, — говоритъ одинъ изъ участниковъ тогдашней дѣятельности Этнографического отдѣленія, — имѣла самая утѣшительныя послѣдствія: со всѣхъ концовъ Россіи начали стекаться въ Общество мѣстная этнографическая описанія, все болѣе интересныя и важныя. Число драгоценныхъ выводовъ увеличивалось почти съ самого начала вызова личнымъ участіемъ Надеждина, съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ избранъ предсѣдательствующимъ въ отдѣленіи Этнографіи, въ концѣ 1848 г. (послѣ К. М. Бера). Ни одного даровитаго вкладчика не оставлялъ онъ безъ привѣта и такими привѣтами и совѣтами вызывалъ ихъ къ новымъ трудамъ“. Внослидствіе оказалось, что программа не для всѣхъ была равно понятна, и Надеждинъ опять участвовалъ въ ея переработкѣ. Новая программа еще усилила доставку въ Общество мѣстныхъ свѣдѣній отъ людей всякихъ сословій, и это доставило материалъ для первыхъ этнографическихъ изданій Общества.

Надеждинъ принялъ вообще самое дѣятельное участіе въ изда-

¹⁾ См. „Записки Р. Географ. Общества“, книжка 2-я. Спб. 1847, стр. 61—115; во 2-мъ изданіи этой книжки, стр. 144 и слѣд.

²⁾ Двадцатипятилѣтіе Р. Геогр. Общества, 13 января 1871, Спб. 1872, стр. 49.

ніяхъ Географического Общества. Онъ начались „Записками“, которые, выходя безсрочными выпусками, не могли давать своевременныхъ извѣстій о трудахъ Общества, новостей о предметахъ его занятій, и поддерживать интересъ къ нимъ въ большой публикѣ, которая тогда, при подавленности всякой общественной жизни, относилась къ Географическому Обществу съ большимъ сочувствіемъ. Надеждинъ съ марта 1848 г. сталъ редакторомъ „Географическихъ Извѣстій“, которымъ умѣлъ придать большое учепое достоинство и которые издавались въ теченіе трехъ лѣтъ, до 1851, когда онъ превратились въ „Вѣстникъ“, расширенный въ объемѣ, но издававшійся по той же основной программѣ.

Наконецъ, Этнографическое отдѣленіе въ 1850 г. опредѣлило приступить къ обнародованію собиравшагося материала. Рѣшено было, отдѣливъ для особаго изданія свѣдѣнія объ инородцахъ, изъ прочихъ этнографическихъ описаній, относящихся собственно къ русскому племени, издать вполнѣ только тѣ, которыхъ подробнѣ и основательно отвѣчаютъ на всѣ или, по крайней мѣрѣ, на большую часть пунктовъ программы; а изъ остальныхъ составить систематические своды или сборники. Первый томъ этого „Этнографического Сборника“ (состоящей изъ цѣльныхъ описаній) вышелъ въ 1853 году подъ редакціей Надеждина и Кавелина.—Въ этомъ году, какъ упомянуто въ предисловіи „Сборника“, присылка мѣстныхъ описаній въ Общество дошла до двухъ тысячъ номеровъ, и если прибавить, что весьма многіе номера заключали описанія нѣсколькихъ мѣстностей, то по этому можно судить о массѣ материала, доставленного въ Общество въ какія-нибудь пять лѣтъ послѣ разсылки программы.—Шесть томовъ „Сборника“, смѣненного потомъ „Записками по отдѣленію этнографіи“, въ нѣсколькихъ томахъ, были результатомъ дѣятельности „Отдѣленія“, въ началѣ разумно поставленной Надеждіи.

„Постояніемъ убѣжденіемъ Надеждина было, — говорить Срезневскій,—сознаніе необходимости раздробить обработку (этнографического материала) на нѣсколько отдѣльныхъ независимыхъ трудовъ. Онъ старался и умѣлъ возбуждать такіе труды... „Надѣ однимъ изъ этихъ трудовъ работалъ я съ нимъ вмѣстѣ“, прибавляетъ Срезневскій, разумѣя, вѣроятно, трудъ надъ исторіей русского языка или собственно надъ его древнимъ періодомъ... Безъ сомнѣнія, подъ влияниемъ этого убѣжденія Надеждина, отдѣленіе Этнографіи приняло постановленіе, результатомъ которого былъ одинъ изъ лучшихъ трудовъ по изученію русской народности за послѣднія десятилѣтія, трудъ, остающійся незамѣненнымъ понынѣ, именно изданіе „Народныхъ Русскихъ Сказокъ“, А. Н. Аѳанасьева. Географическое Об-

щество, по опредѣленію своего совѣта (въ февралѣ 1852), рѣшило передать въ распоряженіе Аѳанасьеву паконившееся у него собраніе народныхъ сказокъ, которыми онъ и воспользовался для своего изданія¹⁾). Многія изъ сказокъ были здѣсь записаны прекрасно, и вообще это собраніе доставило главнѣйшій матеріалъ для изданія Аѳанасьева, перваго, и донынѣ послѣдняго, обширнаго и научно-исполненнаго изданія русскихъ сказокъ. Подобнымъ образомъ, Даль воспользовался рукописями, поступившими въ отдѣленіе Этнографіи, для своего „Толковаго словаря живого великорусскаго языка“; Безсоновъ—для изданія духовныхъ стиховъ; Мельникову были переданы матеріалы Общества и бумаги самого Надеждина о Мордвѣ²⁾.

Надеждинъ приступалъ и къ обобщающимъ изслѣдованіямъ. Таковъ былъ его трактатъ: „О русскихъ пародныхъ миоахъ и сагахъ, въ примѣненіи ихъ къ географіи и особенно къ этнографіи русской“, извлеченіе изъ котораго было прочитано имъ въ Обществѣ 30 ноября 1852 г.³⁾. Чтеніе Надеждина состоялось въ собраніи, гдѣ было не мало высокопоставленныхъ лицъ, и произвело большое впечатлѣніе. „Несмотря на двухчасовое чтеніе, — говорить Савельевъ, — статья Надеждина приковала къ себѣ вниманіе блестящей и ученої аудиторіи; это торжественное введение русскихъ сказокъ въ область науки, съ такими занимательными подробностями, умными наведеніями, неожиданными выводами и увлекательнымъ изложеніемъ, поразило всѣхъ. По окончавшему чтенію... всѣ члены спѣшили принести поздравленія и изъявить свои чувства удивленія оратору. Это была истинная овация, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, это была, говоря классически, и лебединая пѣснь Надеждина“. Вскорѣ постигла его тяжкая болѣзнь, отъ которой онъ уже не оправился.

Должно упомянуть, наконецъ, обѣ особыхъ работахъ Надеждина по изученію русской народной жизни, которые произведены были имъ по офиціальнымъ служебнымъ порученіямъ министерства внутреннихъ дѣлъ. Онѣ относились къ расколу, и изъ офиціальной тайны вышли двѣ: первая— „Изслѣданіе о скопической ереси“ (Спб. 1845), изданное тогда въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ для офиціального употребленія⁴⁾; вторая — записка „О заграниценныхъ

¹⁾ „Нар. Русскія Сказкія“, Аѳанасьевъ, вып. I, Москва, 1855, стр. IX—X. „Вѣстникъ Р. Геогр. Общества“, 1852, стр. 61 приложений.

²⁾ „Двадцатипятилѣтіе И. Р. Географ. Общества“, стр. 55, 224—225.

³⁾ См. „Вѣстникъ Р. Геогр. Общ.“ 1853, ч. VII, отдѣль IX, приложениc, стр. 2—6. Въ цѣломъ статья была напечатана уже по смерти Надеждина, въ „Р. Бѣсѣдѣ“, 1857.

⁴⁾ Перепечатано было въ „Сборникѣ правительственныхъ свѣдѣній о раскольникахъ“, Кельсіева, вып. III, 1862, 240 и 92 стр. Прибавленія (В. К.), стр. 1—18.

раскольникахъ” (1846), именно о раскольникахъ, поселившихся въ Пруссіи, Австріи, Молдаво-Валахіи и въ Турції¹⁾). Въ первой изъ этихъ записокъ Надеждинъ собралъ обширныя общѣ-историческія свѣдѣнія о предметѣ, и затѣмъ разработалъ собственно русскіе материалы, собранные въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ изъ полицейскихъ разслѣдованій о сектѣ. Для изслѣдованій о раскольникахъ заграницы онъ предпринялъ особое путешествіе, точнѣе, получилъ „командировку“ въ 1845—46 г. Не говоря о первомъ изъ этихъ трудовъ, предметъ котораго такъ уродливо исключителенъ, что не можетъ допустить различныхъ точекъ зрѣнія, нельзѧ не остановиться на второмъ, предметъ котораго тѣсно связанъ съ обширнымъ и старымъ историческимъ явленіемъ пародной жизни. Записка о заграницыыхъ раскольникахъ чрезвычайно любопытна по свѣдѣніямъ, въ ней собраннымъ, о поселеніяхъ нашихъ раскольниковъ „за рубежомъ“ и о томъ броженіи, которое шло въ тѣ годы между австрійскими „липовавами“ пакаунѣ основанія блокриницкой іерархіи; но съ другой стороны записка поражаетъ своимъ отношеніемъ къ предмету. Какъ известно, царствованіе императора Николая было періодомъ усиленнаго преслѣдованія раскола во всѣхъ его видахъ; дѣла по расколу вѣдались, кромѣ духовнаго вѣдомства, свѣтской властью, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Власть слѣдила за расколомъ съ особыннмъ и строгимъ вниманіемъ; дѣла о расколѣ производились „секретно“, какъ дѣла государственной важности; расколь выслѣживали и искореняли, или старались искоренять, какъ величайшее зло; оба вѣдомства соперничали въ ревности и въ нетерпимости; низшіе агенты обоихъ вѣдомствъ, по указанію сверху, усердствовали въ притѣсненіяхъ и обыкновенно дѣлали для себя изъ раскола — доходную статью. Понятно, что отъ „общественного мнѣнія“ этотъ вопросъ былъ совершенно закрытъ; о печати нечего и говорить. Все это создавало положеніе раскольничьяго дѣла — крайне тѣгостное, непривлекательное и даже отвратительное. Какъ отнесся къ этому вопросу Надеждинъ? — За недостаткомъ свѣдѣній не можемъ сказать, каковъ быль въ сущности его взглядъ на расколъ, насколько искренно могъ онъ раздѣлять господствовавшую точку зрѣнія и насколько играла здѣсь роль упомянутая „гибкость“; — но записка о заграницыыхъ раскольникахъ, со стороны взглядовъ автора на дѣло, оставляетъ впечатлѣніе крайне несимпатичное. Авторъ вполнѣ примыкаетъ къ взглядамъ упомянутыхъ вѣдомствъ — та же крайняя нетерпимость, вражда и злорѣдство, которымъ дается еще оружіе учености и таланта; ни одной смягчающей, умѣряющей

¹⁾ Напечатана въ томъ же „Сборникѣ“, вып. I, 1860, стр. 75—137.

мысли, которой можно было бы ждать отъ писателя, такъ много изучавшаго исторію. На первыхъ, вводныхъ, страницахъ авторъ изображаетъ заграничныя поселенія раскольниковъ, покинувшихъ родину, чтобы сберечь вѣру, въ такой картины: расколъ, это — „язва“ („зарражающая понынѣ исключительно великороссіянъ“), которая „не только имѣеть обширныхъ гнѣздиллица на всемъ пространствѣ запада русскаго, но и впѣ предѣловъ настоящаго объема Россійской имперіи, вдоль всей западной ея современной границы, обложилась *струпомъ*, свойства самого злоказтвенного и тѣмъ болѣе опаснаго, что тутъ виѣ всякаго надзора и *попеченія* (?), подъ вліяніями непріязненными и злорадными ничто не препятствуетъ ему гноиться и смердѣть (!) всегда больною, никогда не заживающею раною“... И однако, въ самомъ изложеніи, по чувству правдивости авторъ не могъ не признать, что эти „липовапе“, изображаемые столь отталкивающимъ образомъ, — хороши, мирные, трудолюбивыя люди, свято хранящіе русскую народность; что никогда императоръ Александръ I, бывши въ Черновицахъ въ 1816 г., „изволилъ любоваться этой необыкновенной сбереженностью русской національности въ лицованахъ, представленныхъ его величеству... удостоилъ ихъ нѣкоторыхъ разспросовъ о житьѣ-бытьѣ ихъ и отпустилъ съ щедрыми подарками“. Надеждинъ провелъ между ними нѣсколько мѣсяцевъ, стараясь пріобрѣсти ихъ довѣріе, чтобы собрать нужныя для особыхъ цѣлей свѣдѣнія, и успѣвалъ въ этомъ: но какая же была его роль—любознательного ученаго этнографа, любящаго народъ изслѣдователя? Нѣть, это была роль лазутчика. Въ концѣ того же введенія, гдѣ онъ характеризовалъ лицованъ какъ смердящій струпъ, онъ указываетъ, какъ мало до тѣхъ порь было известно объ этихъ раскольникахъ, ихъ сектахъ и толкахъ, ихъ образѣ жизни, наконецъ, о томъ, „что всего важнѣе, какъ относятся они къ своимъ собратіямъ и единомышленникамъ въ предѣлахъ Россіи“, и заключаетъ: „Смѣю ласкать себя надеждою, что представляемыя здѣсь свѣдѣнія о нынѣшнихъ заграничныхъ раскольникахъ, собраныя очевиднымъ наблюденіемъ и живыми, личными разспросами на мѣстѣ, во время шестимѣсячнаго пребыванія между *ними*, въ *ихъ селеніяхъ и домахъ*, будутъ, по крайней мѣрѣ, имѣть запоминальность новости“. — Ограничимся этими выписками; въ запискѣ есть, среди умолчаній, памеки о томъ, какъ онъ, живя „между ними, въ ихъ селеніяхъ и домахъ“, вывѣдывалъ и выпытывалъ, тщательно скрывая цѣль своихъ розысковъ...

Въ литературной и официальной дѣятельности Надеждина намъ встрѣтились мало-сочувственныя черты, которыхъ источникъ заклю-

чается въ томъ, что Надеждинъ — искренно или неискренно — повторялъ обычную фразеологію тогдашней официальной народности и услугливо развивалъ бюрократические взгляды на народность, мало подобавшіе мыслящему ученому, какимъ онъ долженъ былъ быть по свойствамъ ума и по пройденной школѣ.

Но отвлекаясь отъ этой стороны, несущей на себѣ печать времени и помѣшившей болѣе широкому вліянію его труда, нельзя не оцѣнить въ его дѣятельности большого поворота въ изученіяхъ русской народности. Это былъ ученый, поставившій изученіе русской народности, вмѣсто прежней дилеттантской и сантимеатальной точки зрењія, на почву обще-исторического и этнографического изслѣдованія, освѣщаемаго критикой. Но своимъ идеямъ, Надеждинъ былъ очевидный раціоналистъ. Въ „автобіографіи“ онъ самъ прекрасно разъясняетъ ходъ своего умственного воспитанія, предшествовавшій его вступленію на литературное и профессорское поприще. Онъ учился въ семинаріи и московской духовной академіи; рѣдкія способности дали ему прочно овладѣть той богословско-схоластической наукой, какая преподавалась въ этихъ заведеніяхъ. Но вступая въ академію (15-ти-лѣтнимъ мальчикомъ!), Надеждинъ читалъ уже Канта и другихъ новыхъ пѣмецкихъ философовъ, и въ пробной латинской диссертациі, которую задали поступавшимъ студентамъ, онъ „со всѣмъ юношескимъ жаромъ“ возсталъ на Вольфа и вообще на эмпіризмъ, главную характеристическую черту основанной имъ школы“. Вольфъ былъ — непрекаемый авторитетъ въ училищѣ, имъ только что покинутомъ. Въ академіи, гдѣ его профессоромъ былъ известный протоіерей Голубинскій, господствовала уже иная ступень философскаго знанія. Подготовленный Кантомъ, Надеждинъ занимался философией въ духѣ новыхъ пѣмецкихъ школъ (до Гегеля). „Тутъ, — говоритъ онъ, — развился во мнѣ и обще-исторической взглядъ на развитіе рода человѣческаго, который (взглядъ) профессоръ Голубинскій примѣнялъ не къ одной только философіи. Тутъ я началъ понимать, что въ событияхъ, составляющихъ содержаніе исторіи, есть мысль, что это — не сцѣпленіе простыхъ случаевъ, а выработка идей, совершаемая родомъ человѣческимъ постепенно, согласно съ условіями мѣста и времени. Вслѣдствіе того, я началъ заниматься и вообще изученіемъ исторіи гражданской и церковной, хотя официально шелъ въ академіи не по историческому, а по математическому отдѣленію“. Но это была только половина его школы. Кончивъ курсъ, онъ, всколько времени спустя, принялъ мѣсто домашняго наставника въ домѣ у одного большого барина. У Надеждина (ему было тогда 22 года) стала развиваться и крѣпнуть мысль о продолженіи своего умственного образованія. „Къ этому, по счастью, были у меня

подъ руками средства. Въ домѣ была богатая библіотека, составленная преимущественно изъ новѣйшихъ французскихъ книгъ, такихъ, которыхъ я дотолѣ и въ *маза не видывалъ*. Я принялъ ихъ читать, и началъ, какъ теперь помню, съ Гиббонова „*Décadence et chute de l'Empire Romain*“, во французскомъ переводѣ Гизо... Я не могъ оторваться отъ него и прочелъ дважды отъ доски до доски, отъ первой страницы до послѣдней. Удивленіе мое было неописанное, когда я на каждой страницѣ или, лучше, на каждой почти строкѣ, видѣлъ имена и факты, совершенно мнѣ неизвѣстные, но въ свѣтѣ такомъ, который никогда не былъ мною и подозрѣваемъ. Весь образъ мыслей моихъ, который уже сомнѣніе былъ въ нѣкоторую систематическую цѣлость и стройность, *вдругъ перевернулся*: я понялъ, что одна и та же вещь совершенно измѣняется по мѣрѣ того, какъ будешь ее разсматривать. Значительные интересы, которые я считалъ уже вполнѣ удовлетворенными академическимъ курсомъ, воскресли во мнѣ съ новою силою“... За Гиббономъ слѣдовали Гизо, Сисмонди, Галламъ. „Все это дало мнѣ способы переработать прежній запасъ историческихъ моихъ свѣдѣній по новымъ взглядахъ. Но и прежнее было во мнѣ заложено такъ прочно, что не разрушилось, а только просвѣтилось и украсилось новою, облагородствованною физіономіею. Вспоминая теперь минувшее, я созналъся, какъ важна была въ исторіи моего образованія его первоначальная двойственность, шедшая путемъ правильного развитія. Не будь положенъ во мнѣ сначала школьній фундаментъ старой классической науки, я бы потерялся въ такъ называвшихся тогда высшихъ взглядахъ, новыхъ романтическихъ мечтаніяхъ, которыхъ были *à l'ordre du jour*. Теперь, напротивъ, эти новыя приобрѣтенія въка настилались во мнѣ на прочное основаніе“...

Не мудрено, что господствовавшій тогда „романтизмъ“, соединявшійся у многихъ съ представлениемъ о власти поэтическаго произвола въ дѣлѣ искусства, могъ показаться ему поверхностнымъ и не выдерживающимъ критики. Дѣйствительно, внесенные имъ въ критику историческій взглядъ, философское объясненіе искусства и требованіе вниманія къ народной дѣйствительности стали выше романтической теоріи и послужили исходнымъ пунктомъ для критики Бѣлинского. Съ другой стороны, критическій трудъ Надеждина направился на русскую этнографію. Въ ту пору наша этнографія, какъ наука, находилась въ зачаточномъ состояніи: появлялись уже изданія Сахарова, Максимовича, Срезневскаго, отдѣльные этнографические труды Ходаковскаго, Снегирева, Терещенка, Даля,—но или они были чисто собирательные, или теорія, которая къ нимъ болѣе или менѣе подкладывалась, была случайная, болѣе угадываемая, чѣмъ

доказанная. Нужно было еще создать этнографическую науку, указать ея теоретические основы, объемъ, требования и пріемы, указать значение ея материала и способъ наблюденія. Вопросъ не былъ легкій. Содержаніе этнографіи (какъ и содержаніе археологіи) можетъ опредѣляться, и дѣйствительно опредѣлилось, весьма различно—отъ специального описанія народного быта до цѣлой, почти безпредѣльной, науки о внутренней жизни народа, до „народной психологіи“. На первыхъ порахъ, важность этнографическихъ изслѣдований вообще и въ Россіи была указана первымъ „управляющимъ“ отдѣленіемъ Этнографіи (какъ они тогда назывались), известнымъ академикомъ Бэромъ¹⁾. Затѣмъ, Надеждинъ ближе выяснилъ вопросъ въ упомянутой выше статьѣ „объ этнографическомъ изученіи народности русской“. Надеждинъ указалъ здѣсь обширный объемъ науки и ея развѣтвленія по разнымъ сторонамъ народной жизни. Въ нашей литературѣ онъ впервые намѣтилъ вопросъ объ изученіи самого исторического образованія народности, — вовсе не такого простого, какъ обыкновенно кажется,—объяснилъ необходимость изученія народности со стороны историко-географической, со стороны народной психологіи, археологіи, быта и пр., и пр. Кромѣ этого теоретического опредѣленія науки, большой заслугой были его различныя изслѣдованія для нашей этнографіи: нѣсколько образцовыхъ трудовъ по исторической географіи, указанія объ исторической формациіи русской народности²⁾; замѣчательная постановка вопроса о мѣстныхъ нарѣчіяхъ русского языка; очень новая тогда въ нашей литературѣ свѣдѣнія о русскихъ вѣвѣ Россіи; составленіе этнографической программы; вызовъ и разработка этнографического материала, собравшагося въ Географическомъ Обществѣ. Надеждинъ владѣлъ въ кругу тогдашнихъ изслѣдователей большими, самыми крупными, авторитетомъ, передъ которымъ преклонялись и люди, впрочемъ весьма самоувѣренные. Направленіе его въ этой области можно характеризовать какъ этнографической прагматизмъ, и его дѣятельности въ средѣ Географического Общества надо приписать большую долю того улучшенія пріемовъ наблюденія и собирания, какое является въ по-

¹⁾ Записки Геогр. Общ., кн. I, стр. 93—115. Извѣстна другая блестящая статья Бэра: „О вліяніи виѣнной природы на соціальные отношенія отдѣльныхъ народовъ и исторію человѣчества“ (въ „Карманной книжкѣ для любителей землевѣдѣнія“, изд. 1849, стр. 195—236).

²⁾ Надеждинъ вообще придавалъ великое значение этой сторонѣ этнографическихъ изученій. „Межу этнографіею и исторіею,—писаль онъ,—существуетъ постоянное, непрерывное соотношеніе и взаимодѣйствіе: если исторія, въ своемъ развитіи, неизбѣжно опредѣляется положительною этнографическою наличностью, то и этнографія, въ складѣ своего наличного содержанія, всегда болѣе или менѣе руководствуется историческою памятливостью“.

слѣдующихъ трудахъ нашихъ изыскателей. Онъ искалъ непосредственныхъ, точныхъ фактовъ и ихъ ближайшей первоначальной кристокой. Таково и изслѣдованіе о „русскихъ народныхъ миѳахъ и сагахъ“: редакція „Русской Бесѣды“, печатая этотъ трудъ Надеждина, находила, что его изслѣдованіе „не вполнѣ соответствуетъ не только справедливымъ требованиямъ науки, но даже и современному состоянію ея въ Россіи“, и дѣйствительно, изслѣдованіе миѳа уже начало воспринимать у насъ новый методъ, укрѣплявшійся въ немецкой наукѣ; но справедливость требуетъ сказать, что въ ту пору, когда было писано сочиненіе Надеждина, русская наука едва только дѣлала попытки употребленія нового метода. Введеніе этого нового метода, углубившаго этнографическія изслѣдованія въ области народного преданія, было уже дѣломъ ловаго научнаго поколѣнія.

ГЛАВА VIII.

И. П. САХАРОВЪ.

Біографія.—Історическія мнѣнія.—Понятія его о народности.—Сказанія русского народа: міѳологія; чернокнижіе и суевѣрія; пѣсни; сказки и проч.—Характеръ его понятій.

Первые изданія Сахарова появились въ началѣ 1830-хъ годовъ, и съ тѣхъ поръ онъ сталъ пріобрѣтать все большую извѣстность, какъ особенный, въ своемъ родѣ почти единственный знатокъ русской народности, т.-е. быта, преданій, обычаевъ, пѣсенъ, сказокъ и всякой старины. Эта популярность его имени и изданий удерживалась почти до половины 1850-хъ годовъ,—а именно до новыхъ обширныхъ предпріятій по изданію и истолкованію народнаго поэтическаго и бытового содержанія. До того времени, тексты и свидѣтельства Сахарова считались въ ряду авторитетныхъ источниковъ для научныхъ и литературныхъ выводовъ о русской народности. Теперь очень рѣдко встрѣтится цитата изъ Сахарова, — и не только потому, что явилось много новыхъ источниковъ; ретроспективная критика иначе взглянула не только на его мнѣнія, но и на самое качество многихъ его текстовъ, и отвергла ихъ какъ неточные или даже фальшивые.

Для своего времени Сахаровъ есть этнографъ, весьма типический. Этнографическая наука едва начиналась. Стремленіе изучать народъ было въ воздухѣ; но материалъ, пріемы изученія были выяснены такъ мало, что часто приходилось идти ощупью и наугадъ; народность официальная, отголоски романтизма, даже просто нелюбовь къ новизнѣ у людей „старого вѣка“, создавали настроеніе, въ которомъ старина народная представлялась наиболѣе ревностнымъ адептамъ въ таинственномъ, почти мистическомъ свѣтѣ, какъ нѣчто священное, патріархально-мудрое, въ чемъ скрытъ палладіумъ истинной національности, свободной отъ всякой порчи заморскими хитро-

стями. Сахаровъ, самоучка въ этнографії, тѣмъ больше подчинился этому настроенію, гдѣ темное национальное стремленіе пока очень мало прояснялось знаніемъ и критикой; эти смутныя представлениа видимо отражались на его трудахъ и, какъ увидимъ далѣе, чрезвычайно имъ повредили.

Біографія Сахарова, по нашему обыкновенію, не написана тѣми, кто могъ бы (даже теперь) написать ее ¹⁾. Съ виѣшней стороны, она была немногосложна. Сахаровъ (род. 1807), тульскій уроженецъ, былъ сынъ священника; учился въ семинаріи; кончивъ тамъ курсъ въ 1830 году, былъ уволенъ изъ духовнаго званія и поступилъ въ московскій университетъ по медицинскому факультету. Кончивъ тамъ курсъ въ 1835, Сахаровъ былъ назначенъ „для практики“ въ московскую городскую (или точнѣе, „градскую“) больницу, оттуда вскорѣ перечисленъ въ университетскіе медики и, прослуживъ здѣсь годъ, перешелъ на службу врачемъ въ почтовый департаментъ, въ 1836—1837 г. перебрался въ Петербургъ, гдѣ съ тѣхъ поръ и работалъ.

Труды Сахарова начали появляться съ 1830 года. Возбужденный чтеніемъ Карамзина, онъ занялся мѣстной исторіей, печаталъ въ „Галатеѣ“, въ „Телеграфѣ“ и „Русской Вивліоѳикѣ“ Полевого матеріалы, касавшіеся тульской старины ²⁾). При малочисленности любителей народной старины въ то время, имя Сахарова было замѣчено и по этимъ опытамъ: но настоящая и вскорѣ очень обширная известность его пошла съ тѣхъ поръ, какъ онъ съ 1836 года началъ издавать „Сказанія русского народа“, за которыми слѣдовали „Путешествія русскихъ людей“, „Пѣсни русского народа“, „Записки

¹⁾ Матеріалъ для біографії представляютъ теперь нѣсколько некрологовъ: „Воспоминаніе объ П. П. Сахаровѣ“, Срезневскаго, въ Запискахъ Акад. Наукъ, 1864, кн. 2, стр. 239—244.

— Иллюстрированная Газета, 1864, № 1, стр. 1, портретъ, стр. 10, короткій некрологъ.

— Тульскія епарх. вѣдомости, 1864, № 5 (мы ихъ не имѣли подъ руками).

— Р. Архивъ 1865, № 1, стр. 123 (Свѣдѣнія о р. писат., Геннади).

— „Для біографії Сахарова“, съ отрывками его воспоминаній и нѣкоторыми примѣчаніями его друга, П. И. Савваитова, въ „Р. Архивѣ“, 1873, стр. 897—1017. Это— наиболѣе важный до сихъ поръ матеріалъ.

— „Русскіе палеологи сороковыхъ годовъ“, Н. Барсукока (въ „Др. и Н. Россіи“, 1880, и отдельно), гдѣ издана переписка Сахарова съ Кубаревымъ, Ундорскимъ и Бодянскимъ.

²⁾ Отдельно были изданы: „Достопамятности Венева монастыря“, М. 1831 (брюшюра, 26 стр.); „Исторія общественного образования тульской губерніи“, ч. I. М. 1832, съ планами и картой. Это послѣднее изданіе осталось неконченнымъ; отрывокъ изъ второй части былъ напечатанъ въ „Современникѣ“ 1837, т. VII, стр. 295—325.

русскихъ людей“, „Сказки“, далѣе, рядъ библіографическихъ трудовъ по старой литературѣ и изслѣдованій археологическихъ¹⁾, нѣсколько статей въ „Энциклопедическомъ Лексиконѣ“ Плюшара, статьи и материалы въ журналахъ.

Этотъ рядъ изданій, при всѣхъ недостаткахъ, видныхъ теперь, свидѣтельствовалъ о замѣчательномъ трудолюбіи и предпріимчивости издателя и среди начавшихся въ литературѣ толковъ о народности, — для которой еще затруднялись найти опредѣленіе,—не могъ не произвести впечатлѣнія. Сахаровъ быстро пріобрѣлъ извѣстность знатока: на него ссылались, изъ него заимствовались, когда шла рѣчь о стариинѣ, о преданіяхъ, пѣсняхъ народа и т. п., по его матеріалу судили о характерѣ народно-поэтической старины, начинали комментировать этотъ матеріалъ и т. д. „Кто жилъ въ то время, не чуждаясь литературы,—говоритъ Срезневскій, самъ тогда же начинавшій свое этнографическое поприще,—тотъ знаетъ, какъ сильно было впечатлѣніе, произведенное книгами Сахарова, особенно книгами Сказаний русского народа—не только между любителями старины и народности, но и вообще въ образованномъ кругу. Никто до тѣхъ поръ не могъ произвести на русское читающее общество такого вліянія въ пользу уваженія къ русской народности, какъ этотъ молодой любитель. Не поразилъ онъ основательно ученоностью, не поразилъ онъ и многообразiemъ соображеній; но множество собранныхъ имъ данныхъ было такъ неожиданно велико и по большей части, для многихъ, такъ ново, такъ кстати въ то время, когда въ русской литературѣ впервые заговорили о народности, и притомъ же увлеченіе ихъ собирателя, высказавшееся во вводныхъ статьяхъ, было такъ искренно и рѣшительно, что оставаться въ числѣ равнодушныхъ было трудно. Замѣчательно, что и многоначитанный и трудолюбивый И. М. Снегиревъ, издавшій въ это же время лучшіе свои труды, уже прежде пріобрѣтшій себѣ извѣстность... большинствомъ читателей былъ ставимъ не такъ wysoko, какъ Сахаровъ“.

Когда въ 1841 вышло новое изданіе „Сказаний“ (первый томъ), гдѣ въ одномъ „томѣ“ соединено было четыре „книги“, съ большимъ

¹⁾ „Сказания русского народа о семейной жизни своихъ предковъ“. Ч. I. Спб. 1836 (изд. 2-е, 1837). Ч. II. Спб. 1837. Ч. III. кн. 2. Спб. 1837. „Сказания“ и пр. изд. 3-е. Т. I (книги 1—4). Спб. 1841. Томъ II (книги 5—8). Спб. 1849.

— „Путешествія русскихъ людей въ чужія земли“. Ч. I. (два изданія). Ч. II. Спб. 1837.

— „Пѣсни русского народа“. Ч. I—II. Спб. 1838. Ч. III—V. Спб. 1839. Книжки въ 36-ю долю л.

— „Записки русскихъ людей“. Спб. 1841.

— „Русскія народныя сказки“. Часть I. Спб. 1841, въ 12°. Второй части не было.

обиліемъ матеріала по старинѣ и народности, на читателей и критиковъ сильное впечатлѣніе произвело предисловіе, въ которомъ Сахаровъ излагалъ весь планъ предпринятаго имъ изданія ¹⁾). Это была цѣлая энциклопедія для изученія народности и старины, до тѣхъ поръ еще никѣмъ не указанная съ такихъ разнообразныхъ сторонъ, — и критики пришли въ изумленіе отъ обширности начатого труда и отъ неожиданного обилія открывавшихся матеріаловъ для исторического изученія народности въ литературѣ ²⁾). Срезневскій, которому вѣроятно и тогда были видны многія ненаучные странности плана и исполненія „Сказаній“, въ своемъ „Воспоминаніи“ такимъ образомъ передаетъ впечатлѣніе, произведенное въ свое время изданіемъ Сахарова. „Мало кого смутилъ беспорядокъ расположенія, — говоритъ онъ, — и то, что многія изъ книгъ „Сказаній народа“ ни въ какомъ смыслѣ не подходятъ своимъ содержаніемъ подъ понятіе

¹⁾ Планъ былъ таковъ. Все изданіе должно было заключать, въ семи томахъ, тридцать книгъ слѣдующаго содержанія:

Томъ I. Книги: 1, Русская народная литература. 2, Очерки семейной русской жизни. 3, Русская народная пѣсни. 4, Памятники древней русской литературы.

II. Книги: 5, Старые словари русского языка. 6, Русская народная свадьбы. 7, Русская народная годовщина. 8, Путешествія русскихъ людей.

III. Книги: 9, Русская народная демонология. 10, Словари русскихъ областныхъ нарѣчий. 11, Русская народная охоты. 12, Сказанія о русскомъ народномъ врачеваніи.

IV. Книги: 13, Русская народная символика. 14, Лѣтопись русской бібліографіи. 15, Русская народная повѣрія и примѣты. 16, Русская народные пословицы.

V. Книги: 17, Лѣтопись древнихъ искусствъ и художествъ. 18, Лѣтопись славяно-русскихъ типографій. 19, Лѣтопись русской литературы. 20, Русская народная сказки.

VI. Книги: 21, Записки русскихъ людей. 22, Обозрѣніе древняго русскаго права. 23, Обозрѣніе русскихъ гербовъ и печатей. 24, Русская народная одежды.

VII. Книги: 25, Родословная книга русскихъ дворянскихъ родовъ. 26, Лѣтопись русской нумизматики. 27, Образцы великорусскихъ, белорусскихъ и малорусскихъ нарѣчий. 28, Славяно-русская міѳология. 29, Русские разрядные списки. 30, Приложения и указатели.

²⁾ Приводимъ для образчика нѣсколько словъ изъ рецензіи „Сказаній“ въ „Современникѣ“ Плетневскомъ, который считался тогда органомъ такъ-называемаго аристократического литературнаго круга:

„Вотъ предпріятіе,—говорилось тамъ,—котораго исполненіемъ могла бы заслужить всеобщую признательность и справедливую славу какая-нибудь академія,—предпріятіе почти на цѣлую жизнь частнаго человѣка... Просматривая одни заглавія книги его, начинаешь постигать всю важность, всю великость идеи литературы. Она одна возсозидаеть для потомства исчезнувшую жизнь предковъ“ и т. д. („Соврем.“ 1841, т. XXII, стр. 39—41).

Ср. подобный отзывъ въ журналѣ другого круга, „Отеч. Запискахъ“ 1841 (Сочин. Бѣлинскаго, т. V, изд. 2-е, стр. 311—317, и тамъ же о „Сказкахъ“ Сахарова. стр. 317—319).

о сказаніяхъ народа; а масса обѣщанного, важнаго, новаго, желаннаго и неожиданнаго не могла не поразить. Явились, конечно, и такие читатели, которые не повѣрили, чтобы Сахаровъ дѣйствительно занимался всѣмъ тѣмъ, чему хотѣлъ дать мѣсто въ своемъ сборникѣ; но сравнительно ихъ было очень мало. Большинство Сахарову довѣряло, и не напрасно: прежнія изданія, выходившія одно вслѣдъ за другимъ чуть не безпрерывно, были такъ разнообразны, что увеличеніе разнообразія содержанія новаго неизданнаго вдвое, втрое не казалось для Сахарова невозможнымъ, а только радовало и располагало къ нему".

Правда, второй томъ „Сказаній“ послѣдовалъ за первымъ только въ 1849, а третій остался неизданннымъ; но въ послѣдующихъ работахъ Сахаровъ продолжалъ наполнять различныя рубрики своего плана.

Рядъ новыхъ изысканій Сахарова направился на библіографическія и чисто археологическія изслѣдованія. Еще съ тридцатыхъ годовъ онъ сталъ заниматься литературой рукописей, библіографіей старопечатныхъ изданій, затѣмъ исторіей иконописанія, церковнаго пѣнія, нумизматикой, родословiemъ, геральдикой и т. д. ¹⁾).

Въ 1847, Сахаровъ сталъ членомъ Географического Общества, въ 1848—Археологического. Въ первомъ онъ работалъ, кажется, мало, но во второмъ былъ очень дѣятеленъ. Его сотоварищи по Археологическому обществу указываютъ его заслугу въ томъ, что онъ приглашалъ къ дѣятельности для Общества — людей, которые могли взяться за описание памятниковъ или сообщать о нихъ свѣдѣнія; что онъ пріискивалъ задачи для премій и находилъ лицъ, готовыхъ жертвовать на это деньги; наконецъ, что по его почину начато было

¹⁾) Славяно-русскія рукописи. Спб. 1839, 32 стр. 8°. Напечатано было въ небольшомъ числѣ экз. и въ продажѣ не было.

— Современная хроника русской нумизматики (Сѣв. Пчела, 1839, № 69—70; также № 125); Лѣтопись русской нумизматики. Спб. 1842, 4°, съ 12 снимками; 2-е изд. 1851. ¶

— Русскіе древніе памятники. Спб. 1842, 4°, съ 9 снимками изъ старопечатныхъ книгъ.

— Русское церковное пѣснопѣніе, въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1849, № 2, 3, 7.

— Обозрѣніе славяно-русской библіографіи. Томъ I, кн. 2-я (вып. 4-й). Спб. 1849. Первые три выпуска не были допечатаны; изготовленные 104 снимка съ рукописей и печатныхъ книгъ не были, по какимъ-то постороннимъ обстоятельствамъ, выпущены въ свѣтъ.

— Изслѣдованіе о русскомъ иконописаніи. Часть I. Спб. 1849; 2-е изд. 1850. Часть II. Спб. 1849.

— „Программа русской юридической палеографіи“, и—„Лекціи русской палеографіи“ были литографированы въ 1852, для училища правовѣдѣнія и александровскаго лицея, куда Сахаровъ былъ приглашенъ для преподаванія этого предмета.

изданіе „Записокъ отдѣленія русской и славянской археологии И. Арх. Общества“ (въ 1851), въ которыя вошло не мало его собственныхъ работъ и собранныхъ имъ матеріаловъ. Въ числѣ этихъ работъ особенно замѣчательна была „Записка для обозрѣнія русскихъ древностей“: эта записка напечатана была Археолог. Обществомъ въ 1851, разослана была всюду (какъ передъ тѣмъ этнографическая программа Геогр. Общества) и по отзыву Срезневскаго, „дѣйствительно была полезна въ отношеніи къ уясненію понятій объ археологическихъ работахъ въ такихъ кругахъ русского общества, гдѣ прежде господствовало полное незнаніе ихъ возможности, не только важности“.

Въ это же время Сахаровъ принялъ участіе въ работахъ Публичной библіотеки, которая обнаружила тогда большую дѣятельность со вступленіемъ въ управление ею барона (послѣ графа) Корфа. Сахаровъ доставлялъ указанія о рукописяхъ и рѣдкихъ книгахъ, какія слѣдовалио пріобрѣсти для библіотеки, доставлялъ самыя рукописи и книги. Въ 1851, онъ приглашенъ былъ для чтеній о палеографіи въ училище правовѣдѣнія и александровскій лицей, для которыхъ и сдѣлалъ упомянутое выше литографированное изданіе своихъ лекцій. Послѣдней изданной его работой были кажется, „Записки о русскихъ гербахъ“¹⁾ по поводу споровъ о перемѣнѣ русского герба.

Около половины пятидесятыхъ годовъ дѣятельность его стала ослабѣвать. Причину этого указываютъ отчасти въ семейныхъ обстоятельствахъ, отчасти въ „отношеніяхъ къ нѣкоторымъ изъ людей, въ кругу которыхъ онъ работалъ“. Въ послѣдніе годы его постигла тяжкая болѣзнь, и дѣятельность его совсѣмъ прекратилась. Онъ удалился въ свое маленькое имѣніце Зарѣчье, новгородской губерніи, валдайскаго уѣзда; онъ умеръ здѣсь 24 августа 1863 года, вслѣдствіе разжиженія мозга, и похороненъ при церкви Успенія, рютинского постола.

Плодомъ его трудовъ и исканій осталось, наконецъ, обширное и замѣчательное собраніе рукописей, пріобрѣтенное потомъ графомъ А. С. Уваровымъ.

Таковъ былъ виѣшній ходъ дѣятельности Сахарова. Его большая заслуга для русской этнографіи и археологіи не подлежитъ спору. Въ то время, когда только-что начало бродить въ умахъ стремленіе къ „народности“,—котораго еще не умѣли здраво приложить ни въ литературѣ, ни въ жизненныхъ отношеніяхъ, ни установить научно,—Сахаровъ, странно и угловато, но ревностно и упрямно указывалъ

¹⁾ Спб. 1856. Вышелъ только первый выпускъ: „Гербъ московскій“, съ 3 таблицами снимковъ.

источники чистой народности въ народномъ бытѣ, старинѣ, поэзіи и преданіи, настаивалъ на ихъ изученіи и издалъ цѣлый рядъ народно-поэтическихъ произведеній. Поэтому такъ сильно и подѣйствовало въ литературныхъ и образованныхъ кругахъ появленіе его изданій. Сахаровъ сталъ авторитетомъ, признаваемымъ даже тѣми, кто въ концѣ концовъ не могъ не видѣть уродливостей въ его постановкѣ предмета. Но прошло не много времени, какъ Сахаровъ былъ основательно забытъ; его взглядъ на предметъ поражалъ отсутствиемъ научности и не оставилъ въ литературѣ никакого слѣда; изданія оказались мало точными, даже подлинность нѣкоторыхъ памятниковъ, имъ изданныхъ, была заподозрѣна.

Авторитетъ его сталъ падать, когда работы его были еще въ ходу. Дѣло въ томъ, что, во-первыхъ, началъ появляться—въ особенности въ трудахъ возникшаго тогда Географическаго Общества—новый обширный и болѣе внимательно собранный этнографическій материалъ; во-вторыхъ, въ самомъ пріемѣ изученія сдѣланъ былъ успѣхъ, при которомъ и собирательскіе труды Сахарова, а тѣмъ болѣе „изслѣдованія“, оказывались неудовлетворительными, странными, невозможными. Въ чёмъ же состояли его общіе взгляды, какая была историко-этнографическая точка зрењія, пріемы изслѣдованія?

Скудость біографического материала, къ сожалѣнію, не позволяетъ съ точностью указать развитіе его мыслей и послѣдовавшій складъ его историческихъ и этнографическихъ понятій; но отрывки его записокъ, въ соединеніи съ его сочиненіями, даютъ характерныя объясненія.

Многое въ свойствахъ трудовъ Сахарова объясняется тѣмъ, что это былъ чистый самоучка. Предметъ былъ еще таکъ новъ, что не одному Сахарову приходилось тогда идти въ этомъ дѣлѣ незнакомыми путями,—но другіе (какъ, напримѣръ, Калайдовичъ, Снегиревъ) были по крайней мѣрѣ подготовлены въ смежныхъ областяхъ науки, знакомы съ исторической критикой: Сахаровъ не прошелъ никакой школы этого рода; въ общихъ историческихъ знаніяхъ онъ часто оказывался просто невѣждой. Это съ одной стороны увеличиваетъ заслугу его личныхъ усилий, но съ другой крайне повредило качеству результатовъ. Изъ семинаріи, гдѣ учился, Сахаровъ видимо не вынесъ особыхъ знаній, напр., даже въ латыни; медицинскій курсъ въ университетѣ и теперь остается специальной школой, а тогда еще менѣе могъ содѣйствовать историко-литературному образованію. Сахаровъ не восполнилъ этого пробѣла и впослѣдствіи, по-видимому даже его не чувствовалъ: какъ свойственно всѣмъ самоучкамъ, онъ, напротивъ, склоненъ былъ преувеличивать значеніе своихъ трудовъ, и самомнѣніе не помогало улучшенію ихъ качества.

Въ этнографической наукаѣ онъ былъ начетчикъ; трудъ его былъ только собирательскій; его собственныя объясненія были только или чисто вѣщнія и отрицательныя, или научно невозможныя; научный методъ вполнѣ отсутствовалъ.

Къ этому присоединилась другая черта... Анненковъ, говоря о Писемскомъ, замѣчалъ, что въ его характерѣ и понятіяхъ слышались далекіе отголоски старой русской культуры, что какъ будто это былъ историческій велико-русскій мужикъ, прошедшій черезъ университетъ, но сохранившій многое, что отличало его до этого посвященія въ европейскую науку; что Писемскій, по собственному признанію, испытывалъ родъ органическаго отвращенія къ иностранцамъ, котораго не могъ въ себѣ побѣдить... Нѣчто очень похожее на это отличало и Сахарова, съ тою разницей, что „посвященіе въ европейскую науку“, которое и у Писемскаго не было особенно глубоко, но по крайней мѣрѣ соприкасалось съ гуманистическими знаніями, у Сахарова было еще ограниченнѣе или совсѣмъ отсутствовало: иностранное, какъ-нибудь прикасавшееся къ русской жизни, было для него предметомъ настоящей ненависти. Этимъ окрашивалась и вся его проповѣдь „народности“. При всей ея горячности, эта проповѣдь, не представляла однако никакой ясной исторической и общественной мысли: ея содержаніемъ было голословное восхваленіе старины, сожалѣнія объ утратѣ понятій и нравовъ добраго старого времени, и призывы къ ихъ возвращенію. Какъ возвратить утраченное хорошее, оставалось неизвѣстнымъ; отвѣтъ на это ограничивался или жалобой, которая высказывалась поддѣльно-стариннымъ языккомъ, приторно-сладкими причитаніями, или злобными выходками противъ „чужеземцевъ“ и „заморскихъ бродягъ“, подъ которыми разумѣлись всѣ иностранцы, у насъ жившіе и дѣйствовавшіе. Когда писатель переходилъ къ изложенію фактовъ или своихъ историческихъ взглядовъ, крайне неловкій, темный языкъ выдавалъ неясность его мысли.

Обратимся къ „Воспоминаніямъ“, гдѣ онъ разсказывалъ о началѣ своихъ литературныхъ трудовъ, еще во время пребыванія въ Тулѣ. Браги русской народности, ужасные „чужеземцы“ уже навлекли на себя его ненависть, и поминаются имъ съ довольно забавнымъ эпическимъ постоянствомъ бранныхъ эпитетовъ.

„Литературные занятія мои направлены были исключительно съ 1825 года на русскую исторію, странно (?) и неожиданно. Разъ какъ-то былъ я въ бѣсѣдѣ, гдѣ два чужеземца пагло и дерзко увѣряли русскихъ, что у нихъ нѣть своей исторіи. Мне было горько и больно слышать эту нелѣпость; но я былъ безсиленъ: я не зналъ русской исторіи; меня учили какой-то безвязной исторіи по Шрекку. Эти два *наiгiца*, проповѣдывавшіе безтолковымъ слушателямъ *тиль*, были гувернеры, изъ *нѣмецкой породы*, оставшіеся просвѣщать русскія головы послѣ 1812 года, изъ числа *пародеровъ*. Въ небольшой библіотекѣ моего

отца я нашелъ немного о русской исторіи: книгъ пять или шесть. Я прибѣг-
нулъ съ монмъ горемъ къ свящ. Н. И. Иванову; онъ далъ мнѣ для чтенія исто-
рию Карамзина, передалъ многое о *наглецахъ*, въ особенности о наглецахъ изъ
немецкой породы, таскающихихъ по Россіи съ своимъ дикимъ и безграмотнымъ
просвѣщеніемъ. Долго и много читалъ я Карамзина. Здѣсь-то узналъ я родину
и научился любить русскую землю и уважать русскихъ людей“...

Слѣдуетъ изображеніе тогдашняго тульскаго общества и его умст-
венныхъ интересовъ, и затѣмъ длинное, озлобленное, по смутное изо-
бличеніе иноземныхъ „бродягъ“, перепортившихъ русское общество.
Приводимъ нѣсколько образчиковъ:

„Въ Тулѣ немногого было людей, читавшихъ и думавшихъ о чёмъ-нибудь. Вся ученость гнѣздила въ кадетскомъ корпусѣ, въ гимназіи, въ семинаріи... Всѣ эти заведенія имѣли разныя направленія, учителя ихъ жили непріяз-
ненно. Библіотекъ было въ городѣ мало... Просвѣщеніемъ дворянства завѣды-
вали гувернеры и гувернантки, люди безъ всякаго образованія въ наукахъ.
Съ пими входили въ деревенскіе семейные круги развратъ, нахальство, не-
уваженіе къ родителямъ, пренебреженіе къ вѣрѣ отцовъ и постыдное вольно-
думство...“

„Въ цѣлой губерніи было много людей истинно-образованныхъ, полезныхъ
родинѣ и семейству, получившихъ образованіе не изъ рукъ жалкихъ и пре-
врѣнныхъ бродягъ, но въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Они жили больше
въ помѣстьяхъ отдѣльною жизнью и не сходились съ городскими пьяницами и
игроками. На нихъ былъ свой отпечатокъ: спокойствіе и мирная жизнь. Бѣд-
ному человѣку безъ связей и средствъ трудно было пробраться въ кругъ этихъ
людей. Это я испыталъ самъ. Года два жизни стопло мнѣ, чтобы обратить
только вниманіе ихъ на себя. Вспоминаю все это теперь ¹⁾ не для обвиненія
нихъ (?), а говорю потому только, какъ тогда у насъ образованные люди жили
отдѣльно, какъ тогда рѣзко отличалось истинное образованіе отъ фальшиваго,
гувернерскаго, какъ мало вѣрили прежде (?) бродягамъ. Не знаешь, чему удив-
ляться: легковѣрію ли новаго поколѣнія первой четверти XIX вѣка или твер-
дости стариковъ, сознавшихъ свое родное достоинство, при переворотѣ воспи-
танія, предпринятаго ²⁾ чужеземными бродягами“.

Дальше мы приведемъ объясненіе, какъ „предпринять“ былъ
„бродягами“ переворотъ въ русскомъ воспитаніи. Сахаровъ благо-
даритъ Бога, что самъ остался нетронутъ этимъ переворотомъ.

„Благодарю Господа, — пишетъ онъ, — что надъ мою головою не работала
ни одна французская *тварь*. Горжусь, что вокругъ меня не было ни одного
нѣмецкаго *бродяги*. Я не преклонялся ни передъ однимъ сапожникомъ-фран-
цузомъ и не принималъ отъ него наставлений, какъ презирать отца и мать,
какъ ненавидѣть родину, какъ расточать достояніе отцовъ и дѣдовъ. За меня
ни одной русской копѣйки не перешло въ карманъ *бродягъ*. Меня не морочили
они лучшимъ вкусомъ къ изящному, понятіями о высокомъ и прекрасномъ,
существующемъ будто исключительно въ Германіи и Франціи. Мерзенштейны
и Скотенберги, заморскіе *бродяги* вышаго сорта, не появлялись тогда въ Тулѣ;
я ихъ встрѣтилъ впервые въ Москвѣ“ (?).

¹⁾ Воспоминанія писаны въ половинѣ 1850-хъ годовъ.

²⁾ Предпринято?

Изъ рассказовъ Сахарова увидимъ, что мало проку было и въ тѣхъ, кто нисколько не былъ совращенъ „бродягами“... Занятія Сахарова исторіей города Тулы вызвали у его земляковъ (онъ не забываетъ одного протопопа) недоброжелательные отзывы. „Мнѣ въ глаза говорили,— пишетъ Сахаровъ:— занимался бы своимъ дѣломъ! На чѣто намъ твоя исторія Тулы? Жили мы счастливо безъ неї до тебя, проживемъ и послѣ тебя, также весело и покойно.— Другіе ки-вали головами и повсюду говорили обо мнѣ: — пропалъ малый безъ толку; ничего изъ него путнаго не будетъ“. Во всей Тулѣ, какъ выше сказано, Сахаровъ немного находилъ людей, „читавшихъ или думавшихъ о чѣмъ-нибудь“. Это было невѣжество самобытное, невшущенное „бродягами“. Сахаровъ утверждаетъ, что ему грозили даже опасности отъ этого невѣжества, но все-таки былъ убѣжденъ, что вся бѣда у насъ отъ „бродягъ“, которымъ онъ приписываетъ формальный планъ поколебать благополучіе Россіи. Объ этомъ у Сахарова была цѣлая историческая теорія, чрезвычайно своеобразная.

„Европа,— объясняетъ онъ,— еще при Петре Великомъ, зорко подсмотрѣла будущую участь русской земли, пред назначенную ей свыше. Изумленная неистощимыми силами нашей родины, она должно приступила къ разрушению основныхъ русскихъ началъ. Первое пораженіе, первый натискъ Европы былъ на русскую народность. Перестрой русскихъ людей на заморской ладѣ былъ начать съ сословій дворянскаго и купеческаго. Духовенство и крестьяне оставлены были въ покое, но на время. Западники полагали разбить ихъ (?) въ другомъ сраженіи. Въ этомъ они горько ошиблись. Православная наша вѣра вытерпѣла страшныя истязанія отъ запада. Европа не могла слышать безъ бѣшенства имени нашего православія. Начали (?) съ того, что тысячами называли намъ всѣ существовавшія (?) ереси, начиная съ Гордоновой компаніи до Татариновой... (У насъ испортили старинную церковную архитектуру, живопись; предлагали замѣнить нашу вѣру на католичество, кальвинизмъ и пр.)... „Насъ пробовали (?) сбить съ толку: философскими системами, мистицизмомъ, сочиненіями Вольтера, Шеллинга, Баадера (!), Гегеля, Страуса и ихъ послѣдователей... Бѣдная Русь, чего только ты не вытерпѣла отъ западныхъ варваровъ!

„Западныя ополченія противъ русского самодержавія начались въ XVIII вѣкѣ. Европѣ страшно было видѣть на твердой землѣ независимаго русскаго государя, могучаго и несокрушимаго исполина, окруженнаго безпрѣдельною преданностью подвластнаго ему народа... Европейскіе коноводы раздоровъ и мятеежей начали возвставать противъ русского самодержавія (?), когда полагали, что русская народность погибла навсегда (?), и что для русского православія довольно впущенено (!) всемирныхъ (?) ересей и расколовъ. Къ счастію русской земли, они не поняли, что крѣпость нашего самодержавія создана была Владиміромъ Великимъ (?), Іоанномъ III и Петромъ Великимъ, тремя могучими государями, ниспосланными свыше для возрожденія (?), величія и счастія русской земли. Самодержавіе, основанное и укрѣпленное ими, просуществовало въ Россіи тысячу (?) лѣтъ и будетъ, при помощи Божіей, существовать еще долго, долго до позднѣйшихъ временъ.

„Война противъ трехъ началь независимой самостоятельности русской продолжится столѣтіе. Устоитъ ли русскій народъ въ этой войнѣ противъ враговъ? Вѣдаеть одиаъ Богъ“... (За пять строкъ выше, Сахаровъ зналъ, что устоить)... „Россія много выстрадала (въ этой борьбѣ)… Надъ нею бдитъ русскій Богъ. Передъ Нимъ однимъ она благоговѣетъ и Ему одному преклоняеть свою выю“ (стр. 917—919).

Таковъ быль исторический сумбуръ, составлявшій основу взгля-
довъ Сахарова. Разобраться въ немъ нѣтъ, конечно, никакой воз-
можности; можно бы подумать, что Сахаровъ будетъ винить ново-
введенія Петра В., но Петръ упоминается у него въ числѣ прави-
телей, „ниспосланныхъ свыше“. Въ числѣ орудій, употребленныхъ
западомъ для сокрушенія русскихъ началъ, поставлены рядомъ Воль-
теръ и secta Татариновой, Баадеръ и „Страусъ“; какъ будто Воль-
теръ, Баадеръ, Страусъ и даже Татаринова нарочно придуманы
Европой только бы навредить Россіи. Какъ все это происходило,
неизвѣстно, но —

„Переворотъ, затяжній въ Россіи чужеземцами для направленія къ ре-
волюціоннымъ идеямъ русского воспитанія, не есть тайна. Стбить только
вспомнить основаніе александровскаго лицея, борьбу аббата Николя противъ
этого учрежденія и рѣшимость императора Александра Павловича противъ
ученія чужеземцевъ (?). На каждое сказанное мною слово я готовъ привести
сотни примѣровъ, мною самимъ видѣнныхъ“ (стр. 901—902).

Сюда именно принадлежитъ дѣятельность бродягъ, приводившихъ
Сахарова въ такое негодованіе. Имъ посвящена еще особая длин-
ная тирада въ „Воспоминаніяхъ“. Но къ удивленію, виноваты ока-
зываются не столько бродяги, какъ сами русскіе или собственно рус-
скія женщины. Высказавъ (въ приведенной выше цитатѣ) свое не-
доумѣніе, чему больше удивляться—легковѣрію ли нового поколѣнія
„первой четверти столѣтія“ или твердости стариковъ, не вѣрившихъ
„бродягамъ“, Сахаровъ продолжаетъ:

„Время взяло свое; женщины наши все перепутали (?), имъ надобна была
французская болтовня, имъ надобны были танцы (?), имъ надобны были кокет-
ство и разсѣяніе въ жизни. Во всемъ этомъ они опирались на гувернерство.
Вотъ отъ чего скоро развелась у насъ порода гувернантокъ; вотъ отъ чего
охота къ чужеземному воплотилась въ дѣла, воплотилась въ привычки и по-
шла рука объ руку съ дворянскимъ просвѣщеніемъ, ложнымъ, бесполезнымъ и
вреднымъ для нашего отечества. Немного надобно людямъ, чтобы понять всю
опасность такого ложнаго просвѣщенія; во многіе ли хотѣли видѣть эту страш-
ную бѣду нашего отечества? Повсюду за нею стремились съ какимъ-то обая-
ніемъ и восторгомъ“ (стр. 902).

Слѣдуетъ исторія „гувернерскаго просвѣщенія“:

„Вообще гувернерское просвѣщеніе русскихъ людей можно раздѣлить на
три эпохи, сгубившія (?) нашу родину. Первая явилась послѣ первой фран-
цузской революціи, когда эмигранты толпами прибѣгали въ Россію; они охва-

тили тогда высшій кругъ дворянства, жившій въ столицахъ; ихъ вліянію все покорилось рабски. Матушки за нихъ спѣшили отдать своихъ дочекъ, чтобы величать ихъ маркизами и герцогинями; батюшки обрадовались вольнодумству, сынови кинулись въ развратъ со всею наглостью, руководимые во всемъ эмигрантами. Эта эпоха длилась до 1812 года и тихо подрывалась подъ основной бытъ (?) русского образованія, освященнаго вѣрою и событиями тысячи лѣтъ. Въ эту эпоху началось выписываніе французовъ и француженокъ, нѣмцевъ и нѣмчурокъ нашими путешественниками,ѣздившими на показъ въ Фернейской замокъ и въ Парижъ. Тогда, хотя и изрѣдка, начали разводить пансіоны, мужские и женские, подъ защитою выписныхъ нѣмецкихъ профессоровъ московскаго университета, Шадена, Шварца и другихъ. Бѣглыя (?) и наглые француженки открыли въ этихъ вертепахъ постыдный торгъ честью русскихъ женщинъ и русскихъ дѣвушекъ... (Тамъ же).

Факты безнравственнаго вліянія эмиграціи дѣйствительно бывали въ тѣ времена; но Сахаровъ не только спуталъ хронологію, но и взвелъ небывалыя гадости на людей, оставившихъ честное и заслуженное имя въ исторіи русского образованія: напримѣръ, Шварцъ умеръ гораздо раньше французской революціи, Шаденъ (опять гораздо раньше революціи) былъ воспитателемъ того Карамзина, которому самъ народолюбецъ считалъ себя наиболѣе обязаннымъ. Далѣе:

„Вторая эпоха началась съ изгнаніемъ французской арміи въ 1812 году изъ Россіи. Просвѣтителями этой эпохи содѣялись безмысленные остатки отъ разбитой наполеоновской арміи. Съ этого времени водворилось всеобщее несчастіе (!) въ моемъ миломъ и безцѣнномъ отечествѣ... (следуетъ такая же характеристика времени, какъ выше). „Эта несчастная эпоха продолжалась недолго, до 1820 года (?); но она оставила гибельные послѣдствія на цѣлое столѣтіе. Этпмъ орудіемъ думали заморскіе демагоги (?) приготовить въ Россіи что-то въ родѣ 14-го декабря.

„Третья эпоха началась пріѣздомъ губернантокъ по требованію поставщиковъ (?)... Магазины Кузнецкаго моста, Невскаго проспекта и знаменитаго Ревельскаго подворья (?) наполнены были бродягами-просвѣтительницами... Взгляните на нихъ (ихъ воспитанниковъ) и скажите... много ли въ нихъ есть русскаго? Видите ли вы въ нихъ дѣлахъ что-нибудь къ чести и славѣ русского ума? Лежитъ ли ихъ сердце къ Россіи?“ и проч. (стр. 904—905).

На эту тему написано еще нѣсколько страницъ, гдѣ описывается „роковое паденіе“ русского дворянства подъ вліяніемъ „нѣмцевъ и разной западной твари“, разсказывается, какъ вслѣдъ за дворянствомъ увлеклось тѣмъ же „наше степенное купечество“. Не приходя дальниѣшихъ безсвязныхъ разсужденій объ этомъ предметѣ, укажемъ лишь то, что Сахаровъ говорить о началѣ своихъ изученій русскаго народа.

По запискамъ Сахарова не видно, когда именно и какъ онъ началъ свои этнографическія изслѣдованія. Впослѣдствіи, когда въ 1841 кн. А. Н. Голицынъ (главноначальствующій надъ почтовымъ департаментомъ) ходатайствовалъ предъ императоромъ Николаемъ о

награжденії Сахарова, издавшаго тогда первый томъ „Сказаній“, въ докладѣ Голицына сказано было, что свои историческія изысканія русской народности Сахаровъ началъ „еще до вступленія въ университетъ московскій“, и что „тогда, въ продолженіе шести лѣтъ обходилъ онъ губерніи: тульскую, орловскую, рязанскую, калужскую, орловскую, въ хижинахъ поселянъ собирая народныя преданія, въ городахъ и селахъ обозрѣвалъ сохранившіяся народные памятники, въ архивахъ пересмотрѣлъ нужные историческіе акты“ и пр. ¹⁾). Въ запискахъ онъ говоритъ объ этомъ слѣдующее. Занимаясь первымъ своимъ трудомъ — исторіей тульской губерніи, Сахаровъ сдѣлалъ и поѣздку по губерніи.

„...Поѣздка по губерніи доставила мнѣ много запасовъ для узnanія *русской народности*. Ходя по селамъ и деревнямъ, я вглядывался во всѣ сословія, прислушивался къ чудной русской рѣчи, собирая преданія давно забытой старины и не вѣрилъ своимъ глазамъ (?): тотъ ли это историческій народъ, котораго дерзаютъ презирать заморскіе *бродяги*? Непостижимо (?) громадная русская жизнь, непоступжимо (?) разнообразная во всѣхъ своихъ явленіяхъ, раскрывалась передо мною въ Москвѣ и ея окрестностяхъ. Во Владимірѣ, Ростовѣ, въ Нижнемъ-Новгородѣ ²⁾ она уже не удивляла меня болѣе; въ ея гигантскихъ размѣрахъ я уже видѣлъ исполина, несокрушимаго никакими переворотами. И этого русскаго человѣка, стараго обитателя Европы, учившагося уму и разуму въ Царьградѣ, съ IX вѣка имѣвшаго свою тысячелѣтнюю грамоту, вздумали *бездонные бродяги* переучивать по своему, перевоспитывать на свой ладъ. Въ годину страданій, тяжкихъ для русскаго просвѣщенія (?), новое возникающее поколѣніе, болѣе крѣпкое духомъ, нежели отцы ихъ, вдругъ сознаетъ свое родовое достоинство и обращается къ старой русской жизни. Русская народность смѣло и торжественно провозглашается въ Россіи. Императоръ Николай Павловичъ ни мало не усумнился принять нашу народность подъ свою защиту и сдѣлать ее символомъ министерства народнаго просвѣщенія. Онъ ясно разгадалъ грядущую славу Россіи, онъ одинъ понялъ назначение русской земли. Бродя по Россіи, собирая преданія, я не предчувствовалъ тогда, что наша родная народность можетъ такъ скоро огласиться (?) и быть мѣриломъ оцѣнки старой русской жизни и нового европейскаго образованія. Было время, когда я слышалъ, какъ въ городахъ и селахъ русскіе, наученные *заморскими бродягами*, съ презрѣніемъ говорили, что русскій языкъ есть языкъ холопскій, что образованному человѣку совсѣмъ читать и писать по-русски (?), что наши пѣсни, сказки и преданія глупы, пошли и суть достояніе подлаго простого народа... Такъ думали и говорили тогда наши огаженные (sic) Европейцы... Благодарю Бога, что я дожилъ до того времени, когда русскіе начали возвращаться къ русскому языку, къ русской народности и къ русской одеждѣ и т. д. (стр. 909—911).

Такъ Сахаровъ самъ излагалъ свой взглядъ на историческую судьбу русской народности. Это, видимо, было возрѣніе всей его

¹⁾ Р. Архивъ, 1873, стр. 291; ср. пред словіе къ „Сказаніямъ“, т. I.

²⁾ Это было уже позднѣе.

жизни: въ юности, отъ тульского священника онъ наслушался о „наглецахъ изъ нѣмецкой породы“ и до конца дней прокливалъ „заморскихъ бродягъ“; они не давали ему покоя, и какъ будто самое возвеличение русской народности дѣлаетъ онъ имъ въ чику. Свободное обращеніе его съ фактами и здравымъ смысломъ дѣлаетъ излишнимъ разборъ этого взгляда; естественно ожидать, что онъ отразится въ его трудахъ по русской этнографіи. И онъ дѣйствительно отразился различнымъ образомъ.

Въ литературныхъ кругахъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ Сахарова цѣнили какъ большого знатока фактъвъ этнографіи и археологии; но повидимому уже въ то время никто не думалъ серьезно объ его „народныхъ“ взглядахъ, и надѣлъ его нѣмцѣдствомъ подшучивали. „Въ кружкѣ Надеждина, — разсказываетъ одинъ современникъ, — въ исходѣ сороковыхъ годовъ, Сахарова звали въ шутку „посадскимъ человѣкомъ“, ужъ не знаю почему: кажется, за его фигуру“¹⁾; но могли звать не только за фигуру, но и за складъ понятій, свойственныхъ полуобразованному посадскому человѣку. Его ненависть къ барству, воспитанному на ипоземный ладъ и забывавшему о народѣ и старинѣ, была безъ сомнѣнія искренняя, могла имѣть свои достаточные основанія и внушать сочувствіе, какъ протестъ противъ грубаго и пошлого забвенія національныхъ интересовъ литературы и общественности²⁾; — но въ этомъ было и народничанье, себѣ на умѣ, нѣкоторая непослѣдовательность или фальшивость, уже замѣченная его современниками. Въ своихъ запискахъ, Сахаровъ любить выставлять себя страдальцемъ за правду, гонимымъ за свои труды на пользу отечества; но онъ говоритъ объ этомъ такъ неясно, что мудрено понять, кто и за что его гналъ.

По поводу своей тульской „Исторіи“, первый отрывокъ которой былъ напечатанъ въ „Галатеѣ“ 1830, Сахаровъ замѣчаетъ, что эта статья была „первенецъ всѣхъ несчастій, гоненій и ссоръ съ добрыми и недобрими“. Дѣло въ томъ, что въ полуграмотной провинціальной компаніи статья своего земляка, явившаяся въ московскомъ журнальѣ, произвела сенсацію. По разсказу самого Сахарова, она составила цѣлое событие; друзья автора трубили о ней, развозили ее по городу; устроенъ былъ вечеръ, на которомъ молодого автора представили мѣстнымъ ученымъ людямъ и нотаблямъ, причемъ иные „плачали отъ радости“. Но „другимъ очень не нравилось это оглашеніе меня передъ публикою, и многие въ слухъ брали меня довольно невѣжливо. За первую ничтожную журнальную статью меня судили

¹⁾ Русскіе палеологи, отдѣльное изд., стр. 7.

²⁾ См. разсказы Панаева о томъ, какъ Сахаровъ держалъ себя на вечерахъ у кн. Одоевскаго. Литературныя Воспоминанія, Спб. 1876, стр. 117.

и едва было не лишили всего грядущаго въ моей жизни (?). Весь вопросъ заключался въ томъ: какъ смѣль мальчишка печатать въ журналъ свое сочиненьишко?—Этотъ „судъ“ возникъ въ домѣ священника Иванова (толковавшаго Сахарову о „наглецахъ“), у кото-рого былъ въ гостяхъ тульскій епископъ Дамаскинъ; но „судъ“ кончился скоро, безъ вреда“, благодаря горячему участію, которое приняли въ Сахаровѣ его друзья. Въ чемъ былъ „судъ“, кто судилъ—неизвѣстно; по всѣмъ видимостямъ, епископъ Дамаскинъ, безъ сомнѣнія „истинно русскій“ человѣкъ, не зараженный „заморскими бродягами“.

Въ спискѣ своихъ сочиненій, Сахаровъ опять нѣсколько разъ темно упоминаетъ о разныхъ затрудненіяхъ и гоненіяхъ, которыхъ ему пришлось испытать по ихъ поводу. Подъ 1836 годомъ замѣчено о первой части „Сказаній русскаго народа“: „Бѣдная книга! Сколько она прошла мытарствъ, судовъ, пересудовъ, толковъ!..“ Издатель записокъ Сахарова, г. Савваитовъ, прибавляетъ къ этому извѣстіе: „Дѣйствительно, дѣло доходило до того, что Сахарову угрожали уже Соловками (?), и бѣда уже висѣла надъ его головою (?); по участіе, принятое въ немъ кн. А. Н. Голицынымъ, избавило нашего археолога отъ душесчастительного пребыванія въ отдаленной обители: по ходатайству князя, Сахаровъ удостоился получить высочайшую награду, и дѣло кончилось благополучно“ ¹⁾). Къ сожалѣнію, и почтенный другъ Сахарова, вѣроятно близко знакомый съ его біографіей, не взялъ на себя труда объяснить это происшествіе, и остается неизвѣстно, кто и на какомъ основаніи угрожалъ Сахарову Соловками. Угроза была крупна и едва ли слишкомъ легко исполнимая надъ лицомъ, состоявшимъ не въ духовномъ вѣдомствѣ, а въ гражданскомъ: власть, грозившая Соловками, была, вѣроятно, духовная,—потому что другая скорѣе грозила бы чѣмъ-нибудь инымъ. Г. Барсуковъ относитъ это извѣстіе также къ 1841 году (когда вышло новое изданіе „Сказаній“) и замѣчаетъ: „Надо было бы думать, что человѣкъ съ такимъ направленіемъ, какъ Сахаровъ, долженъ былъ найти поддержку и сочувствіе именно въ той средѣ, въ которой наиболѣе сохранились исповѣдуемые Сахаровымъ начала. Безпри-страстіе требуетъ замѣтить, что вышло не такъ. Тамъ его встрѣтили—съ одной стороны мертвящее равнодушіе, а съ другой—гоненія. Пониманіе же, сочувствіе, поддержку и огражденіе въ направ-леніи своемъ Сахаровъ встрѣтилъ именно въ той средѣ, въ которой, по его мнѣнію, все русское изсякло и царила одна иноземщина“.

¹⁾ Р. Архивъ, стр. 930. Но это было уже въ 1841 г.

Это было заступничество кн. Голицына¹⁾). Не были ли „Соловки“ просто чьей-нибудь раздражительной фразой, сказанной въ цензурныхъ пререканіяхъ, если не созданиемъ воображения Сахарова, который, кажется, склоненъ былъ видѣть кругомъ себя гонителей или завистниковъ? А если дѣйствительно были гонения, то едва ли отъ людей, бичуемыхъ Сахаровымъ.

Подъ 1841 годомъ, по поводу изданія „Записокъ русскихъ людей“, Сахаровъ опять пишетъ: „Бѣдная книга! чего съ ней не дѣлали? Кто только не интриговалъ?“ Подумаешь, что *всѣ* интриговали... Въ чемъ дѣло — опять неизвѣстно. Подъ 1843, по поводу „Указной книги царя Михаила Феодоровича“, изданной Сахаровымъ въ „Р. Вѣстнике“ 1842 г., онъ замѣчаетъ, что статья напечатана была съ ошибками „умышленными и неумышленными“²⁾: кому, замѣмъ были нужны умышленные ошибки — неизвѣстно. Какъ выражался патріотизмъ Сахарова, можно видѣть изъ его собственныхъ Записокъ, напр., въ разсказѣ о празднованіи открытія типографіи Воейкова³⁾.

Какимъ же образомъ могло случиться, что Сахаровъ, рѣшившій вопросъ народности столь первобытнымъ образомъ, просто противополагая русскихъ и — нехристей, могъ, однако, приобрѣсти такое значеніе, сдѣлаться хотя на время авторитетомъ?

Это объясняется положеніемъ дѣла. Когда стали появляться труды Сахарова, изученіе предмета едва возникало. Въ нашемъ учено-литературномъ мірѣ были и тогда люди, хорошо вооруженные историческимъ и философскимъ знаніемъ, но ихъ знаніе направлялось на другіе насущные вопросы литературы и очень мало обращалось на вопросы этнографіи. О самой народности начинались теоретические толки, по рѣдко или никогда чисто-этнографическіе. Большой заслугой Сахарова было именно то, что онъ указалъ множество нового материала, который требовалъ изученія прежде, чѣмъ могли быть дѣлаемы выводы о русской народности. *Точка зրѣнія* была первобытная, очень странная, грубая, натянуто-сантиментальная; читатели и критика мало замѣчали ея нескладицу — новость материала отводила собственная разсужденія Сахарова на задній планъ или извиняла его увлеченія. Предметъ былъ мало извѣстенъ; едва ли кто-нибудь въ тридцатыхъ годахъ былъ въ состояніи *прозвѣти*

¹⁾ Палеологи, стр. 5. Кн. Голицынъ былъ, конечно, человѣкъ барского и французского образованія; но по замѣчанію г. Барсукова, это „несколько не помѣшило ему остаться истинно-русскимъ умомъ и душою“. Онъ былъ очень благочестивъ и одно время былъ поклонникомъ архимандрита Фотія.

²⁾ Р. Архивъ, стр. 934, 936.

³⁾ Р. Архивъ, стр. 941 и слѣд. Ср. Папаева, Воспоминанія, стр. 103—106.

Сахарова другими данными, столь же обильными и разнообразными. Ему върили на слово.

Въ самомъ дѣлѣ, сличая содержаніе трудовъ Сахарова съ наличностью *тогдашней* литературы въ этой области, найдемъ, что многое изъ его материала было чистою новостью. Издание пѣсенъ, сказокъ, описание обычаевъ, преданій, заговоровъ, загадокъ, игръ, гаданій, чародѣйства; народный дневникъ; издание старинныхъ словарей и азбуковниковъ, старыхъ путешествій, записокъ и т. д., — все это или вообще въ первый разъ переходило въ печать изъ устъ народа, изъ рукописей и старыхъ рѣдкихъ изданій, или впервые было собрано въ одно цѣлое и сдѣлано доступнымъ для читателя неснегаиста, вспомянуто и пущено въ научно-литературный оборотъ. Появленіе этого материала одно было цѣлымъ событиемъ, давая новые свѣдѣнія объ искомой „народности“, расширяя горизонтъ наблюденій, возбуждая (если не у самого издателя, то у другихъ) новые вопросы и новые точки зрѣнія. Собственный идеи Сахарова прощускались, дѣло было не въ нихъ; а вскорѣ послѣ, когда возникли научные пріемы изслѣдованія, эти идеи были уже такъ странны, что ихъ не стоило опровергать. Сахаровъ вызывалъ строгую критику уже не съ этой стороны, а — тамъ, гдѣ шла рѣчь о подлинности самого народно-поэтическаго текста, и въ вопросахъ научной археологии.

Остановимся на нѣкоторыхъ подробностяхъ его работы и самого материала.

Въ предисловіи къ „Сказаніямъ“ онъ обращается къ „добрѣмъ русскимъ людямъ“ и однимъ изъ побужденій его изучать свою народность было — что скажетъ о нашей народности „чужеземецъ“, эта *idée fixe* Сахарова. Въ выраженіяхъ его привязанности къ старому обычаю, къ жизни народной есть теплое чувство, проблески мысли о нравственно-общественномъ значеніи народной идеи; но все это сказано съ той же неловкостью мысли и выраженія, какая поражаетъ въ позднѣйшихъ „Запискахъ“¹⁾). Онъ бываетъ ясенъ только тогда, когда говоритъ не мудрствуетъ лукаво и, не пускаясь въ ученость, излагаетъ факты; но какъ только онъ берется за общія соображенія,

¹⁾ Напримѣръ: „Было время, когда всѣмъ этимъ (народной стариной) дорожили, когда все это любили, когда все это берегли, какъ сокровище. Образованые европейцы восхищались нашими пѣснями, но можно ли ихъ восторгъ сравнить съ нашимъ восторгомъ? Они въ нашей *народной поэзіи* слышали только отголоски, вылетавшіе изъ восторженной души (?); но они не могли постигать нашихъ былинъ, создаваемыхъ вдохновенiemъ и восторгомъ (?) въ полномъ наслажденіи семейной жизни“. — Непонятно.

„Какая-то непостижимая сила сберегла для насъ памятники угаснувшей словесности: Пѣснь о полку Игоревомъ и Сказаніе о Куликовской битвѣ“. — Отчего непостижимая?

они оказываются смутными и излагаются путаннымъ языкомъ, съ тѣмъ напускнымъ народно-чувствительнымъ тономъ, съ которымъ мы еще встрѣтимся.

Какъ мы замѣчали, Сахаровъ былъ очень высокаго мнѣнія о своихъ трудахъ: онъ высказывалъ свои критические приговоры съ большимъ пренебреженіемъ къ незнанію своихъ предшественниковъ —издателей пѣсенъ, толкователей миѳологіи и т. п. Но, отдавая справедливость его собирательскому труду, нельзя не видѣть, что его собственный критический багажъ былъ очень скромный. Ему доступны приемы только первоначальной критики; онъ замѣчалъ несостоительность прежнихъ, наукъ совсѣмъ и не принадлежавшихъ, книжекъ о старинѣ; знаетъ, что объясненіе старины должно основываться на источникахъ, и не допускаетъ произвольныхъ фантазій; при изданіи пѣсенъ, сказокъ, преданій, при описаніи обычаевъ, онъ знаетъ, что они должны записываться съ полною точностью; но дѣйствительной критики у него нѣтъ и слѣда, — напр. въ „изслѣдованіи“ славянской миѳологіи или въ изданіи пѣсенъ онъ думаетъ, что вопросъ состоитъ только въ пересмотрѣ того, чтѣ было сдѣлано его предшественниками.

„Сказанія русскаго народа“¹⁾ начинается статьей: „Славяно-русская миѳология“. Довольно небольшого примѣра, чтобы указать свойство приемовъ Сахарова. „Исторія славяно-русскихъ миѳографій, — начинаетъ онъ, — представляетъ одно изъ рѣдкихъ (чѣмъ?) явленій въ русской литературѣ, — явленіе, выполненное разнообразныхъ вымысловъ, невѣроятныхъ догадокъ, ничтожныхъ предпріятій“. Съ Нестора до своего времени Сахаровъ насчиталъ больше десяти „миѳографовъ“, по настоящей миѳологіи еще нѣтъ. Причины несостоительности прежнихъ трудовъ Сахаровъ выставляетъ слѣдующія: „1) усвоеніе славяно-русской миѳологіи всѣхъ другихъ боговъ славянскихъ поколѣній. 2) Открытие происхожденія славянскихъ боговъ въ миѳологияхъ другихъ народовъ. 3) Филологическая розысканія. 4) Безусловное вѣрованіе въ источники. 5) Произвольная дополненія“. Справедливо безъ сомнѣнія, что произвольное смѣщеніе фактовъ и особливо выдумки были грубымъ нарушеніемъ требованій исторической критики; положимъ, Сахаровъ могъ возставать и противъ „филологическихъ розысканій“ (какъ ихъ разумѣли въ то время), т.-е. противъ такого же произвольного толкованія именъ; но осуждая „безусловное вѣрованіе въ источники“, онъ самъ представлялъ дѣло очень смутно. „Источники“ и должны быть основой для исторического вывода; но не все, что только говорилось объ историческомъ

¹⁾ Приводимъ вообще 3-е изданіе.

фактъ, составляетъ „источникъ“, — а по Сахарову „источнико“ для древней миѳологии есть и Несторъ, и Иннокентій Гизель одинаково, только первому онъ вѣритъ, а второму неѣть. Собственная мысль Сахарова состоитъ въ томъ, что „естественное и вѣрное основаніе славяно-русской миѳологии есть Несторъ; кромѣ сего мы не находимъ ничего, и едва ли что можемъ найти“¹⁾). Затѣмъ все „изслѣдованіе“ состоитъ лишь въ переборѣ показаній и мнѣній Гизеля, Попова, Чулкова, Глинки, Кайсарова и т. д. Сахаровъ укоризненно обличаетъ ихъ неосновательность, на что, собственно говоря, и не стоило употреблять столько хлопотъ. Обличаемые писатели или писали въ такое время, когда не было и мысли о научныхъ требованиихъ, или даже сами отклоняли отъ себя всякия ученыя притязанія, прямо заявляя, что занимаются стариной для „увеселенія“ своего и читателей²⁾; въ нашей исторической литературѣ это было уже давно понято. Съ другой стороны, тотъ же Михайло Поповъ лучше Сахарова понялъ, что миѳологію народа можно узнать не только изъ прямыхъ свидѣтельствъ старины, но изъ живущихъ донынѣ народныхъ сказаній и обычаевъ³⁾; Сахаровъ напротивъ не находилъ здѣсь миѳологии, и ждалъ отъ русской миѳологии только исторіи о „богахъ“, какія, напр., разсказывались въ учебныхъ книжкахъ о греческихъ богахъ. Затѣмъ, пересмотрѣвши русскіе „источники“ миѳологии (т.-е. Нестора, Гизеля, Попова, Кайсарова и пр.), Сахаровъ приходитъ къ источникамъ иностраннѣмъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Источникъ иностраннѣхъ свѣдѣній (?) представляетъ самое обширное поле для изслѣдованій и вмѣстѣ самое опасное. До сихъ поръ еще ни одинъ изъ нашихъ миѳографовъ не принимался критически обозрѣть всѣ свѣдѣнія, находящіяся въ сочиненіяхъ

¹⁾ Сказанія, т. I, кн. I, стр. 12.

²⁾ Напр. Михайль Поповъ въ „Краткому описанію славянскаго баснословія“, 1768, самъ говоритъ о своей книжкѣ: „сіе сочиненіе сдѣлано больше для увеселенія читателей, нежели для важныхъ историческихъ справокъ, и больше для стихотворцевъ, чежели для историковъ“. Глинка, авторъ „Древней религіи славянъ“, 1804, простодушно признается: „Описывая произведенія фантазіи или мечтательности (такъ онъ считалъ древнюю миѳологію), я думаю, что не погрѣшу, если при встрѣчающихся пустотахъ и недостаткахъ въ ея произведеніяхъ буду дополнять собственною подъ древнюю статью фантазію“. — Что же и спрашивать съ такихъ авторовъ? Серьезное „изслѣдованіе“ могло бы просто оставить ихъ въ сторонѣ, — какъ настоящіе изслѣдователи и оставили. Напр., относительно Михаила Попова, Карамзинъ сдѣлалъ это еще въ 1801, за тридцать лѣтъ до Сахарова. (См. Пантеонъ Росс. авторовъ, въ Сочинен., изд. 4, VII, 293).

³⁾ Въ предисловіи къ „Краткому описанію“ онъ заявляетъ: „Матерію, составляющую сію книжку, выбиралъ я изъ разныхъ книгъ, содержащихъ Рюсійскую Исторію, какія имѣль или какія могъ сыскать для прочтенія, также изъ простонародныхъ сказокъ, пѣсенъ, игръ и оставшихся нѣкоторыхъ обыкновеній“.

чужеземцевъ о славяно-русскихъ *богахъ*“. Онъ берется указать нѣ-которые, и насчитываетъ 34 писателей—нѣмецкихъ, французскихъ, польскихъ, южно-славянскихъ, ставя ихъ въ самомъ капризномъ безпорядкѣ: за средневѣковыми лѣтописцами, какъ Саксонъ Грамматикъ, Гельмольдъ, Дитмаръ, и за Стурлезономъ онъ ставить писателей XVII—XVIII вѣка (не указывая большою частію, когда и гдѣ явились ихъ труды); затѣмъ, посмѣ Леклерка и графа Потоцкаго (XVIII и XIX вѣкъ) идетъ Кромеръ (XVI вѣкъ), Длугошъ (XV вѣкъ), потомъ опять Туманъ, Гебгарди (XVIII вѣкъ), Герберштейнъ (XVI вѣкъ), Раичъ (XVIII вѣкъ), Мавро-Урбинъ (XVI—XVII вѣкъ), потомъ Нарушевичъ (XIX вѣкъ), потомъ Павель Іовій (XVI вѣкъ) и т. д. Авторъ видимо зналъ этихъ писателей только изъ чужихъ цитатъ и изъ того, что изъ нихъ являлось по-русски; и самъ онъ ихъ „критически“ также не разсмотрѣлъ.

Слѣдующая статья о „Пѣсняхъ русскаго народа“ даетъ сначала списокъ изданий, потомъ „миѳнія русскихъ литераторовъ о народной поэзіи“. Далѣе, въ статьѣ: „Слово о полку Игоревѣ“, опять перечислены изданія, переводы и мнѣнія критиковъ; о чужихъ трудахъ Сахаровъ здѣсь, какъ и въ предыдущей статьѣ, говорить обыкновенно въ высокомърномъ тонѣ, не всегда оправдываемъ цѣнностью самихъ замѣчаній, но своего „изслѣдованія“ никакого не даетъ. Статья: „Русскіе народные праздники“ опять состоитъ изъ перебора того, что было писано о предметѣ другими, и снабжена общими соображеніями очень темнаго свойства. „Історія русской литературы,—говоритъ Сахаровъ,— доселѣ еще не имѣетъ полнаго собранія русскихъ народныхъ праздниковъ“ (это собственно и не есть дѣло „исторіи литературы“). „По какому-то странному (?) стечению обстоятельствъ наши историки не касаются сего предмета въ исторіи русскаго народа. Для нихъ какъ будто они не существуютъ“. Послѣднее опять невѣрно, потому что напротивъ наши писатели еще съ прошлаго вѣка начали говорить о народныхъ обычаяхъ и въ томъ числѣ о праздникахъ; о нихъ говорилъ и Карамзинъ; а затѣмъ большая доля статьи занята пересмотромъ сочиненія Снегирева именно объ этомъ предметѣ, — который такимъ образомъ „существовалъ“ для историковъ. Упомянувъ о томъ, какъ праздники древніе были забыты обществомъ и сохранены народомъ, Сахаровъ продолжаетъ: „До сихъ поръ еще видимъ невѣроятныя смѣщенія (?) въ описаніяхъ русской семейной и общественной жизни. Несчастная наша миѳология болѣе всего страдаетъ отъ этихъ незнаній. Въ нее входитъ и демонологія, никогда не принадлежавшая не только миѳологіи, но и самой русской жизни (?). Объ ней только русскіе говорятъ (?); она никогда не осуществля-

лась у славяно-русовъ, какъ миѳологія (?). Къ миѳології причисляютъ и народные праздники, совершенно безъ всякаго осповданія" и т. д. Далѣе увидимъ, какъ могло случиться, что къ миѳології народа не принадлежали его „демонологія“ и преданія.

Вторая книга „Сказаній“ приносить новые неожиданности. Она начинается статьей: „Преданія и сказанія о русскомъ чернокнижіи“. Крайняя путаница мыслей сказывается съ первыхъ строкъ разсужденія Сахарова: „Тайныя сказанія русскаго народа всегда существовали въ одной семейной жизни (?) и никогда не были мнѣніемъ общественнымъ, мнѣніемъ всѣхъ сословій (?) народа“. Конечно, совсѣмъ наоборотъ: въ старыя времена вѣра въ колдовство и кудесничество была именно всеобщимъ убѣжденіемъ, какъ часть языческаго міровоззрѣнія. Сообщивъ далѣе нѣсколько свѣдѣній о современной вѣрѣ народа въ колдовство, указавъ нѣсколько лѣтописныхъ и другихъ свидѣтельствъ о колдовствѣ въ древней Руси, Сахаровъ приступаетъ къ „источникамъ русскихъ предапій“. По причинамъ, которыя дальше увидимъ, Сахаровъ увѣряетъ, что „тайныя сказанія“ не были созданіемъ русскаго народа, а напротивъ принесены изъ чужихъ источниковъ. Чтобы дать понятіе о его способѣ разсужденія, надо прочесть небольшой отрывокъ:

„...Мы невольно спрашиваемъ самихъ себя: пеужели это (т.-е. повѣрья русскаго народа о колдовствѣ и чернокнижіи) есть порожденіе думъ русскаго народа? Неужели все это создавалось въ русской землѣ? Будемъ откровенны къ самимъ себѣ (?), будемъ сознательны предъ современнымъ просвѣщеніемъ для разрѣшенія столь важнаго вопроса: Русскій народъ никогда не создавалъ думъ для тайныхъ сказаний (!); онъ только перенесъ ихъ изъ всеобщаго мірового чернокнижія (?) въ свою семейную жизнь. Никогда на русской землѣ не создавались тайныя сказанія (!); она, какъ часть вселеній (!), вмѣщала въ себѣ только людей, усвоившихъ себѣ міровыя мышленія. Въ этой идеѣ убѣждается пась внимательное изслѣдованіе всеобщаго мірового чернокнижія (!). Для достовѣрности сего предположенія, мы присовокупляемъ исторические факты, объясняющіе переходженіе тайныхъ міровыхъ сказаний въ русское чернокнижіе. Здѣсь открывается очевидное сходство.

„Всеобщее міровое чернокнижіе принадлежитъ первымъ вѣкамъ мірозданія, людямъ древней жизни. Основныя идеи для творенія тайныхъ сказаний выговаривались впервые древній міръ, а его идеи усвоились всему человѣчеству. Древній міръ сосредоточивался весь на Востокѣ. Тамъ народы, создавая идеи для миѳа, думы для тайныхъ сказаний (!), рассказы о быломъ для новѣрій, олицетворили ихъ видѣніями (!). Въ этихъ видѣніяхъ существовалъ быть религіозный, политический, гражданскій (!). Семейная жизнь нароловъ осуществлялась этими бытами... Предъ нами остались ихъ мысли, ихъ повѣрья, ихъ сказанія. Міръ новый своего ничего не создалъ (?); онъ... пересоздалъ предметы, существовавшие не въ духѣ его жизни, отвергъ понятія, противныя его мышленію; но принялъ основныя мысли, восхищавшія его воображеніе, льстившія его слабости.

„Мионы, перешедшіе въ новыи міръ, образовали Демонологію, столько разнообразную, столько разновидную, сколько разночленены были народы, сколько разновидны ихъ олицетворенія (?). Ни днями, ни годами, но вѣками усвоивались мионы древней жизни грядущимъ поколѣніямъ. Каждый народъ принималъ изъ нихъ только то, что могло жить въ его вѣрованіяхъ; каждый народъ въ свою очередь прибавлялъ къ нимъ, чего недоставало для его вѣрованія. Извѣстныхъ-то усвоеній и дополненій составились миѳология и символика“ и т. д. ¹⁾).

Рѣдко встрѣчается такая путаница словъ и понятій. Соответственно этому и объясняются источники русского чернокнижія. „Тайные сказанія древняго міра,—продолжаетъ Сахаровъ,—осуществлялись людьми, означенованными (?) безчисленными названіями“. И затѣмъ пересчитываются разные представители древняго чернокнижія—греко-римского: астрологи, авгуры, „прогностики“, мистагоги, гаруспеки, сортилеги, пиѳониссы и т. д.; исчисляются древнія прорицатели и оракулы; различные способы гаданія: кабалистика, анграпомантія, аеромантія, гидромантія, капномантія, катоптромантія, леканомантія, некромантія, онихомантія и т. д.—по какому-нибудь старинному справочному словарю. По теоріи Сахарова выходило, что эти чернокнижники и гадатели имѣли своихъ учениковъ въ древней Руси. Напримѣръ: „Астрологи, облекаемые названіями халдеевъ, математиковъ, волхвовъ, почитаются старѣйшинами въ образованіи чернокнижія... Незадолго было повѣріе, что Зороастръ персидскій первый начерталъ чернокнижіе (!); но теперь оно (т.-е. „повѣріе“), съ открытиемъ санскритскихъ письменъ, уничтожается (!). Въ землю русскую перешли астрологи при началѣ ея общественнаго быта (!) и расплодили свои понятія въ семейной жизни такъ глубоко, что и теперь въ селеніяхъ существуютъ темные намеки о вліяніи планетъ па судьбу человѣка... замѣтимъ здѣсь, что и русская народная символика есть порожденіе астрологовъ“ (!). Даѣше оказывается, что и „авгурологія (гаданіе по птицамъ) перепла въ русскую землю со многими видоизмѣненіями“; и „ученіе прогностиковъ внѣдрилось въ русскую семейную жизнь издревле“; и „видѣнія, и призраки русского селянина (?) носятъ на себѣ отпечатокъ ученія мистагоговъ“; „ученіе гаруспековъ мало известно русскимъ чародѣямъ“, по „русское кудесничество и чародѣйство составилось изъ предапій єессалійскихъ волшебницъ (пиѳониссы); наши сельскія колдуны представляютъ изъ себя живой сколокъ съ этихъ волшебницъ“ и т. д. ²⁾). Вопросъ о томъ, имѣли ли на „русскую семейную жизнь“ вліяніе дельфійскій

¹⁾ Сказанія, томъ I, кн. 2, стр. 7—8.

²⁾ Въ другихъ мѣстахъ онъ указываетъ еще, что къ русскимъ приносили кудесничество финны, татары, литовцы, молдаване, цыгане.

и додонскій оракулы и „прорицалище Амона“, Сахаровъ оставляетъ открытымъ: „трудно рѣшить“.

Но Сахаровъ усиленно заботится о томъ, чтобы доказать, что народное чернокнижіе не было придумано самимъ русскимъ народомъ. Нѣсколько разъ онъ повторяетъ, что „руsskій народъ никогда не создавалъ думъ для тайныхъ сказаний“; „мы смѣло можемъ сказать, что на нашей родной землѣ ни одинъ русскій человѣкъ не былъ изобрѣтателемъ тайныхъ сказаний“; относительно „чарь для калѣкъ“ Сахаровъ утверждаетъ, что „руsskій поселянинъ не былъ ихъ изобрѣтателемъ“¹⁾ и пр. Онъ такъ огорчается нѣкоторыми суевѣріями народа, что, хотя и былъ ревностный этнографъ, желаетъ истребленія, а не изученія народно-письменныхъ памятниковъ этого рода,— конечно важныхъ для настоящаго этнографа²⁾. Въ другомъ мѣстѣ, онъ беретъ подъ защиту и нашихъ отдаленныхъ предковъ и него-дуетъ противъ новѣйшихъ миѳологовъ, которые, между прочимъ, „подъ видомъ ученыхъ изслѣдований, прибѣгаютъ къ пебывалымъ открытиямъ и наводятъ на нашихъ предковъ позорную тѣнь много-божія“³⁾.

Итакъ, ясно, почему надо было отвергать и многобожіе предковъ, и чернокнижіе потомковъ: это была позорная тѣнь, которой Сахаровъ никакъ не могъ допустить на народѣ, столь патріархально-благоправномъ и православно-благочестивомъ. Для объясненія этого, у Сахарова имѣется особая теорія „общественного образованія русскаго народа“, т.-е., развитія русской народности. Хотя чернокнижіе и зашло къ намъ, оно не нарушило чистоты нашей народности на слѣдующемъ основаніи:

„Общественное образование русского народа, совершаясь независимо отъ другихъ народовъ, по своимъ собственнымъ законамъ, выражалось въ умственной жизни двумя отдѣльными знаменованиями (?): *понятіями общественными и семейными*.“

„Русскіе общественные понятія всегда (?) существовали на краеугольномъ основаніи христіанского православія. Іерархи, какъ пастыри церкви и учители народа, князья и цари, какъ священные властелины и блюстители народного благоденствія, были представителями общественныхъ понятій. Находясь въ

¹⁾ Сказания, т. I, кн. 2, стр. 8, 14, 28.

²⁾ Говоря о плакунъ-травѣ, Сахаровъ пишетъ: „Съ горестью (!) упоминаемъ о суевѣріяхъ нашихъ поселенъ надъ этой травою... Чародѣйскій травникъ, занесенный въ русскую землю изъ Бѣлоруссіи и Польши, говоритъ о многихъ обрядахъ надъ травою плакуномъ... Этотъ новый источникъ сельского заблужденія,ѣроятно, зашелъ въ наше отечество во время самозванцевъ... Кто бы не пожелалъ, чтобы эти травники были уничтожены, или по крайней мѣрѣ чтобы простолюдины увѣрились въ ихъ ничтожности?“—Сказ., тамъ же, стр. 44.

³⁾ Сказ., т. II, кн. 7, стр. 91.

общаются разные бытовые суевърія, пріемы захарского леченья; „сказанія о ворожбѣ“, гаданьяхъ и истолкованіяхъ; „сказанія о народныхъ играхъ“; „загадки и притчи“; „народная присловья“, гдѣ собраны шутливыя и насмѣшливыя прозвища, которыя слывутъ за жителями разныхъ мѣстностей. Всѣ эти рубрики представляютъ много любопытнаго матеріала, но не безъ странностей въ ученыхъ объясненіяхъ автора.

Книга третья посвящена изданію пѣсенъ. Собрание было очень разнообразно; по рубрикамъ Сахарова, здѣсь были пѣсни святочныя, похоронныя, плясовыя, свадебныя, семейныя, разгульныя, удалыя, солдатскія, казацкія, обрядныя, колыбельныя. Въ чемъ состоялъ здѣсь трудъ Сахарова, какъ собирателя и редактора? Въ статьѣ о пѣсняхъ (кн. 1-я), какъ мы видѣли, онъ очень строго относится почти ко всѣмъ своимъ предшественникамъ, которыхъ винилъ обыкновенно въ искаженіи подлиннаго народнаго текста. Онъ не исключилъ изъ своихъ осужденій и Чулкова; хотя самъ онъ признаетъ предпріятіе Чулкова „самымъ замѣчательнымъ“, но все-таки причисляетъ его къ издателямъ, особенно виновнымъ въ искаженіи пѣсенъ (какъ Чоповъ, Макаровъ, Гурьяновъ); онъ дивится „снисходительности читателей“ и жалѣеть объ „отважности издателей“ ¹⁾. По поводу пѣсенной музыки, Ирача и Кашина, Сахаровъ осуждаетъ ихъ итальянскую манеру музыкального переложенія и (не знаемъ, по собственному ли пониманію предмета) дѣлаетъ одно серьезное замѣчаніе,— до сихъ поръ мало приложенное,—о необходимости отмѣтить различія народнаго пѣснопѣнія по областямъ ²⁾.

Отношеніе Сахарса къ предшественникамъ своимъ было вообще несправедливо,— а относительно Чулкова особенно неблаговидно. Упрекая его за исправленіе „стиховъ и риѳмъ“, Сахаровъ не хотѣлъ понять, что въ этомъ случаѣ рѣчь идетъ не о народныхъ, а о сочиненныхъ пѣсняхъ, потому что сборникъ Чулкова, по самому напиcенiu издателя, заключалъ тѣ и другія. Сахаровъ забылъ дальше сказать, что именно сборникъ Чулкова ввелъ въ литературу цѣлый рядъ прекраснѣшихъ пѣсенъ, какія есть въ нашей народной лирикѣ, а начонецъ Сахаровъ скрылъ отъ своихъ читателей, что много подобныхъ пѣсенъ онъ самъ взялъ именно отъ этого Чулкова!

Въ замѣткѣ, предшествующей тексту пѣсенъ (въ 3-й книгѣ „Сказаний“), Сахаровъ говорить слѣдующее: „Всѣ помѣщенные здѣсь пѣсни, однѣ собраны были мною въ губерніяхъ: тульской, калужской, рязанской, московской, орловской и тверской, а другія доставлены:

¹⁾ Сказаний, I, кн. I, стр. 26—27.

²⁾ Тамъ же, стр. 38—39.

пошехонскія А. И. Кастеринъмъ, санктпетербургскія и ярославскія И. Т. Яковлевымъ, тихвинскія Парихинымъ, уральскія В. Ц. Далемъ". При самыхъ пѣсняхъ онъ не дѣлаеть, однако, указаній, откуда идетъ та или другая пѣсня, забывамъ, что указаніе *области* было бы столько же важно для текста пѣсни, какъ и для ея напѣва; нѣкоторыя указанія сдѣланы только при вариантахъ. Оставивъ пѣсни безъ указанія ихъ источника, Сахаровъ не далъ читателю возможности судить и о томъ, какая доля сборника была собрана его собственнымъ трудомъ, и какая получена готовою, т. е. въ такихъ же чужихъ спискахъ, какими пользовался Чулковъ¹⁾). Предположивъ, что это упущеніе произошло по недосмотру,— не пришло въ голову,— нельзя, однако, найти удовлетворительного объясненія тому, отчего Сахаровъ умолчалъ о своихъ заимствованіяхъ у Чулкова, которыя очевидны²⁾). Читателю предоставлено было воображать, что эти пѣсни

¹⁾ Этотъ упрекъ тоже былъ сдѣланъ Сахаровымъ.. „слѣдовательно, Чулковъ самъ не собиралъ пѣсни, не подсушивалъ ихъ въ селеніяхъ, а печаталъ прямо съ готоваго. Въ этомъ еще нельзя обвинять его,— добавляетъ Сахаровъ:— онъ, можетъ быть, имѣлъ свою цѣль". Цѣль Чулкова не можетъ возбуждать неудоумѣній; она высказана въ заглавіи его сборника.

²⁾ Возьмемъ, напр., одну 2-ую часть сборника Чулкова, во „второмъ тисненіи“ (въ Москвѣ, у Хр. Клаудія, 1788). Сличая съ ней третью книгу „Сказаний“ Сахарова, находимъ такія совпаденія:

- Сахарова, I, 3, стр. 202 (пѣсни *семейныя*): „Какъ бы знала, какъ бы вѣдала“—равно пѣсни у Чулкова, № 163.
- Ib.: „Ужъ какъ полно, красна дѣвица, тужити“—Чулк., № 192.
- Ib. 204: „Ахъ, паль туманъ на сине море“—Чулк., № 138.
- Ib.: „Какъ у ключика у гремучева“—Чулк., № 144.
- Стр. 205: „Ахъ, конь ли мой, конь, лошадь добрая“—Чулк., № 149.
- Ib.: „Какъ у доброва молодца зелень садикъ“—Чулк., № 177.
- Ib.: „Не балинушка въ чистомъ полѣ зашаталася“—Чулк., № 148 и т. д.
- Изъ пѣсень *разгульныхъ*. Сахаровъ, 218: „Парочки по столику похаживаютъ“—Чулк., № 195.
- Стр. 219: „Еще разъ люди въ людяхъ-то живуть“—Чулк., № 160.
- Стр. 220: „Въ Архангельскомъ, во градѣ“—Чулк., № 179.
- Ib. 221: „Заваруй, варуй, варуйко“—Чулк., № 197.
- Ib.: „Веселые по улицамъ похаживаютъ“—Чулк., № 198.
- Изъ *удалыхъ*. Стр. 224: „Изъ Кремля, Кремля, кѣшка города“—Чулк. № 129.
- Стр. 225: „Ахъ, подъ лѣсомъ, лѣсомъ, подъ зеленої дубравой“—Чулк., № 139.
- Ib.: „Голова ль ты моя, головушка“—Чулк., № 130.
- Изъ *солдатскихъ*. Стр. 235: „Какъ во славномъ было городѣ Колыванѣ“—Чулк., № 137.
- Ib.: „Ахъ, вы бѣдныя головушки солдатскія“—Чулк.. № 141, и пр.

Такимъ же образомъ, заимствовались, безъ указанія источника, пѣсни изъ сборника Прача. Напр.:

- Сах., стр. 202: „Ты дуброва моя, дубровушка“—Прачъ (по 1-му изд.) № 28.
- Стр. 205: „Не спала-то я, младешенька, не дремала“—Прачъ, № 32.

вовсе не печатались „съ готоваго“, а были издателемъ „подслушаны въ селеніяхъ“.

Въ этомъ заимствованіи не было бы никакой бѣды; напротивъ, полезно было извлечь изъ старыхъ сборниковъ пѣсни, вообще прекрасныя и характерныя, но выписываніе изъ Чулкова становится неблаговиднымъ послѣ того, какъ этотъ же Чулковъ былъ охаянъ Сахаровымъ и когда Сахаровъ выставлялъ себя такимъ блестителемъ народности, извлекаемой изъ самого ея источника. Дальше мы встрѣтимся еще съ худшими пріемами нашего этнографа; но большинство своихъ современниковъ онъ успѣлъ оставить относительно этихъ пріемовъ въ заблужденіи. Любопытно, въ самомъ дѣлѣ, что въ то время никому не пришло въ голову сравнить книгу Сахарова съ прежними сборниками; всѣ такъ и были убѣждены, что пѣсни „подслушаны въ селеніяхъ“.

Пользуясь чужимъ матеріаломъ, блеститель подлинности не оставлялъ его нетронутымъ, напротивъ, дѣлалъ иногда собственные правки, для которыхъ не было никакого достаточного основанія: въ самомъ дѣлѣ, какъ онъ могъ, въ тридцатыхъ годахъ нашего вѣка, исправлять (умалчивая о томъ) текстъ пѣсни, изданный въ семидесятыхъ годахъ прошлого столѣтія и очевидно только отсюда ему известный? Сличивъ эти тексты Сахарова съ ихъ первообразами, можно видѣть, что Сахаровъ, мѣня слегка пѣсенныя слова, старался прибавить пѣснѣ или виѣшнюю гладкость, или сладковатость (посредствомъ уменьшительныхъ), или наконецъ мнимый, болѣе ста-ринный колоритъ,—иной разъ поправлялъ предполагаемую неправильность ¹⁾.

— Стр. 206: „У дороднаго добра молодца“—Прачъ, № 8.

— Стр. 209: „Ахъ, ты поле мое, поле чистое“—Прачъ, № 20.

— Стр. 236: „Какъ пониже было города Саратова“—Прачъ, № 4, и т. д.

¹⁾ Напр., въ пѣснѣ: „У дороднаго, добра молодца“, въ изданіи Прача читаемъ:

...Что просваталъ меня сударь батюшка...

Не за ладушку да милова;

А что отдалъ меня батюшка

Во семью во несогласную,

Во хоромину непокрытую.

Сахаровъ печатаетъ въ своемъ изданіи:

Что просваталъ меня батюшка...

Не за ладушку за милаго,

А отдалъ меня батюшка

Не въ согласную семью,

Не въ покрытую избу.

„Хоромина“ казалась, вѣроятно, недостаточно народной, а „ладушка“, вѣроятно, должна была напомнить „Слово о полку Игоревѣ“.

Но съ сороковыхъ годовъ, когда „Пѣсни“ Сахарова вновь явились въ „Сказаніяхъ“, этнографическая изученія становились уже на гораздо болѣе твердую почву научной критики и художественного вкуса. Новое поколѣніе ученыхъ и любителей, лучше подготовленное, уже мало удовлетворялось Сахаровымъ. Начали появляться новые сборники, гораздо лучше исполненные; новыя изслѣдованія съ болѣшимъ критическимъ знаніемъ¹⁾; въ литературѣ, по стопамъ Пушкина и Гоголя, возникали художественные картины народного быта въ произведеніяхъ Тургенева, Островскаго, Писемскаго и т. д. Рядомъ со всѣмъ этимъ дурные тексты Сахарова, его нескладная и притязательная разсужденія возбуждали досадливое недовольство, и кредитъ его сталъ падать и падать.

Образчикомъ этого новаго отношенія къ Сахарову можетъ послужить любопытная статья Аполлона Григорьева, въ 1854 г.²⁾. Нѣсколько выдержанѣ дадутъ понятіе о томъ, сколько накопилось къ тому времени этого недовольства Сахаровымъ.

„Да позволено намъ будетъ,—говорить авторъ,—одинъ разъ *навсегда*, высказать нашъ взглядъ на трудъ г. Сахарова, извѣстный подъ громкимъ названиемъ „Пѣсни русского народа“...

„Г. Сахаровъ началъ съ того, что въ своемъ предисловіи уничтожилъ всѣ прежніе „Сборники пѣсенъ“, обвинивши ихъ, отчасти и справедливо, въ искаженіяхъ, поправкахъ, однимъ словомъ, въ измѣненіяхъ чисто-народного и въ маломъ уваженіи къ чисто-народному; но спрашивается: какъ же самъ г. Сахаровъ относится къ этому чисто-народному? Всякаго, кто знакомъ съ русскими пѣснями не по печатнымъ только источникамъ, всякаго, кто хотя сколько-нибудь ихъ слышалъ въ народѣ, чье ухо хоть сколько-нибудь привыкло къ ихъ музыкально-гармоническому складу, и въ чье сердце хотя сколько-нибудь про никло ихъ содержаніе,—сборникъ г. Сахарова возмущаетъ едва ли не болѣе, чѣмъ „Новѣйшій, полный и всеобщій пѣсенникъ“... (и проч., т.-е. Пѣсенникъ рыночного изданія). Г. Сахаровъ, какъ собиратель новый и притомъ съ притязаніями сообщить своему собранію значеніе научное, конечно, не даль-

Въ пѣснѣ: „Ахъ, талантъ ли мой, талантъ таковъ“ (стр. 237), варианты которой у Чулкова № 147 и Прача № 9, Сахаровъ пишетъ:

Высоко звѣзда восходила
Выше сѣтлова, *млада* мѣсяца,—

чего у другихъ нѣтъ и, вѣроятно, не должно быть.

Въ пѣснѣ: „Въ архангельскомъ, во градѣ“ поправлено: „Ахъ, у насъ было на *свозѣ*“, вместо: „на *звозѣ*“, какъ правильно у Чулкова. „Звозъ“ или „ввозъ“ — подъемъ отъ рѣки по кругому берегу.

¹⁾ Упомянемъ, напр., „Русскіе народные стихи“, явившіеся въ 1848 замѣчательнымъ образчикомъ изъ коллекціи Кирѣевскаго; „Собрание пѣсенъ“ (съ музыкой) Стаковиша; сборники малорусскіе; начавшіяся изслѣдованія Костомарова, Буслаева, Ка велина, Аeanасьевы, и пр.; начавшуюся дѣятельность Географического Общества.

²⁾ Москвитинъ, 1854, № 15, Критика, стр. 93—142: „Русскія народныя пѣсни“, по поводу собранія Стаковища.

своему сборнику пышного заглавія.. (какими отличаются сборники рыночные), „не ввель такихъ категорій раздѣлений, какъ пѣсни издѣльчныя, выговорчныя, критическія,— не начечаталъ чувствительныхъ романсовъ въ родѣ „Стонеть сизый голубочикъ“ д-бокъ съ народными пѣснями, но за то: 1) ввель свои, не такъ смышиныя, но за то болѣе исполненныя претензій категоріи; 2) не начечаталъ многаго множества настоящихъ народныхъ и всякому русскому человѣку знакомыхъ изъ дѣтства пѣсенъ, 3) искажалъ во имя условнаго размѣра многія пѣсни, не лучше князя Цертелева, только на новый манеръ.

„Въ самомъ дѣлѣ, что такое значать у г. Сахарова категоріи пѣсень: семейныя, разгульныя, сатирическія? какое различіе разгульныхъ отъ плясовыхъ? почему название „удалыя“ пѣсни лучше названія „разбойническихъ“ пѣсень?

„Почему въ сборникѣ народныхъ русскихъ пѣсень не встрѣчается множество пѣсень, которая услышишь, какъ только подойдешь, гдѣ-нибудь въ отдаленныхъ городскихъ переселкахъ, къ поющей толпѣ, и которая не встрѣчаются въ сборникѣ Сахарова? Или одинъ рѣдкостнъ только собираль г. Сахаровъ?—но у него безпрестанно попадаются пѣсни вовсе не рѣдкія, сто разъ печатанныя, даже въ тѣхъ несчастныхъ собраніяхъ, которая онъ уничтожаетъ безъ всякаго милосердія.

„Г. Сахаровъ сѣуетъ на искаженія, которая пѣсни потерянѣи въ Чулковскомъ, Новиковскомъ, Цертелевскомъ, Кашинскомъ и другихъ сборникахъ, но у него: 1) очень часто въ записанныхъ пѣсняхъ народныхъ попадаются стихи дѣланые и вставочные, и 2) размѣръ пѣсень большую частію не понять и весьма часто искаженъ, подведенъ подъ условное ярмо...“

(Указавши нескользко примѣровъ порчи пѣсень у Сахарова ¹⁾, авторъ продолжаетъ): „и такія искаженія попадаются на каждомъ шагу въ сборникѣ г. Сахарова, такъ что его „Пѣсни русского народа“ почти столь же мало соответствуютъ своему названію, какъ исторія г. Полевого своему, не смотря на то, что г. Сахаровъ весьма часто придаетъ этому послѣднему пышный титулъ историка русского народа. Мы думаемъ даже, что съ *тыми взглядами* на народность русскую, которые явились въ литературѣ тридцатыхъ годовъ, въ исторіи г. Полевого, въ его историческихъ романахъ и драматическихъ представлѣніяхъ, съ взглядами, которые высказываются и въ предисловіяхъ г. Сахарова къ разнымъ отдѣламъ его собранія, трудно понять душевно содержавшіе русскихъ пѣсень и усвоить себѣ крѣпко ихъ разнообразныя формы; литература тридцатыхъ годовъ приступила къ народности русской съ самыми странными претензіями и умѣла только смеяться надъ предшествовавшими трудами по этой части. Стоить прочесть предувѣдомленіе, которымъ снабдилъ г. Сахаровъ собраніе святочныхъ пѣсень,—написанное какимъ-то приторно-добродушнымъ и поддѣльнымъ тономъ, чтобы убѣдиться, какъ мало издатель способенъ быть къ принятому имъ на себя труду“ ²⁾).

Когда, наконецъ, явился новый издатель народныхъ пѣсень, которому пришлось имѣть дѣло съ тѣмъ же материаломъ и близко привѣтствовать Сахарова, страшные приемы послѣдняго бросились въ глаза.

¹⁾ Авторъ, между прочимъ, указываетъ подправки, совсѣмъ невозможныя въ подлинной народной пѣснѣ; передѣлку размѣра и содержанія à la Дельвигъ; передѣлку „à la князь Цертелевъ, или въ родѣ сборника: Веселая Эрато (!) на русской свадьбѣ“.

²⁾ „Москвитянина“, стр. 94—103, 112—113.

Въ 1860, началось изданіе „Пѣсенъ, собранныхъ П. В. Кирѣевскимъ“ предпринятое московскимъ Обществомъ любителей россійской словесности; г. Безсоновъ, который велъ это изданіе, къ сборнику самого Кирѣевского присоединилъ по возможности весь старый матеріалъ эпическихъ пѣсенъ, и при этомъ внимательно пересматривалъ старые тексты и въ томъ числѣ Чулкова, Новикова и проч. Оказалось, что Сахаровъ, суровый обличитель искаженія пѣсенъ, какъ мы уже видѣли, самъ ви мало не стѣсняясь подправлялъ ихъ въ своемъ вкусѣ, уснащивалъ ихъ любимыми словечками, подслащаль въ мнимо-народномъ стилѣ — вѣроятно, не ожидал, что его самого могутъ провѣрить. Не приводя дальнѣйшихъ примѣровъ, отсылаемъ читателя къ многочисленнымъ указаніямъ г. Безсонова¹⁾). Каждая изъ отмѣченныхъ страницъ представляетъ образчики подправокъ, которыми Сахаровъ прикрашивалъ данный текстъ, почти всегда неистати, неудачно, а иногда и просто нелѣпо, стараясь притомъ отвести глаза читателю. Въ одномъ случаѣ опѣ, по предположенію г. Безсонова, дошелъ наконецъ до прямого сочинительства. О Стеньѣ Развинѣ извѣстно, что онъ, плававшій па „Соколѣ“, сжегъ царскій корабль „Орель“; съ другой стороны, есть преданіе подобного рода, связанное съ именемъ Ильи-Муромца: изъ этихъ данныхъ составилась былина, крайне нескладная съ начала до конца, и по мнѣнію г. Безсонова, народу не принадлежащая²⁾.

Въ четвертой книгѣ „Сказаній“ собраны былины, затѣмъ — Слово о полку Игоревѣ, сказаніе о нашествіи Батыя, слово Даниила Заточника и сказаніе о Мамаевомъ побоищѣ. О былинахъ Сахаровъ говоритъ въ предисловной замѣткѣ, что для изданія изъ *принятъ въ основаніе* текстъ, помѣщенный въ рукописи, принадлежавшей тульскому купцу Бѣльскому, и только для вариантовъ (которые, однако, не приводятся) употреблены былины, собранныя В. И. Далемъ въ казанской и оренбургской губерніи по Уралу, и „сборникъ Демидова“, изданный „подъ ложнымъ именемъ Кирши Данилова“. При печатаніи, былины были Сахаровымъ „раздѣлены на семь отдѣльныхъ пѣсенъ такъ, какъ онѣ были помѣщены въ рукописи Бѣльского“. Нового противъ Кирши Данилова рукопись, однако, ничего не сообщила: только отдѣльные былины были связаны подъ общій сюжетъ. Съ этой „рукописью Бѣльского“ мы еще встрѣтимся далѣе.

Одновременно съ первымъ томомъ „Сказаній“ или вскорѣ послѣ

¹⁾ Пѣсни, собранныя Кирѣевскимъ. Вып. 6, Москва, 1864: стр. 187—190. Вып. 7, 1868: стр. 111—112, 137, 146—147, 206—212. Вып. 8, 1870: стр. 2, 24, 28, 58, 61, 65—75, 78—80, 84, 85, 87, 88, 90—93, 97, 132—134, 154, 155, 161, 284, 285, 302, 319; въ замѣткѣ г. Безсонова, стр. LXVIII.

²⁾ Сказанія, I, кн. 3, стр. 244; Безсоновъ, вып. 7, стр. 146—147.

него, вышли „Русскія народныя сказки“ (1841, 1-я часть; второй не было). Въ цѣломъ трудъ Сахарова, „сказки“ должны были составить 20-ю книгу; но это изданіе, вѣроятно, особенно интересовало автора, и онъ напечаталъ его вѣнчъ очереди. Въ общемъ планѣ (въ предисловіи первого тома „Сказаній“) обѣ этой 20-й книгѣ было сказано слѣдующее: „Здѣсь будутъ напечатаны тексты народныхъ сказокъ и указанія на умышленные передѣлки нашихъ современниковъ. Въ сказкахъ важенъ для насъ языкъ самобытный, чисто-русскій. Московскіе издатели печатаютъ лубочныя изданія сказокъ съ своеобразными вставками и передѣлками. Это черное пятно для нашей народности мы должны уничтожить изъ нашей современности, если не желаемъ подвергать себя суду потомства, если мы еще дорожимъ своимъ просвѣщеніемъ“. Что сказать обѣ этомъ негодованіи на „черная пятна для нашей народности“, обѣ этихъ напоминаніяхъ о судѣ потомства, если окажется, что самъ Сахаровъ не только умышленно передѣлывалъ, но сочинялъ цѣлые сказки?

Въ предисловіи къ самой книжкѣ Сахаровъ говоритъ еще больше на тему о чистотѣ народности, о порчѣ сказокъ недобросовѣстными изданіями и т. п. Даѣтъ, въ „обозрѣніи русскихъ сказокъ“ онъ даетъ списокъ сказокъ по сюжетамъ, потомъ библіографическую распѣсь книжныхъ и лубочныхъ изданій, потомъ разборъ главныхъ изданій, мнѣнія нашихъ писателей о сказкахъ, наконецъ, разсужденіе о содержаніи сказокъ и обѣ ихъ источникахъ. „Обозрѣніе“ и для того времени было слабо; критика предшественниковъ — также, какъ мы видѣли раньше при миѳологіи и пѣсняхъ: Сахаровъ обрушивается съ обличеніями на издателей, вовсе не имѣвшихъ цѣли этнографической, чтобы косвенно превознести собственную книгу. Библіографическая распѣсь неполна, а по лубочнымъ изданіямъ задолго раньше и одновременно съ Сахаровымъ являлись гораздо болѣе замѣчательные работы Снегирева. Что же было въ самомъ изданіи? Въ книжкѣ Сахарова помѣщены слѣдующія сказки: Добрыня Никитичъ, Василій Буслаевичъ, Илья Муромецъ, Акундинъ, о Ершѣ Ершовѣ, о семи Семёнахъ. Всѣ онѣ, кромѣ сказки о Ершѣ, взяты, по словамъ Сахарова, изъ рукописи Бѣльского, упомянутаго тульскаго купца, который получилъ ее изъ дома Демидова; рукопись, по словамъ Сахарова, была писана разными руками въ XVIII вѣкѣ и заключала въ себѣ былины (какъ упомянуто выше) и сказки (числомъ 14).

Что касается сказокъ богатырскихъ, то г. Безсоновъ, сличая ихъ съ былинами, приходилъ уже къ сильному подозрѣнію, если не къ полной увѣренности, что „рукопись Бѣльского“ есть миѳъ, что она никогда не существовала и послужила только для прикрытия манипуляцій Сахарова надъ народно-поэтическимъ материаломъ. Первый

три сказки составляютъ мнимо-народные прозаические и подправленные пересказы былинъ¹⁾, а четвертая, „Акундинъ“ есть просто сочинение самого Сахарова не тему, вычитанную имъ въ поэмѣ Ф. Глинки, „Карелім“ (1830), изъ олонецкихъ преданій²⁾. Соображенія г. Безсонова объ этомъ предметѣ кажутся намъ очень правдоподобными, и въ поддѣлкахъ Сахарова онъ вѣрно указываетъ различныя проруки противъ настоящаго народнаго склада³⁾.

Изъ нашихъ историковъ, кажется, одинъ Бѣляевъ не усумнился въ „былинѣ“ объ Акундинѣ и воспользовался ею для изображенія новгородскихъ „повольниковъ“. Онъ находилъ, что эта былина „представляетъ намъ довольно вѣрный и полный типъ новгородского повольника“ и вводитъ повѣствованіе Сахарова въ исторію⁴⁾. Костомаровъ не нашелъ, вѣроятно, возможнымъ сдѣлать этого, и въ „Народоправствахъ“ для характеристики новгородского удальца взялъ гораздо проще и вѣрнѣе былину о Василь Буслаевичѣ, который, напротивъ, странно забыть Бѣляевымъ, хотя гораздо больше Акундина отвѣчалъ его же представлению повольника. Бѣляевъ, кажется, самъ чувствовалъ, что чего-то недостаетъ въ „былинѣ“ Сахарова, изобра-

¹⁾ По поводу этихъ былинъ Сахаровъ дѣлаетъ одно замѣчаніе, на которомъ можно остановиться. Какъ извѣстно, главнѣйший богатырь киевскаго эпоса совпадаетъ со святымъ, мощи которого хранятся въ Киевѣ. Сахарову это совпаденіе казалось совершенно неприличнымъ — для святого, и онъ опять считаетъ нужнымъ заявить о благовоспитанности русской старинѣ. „Мы не думаемъ,—говорить онъ,—чтобы наша сказка имѣла какое-нибудь сходство съ св. Ильею Муромцемъ, извѣстнымъ своею святостью жизни и нетѣніемъ мощей (Память св. Илія совершается декабря 19 дня Ист. Росс. іерар., ч. I, стр. 393). Можетъ быть, другіе захотятъ отыскывать сравненія — то увѣряемъ ихъ (!), что нашъ народъ *никогда не касался святыни*“ (Р. Сказки, стр. 270). Сахаровъ, конечно, хотѣлъ сказать: не касался въ своей свѣтской пѣснѣ; но и это несправедливо: не только касался, но иногда и довольно легкомысленно. Укажемъ примѣръ, извѣстный и во время Сахарова — тѣ пѣсни въ сборникѣ Кирши Данилова, которыхъ Калайдовичъ не рѣшился напечатать по ихъ неуважительному отношенію къ духовнымъ предметамъ.

²⁾ См. Пѣсни, собр. Кирѣевскимъ, вып. 4, 1862: стр. CLI, въ указателѣ, столб. 20, 24. Вып. 5, 1863: стр. XIII—LIII, CXXI, CXXIII—CXLIII. Ср. Ровинскаго, Р. Нар. картишки, IV, стр. 1; на стр. 67 цитата изъ Сахарова (Сказки, стр. LXVII) о переправкѣ сказокъ, относится не къ самому Сахарову, а къ Чулкову.

³⁾ Сахаровъ поступалъ не безъ хитрости. Такъ, напримѣръ, чтобы изобрѣтенный имъ (или въ крайнемъ случаѣ, черезъ мѣру подмалеванный) богатырь Акундинъ не бросился въ глаза абсолютной неизвѣстностью самого имени, онъ в克莱илъ такое имя въ „сказку“ о Добрынѣ (стр. 32: „Акундинъ Ивановичъ, воевода киевскій“); потомъ являются и Акундинъ Шутятичъ, новгородецъ, и его сынъ того же имени, самъ богатырь сказки.

⁴⁾ Разсказы изъ русской исторіи, соч. Ивана Бѣляева. Кн. 2, изд. 2-е. М. 1866, стр. 92 и слѣд. Это было уже *после* объясненій Безсонова. Раньше этихъ объясненій, Иловайскій не коснулся этого богатыря въ своей „Исторіи рязанскаго княжества“ (М. 1858), въ землѣ которой совершились подвиги Акундина.

жающей своего героя слишкомъ учтивымъ и степеннымъ, и обходить эту недостачу оговорками¹⁾; но Васька Буслаевичъ, доподлинность котораго не подлежитъ ни малъйшимъ сомнѣніямъ, одолѣвалъ самихъ „мужиковъ новгородскихъ“, и былина нимало не стѣсняется говорить о его несносныхъ буйствахъ — потому что это именно и была „живая“, а не дѣланная былина. Съ другой стороны, какъ мы видѣли, Сахаровъ вообще старался примазывать и приглаживать старину, какъ это и видно въ „Акундинѣ“.

Сомнительность богатырскихъ сказокъ Сахарова и въ особенности „Акундина“ указывается, кромѣ сближенія съ „Кареліей“, разными обстоятельствами, вѣщими и внутренними.

Во-первыхъ, куда дѣвалась эта замѣчательная рукопись Бѣльского, и какимъ образомъ Сахаровъ, уже владѣвшій этимъ сокровищемъ въ 1830-хъ годахъ, могъ въ послѣдующіе долгіе годы не подѣлиться съ любителями старины другимъ ея содержаніемъ? Рукописное собраніе Сахарова, богатое важными памятниками, перешло потомъ во владѣніе гр. А. С. Уварова; но не слышно, чтобы у послѣдняго находилась „рукопись Бѣльского“, и вообще о ней съ тѣхъ поръ ничего неизвѣстно. Во-вторыхъ, ни до Сахарова, ни послѣ, нигдѣ не встрѣтилось въ старой рукописной литературѣ ничего похожаго па сказку объ Акундинѣ; а между тѣмъ, въ наше время рукописная старина очень внимательно разрабатывалась именно въ этомъ направленіи; никакого отголоска этого новгородскаго богатыря не нашлось и въ обильныхъ записяхъ былинъ и сказокъ изъ устъ народа, между прочимъ въ томъ самомъ олонецкомъ краѣ, къ преданіямъ котораго относилъ его Сахаровъ. Въ-третьихъ, все сказки Сахарова написаны особыннымъ языкомъ, также донынѣ не имѣющимъ себѣ никакой параллели въ другихъ памятникахъ; этотъ языкъ невольно представляется сочиненнымъ, и именно всего болѣе скопированнымъ съ языка былинъ и пѣсенъ, но прикрашеннымъ, подсла-

¹⁾ „Конечно,—говорить онъ,—не все повольники были подобны представленному въ былинѣ Акундину Акудиновичу, но то несомнѣнно, что Акундинъ представленъ какъ идеалъ новгородского повольника, къ которому живые повольники только приблизались по мѣрѣ силъ, и по всему вѣроятію, ни одинъ живой повольникъ не подходилъ къ идеалу вполнѣ, какъ это всегда бываетъ у людей (!). Но идеальновольника, изображенный въ былинѣ Акундина, самъ по себѣ безукоризненъ; въ немъ нѣть и тѣни грязи, даже не упоминается ни о буйствахъ, ни о грабежахъ, безъ которыхъ едва ли тогда обходились живые повольники; слѣдовательно (?), Новгородъ въ повольничествѣ хотѣлъ видѣть главнымъ образомъ не грабежи и буйства молодыхъ людей на чужой сторонѣ, а сподручное средство дать буйной молодежи случай исправиться, перебѣгнуть, и въ то же время вызвать ее на дѣятельность, вполнѣ согласную съ требованиями молодости, жадной до подвиговъ и опасностей, и не терпящей строгости и надзора старшихъ“.

щеннымъ до противности. Сахаровъ предупреждаетъ читателей, что они найдутъ здѣсь „чистый народный русскій языкъ“ и—постарался: нѣтъ фразы, сказанной просто; все усыпано эпическими повтореніями, уменьшительными, протянутыми по пѣсенному, „словесами“, приговорками („ужъ какъ“, „а и“, и т. п.). Ему казалось, что „чистый народный“ языкъ долженъ быть именно таковъ: первобытно чувствительный; онъ вышелъ прибауточный, надобдливо приторный и фальшивый¹). „Акундинъ“ былъ, видимо, любимымъ произведеніемъ Сахарова: въ началѣ этой сказки онъ помѣстилъ трогательную интroduкцію, отъ лица разсказчика, гдѣ изображается аркадская простота „чисто русской“ патріархальной старины²). Эта картина казалась Сахарову столь вѣрнымъ изображеніемъ подлинной русской народности, такъ была близка его сердцу и отвѣчала его идеаламъ, что эту тираду онъ поставилъ первымъ своимъ словомъ, въ самомъ началѣ „Сказаній“, передъ посвященіемъ своего труда „Родинѣ и предкамъ“. Сахаровъ достигалъ своей цѣли: подлинности его сказокъ и чувствительно-„народныхъ“ причитаній вѣрили³). Приведенную нами

¹) Въ своемъ усердіи Сахаровъ заставляетъ „рукопись Бѣльского“, напр., писать всегда: „Микита“, и т. под., хотя въ другихъ случаяхъ эта рукопись соблюдаетъ обычное правописаніе. Вообще по языку и складу „рукопись Бѣльского“ есть во всякомъ случаѣ—чинсомъ.

²) „Соизвольте выслушать, люди добрые, слово вѣстное, приголубьте рѣчью лебединою слова (?) не мудрыя, какъ въ стари годы, прежніе, жили люди старые. А и то-то, родимые, были вѣкы мудрые, вѣкы мудрые, народъ все православный. Живали старики не по нашему, не по нашему, по заморскому (чужое, Сахарову ненавистное, вообще представлялось ему „заморскимъ“), а по своему, православному. А житѣе-то, а житѣе-то было все привольное, да разольное. Вставали ранымъ раненько, съ утренней зарей, умывались ключевой водой, со бѣлой росой, молились всѣмъ святымъ и угодникамъ, кланялись всѣмъ роднымъ отъ востока до запада (?), и ходили на красень крылец (?) со рѣшеточкой, созывали слугъ вѣрныхъ на добры дѣла. Старики судь рядали, молодые слушали; старики придумывали крѣпкія думушки, молодые бывали во послушкахъ. Молодыя молодицы правили домомъ, красныя девицы завивали вѣнки на Семикъ день (?). Старыя старушки судили, рядали (?) и сказки сказывали. Бывали радости великія на великий день, бывали бѣды со кручинами на велико сиротство. А что было, то былою поросло; а что будетъ, то будетъ не по старому, а по новому. Русскимъ людямъ долгое житѣе, а родимой сторонѣ долѣ того“ (Сказки, стр. 94—95).

³) Онъ такъ негодовалъ противъ нарушеній чистой народности и противъ новѣйшаго фальшиваго сочинительства подъ народную манеру! „Было на Руси удивительное время, когда наши литераторы старались сочинять въ духѣ древнихъ пѣсенъ. Эту несчастную страсть началь Н. М. Карамзинъ съ своего Муромца“ (т.-е. съ своимъ Муромцемъ?), и т. д. „Сказанія“, т. I, 1, стр. 43. Кажется, что бы за бѣда, еслибы новая литература стремилась въ своихъ произведеніяхъ усвоивать складъ той народности, за которую Сахаровъ такъ ратовалъ?

цитату съ полнымъ довѣріемъ повторялъ, напр., Надеждинъ, относя
ея содержаніе даже къ далекой древности ¹⁾).

„Грустно разоблачать подобныя вещи у всякаго издателя,—говорить г. Безсоновъ послѣ разбора Сахаровскихъ пріемовъ съ пѣснями и сказками: — грустно видѣть, какъ легко разлетаются эти карточные домики, на которые такъ разсчитывалъ беспокойный труженикъ, строилъ, обставлялъ, обгораживалъ, гдѣ замазывалъ, гдѣ законопачивалъ; еще грустнѣе говорить это о литературномъ дѣятелѣ, не мало потрудившемся для народа, но—и отрадно, какъ отраденъ всякой выходъ изъ удушья на свѣжій воздухъ, на чистую истину, и полезно: вкусы къ народному творчеству воспитывается изученіемъ его произведеній; онъ гибнетъ отъ фальшивыхъ поддѣлокъ; онъ зреетъ зрѣлостью мужества, когда рядомъ съ истинными произведеніями народа сопоставляемъ мы, для сличенія, поддѣлки“. Это замѣчаніе прилагается не только къ данному случаю, къ порчѣ и поддѣлкѣ народныхъ произведеній, но и къ цѣлому представленію Сахарова о русской народности...

Къ счастію, не всѣ труды Сахарова отличались этимъ свойствомъ. Второй томъ (книги пятая — восьмая), вышедши въ 1849, занять былъ материаломъ, который болѣею частью мало давалъ поводовъ къ памѣреннымъ прикрасамъ. Здѣсь перепечатано и вновь издано нѣсколько старинныхъ словарей и азбуковниковъ, далѣе изданы: „рускія древнія свадьбы“; „свадьбы частныхъ людей въ XVII вѣкѣ“; „рускія свадебныя чиноположенія“; затѣмъ „народный дневникъ“ и „народные праздники и обычаи“, два сборника, принадлежащіе къ важнѣйшему, что было сдѣлано Сахаровымъ; наконецъ, „путешествія русскихъ людей“ — отъ игумена Даниила въ XII вѣкѣ, до Арсенія Суханова въ XVII-мъ. Правда, и здѣсь въ историческихъ разсужденіяхъ автора (напр., въ предисловіи къ словарямъ) факты передаются и для своего времени крайне путано и нескладно, и здѣсь не обошлось безъ прикрашиванья старины; но вообще собранъ цѣнпый историко-этнографический материалъ, который оказалъ тогда наукѣ не малую услугу.

Не будемъ останавливаться на бібліографическихъ трудахъ Сахарова и сочиненіяхъ чисто археологического свойства, не имѣющихъ ближайшаго отношенія къ нашему предмету. Эти труды имѣли свою важность, когда надо было на первый разъ установить инвентарь

¹⁾ См. ст. о русскихъ миѳахъ и сагахъ, которую Надеждинъ заканчиваетъ этой цитатой въ подтвержденіе собственного идеального взгляда на русскую старину (въ изданіи „Р. Бесѣды“, ст. 2-я, стр. 61—63).

нашой литературной старины, распространить въ массѣ общества первоначальная понятія о необходимости археологическихъ изслѣдований; когда шло дѣло о распространеніи вкуса къ нимъ, который велъ бы къ охраненію и собиранію предметовъ древности. Чтобы оцѣнить въ этомъ отношеніи археологическую ревность Сахарова, надо припомнить, какимъ грубымъ невниманіемъ и пренебреженіемъ къ стариинѣ отличалось (да и понынѣ, хоть нѣсколько въ меньшей степени, отличается) большинство „общества“. Но и здѣсь, какъ въ вопросахъ этнографіи, первое приближеніе дѣйствительно-научной критики къ тому же дѣлу указывало нерѣдко несостоительность изслѣдований Сахарова и въ постановкѣ предмета, и въ изложеніи самыхъ фактовъ¹⁾.

Такимъ образомъ, дѣятельность Сахарова по изученію народности представляется въ двойственномъ, даже въ двусмысленномъ свѣтѣ. Въ тридцатыхъ, сороковыхъ, даже отчасти въ пятидесятыхъ годахъ труды Сахарова цѣнились высоко; свидѣтельство современника мы указали въ словахъ компетентнаго спеціалиста, Срезневскаго; новая критика открыла, однако, въ трудахъ Сахарова крупные недостатки— еще въ его время и съ той точки зрѣнія, какой онъ самъ держался. Его литературная судьба въ большой мѣрѣ объясняется самимъ характеромъ времени. Сахаровъ есть весьма типическій представитель тогдашней этнографической науки и своими пріемами, и самыми недостатками, которые теперь почти совсѣмъ отняли у его трудовъ значеніе научнаго матеріала. Это былъ чистый самоучка, и не онъ одинъ былъ тогда самоучкой въ этомъ дѣлѣ, которое едва покидало ступень простой „охоты“, изученія любопытныхъ рѣдкостей и курьёзностей. Мы видѣли, къ какимъ уродливымъ историческимъ понятіямъ приводило Сахарова отсутствіе знаній и критической подготовки. У него не было правильныхъ представлений даже о внѣшней судьбѣ русскаго народа, и неумѣніе отчетливо выражать свои мысли происходило отъ смутности мыслей. Не смотря на то, первые собирательскіе труды его по своей новости имѣли большой успѣхъ, который еще усилилъ его самонадѣянность, всегда свойственную самоучкамъ; въ изданной недавно перепискѣ²⁾ Сахаровъ высока говорить даже о такихъ настоящихъ ученыхъ, какъ Востоковъ, Ундовльскій, Бодянскій. Изъ сотоварищѣй по археологіи, которою онъ ис-

¹⁾ Ср. статьи г. Забѣлина, собранныя послѣ въ его „Опытахъ изученія русскихъ древностей и исторіи“ (2 т., 1872—1873), т. I, стр. 450—454 (1855 г.), т. II стр. 75, 78—105 (1852 г.). О качествѣ трудовъ Сахарова по палеографіи см. уклончивый и въ сущности неодобрительный отзывъ въ запискѣ Срезневскаго.

²⁾ „Русскіе Палеологи“, Н. Барсукова.

ключительно занялся въ послѣдніе годы, всего довѣреніе онъ былъ съ архаическимъ Кубаревымъ, — и ихъ ученая, часто непріятно сплетническая, переписка очень характерна; письма Кубарева о московскихъ происшествіяхъ 1849 года (запрещеніе „Чтений“, выходъ Бодянского изъ университета и изъ Общества исторіи и древностей) доходятъ до пошлости... Въ своихъ понятіяхъ о русской народности, Сахаровъ хотѣлъ быть вѣрнымъ послѣдователемъ офиціальной программы. Его изученіе было чисто вѣшнее, описательное; для объясненія внутренняго характера народности онъ не сдѣлалъ и не могъ сдѣлать ничего—какъ по недостатку знаній, такъ и по фальшивому исходному взгляду. Мы упоминали, что въ его любви къ народности была своя демократическая жилка, ненависть къ барству съ его иностраннымъ образованіемъ, пренебрегавшему народомъ и погрязавшему въ нравственномъ ничтожествѣ своего пренебреженія къ народу; Сахаровъ бранилъ это барство, иронизировалъ надъ пимъ сколько могъ, но никогда не пришелъ къ живому пониманію дѣла. Сущность его народнаго патріотизма свелась на грубое противопоставленіе русскаго и „заморскаго“, какимъ представлялось ему все западное, хотя бы и не-„заморское“: все русское было прекрасно, все „заморское“ было ненавистно и зловредно. Не совсѣмъ послѣдовательно Сахаровъ величаетъ Петровскую реформу, т.-е. главный источникъ заморскаго въ нашей жизни, и въ то же время считаетъ заморское причиной упадка чистой русской народности, хранимой только народными массами: какъ считать научное знаніе, въ которомъ именно западъ оказалъ намъ великую помощь, осталось неизвѣстно. Въ чемъ состояли благодатныя свойства русской старины въ смыслѣ государственномъ, общественномъ, образовательномъ, Сахаровъ не объясняетъ; но бытовая жизнь, нравы старины изображаются аркадской идилліей, — какъ въ той тирадѣ изъ „Акундина“, которую онъ поставилъ во главѣ своихъ „Сказаний“. Этому представлению отвѣчало его обращеніе съ народно-поэтическими памятниками: дурно понятый патріотизмъ довелъ его до непозволительного шарлатанства; Сахаровъ принялъся подправлять и подкрашивать старицу въ томъ мнимо-народномъ стилѣ, который онъ считалъ за *настоящій русскій*. Въ своихъ книгахъ онъ настаивалъ, что пѣсни и т. п. должно сохранять неприкосновенными, какъ онъ хранятся въ устахъ народа; современники повѣрили въ его собственную точность, но первая пристальная критика увидѣла, что Сахаровъ вовсе не слѣдовалъ хорошему правилу, которое проповѣдовалъ; на дѣлѣ онъ былъ гораздо худшимъ поддѣльщикомъ, чѣмъ его предшественники, имъ обличаемые: тѣ не задавали себѣ никакой научной задачи, а онъ долженъ былъ понимать, что дѣлалъ. Есть сильное подозрѣ-

ніе, почти увѣренность, что онъ самъ занялся сочинительствомъ, выдавая его за подлинное творчество народа (если бы въ „Акуундинѣ“ и была у него какая-нибудь письменно-сказочная подлинная основа, то форма и частности несомнѣнно поддѣльныя). Отмѣтимъ, какъ черту времени, любопытный фактъ, что эта наклонность къ поддѣлкѣ повторяется и у другихъ собирателей той эпохи. Одно подлинно народное не удовлетворяло; при ограниченности размѣровъ первого собиранія, его и мало еще знали, между тѣмъ хотѣлось видѣть это народное болѣе полнымъ и совершеннымъ, и находились любители, которые подкидывали народу свои собственные измышенія, конечно, въ томъ духѣ, какъ сами понимали народное, въ духѣ фальшиваго романтизма и вмѣстѣ офиціальной народности. Надо прибавить, что иногда поддѣльщики, вѣроятно, и не сознавали фальшивости своихъ дѣйствій: народное казалось еще литературнымъ материаломъ, который можетъ быть исправленъ и усовершенствованъ...

Результатъ дѣятельности Сахарова былъ довольно печальный: имя Сахарова, такъ много все-таки поработавшаго для русской этнографіи, еще при жизни его потеряло авторитетъ, если не строго научнаго знанія, то хотя бы виѣшняго опыта и добросовѣстнаго отношенія къ дѣлу. Значеніе его трудовъ было болѣе кратковременно, чѣмъ могло бы быть при болѣе простой постановкѣ дѣла, при болѣе искреннемъ и внимательномъ изученіи, а что касается теоретического пониманія народности, то критика даже не останавливалась на его разборѣ, раскрывши только тѣ тенденціозныя поддѣлки, на которыхъ Сахаровъ положилъ столько стараній.

ГЛАВА IX.

СНЕГИРЕВЪ.—ПАССЕКЪ.—ДАЛЬ.

Оффициальная народность.—Снегиревъ. Биографія. Ученые работы: „Пословицы“; „Праздники“; „Лубочные картинки“; труды археологические.—Вадимъ Пассекъ. Биографія. „Путевые записки“; „Очерки Россіи“. — Даль. Биографія. Труды по этнографіи. „Толковый Словарь“. „Пословицы“. „Повѣрья“.

Въ развитіи изученій русской народности этнографы второй четверти столѣтія, при всей разницѣ личныхъ дарованій и объема свѣдѣній составляютъ одну группу, съ известными общими чертами. Мало сходного между талантливымъ и ученымъ Надеждинымъ и нескладнымъ самоучкой Сахаровымъ; между усерднымъ старомоднымъ собирателемъ Снегиревымъ и восторженнымъ идеалистомъ Пассекомъ, или между даровитымъ Далемъ и Терещенкомъ, — но на всѣхъ больше или меньше лежитъ отпечатокъ времени, той официальной народности, которая заявленая была въ правительственной программѣ¹). Мы будемъ имѣть случай видѣть, сколько искусственного было въ этой программѣ, какими фальшивыми тонами отзывалось ея практическое примѣненіе,—примѣръ послѣдняго мы видѣли уже въ дѣятельности Надеждина и Сахарова, и къ нимъ можно прибавить еще множество другихъ, болѣе мелкихъ. Въ литературѣ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ мы безпрестанно встречаемъ ссылки на эту программу: одни приводили ее какъ официальное требование, другіе прикрашивали ее романтизмомъ, третьи принимали ее слѣпо, не видя ея противорѣчій. Подъ вліяніемъ политической славы временъ Александра I, и продолжавшагося значенія Россіи при Николаѣ, въ обществѣ, обыкновенно равнодушномъ, совершалось дѣйствительно

¹) Ср. обѣ этомъ „Характеристики литер. мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятихъ годовъ“, 2-е изд., гл. III.

нѣчто похожее на подъемъ національного чувства, высокое представлениe о виѣшнемъ и внутреннемъ могуществѣ Россіи, о превосходствѣ ея національныхъ началь; въ толпѣ это представлениe переходило въ „квасной“ патріотизмъ, а къ концу царствованія, относительно дѣйствительного положенія вещей, вводило въ заблужденіе даже людей государственныхъ. Наконецъ, оно отражалось въ литературѣ. Историческимъ кодексомъ этого воззрѣнія былъ Карамзинъ; теперь оно вдохновляло величайшаго изъ русскихъ поэтовъ; философскія теоріи о „разумной дѣйствительности“ внушали то же настроеніе идеалистамъ новыхъ поколѣній; имъ проникалась „изящная словесность“, популярный исторический романъ, нравоописательная повѣсть. Этнографическія изученія слѣдовали за этимъ настроеніемъ, и отчасти сами питали его, доставляя ему матеріалъ въ описаніяхъ народнаго быта. Критика научная и общественная мысль еще мало останавливались на основныхъ вопросахъ исторической жизни и на современномъ состояніи государства и народа; строгая опека, тяготѣвшая надъ обществомъ и литературой, устранила эти вопросы. „Народность“ тогдашняго положенія вещей принималась обязательна; фактическое состояніе народа считалось вполнѣ нормальнымъ; народная жизнь изображалась литературою въ краскахъ патріархальной простоты и идиллическаго благополучія. Это отразилось и на этнографическихъ изученіяхъ: въ нихъ не было свободнаго научнаго отношенія къ предмету. Съ другой стороны, еще не были выработаны научные пріемы; мало известно было то, что уже дѣлалось въ этомъ отношеніи въ наукѣ европейской, особенно вѣмецкой, и въ нашихъ этнографахъ слишкомъ сказывались самоучки. Поэтому цѣнная сторона тогдашнихъ изученій была почти только описательная; лишь къ концу этого періода изученія народности впервые получаютъ настоящее научное основаніе.

По предметамъ изученія, этнографическая литература распадается въ этомъ періодѣ на нѣсколько отдѣловъ. Во-первыхъ, это были этнографы-собиратели, особенно направлявшіе свой трудъ на народность великорусскую, какъ Сахаровъ, его болѣе ранній современникъ Снегиревъ, Даль, Терещенко, Пассекъ. Особую группу могутъ составить изслѣдователи, не столько изучавшиѣ быть современный, сколько первыя начала русской народности, и находившиѣ ихъ въ такой глубокой древности и въ такихъ племенахъ, гдѣ ихъ очень мудрено было ожидать, — это ультра-славяно-русскіе археологи и патріоты въ духѣ Венелина какъ Морошкинъ, Савельевъ-Ростиславичъ, Вельтманъ, Чертковъ. Третью группу составляли этнографы, изучавшиѣ въ особенности народность малорусскую: кн. Цертелевъ,

Максимовичъ, Срезневскій, Бодянскій, Метлинскій, — въ концу пе-
ріода, Костомаровъ.

Однимъ изъ важнѣйшихъ и плодовитѣйшихъ работниковъ по изу-
ченію народности изъ писателей первой группы, былъ извѣстный
тогда профессоръ московскаго университета, Иванъ Мих. Снеги-
ревъ ¹⁾.

Снегиревъ (род. 23 апрѣля 1793, въ Москвѣ) былъ сынъ профес-
сора московскаго университета (ум. 1820) и послѣ домашняго обу-
ченія поступилъ въ 1802 въ академическую гимназію при универ-
ситетѣ, въ 1807 „произведенъ въ студенты“, въ 1810 — въ канди-
даты, успѣвъ получить два раза серебряную медаль за сочиненія по
отдѣленіямъ этико-политическому и словесному; въ 1815 былъ уже
магистромъ словесныхъ наукъ. Поступивъ еще съ 1810 на службу
при цензурномъ комитетѣ, потомъ при университетскомъ правлениі,
онъ съ 1816 былъ при университетѣ преподавателемъ латинской
словесности, съ 1819 года адъюнктомъ, съ 1826 экстраординарнымъ
и вскорѣ ординарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ латинскаго языка
и римскихъ древностей. Съ 1827 г. онъ былъ членомъ Общества ис-
торіи и древностей при московскомъ университете, и въ первые
годы былъ его секретаремъ. Въ 1836 году онъ уволенъ отъ про-
фессуры вслѣдствіе преобразованія университета по уставу 1835 г.,
и затѣмъ многіе годы служилъ въ Москвѣ цензоромъ, которымъ
былъ съ 1828 года. Въ 1855 онъ получилъ отставку отъ цензорства
и умеръ въ декабрѣ 1868, въ Петербургѣ.

Снегиревъ былъ такъ-сказать прирожденный археологъ и соби-
рателъ обычаевъ и преданій. Надо прочесть его любопытныя воспоми-
нанія,—извѣстныя, къ сожалѣнію, только въ небольшомъ отрывкѣ,
— чтобы видѣть, какой атмосферой старины и народнаго обычая
онъ былъ окружены съ дѣтства. Не только ребенкомъ, но и юношей,

¹⁾ Біографическая свѣдѣнія о немъ: — въ Словарѣ проф. моск. университета, М. 1855. (Перепечатано въ „Старинѣ русской земли. Изслѣдованія и статьи И. Снегирева“. Изд. Ивановскаго. Спб. 1871, стр. 137—145).

— „Русскій Архивъ“, 1866, № 5—6, Воспоминанія Снегирева (перепечатаны въ „Старинѣ рус. земли“, стр. 146—204).

— Буслаевъ, въ „Моск. Университетскихъ Извѣстіяхъ“, 1869, № 1, стр. 56—62.

— „Голосъ“ 1868, № 250, 254, 258; 1869, № 63.

— „Спб. Вѣдом.“ 1868, № 308, 336.

— „Р. Инвалидъ“, 1868, № 275, 277.

— „Петерб. Газета“, 1868, № 131, 178.

— „Современ. Листокъ“, 1868. № 102.

— А. Д. Ивановскій, „Иванъ Мих. Снегиревъ. Біографический очеркъ“. Спб. 1871. Не мало свѣдѣній, но компилированныхъ крайне беспорядочно.

онъ видѣлъ своихъ прадѣдовъ, которые помнили времена Петра Великаго, Анны, Елизаветы, видывали имъ самихъ, и передавали въ семейномъ преданіи черты нравовъ, отчасти патріархальныхъ, отчасти свирѣпыхъ¹⁾, черты, и донынѣ еще мало известныя нашей исторіи, — видѣлъ самъ благочестивую первобытность и малограмотную грубоватость, а часто и добродушіе нравовъ своего, средне-дворянскаго, служилаго и духовнаго круга; въ дѣствѣ, отъ нянки своей Аграфены, задолго до разгара Наполеонскихъ войнъ, онъ слышалъ народное предсказаніе о томъ, что Москва будетъ взята²⁾.

Въ юности Снегиревъ зналъ митрополита Платона, который былъ особенно уважаемъ въ его семье; жилъ въ Москвѣ въ 1812 году, видѣлъ оставленіе города жителями и возвращеніе ихъ, видѣлъ разрушеніе Москвы,—въ которомъ погибло столько московской старины не только въ вещественныхъ памятникахъ, но также въ самыи нравахъ и преданіяхъ.

Во время своего ученья въ гимназіи и университетѣ Снегиревъ засталъ еще другихъ людей стараго вѣка и старомодныхъ нравовъ. Директоромъ гимназіи онъ засталъ И. П. Тургенева, инспекторомъ Страхова—друзей и сотрудниковъ Новикова; ученье было старомодное: „между учеными,—разсказываетъ Снегиревъ,—велося какое-то юродство въ странности обхожденія, въ небрежности платья и въ образѣ жизни: казалось, они этимъ щеголяли другъ передъ другомъ и хотѣли отличаться отъ неученыхъ“. Такіе чудаки бывали учительями Снегирева; но были между ними и люди, дѣйствительно знающіе. Однимъ изъ учителей былъ Ром. Фед. Тимковскій: „знатокъ еллинскаго и латинскаго языковъ, молодой человѣкъ, строгій исполнитель своей обязанности, искусный преподаватель, онъ умѣлъ внушить своимъ ученикамъ уваженіе и привязанность къ себѣ; его слушали съ какимъ-то подобострастіемъ, ловили каждое слово“. Школьные нравы были патріархальные: обильное сѣченіе входило въ за-

¹⁾ „Имѣя твердую, до глубокой старости, память, Иванъ Савичъ (Брыкинъ, прадѣдъ) вспоминалъ огненные потѣхи и пирушки Петра I на лугахъ и въ рощахъ Измайловскихъ съ любимцами: видѣлъ, какъ убиль своею дубинкою у дворцоваго крыльца одного придворнаго служителя, который не успѣлъ снять предъ нимъ шапки; какъ Анна Ioannovna велѣла повѣсить предъ окнами повара, который подалъ ей къ блинамъ пророковое масло“ (Старина рус. земли, стр. 154—155).

²⁾ „Бывши уже лѣтъ десяти, я ужасно сердился и спорилъ съ нянкой, когда она повторяла народное пророчество, что „Москва будетъ взята на 40 часовъ“. Но это самое я слышалъ не отъ одной нянки, но и отъ моей бабушки Анны Ивановны Кондратьевой. Подобно голосу, лѣтающему въ пустыняхъ африканскихъ, и въ народѣ носятся темныя преданія и предсказанія, въ которыхъ таятся пестины, распечатываемыя въ будущемъ, и нерѣдко сбываются то, что кажется намъ несбыточнымъ“. (Тамъ же, стр. 147).

нятія самихъ преподавателей, хотя не устраяло крайнихъ шалостей. Между студентами университета и бурсаками духовной академіи происходили на Неглинной формальные кулачные бои, и „народу стекалось множество“.

Въ университетѣ, профессорами Снегирева были, между прочимъ, многіе остатки нашего XVIII вѣка. Таковъ былъ „почтенный и савновитый старецъ, ученьшій профессоръ, другъ Новикова, товарищъ Потемкина, бывшій въ тискахъ у Шешковскаго, во странный и причудливый въ обращеніи—Чеботаревъ“, котораго Шлѣцеръ называлъ своимъ руководителемъ въ русской исторіи. Таковъ былъ Брянцевъ, „не по имени, а по дѣламъ, философъ христіанскій“ и знатокъ классиковъ; упомянутый Страховъ; Маттеи, нѣмецкій гелертеръ стараго вѣка; Буле, Баузе.

Разсказы Снегирева объ этихъ профессорахъ, любопытные и сами по себѣ, характеризуютъ ученый складъ и пріемы ихъ ученика.

„Знатокъ еллинского и латинского языковъ, Маттеи, описавшій греческія рукописи московской патріаршой библіотеки,— разсказываетъ Снегиревъ,—разбиралъ и объяснялъ Гораціевы оды... Слушатели любили Маттеи и охотно слушали его лекціи. Маттеи на латинскомъ языке говорилъ и писалъ, какъ на своемъ природномъ. Съ какимъ сочувствіемъ читалъ онъ Гораціевы оды, и перѣдко со слезами, вѣроятно вспоминая лѣта юности своей, даже при чтеніи: *Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda est tellus.* — старецъ приготывалъ ногою. Не безъ слезъ обошлось и чтеніе Цицероновыхъ парадоксовъ... Не могу забыть, какъ, представляя Юпитера Олимпійскаго, маниемъ бровей потрясающаго и небо, и землю, самъ онъ повалился со стула, такъ что и парикъ его не остался на мѣстѣ... „Съ удовольствіемъ и признательностью я пользовался частными лекціями, библіотекою и драгоцѣннымъ собраніемъ славяно-русскихъ древностей незабвенного профессора правъ, юриста, дипломата, историка, археолога и филолога Федора Григорьевича Баузе. Въ 1807 году онъ былъ ректоромъ университета. Съ ненасытимою любознательностью, обогатившею его разнообразными свѣдѣніями, онъ соединялъ рѣдкій даръ слова, свободно и красно говорилъ и писалъ по-латыни. Кромѣ изданныхъ имъ рѣчей, осталось много материаловъ для обширныхъ и важныхъ сочиненій, которые остались въ спискахъ. Въ продолженіе 30 лѣтъ, съ особеннымъ стараніемъ и съ великими издержками, составилъ онъ собраніе древнихъ славяно-русскихъ рукописей, между которыми находились Исалтырь и Прологъ XII вѣка, Лечебникъ 1588 года, первые на русскомъ языкѣ логариѳмы, коллекція русскихъ монетъ и медалей, по мнѣнию знатоковъ единственная въ

своемъ родѣ... Съ какою дѣтскою радостью и восторгомъ показывалъ онъ мнѣ, предъ нимъ мальчику, купленную имъ рѣдкость! Жалко, что я мало пользовался симъ рѣдкимъ случаемъ: Баузева бібліотека и музей пропали въ 1812 году вмѣстѣ со многими драгоценными памятниками нашей исторіи, которые извѣстны были Карамзину и К. Калайдовичу“.

Мы имѣли случай упоминать объ этомъ заслуженномъ для русской исторіи труженикѣ, и Снегиревъ, быть можетъ, воспользовался отъ него и свѣдѣніями, и примѣромъ „ненасытимой любознательности“ и научнаго труда, которымъ столько проклинаемые „нѣмцы“ принесли много существенной пользы для возникавшой русской науки¹⁾.

Еще одинъ изъ профессоровъ университета, вліявшиі на Снегирева своей личностью и знаніемъ, былъ извѣстный „законо-искусникъ“ Горюшкинъ (1748—1821), сослуживецъ и пріятель его отца, живой представитель и многоопытный знатокъ „старого вѣка“. Извѣстно, что Горюшкинъ, самоучкой, изъ подъячихъ сдѣлался профессоромъ университета и однимъ изъ лучшихъ ученыхъ знатоковъ русскаго права. „Службу свою онъ началъ почти ребенкомъ въ воеводской канцеляріи въ самомъ началѣ царствованія Екатерины II, когда секретари и повытчики за маловажные проступки таскали за волосы подъячихъ, а судьи самихъ секретарей“. Потомъ онъ былъ подъячимъ въ страшномъ сыскномъ приказѣ, гдѣ еще въ полномъ ходу была пытка для обличенныхъ и оговоренныхъ. Кровавыя сцены наконецъ омерзѣли ему; между тѣмъ, его, только грамотнаго, тянуло къ просвѣщенію. Съ величайшимъ трудомъ, онъ (уже будучи жена-тымъ) безъ всякаго руководителя, добивался смысла въ грамматическихъ терминахъ, одолѣвалъ ариѳметику и логику, читалъ книги историческія, богословскія, философскія, юридическія; искалъ знакомства съ учеными людьми, которые могли бы руководить его занятіями. Знаніе законовъ доставило ему място члена въ уголовной и казеннай палатахъ, и во время дѣла Новикова онъ показалъ гражданское мужество и вступилъ въ споръ съ кн. Прозоровскимъ, „не убоявшись гнѣва и угрозъ сильнаго вельможи, желавшаго угодить императицѣ Екатеринѣ обвиненiemъ Новикона“. По его обширному знанію законовъ, его пригласили къ преподаванію практическаго законовѣдѣнія въ университетѣ. „Своимъ лекціямъ онъ давалъ драматическую форму: классъ его представлялъ присутствіе, гдѣ производился судъ по законному порядку“. Его книга: „Описаніе судебн-

¹⁾ Краткій каталогъ рукописной бібліотеки Баузе, составленный В. Н. Каразинымъ, напечатанъ въ „Чтеніяхъ“ Моск. Общ. Ист. и Древн. 1862 г.. кн. 2, смѣсь, стр. 46—79. См. также Котляревскаго, Бібліологіческій опытъ о древней русской письменности, Воронежъ, 1881, стр. 18—19.

ныхъ дѣйствій” (1807, 1815) представляетъ и значительный матеріалъ юридическихъ древностей; его „Руководство къ познанію россійского законоискусства“ есть, по словамъ Снегирева, созданная имъ самимъ система, въ которой сильнала, но безформенная народность борется съ классическими понятіями древнихъ и новѣйшихъ юристовъ. „Онъ едвали не первый у насъ показалъ источникъ юриспруденціи въ нравахъ, обычаяхъ и пословицахъ русского народа. Какъ опытный законоискусникъ, онъ былъ оракуломъ для многихъ; къ нему прибѣгали за советами въ затруднительныхъ случаяхъ и запутанныхъ дѣлахъ вельможи, сенаторы и профессоры. У него была домашняя школа законовѣданія... Какъ любитель изящныхъ искусствъ, онъ въ гостепримномъ своемъ домѣ завелъ маленький театръ и музыку. По приемамъ и костюму, онъ не походилъ на прежняго подъячаго, но скорѣе на щеголеватаго барина... Карамзинъ, въ своей Исторіи, рѣдкіе списки Русской Правды и лѣтоописи, заимствованные изъ библіотеки Горюшкина, обозначаетъ горюшкинскими“...

Такимъ образомъ соединялись для Снегирева и непосредственныя преданья о старинѣ, близкой и довольно давней, съ живымъ научнымъ руководствомъ къ ея объясненію. Старину онъ видѣлъ не въ одной Москвѣ. Когда онъ былъ еще студентомъ, отецъ взялъ его съ собой въ рязанскую губернію на такъ называемую „визитацию“ училищъ, какія тогда поручались профессорамъ. Такъ, между прочимъ, они обѣхали города рязанской губерніи, гдѣ Снегиревъ успѣлъ присмотрѣться къ разнымъ остаткамъ старины и къ варварскому небреженію о нихъ у современниковъ... „Въ Богословскомъ монастырѣ (въ Рязани), — разсказываетъ онъ, — привлекла мое вниманіе древняя чудотворная икона св. Ioanna Богослова, на которую, вслѣдствіе какого-то видѣнія, самъ лютый Батый повѣсили свою золотую печать; но къ сожалѣнію и удивленію, не такъ давно архимандритъ, снявъ эту печать, употребилъ ее на позолоту водосвятной чаши. Въ Рязани, въ Архангельскомъ соборѣ съ благоговѣніемъ смотрѣлъ я на мантію ревностнаго миссіонера въ Мордвѣ, преосвященнаго Мисаила, пробитую стрѣлами и обагренную его мученическою кровью. Въ Зарайскомъ соборѣ привлекъ на себя мое вниманіе древній корсунскій образъ святителя Николая, особенно чествуемый тамошними окрестными жителями; въ Касимовѣ на Окѣ — татарскій минаретъ и усыпальница касимовскихъ царей; въ Раненбургѣ — крѣпость, гдѣ содержался несчастный Иванъ Антоновичъ, носившій титулъ императора нѣсколько мѣсяцевъ“...

Московская обстановка, безъ сомнѣнія, больше чѣмъ другая, могла способствовать развитію народно-археологического интереса. Средніе вѣка русской исторіи оставили здѣсь наибольшее число памятниковъ:

бытоваѧ жизнь въ московскихъ захолустьяхъ сохраняла больше старыхъ обычаевъ. Москвичи не забывали, что ихъ городъ— первопрестольная столица; но это не была столица дѣйствительная, и здѣсь не было чиновной и военной формалистики, связанной съ присутствиемъ двора, правящихъ лицъ и канцелярій, было больше простора для лѣниваго консерватизма нравовъ и обычаевъ, для проявленій народной жизни, которая еще до недавняго времени справляла здѣсь старые народные праздники, для проявленій личнаго разгула и чудачества, которые оставались какъ слѣдъ стариннаго быта. Съ массами народа, сходившагося въ торговомъ и промышленномъ, а также и дворянскомъ центрѣ, стекались сюда всякие остатки старины, въ видѣ всякаго рода старинныхъ вещей, книжнаго старья, рукописей и т. п. Москва донынѣ есть главный рынокъ книжной и рукописной старины и главное гнѣзdo нашей библіоманіи. Для археолога-любителя являлась возможность, даже при скромныхъ средствахъ, собирать коллекціи высокой научной цѣнности. Москва не была полнымъ представителемъ ни русской исторіи, ни русской народности, но нигдѣ не собралось и не сохранилось такъ много всякой старины, и не мудрено, что здѣсь такъ легко развивался патріотизмъ, окрашенный мѣстной исключительностью, склонный отождествлять всю русскую старину со стариной московской...

Послѣ нѣсколькихъ учебныхъ и педагогическихъ книгъ и двухъ біографій, митр. Платона и архіепископа московскаго Августина¹⁾, — первымъ трудомъ Снегирева по изученію русской народности была известная книга о пословицахъ, первая систематическая книга въ русской этнографіи, съ большимъ материаломъ и научными приемами по тому времени²⁾. Эта была многолѣтняя работа; первые опыты разбора пословицъ Снегиревъ сдѣлалъ еще въ 1823 году, въ „Трудахъ“ московскаго Общества любителей россійской словесности, затѣмъ новые части его работы появлялись въ разныхъ тогдашнихъ журналахъ; при окончательной обработкѣ сочиненія онъ имѣлъ возможность воспользоваться сообщеніями и объясненіями многихъ ученыхъ, съ которыми былъ въ сношеніяхъ...

Въ то время, т.-е. въ двадцатыхъ годахъ, когда велась работа Снегирева, русская этнографія, какъ наука, не существовала; изученія народной жизни еще съ конца XVIII вѣка внушались возникавшей потребностью самосознанія, любопытствомъ и сочувствиемъ,

¹⁾ Начертаніе жизни и дѣяній московскаго митрополита Платона, и пр. 2 части. М. 1818 г., 2-е изд. 1831 г.; 3-е (?), 1856.—Біографическія черты изъ жизни архіепископа московскаго Августина. М. 1824; 3-е изд. 1848.

²⁾ „Русскіе въ своихъ пословицахъ. Разсужденія и изслѣдованія объ отечественныхъ пословицахъ и поговоркахъ“, 1—2 книжки, М. 1831; 3-я, 1832; 4-я, 1834.

но не были руководимы ясными научными приемами и сознательной задачей. На чемъ основалъ Снегиревъ свою систему? Онъ самъ указываетъ, въ автобіографіи, что въ своихъ археолого-этнографическихъ трудахъ „употребилъ ученую методу, которую заимствовалъ у наставниковъ своихъ Буле, Маттеи и Тимковскаго“. Это были наставники его въ общей теоріи литературы и въ классической древности. Со временемъ Возрожденія, классическая филология была, какъ известно, главнымъ предметомъ, на которомъ сосредоточивались литературные изученія, himaniora; „филология“ до начала XIX столѣтія была по преимуществу, если не исключительно, классическая, и въ предѣлахъ греческой и римской литературы и древности выработаны были тонкіе приемы критического изслѣдованія. Снегиревъ, самъ преподаватель латинской археологии и языка, примѣнилъ тѣ же приемы къ изслѣдованию старины русской. Обширная, хотя не глубокая, начитанность помогла ему ориентироваться въ предметѣ; онъ сдѣлалъ справки о положеніи вопроса въ ученой европейской литературѣ, и ссылками на нее доказываетъ, въ предисловіи къ „Пословицамъ“, „неизлишность“ и „небезполезность“ своего труда. Въ этомъ труде есть недостатки,—говорить онъ:— „потому что онъ еще первый и ведеть къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ выражений ума и языка народнаго, на кои посвящали себя ученѣйшие мужи въ Голландіи, Германіи, Даніи и Швеціи, такъ что одна литература оныхъ составляетъ цѣлую книгу, изданную Нопицемъ. Французы, итальянцы, испанцы и поляки имѣютъ словари и собранія своихъ пословицъ“.

Снегиревъ начинаетъ свое изслѣдованіе издалека, съ общаго объясненія пословицы, ея происхожденія и значенія, говорить о пословицахъ и притчахъ у евреевъ, у грековъ и римлянъ, у новыхъ европейскихъ народовъ, у славянскихъ племенъ¹⁾, наконецъ, у русскихъ, и исчисляетъ ихъ изданий. Затѣмъ, онъ ставить вопросъ объ иностранныхъ источникахъ русскихъ пословицъ, объ отношеніи пословицъ и поговорокъ къ словесности. Со второй книги и до конца идетъ перечисленіе самыхъ пословицъ; онъ расположены по содержанію²⁾

¹⁾ О послѣднихъ онъ береть свѣдѣнія изъ Добровскаго, Линде, Кеппена, Кухарскаго, Бобровскаго.

²⁾ Это расположение слѣдующее:

Пословиця антропологическія.

А. Касающіяся до естественныхъ и нравственныхъ причинъ различія народовъ.
а) Пословицы, относящіяся къ язычеству, вѣрѣ и сувѣрію. б) Нравы и обычай въ пословицахъ. с) Пословицы нравственные. д) Политическая и судебная. О лицахъ правительствующихъ.

Б. Законодательство и судопроизводство. а) Законы. б) Преступленія и наказанія. с) Судные обряды (жребій, отдаваніе головою, правежъ, поле, повальный обыскъ).

и сопровождаются постояннымъ комментариемъ. Позднѣйшая разработка этого предмета (въ пятидесятыхъ годахъ), при помощи новѣйшей филологии и сравнительной этнографіи, не удовлетворялась изслѣдованиемъ Снегирева, глубже ставила вопросъ о происхожденіи, обѣ этнографическомъ и археологическомъ значеніи пословицы¹⁾; но, вспоминая время появленія труда Снегирева, нельзя не признать его большой заслуги въ первомъ опыте научного объясненія пословицъ, въ обширности материала, введенного въ изслѣдованіе. Поставивши себѣ въ самомъ заглавіи цѣлью — реальное археологическое изслѣдованіе пословицъ, Снегиревъ умѣлъ иногда чрезвычайно удачно пользоваться ихъ бытовымъ значеніемъ и ввести ихъ въ цѣлую картину старой русской жизни²⁾.

Вторымъ трудомъ Снегирева, столь же значительнымъ для начинавшейся науки, было сочиненіе о русскихъ народныхъ праздникахъ и обрядахъ³⁾. Область изслѣдованія была здѣсь еще обширнѣе, материалъ несравненно богаче и сложнѣе: народный праздникъ, обрядъ, обычай проходили всю исторію и достигали до отдаленной языческой старины и миѳологии. Литература XVIII вѣка уже догадывалась обѣ историческомъ значеніи старой простонародной поэзіи и обычая, догадывалась, что то и другое было остаткомъ, сохранившимся отъ древней языческой религіи и далекаго быта. Первую мысль обѣ этомъ трудѣ далъ Снегиреву знаменитый митрополитъ Евгений, ученый старой школы, связывающій нашу историческую науку прошлаго и нынѣшняго столѣтія⁴⁾. Снегиревъ пользуется

Обзоръ политическихъ и юридическихъ пословицъ въ отношеніи къ эпохамъ исторіи русской.

Пословицы физической. а) Метеорологическая и астрономическая. б) Агрономическая. с) Медицинская.

Историческая. а) Хронологическая. б) Топографическая. с) Этнографическая (личные; пословицы-девизы).

¹⁾ См. изслѣдованія г. Буслаева, въ „Архивѣ“ Калачова, т. 2, 1854, и „Русской бытъ и пословицы“, въ „Историч. Очеркахъ русской народной словесности и искусства“, 1861, I, стр. 78—136.

²⁾ Позднѣе Снегиревъ еще не сколько разъ возвращался къ этому предмету, съ новыми объясненіями и дополненіями.

— Русскія народныя пословицы и притчи. М. 1848.

— Новый сборникъ русскихъ пословицъ и притчей, служащій дополненіемъ къ собранію русскихъ народныхъ пословицъ и притчей, изданныхъ въ 1848 году. М. 1857.

³⁾ „Русскіе простонародныя праздники и суевѣрныя обряды“. Вып. I. М. 1837; 2—3 вып. 1838; 4-й, 1839.

⁴⁾ Въ дневникѣ Снегирева подъ 4 авг. 1825 г. записано, что былъ онъ у митр. Евгения, который „предложилъ ему собрать и описать народныя русскія праздники и обѣщалъ дать ему свою обѣ этомъ предметѣ записку“. Августа 24, Снегиревъ „весь вечеръ провелъ у митр. Евгения, читалъ ему свою статью о народныхъ празд-

указаниеми Тредьяковского о народной пѣснѣ, Гютри (Guthrie) о старинныхъ русскихъ обычаяхъ; но ему известно и то, какъ объясняла народную древность классическая археология, которая уже выработала въ то время остроумныя объясненія древнихъ бытовыхъ явлений. Снегиревъ дѣлаетъ ссылки на Шлегеля, Ваксмута, Отфрида Мюллера, и въ началѣ книги высказываетъ сожалѣніе, что не могъ пользоваться (только выходившими тогда въ свѣтѣ) сочиненіями о миѳологии и древностяхъ Шеллинга, Гримма и Шафарика¹⁾. Такимъ образомъ, Снегиреву понятна была тѣсная связь народного обычая съ древнѣйшимъ бытомъ, которого онъ является остаткомъ, прошедшемъ черезъ всякія испытанія исторіи. Какъ въ книгѣ о пословицахъ, такъ и здѣсь, обильный материалъ собранъ былъ живымъ личнымъ наблюденіемъ, свѣдѣніями отъ другихъ и большимъ знаніемъ старой и новой русской литературы. Такого богатаго материала до Снегирева не было еще никѣмъ собрано и объяснено въ нашей литературѣ, и въ научныхъ пріемахъ—хотя они были еще, какъ увидимъ, весьма несовершенны—какая громадная разница съ нелѣпіями Сахарова!

Какъ первый опытъ русской „еортологіи“ (такъ называетъ Снегиревъ свое изслѣдованіе), гдѣ въ первый разъ давались объясненія древней миѳологии въ связи съ бытомъ, сочиненіе его не обошлось безъ крупныхъ и мелкихъ ошибокъ. У него нѣтъ уже прежняго грубаго произвола миѳологическихъ толкованій, но нѣтъ еще и правильныхъ филологическихъ пріемовъ,—онъ все еще черезъ-чуръ легко поддается внѣшнимъ сходствамъ и созвучіямъ и строить на нихъ миѳологические выводы²⁾. Ему было знакомо различіе между источниками первоначальными и позднѣйшими книжными измышленіями; но тѣмъ не менѣе старая русскія божества онъ перечисляетъ

никахъ, на которую митрополитъ дѣлалъ свои замѣчанія и оставилъ у себя на разсмотрѣніе“. („Ив. Мих. Снегиревъ“, стр. 48—49).

¹⁾ Въ позднѣйшемъ продолженіи своего сочиненія онъ, впрочемъ, ссылается на Гриммовы „Rechtsalterthämer“ (1828), IV, 125, и на Шафариковы „Древности“, первыя части которыхъ явились тогда въ переводѣ Бодянского, III, 128.

²⁾ Напр., на первыхъ же страницахъ: „Скандинавскій Белъ, или Балъ, божество огня и свѣта, сходное съ азіатскимъ Баломъ, и Торъ громоносный, съ млатомъ въ рукахъ (Mjölnet, молнія?) перешли въ Бѣлобога и Чернобога, отличающихся двойственностью славянской религіи, отъ коей германская отличается своею тройственностью; скандинавскій Одинъ или Водинъ, вѣроятно, преобразился въ Водяного“. I, стр. 10. Какъ „перешли“ и какъ „преобразились“, неизвѣстно; но дальше вмѣсто двойственности въ русской миѳологии является тройственность, стр. 152. Во всѣхъ этихъ соображеніяхъ нѣтъ тѣни основанія. Русскій Волосъ приравнивается къ скандинавскому Вал-ассу, а дальше, о немъ „донъинѣ напоминаетъ праздникъ Вель-Оксъ, отправляемый мордвою“ (I, стр. 18), и т. д.

и по Нестору, и по „Четь-Минеямъ“ Дмитрія Ростовскаго¹⁾). Послѣдующимъ изслѣдователямъ уже вскорѣ, съ конца сороковыхъ годовъ, подобныя ошибки бросались въ глаза, какъ недостатки вопіющіе, но для своего времени трудъ Снегирева былъ замѣчательнымъ явленіемъ; онъ во всякомъ случаѣ открывалъ путь для дальнѣйшихъ изысканій, возбуждалъ вопросы²⁾. До сихъ поръ онъ остается незамѣненнымъ, потому что, при всей новой замѣчательной обработкѣ частностей, при громадномъ материалѣ никто еще не собралъ ни цѣлой нашей „еортології“, ни объясненія пословицъ съ новой научной точки зренія; некоторые историческо-бытовыя замѣчанія Снегирева донынѣ остаются неразвитыми далѣе.

Третій трудъ Снегирева по русской этнографіи опять былъ изслѣдованиемъ чрезвычайно любопытнаго и до него никѣмъ не тронутаго предмета. Это—лубочныя картинки. Появляясь съ XVII вѣка и до 1839 г. оставаясь почти не тронутыми цензурнымъ контролемъ, эти картинки составляютъ, какъ известно, цѣлую особую народную литературу, въ разныхъ отношеніяхъ интересную и иногда весьма трудную для исторического истолкованія. Снегиревъ, съ тѣмъ вкусомъ и чутью къ старинѣ, которое его отличало, очень рано обратилъ вниманіе на лубочныя картинки и съ своего первого изслѣдованія о нихъ въ 1822 г. до послѣднихъ лѣтъ своей жизни нѣсколько разъ обращался къ нимъ³⁾, опять полагая на ихъ объясненіе свое большое знаніе письменной и печатной старины и практическое знаніе народнаго обычая. До новѣйшаго изданія Д. А. Ровинскаго труды

¹⁾ Гдѣ въ житіи кн. Владимира являются такие „боги“ какъ: Позвиздъ или Вихоръ, богъ воздуха; Ладо, богъ веселія; Купало, богъ плодовъ земныхъ, и т. п., никогда не бывалые. I, стр. 11.

²⁾ Снегиревъ понималъ трудность дѣла и необходимость дальнѣйшихъ исканій. „Самъ постигая всю важность и обширность избраннаго мною предмета, объемлющаго внутреннюю жизнь русскаго народа въ разныхъ ея эпохахъ,— говорить онъ въ предисловіи,— нахожу, что онъ требуетъ большихъ и разнообразнѣйшихъ познаній и средствъ, постояннѣйшихъ наблюденій и изслѣдованій, нежели какія я имѣль. Чѣмъ болѣе идти по этому поприщу, чѣмъ глубже вникать въ этотъ предметъ, повидимому, столь обыкновенный и знакомый, но по сущности многосложный и разносторонній, тѣмъ болѣе откроется новыхъ свѣдѣній и соображеній, важныхъ для исторіи, филологіи и философіи“.

³⁾ Первая статья его: „Русская народная галлерея или лубочные картинки“, въ Отеч. Зап. 1822, т. XII, № 30.

— „О простонародныхъ изображеніяхъ“ въ Трудахъ общ. люб. росс. словесности, 1824, кн. IV.

— „Лубочные картинки“, въ Москвитянинѣ, 1841, № 5.

— „О лубочныхъ картинкахъ русскаго народа“, въ Валуевскомъ „Сборникѣ историч., статист. и др. свѣдѣній о Россіи“. Слѣд. 1845.

— „О лубочныхъ картинкахъ рус. народа“. М. 1814, и 2-е изд.: „Лубочные картинки рус. народа въ московскомъ мірѣ“. М. 1861.

Снегирева были единственнымъ цѣльнымъ трактатомъ по этому предмету. Но и здѣсь опять повторились его обычные недостатки: слишкомъ поспѣшные выводы, иногда совсѣмъ грубая ошибки и недосмотры, цитаты на угадъ и на память, и къ нимъ опять строго отнеслась новая критика, которая уже япремѣнно требовала внимательного обращенія съ текстами и доказательного комментарія¹⁾. Тѣмъ не менѣе, когда новѣйший изслѣдователь предпринялъ перебрать и изслѣдовать весь материалъ лубочныхъ картинокъ, онъ нашелъ возможнымъ дать труду Снегирева самую высокую похвалу. „Особенную помощь,—пишетъ г. Ровинскій въ предисловіи къ своему огромному труду,—оказали мнѣ статьи о лубочныхъ картинкахъ И. М. Снегирева; въ нихъ, кромъ полнаго перечня картинокъ, заключается еще чрезвычайное множество историческихъ свѣдѣній и обиходныхъ замѣтокъ, которыхъ могли быть собраны и записаны только такимъ практическимъ маститымъ археологомъ-старожиломъ, какимъ считался въ нашей Москвѣ И. М. Снегиревъ: статьи его о лубочныхъ картинкахъ русского народа—истинное сокровище для людей, занимающихся этимъ предметомъ“²⁾.

Другая область изслѣдованій, которая издавна занимала Снегирева и съ сороковыхъ годовъ почти исключительно его поглощала, была древность монументальная, старое русское художество и въ особенности памятники московской и подмосковной старины. Какъ первые начатки этнографическихъ изысканій сдѣланы были еще въ XVIII столѣтіи, такъ и въ археологии монументальной Снегиревъ имѣлъ своихъ предшественниковъ; но никто, и раньше, и въ его время, не положилъ столько труда на изслѣдованіе памятниковъ старого русского художества вообще, и особенно московской старины. Цѣлый рядъ изданій его, сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, положилъ начало систематическому изученію нашей монументальной старины. Таковы его „Памятники московской древности“ (М. 1842—45); „Памятники древняго художества въ Россіи“ (три вып., 1850); „Письмо объ иконописи къ гр. А. С. Уварову“ (1848)³⁾; „Русская старина въ памятникахъ церковнаго и гражданскаго зодчества“⁴⁾. Москва была предметомъ цѣлыхъ особыхъ изслѣдованій: таковы—

¹⁾ См. ст. Ф. И. Буслаева въ Отеч. Зап. 1861, № 9, и Котляревскаго, „Старина и народность“. М. 1862, стр. 86—87.

²⁾ Рус. нар. картинки, Слб. 1881, I, стр. VI—VII. Замѣтимъ еще, что коллекція Снегирева составила очень важную часть собранія лубочныхъ картинъ, какое имѣется въ Публичной Библіотекѣ.

³⁾ Оно послужило главнымъ материаломъ для сочиненія Сабатье: *Notion sur l'Iconographie sacrée*. St.-Pet. 1849.

⁴⁾ М. 1846—1854, въ 15 выпускахъ, въ листъ. Другое изданіе, въ 12⁰ съ дополненіями и поправками, въ 4 книгахъ.

свидѣтельствъ, въ ихъ должной оцѣнкѣ; указала на великую сбивчивость и несвязность изложенія, на небрежность, съ какою авторъ всегда почти относится и къ текстамъ, подлиннымъ словамъ, и къ ссылкамъ на эти слова... Вообще, наука отмѣтила, что археологические труды Снегирева, несмотря на видимую эрудицію, на весь вицьшній образъ учености, значительно слабы именно въ ученомъ отношеніи... Вотъ почему труды г. Снегирева, пользуясь большимъ уваженіемъ въ средѣ непосвященныхъ, обыкновенныхъ читателей, вообще не столько цѣнились изслѣдователями, заинтересованными непосредственно и ближайшимъ образомъ въ тѣхъ вопросахъ, которыхъ касался и которые обрабатывалъ авторъ, а потому и входившими въ самое близкое знакомство съ его изысканіями... Изслѣдователи, послѣ долгихъ и очень тяжелыхъ операций надъ сочиненіями Снегирева, могли вынести одно непреложное убѣжденіе, что пользоваться этими сочиненіями нужно съ великою осмотрительностью и осторожностью, что несравненно легче, плодотворнѣе для себя и во всѣхъ смыслахъ полезнѣе имѣть дѣло прямо съ самыми источниками, чѣмъ изучать сочиненіе, котораго почти каждую строку приходится очищать критикою, провѣрять съ тѣми же источниками, большею частію, всѣмъ доступными... Все это въ работающей средѣ ставило труды Снегирева какъ бы внѣ науки, внѣ ея границъ. Они не попадали въ ея теченіе, въ ея общій оборотъ, несливались органически съ новыми дальнѣйшими работами, какія предпринимались по тѣмъ же вопросамъ другими изыскателями, что должно бы непремѣнно случиться, даже противъ воли и желанія этихъ изыскателей... Труды Снегирева положительнымъ путемъ никогда и нигдѣ не дѣйствовали въ научной обработкѣ нашихъ древностей. Ихъ связь съ этою обработкою обнаруживалась всегда только отрицательно, выражала только неизбѣжную полемику съ ними, неизбѣжную ихъ перевѣрку, что въ видахъ рѣшительной безполезности и излишняго труда нерѣдко даже совсѣмъ оставлялось изслѣдователемъ¹⁾.

Г. Забѣлинъ былъ особенно въ правѣ высказывать столь суровый приговоръ. Работая въ той же археологической области, ему именно приходилось ближайшимъ образомъ провѣрять изслѣдованія Снегирева, убѣждаться въ невозможности принимать его выводы и даже его цитаты, вообще въ крайнихъ недостаткахъ его исторической критики. Замѣчанія г. Забѣлина о научныхъ свойствахъ трудовъ Снегирева безъ сомнѣнія справедливы, какъ справедливо и то, что они остались какъ бы внѣ науки, не имѣя внутренней связи съ дальнѣй-

¹⁾ Забѣлинъ, Опыты изученія русскихъ древностей и исторіи. Ч. II, М. 1873, стр. 119—122.

шими изслѣдованіями. Нужно, однако, сдѣлать оговорку, что наша историческая наука еще такъ вообще молода, что почти только съ Снегиревымъ и начинается разработка нашей монументальной археологии и сколько-нибудь научной этнографіи, и онъ послужилъ наукѣ уже тѣмъ, что въ ихъ младенческомъ состояніи онъ ставилъ научные вопросы (какъ въ изслѣдованіяхъ о пословицахъ, о народныхъ праздникахъ, о народныхъ картинкахъ) и начиналъ собирательство, хотя недостаточно научное, но котораго раньше почти не было. Мы приводили выше, какъ въ наши дни нашелъ возможнымъ отозваться объ его собирательствѣ г. Ровинскій; укажемъ еще сочувственные слова г. Буслаева, когда онъ, по смерти Снегирева, резюмировалъ его ученую дѣятельность¹⁾). Недостатки Снегирева происходили какъ отъ новости науки, пріемы которой онъ собиралъ эклектически (въ этнографії) и не въ силахъ былъ выработать въ правильный методъ, такъ и отъ господствующаго характера литературы (двадцатыхъ годовъ), въ которомъ сложились его литературныя понятія. Цѣль его была не только научная, но и популярная, и послѣдняя еще болѣе, чѣмъ первая; читатели и самая критика были очень мало приготовлены и были вполнѣ удовлетворены,—первая серьезныя требованія поставлены были только позднѣе (съ сороковыхъ годовъ). Его общія историческія представленія были карамзинскія; представленія о народѣ и народности отвѣчали извѣстной программѣ, и съ этой стороны опять не сходились съ позднѣйшей школой, которая приступила къ изученію народности безъ предвзятыхъ и постороннихъ наукѣ соображеній.

Переходимъ къ писателю иного характера, болѣе молодого поколѣнія, на которомъ, въ другихъ формахъ, но также сказалось тогдашнее положеніе народныхъ изученій. Это былъ романтикъ народности—Пассекъ, очень замѣченный въ свое время писатель, но рано умершій, только-что начавши свою дѣятельность.

Вадимъ Васильевичъ Пассекъ²⁾ родился, въ іюнѣ 1807, въ Тобольскѣ, гдѣ отецъ его, извѣстный по своимъ печальнымъ приключеніямъ, жилъ съ семьею въ ссылкѣ, въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Тобольскій губернаторъ въ то время особенно гналъ семейство Пассековъ и выселилъ его, въ глубокую осень, за двадцать верстъ отъ города. Вадимъ остался и прожилъ годы дѣтства въ домѣ

¹⁾ Моск. Университетскія Извѣстія, 1869.

²⁾ Біографіческія свѣдѣнія о немъ см. въ воспоминаніяхъ его вдовы: „Ізъ дальніхъ лѣтъ. Воспоминанія Т. П. Пассекъ“. Спб. 1878—79, т. I, стр. 366—384, 432 и слѣд.; рядъ главъ во II-мъ томѣ, и частію въ недавно вышедшемъ III-мъ томѣ. Спб. 1889.

ихъ друга, инспектора врачебной управы, Керна¹⁾. Средства семьи заключались въ той части дохода съ харьковского имѣнья, какая приходилась на долю двухъ сыновей, рожденныхъ до ссылки отца; но мало-по-малу высылка денегъ сокращалась и, наконецъ, прекратилась. Семейство умножалось, наступала нужда; но семья держалась дружно и работала. Вадимъ, тихій, задумчивый, съ поэтической наклонностью, рано увлекался и красотами природы, и рассказами о старинѣ...

Черезъ двадцать лѣтъ ссылки, Пассекъ-отецъ былъ, наконецъ, возвращенъ (въ 1824 или 1825). Многолюдная семья перебралась въ Москву, гдѣ родственныя связи съ нѣкоторыми богатыми и значительными людьми помогли ей кое-какъ устроиться. Въ 1830, отецъ умеръ и семья осталась на заботѣ старшихъ сыновей, упорно для нея работавшихъ. Вадимъ въ послѣднихъ двадцатыхъ годахъ былъ въ московскомъ университете; въ молодомъ поколѣніи бродилъ идеалистической романтизмъ, къ которому Пассекъ былъ склоненъ уже отъ природы. Онъ шелъ въ университетъ раньше Герцена, но они еще встрѣтились и сошлись очень дружески²⁾: ихъ соединяли общія наклонности, интересы къ наукѣ и поэзіи, стремленіе къ осуществленію въ жизни нравственно-общественныхъ идеаловъ; только послѣ въ ихъ мнѣніяхъ стали сказываться различные оттѣнки, что одно время и произвело между ними охлажденіе. Пассекъ кончилъ курсъ по юридическому факультету, кажется, до холерного года. Въ этомъ году, когда эпидемія производила въ Москвѣ, какъ и вездѣ, страшную панику, Пассекъ одинъ изъ первыхъ предложилъ себя въ распоряженіе холерного комитета и дѣйствовалъ съ рѣдкимъ само-отверженіемъ: онъ завѣдывалъ въ больницахъ канцеляріей, хозяйственной частью, ухаживалъ за больными и даже, съ нѣкоторыми изъ врачей, дѣлалъ на себѣ опыты прилипчивости болѣзни. Опыты показали противъ прилипчивости, и послѣ этого къ болѣзни стали относиться смѣлѣе и явилось больше желающихъ помогать въ общественномъ бѣдствіи³⁾.

Въ 1832, Пассекъ женился на „корчевской кузинѣ“ Герцена и принялъ за „Нутевые записки“, которыхъ были его первымъ тру-домъ. Весной 1834, графъ А. Н. Панинъ, попечитель харьковского университета (раньше служившій въ Москвѣ при московскомъ попе-

¹⁾ „Я родился въ то время, — писалъ Пассекъ, — когда безпощадно тѣснили и терзали родную семью, поэтому былъ на долго отдаленъ отъ нея, росъ среди чужихъ, сталъ рано думать и чувствовать и долженъ былъ сосредоточиваться, замыкаться самъ въ себѣ“. „Изъ дальнихъ лѣтъ“, I, стр. 375.

²⁾ Тамъ же, I, 317—318, 328, 355—365, и пр.

³⁾ Тамъ же, I, стр. 357—358.

чителъ кн. С. М. Голицынѣ), предложилъ Пассеку каѳедру русской исторіи въ Харьковѣ, и онъ было началъ собираться въ путь. Между тѣмъ въ іюль этого года въ Москвѣ произошелъ арестъ нѣсколькихъ молодыхъ людей, обвиненныхъ за пѣніе на пирушкѣ недозволительныхъ пѣсенъ. Къ Пассеку это не имѣло никакого отношенія, но исторія эта, очень безсмысленно, отразилась и на немъ. По письмамъ, находимымъ у арестуемыхъ, переходили отъ одного къ другому, отъ поэта Соколовскаго къ Сатину, къ Огареву, наконецъ, къ Герцену. По арестѣ послѣдняго, ждалъ и Пассекъ своей очереди, но, по разсказу г-жи Пассекъ,— „продолжительная отлѣчки Вадима передъ женитьбой (для устройства дѣла съ харьковскимъ имѣніемъ), частыя, продолжительные поѣздки наши послѣ женитьбы, новые интересы виѣ товарищескаго кружка спасли его отъ ударовъ собравшейся грозной тучи, но, несмотря ни на что, рикошетомъ они попали и въ насъ“¹⁾). Когда, пріѣхавши въ Харьковъ, Пассекъ явился къ гр. Чанину, тотъ сообщилъ ему, что изъ Москвы получена бумага, въ которой сказано, чтобы не допускать Пассека до чтенія лекцій, вслѣдствіе его сношеній съ арестованными молодыми людьми, а если уже читаетъ, то учредить строгій надзоръ. Лекціи и не были начаты. Пассекъ поселился въ своей деревнѣ, въ харьковской губерніи; здѣсь его сосѣдомъ оказался жандармскій полковникъ, съ которымъ онъ дружески сошелся и который сообщилъ ему, что дѣйствительно долженъ доставлять о немъ отчеты... Пассекъ прожилъ въ Харьковѣ и въ деревнѣ 1834—36 годы, съ небольшой поѣздкой въ Киевъ, занимаясь этнографическими и статистическими изученіями. Въ 1836, онъ былъ причисленъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ, по статистическому отдѣленію, и считался откомандированнымъ въ харьковскую губернію; въ 1837, онъ представилъ въ министерство свое историко-статистическое описание харьковской губерніи съ планами и видами. Оно было напечатано въ официальномъ изданіи²⁾. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ занимался изслѣдованіемъ древностей, городищъ и кургановъ и отчетъ о нихъ доставилъ въ Общество исторіи и древностей, которое избрало его въ свои члены. Въ Москву онъ вывезъ для университета изъ Украины три каменные „бабы“.

По полученіи работы Пассека о харьковской губерніи, министерство дало ему порученіе составить статистическое описание таврической губерніи. Для этого надобно было предварительно въ Одессѣ ознакомиться съ архивомъ новороссійскаго и бессарабскаго генераль-

¹⁾ Изъ дальніхъ лѣтъ, I, стр. 435.

²⁾ Матеріалы для статистики Россійской имперіи, издаваемые, съ высочайшаго соизволенія, при статистическомъ отдѣленіи министерства внутреннихъ дѣлъ. Спб. 1839—41 (два тома), т. I, отд. II. стр. 125—167.

губернатора. Въ Одессѣ, съ поѣздкою въ Крымъ, Пассекъ провелъ 1837—38 годы. Еще въ Харьковѣ онъ задумалъ изданіе „Очерковъ Россіи“, и его мысль, какъ и вообще взглядъ его на изученіе народа, были съ великимъ сочувствіемъ раздѣлены Срезневскимъ, который въ тѣ годы былъ въ разгарѣ этнографического романтизма. Въ Одессѣ Пассекъ также встрѣтилъ людей, сочувствовавшихъ его планамъ, и тѣмъ усерднѣе готовился къ изданію, для котораго уже набирались сотрудники и статьи. Въ 1838 году вышла первая книга „Очерковъ Россіи“.

Въ началѣ лѣта 1838, Пассекъ сдѣлалъ поѣздку въ Крымъ, къ осени вернулся въ Харьковъ, оставался здѣсь до лѣта слѣдующаго года, сдѣлалъ новыя поѣздки по харьковской губерніи и осенью 1839 перѣхалъ въ Москву.

Въ Москвѣ Пассекъ встрѣтился снова съ кружкомъ Герцена, но завязалъ и другія связи, которыхъ, повидимому, становились ему ближе и сочувственнѣе. Осеню 1840, синъ отправился въ Петербургъ; тѣлью поѣздки были его литературные планы и официальная дѣла, а именно онъ,透过 K. И. Арсеньева, хотѣлъ напомнить въ министерствѣ, где считался на службѣ, обѣ обѣщанномъ ему первомъ вакантномъ мѣстѣ чиновника особыхъ порученій при министрѣ. Арсеньевъ съ участіемъ взялся за его дѣло; мѣсто обѣщано, а пока ему поручено было составленіе статистическихъ свѣдѣній о московской губерніи и дана награда за описание таврической губерніи.

Въ 1841, Пассекъ составилъ статистическое описание московской губерніи, признанное образцовымъ; составилъ путеводитель по Москвѣ и ея окрестностямъ¹⁾, хлопоталъ обѣ изданіи „Очерковъ Россіи“. Средства его были очень стѣсненные; онъ считался на службѣ, но жалованья ему не давали. Весной 1842, архимандритъ Симонова монастыря Мельхиседекъ предложилъ ему составить историческое описание Симонова монастыря, съ вознагражденіемъ въ 300 рублей. Онъ взялся за эту работу, которая и была вскорѣ кончена и издана, но вмѣсто гонорара, Пассекъ просилъ за свой трудъ — отвести ему и семье мѣсто на монастырскомъ кладбищѣ! Въ томъ же году пришлось воспользоваться этимъ условіемъ — сначала для его ребенка, а осенью — для него самого. Еще лѣтомъ Пассекъ заболѣлъ, простудившись; къ осени ему дѣжалось все хуже и 25 октября 1842 онъ умеръ. Въ этомъ году вышла и послѣдняя, 5-я книга „Очерковъ Россіи“.

Первымъ произведеніемъ Пассека, какъ выше замѣчено, были „Путевые записки“ и еще небольшая статья „Странное желаніе“,

¹⁾ Московская справочная книжка, изданная Вад. Пассекомъ. М. 1842.

напечатанная позднѣе¹⁾). Достаточно прочесть нѣсколько страницъ этой послѣдней статьи, чтобы видѣть мечтательную подкладку его взглядовъ, сохранившуюся и позднѣе. „Странное желаніе“ заключается въ слѣдующемъ:

„Духъ вѣченъ и нѣтъ для него избраннаго времени, человѣкъ не весь прикованъ къ настоящему; онъ любить воскрешать минувшіе вѣка, углубляться до дня созданія, въ безконечность времени, и уноситься думой въ будущее.

„Оттого-то и мнѣ хотѣлось бы всюду жить въ каждое мгновеніе времени, во всѣ возрасты человѣчества и природы: хотѣлось бы присутствовать при всѣхъ переворотахъ земли, взгромоздившихъ горы и разъединившихъ всѣ ея части, когда еще кипѣли рѣки металловъ (!) и раскаленная атмосфера неразлучно носилась съ земнымъ шаромъ! Хотѣлось бы взглянуть, какъ послѣ стихійнаго состоянія отდѣлились воды, заструились рѣки, зацвѣли первыми цвѣтами поля и послышалось первое пѣніе птицъ... Желалъ бы перечувствовать всѣ чувства, всѣ впечатлѣнія первого человѣка, переходить съ нимъ изъ поколѣнія въ поколѣніе... и пр.

„Что мнѣ жизнь, если я не составляю живой части цѣлаго міра; что мои бѣдные дни, если они не сливаются съ вѣчностію!

„Страшно быть отторгнутымъ отъ общества людей, невыразимо страшнѣй быть отторженными бытіемъ отъ вселенной и жизнію отъ вѣчности (?). Я теряюсь, гибну при одной мысли объ этомъ отчужденіи, оно роняетъ человѣка ниже ничтожества.

„Не оттого ли мы нерѣдко томимся желаніемъ представить всю минувшую жизнь вселенной, узнать ея настоящее и разгадать будущее?

„Но человѣку не воскресить прошедшаго, не удовлетвориться и разгадкой будущаго! Гдѣ же полное удовлетвореніе жизни? гдѣ найду наслажденіе жизни всевременной и вездѣ присутствующей—

Въ святой и жаркой вѣрѣ на землѣ—

И тамъ, гдѣ нѣтъ уже земныхъ преградъ“, и пр.

„Путевые Записки“²⁾ всего нагляднѣе указываютъ настроеніе и основную мысль, проходящую въ работахъ Пассека. Когда книга вышла, Сенковскій замѣтилъ въ „Библіотекѣ для чтенія“, что вѣроятно авторъ путешествовалъ въ воображеніи, сидя покойно на диванѣ въ своемъ кабинетѣ, и болѣе по протекшимъ вѣкамъ. Другъ автора, Лажечниковъ, въ письмѣ, относится къ книгѣ съ осторожнouю уклончивостью³⁾. И дѣйствительно, въ книгѣ много историко-поэтическихъ фантазій о прошлыхъ вѣкахъ, а настоящихъ путевыхъ записокъ совсѣмъ не имѣется; тѣмъ не менѣе она любопытна для

¹⁾ Въ сборникѣ „Литературный Вечеръ“, М. 1844, который по его смерти изданъ былъ московскимъ литературнымъ кружкомъ въ пользу его семейства. Объ этомъ сборникѣ см. въ „Современникѣ“ 1844 г., т. 35. „Изъ дальнихъ лѣтъ“, т. II, стр. 204—205, 344—345.

²⁾ Путевые записки Вадима *. Москва, 1834. 8°. 180 стр. Посвященіе: „Татьянѣ Петровнѣ Пассекѣ“.

³⁾ Письмо 1834 г.: „Изъ дальнихъ лѣтъ“. II, стр. 222.

исторії этнографії. Народно-историческій интересъ только-что складывался: чувствовалась недостаточность прежней чисто вѣшней государственной исторіи, и возникала потребность изслѣдовывать основы внутренней жизни народа, его бытовые и нравственные идеалы. Это стремленіе, еще поэтически-неопределённое, особенно выразилось у Пассека, и оттого имя его называлось въ то время съ большими сочувствіями: онъ высказывалъ созрѣвшую потребность. Труды его, кромѣ немногихъ описательныхъ сочиненій, немного дали прямого научного материала, но имѣютъ свое историческое значеніе: это — предисловіе къ наступившимъ вскорѣ спорамъ славянофиловъ и западниковъ о русской національной идеѣ и къ болѣе глубокой постановкѣ этнографическихъ изученій.

Книга дѣлится на вѣсколько главъ или статей: первая посвящена личнымъ воспоминаніямъ и размышеніямъ о русской старинѣ; вторая посвящена „Українѣ“ (стр. 51—112, съ эпиграфомъ изъ Рудаго-Шанька); третья — „Малороссії“ (стр. 113—155); далѣе идутъ „мечтанія“, гдѣ авторъ обращается къ общему вопросу личной и исторической жизни человѣка, къ опредѣленію исторіи, къ необходимости новыхъ изученій прошлаго Россіи; наконецъ, небольшой „эпилогъ“.

Книга открывается воспоминаніями дѣтства и юности въ Сибири — о впечатлѣніяхъ свѣжей и дикой природы, о народныхъ историческихъ предавіяхъ („Ермакъ былъ первымъ героемъ моихъ мечтаній“); потомъ — переѣздъ въ Россію, путь до Москвы среди новыхъ впечатлѣній; наконецъ, Москва. Мечтанія юности сливаются съ мечтаніями историка. Кремль переноситъ автора въ прошедшее Москвы, въ далекую старину русской народной жизни: историкъ долженъ открыть ея характеръ, источникъ ея отличій отъ жизни западной Европы. Авторъ находитъ этотъ источникъ въ особомъ усвоеніи христианства славянскимъ племенемъ:

„Оно (христианство) близко душѣ человѣка, потому что проповѣдуется все истинное и благое; оно близко къ характеристику славянскихъ племенъ по своей созерцательности“ (стр. 44).

Въ этой „созерцательности“, христианскомъ спокойствіи и покорности, онъ находитъ поясненіе многихъ событий русской исторіи.

Обязанность историка и значеніе исторіи представляются ему въ самыхъ возвышенныхъ чертахъ:

„Тотъ не историкъ, кто не поэтъ,—говоритъ Пассекъ:—потому что у него не достанетъ души, чтобы слиться съ человѣчествомъ, чтобы обнять его, потому что исторія есть законъ минувшаго, вдохновенное пророчество о будущемъ! Тотъ не историкъ, кто не мыслитель и не поэтъ. Только Вико, Гердеры, Боссюэты, Нибуры создали исторію, только поэтический идеализмъ Шеллинга

и Фихте оживотворилъ ее своимъ ученьемъ. Но сочувствовать можно *чemu-нибудь*, и это *что-нибудь*, говорю я, есть *внутренняя жизнь* человѣчества, въ своемъ началѣ и во всѣхъ своихъ проявленіяхъ. Мы познаемъ развитіе настоящаго по событиямъ минувшимъ, а минувшее освѣтляемъ жизнью настоящаго. И тотъ не понимаетъ исторіи народа, кто не объемлетъ умомъ, не сочувствуетъ сердцемъ малѣйшихъ движений его внутренней жизни; кто не видитъ, какъ живеть прошедшее въ настоящемъ; кто думаетъ возсоздать жизнь по одинѣмъ лѣтописямъ или остаткамъ искусства, и въ настоящемъ бытъ не видить основныхъ началь, по которымъ дѣйствовало минувшее, и станетъ дѣйствовать грядущее.

„...Должно умомъ и сердцемъ взглядѣться въ настоящій бытъ народа! Должно быть съ нимъ, видѣть его во всѣхъ измѣненіяхъ, подъ всѣми впечатлѣніями обстоятельствъ и условиями виѣшней природы—однимъ словомъ, должно *путешествовать*... (стр. 166—168).

Съ чего же начать путешествіе? На это указываетъ исторія государства. Оно имѣетъ свои центры, состоящіе въ извѣстной мѣстности, въ характерѣ племени, и разливающіе на жизнь государства свои оттѣнки. Исключивъ окраины, въ самомъ русскомъ племени Пассекъ указываетъ три такихъ центра и основныхъ пункта изслѣдованія: Новгородъ, Кіевъ и Москву, съ ихъ соотвѣтственными землями и населеніями. Изученіе Россіи по этимъ центрамъ, въ ея внутреннихъ историческихъ движеніяхъ, въ связи прошлаго съ настоящимъ, было его завѣтной идеальной цѣлью:

„Вотъ колоссальное предпріятіе, которымъ такъ полны моп думы и мечтанья!—Боже мой! какъ радостно оживаетъ душа, когда я вижу, когда только воображаю всѣ начала историческихъ событий живыми въ живыхъ племенахъ! И я изслѣдую сіи начала не въ одинѣхъ лѣтописяхъ, но въ умѣ и сердцѣ и самыхъ заблужденіяхъ настоящаго поколѣнія! И я переживаю цѣлые вѣка и всѣ переливы жизни!

„О, дайте мнѣ крылья! Я чувствую себя сильнымъ раскрыть этотъ новый свѣтлый міръ! Сочувствуете ли вы мнѣ? бьется ли у васъ восторгомъ сердце? или вы безчувственны и смѣетесь надъ чистымъ мечтаніемъ юноши?.. (стр. 173).

Въ этой восторженной формѣ выраженія высказана мысль о необходимости изученія мѣстныхъ элементовъ исторіи и народныхъ бытовыхъ особенностей, налагающихъ печать на развитіе государства.

И съ этой точки зреінія, его особенно теплое, даже восторженное чувство поднимаетъ Малороссія, родина его предковъ. Въ ней возникли первые элементы нашего отечества, изъ нея разлился въ немъ свѣтъ христіанства, и пр.

„Кто первый изъ насъ вошелъ въ связи съ европейскими державами? Кто остановилъ гибельный потокъ первыхъ татарскихъ ордъ, принудилъ ихъ снова удалиться въ свои степи и такъ сильно, такъ пламенно и роскошно воспѣлъ битвы съ кочевыми половцами?—Малороссіяне!

„Какой народъ безъ твердыхъ и постоянныхъ предѣловъ, которые могли бы

его защитить отъ воинственныхъ сосѣдей, безъ неприступныхъ горъ, которыхъ могли бы спасти его независимость, умѣль быть страшнымъ для своихъ враговъ, успѣль развить свою національность и сохранить ее въ тяжелые пять вѣковъ насилия татарскаго, литовскаго и польскаго? Какой народъ въ пять вѣковъ неволи, когда пепелили его города, предавали мученіямъ за преданность религії, умѣль ее сохранить, и въ это время не разъ былъ грозою своимъ притѣснителямъ и среди сихъ пытокъ созидалъ училища для образованія юношества? Этотъ народъ былъ — малороссіяне! Доселѣ наше отечество гордится принятиемъ религії греческой и она впервые принята — Малороссіею. Доселѣ гордимся мы побѣдными походами Святослава — и въ нихъ были толпы малороссіянъ. Доселѣ одно воспоминаніе о пѣсняхъ Бояновъ навѣваетъ мечтою и переносить въ минувшее — и Бояны были поэты Малороссіи, между тѣмъ какъ сѣверъ не оставилъ памяти о своихъ пѣвцахъ. Для настъ бессмертно Слово о походѣ Игоря — и оно есть произведеніе малороссійское, воспѣтый въ немъ дѣла свершены малороссіянами. Они бились съ половцами и печенѣгами; они пробудили жизнь на сѣверѣ Россіи и перенесли сюда всѣ зачатки государства“... (стр. 113—114).

Мысль о зависимости событий отъ основныхъ особенностей народного характера и обычая примѣняется у Пассека въ объясненіи удѣльной системы. По его мнѣнію, она „возникла и должна была возникнуть изъ духа южныхъ славянъ, изъ самаго быта малороссийскаго народа, и погибнуть на сѣверѣ“. Именно, удѣльная система возникла изъ семейнаго раздѣла у малороссіянъ, въ противоположность цѣлости и единонаачалію у великороссовъ; перейдя на сѣверъ, удѣльная система стала раздѣломъ отцовскаго наслѣдства, съ соблюденіемъ семейнаго старшинства, и уже носила въ себѣ всѣ начала единодержавія. Въ нѣсколько иной формѣ, эта мысль была именно развиваема позднѣе нашими историками.

Если по особенной любви къ прошлому и къ народности Малороссіи, Пассекъ становится въ ряду начинателей такъ-называемаго украинофильства, то въ другихъ сторонахъ своихъ мнѣній онъ довольно близко подходитъ къ послѣдующей славянофильской школѣ. Любопытенъ въ этомъ отношеніи особенный интересъ Пассека къ славянству, высказанный уже въ „Путевыхъ Запискахъ“, и любопытно его представленіе объ общемъ характерѣ славянскаго племени. Отличительной чертой его Пассекъ считаетъ „созерцательность“, перевѣсь внутренней жизни надъ внѣшней, спокойствіемъ надъ дѣятельностью, и поэтому онъ считаетъ всѣхъ славянъ предрасположенными къ принятию греческаго исповѣданія, какъ имѣющаго много общаго съ ихъ характеромъ — мысль чисто славянофильская, только иначе выраженная. Этимъ предрасположеніемъ Пассекъ объясняетъ и церковную борьбу чеховъ. „Богемія, славянская страна, первая обратила критическій взглядъ на свою религію, менѣе всѣхъ увлеклась силой и блескомъ католицизма и первая водрузила знамя

реформациі. Она, полная элементовъ славянизизма (*sic*), доказала возстаніемъ Гусса, что ищеть въ религіи не посредничества папы, не блеска, не виѣшней торжественности, но истины, одной идеи, прямого созерцанія. Она доказала, какъ ей близка религія греческая, какъ она близка всѣмъ славянскимъ племенамъ, и всѣ они усвоили бы ее съ душевною готовностью, еслибы западъ не распространялъ своего ученія съ такою увлекательною силою и быстротою”... (стр. 43).

Межъ тѣмъ, отношенія Пассека съ старымъ кружкомъ становились натянутыми; стала, безъ сомнѣнія, чувствоватьсь разница взглядовъ. Холодная шутка сказывается въ письмахъ Герцена, приводимыхъ въ воспоминаніяхъ г-жи Пассекъ¹⁾; были случаи, въ которыхъ недовѣрчивость къ Пассеку выражалась даже непозволительно рѣзко, какъ, напр., въ отказѣ богатаго Огарева помочь затрудненію Пассека при изданіи „Очерковъ Россіи“. Авторъ воспоминаній „Изъ дальнихъ лѣтъ“ настаиваетъ, что это отдаленіе прежнихъ друзей было совершенно несправедливо и выходило изъ недоразумѣнія,—что несмотря на разницу нѣкоторыхъ взглядовъ, напр., на сочувствіе „къ флу славянъ“, на его религіозность, на „любовь къ родинѣ“ (?), въ его мнѣніяхъ не произошло перемѣны, которая оправдывала бы это отдаленіе²⁾; что наконецъ, не задолго до смерти Пассека, дружескія отношенія возстановились опять въ прежней силѣ. Тѣмъ не менѣе, разница взглядовъ несомнѣнно образовалась; корень ея вѣроятно былъ очень давній. Ихъ дѣлило многое: прежде всего неравенство лѣтъ,—Пассекъ былъ нѣсколькими годами старше своихъ друзей, и эта разница бываетъ особенно замѣтна въ томъ возрастѣ, когда на одной сторонѣ бываютъ еще свѣжи всѣ юношеские порывы, а на другой они смѣняются уже болѣе спокойнымъ взглядомъ на жизнь и начинающимся опытомъ, который у Пассека увеличивался и внѣшимъ положеніемъ, отстранявшимъ беззаботныя фантазіи юности³⁾. Его младшіе друзья увлекались политическими идеями, а особливо тѣмъ отвлеченнымъ и мечтательнымъ соціализмомъ, какимъ онъ былъ тогда и долго послѣ; Пассекъ давно увлекался народностью. Онъ сохранилъ романтическое настроеніе молодости, стремленіе къ просвѣщенію, но историко-этнографические, статистические труды отдали его отъ интересовъ прежняго кружка: история и этнографія, съ ихъ специальными изученіями, были иною областью, чѣмъ соціальная философія; первыя приближали къ дѣйствительности, вторая легко

¹⁾ Томъ II, стр. 309, письмо изъ Владимира, въ ноябрѣ 1839; стр. 336, изъ Петербурга, въ январѣ 1841.

²⁾ Томъ II, стр. 311—312, 331, 342.

³⁾ Ср. т. I, стр. 471—472, 484—485.

витала въ фантазіяхъ. Въ интересахъ своихъ работъ Пассекъ сближался съ другимъ кругомъ, гдѣ этнографические интересы сопровождались однако прибавками, которые вѣроятно не совсѣмъ подходили къ его собственнымъ понятіямъ, и уже совсѣмъ не подходили къ понятіямъ его прежняго круга. Въ Москвѣ, Пассекъ вошелъ въ кружокъ Вельтмана, гдѣ бывали Загоскинъ¹⁾, Максимовичъ, Даль; у него самого бывали Федоръ Глинка, профессоръ Морозкинъ, М. Макаровъ, де-Сангленъ; Пассекъ сближался съ Шевыревымъ, Погодинымъ, Хомяковымъ; въ Петербургѣ—съ Гречемъ. Въ ряду этихъ именъ были люди, имѣвшіе большія заслуги въ исторіи и этнографіи; но были и другіе, съ которыми его прежніе друзья не могли сходиться въ понятіяхъ; были наконецъ люди неуважаемые²⁾.

Въ историко-этнографическихъ взглядахъ Пассека, образчики которыхъ мы приводили, нельзя не признать, при всей романтической идеализаціи, оригинальности и широты наблюденія или—отгадки, которые, еслибы автору суждено было повести далѣе свои работы, могли выработатьсь въ опредѣленную теорію. Объемъ наблюденій Пассека простирался на археологію, исторію, народную поэзію, обычая, преданія и т. д. Сельская жизнь, которую онъ велъ въ Малороссіи, сближала его непосредственно съ бытомъ народа. „Изучая языкъ и жизнь народа, Пассекъ постоянно сближался съ нимъ по деревнямъ, записывалъ повѣрья, сказки, пѣсни; срисовывалъ виды, землемѣльческія орудія, домашнюю утварь, одежду; бывалъ на празднествахъ и сельскихъ ярмаркахъ, такъ любимыхъ малороссами“...³⁾.

Какъ мы упоминали, Пассекъ настаивалъ на необходимости *путешествій* для изученія народности. Но какъ онѣ были практически нелегки въ то время, можно видѣть изъ его жалобъ въ одномъ письмѣ:

„Рѣдкое время дорога отъ Харькова до Москвы бываетъ удобна, обыкновенно же или испорчена, или грязна до того, что лошади мѣстами тянутъ экипажъ шагъ за шагомъ. Зимою, пожалуй, и того хуже. Частыя мятежи заносятъ путь, обозы выбиваются такіе глубокіе, послѣдовательно идущіе ухабы, что поѣздка становится невыносима, медленна и утомительна до крайности. На станціяхъ безпрестанныя остановки, помѣщенія неудобны... На пріѣзжаго на-

¹⁾ Съ Загоскинъ Пассекъ былъ очень близокъ уже въ 1832. „Изъ дал. лѣтъ“. I, стр. 359, 377.

²⁾ Тамъ же II, стр. 70—71, 331—334. Нѣкоторыя изъ этихъ именъ могли быть безразличны въ началѣ тридцатыхъ годовъ, но къ сороковымъ годамъ направлениія стали такъ опредѣляться, что становились прямо враждебными. „Въ началѣ 1841 г.—говорить г-жа Пассекъ,—бывали у насъ вечерами Т. Н. Грановскій и П. Г. Рѣдкинъ, но принадлежа къ другому кругу, мало-по-малу стали бывать рѣдко, хотя и относились къ намъ симпатично“.

³⁾ Изъ дальнихъ лѣтъ, II, 265.

ходить тоска, досада — рвется къ цѣли поѣздки и благословляетъ судьбу, достигнувъ домашняго пріюта. Какъ же при этихъ условіяхъ путешествовать по Россіи!. Путешественники частные, единственно съ цѣлью путешествовать, чрезвычайно рѣдки.

„Не равнодушіе же это ко всему родному! Нельзя быть равнодушнымъ къ тому, что намъ мало извѣстно, когда не знаемъ, на что смотрѣть съ благоговѣніемъ, чѣму дивиться, чѣмъ гордиться, что любить. Конечно, эти страшно трудные пути сообщенія болѣшею частію виной недостаточности свѣдѣній о нашей народной жизни, о нашемъ отечествѣ, богатомъ и красотами, и разнообразіемъ природы, и народной славой, и народными бѣдствіями, обильномъ памятниками, полномъ своеобразной поэзіи“¹⁾).

Эти трудности, весьма элементарныя и однако серьезныя, дѣйствительно много объясняютъ медленность и неполноту нашихъ народныхъ изученій, особенно при громадности пространствъ, которая нужно было бы посвѣтить странствующему этнографу. Но была и другая причина: если въ наше время этнографическое путешествіе становится почти невозможностью, потому что путешественникъ, старающійся войти въ народную жизнь, говорить и дружить съ сельскимъ народомъ, тотчасъ заподозривается и уѣздной полиціей, и самимъ темнымъ и напуганнымъ сельскимъ людомъ, — то и въ тѣ времена, несмотря на провозглашенную официально „народность“, изученіе ея было обставлено своими препятствіями. Сахарову, повидимому, все-таки пришлось испытать придики цензуры, и вѣроятно онъ не только самъ собой, но и для цензуры, писалъ свою жалкую защиту древняго русскаго народа отъ „позорной тѣни многобожія“ и „тайныхъ сказаній“. Дальше увидимъ другіе примѣры того, какъ малодоступно было изученіе народной жизни. Официальная народность видимо не довѣряла народности настоящей.

„Очерки Россіи“ начали выходить съ 1838 года²⁾. Цѣль ихъ была — служить къ распространенію свѣдѣній о нашемъ отечествѣ: собирать „понятія и знанія, пріобрѣтенныя болѣе опытомъ и основаныя на дѣйствительности, нежели выведенныя изъ умозрѣнія“; дѣлать доступными труды путешественниковъ, естествоиспытателей, любителей древности, ученыхъ учрежденій, труды, которые не всѣмъ доступны; возбуждать къ наблюденію и изслѣдованію всего отечественного; „развить и упрочить вѣрнымъ знаніемъ горячее чувство любви къ отечеству и благоговѣніе къ его великой судьбѣ“.

Наибольшая доля „Очерковъ“ принадлежала самому Пассеку. Онъ останавливался на физической географіи Россіи³⁾, на старинѣ и

¹⁾ Тамъ же, II, стр. 270—271.

²⁾ „Очерки Россіи, издаваемые Вадимомъ Пассекомъ“. Кн. I. Спб. 1838. II—IV. М. 1840. Кн. V. М. 1842.

³⁾ Положеніе горъ въ Россіи.—Картины степей.

исторії ¹⁾, на бытъ инородцевъ ²⁾, но съ особеною любовью онъ погружался въ историческія воспоминанія и, наконецъ, въ описанія народнаго быта, именно его поэтической и обрядовой стороны. Рядъ статей этого послѣдняго рода ³⁾ написанъ по внимательному личному наблюденію сельской жизни и сопровождается имъ самимъ записанными пѣснями ⁴⁾.

Только эти послѣднія статьи заключали въ себѣ матеріалъ, цѣнныій для науки; но „Очерки“, и вообще дѣятельность Пассека остаются тѣмъ не менѣе любопытнымъ литературнымъ фактамъ, какъ одно изъ симпатичныхъ выраженій той искренной любви къ народу, которая въ ту пору одушевляла уже новыхъ дѣятелей народнаго изученія и уже вскорѣ произвела въ этой области труды, столько же важные для нравственнаго самосознанія общества, какъ и для науки.

Владимиръ Ивановичъ Даляръ былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ этнографовъ описываемаго періода и вмѣстѣ однимъ изъ популярнѣйшихъ писателей и разсказчиковъ. Правда, его главнѣйшіе этнографические труды появились позднѣе, уже въ наше время, но они принадлежать предыдущему періоду и по замыслу, и по главному сбору матеріала, и по способу выполненія. Мы скажемъ въ другомъ мѣстѣ о литературной дѣятельности Даля и остановимся здѣсь на его работахъ, собственно этнографическихъ.

Біографія Даля была много разъ пересказана ⁵⁾). Онъ родился 10

¹⁾ Кіевопечерская обитель.—Кіевскія златыя врата.—Границы южной Руси до нашествія татаръ.—Окрестности Переяславля.—Куряжскій монастырь.

²⁾ Путешествіе по Крыму.—Обычаи и повѣрья финновъ.—Осетинцы.

³⁾ Праздникъ Купалы.—Малороссійскія святки.—Веснянки.

⁴⁾ Сотрудниковъ у него было немногого: Срезневскій помѣстіль въ „Очеркахъ“ два разсказа того патинутаго историко-поэтическаго стиля, въ которомъ онъ писалъ тогда, а передъ тѣмъ издавалъ „Запорожскую Старину“, и помѣстіль еще статью „Сеймы“, гдѣ помѣщенъ текстъ и изложеніе чешской поэмы „Судъ Любушки“; Вельтманъ сообщилъ любопытный „Портфель служебной дѣятельности Ломоносова“ и двѣ статьи по той фантастической археологіи, которую онъ славился; А. Рославскій—статью „Москва въ 1698 г.“; И. Г. Сенявинъ—„Нѣсколько свѣдѣній о новгородской губерніи“.

⁵⁾ Справочный энциклопедический словарь Старчевскаго, Спб. 1855, IV, 425—427, статья по матеріаламъ г. Максимова, съ подробными библіографическими указаніями сочиненій Даля.

— Толковый словарь живого великорусского языка, В. И. Даля. Записка Я. К. Грота — въ „Сборникѣ“ II Отд. Акад. Н., т. VП, и отдельно. Спб. 1870 (краткая біографія). Повторено въ „Филологическихъ Розысканіяхъ“ (2 изд. Спб. 1876).

— Воспоминаніе о В. И. Даля, Я. К. Грота (съ автобіографической запиской Даля и извлеченіями изъ его писемъ), въ „Сборнике“, т. X, 1873, стр. 37—54, и въ академическомъ „Отчетѣ за 1872 годъ“, стр. 18—26.

ноября 1801 г. въ Лугани, отчего и принялъ впослѣдствіи псевдонимъ „казака Луганскаго“. Отецъ его былъ родомъ датчанинъ, получившій многостороннее образованіе въ Германіи; онъ приглашенъ былъ на службу въ Россію, въ петербургской библіотекѣ, но, по словамъ Даля, увидѣвъ, что въ Россіи мало врачей, отправился снова за границу и вернулся медикомъ¹⁾). Онъ служилъ сначала при войскахъ въ Гатчинѣ, но семья, опасаясь, чтобы при его вспыльчивомъ характерѣ не произошло какого-нибудь столкновенія съ неменѣе вспыльчивымъ великимъ княземъ Павломъ Петровичемъ, съ которымъ ему приходилось встречаться, и чтобы не послѣдовало изъ этого бѣды, уговорила его перемѣнить мѣсто службы, и такимъ образомъ онъ перешелъ сначала въ Петрозаводскъ, потомъ въ Лугань, по горноврачебному вѣдомству, наконецъ, главнымъ докторомъ въ черноморскій флотъ въ Николаевъ. Даль говоритъ о великомъ умѣ, учности и силѣ воли своего отца; по рассказамъ г-жи Даля, онъ былъ масонъ. Въ 1797, отецъ Даля принялъ русское подданство и былъ горячимъ русскимъ патріотомъ, внушалъ дѣтямъ, что они русскіе, зналъ русскій языкъ какъ свой, жалѣлъ въ 1812 году, что дѣти его

- Всемірнаа Іллюстрація, 1872, т. VІІІ, стр. 394, съ портретомъ.
- Московскія Вѣдомости, 1872, № 241, 267.
- Голосъ, 1872, № 150.
- Русскій Архівъ 1872, № 10, ст. Бартенева; № 11. Другіе некрологи указаны въ этнограф. указ. Межова, Извѣстія Географ. Общ. 1875, вып. 2, стр. 10—11.
- Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat, Bd. VIII, стр. 116—124.
- Воспоминанія П. Мельникова, Русскій Вѣстникъ, 1873, № 3, стр. 275—340.
- Дневникъ Шевченка, въ „Основѣ“ 1861—62 (упоминанія о Даля).
- Даляр, по воспоминаніямъ его дочери, Е. Даляр. Русскій Вѣстникъ, 1879, № 7, стр. 71—112. Начало; продолженія, кажется, не было.
- Дневникъ А. В. Никитенка, въ „Р. Старина“, 1889—90 (упоминанія о Даля).

Біографія Даля заслуживала бы болѣе обстоятельного труда, чѣмъ тѣ, какіе есть. Нельзя не счесть большой потерей уничтоженіе его записокъ; — онъ не говорилъ настоящей правды, когда отрекался отъ веденія записокъ въ автобіографії, написанной для г. Грота (Воспоминанія о Даля, стр. 43—44); біографъ Даля положительно говоритъ о существованіи записокъ и о томъ, когда и по какому случаю Даляр сжегъ ихъ „Русскій Вѣстникъ“, 1873, № 3, стр. 316). Если показаніе біографа вѣрно, записки должны были быть чрезвычайно любопытны.

Наконецъ, автобіографіческія замѣтки разбросаны въ сочиненіяхъ Даля, напр., въ разсказахъ: „Мичманъ Поцѣлуевъ“, „Болгарка“ (теплые воспоминанія о пребываніи въ дерптскомъ университѣтѣ), „Подолянка“ и проч.

¹⁾ Г-жа Е. Даляр, по рассказамъ отца, приводить другую причину этого новаго ученья, именно, что родители Фрейтагъ не отдавали своей дочери за ея дѣда, отговариваясь тѣмъ, что онъ теологъ, а не докторъ, напримѣръ; черезъ нѣсколько лѣтъ онъ явился докторомъ. Могли быть и оба обстоятельства. Г-жа Даляр по ошибкѣ называетъ Фрейтаговъ Фрейгангами.

еще молоды и негодны для защиты отечества. Мать была также замечательная женщина; отецъ, по словамъ Даля, „силою воли своей, умѣлъ вкоренить въ насъ на вѣкъ страхъ Божій и святыя нравственныя правила“. Онъ умеръ въ 1820, мать жила до 1858 г.; „нравственно управляла нами,—говорить Даль,—направляя всегда на прикладную, дѣльную, полезную жизнь“.

Въ 1814 году, Даля и его брата свезли въ Петербургъ, въ морской корпусъ. Онъ пробылъ здѣсь до 1819 и выпущенъ былъ мичманомъ; онъ считаетъ, что время, проведенное въ корпусѣ, было убитое время, и „корпусъ“ оставилъ въ немъ на всю жизнь самыя отвратительныя воспоминанія ¹⁾). На бѣду, онъ не выносилъ качки, морская служба была для него пыткой, всѣ старанія перейти на другую военную службу были безуспѣшны. Онъ служилъ сначала въ Николаевѣ, потомъ въ Кронштадтѣ; но отслуживши обязательные годы, Даль вышелъ въ отставку и перѣхалъ въ Дерптъ, где поселилась его мать (отецъ уже умеръ) для воспитанія младшаго сына. Даль рѣшилъ поступить въ университетъ, по медицинскому факультету, въ 24 года начавъ учиться по-латыни почти съ азбуки; онъ былъ (въ 1826) зачисленъ на казенную стипендію. Ему нужно было пробыть въ университѣтѣ до конца 1830 года, но въ турецкую войну 1829, начальство потребовало всѣхъ годныхъ для службы; онъ былъ въ числѣ выбранныхъ и получилъ разрѣшеніе тутъ же держать экзаменъ на доктора.

Онъ пробылъ при арміи въ Турціи и Польшѣ до 1832 г., отличился между прочимъ въ польскую кампанію дѣломъ, совсѣмъ не входившимъ въ его врачебныя обязанности—спѣшной наводкой моста черезъ Вислу; въ Петербургѣ назначенъ былъ ординаторомъ военнаго госпиталя, и тутъ впервые выступилъ на литературное почище „Сказками“. Онъ дали ему первую известность и вмѣстѣ сопровождались непріятной исторіей. За нѣсколько фразъ, превратно расistolкованныхъ въ одной сказкѣ, онъ былъ „взять жандармомъ и посанженъ въ III отдѣленіе, откуда выпущенъ безъ вреда того же дня вечеромъ“ ²⁾). Книжка, какъ говорятъ, была однако изъята изъ про-

¹⁾ Объ этомъ не мало подробностей въ воспоминаніяхъ его дочери.

²⁾ „Русскія сказки, изъ преданія народного изустнаго на грамоту гражданскую переложенные; къ быту житейскому приуроченные и поговорками ходачими разукрашенныя казакомъ Владиміромъ Луганскимъ. Пятокъ первый“. Спб. 1832. 12°. 201 стр. См. обѣ этой книжкѣ: „Русскія книжныя рѣдкости“, Гениали. Спб. 1872, стр. 101—102. Исторія арестованія, въ разсказѣ г-жи Даля, Русск. Вѣстникъ, 1879, кн. 7, стр. 110—112.

Г. Гротъ замѣчаетъ въ биографіи Даля, что „хотя онъ вскорѣ былъ оправданъ, но долго не могъ являться въ литературѣ подъ своимъ именемъ“. Это не точно. Подъ какимъ именемъ онъ не могъ являться? Мы видѣли, что книжка и на первый

дажи. Онъ продолжалъ тѣмъ не менѣе усердно работать въ литературу и еще съ тридцатыхъ годовъ пріобрѣлъ большую популярность, а въ сороковыхъ, даже по отзывамъ самыхъ требовательныхъ критиковъ, какъ Бѣлинскій, считался въ ряду первостепенныхъ талантовъ нашей литературы. Познакомившись у Жуковскаго съ В. А. Перовскимъ, Даль былъ приглашенъ имъ на службу въ Оренбургъ, чиновникомъ особыхъ порученій; пробывъ въ томъ краѣ около семи лѣтъ и „отходивъ“ знаменитый своею неудачею и бѣдствіями хивинскій походъ, Даль возвратился въ Петербургъ, поступилъ въ секретари къ товарищу ministra удѣловъ, Л. А. Перовскому, а потомъ завѣдывалъ особенною канцеляріей его, какъ ministра внутреннихъ дѣлъ, и принималъ тогда близкое участіе въ важнѣйшихъ дѣлахъ ministерства. Съ 1849 по 1859 г., Даль служилъ въ Нижнемъ-Новгородѣ управляющимъ удѣльной конторой. Вышедши затѣмъ въ отставку, онъ поселился въ Москвѣ и посвятилъ свое время обработкѣ и изданію „Толковаго Словаря“, материалъ котораго онъ готовилъ нѣсколько десятковъ лѣтъ. Онъ умеръ 22 сентября 1872 г., присоединившись передъ смертью къ православію.

Даль очень рано заинтересовался народнымъ языкомъ и бытомъ и началъ усердно изучать ихъ. Этотъ первый интересъ его, чисто личный, представляетъ любопытное явленіе литературно-историческое. Литература была тогда въ полномъ разгарѣ романтизма, который, правда, искалъ уже и народнаго элемента, но только въ предѣлахъ романтической темы, въ известной окраскѣ, отдѣлкѣ или поддѣлкѣ. Этнографическая наука была въ младенчествѣ, и ея смыслъ едва угадывался. Пушкинъ былъ еще въ юношеской порѣ, нельзя было предвидѣть будущаго возстанія народнаго элемента и, однако, еще болѣе молодой юноша Даль уже ставить себѣ задачей—розыскивать подлинную русскую народность, въ языкѣ и обычаяхъ. Идея была въ воздухѣ; будущіе ея дѣятели, прежде чѣмъ сознательно воспринять ее, влекутся къ ней инстинктомъ,— и по-французски образованный Пушкинъ, и по-немецки воспитавшійся Даль, и полу-образованный Сахаровъ, и по старинному учившійся Снегиревъ. Позднѣе, когда единичныя работы являются на свѣтъ, оказывается согласіе инстинктовъ, и рядъ параллельныхъ фактовъ создаетъ въ литературѣ „направленіе“.

Такимъ инстинктомъ, угадывавшимъ глубокій вопросъ литературного развитія, были изученія, начатыя Далемъ еще юношей. „Во всю жизнь свою, — говоритъ онъ въ автобіографіи, — я искалъ разъ явилась подъ псевдонимомъ, который въ слѣдующихъ же годахъ повторился въ изданіи „Былѣй и небылицѣ“. Изданіе „Сказокъ“ г. Гrottъ, со словъ Дала, обозначаетъ ошибочно 1833 годомъ.

случая поѣздить по Руси, знакомился съ бытомъ народа, почитая народъ за ядро и корень, а высшія сословія за цвѣтъ или плѣсень, по дѣлу глядя, и почти съ дѣтства смѣсь нижегородскаго съ французскимъ была мнѣ ненавистна, по природѣ... При недостаткѣ книжной учености и познаній, самая жизнь на дѣлѣ знакомила, дружила меня всесторонне съ языкомъ: служба во флотѣ, врачебная, гражданская, занятія ремесленныя, которыхъ я любилъ,—все это вмѣстѣ обнимало широкое поле, а съ 1819 года, когда я на пути въ Николаевъ записалъ въ новгородской губерніи дикое тогда для меня слово: *замолаживаетъ* (помню это донынѣ) и убѣдился вскорѣ, что мы русскаго языка не знаемъ, я не пропустилъ дня, чтобы не записать рѣчъ, слово, оборотъ, на пополненіе своихъ запасовъ. Гречъ и Пушкинъ горячо поддерживали это направленіе мое, также Гоголь, Хомяковъ, Кирѣевскіе, Погодинъ; Жуковскій былъ какъ бы равнодушнѣй къ этому и боялся мужества".

Съ первого начала въ 1819, Даль продолжалъ свои замѣтки постоянно: много было имъ собрано на походахъ въ Турціи, гдѣ были люди изъ всѣхъ губерній; во время поѣздокъ и живя въ разныхъ краяхъ Россіи, онъ собиралъ слова и прислушивался къ нарѣчіямъ русскаго языка, не пропускалъ словъ, услышанныхъ въ разговорѣ. Въ то же время онъ дѣлалъ и другую работу: записывалъ пословицы, собиралъ пѣсни и сказки, повѣрья и суевѣрья. То и другое давало матеріалъ для его позднѣйшихъ работъ, для собраній этнографическихъ и для дѣятельности литературной, гдѣ онъ уже съ первыхъ произведеній явился замѣчательнымъ знатокомъ пріемовъ и ухватокъ народной рѣчи и обычая.

Это изученіе языка скоро, однако, приняло у Даля опредѣленное и, такъ сказать, полемическое примѣненіе. Въ „Напутномъ словѣ“, иначе говоря, въ предисловіи къ „Толковому Словарю“, онъ разсказываетъ, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ себя помнитъ¹⁾), „его тревожила и смущала несообразность письменнаго языка нашего съ устною рѣчью простого русскаго человѣка, не сбитаго съ толку грамотѣствомъ, а слѣдовательно, и съ самимъ духомъ русскаго слова. Не разсудокъ, а какое-то темное чувство строптиво упиралось, отказываясь признать этотъ нестройный лепетъ, съ отголоскомъ чужбины, за русскую рѣчу. Для меня сдѣлалось задачей выводить на справку и повѣрку: какъ говоритъ книжникъ и какъ выскажетъ въ бесѣдѣ ту же, доступную ему, мысль человѣкъ умный, но простой, неученый—и нечего и говорить о томъ, что перевѣсь, по всѣмъ прилагаемымъ къ

¹⁾ Въ выпискѣ мы сохраняемъ обыкновенное правописаніе вмѣсто того, какое изобрѣлъ себѣ Даль въ это время.*

сему дѣлу мѣриламъ, всегда оставался на сторонѣ послѣдняго. Не будучи въ силахъ уклониться ни на волосъ отъ духа языка, онъ по-неволѣ выражается ясно, прямо, коротко и изящно“.

Г. Гrotzъ замѣчаетъ по поводу этихъ словъ, что въ нихъ „лежитъ ключъ ко всей литературной дѣятельности Даля: чѣмъ болѣе онъ подмѣчалъ и записывалъ, тѣмъ болѣе крѣпло его убѣженіе въ негодности нашей письменной рѣчи“. Стремясь къ „народности“ въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ (о нихъ скажемъ въ другомъ мѣстѣ), Даль несолько разъ обращался и къ теоретическому вопросу о народномъ языкѣ и о сообщеніи его свойствъ литературѣ. Первая статья Даля обѣ этомъ предметѣ написана была, къ удивленію, понѣмецки¹⁾ и уже заключала въ себѣ осужденіе нашей подражательной литературы и порчи языка. Въ 1842 г., онъ помѣстилъ о томъ же предметѣ двѣ статьи въ „Москвитянинѣ“²⁾. Въ 1852 г., онъ отзывался на предположенія русскаго отдѣленія Академіи наукъ обѣ изданіи (общаго) русскаго словаря и написалъ статью о мѣстныхъ нарѣчіяхъ по поводу изданнаго тогда Академіей „Опыта областного великорусскаго Словаря“³⁾. Въ 1860, Даль читалъ статью о своемъ русскомъ словарѣ и своихъ филологическихъ взглядахъ въ Обществѣ любителей россійской словесности⁴⁾; тамъ же, въ 1862 г., было читано имъ „Напутное слово“, служащее предисловіемъ къ „Толковому Словарю“. Наконецъ, онъ возвращался къ этому предмету въ статьяхъ, помѣщенныхъ въ газетѣ Погодина „Русскій“⁵⁾.

„Толковый Словарь живого великорусского языка“ выходилъ выпусками въ 1861—68 годахъ и составилъ четыре тома, in 4⁰; изданіе начато было московокимъ Обществомъ любителей россійской словесности, а томы II—IV напечатаны на счетъ высочайше пожалованныхъ средствъ. Географическое Общество при появлѣніи первыхъ трехъ-четырехъ выпусковъ, въ 1861 году, присудило составителю

¹⁾ Въ Dograter Jahrbücher, 1835, № 1. Ueber die Schriftstellerei des russischen Volks (о лубочныхъ картинкахъ).

²⁾ „Москв.“ 1842, № 2. „Полтора слова о нынѣшнемъ русскомъ языкѣ“; № 9, „Недовѣрокъ къ статьѣ: Полтора слова“.

³⁾ Отзывъ о планѣ общаго словаря, въ „Извѣстіяхъ“ П. отд. Академіи, т. I, 1852, стр. 338—341 (здѣсь, между прочимъ, удивительное предложеніе располагать словарь не по азбучному порядку, даже не по корнямъ словъ,—это дѣло сомнительное,—а по понятіямъ); статья обѣ „Опытѣ обл. словаря“ — съ трактатомъ о нарѣчіяхъ великорусскаго языка въ „Вѣстникѣ“ Географ. Общества, 1852, часть 6-я, библиографія, стр. 1—72, и отдѣльно, Спб. 1852; перепечатана при „Толковомъ Словарѣ“.

⁴⁾ Напечатана въ „Р. Бесѣдѣ“, 1860, № 1. Науки, стр. 111—130; потомъ при „Толк. Словарѣ“.

⁵⁾ „Русскій“ 1868, №№ 25, 31, 39, 41—споръ съ Погодинымъ обѣ иностраннѣхъ словахъ въ рускомъ языкѣ и о правописаніи, конченный замѣчаніемъ Погодина въ послѣдней статьѣ: „нашъ споръ дѣлается смѣшнымъ“.

Константиновскую медаль; что окончаніи изданія, оно было увѣнчано отъ Академіи Ломоносовскою преміей. Въ литературѣ трудъ Даля былъ встрѣченъ съ великими сочувствіями и похвалами¹⁾.

Въ трудахъ Даля, въ его сужденіяхъ о русскомъ языке и въ его Словарѣ надо различать двѣ стороны: собраніе матеріала и собственную точку зрѣнія, теорію автора. Богатствомъ матеріала трудъ Даля превышаетъ все, что когда-нибудь было у насъ сдѣлано силами одного лица: не много есть и въ богатыхъ иностранныхъ литературахъ трудовъ подобного рода. Это богатство открывало возможность новыхъ разностороннихъ изученій. Не говоря о пользѣ, которую словарь можетъ приносить какъ справочная книга, онъ доставлялъ, во-первыхъ, громадный матеріалъ для изученія живого великорусского языка со стороны его строенія и его бытового содержанія; во-вторыхъ, давалъ матеріалъ для исторіи русскаго языка,—впервые записанныя въ немъ слона сохранили иногда давно забытую старину, являлись новые факты для выясненія историческихъ формаций языка, мѣстныхъ нарѣчій, заимствованій изъ чужихъ языковъ и т. д.; въ-третьихъ, онъ могъ служить литературѣ новымъ напоминаніемъ о богатыхъ источникахъ народнаго слова и средствомъ для освѣженія и оживленія языка литературнаго,—на что Даляръ въ особенности разсчитывалъ. Собрание всего этого матеріала по разнымъ концамъ Россіи, по всякимъ слоямъ народа, цѣнной многолѣтней упорной работы,—какая вообще не очень свойственна русскому писателю,—составляетъ несомнѣнную заслугу Даля; но его теоретическая мнѣнія о языке не выдерживаютъ критики и къ сожалѣнію неполезно отразились также на его капитальномъ трудѣ.

Мы замѣчали, что у Даля издавна составилось убѣжденіе въ крайней испорченности русского литературнаго языка, происходившій отъ заимствованія чужихъ словъ, отъ неправильнаго употребленія своихъ (изъ этихъ обвиненій онъ не исключалъ и самого Пушкина), и средствомъ къ исправленію этого недостатка онъ считалъ введеніе въ книгу языка народнаго, его лексического запаса и его оборотовъ. Мысль, въ основѣ справедливая, была доводима Далемъ до крайности. По словамъ Даля, направленіе его одобряли въ ту пору Пушкинъ и Гречъ (известный грамотѣй тѣхъ временъ), Хомяковъ и Погодинъ и проч.; не одобрялъ одинъ Жуковскій, который „былъ какъ бы равнодушнѣ къ этому и боялся мужества“. Но едва ли со-

¹⁾ Таковы отзывы компетентныхъ людей—въ началѣ, Срезневскаго, въ „Извѣстіяхъ“, т. 10, 1861—63, стр. 245;—въ концѣ, ст. Котляревскаго, въ „Бесѣдахъ“ Общ. любит. Росс. словесности, вып. 2, М. 1868, отд. 2, стр. 91—94; разборъ Словаря, Я. К. Грота, 1870, выше указанъ. Новое изданіе „Словаря“, Вольфа, Спб. 1879, 8⁰, въ пяти выпускахъ.

мнительно, что сами одобрявшіе далеко не согласились бы съ Далемъ во всѣхъ его затѣяхъ; такъ, по изданіи „Толковаго Словаря“ ему пришлось спорить даже съ Цогодинымъ. Дѣло въ томъ, что Даль понималъ свое преобразованіе и улучшеніе языка литературнаго народнымъ очень грубо и первобытно.—По его собственному разсказу, еще въ 1837 году, когда Жуковскій проѣзжалъ черезъ Уральскъ въ свитѣ цесаревича (потомъ императора Александра II), Даль, бывшій тогда въ Уральскѣ, завелъ съ Жуковскимъ разговоръ объ этомъ предметѣ и между прочимъ представилъ ему слѣдующій образчикъ двоякаго способа выраженія—общепринятаго книжнаго и народнаго.

1) На книжномъ языкѣ: „казакъ осѣдалъ лошадь какъ можно поспѣшище, взялъ товарища своего, у которого не было верховой лошади, къ себѣ на крупу, и слѣдовалъ за непріятелемъ, имѣя его всегда въ виду, чтобы при благопріятныхъ обстоятельствахъ на него напасть“, и 2) на народномъ языкѣ: „казакъ сѣдалъ утопоръ, посадилъ безконнаго товарища па забедры и слѣдилъ непріятеля въ нѣзерку, чтобы при спопутности на него ударить“. Жуковскій замѣтилъ, что по второму способу можно говорить только съ казаками и притомъ о близкихъ имъ предметахъ.

Отвѣтъ Жуковскаго былъ совершенно справедливъ, а „направленіе“ Даля, какъ оно здѣсь выразилось, свидѣтельствовало о полномъ непониманіи отношеній языка литературнаго и народнаго. Ему было непонятно, что литературный языкъ есть сложное историческое явленіе, создаваемое вовсе не произволомъ писателей, а цѣлыми условіями просвѣщенія народа; что нѣть литературы, исторически развивавшейся, языкъ которой оставался бы неподвиженъ, тождественъ съ народнымъ, свободенъ отъ заимствованій. Однимъ изъ главныхъ золъ нашего книжнаго языка Даль считалъ употребленіе чужеземныхъ словъ, не-русскихъ оборотовъ, цѣлое построеніе рѣчи по не-русскимъ формамъ мышленія. Но онъ не понималъ, что въ этомъ виноваты вовсе не одни современные писатели; что заимствованіе чужихъ словъ началось въ русскомъ языкѣ съ далекой, даже доисторической древности, что затѣмъ па памяти исторіи обильное заимствованіе въ книжный языкъ чужихъ словъ и построенія рѣчи по не-русскимъ формамъ мышленія совершилось въ эпоху введенія христіанства, съ принятіемъ ино-славянскаго перевода Св. Писанія, церковныхъ и отеческихъ книгъ, которыя на всѣ послѣдующіе вѣка русской книжности сообщили ей *не-народный* запасъ словъ и построеніе рѣчи. Странно было бы жаловаться на послѣднее, когда въ книгѣ являлась именно цѣлая система понятій, дотолѣ *неизвѣстная* народу, для которой у него не было ни словъ (онѣ тогда и создавались изъ своего и чужого материала), ни формъ мышленія. Въ среднемъ пе-

ріодѣ, отъ историческихъ бытовыхъ условій, вошло много татарскихъ словъ и начали уже являться слова западныя (тѣ и другія вмѣстѣ съ *вещами* и *понятіями*). Другимъ періодомъ обширнаго заимствованія былъ конецъ семнадцатаго вѣка и Петровское время, и опять иностранная стихія входила потому, что въ русскомъ языкѣ недоставало чи словъ, ни оборотовъ для обозначенія опять новыхъ вещей и понятій. Особыхъ „русскихъ формъ мышленія“, конечно, не существуетъ: *логика* для всѣхъ людей одинакова, какъ для всѣхъ одинакова ариѳметика; въ языкѣ народа есть свои синтаксическія особенности, бытовые обороты рѣчи, но сложные процессы мысли и сложное ея содержаніе требуютъ болѣе сложной формы выраженія, которая непривычна для непосредственной народной рѣчи, и тогда-то возникаетъ въ книжномъ языке построеніе рѣчи, кажущееся не-народнымъ.

Нѣть сомнѣнія, что въ этихъ заимствованіяхъ чужой формы рѣчи и чужихъ словъ было излишество, крайность, но не должно забывать, что, быть можетъ, это было именно обратно пропорціональнымъ слѣдствіемъ той *недостаточности* прежняго (и народнаго, и книжнаго) языка, съ которой встрѣтились желавшіе назвать новые предметы, выразить новые понятія исторической жизни; а затѣмъ органическая жизненность книжнаго языка тѣмъ и обнаруживается, что онъ въ самомъ себѣ, естественно и постепенно, находитъ средства исправить крайности, найти для новыхъ понятій болѣе простое и живое выраженіе, болѣе народную форму. Дѣлалось это, дѣйственно, само собою, не проповѣдями о чистотѣ русскаго языка, не преднарѣренными хлопотами объ истребленіи чужеземной стихіи, а именно тѣмъ, что когда общество освоивается съ новымъ содержаніемъ, то и въ самомъ языке возбуждается новая дѣятельность и черезъ нѣкоторое время чужеземная стихія отступаетъ передъ вновь образовавшимся, народнымъ выраженіемъ. Извѣстно, какъ скоро вышло изъ употребленія множество иностранныхъ словъ, вошедшихъ при Петрѣ; известно, сколько исчезло изъ литературнаго языка другихъ иностранныхъ словъ и патинутыхъ словообразованій временъ Екатерины II; сколько забылось словъ, употреблявшихся въ сороковыхъ годахъ и т. д.—и сколько, напротивъ, проникало въ литературу и входило въ оборотъ, на ихъ мѣсто, словъ или вполнѣ народныхъ, или болѣе правильно образованныхъ. Обыкновенно, заслуга улучшенія литературнаго языка считается дѣломъ великихъ писателей,—и не подлежитъ сомнѣнію заслуга, оказанная здѣсь Ломоносовымъ, Державинымъ, Карамзиномъ, Пушкиномъ и проч., но сущность ея состоитъ въ томъ, что талантъ дѣлалъ ихъ чуткими къ тому возстановляющему процессу языка, о которомъ мы говоримъ:

они не занимались изобрѣтеніемъ словъ и намѣреннымъ удаленіемъ чужихъ, но болѣею частью только художественно пользовались существовавшимъ въ оборотѣ материаломъ языка, и въ результатѣ ихъ дѣло казалось *преобразованіемъ*. На дѣлѣ, преобразованіе создается самимъ обществомъ и народомъ. Литературный языкъ не есть достояніе одного цѣха „книжниковъ“; его развитіе достигается распространеніемъ просвѣщенія въ общественной и народной массѣ, и чѣмъ больше просвѣщенія въ этой массѣ, тѣмъ болѣе она будетъ воздѣйствовать своими пробужденными природными силами на совершенствование языка и самаго содержанія литературы. Наоборотъ, самонадѣянныя притязанія единичныхъ исправителей языка кончаются обыкновенно полной неудачей и ихъ нововведенія дѣлаются предметомъ смѣха. Такая судьба постигла адмирала Шишкова.

Даль, къ сожалѣнію, вступилъ на ту же дорогу. Не довольствуясь изученіемъ языка, онъ хотѣлъ быть его реформаторомъ; онъ писалъ своеобразнымъ языкомъ, изгоняя иностранные слова, замѣнялъ ихъ—обыкновенно неудачно—словами народными или даже собственнаго сочиненія, въ мнимо-народномъ складѣ. Это могло быть умѣстно въ его народныхъ разсказахъ, гдѣ самая тема требовала народнаго способа выраженія, но Даль требовалъ того же въ изложеніи не-беллетристическомъ, и случалось, что о предметахъ литературныхъ, не существующихъ въ народныхъ понятіяхъ, говорилось выраженіями, имѣвшими казацкій тонъ, замѣченный Жуковскимъ. Это притязаніе на реформу языка Даль внесъ, наконецъ, и въ „Толковый Словарь“, гдѣ онъ употребляетъ свое собственное правописаніе и слова собственного изобрѣтенія, которая ставилъ иногда, не совсѣмъ осмотрительно, среди словъ народныхъ. Слова, имѣ изобрѣтеныя или новыя толкованія, которая онъ давалъ словамъ народнымъ (чтобы они могли служить къ изгнанію словъ иностранныхъ и ихъ замѣнѣ), вообще не весьма удачны, а иногда надо удивляться, какъ ихъ аляповатость не бросалась въ глаза ихъ составителю, такъ много слышавшему русскій языкъ¹⁾). Вообще, исполненіе Словаря представляло не мало существенныхъ недостатковъ²⁾. Они напоминаютъ ту эпоху нашей литературы, когда этнографіи, какъ науки, у насъ еще не было, когда люди, заинтересованные ея вопросами, работали часто

¹⁾ Укажемъ, напримѣръ, слова, разобраныя г. Гротомъ: вмѣсто „горизонтъ“—зарѣсь, озоръ, закрой, небоземъ, глазоемъ; „адресъ“—насылка; „кокетка“—миловидница, красовитка; „атмосфера“—колоземица, міроколица; „пуристъ“—чистякъ; „эгоизмъ“—самотство, и т. п.

²⁾ Обстоятельный разборъ Словаря читатель найдетъ въ упомянутой статьѣ г. Грота; моя замѣтка: По поводу „Толковаго Словаря“ Даля, въ „Вѣстникѣ Европы“, 1873, декабрь, стр. 883—903.

какъ самоучки, по инстинкту и догадкѣ, безъ твердыхъ теоретическихъ основаній: это вело ко многимъ ошибкамъ, но это не отнимаетъ заслуги труда, даже возвышаетъ цѣну упорныхъ усилий, положенныхъ, въ особенности Далемъ, на сложное и мудреное дѣло.

Кромѣ лексической стороны господствующаго книжнаго языка, Даль нападалъ и на его грамматику: „Съ грамматикой я искони былъ въ какомъ-то разладѣ,—говорить онъ въ „Напутномъ словѣ,— не умѣя примѣнить ея къ нашему языку и чуждаясь ея не столько по разсудку, сколько по какому-то темному чувству, чтобы она не сбила ст. толку, не ошколярила, не стѣснила свободы пониманія, не обузила бы взгляда. Недовѣрчивость эта была основана на томъ, что я *всюду* встрѣчалъ въ русской грамматикѣ латинскую и нѣмецкую, а русской не находилъ“. Такое мнѣніе могло людямъ неопытнымъ казаться результатомъ глубокаго знанія и средствомъ исцѣленія отъ книжной порчи русскаго языка; на дѣлѣ, это было преувеличеніе, которое свидѣтельствовало, что Далю были мало известны или мало имъ описаны новые труды по русскому языку. Въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, когда было высказано это мнѣніе, оно запоздало лѣтъ на двадцать или на тридцать. Оно могло быть до известной степени вѣрно въ то время, когда господствовала грамматика Греча, а Булгаринъ состоялъ блестителемъ чистоты русскаго языка, — но самъ Даль упоминаетъ въ автобіографіи, что даже Гречъ сочувствовалъ его изученіямъ русской народности. Въ дѣйствительности, эта мнимая латино-нѣмецкая грамматика, въ которой Даль видѣлъ гибель русскаго языка, нисколько не мѣшала Пушкину пользоваться богатствами народной рѣчи — къ удовольствію читателей, не мѣшала Гоголю — къ такому же удовольствію читателей — свободно пользоваться разговорною рѣчью, не смущаясь криками чистильщиковъ книжнаго языка по грамматикѣ Греча; далѣе, не мѣшала Лермонтову, Тургеневу, Некрасову и т. д. Цервостепенные писатели и цѣлое движение литературы постоянно расширяли и горизонтъ наблюденій народной жизни, и народный элементъ въ литературномъ языкѣ: Даль хотѣлъ спасать литературу отъ воображаемой опасности и совѣтовалъ то, что давно уже дѣлалось, и гораздо лучше и правильнѣе, само собою. Точно также онъ напрасно боялся за русскій языкъ съ другой стороны: въ теоретическомъ изслѣдованіи языка „латино-нѣмецкая“ форма давно не считалась обязательной, и въ послѣднія десятилѣтія филологи и этнографы именно разрабатывали запасы народной рѣчи, не только современной, но и древней, въ старыхъ памятникахъ, и вводили ихъ въ опредѣленіе законовъ русскаго языка. Напомнимъ, что первыя работы г. Буслаева въ этомъ направлениі, „Мысли объ

исторії русскаго языка“, Срезневскаго, появились еще въ концѣ сороковыхъ годовъ...

Что касается собственныхъ сочиненій Даля, онъ отличались обыкновенно изобиліемъ пословицъ и прибаутокъ и иѣкоторыми искусственно-народными словами, но вообще, какъ было уже замѣчено однимъ академическимъ критикомъ, были писаны тѣмъ же обычнымъ литературнымъ языкомъ и—по той же грамматикѣ.

Другимъ капитальнымъ трудомъ Даля было его огромное собраніе пословицъ, поговорокъ, прибаутокъ и т. д., также плодъ долговременной работы. Первый образчикъ этого труда онъ даль въ 1847, прочитавши статью о пословицахъ въ собраніи Географическаго Общества ¹⁾. Въ своемъ цѣломъ составѣ онъ былъ изданъ въ 1761—62 годахъ ²⁾.

Сборникъ Даля, заключающій до 30,000 пословицъ, поговорокъ и т. п., есть одно изъ такихъ явленій литературы, какія остаются памятникомъ своего времени и надолго — предметомъ изслѣдований. Въ немъ собрана масса этихъ мелкихъ произведеній народной мысли и бытового опыта,— и ее нужно было собрать, потому что и старой пословицѣ, безъ сомнѣнія, грозить та же опасность забвенія, какая постигаетъ уже старую народную пѣсню. Даль старался собрать то, что „изникаетъ въ глазахъ нашихъ, какъ вешній ледъ“. Онъ спрашевливо разсуждалъ, что съ этимъ матеріаломъ надо было обращаться осторожно и отложить всякую мысль о выборѣ и браковкѣ: „того, что выкинуто, никто не видитъ, а гдѣ мѣрило на эту браковку и какъ поручиться, что не выкинешь того, что могло бы остататься? Изъ просторного убавить можно; набрать изъ сборника цвѣтникъ, по своему вкусу, не мудрено; а что пропустишь, то воротить труднѣе. Окоротишь — не воротишь. Притомъ (столь же спрашивливо замѣчалъ онъ) у меня въ виду былъ языкъ; одинъ оборотъ рѣчи, одно слово, съ первого взгляда не всякому замѣтное, иногда заставляли меня сохранить самую вздорную поговорку“.

Въ предисловіи онъ даетъ для образца нѣсколько объясненій пословицъ, и краткія объясненія, часто весьма любопытныя, разброясаны во всемъ сборникѣ.

Трудъ Даля имѣлъ свою исторію, которая весьма характерно ри-

¹⁾ Эта статья „О русскихъ пословицахъ“ напечатана была въ „Современнике“ 1847, кн. 6, отд. IV, стр. 143 — 156 (нѣсколько общихъ замѣчаній и для образца пословицы изъ семейнаго быта).

²⁾ Пословицы русскаго народа. Сборникъ пословицъ, поговорокъ, реченій, присловій, чистоговорокъ, прибаутокъ, загадокъ, повѣрій и проч. В. Даля. М. 1862. Отдельный оттискъ изъ „Чтений“ московскаго Общества исторіи и древностей, 1861 и 1862 годовъ. Новое изданіе, Спб. 1879, два тома.

суетъ положеніе нашихъ народныхъ изученій и роль офиціальной учености въ ту пору. „Сборнику моему,—рассказываетъ Даль,—суждено было пройти много мытарствъ задолго до печати (въ 1853 году) и, притомъ, безъ малѣйшаго искательства съ моей стороны, а по просвѣщенному участію и настоянію особы, на которую не смѣю и намекнуть, не зная, будетъ ли то угодно. Но люди, и притомъ люди ученые по званію, признавъ изданіе сборника *вреднымъ*, даже *опаснымъ*, сочли долгомъ выставить и другіе недостатки его, между прочимъ, такими словами: „замѣчая и подслушивая говоры (?) народные, г. Даль видно нескоро ихъ записывалъ, а вносилъ послѣ, какъ могъ припомнить, отъ того у него рѣдкая (?) пословица такъ записана, какъ она говорится въ народѣ“. (Приведено этому три примѣра, которые Даль объясняетъ какъ совершенно правильные или какъ варіанты).

„Какъ бы то ни было, но независимо отъ такой невѣрности въ пословицахъ моихъ, доказанной тремя примѣрами, нашли, что сборникъ этотъ и небезопасенъ, посягая на развращеніе нравовъ. Для большей вразумительности этой истины и для охраненія нравовъ отъ угрожающаго имъ развращенія придумана и написана была, въ отчетѣ, новая русская пословица, не совсѣмъ складная, но за то ясная по цѣли: „это куль муки и щепоть мышьяку“, такъ сказано было въ приговорѣ о сборникеъ этомъ, и къ сему еще прибавлено: „Домогаясь напечатать памятники народныхъ глупостей, г. Даль домогается дать имъ печатный авторитетъ“...

„Упоминать ли еще, послѣ этого, что рука обѣ руку съ сочинителями пословицы о мышьякѣ, шло и заключеніе цѣнителя присяжнаго¹⁾, къ коему сборникъ мой попалъ также безъ моего участія, и что тамъ находили непозволительнымъ сближеніе сподрядъ пословицъ или поговорокъ: „У него руки долги (власти много)“, и „У него руки длинны (онъ воръ)“? И тутъ, какъ тамъ, требовали *поправокъ* и *измѣненій* въ пословицахъ, да сверхъ того, исключеній, которыхъ „могутъ составить болѣе четверти рукописи“...?

„Я отвѣтилъ въ то время: „Не знаю, въ какой мѣрѣ сборникъ мой могъ бы быть вреденъ или опасенъ для другихъ, но убѣжддаюсь, что онъ могъ бы сдѣлаться не безопаснымъ для меня. Если же, впрочемъ, онъ могъ побудить столь почтенное лицо, члена высшаго ученаго братства, къ сочиненію уголовной пословицы, то очевидно развращаетъ нравы, остается положить его на костеръ и сжечь; я же прошу позабыть, что сборникъ былъ представленъ, тѣмъ болѣе, что это сдѣлано не мною“.

¹⁾ Т.-е., вѣроятно, цензора?

„Ради правды, я обязанъ сказать, что мнѣніе противуположное всему этому было высказано въ то время просвѣщеннымъ сановникомъ, завѣдывавшимъ Публичною библіотекою“¹⁾.

Одинъ изъ бiографовъ дополняетъ эти неясныя слова Даля²⁾. Дѣло въ томъ, что одна изъ высочайшихъ особъ пожелала видѣть сборникъ пословицъ и, получивъ его въ рукописи, признала полезнымъ его напечатать, но предварительно препроводила его въ Академію наукъ (въ которой Даляръ былъ членомъ-корреспондентомъ). Въ Академіи поручили разборъ сборника академику, протоіерею Кочетову: онъ-то и нашелъ щепоть мышьяку.

Этотъ приговоръ, высказанный въ высшемъ ученомъ учрежденiи имперiи, достаточно указываетъ положенiе русской науки. Правда, протоіерей Кочетовъ попалъ въ Академію наукъ изъ бывшей Россiйской академiи (послѣ ея закрытия, когда учреждено на ея мѣсто отдѣленiе русскаго языка и словесности въ Ак. наукъ), гдѣ отъ членовъ особой учености не требовалось и важно было только согласие съ идеями и вкусами адмирала Шишкова; но замѣчательно, что отзывъ Кочетова получилъ силу,—значитъ, не былъ оспоренъ и былъ принятъ также другими членами? Отзывъ цензора могъ не быть его личною придирчивостью и невѣжествомъ; известно, что тѣ годы (готовилась Крымская война) были временемъ особенныхъ свирѣпостей цензуры,—цензоръ боялся пропуститься недосмотромъ передъ комитетомъ и его предсѣдателемъ, комитетъ въ свою очередь — пропуститься передъ еще высшей инстанцiей, „негласнымъ комитетомъ“, строго следившимъ за тѣмъ, что было уже дозволено цензурой обыкновенной. Даляръ отмѣчаетъ благопріятный отзывъ объ его трудахъ со стороны просвѣщенного сановника, завѣдывавшаго публичной библіотекой; но самъ этотъ сановникъ былъ членомъ негласнаго комитета³⁾...

Сборникомъ пословицъ не кончились богатые вклады Даля въ русскую этнографiю. У него былъ сборникъ иѣсенъ,—впрочемъ небольшой, по его словамъ,—который онъ передалъ И. В. Кирѣевскому; собранiе сказокъ („стопъ до шести (?), въ томъ числѣ и много всякаго вздору“) онъ передалъ Аѳанасьеву⁴⁾, который воспользовался имъ при своемъ изданiи сказокъ. Собраниe лубочныхъ картиночекъ поступило въ Публичную библіотеку и послужило между прочимъ для

¹⁾ Пословицы русск. народа, предисловiе, стр. XVII—XXI.

²⁾ Р. Вѣстн. 1873, № 3, стр. 321.

³⁾ Объ его дѣятельности, сверхъ официальныхъ бiографiй, см. въ дневникѣ А. В. Никитенка, „Р. Старина“, 1890, февраль.

⁴⁾ Предисл., стр. XXXIX.

изданія Д. А. Ровинскаго ¹⁾). Упомянемъ, наконецъ, еще объ одномъ разрядѣ трудовъ Даля—собираніи народныхъ повѣрій и суевѣрій ²⁾). Въ предисловіи онъ замѣчаетъ, что не беретъ на себя полное изслѣдованіе предмета, а даетъ только запасъ, какой случился; но рассказывая повѣрья, онъ даетъ имъ и свои объясненія. Човѣрья, по его мнѣнію, идутъ изъ разныхъ источниковъ: одинъ являются остаткомъ язычества; другія „придуманы случайно“, чтобы „окольнымъ путемъ“ дать полезное наставленіе; третьи основаны на опыте и наблюденіи и объяснимы по законамъ природы, хотя нѣкоторыя „представляются до времени странными и темными“; четвертые въ сущности основаны на явленіяхъ естественныхъ, но обратились въ нелѣпость по безсмысленному примѣненію; пятые составляютъ игру воображенія, народную поэзію, которая, будучи принята за наличную монету, обращается въ суевѣріе; шестыя, немногія, не имѣютъ никакого смысла или по крайней мѣрѣ до сихъ порь не могли быть объяснены.

Изученіе нашей этнографической старины, развившееся въ послѣднее время, направлялось преимущественно на отдаленные эпохи, на предполагаемые миѳические и древне-литературные источники народныхъ сказаний, на сравнительное объясненіе ихъ. Между тѣмъ остается еще не опредѣленъ, хотя съ нѣкоторой полнотой, цѣлый рядъ практически-бытовыхъ повѣрій и суевѣрій, существующихъ въ народѣ до сего дня и занимающихъ тѣмъ болѣе мѣсто въ его понятіяхъ, чѣмъ меныше населеніе затронуто школой и городскими вліяніями. На эту область бытовыхъ повѣрій Даляръ обратилъ вниманіе: онъ не вдается ни въ миѳологическія толкованія, ни въ сравненія, какія дѣлалъ, напр., Снегиревъ,—онъ останавливается на прямомъ смыслѣ повѣрья и старается найти ему ближайшее, такъ сказать, раціоналистическое толкованіе. Изслѣдователи народныхъ вѣрованій съ трудомъ допускаютъ, чтобы повѣрья „придумывались случайно“, какъ полагаетъ Даляръ, съ педагогическими цѣлями; но многія толкованія Даля очень остроумны, и его пріемъ заслуживаетъ вниманія этнографовъ. Что касается тѣхъ повѣрій, которыхъ „представляются до времени странными и темными“, надо припомнить, что самъ Даляръ не былъ свободенъ отъ суевѣрія и въ этомъ случаѣ, вѣроятно, думалъ, что нѣкоторыя суевѣрныя примѣты могутъ имѣть

¹⁾ Русскія народныя картинки, т. I, стр. IX—X.

²⁾ О повѣрьяхъ, суевѣріяхъ и предразсудкахъ русскаго народа. Изд. 2-е, безъ перепѣнъ. Спб. 1880. Въ первый разъ, этотъ трудъ явился небольшими статьями въ „Иллюстраціи“ 1845—46 года.—Упомянемъ здѣсь еще статью „о народныхъ врачебныхъ средствахъ“, въ Журн. Мин. Внутр. Дѣль, 1843, Ч. 3.

свое таинственное основаніе. Въ послѣдніе годы жизни онъ безъ мѣры предался спиритизму...

Далѣе мы остановимся на томъ, какъ отразились этнографическія изученія у Даля, а также у нѣкоторыхъ его современниковъ, въ ихъ взглядахъ на общественное положеніе народной массы, на реальную народную жизнь.

ГЛАВА X.

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАРОДОЛЮБІЕ. — НАЧАЛО МАЛОРУССКОЙ ЭТНОГРАФІИ.—ВНІШНЕЕ ПОЛОЖЕНІЕ НАРОДНИХЪ ИЗУЧЕНИЙ.

„Маякъ“.—Савельевъ-Ростиславичъ и Морошкинъ.—Ізученія малорусскія: кн. Цертелевъ, Максимовичъ, Срезневскій; отношеніе Бѣлинскаго къ малорусской литературѣ.—Внішнее положеніе этнографії: недостатокъ правильной школы съ одной стороны, и съ другой, стѣсненія цензурными: взгляды гр. Уварова; положеніе Сахарова, Кирѣевскаго, Бодянскаго, и проч.

„Маякъ“, очень извѣстный въ свое время, но мало кому памятный теперь, называлъ себя органомъ „современного просвѣщенія въ духѣ русской народности“. Исторически онъ былъ продолженіемъ того особаго склада понятій, который уже съ давняго времени скрывался въ литературѣ нападками на „чужеземное“ образованіе и обычаи, сожалѣніями о добрыхъ старыхъ временахъ, когда такъ хорошо жили люди „по старинѣ“, притязаніями на собственныя чисто-русскія свойства. Подобныя нападки на чужеземное бывали иногда умѣстны, когда направлялись на пустоту свѣтскаго общества, о которой—гораздо сильнѣе—говорила литература другого, не-архаическаго направленія; но даже и тутъ, эти нападки были всего чаще поверхностны, адресовались вовсе не туда, куда слѣдовало, и не имѣли дѣйствія: образованіе, которое считали „чужеземнымъ“, распространялось и бросало все болѣе глубокіе корни; защищаемая „чисто-русская“ старина все больше забывалась и исчезала. Этого рода споры старины противъ новизны можно прослѣдить издавна. Историки литературы и образованности нашей хотѣли видѣть въ нихъ борьбу двухъ направленій, прогрессивнаго и консервативнаго, или же западнаго и національнаго, одного—идущаго отъ Петровской реформы, другого—отъ общества до-Петровскаго. Такъ и бывало иногда въ прошломъ столѣтіи, но въ этомъ спорѣ была другая сторона, не

имѣвшая такого исторического объясненія, а именно, онъ часто бывалъ только старческимъ брюзжаньемъ противъ новыхъ поколѣній, непониманіемъ новыхъ литературныхъ требованій, научныхъ и общественныхъ явлений, исторически вполнѣ законныхъ и необходимыхъ. Въ Петровскія времена втихомолку жалѣли о московской старинѣ; въ половинѣ прошлаго вѣка вспоминали Петровскія времена; Шишковъ брюзжалъ противъ Карамзина; Карамзинъ—подъ старость—противъ „либералистовъ“; современники Пушкина сторонились отъ новой литературной школы; Гоголь подъ ихъ вліяніемъ отрекался отъ самого себя, и такъ далѣе. Мелкіе отголоски этой вражды къ новизнѣ, не переводившейся въ литературѣ, становились прямымъ обскурантизмомъ и кончались доносомъ. Къ несчастію, въ основаніи этого спора лежало и болѣе глубокое противорѣчіе, и для большинства трудно разрѣшимое недоумѣніе, которое въ сущности тянетсѧ и донынѣ. Дѣло въ томъ, что новая образованность, начавшая проникать еще до реформы и особенно послѣ нея, никогда не получала въ нашей офиціальной и общественной жизни своего должнаго мѣста и полнаго права: научное изслѣдованіе, литература никогда не имѣли свободы, всегда находились подъ опекой и, къ сожалѣнію, опека слишкомъ часто бывала въ рукахъ людей невѣжественныхъ. Новая образованность не могла не вступать въ то или другое противорѣчіе стоящими понятіями; самая сущность ея заключалась въ болѣе глубокомъ пониманіи природы, нравственной и общественной жизни человѣка и пр., пониманіи, которое было недоступно для людей неучившихся: обыкновеннѣйшія истины науки, какъ напр., Коперникова система законы физики, историческое знаніе, *не могли* не противорѣчить понятіямъ людей необразованныхъ, и въ концѣ концовъ, невѣжественные суды рѣшали, что „чуждое“ образованіе противорѣчить нашимъ „чисто-русскимъ“ началамъ, нашимъ „народнымъ“ преданіямъ!

Гдѣ наука имѣетъ свое право гражданства, гдѣ свобода ея признана правительственной властью и учрежденіями, гдѣ приняты заботы о народной школѣ, тамъ и въ общественныхъ массахъ распространяется стремленіе къ наукѣ, уваженіе къ ней и — невозможно такое грубое противопоставленіе знанія и предполагаемыхъ неизмѣнныхъ свойствъ національности. Между тѣмъ у насъ это противопоставленіе дѣлается и по настоящую минуту, и защитники „народныхъ началъ“ не подозрѣваютъ, что подобной защитой наносятъ народности величайшее оскорблѣніе, приписывая ей низменное скудоуміе, навязывая ей вражду къ знанію, набонецъ, осуждая ее на неизбѣжную при невѣжествѣ подчиненность націямъ образованнымъ во всѣхъ культурныхъ дѣлахъ и отношеніяхъ (промышленности, тор-

говлѣ, прикладномъ искусствѣ и т. д.) и на упадокъ. Въ самомъ дѣлѣ, упомянутое право науки никогда небыло признано у насъ ни учрежденіями, ни общественными нравами; наука допускалась только въ узкихъ утилитарныхъ цѣляхъ и никогда не знала свободы изслѣдованія; и такъ какъ въ то же время, и согласно съ этимъ, строжайшій контроль лежалъ и на выраженіяхъ общественного мнѣнія, то большинство никогда не могло привыкнуть къ сколько-нибудь свободной, необычной мысли въ наукѣ и литературѣ. „Печатный листъ“ казался „быть святымъ“, потому что, выходя въ свѣтъ не иначе какъ съ разрѣшеніемъ начальства (въ прежнее время прямо полицейского начальства—управы благочинія), становился чуть не официальнымъ заявлениемъ, и если въ такомъ святомъ листѣ оказывалось все-таки нечто новое, критическая мысль, идеальный порывъ, незнакомые въ обстановкѣ обычной субординаціи, хотя и пропущенные болѣе благоразумнымъ цензоромъ, то читатели полуобразованные, безконечное племя Фамусовыхъ и Скалозубовъ, вопіали о вредѣ наукъ, объ опасности для общества. По всей исторіи нашего скуднаго просвѣщенія проходитъ неизмѣнная полоса обскурантизма, всегда присутствовавшаго въ скрытомъ состояніи и нерѣдко прорывавшагося цѣлыми бурами. Наконецъ, обскурантизмъ сталъ находить въ литературѣ своихъ теоретиковъ, иногда людей лично поченныхъ, но невѣждъ, не имѣвшихъ яснаго понятія о наукѣ, или же хитрыхъ и злобныхъ лицемѣровъ. Въ сороковыхъ годахъ, споръ о западномъ просвѣщеніи и народности перешелъ на почву философско-историческихъ принциповъ, въ борьбѣ славянофильства и западничества, но и здѣсь, въ новѣйшихъ явленіяхъ этой борьбы, славянофильство, взявшее на себя защиту народности, не обошлось, въ концѣ концовъ, безъ обскурантизма.

„Маякъ“, издававшійся въ 1840 — 1845 годахъ С. Бурачкомъ и П. Корсаковымъ, ставилъ своей цѣлью именно защиту русской народности отъ зловредныхъ вліяній западнаго просвѣщенія, или передѣлку и исправленіе послѣдняго „въ духѣ русской народности“. Передъ тѣмъ основы русской жизни опредѣлены были въ программѣ министерства народнаго просвѣщенія и, прилагая эту мѣрку къ произведеніямъ тогдашней поэтической литературы, тогдашихъ художественно-теоретическихъ понятій и общественныхъ взглядовъ (насколько они могли высказываться при строжайшей цензурѣ въсужденіяхъ литературныхъ), „Маякъ“ нашелъ въ нихъ страшное противорѣчие съ тѣмъ, что требовалось „чисто-русской“ народности. Вся лучшая часть литературы, которая заслуживала этого имени и въ которой только-что дѣйствовалъ Пушкинъ, „измѣнила народности“, и „Маякъ“ не усумнился возстать противъ самого Пушкина:

это могущественный талантъ, но вся, почти безъ исключенія, поэзія его грѣховна и зловредна¹⁾). Тоже повторилось съ Лермонтовымъ. Когда вышло собраніе его стихотвореній, самъ „Маякъ“ увлекся прелестью многихъ изъ нихъ и очень ихъ одобрялъ, хотя осуждалъ направлениe; но потомъ отвергъ его цѣликомъ²⁾. Гораздо выше Пушкина и, конечно, Лермонтова—Жуковскій.

Такимъ образомъ, „Маякъ“ высказывалъ свои мнѣнія въ упоръ и не могъ на первыхъ же порахъ не столкнуться съ восторженными почитателями Пушкина и Лермонтова. Онъ храбро держался своихъ мнѣній и иногда дѣлалъ вылазки противъ враждебнаго лагеря, т.-е. „Отечественныхъ Записокъ“, гдѣ выступалъ тогда Бѣлинскій съ своими московскими философами-пріятелями. Иной разъ нападенія „Маяка“ не были лишены юдости, когда онъ ловилъ противниковъ на философскихъ преувеличеніяхъ (которыя потомъ они сами замѣтили), странномъ языке и т. п.; но его собственная философія не шла дальше тѣхъ аргументовъ, какіе употреблялись уже Магницкимъ и архимандритомъ Фотиемъ и повторялись иногда въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ; въ „Отечеств. Запискахъ“, по браннымъ отзывамъ „Маяка“, господствовала „ложная философія, бродящая по стихіямъ міра“, „недугъ словопреній лжеименного разума“ и т. п.

Можно себѣ представить, что въ литературѣ, въ которой со смерти Пушкина и съ появлениемъ посмертного изданія его сочиненій все возростало восторженное поклоненіе предъ великимъ поэтомъ, должны были являться вопиющей нелѣпостью эти сужденія о Пушкинѣ съ точки зрѣнія архимандрита Фотія и цензора Красовскаго. „Маякъ“ вскорѣ сдѣлался притчею; на него не обращали вниманія и тогда, когда ему случалось сказать справедливую мысль.

„Маякъ“ никакъ не понималъ, что литературныя явленія, на ко-

¹⁾ Для образчика приведемъ одинъ эпизодъ изъ этихъ обличеній Пушкина. Въ „Маякѣ“ 1840 (№ 10, стр. 53 и слѣд.) помѣщено „Видѣніе въ царствѣ духовъ“, гдѣ между прочимъ является просвѣтлѣвшій духъ Пушкина, который сурово судить Пушкина земного и предостерегаетъ отъ преувеличенного поклоненія его произведеніямъ, заключающимъ въ себѣ столько превратнаго. „Не вѣрьте тѣмъ, которые представляютъ вамъ Пушкина великимъ, образцовымъ писателемъ... Еслибы въ Россіи развелось болѣе Пушкинныхъ, она бы скоро сгнила и пропала“. Впослѣдствіи, въ 1843 г., „Маякъ“ помѣстилъ цѣлый „Обзоръ стихотвореній Пушкина“: шесть статей, изъ которыхъ пять—А. Мартынова, и одна (четвертая) Бурачка.

²⁾ „Отличительные черты стихотвореній Лермонтова: слогъ книжный, не-русскій, духъ не-русскій, направлениe не-русскоe; выборъ предметовъ и героевъ колоссально дикихъ, страстныхъ, всесокрушающихъ, и все это не столько по личному направлению, сколько изъ суетнаго желанія быть оригинальными; а того и не видѣлъ, что эта оригинальность—дѣтское подражаніе Байрону и его поэтическому потомству, остановившемуся теперь на Евгениѣ Сю и Жоржѣ Зандѣ съ товарищами“. 1844, т. XVIII, крит., стр. 58.

торыя онъ нападалъ, были результатомъ цѣлой новѣйшей исторіи нашей, отвѣчали росту образованія, что отдѣльныя ошибки, если онъ случались, ни мало не опровергаютъ цѣлаго движенія. До всего этого ему не было дѣла: онъ бралъ въ руки катехизисъ и обличалъ. Онъ зналъ одно, что въ извращеніи русскаго просвѣщенія виновенъ Западъ, и строго осуждалъ его ¹⁾). Исходный пунктъ былъ простъ. „Духъ времени“ бываетъ различный, „истинный—отъ Бога, ложный—отъ заблудшихъ людей, водимыхъ отцемъ лжи“; усовершенствованіе въ человѣчествѣ, о которомъ говорять, состоить въ одномъ: „церковь Божія воинствуетъ съ язычествомъ“; Западъ совращенъ діаволомъ и погрязъ въ язычествѣ; „европейскія идеи противны евангелію“; Западъ идетъ съ ними къ погибели, и только когда избавится отъ нихъ—„тогда конецъ Революціямъ, Вольнодумству, Реформатству и Папству“ ²⁾), этимъ четыремъ колѣнамъ одного корня—римскаго язычества, и только тогда на Западѣ, на пепелищѣ царства языческаго, царства міра сего, возсіяеть Востокъ—царство Божіе, чудо божія всемогущества и милосердія ³⁾).

Статьи о русской народности были такого же рода — пропитаны враждой къ иноземному, и въ русской литературѣ сочущиваются только „Москвитянину“, съ удовольствиемъ встрѣчаются статьи Даля о русскомъ языке, явившіяся тогда въ этомъ журналь, и патетически говорятъ о девизѣ министерства просвѣщенія, на первый разъ воспользовавшись для этого книжкой извѣстнаго тогда писателя того же толка, И. Кулжинскаго ⁴⁾), и развивая потомъ эту тему собственными трудами.

¹⁾ Напримѣръ, въ разборѣ книги: „Правда вселенской церкви о римской и про- чихъ патріаршихъ каѳедрахъ“, Спб. 1841 (1841, кн. XXIII—XXIV); въ статьяхъ: „Наблюденіе событий Востока и Запада Европы новой, со стороны высшихъ истинъ человѣчества“ (во введенія дается „Ключъ къ открытію всеобщихъ законовъ бытія вселенной“ и т. п.), Ф. Шульговскаго, 1845, т. XXII—XXIII: „Критический обзоръ. Очная ставка и обличеніе религіозныхъ заблужденій римскаго Запада“, Бурачка, 1845, т. XXIII—XXIV.

²⁾ Курсивы и заглавные буквы—въ подлинниکѣ.

³⁾ Изъ названной сейчасъ статьи Бурачка.

⁴⁾ „Эмеритъ, литературные очерки“. М. 1836. Авторъ его былъ восторженный поклонникъ этого девиза, и, выписавъ извѣстное мѣсто въ отчетѣ министра, гдѣ вы- сказано желаніе правительства, „чтобы народное образованіе совершалось въ соеди- ненномъ духѣ православія, самодержавія и народности“, восклицаетъ: „Въ этихъ немногихъ словахъ Россія въ первый разъ (?) сказалаась громко, величественно, до- стойнымъ себя образомъ! о, эти слова запишетъ исторія; отзвучіе этихъ словъ про- гремитъ въ отдаленныхъ вѣкахъ“ и т. д. „Маякъ“, 1841, ч. XVII—XVIII, ст. „Рус- ская народность“.—См. также другія статьи: „Русское народное слово въ древнихъ духовныхъ писателяхъ“, 1842, т. III, кн. 6 (новый счетъ томовъ съ 1842 г.); „По- вѣсть о русской народности“, И. Маркова, 1843, т. VIII, кн. 16, и др.

Журналъ издавался вообще странно. Выборъ статей въ журналъ „современного просвѣщенія въ духѣ русской народности“, вѣроятно, удивлялъ читателя: лекціи изъ высшей математики, Остроградскаго, статьи по аналитической механикѣ, кораблестроенію (издатель былъ морякъ); статьи по психологіи, богословію (писанныя тѣмъ же специалистомъ кораблестроенія); романтическіе стишки; проповѣди архіереевъ; повѣсти, русскія и иностранныя. Видимо, журналъ самъ почувствовалъ, что народности въ немъ мало, и съ третьего года прибѣгъ къ рѣшительному средству: онъ заявилъ, что будетъ помѣщать „статьи, писанныя нашими православными мужичками, ихъ русскимъ роднымъ умомъ-разумомъ и деревенскимъ складомъ“, т.-е. тѣмъ приторнымъ и фальшивымъ складомъ, который былъ выдуманъ Сахаровымъ. Такой писатель проявился въ лицѣ Антипы Снѣжкова, „огородника съ Выборгской стороны“, Аѳанасія Пуги, „маячнаго сторожа“ и т. п. Ихъ писанія должны были представлять подлинную народность и были только скучнымъ пустословиемъ. Въ „Маякѣ“ начали писать „малосмысленные областяне“, какъ они самы себя называли¹⁾,—конечно, полагая въ малосмысленности признакъ „народнаго ума-разума“. Вѣроятно, въ цѣляхъ той же народности, въ противность вполнодумству журнала съ самаго начала обнаружилъ наклонность къ сверхъестественному, къ чудодѣйству, суевѣрію, которыхъ предполагались необходимой принадлежностью православнаго мужичка: появились статьи о духахъ, привидѣніяхъ, магіи; цѣлый рядъ разсказовъ: „Проявленіе невидимаго міра“ (1845, т. XXII); Боричевскій поставлялъ преданья и повѣры славянскихъ племенъ—о чертяхъ, вѣдьмахъ и т. п.²⁾. Кончилось тѣмъ, что въ „Маякѣ“ стали присыпать, а онъ печаталъ, всякия фантастическія бредни, выдаваемыя за сверхъестественные факты, — надъ „Маякомъ“ стали смеяться, что онъ распространяетъ вѣру въ лѣшихъ, вѣдьмъ и домовыхъ...

Рядомъ съ недѣлѣстями разнаго рода, наполнившими „Маякъ“, опять проблескомъ правды было сочувственное отношеніе къ малорусской литературѣ и ея писателямъ. Уже съ первыхъ книжекъ въ „Маякѣ“ появились повѣсти Основьяненка (журналъ радовался литературнымъ успѣхамъ его, какъ „земляка“), стихи Артемовскаго-Гулака (даже на малорусскомъ языке), повѣсть и поэма³⁾ Шевченка

¹⁾ „Маякъ“, 1844, т. XV, іюнь, смѣсь, стр. 20.

²⁾ Они вышли потомъ въ отдельныхъ книжкахъ. — Были, между прочимъ, въ „Маякѣ“ анекдоты о стучащихъ духахъ, которые могли бы доставить большое удовольствіе нынѣшнимъ спиритамъ.

³⁾ „Безталанный“; посвящено: „На память 9-го ноября 1843 года, княжнѣ Варварѣ Николаевнѣ Репиной“. 1844, т. XIV, стр. 17—30.

(на русскомъ языке); статьи по малорусской этнографии—Срезневского, Костомарова, Сементовского¹); критические разборы малорусскихъ книгъ и защита малорусской литературы противъ критиковъ, ей не сочувствовавшихъ, напр., въ „Отечественныхъ Запискахъ“²), причемъ защитниками сдѣланы были весьма вѣрныя замѣчанія о значеніи и правѣ малорусской литературы, необходимой и для развитія самой русской словесности. Это сочувствіе объясняется, кажется, прежде всего тѣмъ, что у издателя „Маяка“ сохранялся мѣстный патріотизмъ, далѣе тѣмъ, что въ малорусскихъ писателяхъ онъ думалъ видѣть сторонниковъ своихъ идей, въ чёмъ нѣкоторые изъ нихъ и не противорѣчили ему; это послѣднее, въ свою очередь, усиливало предубѣжденіе противниковъ малорусской литературы...

По русской исторіи, „въ духѣ народности“ дѣйствовали въ журналѣ особенно два писателя: Савельевъ-Ростиславичъ и московскій профессоръ Морошкинъ, составлявшіе школу Венелина. Оба внесли въ „Маякъ“ свою долю странностей.

Объ этой школѣ въ ходѣ нашей исторіографіи упоминаютъ обыкновенно только „для счета“³). Мы коснемся ея только по ея отношенію къ народности. Венелинъ (1802—1839), родомъ карпатскій русинъ, дѣйствовавшій въ русской литературѣ, имѣетъ большое историческое имя въ развитіи славянскаго національнаго возрожденія, а частію и въ нашей исторіографіи. Это были пылкая, даровитая натурѣ; проникнутый славянскимъ патріотизмомъ, неудовлетворенный литературнымъ положеніемъ славянскаго вопроса, онъ стремился защитить права славянства и въ жизни, и въ исторической науцѣ. Ему больше всего обязаны болгары пробужденіемъ національнаго сознанія; въ литературѣ онъ бросилъ не мало новыхъ смѣлыхъ мыслей, которыхъ часто вовсе не были оправданы трудами его или его послѣдователей, но возбуждали къ изслѣдованію, заставляли смотрѣть

¹⁾ Напр. Срезневскаго, Замѣчанія о праздникахъ у малороссіянъ; Костомарова: О циклѣ весеннихъ иѣсень въ народной южно-русской поэзіи. „Маякъ“ 1843, т. XI.

²⁾ Такъ были разборы „Молодика“, сборника „Сніп“; восхвалительный разборъ „Гайдамаковъ“ Шевченка (Н. Тихорскаго, „Маякъ“, 1842, т. IV, кн. 8, стр. 82—106), такой же разборъ трагедіи „Переяславская ночь“ Іеремія Галки, т.-е. Костомарова,—писанный К. Сементовскимъ (1843, т. ХII, крит., стр. 42—73), противъ прежняго, менѣе благопріятаго отзыва Тихорскаго; сочувственный разборъ,—собственно изложеніе,—книги Костомарова „Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи“, 1844, К. Каляйденскаго (1844, т. XV). Защита малорусской литературы въ ст. Антыленко и К. Каляйденскаго, 1842, книга 6-я и 12-я.

³⁾ Ср. „Моск. Обозрѣніе“, 1859, кн. I, стр. 56.

шире и многостороннѣе; его критическія требованія иногда ¹⁾ вѣрно указывали, чего недоставало въ трудахъ нашихъ историковъ. Первая сочиненія Венелина явились гораздо раньше знаменитыхъ „Древностей“ Шафарика, и независимо отъ него Венелинъ расширялъ славянскую старину до такихъ вѣковъ и событий, гдѣ ея или вовсе не искали, или не имѣли о ней увѣренности. Въ русской исторіи онъ выступилъ самымъ рѣзкимъ противникомъ норманской теоріи, не только потому, что считалъ ее фактически ошибочной, но и потому, что теорія казалась ему оскорбительной для славянства и русского народа.

Послѣдователи Венелина хотѣли развивать его идеи, и какъ часто бываетъ съ послѣдователями оригинальныхъ теорій, доводили ихъ до нелѣпости; они не мало способствовали тому, что труды Венелина получили репутацію фантастическихъ и научно-непригодныхъ.

Ник. Васил. Савельевъ-Ростиславичъ учился въ московскомъ университѣтѣ и, едва кончивши курсъ, въ 1836, вступилъ на литературное поприще съ историческими трудами, въ которыхъ обнаружилъ замѣчательную начитанность, и въ направленіи съ тѣмъ оттѣнкомъ, который съ первыхъ лѣтъ „Маяка“ сдѣлалъ его другомъ этого журнала.

О своей университетской школѣ Савельевъ разсказываетъ, что всего больше онъ былъ обязанъ Терновскому (извѣстному тогда профессору богословія), Морошкину (читавшему римское право) и М. Г. Павлову (философу-физику). „Ихъ удивительная логичность системы, строгая послѣдовательность выводовъ и многостороннее изслѣдованіе рассматриваемыхъ вопросовъ очень сильно дѣйствовали на умы слушателей... Особенно важно было то, что въ московскомъ университетѣ господствовалъ тогда духъ свободнаго изслѣдованія, не стѣсняемаго никакимъ авторитетомъ (?) и склонявшагося только передъ вѣчными истинами Откровенія и непреложными законами Разума“ ²⁾. Съ первого же года изданія „Маяка“, въ немъ были съ сочувствиемъ приняты труды Савельева: его общеисторическая точка зрѣнія, повидимому, вполнѣ сходилась со взглядами журнала ³⁾; сходно было

¹⁾ См., напр., въ его „Мысляхъ объ исторіи вообще и русской въ частности“ (въ „Чтеніяхъ“ Моск. Общ., 1817, № 8). Ср. Соч. Кавелина, т. II, стр. 407.

²⁾ Эти біографическія подробности и перечисленіе трудовъ Савельева-Ростиславича до 1845 г. читатель найдетъ въ его „Славянскомъ Сборнику“ (Спб. 1845), стр. ССVIII—ССXXV; то же, съ вѣкоторыми перемѣнами, издано тѣмъ же наборомъ въ отдельной брошюрѣ, и въ третьемъ лицѣ: „Объ историческихъ трудахъ (1837—1845) Ник. Вас. Савельева-Ростиславича“, с. I. et a., 21 стр.

³⁾ Въ „Маякѣ“ 1840, ч. IX, помѣщены были „Очерки всеобщей исторіи“, обнимавшие „исторію 7348 лѣтъ жизни человѣчества“, и редакція высказала свое удо-

и „народное“ направление, потому что Савельевъ также стремился защищать русскую народность отъ зловредной иноземщины и специально отъ нѣмцевъ.

Не будемъ останавливаться на перечетѣ его многочисленныхъ статей по славянской древности и русской исторіи, статей, разсѣянныхъ по журналамъ съ конца тридцатыхъ годовъ („Московскій Наблюдатель“, „Литер. Прибавленія къ Р. Ивалиду“, „Отеч. Записки“, „Маякъ“, „Сынъ Отечества“, „Журналъ Мин. Нар. Просвѣщенія“ и др.) и частію собранныхъ потомъ въ „Славянскомъ сборникѣ“. Довольно сказать, что относительно древности, которою онъ больше всего былъ заинтересованъ, онъ заявилъ себѣ ревностнымъ приверженцемъ Венелина, развивалъ его мысль о старобытности славянъ въ Европѣ и отвергалъ не менѣе энергически норманскую теорію о началѣ русского государства. Савельевъ не сомнѣвался, что Геродотова Скиѳия прямо говорить о славянахъ и русскихъ; утверждалъ, что такъ-называемое „переселеніе народовъ“ совершалось только въ головахъ новѣйшихъ ученыхъ историковъ, что въ дѣйствительности въ Европѣ V-го вѣка жили тѣ же самыя племена какъ теперь, что гунны среднихъ вѣковъ были просто русскій народъ; что Русь, задолго до Рюрика, была государствомъ и съ IV до IX вѣка, соединенная съ Болгаріею, господствовала отъ Бѣлаго моря до Балканъ и Адріатики; норманская теорія была злонамѣренно придумана нѣмцами Байеромъ и Шлѣцеромъ для униженія русской народности, и т. п. Своей начитанностью въ средневѣковыхъ писателяхъ по этому periodу Савельевъ превосходилъ, вѣроятно, всѣхъ тогдашнихъ историковъ нашихъ; онъ пріобрѣталъ свѣдѣнія и въ исторической литературѣ славянской, и иногда вѣрно указывалъ ошибки своихъ противниковъ,— но, несмотря на то, труды его, хотя ревностные и обильные, принесли мало пользы. Прежде всего, полемический задоръ помѣшалъ ему собрать свои взгляды въ цѣльное и послѣдовательное изложеніе: его материалъ разбился на множество подробностей, отдѣльныхъ замѣтокъ, главная тема остается невыработанной и недоказанной. Стремленіе видѣть повсюду славянъ, заимствованное у Венелина, заводить автора въ самыя рискованныя утвержденія; вѣрныя замѣчанія перемѣшаны съ грубѣйшими ошибками, особенно филологическими, и наконецъ, авторъ, вообразивъ свои выводы доказанными, начинаетъ безъ церемоніи перекладывать племенные и географические названія у Геродота и Тацита и т. п., въ чистѣйшія славянскія и русскія имена.

вольствие, что здѣсь, „какъ и быть должно, все построеніе основано на истинной вѣрѣ Христовой“.

Доискаться общественно-историческихъ взглядовъ автора было бы довольно трудно. Въ противорѣчіе съ развившейся вскорѣ славянофильской теоріей, онъ — горячій поклонникъ Петра Великаго, который искалъ просвѣщенія русскаго народа (и допускалъ иноzemцевъ только для наученія русскихъ); онъ соглашался съ мнѣніемъ Шевырева, что и „великая мысль Все-Славянства, въ новомъ мірѣ Россіи, принадлежитъ Петру Великому: государь-геній, онъ первый постигъ важность *родственнаю* отношенія между нами и другими племенами славянскими“¹⁾). Но: „путь прямой былъ указанъ — по немъ не пошли“. Кто не пошли и почему не пошли, Савельевъ не объясняетъ; а между тѣмъ, здѣсь именно и былъ исходный пунктъ того удаленія отъ народности, которое оплакивалъ и противъ кото-раго негодовалъ „Маякъ“ и его союзники. „Великій умеръ — и мысль его осталась безъ исполненія“: вотъ все, что говоритъ Савельевъ объ этомъ обстоятельствѣ...

Затѣмъ, „люди, къ которымъ Петръ Великій питалъ глубочайшее презрѣніе (?), размножались: въ благодарность Россіи, которая кор-мила ихъ и поила, они подарили Бироновщину (1730—1740), тяго-тѣвшую надъ нашимъ отечествомъ до счастливаго воздаренія дочери Петровой, кроткой Елизаветы, очистившей (?) Русь отъ иноплеменниковъ и предуготовившей намъ вѣкъ Екатерины Великой. Въ этотъ несчастный для Россіи періодъ господствованія Бирона, въ угодность сильнымъ временщикамъ-иноzemцамъ, явилась и система скандинав-скаго происхожденія Руси (!). Угрожаемые намѣреніемъ Петра Великаго (т.-е. намѣреніемъ устранить ихъ, когда выучатся русскіе), но жалѣя разстаться съ гостепріимною Россіею, чужеземцы осуществили планъ—присвоить себѣ воспитаніе русскаго юношества и съ самаго дѣтства внушать ему ту мысль, что Россія всѣмъ обязана не себѣ, а чужеземцамъ, что имъ слѣдствено (а не намъ) принадлежитъ во всемъ первенство, и что даже первое сѣмя государственной жизни брошено у насъ чужеземцами“²⁾.

Эти олицетворенія представляютъ дѣло въ чрезвычайно запутан-номъ видѣ. Откуда взялись, отчего размножались „люди, презирае-мые Петромъ Великимъ“; какъ могли дойти до такой силы, что подарили Россіи Бироновщину; отчего Россія, которой дѣлали иноzemцы столько вреда, была такъ беспомощна и ничтожна передъ ними; какъ могли они взять да присвоить себѣ воспитаніе юношества? Авторъ и не думаетъ, что вопросы эти возможны и необходимы, если говорить о вліяніи иноzemцевъ въ нашемъ XVIII вѣкѣ. Далѣе: въ связи

¹⁾ Слав. Сборникъ, стр. VI.

²⁾ Тамъ же, стр. VII—VIII.

съ этимъ, во времена *Бироновщины*, возникла система скандинавскаго происхожденія Руси. Чоложимъ; но тогда это были только предположенія Байера, а настоящимъ образомъ сложилась и утвердилась эта система (въ рукахъ Шлѣцера) гораздо позднѣе, а именно послѣ временъ той кроткой Елизаветы, которая, по словамъ автора, уже очистила Русь отъ инонплеменниковъ.

Шлѣцеръ, какъ чужеземецъ, опять провинился, по взгляду Савельева, принявъ злонамѣренную теорію Байера, и былъ снова источникомъ множества бѣдственныхъ заблужденій въ русской исторіографіи; но въ минуты безпристрастія самъ Савельевъ признается, что Шлѣцеръ былъ не такого характера человѣкъ, чтобы онъ составлялъ свои мнѣнія кому-либо въ угоду, что онъ оспаривалъ и Байера, когда находилъ въ немъ ошибки, что это, словомъ, человѣкъ, научную заслугу котораго должны признать самые рѣшительные противники его теоріи¹⁾. И какъ быть, наконецъ, съ тѣмъ, что скандинавская или норманская теорія была принята множествомъ русскихъ ученыхъ? Нельзя же было безъ опасенія безмыслицы сказать, что Карамзинъ и Погодинъ, какъ послѣдователи норманской теоріи, что Бутковъ, какъ приверженецъ русско-финской теоріи, и пр., и пр., всѣ были враги русской народности, составляли свои взгляды „въ угодность сильнымъ временщикамъ-иноземцамъ“, или хотѣли внушить русскому юношеству „мысль, что Россія всѣмъ обязана не себѣ, а чужеземцамъ“ и т. д., и нельзя также сказать, чтобы русскіе послѣдователи норманской теоріи принимали ее по глупости.

Словомъ, путаясь въ своихъ обвиненіяхъ противъ послѣдователей норманской теоріи, писатели, въ родѣ Савельева, никакъ не могли понять, что въ распространеніи того или другого исторического взгляда могла дѣйствовать просто только степень *научной доказательности* того или другого мнѣнія въ данную пору. Норманская теорія потому именно и распространялась, что съ XVIII-го вѣка (да и донынѣ) она была *научно* лучше обставлена, чѣмъ другія теоріи. Можно было оспаривать ее, приводить новыя доказательства въ пользу иного взгляда, и этого было бы довольно; но школы, подобныя школѣ Савельева, имѣли всегда дурную замашку давать литературнымъ вопросамъ полицейскій оборотъ, и, выдавая свои мнѣнія за патріотическія, представлять мнѣнія противниковъ какъ недостатокъ патріотизма, а то какъ и прямую измѣну.

Возвратимся еще къ одному эпизоду въ разсужденіяхъ Савельева. Послѣ Цетра, явился у насъ еще геніальный человѣкъ—Ломоносовъ. „Отечеству — Россіи предстояло (?) геніемъ Ломоносова опередить

¹⁾ Слав. Сборникъ, стр. LII, CLXVI—CLXVIII.

Европу, въ половинѣ XVIII вѣка утвердить тѣ открытия, которыя составили славу нѣсколькихъ ученыхъ естествоиспытателей конца XVIII и начала XIX вѣка: завистники генія не допустили Россію (?) обнаружить самостоятельность воззрѣнія на естествознаніе. Россія могла бы за полвѣка до Карамзина имѣть свою исторію... недоброжелательство враговъ русскаго генія лишило его средствъ совершить полезный трудъ. Кто же были эти враги русскаго генія? Иноzemные гости и даже (стыдно сказать) свои соотечественники¹⁾. Не говоря о томъ, что въ словахъ Савельева значеніе открытій Ломоносова въ естествознаніи крайне преувеличено, авторъ до смѣшного терялъ мѣру, говоря о завистникахъ, будто бы не допустившихъ „Россію“ обнаружить ея научную самостоятельность. Здѣсь разумѣются, вѣроятно, академическіе враги Ломоносова; но какъ они могли помѣшать появленію русской исторіи за полвѣка до Карамзина и помѣшать самостоятельному воззрѣнію на естествознаніе, неизвѣстно; притомъ Академія существовала не безъ вѣдома „Россії“: выходило, что вина должна лежать и на самой Россіи. Надо думать, что „иноzemные гости“ могли вредить только потому, что „соотечественники“ не понимали интересовъ русскаго генія. Замашка — свалить все на иноzemцевъ, не разумѣя общаго положенія вещей, или — лицемѣрно о немъ умалчивая, доходила до абсурда.

Еще болѣе странностей представляли археологическія изслѣдованія, которыя въ это же время издавалъ наставникъ Савельева, Морошкинъ, другой желанный сотрудникъ „Маяка“.

Фед. Лук. Морошкинъ (1804—1857), сынъ сельскаго священника въ тверской губерніи, учился въ семинаріи, потомъ въ московскомъ университетѣ, по юридическому факультету; по окончаніи курса, „изъ особенной привязанности къ Москвѣ и московскому университету“ отказался отъ поступленія въ профессорской институтѣ и отъ путешествія за границу (послѣднее предлагали ему два раза), съ 1834 года началъ преподаваніе въ московскомъ университетѣ по различнымъ предметамъ права, съ 1838 въ качествѣ ординарнаго профессора²⁾. Въ пору его ученья уже распространялся вкусы къ изученію философіи, и Морошкинъ много занимался ею (до Гегеля включительно) подъ руководствомъ Павлова, Дядьковскаго, Надеждиня: онъ изучалъ „корифеевъ современной философіи собственно не для содержанія, а для методы научной архитектоники“; Канта, Шеллинга, Гегеля онъ считалъ за „великихъ гимназіарховъ евро-

¹⁾ Слав. Сборникъ, стр. XI.

²⁾ Его автобиографія въ Словарѣ моск. профессоровъ, М. 1855, т. II. См. также „Молву“, 1858, № 36, стр. 409; Моск. Вѣдом. 1858, № 147, ст. С. Баршева; Справочный Словарь, Геннади, Берлинъ, 1880, т. II, стр. 346 (съ опечатками).

пейского мышленія"; но „догматический взглядъ на философію онъ старался почерпать изъ лекцій знаменитыхъ философовъ Троицкой Сергіевской лавры“—онъ разумѣлъ Кутневича иprotoіерея Голубинскаго. Но, по его словамъ, „эти философскія занятія убѣдили Морошкина, что онъ не рожденъ для чистой философіи“. Подъ этими вліяніями онъ составилъ себѣ однако философское представление объ исторіи права, объ его *историческомъ развитіи*. Изъ историко-юридическихъ трудовъ его известенъ переводъ „Исторіи росс. государственныхъ гражданскихъ законовъ“ Рейца съ дополненіями (1836), и особенно „Рѣчь объ Уложеніи ц. Алексія Михайловича и о послѣдующемъ его развитіи“ (1839).

Свои изысканія о древнѣйшей Руси Морошкинъ началъ еще въ 1836 году, когда составлялъ примѣчанія къ Рейцу; въ 1839 онъ писалъ объ этомъ предметѣ въ „Галатеѣ“ Раича; въ томъ же году онъ излагалъ свои идеи въ московскомъ Обществѣ исторіи и древностей, и тамъ порѣшено было напечатать статью Морошкина въ „Сборнике“ Общества, „а потомъ опредѣлено: не печатать“. Тогда Морошкинъ издалъ свою статью отдельно¹⁾). Надо думать, что члены Общества испугались необычайной своеобразности его историческихъ приемовъ: онъ упоминаетъ въ предисловіи, что ему дѣлали не мало возраженій относительно „метода“ (въ объясненіи народныхъ и мѣстныхъ названій) и самъ онъ называетъ его „стариннымъ филологическимъ методомъ“. Съ дальнѣйшими трудами оставалось вмѣсто Общества исторіи и древностей обратиться къ „Маяку“, который уже открылъ свои страницы для Савельева-Ростиславича, и въ „Маякѣ“ является рядъ статей Морошкина²⁾.

Дать понятіе о свойствѣ изслѣдований Морошкина или объ его „методѣ“ очень мудрено: до того онъ страненъ и лишенъ всякаго смысла. Какъ и Савельевъ, Морошкинъ положилъ много труда на чтеніе древнихъ и средневѣковыхъ писателей, у которыхъ ожидалъ найти свѣдѣнія о руссахъ и славянахъ, но огромный материалъ, имъ подобранный, сбитъ въ безобразную кучу; изслѣдователь, по своему *старинному* методу (тому самому, какой употреблялся Тредьяковскимъ), вылавливаетъ въ мѣстныхъ и народныхъ названіяхъ малъ-

¹⁾ О значеніи имени Руссовъ и Славянъ. Сочиненіе Федора Морошкина. М. 1840. П. и 233—304 стр. Пагинація осталась, видимо, отъ предполагавшагося изданія Общества.

²⁾ „Историко-критическая изслѣдованія о Руссахъ и Славянахъ“, съ предисловіемъ Савельева,—четыре статьи, 1842, т. IV—VI (книги 8—11), и отдельной книжкой, Спб. 1842. Здѣсь повторена, съ перемѣнами, прежняя книжка, и ведутся новыя изслѣдованія.

— Раззоръ книги Венелина: „Древніе и нынѣшніе Болгаре“ и „Скандинавоманія“, тамъ же, 1842, т. VI, кн. 12, стр. 81—115.

шія случайныя созвучія и строить на нихъ изумительные выводы. Онъ самъ допускалъ, что въ его „методѣ“ есть натяжка и злоупотребленія, но все-таки стоялъ на своемъ, и въ результатахъ его изслѣдованія представляютъ рядъ странностей, собранныхъ какъ будто для шутки и пародіи. Еще въ 1837 году, — разсказываетъ Морошкинъ, — „мнѣ приходило на мысль произвести имя нашего отечества отъ *рощи, прута, розги или лозы* (*Roscia, Pruthenia, Ruthe, Rosgi*); но мнѣ тогда не доставало данныхъ, и потому я отказался отъ столь смѣлаго предположенія; теперь же, имѣя на своей сторонѣ знатный запасъ филологическихъ и историческихъ доказательствъ, съ полнымъ убѣждениемъ утверждаю, что *Русь* происходитъ отъ слова *льсь* или *роща*¹⁾). Слѣдуютъ доказательства — невообразимая путаница словъ латинскихъ, греческихъ, русскихъ, изъ которыхъ выводится, что слово Русь есть лѣсь, роща, дерево и т. п.²⁾. Русь, объясняемую подобнымъ образомъ, авторъ отыскиваетъ гдѣ только пожелаетъ: встрѣтивъ любое племенное название у Геродота, Плинія, Страбона, которое покажется ему подходящимъ, авторъ переломаетъ его по своему „методу“ и объявить, что оно обозначаетъ жителя лѣсовъ, рощъ и т. п., слѣдовательно русскаго. Однажды подвернулись ему турки, онъ продѣлали надъ ними ту же операцию и рѣшилъ: „итакъ, первые турки суть народъ лѣшій, а если лѣшій, то и русскій“!³⁾ Подумаешь, что было писано на смѣхъ.

Савельевъ и другие строгіе суды скандинавской теоріи съ презрѣніемъ говорятъ о грубыхъ словопроизводствахъ Байера и Шлѣцера, какъ производство „князя“ отъ „кнекта“ и т. п.; но конечно, обоихъ далеко превзошелъ Морошкинъ, по которому Россія происходитъ отъ розги, а русскій значитъ лѣшій.

Не будемъ дальше проникать въ изслѣдованія Морошкина⁴⁾; но

¹⁾ О значеніи имени Руссовъ и Славянъ, стр. 234—235.

²⁾ Напр., „Отъ латинскаго *ruta*, безъ сомнѣнія, произошло немецкое слово *Ruthe*, прутъ, лоза, розга, палка, и производное отъ него *Ruthenia*! Слово Русь, прошедшіе у Морошкина сквозь строй его толкованій, превращается въ *Roscia*, *Ruthenia*, *Ragusa*, *Ugri*, *insula Rugacen* (т.-е. Рюгенъ), *Rox-alani*, *Rozani*, Рязань, Рязанцы, Ряжцы и т. д. и авторъ съ самодовольствомъ заключаетъ: „Вотъ лѣствица названий русской земли отъ Страбона (отъ временъ Р. Х.) до позднѣйшихъ временъ!“

³⁾ См. тамъ же, стр. 279. Въ „Историко-критич. Изслѣдованіяхъ“ Морошкинъ уже измѣнилъ эту фразу; см. стр. 85.—Польскій „панъ“ есть тоже лѣшій; отъ него происходить „Паннонія“. Ист.-критич. Изслѣдов., стр. 117.

⁴⁾ Еще въ 1841 году Погодинъ возсталъ противъ теоріи Морошкина, которая вскорѣ уже прославились какъ нелѣпость и чудачество. Нѣкто А. К. взялъ его подъ свою защиту въ книжкѣ: „Критическое обозрѣніе книги Ф. Л. Морошкина. Письмо беспристрастного любителя исторіи къ М. П. Погодину“. Объ этомъ см. въ „Маякѣ“, 1845, т. XIX—XX: „Письма къ издателю „Маяка“ о литературной жизни Москвы“.

Короткое, но весьма обстоятельное опроверженіе ненаучныхъ фантазій Морошкина.

нельзя не отмѣтить въ нихъ одного эпизода. Среди своихъ изысканій Морошкинъ однажды покинулъ словоиздѣліе и въ лирическомъ отступленіи изложилъ слѣдующія свои мысли объ историческомъ значеніи и будущности русского государства и народности:

„Племя славянское живеть будущностю, надѣждою, что вновь возстанетъ великий Царь Волги ¹⁾ и воззоветъ ихъ къ единому великому знамени, къ знамени не разрушенія, а общаго успокоенія въ нѣдрахъ семейственного быта, который, кажется, предоставлено развить славянскимъ народамъ. Царство мира и любви имѣть семейственную форму, — форму, данную отъ природы и духа, а не изысканную, не созданную переходящими вѣками исторіи. Когда настаниетъ судь исторіи, тевтонскій міръ отдастъ славянамъ все, что имъ взято у нихъ въ теченіе 1500-лѣтней его жизни. Не своими хазарскими ²⁾ саблями славянскій міръ грозитъ тевтонамъ, а славянскою цивилизаціею, первородными формами человѣческаго быта, грозитъ ему преемничествомъ, званіемъ наследника во всемирной исторіи. Славянскій духъ, по волѣ Провидѣнія, возлюбилъ себѣ място въ предѣлахъ Россіи: ибо имя *Rossi* есть старѣйшее, общее имя для всѣхъ славянскихъ народовъ; здѣсь родина и колыбель всѣхъ славянскихъ народовъ; здѣсь только славянскій духъ можетъ развернуть свои орлиныя крылья и принять высокий полетъ. Имперія Карла Великаго совершилась; настанетъ новый міръ и новая жизнь, возвращающаяся отъ Запада къ Востоку... О, какую великую судьбу готовить Провидѣніе для Россіи!...

„Славяне, вообще говоря, отстали отъ тевтоновъ именно потому, что они имѣли слишкомъ рѣзкий духъ и, къ большой невыгодѣ, духъ односторонне развитый. Не было ни одного народа среди славянскихъ племенъ, въ коемъ бы всѣ стихіи гражданственной жизни соединились для построенія быта прочнаго, способнаго къ дальнѣйшему развитію. Въ каждомъ славянскомъ народѣ было только одно народное сословіе дѣйствующимъ; всѣ же другія были мертвыми, страдательными... Надежда оставалась на Польшу и Россію. Польша никогда не была государствомъ: она была тевтонизованная казацкая община—энергическая, но сиротствующая стихія государственная! Поляки, по рожденію своему, будучи храбрыми славянскими казачествомъ, отреклись отъ своихъ родичей и, пресмыкаясь предъ тевтонами и Римомъ, втонали въ землю свою меньшую братію, погребли навсегда городской и сельской бытъ своего простонародія: никогда и нигдѣ человѣчество не было столько презираемо и утѣшаемо, какъ въ Польшѣ: съ нимъ погибла здѣсь основная стихія государственная. Европа никогда искренно не усыновила поляковъ: императоръ, раздавая титулы, считалъ ихъ вассалами; новорожденная Пруссія — будущую военную добычу; а пана погубилъ ихъ навсегда неумѣстною ревнотью о своемъ владычествѣ. Польское дворянство осталось безъ народа, но съ изящными формами европейскаго вассала. Какой славный урокъ для славянскихъ племенъ...

„Чѣмъ болѣе порицаютъ насъ тевтоны, тѣмъ болѣе мы должны гордиться собою. Это значитъ, что мы не тевтонизованное ничто. Русская земля имѣетъ всѣ стихіи для образования великаго государства и великаго народа. Первое

кина даль, наконецъ, Погодинъ въ „Ізслѣд., замѣчаніяхъ и лекціяхъ о русской истории“, М. 1846, т. II, стр. 198—211.

¹⁾ Подразумѣвается Атилла, который со временемъ Венелина считался въ школѣ славянскимъ или даже прямо русскимъ царемъ.

²⁾ На языкѣ Морошкина это значитъ: казацкими.

начально, эти стихії были разбросаны по всему пространству русской земли, и ни одна изъ нихъ сама по себѣ не была достаточна для основанія государства... Киевская Россія начинаетъ соединять стихії разнородныя: здѣсь является казакъ и селянинъ. Но казакъ¹⁾ забылъ бы селянина въ Россіи, еслибъ Кіевъ остался навсегда столицею государства... Діаметрально противуположень казачеству юга великой Новгородъ съ его колоніями и факторіями: народъ смердъ, торгашъ и плотникъ; народъ упорный, закоснѣлый (?) въ сознанії своей личности и въ любви къ отечеству. И здѣсь тоже не могло образоваться государство, недоставало благороднѣйшихъ стихій народныхъ. Искони разумный Новгородъ нуждался въ воинскихъ дружинахъ варяговъ и кіевскихъ князей, искони дружины русскія нуждались въ жалованьї Новгорода. Изъ этого образовался союзъ русской земли, сперва по условію, а потомъ вѣчный, безусловный: Новгородъ поддался Москвѣ. Москва основана въ землѣ рязанскихъ вятчей, на безразличномъ пункѣ всей Россіи: въ ней пресыкаются всѣ стихії русской земли: здѣсь граница Кіева, Новгорода и Рязани; здѣсь лагери, базары и деревни. Трудно сказать: какая стихія сильнѣе въ московской Россіи, Новогородская или Рязанско-Кіевская? Здѣсь на огромномъ пьедесталѣ мужественнѣйшаго, несокрушимаго простонародія возвышается колоссальный бюстъ военной дружины. Никакая Европа не въ состоянії сдвинуть съ мѣста этого дивнаго созданія вѣковъ. Москва есть Кремль всего славянскаго міра. Напрасно думаютъ утвердить гдѣ-нибудь славянскую національность безъ покровительства Московіи. Судьба на выборъ славянамъ отдала одно изъ двухъ: быть русскими — или быть славянами Европы, т.-е. страдниками, захребетниками Европы, подъ властью чужеплеменниковъ; третье невозможно. Но да не чуждается сердце славянъ имени русскаго: имя Россовъ есть древнѣйшее, общее имя всѣхъ славянъ, при первомъ поселеніи ихъ въ Европѣ²⁾...

Странно встрѣтить это разсужденіе среди фантастическихъ блужданій автора въ мнимо-славянской древности. Кроме послѣдняго замѣчанія объ имени руссовъ, это изложеніе личнѣмъ не связано съ „историко-критическими изслѣдованіями“ и ничѣмъ въ нихъ не доказывается и не поддерживается; но эта совершенно одиночная, случайно высказанная программа любопытна, какъ почти единственное изложеніе народно-политическихъ идеаловъ Венелинской школы, исторически связанное съ славянофильствомъ и его предваряющее. Эта программа носить на себѣ печать философско-историческихъ построений того времени: она по своему закруглена, но, какъ потомъ у славянофиловъ, выводы черезъ-чуръ шире основаній. Не говоря о томъ, дѣйствительно ли Россія есть родина и колыбель славянскихъ народовъ, и (еслибы это и было вѣрно) доказывается ли этимъ будущая роль Россіи въ славянствѣ, тысячелѣтняя исторія славянства прошла отдельно отъ Россіи и выработала себѣ не только бытовыя отличія, но и рѣзко выдающееся чувство своей особности. Это чувство вошло въ плоть и кровь современныхъ славянъ, и послѣдніе

¹⁾ Казакъ отождествляется у Морошкина съ воинственнымъ дворянствомъ, какъ въ Польшѣ, съ которой онъ и сравниваетъ кіевское государство.

²⁾ Историко-критич. изслѣдованія, стр. 118—121.

не хотятъ „быть русскими“, затеряться въ Россіи съ потерю своего индивидуального характера,—или Россія должна измѣниться, стать иною, для того, чтобы сліяніе могло совершиться безъ насилия для частныхъ народностей, всегда бѣдственаго и для нихъ оскорбительного. Для „сліянія“ недостаточно того, что было тысячу лѣтъ назадъ (если положить, что было); *теперь* оно требовало бы условій, отвѣчающихъ *нынѣшнему* историческому положенію. Нужно, чтобы „сліяніе“ являлось высокимъ нравственно-политическимъ идеаломъ,— для того, чтобы народы могли быть привлечены къ нему доброю волей; одна виѣшняя сила создала бы только тамерлановскую имперію, которая не даетъ славы и могущество которой недолговѣчно. Программа Морошкина говорить, правда, о славянской цивилизації и о наслѣдничествѣ во всемирной исторіи; но то и другое — гатаельные величины, съ которыми трудно рѣшать историческое будущее. Возвращеніе жизни отъ Запада къ Востоку, наступленіе новаго міра и выспренній полетъ славянского духа принадлежать къ про-рицаніямъ... Западъ привлекалъ и привлекаетъ славянство многоразличнымъ образомъ — не только силой, на которую можетъ отвѣтить сила, но и могущественнымъ вліяніемъ дѣйствительной образованности, небывалымъ развитіемъ научнаго знанія и культуры,— и это вліяніе Россія могла бы перевѣсить только дѣятельнымъ вступлениемъ на тотъ же путь, свободнымъ и широкимъ развитиемъ ея народно-общественныхъ силъ,—но именно этого до сихъ поръ еще нѣтъ.

Савельевъ-Ростиславичъ примкнулъ къ пророчествамъ Морошкина: „Да, внутреннее скрѣпленіе русского славянского племени *православіемъ* истины христіанства, а потомъ освобожденіе отъ ига, и обновленіе *православнаго царства* русского *самодержавнаго единства* воли царя и *народности*, сосредоточено въ *моби* къ *Rossiu* — „Дому Пресвятая Богородицы“, и къ царю — *отцу* своихъ подданныхъ, есть великий урокъ для нашихъ славянскихъ братій и для всего міра“ ¹⁾). Онъ заключаетъ пророчествомъ Даніила (II, 44): „возставитъ Богъ Небесный Царство, еже во вѣки не разыплется“ и пр

Въ то время, когда дѣлались первые опыты систематической постановки русской этнографіи, параллельное движение началось относительно народа южно-русскаго. Отличие въ характерѣ народностей, въ ихъ исторіи, нравахъ, народно-поэтическихъ произведеніяхъ не допускало для великорусскихъ этнографовъ возможности ввести и южную Русь въ кругъ своихъ изученій; они потребовали мѣстныхъ дѣятелей и работы на мѣстѣ.

¹⁾) Слав. Сборникъ, стр. CCXXXIX.

Пробы новѣйшей малорусской литературы начинаются съ Котляревского, съ конца XVIII вѣка. Русское литературное движение издавна уже захватывало малорусскія силы, но родная рѣчь сохраняла всю свою привлекательность даже для тѣхъ малоруссовъ, которые давно втянулись въ русскую жизнь, и первыя попытки ввести малорусскій языкъ въ книгу имѣли чрезвычайный успѣхъ. Книжное преданіе, черезъ письменную дѣятельность на церковно-малорусскомъ и болѣе чистомъ народномъ языке, какъ известно теперь, тянулось съ XVI-го и до конца восемнадцатаго столѣтія и, наконецъ, нашло выраженіе въ формахъ новѣйшей литературы. Извѣстно также, что это новое появленіе малорусскаго языка въ книгѣ совпадало и имѣло внутреннія связи съ литературнымъ возрожденіемъ въ западномъ славянствѣ, въ частности съ движениемъ галицкимъ; это послѣднее, окруженнное тяжелыми политическими и общественными обстоятельствами, находило себѣ не малую нравственную опору въ нашей малорусской литературѣ, а впослѣдствіи и само много послужило для изученія малорусской и вообще русской старины и народности. Галичъ была старая русская земля, давно оторванная политически отъ коренныхъ русскихъ земель, гдѣ совершалось образование государства и основное историческое развитіе племени; эта земля долго еще была связана исторически съ южною Русью, и черезъ нее, книжно-церковною дѣятельностью во Львовѣ въ XVI—XVII вѣкахъ, принесла свой вкладъ и въ образованность, и литературу общерусскую. Цлеменная связь съ Галичемъ и старое книжное преданіе возрождались теперь透过 малорусскую литературу. Сама южная Русь занимала такое великое мѣсто въ общей русской исторіи, ея населеніе составляло такой большой процентъ въ русскомъ народѣ, что изученіе ея представляло первостепенный интересъ исторической и этнографической.

Историческое изученіе началось на мѣстѣ, въ самой Малороссіи, еще въ прошломъ столѣтіи, примыкая къ старымъ малорусскимъ лѣтописямъ. Труды этнографические и именно изученіе народной поэзіи начинается книжкой кн. Н. А. Цертелева: „Опытъ собранія старинныхъ малороссийскихъ пѣсней“ (Спб. 1819).

Положеніе кн. Цертелева въ вопросѣ малорусской народной поэзіи похоже на положеніе Калайдовича при изданіи „Древнихъ Росс. стихотвореній“. Обычная шитика не давала мѣста для этихъ произведеній, и издатели не знали, какъ съ ними быть, какъ объяснить теоретически свои сочувствія къ ихъ красотамъ. Не проходитъ десяти лѣтъ, и Максимовичъ въ своемъ первомъ сборникѣ (1827 г.) уже съ увѣренностью говоритъ о важности народной поэзіи, съ той

точки зре́нія, что она должна послужить для создавія истинно-русской поэзіі.

Интересъ къ предмету быстро возрасталъ. Въ книжкѣ Цертелева помѣщено было всего 10 пѣсень; въ первомъ сборнике Максимовича уже 130; въ 1834 г. онъ опредѣлялъ свое собраніе уже до $2^{1/2}$ тысячи пѣсень; въ 1849 онъ издалъ третій сборникъ. Это не былъ результатъ только его личнаго труда: было уже много любителей, сообщавшихъ ему пѣсни, и въ числѣ ихъ онъ, кромѣ кн. Цертелева, называетъ (въ 1834 г.) еще Гоголя, Срезневскаго, Шпигоцкаго, Крамаренка, Бодянскаго и другихъ.

Въ эти же годы Срезневскій началъ изданіе „Запорожской Старины“ (1833—1838). Онъ былъ еще юношой, романтически восторгался малорусской историко-поэтической стариной, печаталъ въ своемъ сборнике думы, пѣсни, преданія, отрывки изъ лѣтописей и собственныя исторические пересказы. „Запорожская Старина“ доставила Срезневскому его первую извѣстность знатока южно-русскихъ народныхъ преданій и поэзіи, книжки были интересны; но на этихъ изданіяхъ особенно сказалось, что пора строго-научнаго метода еще не пришла. Въ изданіе Срезневскаго попало нѣсколько поддѣльныхъ думъ,—какъ въ тѣ же годы поддѣлки нашли мѣсто въ изданіяхъ Сахарова; но книга, и самыя поддѣлки, исполненные здѣсь иногда весьма искусно по своему времени, свидѣтельствовали о тепломъ интересѣ къ ста-ринѣ, которая рисовалась тогда не въ чисто народномъ, и не въ научномъ освѣщеніи, а въ окраскѣ патріотического романтизма.

Самой грандіозной поддѣлкой была въ новѣйшей малорусской литературѣ „Исторія Русовъ“, составленная какимъ-то любителемъ или любителями малорусской старины и приписанная Георгію Конисскому. Какъ и думы Срезневскаго, она долго считалась подлиннымъ сочиненіемъ извѣстнаго архіепископа бѣлорусскаго, и только недавно ея подложность всѣми признана. „Исторія Русовъ“ остается, однако, замѣчательнымъ сочиненіемъ, характеризующимъ политической стремленія извѣстнаго круга малорусскихъ патріотовъ первой четверти столѣтія.

Въ другомъ мѣстѣ мы подробно остановимся на трудахъ Срезневскаго, Максимовича, Метлинскаго, Бодянскаго, Костомарова, Кулиша и проч. по изученію малорусской народной жизни, старой и современной,—трудахъ, главное развитіе которыхъ принадлежитъ уже слѣдующему періоду. Довольно пока сказать, что, начиная съ кн. Цертелева, изученіе малорусского народа все расширяется на почвѣ чисто-этнографической; вмѣстѣ съ тѣмъ, оно переходитъ и на почву литературную какъ на русскомъ, такъ и на малорусскомъ языкахъ; общество знакомится ближе съ однимъ изъ элементовъ рус-

ской национальности, который начинаетъ выясняться въ общественномъ сознаніи и получать историческое опредѣленіе. Разработка малорусской старины вызвала различные вопросы по исторіи русской національности: такъ, былъ поднятъ вопросъ о сравнительной давности племенъ великорусского и малорусского и ихъ взаимномъ отношеніи, о давности малорусского нарѣчія, о томъ, къмъ совершаема была древняя исторія киевскаго периода, великоруссами или малоруссами (одно мнѣніе защищалъ Погодинъ, другое Максимовичъ), и т. п. Наконецъ, какъ было уже замѣчено нѣкоторыми наблюдателями, не случайно было то явленіе, что наши первые слависты были или малоруссы родомъ, или люди, обжившіеся въ Малороссіи и привязавшіеся къ ея изученію: таковы были Срезневскій, Бодянскій, Григоровичъ, Костомаровъ (какъ авторъ „Славянской Миѳології“), Пассекъ.

Малорусская литература не пользовалась сочувствіемъ въ кругѣ Бѣлинскаго. Самъ Бѣлинскій очень недружелюбно отзывался о первыхъ произведеніяхъ Шевченка, которые приводили въ восторгъ критиковъ малорусскихъ; враждебно отнесся даже къ историческому изслѣдованію Костомарова о русской и малорусской народной поэзіи; считалъ все движение ложнымъ и ненужнымъ. Этотъ взглядъ имѣетъ историческое объясненіе въ томъ, что первой необходимостью для нашего общественнаго образованія тотъ кругъ считалъ усвоеніе основныхъ прогрессивныхъ понятій, между тѣмъ какъ малорусская литература, тѣсно привязанная къ своимъ этнографическимъ источникамъ, или оставалась имъ совершенно чужда, отражая на себѣ консерватизмъ народной жизни, или имѣла къ нимъ слишкомъ далекое и мало видное отношение. Въ самомъ дѣлѣ малорусское движение вступало тогда въ литературные союзы, которые способны были впушать большія сомнѣнія: таковъ былъ союзъ съ „Маякомъ“, какъ потомъ и оказалось, не совсѣмъ отвѣчавшій мнѣніямъ молодыхъ украинофиловъ, но тѣмъ не менѣе внѣшнимъ образомъ существовавшій. Бѣлинскому не могло быть сочувственно это совпаденіе, и онъ могъ думать, что народность, защищаемая украинофилами, есть та же юродивая народность, за которую ратовалъ „Маякъ“ съ его нелѣпыми ухватками. Содержаніе малорусской литературы давало также поводъ къ этому смѣшеннюю, потому что въ своихъ народно-романтическихъ увлеченіяхъ восхищалась народностью безъ всякихъ оговорокъ, не удѣляя мѣста для высшихъ теоретическихъ интересовъ и восхищаясь даже чисто внѣшними принадлежностями народности, чтѣ въ самой русской литературѣ было уже давно пересолено и обозначалось названіемъ квасного патріотизма. Настоящій характеръ малорусского движения выяснился только позднѣе, когда понятія, лежавшія въ его основаніи, стали опредѣленіемъ и глубже: отношеніе къ нему въ рус-

ской литературѣ также измѣнилось; его друзья оказались въ болѣе либеральной части литературы, а враги—между новѣйшими продолжателями „Маяка“.

Чтобы оцѣнить состояніе народныхъ изученій въ описываемую эпоху, ихъ недостатки и ихъ пріобрѣтенія, необходимо принять въ соображеніе виѣшнее ихъ положеніе, ихъ общественную и оффициальную обстановку.

Общественная мысль съ начала Николаевскихъ временъ была въ состояніи крайней подавленности. Катастрофа, обрушившаяся на либеральный кружокъ Александровскаго времени, изгнала изъ обращенія цѣлый разрядъ идей и стремлений, предметомъ которыхъ было исправленіе общественныхъ недостатковъ и возвышеніе общественнаго сознанія. Слабые проблески движенія оказывались только въ литературѣ: наибольшая доля ея служила элементарнымъ книжнымъ потребностямъ общества въ духѣ господствовавшаго настроенія; лишь меньшая доля будила общественную мысль, дѣйствуя на сравнительно небольшую часть общества. Правда, въ этой долѣ литературы шла усиленная работа, которая потомъ отразилась новыми успѣхами общественной мысли; но въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и еще сороковыхъ годахъ, эта мысль была контрабандой ¹⁾, а большинство пре-
бывало въ китайской самодовольной неподвижности, отличаясь „беззаботностью на счетъ литературы“. Рядомъ съ слабостью образовательного интереса въ обществѣ шла и слабость научныхъ средствъ. Въ ту эпоху, когда подготавливались дѣятели этнографіи отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ, въ наукаѣ университетской, которая вѣдѣла еще нѣкоторыми учеными силами, для этого изученія не было мѣста; въ словесности, напр., по прожившимъ еще теоріямъ Баттѣ, Лагарца, Блера, Эшенбурга, не было мѣста для народной поэзіи; въ исторіи не было мѣста для вопросовъ, которые вели къ внимательному изученію народнаго преданія и обычая; этнографія, какъ наука, еще не подозрѣвалась; новая славянскія литературы, которыхъ такъ много опирались на изученіяхъ народности и подвигали ихъ, были едва извѣстны по имени. Но зарождавшееся сознаніе, примѣръ европейской литературы оказывали свое дѣйствіе; изученія начинались, но оставались еще на рукахъ любителей, мало или совсѣмъ не приготовленныхъ. Авторитетомъ въ русской этнографіи и археологіи дѣлается профессоръ латинскаго языка и цензоръ, Снегиревъ; другимъ

¹⁾ Укажемъ, напр., воспоминанія о той эпохѣ покойнаго Заблоцкаго, приведенные въ его некрологѣ, „Вѣстн. Евр.“ 1882, и современный дневникъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, Никитенка, въ „Р. Старинѣ“, 1889—90: наконецъ массу фактовъ представляетъ исторія тогданшней литературы вообще.

—плохо ученый почтовый врачъ, Сахаровъ; славу знатока народности пріобрѣтаетъ бывалый человѣкъ, талантливый, но не имѣвшій научной подготовки въ этнографіи, врачъ и министерскій чиновникъ, Даль; описателемъ народнаго быта является еще менѣе приготовленный и очень поверхностный писатель, чиновникъ Терещенко; знатокъ малорусской этнографіи вырабатывается изъ ботаника, — Максимовичъ; клерикальные защитники народности являются изъ моряковъ. Даже люди, какъ Надеждинъ, который былъ даже большимъ ученымъ, не были въ этнографіи настоящими специалистами¹⁾. Словомъ, большинство были чистые самоучки, и въ параллель этому тогдашняя критика не замѣчала грубыхъ ошибокъ, какія встрѣчались нерѣдко въ ихъ трудахъ. Самая публика была еще менѣе требовательна, и этнографы не трудились выработать методъ, справляясь съ европейскими изслѣдованіями, которыя, однако, уже съ двадцатыхъ годовъ поставили этнографію въ тѣсную связь съ сравнительнымъ языкоznаніемъ, миѳологіей и исторіей. Относительно метода, Сахаровъ и въ пятидесятыхъ годахъ остался такимъ же невѣждой, какъ былъ въ тридцатыхъ; университетскій профессоръ Морошкинъ въ сороковыхъ годахъ считалъ возможнымъ „старинный методъ“, который былъ филологическимъ абсурдомъ... Серьезная постановка дѣла наступила только съ новымъ поколѣніемъ ученыхъ, которые приняли руководство европейской науки; черезъ нихъ болѣе правильныя понятія о дѣлѣ распостранились и между этнографами-любителями и собирателями.

Свойства времени, да и характеръ большинства самихъ изыскателей не способствовали ни научно глубокой, ни въ общественномъ смыслѣ правдивой постановкѣ вопроса о народномъ бытѣ. Въ большинствѣ, это были люди, которые не задавали себѣ вопроса о по-

¹⁾ Савельевъ-Ростиславичъ задалъ однажды подобный вопросъ о томъ, кѣмъ велось въ его время изученіе русской исторіи. Оказалось, что „наука исторіи не находить своихъ ревнителей между тѣми, которые величаютъ себя официальными жрецами науки“, а что, напр., Кормчую книгу объясняетъ нѣмецъ, чиновникъ II отдѣленія (баронъ Розенкампфъ), бѣлорусскій архивъ печатаетъ протоіерей лейбъ-гвардії финляндскаго полка (Григоровичъ), въ славянской исторіи оказываетъ великія заслуги медикъ (Венелинъ), „Оборону русской лѣтописи“ составляетъ членъ совѣта министерства внутреннихъ дѣлъ (Бутковъ), научную нумизматику создаетъ московскій предводитель дворянства (Чертковъ), Литву объясняетъ столопачальникъ въ управлениі путей сообщенія (Боричевскій), достовѣрность ханскихъ ярлыковъ доказываетъ чиновникъ при редакціи журнала мин. внутр. дѣлъ (Григорьевъ), древнія торговые сношенія съ Азіей разыскиваетъ секретарь комитета иностранной цензуры (П. С. Савельевъ) и т. д. „Всѣ эти особы не принадлежать къ почтенному сословію профессоровъ русской исторіи въ нашихъ университетахъ“. Слав. Сборникъ, стр. CLXXI — CLXXIII. Трудамъ настоящихъ профессоровъ того времени (какъ Погодинъ, Устряловъ) Савельевъ не придавалъ большой цѣны.

ложеніи веіцей, вѣрили (или дѣлали видъ, что вѣрять), что про-
живають въ наилучшемъ изъ міровъ, возставали противъ новыхъ
стремленій общественной мысли, были равнодушны или враждебны
къ идеямъ общечеловѣческаго просвѣщенія—философскаго, художе-
ственнаго и общественнаго, въ которыхъ видѣли вольнодумство и
„не-русское“ направлениe. Бiографъ Снегирева разсказываетъ, напр.,
что „въ задушевныхъ разговорахъ съ религiозными людьми онъ бе-
сѣдовалъ о духѣ времени, о своеоліи и вольнодумствѣ общества, не
обузданного страхомъ“ и „не потворствовалъ либеральнымъ тенден-
ціямъ писателей“. По поводу того, что литераторы петербургскіе
враждовали съ московскими (въ 1830-хъ годахъ), Снегиревъ замѣ-
чаетъ въ письмѣ къ одному изъ пріятелей, что „такое раздѣленіе
не сообразно съ духомъ единодержавнаго и благотворнаго прави-
тельства“... ¹⁾). Идеалистическая пополненія подобныхъ изыскате-
лей народности оканчивались мудрствованіями „Маяка“.

Взаимныя отношенія между учеными людьми, этнографами и ар-
хеологами, представляли слишкомъ часто некрасивую картину мѣ-
лочнай вражды и завистливаго соперничества, которыя не свидѣ-
тельствовали о возвышенности научнаго интереса. Работы, и въ эт-
нографіи, и въ археологіи, было безъ конца. Нужно было собирать
народно-бытовой матеріалъ, приводить въ извѣстность массы не-
описанныхъ рукописей и т. п.: дѣла было на многіе десятки человѣ-
ческихъ жизней,—но выше этого стояли мелкія самолюбія. „Див-
люсь политикѣ гг. Малиновскаго и Оленина,—пишетъ Снегиревъ,—
политикѣ, которая подъ спудомъ таитъ свѣтильники, коими могли
бы они озарить мракъ отечественной древности. Первый дошелъ до
того, что боится обѣ описываемой имъ Москвѣ говорить при посто-
роннихъ, особенно при ученыхъ, дабы они чего не выманили у
него“. Снегиревъ изображаетъ Малиновскаго „эгоистомъ, сидящимъ
на кучахъ матеріаловъ и не дозволяющимъ другимъ ими поль-
зоваться“ ²⁾). Ученые этого сорта не составляютъ рѣдкости въ исто-
ріи нашей науки: но ученая слава Малиновскаго была обратно про-
порціональна богатствамъ, какими онъ распоряжался. Цереписка нѣ-
сколькихъ археологовъ, изданная недавно г. Барсуковымъ, пред-
ставляетъ къ сожалѣнію обильные примѣры взаимнаго недружелюбія
и завистничества,—примѣры, доходящіе до возмутительности: такова
переписка Кубарева съ Сахаровымъ по поводу цензурной исторіи,
которая стряслась въ 1848—49 г. надъ Бодянскимъ и издававшимися

¹⁾ Ив. Мих. Снегиревъ, стр. 58, 65, 117, 228.

²⁾ Тамъ же, стр. 104—106. Малиновскій начальствовалъ надъ московскимъ ар-
хивомъ министерства иностранныхъ дѣлъ; Оленинъ былъ директоромъ Публичной
библіотеки.

подъ его редакціей „Чтеніями“ московскаго Общества исторіи и древностей, вслѣдствіе того, что Бодянскій напечаталъ въ нихъ переводъ англійской книги XVI вѣка о Россіи, Флетчера. Самое напечатаніе этой книги, одного изъ любопытнѣйшихъ старыхъ иностранныхъ сочиненій о Россіи, было преступленіемъ въ глазахъ ученыхъ обскурантовъ¹⁾). Мудрено было ожидать широкаго и свѣтлаго научнаго взгляда отъ людей, которымъ невразумительно было значеніе исторіи, обрушившейся надъ Бодянскимъ. Книжное превознесеніе народности не мѣшало въ тѣ годы ученому этнографу становиться въ положеніе не изыскателя, а сыщика и шпиона. Въ „Маякѣ“ проповѣдники народности, хотя преклонявшіеся предъ Петромъ Великимъ, думали, что народность не соединима съ „западнымъ“ образованіемъ, не видѣли связи, соединявшей лучшую часть тогдашней литературы съ дѣйствительнымъ народнымъ вопросомъ, полагали народность въ грубо консервативномъ самохвалствѣ и радовались, что цензура держитъ писателей въ ежовыхъ рукавицахъ...

Тогдашняя обычныя изображенія народнаго быта говорили о народныхъ преданіяхъ, обрядахъ, пѣсняхъ, патріархальныхъ нравахъ, о приверженности къ старинѣ, вѣрѣ и престолу, но совершенно обходили реальный бытъ, крѣпостное состояніе; если упоминалось послѣднее, то въ видѣ идеалической картины благоденствующихъ „мужичковъ“. Господствующій тонъ было слажавое восхваленіе, параллельное съ чиновническимъ „все обстоить благополучно“; „ученое“ изображеніе народной жизни дополняло картину благополучія.

Такова была подкладка тогдашнихъ изученій, и безпристрастный историкъ весьма ограничить свои требованія, если вспомнить господствующія условия тогдашней общественности.

Въ царствованіе имп. Николая продолжалась традиція Священнаго Союза. Программа „народности“, какъ она была тогда поставлена, въ сущности была совершенно согласна съ этой традиціей; „народность“ должна была только усилить реакціонный смыслъ господствовавшей правительственной системы; она говорила: нашъ народъ не имѣть ничего общаго съ западомъ Европы, и тѣмъ менѣе съ гнѣздившимися тамъ превратными политическими идеями. Этой антипатіей къ западу, представленіемъ о неподвижномъ консерватизмѣ русскаго народа, поощреніемъ національного самомнѣнія, офиціальная программа совершенно удовлетворяла то большинство, которое не гналось за науками и довольно было привилегіями крѣпостнаго права; она имѣла много общаго съ самыми славянофиль-

¹⁾) Русскіе палеологи сороковыхъ годовъ, стр. 62—63, 69—72. Укажемъ еще на письма Снегирева къ Анастасевичу, въ „Древней и Новой Россіи“, 1830, ноябрь; ср. о томъ же дневникъ Никитенка, Р. Старина, 1890, февраль.

ствомъ. Административные практики не любили въ славянофилахъ теоретиковъ, которые слишкомъ далеко вели свою привязанность къ старинѣ и наконецъ отыскали тамъ поводы къ отрицанію господствующаго порядка вещей. Но положительное недовѣріе и подозрѣніе возбуждали люди либеральныхъ мнѣній, которые имѣли явную наклонность къ европейскимъ идеямъ.

Взглядъ административной практики на литературу и движеніе, въ ней происходившее, выразился исторіей тогдашней цензуры. Довольно извѣстно, какимъ тяжкимъ бременемъ она лежала на литературѣ, и мы напомнимъ лишь нѣсколько фактовъ, относящихся къ историко-этнографическимъ изслѣдованіямъ. Цовидимому, можно было бы ожидать къ послѣднимъ особаго вниманія, когда официальна была провозглашена „народность“; на дѣлѣ оказалось, что народность официальная смотрѣла весьма недовѣрчиво на дѣйствительные интересы къ народу.

Изученіе народа, самая исторія давно внушили административнымъ практикамъ недовѣріе, какъ вещь не безопасная. Извѣстно, что самая „Исторія государства Россійскаго“ подвергалась цензурнымъ придиркамъ, пока не была защищена отъ нихъ высочайшей властью. Извѣстно, до какихъ Геркулесовыхъ столбовъ дошелъ въ послѣдніе годы Александра I Магницкій съ братіею. Въ перепискѣ кн. Голицына съ архимандритомъ Фотиемъ¹⁾, первый, въ задушевной бесѣдѣ съ предавшимъ его вскорѣ св. отцомъ и другомъ, высказываетъ подозрѣніе относительно знаменитаго митрополита Евгенія по случаю его „частыхъ сношеній съ учеными“. И этотъ князь Голицынъ былъ министромъ народнаго просвѣщенія! Въ самомъ обществѣ было столько невѣжества и свойственной невѣжеству вражды къ просвѣщенію, что не удивительно, если и власть заражалась тѣмъ же, или находила столько усердныхъ слугъ на этомъ поприщѣ. Печать считалась только вообще терпимымъ зломъ, относительно котораго должны быть принимаемы самыя строгія предосторожности.

Въ дневникѣ Снегирева есть любопытный эпизодъ, который весьма характерно изображаетъ положеніе литературы и даетъ разгадку официально провозглашеннай „народности“.

Въ августѣ 1832 г., былъ въ Москвѣ министръ народнаго просвѣщенія. На приемѣ,—разсказываетъ Снегиревъ,—съ иностранными профессорами и лекторами университета онъ обошелся отмѣнно ласково, по-нѣмецки говорилъ хорошо, а въ русскомъ затруднялся:

¹⁾ Р. Старина, 1882.

„Въ засѣданіи цензаурнаго комитета Уваровъ явился не такимъ мягкимъ. Онъ объявилъ, что государь недоволенъ пропускомъ въ № 3 „Телескопа“ выражений, вставленныхъ отъ себя переводчикомъ; а этихъ словъ нѣть во французскомъ журналѣ, изъ котораго переведена статья¹⁾. Онъ находилъ (это) неприличнымъ и грубымъ, сказавъ, что „стоило бы запретить сей журналъ, но правительство не хочетъ показать, что оно боится недѣльныхъ изданій и не требуетъ себѣ похваль. Если должно выбрать меныше зло, то пусть лучше мараютъ бѣдную литературу и бранятся литераторы, чѣмъ трогать правительство пустыми выказками. Нельзя служить двумъ господамъ, посему нельзя быть вмѣстѣ профессоромъ и журналистомъ, или то, или другое надобно выбирать Надеждину, которому въ послѣдній разъ прощается, такъ равно и цензору Цвѣтаеву, который весьма неосторожно поступилъ и вѣрно обмануть былъ издателемъ, который увѣрилъ его, что подлинникъ перевода пропущенъ петербургскою цензурою. Государь читаетъ всѣ журналы съ отмѣтками; за строгость не столько отвѣтитъ цензоръ, сколько за слабость. Жалобы на него будутъ недѣйствительны; при затруднительности дѣлъ онъ подверженъ отвѣтственности, особенно въ уголовной статьѣ, какова помѣщена въ Телескопѣ у профессора Московскаго университета. Это послѣднее синекожденіе; „я такихъ правиль,—примолвилъ графъ Уваровъ,— что если раздавать, то такъ, чтобы сїда не осталось! Впрочемъ, не съ тѣмъ принялъ я на себя порученіе отъ государя, чтобы разить, но съ тѣмъ, чтобы очистить замаранный (?) университетъ предъ глазами государя и исходатайствовать его милости“. Мы благодарили, и я примолвилъ, что мы много отъ него и ожидали. Послѣ сего онъ сдѣлалъ легкое замѣчаніе Двигубскому за пропускъ статьи о дворянствѣ въ „Землемѣрческомъ Журналѣ“. „Политическая религія имѣеть свои догматы неприкосновенные,—сказалъ онъ,— подобно христіанской религіи (!); у насть они: самодержавіе и крѣпостное право;—зачѣмъ ихъ касаться, когда они, къ счастію Россіи, утверждены сильною и крѣпкою рукою“. „Послѣ сего поручилъ попечителю Голохвастову внушить сіе Надеждину и предписать ему выборъ быть профессоромъ или журналистомъ, угождать гостинному ряду и своей ватаѣ или правительству (?), отъ коего онъ зависить“. „Скажите,—примолвилъ онъ Цвѣтаеву,—чтобы онъ не думалъ, будто я мщу ему за академію науки²⁾: пусть онъ ругаетъ и меня и ее: это ничего не значитъ. „И такъ, проговоривъ часа два, Уваровъ раскланялся съ нами“³⁾.

Прибавимъ кстати, что самъ Снегиревъ, „при всей своей опытности и осмотрительности“ и при упомянутомъ выше отношеніи къ либеральнымъ идеямъ, не избѣгъ кары отъ начальства за цензурный недосмотръ и даже потерялъ службу. Поводъ былъ слѣдующій.

¹⁾ О какой статьѣ „Телескопа“ идетъ здѣсь рѣчь, не знаемъ. Въ № 3 помѣщены: „Тирольцы“—изъ *Revue de Paris*; „Поэты самоучки въ Англіи“—изъ *Revue des deux Mondes*.

²⁾ Статья объ Академіи, возбудившая негодованіе министра, есть, конечно, статья „о первой раздачѣ Демидовскихъ наградъ С.-Петербургской Академіей наукъ“, Телеск. 1832, т. II (или съ начала изданія т. VШ), стр. 543—554, и обозначенная: „сообщено“ (кѣмъ?): статья весьма разумная и приличная, и которая могла быть непріятна президенту Академіи только по независимости своихъ сужденій.

³⁾ Ив. Мих. Снегиревъ, стр. 113—115.

Въ 1855 г., ожидался столѣтній юбилей московскаго университета; къ торжественному празднику готовились разныя ученыя изданія, и между прочимъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ печатался очеркъ исторіи университетской типографіи; здѣсь сказано было о дѣятельности Новикова, и этого было достаточно, чтобы пропустившему статью Снегиреву предложено было подать въ отставку¹⁾). Такъ долго нельзя было исторіи коснуться Новикова; такъ сильно было положенное на него заклятие!

Изъ приведенного наставленія московскому цензурному вѣдомству можно видѣть совершенно ясно, какого рода „народность“ разумѣлась въ извѣстной formulѣ. Взгляды цензурного начальства не преминули оказывать свое дѣйствіе. Крестьянский вопросъ, о которомъ была еще нѣкоторая возможность говорить при Александрѣ I, былъ теперь совсѣмъ закрытъ для литературы, и общественная мысль по этому предмету высказывалась лишь отдаленными намеками, которые читатель долженъ былъ отгадывать, и—отгадывалъ. Съ другой стороны Третье отдѣленіе, также мѣшавшееся въ цензуру, подняло разъ тревогу даже изъ-за газетной статьи объ освобожденіи негровъ. Все отношеніе литературы къ настоящему положенію народа должно было сообразоваться съ формулой—„обстоитъ благополучно“: „народность“ являлась въ книжномъ изображеніи какъ на осмотрѣ къ начальству, приглаженной и благоденствующей. Выше мы видѣли примѣры того, съ какими неодолимыми препятствіями встрѣчались самые смиренные труды этнографовъ. Сахаровъ, какъ говорятъ, подвергся самимъ неблагополучнымъ угрозамъ и съ перепугу принялъ оправдывать древнихъ славянъ отъ „позорной язвы многобожія и тайныхъ сказаний“. Это было въ началѣ періода „народности“, а въ концѣ, въ пятидесятыхъ годахъ, членъ высшаго ученаго учрежденія имперіи, раздѣлявшій взгляды администраціи, находилъ зловреднымъ Далево собраніе пословицъ (и не былъ опровергнутъ своими учеными со-членами!), а цензура считала нужнымъ выбросить изъ него около цѣлой четверти (т.-е. около 8,000 пословицъ!).

Въ 1844 г., Петръ Кирѣевскій задумалъ издать свое богатое собраніе пѣсенъ; надо было обратиться къ цензурѣ,—и любопытно читать совѣты, какіе подаетъ ему при этомъ случаѣ братъ его И. В. Кирѣевскій, чтобы обезпечить пропускъ пѣсенъ. „Если министръ будетъ

¹⁾ „И хотя,—разсказываетъ біографъ,—самъ министръ народнаго просвѣщенія А. С. Норовъ лично выражалъ Снегиреву свое мнѣніе о его благонамѣренности, а министръ внутр. дѣлъ Д. Г. Бибиковъ признавалъ его заслуги за содѣйствіе къ уменьшению раскола, и генераль-губернаторъ гр. Закревскій ходатайствовалъ... —ничто не помогло, и 15 февр. 1855 года Снегиревъ былъ уволенъ по прошенію отъ службы“ (Ив. Мих. Снег., стр. 157—158).

въ Москвѣ,—пишеть онъ,—то тебѣ непремѣнно надобно просить его о пѣсняхъ, хотя бы къ тому времени тебѣ и не возвратили экземпляровъ изъ цензуры. Можетъ быть даже и не возвратятъ, но просить о пропускѣ—это не мѣшаетъ. Главное, на чёмъ основываться, это то, что пѣсни—*народныя*, а чѣмъ весь народъ поетъ, то не можетъ сдѣлаться тайною, и цензура въ этомъ случаѣ столько же сильна, сколько Перевощикова надъ погодою.—Уваровъ вѣрно это пойметъ, также и то, какую репутацію сдѣлаетъ себѣ въ Европѣ наша цензура, запретивъ *народныя пѣсни*, и еще *старинныя*. Это будетъ смѣхъ во всей Германіи... Лучше бы всего тебѣ самому повидаться съ Уваровымъ, а если не рѣшишься, то поговори съ Погодинымъ¹⁾). Чтобы издавать русскія пѣсни, надо было впередъ запасаться оправданіями и ссылками на ту же Европу...

Въ 1848 г., Бодянскій, профессоръ университета, секретарь Московскаго Общества исторіи и древностей, и редакторъ его „Чтеній“, выказавшій въ этомъ качествѣ, особенно въ тѣ годы, поистинѣ замѣчательную дѣятельность, между множествомъ другого матеріала по старой русской исторіи помѣстилъ въ „Чтеніяхъ“ переводъ книги Флетчера о Россіи временъ Ивана Грознаго, сдѣланный тогда Калачовымъ. Флетчеръ навлекъ цѣлую бурю и на Общество, и на Бодянскаго. Книга была запрещена, иѣсколько разошедшихся по рукамъ экземпляровъ отобраны; цензурованіе самимъ Обществомъ своихъ изданій признано противозаконнымъ; Бодянскій потерялъ и профессуру въ университетѣ, и вмѣсто секретаря и редактора въ Обществѣ²⁾). Листы перевода Флетчера, вырѣзанные изъ книги „Чтеній“, были опечатаны, въ этомъ видѣ они и донынѣ лежатъ въ кладовой московскаго университета.

Въ тѣхъ же сороковыхъ годахъ Костомаровъ напечаталъ въ Харьковѣ магистерскую диссертацию объ унії. Вопросъ былъ поставленъ съ нѣкоторою самостоятельностью. Этого было достаточно для блестителей официальной исторической нравственности, и диссертация Костомарова, послѣ разбора ея Устряловымъ, была конфискована и истреблена. Вскорѣ самъ Устряловъ подвергся такимъ же изобличеніямъ въ донесеніи кн. Вяземскаго,—какъ мы говорили въ другомъ мѣстѣ.

Въ концѣ концовъ, и гр. Уварову привелось испытать неудобства

¹⁾ Полное собрание сочиненій И. В. Кирѣевскаго. Москва, 1861, т. I, біографія, стр. 93.

²⁾ Подробности въ статьѣ Н. А. Попова, „Русская Старина“, 1879, ноябрь, стр. 475—480; „Русскіе палеологи“, Барсукова, стр. 68—69; „Историч. свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи“, Спб., въ тип. морск. минист., стр. 60—61.

этой системы, доведенной до послѣдняго предѣла въ такъ называемъ комитетъ 2-го апрѣля (1848 г.) или „негласномъ комитетѣ“¹⁾.

Къ концу царствованія императора Николая, подъ впечатлѣніемъ событій европейскихъ, цензура все болѣе усиливалась вогнать литературу въ поставленныя для нея рамки; негласный комитетъ вмѣшивался въ цензурныя дѣла, добывалъ экстренные запрещенія; III-е отдѣленіе грозило... Не оставалась нетронутой и область „народности“.

Понятіе „народности“ естественно вызывало мысль о единоплеменномъ славянствѣ, и мы видѣли, что „Маякъ“, съ величайшимъ усердіемъ присоединившійся къ программѣ министерства просвѣщенія, началъ говорить о славянствѣ древнемъ и современномъ. Большѣ серьезно сталъ заявлять славянскія сочувствія „Москвитянинъ“, маѣнія которого имѣли въ подкладкѣ не только идеальный, но и политической панславизмъ, хотя ясно не высказанный. Между тѣмъ цензурное вѣдомство и другія сопредѣльныя съ нимъ власти нимало не поощряли не только славянскихъ сочувствій, но даже сочувствій къ русскимъ единоплеменникамъ въ западномъ краѣ²⁾. Такъ, въ 1841 году, въ цензурѣ представлена было стихотвореніе Хомякова „Кіевъ“, гдѣ перечисляются поклонники, сходящіеся къ его святынямъ; цензура выключила строфы, говорившія о сынахъ Волыни и Галича³⁾. Относительно славянскихъ сочувствій министру народнаго просвѣщенія (тогда главѣ цензуры) дѣлались такія донесенія (1842): „Въ послѣдніе годы нѣкоторые журналы, и въ особенности „Москвитянинъ“, приняли за особенную тему выставлять живущихъ подъ владычествомъ Турціи и Австріи славянъ, какъ терпящихъ особыя угнетенія (а они ихъ не терпѣли?), и предвѣщать скорое отдѣленіе ихъ отъ иноплеменного ига... Возбуждать участіе къ политическому порабощенію нѣкоторыхъ славянскихъ народовъ, представлять имъ Россію, какъ главу, отъ которой могутъ они ожидать лучшаго направленія къ будущности; и явно рукоплескать порывамъ ихъ къ эманципаціи—едва ли можно считать такую пропаганду не опасною“⁴⁾.

Это опять по программѣ „народности“, и сообразно съ этимъ

¹⁾ Истор. свѣдѣнія о цензурѣ, стр. 70—71.

²⁾ Впослѣдствіи, во всемъ этомъ винили „общество“.

³⁾ Мы вокругъ твоей святыни
Всѣ съ любовью собраны...
Братцы, гдѣ жъ сыны Волыни!
Галичъ, гдѣ твои сыны? и проч.

Стихотвореніе Хомякова явилось тогда въ „Москвитянинѣ“ 1841, ч. III, кн. 5.

⁴⁾ Историч. свѣд. о цензурѣ, стр. 64—65.

Россія вмѣшалась въ концѣ этого періода въ австрійскія дѣла, чтобы „спасти Австрію“.

Старое недовѣріе къ славянофильству продолжалось, и въ 1852 г. подтверждено было отъ высшей власти, черезъ III-е отдѣленіе, чтобы „на представляемыя къ одобренію, для изданія въ свѣтъ, сочиненія въ духѣ славянофиловъ было обращаемо особенное и строжайшее вниманіе со стороны цензуры“¹⁾.

Наконецъ, опека распространялась на самыя произведенія народной словесности. Кирѣевскій заблуждался, думая, что цензура безсильна надъ этими произведеніями; въ 1853 г. цензура получила формальный приказъ отклонять пропускъ такихъ народныхъ преданій, которыми „нарушаются добрые нравы“ и „которыхъ сохранять въ народной памяти чрезъ печать неѣтъ никакой пользы“. — Запрещенія этого рода были повторяемы нѣсколько разъ, и цензура сама рѣшила, не спрашивая историковъ и этнографовъ, въ 1853, что напр.: „Наговоры (заговоры?) и волшебные заклятия, какъ остатки *вреднаго суевѣрія*, не имѣющіе и въ ученомъ отношеніи никакого значенія, вовсе не должны быть допускаемы къ печати, не только въ периодическихъ изданіяхъ, доступныхъ большому и разнообразному кругу читателей, но даже и въ сборникахъ и книгахъ, составляемыхъ съ ученую цѣллю и предназначаемыхъ для образованнаго класса публики“²⁾. Упомянутыя сейчасъ распоряженія вызывались, между прочимъ, не иными поводами, какъ, напр., изслѣдованіями г. Буслаева, „Архивомъ“ Калачова. Такимъ образомъ благочиніе водворялось даже въ старинѣ, заднимъ числомъ: еслибы продолжалось это отношеніе къ народнымъ преданіямъ, исторія должна была обратиться въ такой же рапортъ о всеобщемъ благополучіи, какими изображалось настоящее. Исторія, чтобы явиться на свѣтъ Божій, также должна была подчищаться и подкрашиваться; а что уже никакъ не могло быть подкрашено, то совсѣмъ запрещалось. Таково распоряженіе 1854 г., по которому „сочиненія, относящіяся къ смутнымъ явленіямъ нашей исторіи, какъ-то: ко временамъ Пугачева, Стеньки Разина и т. п., и напоминающія общественные бѣдствія и внутреннія страданія нашего отечества, ознаменованныя буйствомъ, восстаніями и всякаго рода нарушеніями государственного порядка, при всей благонамѣренности авторовъ и самыхъ статей ихъ, неумѣстны и оскорбительны для народнаго чувства (!), и оттого должны быть подвергаемы строжайшему цензурному разсмотрѣнію и не иначе быть допускаемы въ

¹⁾ Сборникъ постановленій и распоряженій по цензурѣ съ 1720 по 1862 годъ. Спб. 1862, стр. 282.

²⁾ Сборникъ постан. и распор., стр. 188—289, 291, 294—297.

печать, какъ съ величайшею осмотрительностью, избѣгая печатанія онъхъ въ періодическихъ изданіяхъ”¹⁾.

Еще за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, цензура получила приказаніе обратить особое вниманіе на статьи объ отечественной исторіи, для предотвращенія въ нихъ разсужденій о вопросахъ государственныхъ и политическихъ: „Особливой внимательности требуетъ тутъ стремление нѣкоторыхъ авторовъ къ возбужденію въ читающей публикѣ необузданныхъ порывовъ патріотизма (!), общаго или провинціального, стремленіе, становящееся иногда, если не опаснымъ, то по крайней мѣрѣ, не благоразумнымъ, по тѣмъ послѣдовательнѣмъ, какія оно можетъ имѣть“²⁾. Трудно понять, какой поводъ и какую именно цѣль имѣло это распоряженіе (1847 г.). Наконецъ, цензора получили приказаніе—въ случаѣ, еслибы имъ представлены были на разсмотрѣніе сочиненія, обнаруживающія въ писателѣ особенно вредное, въ политическомъ и нравственномъ отношеніи направленіе, сообщать эти сочиненія, негласнымъ образомъ, въ III-е отдѣленіе, съ тѣмъ, чтобы послѣднее уже принимало свои мѣры³⁾.

При томъ пониманіи „народности“, которое обнаруживается изъ „негласныхъ“ разъясненій самой власти, понятно, что эта система не должна была особенно заботиться о народномъ образованіи и должна была относиться недовѣрчиво къ литературѣ, назначеннѣй для народа. Еще въ 1834 г. Уваровъ предложилъ на обсужденіе главнаго управлениія цензуры вопросъ, удобно ли распространять простонародную литературу. Главное управлениѣ пришло къ такому заключенію, что „приводить (т.-е. при посредствѣ литературы) низшіе классы нѣкоторымъ образомъ въ движеніе и поддерживать оные какъ бы въ состояніи напряженія (!), не только бесполезно, но и вредно“⁴⁾. Оно и было, пожалуй, вѣрно относительно крѣпостной массы: „вразумлять обѣ электричествѣ“ крѣпостного было бы на смѣшокъ; но вѣдь были и миллионы некрѣпостныхъ?—Строгіе блюстители цензурныхъ принциповъ, въ 1855 году, напали, наконецъ, даже на бѣднаго, давнѣмъ-давно ходившаго въ дѣтскомъ и простонародномъ чтеніи „Конька-Горбунка“, нашедши въ немъ „прикосновеніе къ православной церкви, къ ея установленіямъ и къ постановленнымъ отъ правительства властямъ—представляются земскій судъ и городничій“ и т. д.; къ счастію, главное управлениѣ защитило „Конька Горбунка“⁵⁾.

¹⁾ Тамъ же, стр. 298.

²⁾ Тамъ же, стр. 240.

³⁾ Тамъ же, стр. 248.

⁴⁾ Историч. свѣдѣн. о ценз., стр. 64.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 88.

Литература для народа не могла процвѣсть въ подобныхъ обстоятельствахъ. Императоръ Николай, который самъ находилъ время слѣдить за литературой, въ 1850 году обратилъ вниманіе на недостатокъ простонародныхъ книгъ, соотвѣтствующихъ цѣли. Министръ просвѣщенія, кн. Ширинскій-Шихматовъ, представилъ докладъ объ этомъ предметѣ, гдѣ между прочимъ замѣчалъ, что въ простонародныхъ книгахъ долженъ быть употребляемъ церковный шрифтъ; но дѣло не подвинулось, и черезъ два года кн. Шихматовъ, на вопросъ предсѣдателя негласнаго комитета, не могъ указать ни на одинъ удачный опытъ сочиненія для простонароднаго чтенія ¹⁾.

Въ концѣ концовъ, система „народности“, примѣненная къ просвѣщенію, дала за пятнадцать лѣтъ 1833—1848, изумительный результатъ—*понижение* литературной производительности вообще ²⁾, и въ частности уменьшеніе числа сочиненій по теоріи словесности и искусствъ, по философіи и отечественной исторіи.

Таковы были условія, въ которыхъ, во имя „народности“, существовала литература и совершились изученія самой народности. Не сваливало цѣликомъ на цензуру недостатки литературы, происходившіе отъ уровня самого общества, нельзя не видѣть, что именно ей и направлявшимъ ее сферамъ слѣдуетъ, однако, приписать медленность движения и совершенное исчезновеніе изъ печати и изъ обращенія въ обществѣ многихъ понятій, которыхъ ранѣе уже возникли и несомнѣнно могли служить серьезнымъ интересамъ общества и настоящей народности.

Самая мысль о выставленіи *народности*, какъ принципа, была внушена давнимъ присутствіемъ этого стремленія въ образованнѣйшихъ кругахъ и въ литературѣ. Оно выросло изъ сильнаго возбужденія, начавшагося въ обществѣ при началѣ царствованія Александра I, поддержанного 1812 годомъ и обновившагося еще разъ въ концѣ царствованія подъ вліяніемъ европейскаго либерализма. Въ литературѣ это стремленіе обнаружилось живымъ интересомъ къ вопросамъ внутренней жизни и отразилось отчасти въ романтической школѣ. Въ лучшемъ общественномъ кругѣ явились вопросы о необходимости освобожденія крестьянъ, о необходимости народной школы, о терпимости къ религіозному разновѣрію, о большей свободѣ печати, какъ выраженія общественныхъ и народныхъ мыслей и желаній, и т. п. Новое правительство, увлекшись послѣ катастрофы 14 декабря реак-

¹⁾ Тамъ же, стр. 72.

²⁾ Цифры, по пятнадцати лѣтамъ, были слѣдующія:

1833—1837 г.	1838—1842 г.	1843—1847 г.
--------------	--------------	--------------

Пятилѣтній итогъ:	51,828	44,609	45,795
-------------------	--------	--------	--------

См. Историч. свѣдѣнія о цензурѣ, стр. 62.

цієй противъ либерализма, стало преслѣдоватъ всякия свободныя проявленія общественной мысли, подавлять то, что было естественнымъ ростомъ. Внутренняя жизнь общества не была, конечно, подавлена,—но реакція замедлила ея правильное развитіе и съ другой стороны произвела уродливости, съ которыми мы встрѣчались—обскурантнымъ національныхъ теоріи и рабское лицемѣріе. Административная власть, распоряженіе судьбами образованія и литературы, перешла къ людямъ, которые были злѣйшими врагами „либерализма“ и стремились истребить даже и то, что, какъ говорили, было желаніемъ самого императора,—она перешла къ крѣпостникамъ и полицейскимъ обскурантамъ, которые, конечно, въ высшей сферѣ представляли вещи въ своемъ собственномъ освѣщеніи. Кончилось, какъ мы видѣли по официальнымъ цифрамъ, тѣмъ, что, въ противность всякимъ статистическимъ вѣроятіямъ, книжная дѣятельность падала, т. е. невѣжество росло.

Слово „народность“, употребленное въ официальной программѣ, понятое сколько-нибудь серьезно и искренно, не могло не обновлять сочувствій къ народу, не вызывать мысли объ его положеніи, желанія, чтобы представительствомъ народнаго начала были лучшія, а не худшія свойства народа и учрежденій. Но слово „народность“ былъ эвфемизмъ, обозначавшій собственно крѣпостное право... Нѣ которые изъ искреннихъ романтиковъ народности, принявъ буквально программу, привѣтствовали ее, надѣясь видѣть въ ней хоть отчасти свои народолюбивыя стремленія; на дѣлѣ она представляла самый рѣшительный консерватизмъ и отрицаніе дѣйствительного народолюбія... Любителямъ народности идеальной и освободительной пришлось вскорѣ разубѣдиться; но за-то, настоящіе обскуранты и крѣпостники схватились крѣпко за эту программу и, сдѣлавши изъ неї свое знамя, успѣшно пользовались имъ противъ своихъ литературныхъ и общественныхъ противниковъ. На ней опирался „Маякъ“ и разные другіе оттѣнки застоя, воніявши противъ запада, противъ вольнодумства, противъ новѣйшаго образованія, и обвинявши (какъ и теперь опять дѣлается) своихъ противниковъ въ измѣнѣ народности. Люди этого рода считали себя самыми русскими и, наконецъ, опротивѣли серьезнѣй долѣ общества: возгласы о „народности“ стали злоупотребленіемъ, въ томъ родѣ, какъ случилось теперь съ музыкой „Боже царя храни“ въ московскихъ трактирахъ, противъ злоупотребленія которой наглыми скандалистами принимаетъ наконецъ мѣры полиція. Нечать, воспитанная упомянутымъ сейчасъ цензурнымъ режимомъ, въ большинствѣ дошла до крайняго ничтожества; отношеніе къ общественнымъ вопросамъ заключалось въ лести и лицемѣріи передъ властью, подъ маскою „народности“. Самыми „благо-

надежными" людьми, въ глазахъ тогдашней системы, были люди въ стилѣ Булгарина. Пушкинъ былъ не совсѣмъ благонадеженъ и требовалъ надзора...

Лучшія силы литературы шли своимъ путемъ; заподозрѣнныя властью, стѣсненныя, едва терпимыя, онѣ вырабатывали дѣйствительное общественное сознаніе, и подъ ихъ вліяніемъ изученія народности къ концу періода принимаютъ новое благотворное направление: броженіе философскихъ теорій, съ тридцатыхъ годовъ, наводило на общіе вопросы національной жизни; развитіе историческихъ знаній давало изслѣдователямъ научную основу. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи три мѣры, принятыя въ тѣ времена, оказали благотворное дѣйствіе и вознаграждали до извѣстной степени неблагопріятное для литературы вліяніе системы. Одной изъ нихъ было учрежденіе Археографической экспедиціи и комиссіи: собранные и изданные ими акты и лѣтописи дали богатый матеріалъ для новыхъ изслѣдований русской старинѣ. Другой мѣрой было основаніе каѳедръ славянскихъ нарѣчій въ университетахъ: новая славистика въ первый разъ прочнымъ образомъ поставила изученіе родственнаго славянскаго міра, до тѣхъ поръ извѣстнаго очень скучно и отрывочно. Третью—была посылка за границу молодыхъ ученыхъ для приготовленія къ университетской каѳедрѣ: прямое и живое вліяніе европейской, особенно нѣмецкой науки, вдохнуло новую жизнь въ нашу университетскую науку. Только первая изъ этихъ мѣръ могла послѣдовательно исходить изъ начала „народности“; вторая не совсѣмъ отвѣчала господствующей системѣ, потому что сочувствія къ славянству не поощрялись въ литературѣ; третья отвѣчала еще менѣе, —но была истинной заслугой для русской науки и образованности. Результаты этихъ мѣръ, въ связи съ внутреннимъ развитіемъ самой литературы, стали оказываться къ концу описываемаго періода: ими открывается въ исторіи нашихъ народныхъ изученій новый періодъ.

ГЛАВА XI.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ ОТЪ ПУШКИНА до 50-хъ годовъ.

Вопросъ о национальномъ значеніи Пушкина.—Частное значеніе его произведеній для изученій народныхъ: его труды историческіе; отношеніе къ этнографії.—Теоретическія понятія того времени объ искомой народности: Плетневъ; Терещенко.—Загоскинъ и Лажечниковъ.—Даль.—Лермонтовъ.—Гоголь.—Литература послѣ Гоголя; наступавшій поворотъ въ изученіяхъ народности.

Первая истинно научная постановка вопроса народности принадлежитъ новѣйшему времени—послѣднимъ десятилѣтіямъ. Много труда поднято было и раньше для основанія ея научнаго изслѣдованія, но эти попытки большею частію были слабы и по основной точкѣ зрѣнія, и по свойству побужденій, и по приемамъ изслѣдованія: даже труды, по богатству матеріала монументальные, каковы, напр. собранія Даля, не избѣгли этого общаго недостатка. Запутанность понятій доходила до того, что въ национальной формулѣ тридцатыхъ годовъ подъ словомъ „народность“ разумѣлось учрежденіе, которое было униженіемъ народа, которое осуждало его на рабскую подавленность, нравственную и матеріальную. Для болѣе разумнаго пониманія дѣла научнаго и общественнаго, нужна была большая работа общественнаго сознанія, и болѣе совершенныя средства изслѣдованія, которыя даны были теперь европейской наукой.

Прежде чѣмъ перейти къ специальнымъ вопросамъ, необходимо остановиться на литературномъ явлениі, игравшемъ здѣсь существенно важную роль. Понятіе о народности, и вмѣстѣ отношеніе общества къ дѣйствительному народу, для массы общества, быть можетъ, разъяснялось гораздо меньше въ специальныхъ изслѣдованіяхъ, чѣмъ въ произведеніяхъ поэзіи и беллетристики.

Съ двадцатыхъ годовъ слово „народность“ все чаще повторяется въ литературѣ; народность ставится цѣлью и достоинствомъ литера-

туры, но для большинства самихъ писателей она все еще остается вѣщью мало понятной и мало достигнутой. Великій поворотъ сдѣланъ былъ только поэзіей Пушкина.

Наша критика давно признала поэзію Пушкина фактомъ величайшаго значенія въ развитіи нашей литературы. Для Бѣлинскаго, взглѣдъ котораго былъ высшею ступенью критическихъ понятій съ тридцатыхъ и до пятидесятыхъ годовъ, предыдущая литература была только приготовленіемъ Пушкина, послѣдующая—только исполненіемъ программы, которая была широко намѣчена его дѣятельностью. Въ какомъ же отношеніи Пушкинъ стоитъ къ „народности“¹⁾?

Мнѣнія объ этомъ, исходившія изъ той или другой категоріи общественныхъ понятій и образовательного уровня, были разнообразны, иногда прямо противоположны. Мы коснемся вкратцѣ лишь нѣкоторыхъ.

Былъ ли Пушкинъ національнымъ, народнымъ поэтомъ? Если да, это значило бы, что литература, если не разрѣшила, то была близка къ разрѣшенію вопроса о народности,—вопроса о будущемъ самой литературы. Великая слава, какой не имѣлъ еще ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ, слава, встрѣтившая еще юношескую дѣятельность Пушкина, указывала въ немъ избранника, который съумѣлъ затронуть какую-то живую струну общества, отвѣтить на какую-то исторически созрѣвшую потребность; позднѣйшій приговоръ исторіиставить его главой и начинателемъ самостоятельной русской литературы. Но черезъ какое странное разногласіе и противорѣчія долженъ былъ пройти этотъ выводъ! И это разногласіе оказывалось не только при жизни поэта, въ ту пору, когда онъ вмѣшивался въ спорные вопросы и литературную вражду, но и послѣ, когда его дѣятельность была закончена, когда можно было уже дѣлать болѣе полные и беспристрастные выводы. Въ началѣ дѣятельности, Пушкинъ былъ идоломъ молодыхъ поколѣній и союзникомъ прогрессивнаго направленія, —противъ него были задеревенѣвшіе классики и полицейскіе консерваторы; къ концу, его поклонники не были удовлетворены и, не зная его послѣднихъ произведеній, при жизни его еще не изданныхъ, думали и говорили объ упадкѣ или ослабленіи его таланта. Смерть поэта возбудила снова глубокія сочувствія, и посмертное появленіе его послѣднихъ произведеній показало его впервые во весь ростъ могущественнаго таланта; забыто было прежнее недовольство, отпали прежнія требованія, и дѣятельность Пушкина явилась въ новомъ

¹⁾ На общемъ значеніи Пушкина мы остановились въ „Характеристикахъ литер. мнѣній“, изд. 2-е, 1890, гл. II; здесь имѣемъ въ виду одну специальную сторону его произведеній.

свѣтъ и въ болѣе правильной оцѣнкѣ—какъ величайшаго поэта-художника, какого имѣла русская литература.

Побужденія, по которымъ составлялись сочувствіе, антипатія, недовольство, были двоякаго рода: литературная и общественно-тенденціозныя, или тѣ и другія вмѣстѣ. Такъ, старымъ классикамъ казались нарушеніемъ всѣхъ правилъ и приличій самая форма пушкинской поэзіи и ея „легкое“ содержаніе; съ другой стороны, новое литературное поколѣніе справедливо восторгалось этой формой, потому что въ самомъ дѣлѣ это былъ еще невиданный примѣръ изящества, и вмѣстѣ сочувствовало романтическимъ порывамъ, эпиграмматическому либерализму, за которымъ ожидало найти цѣлое общественное воззрѣніе, а позднѣе охладѣвало къ поэту, когда эти ожиданія ни мало не оправдывались. Съ другой стороны, власти никакъ не могли забыть „либеральной“ юности Пушкина и, несмотря на меценатство императора Николая (вѣроятно, несвободное отъ недовѣрчивости), для Бенкендорфа Пушкинъ былъ не поэтъ, а человѣкъ политической, либералъ, глава оппозиціи¹). По смерти Пушкина, его имя и сочиненія продолжали оставаться въ глазахъ высшей полицейской власти (правившей и судьбами литературы) подозрительными, и это отражалось въ литературѣ, въ писаніяхъ „надежныхъ“, „благонамѣренныхъ“ людей. Рядомъ съ этимъ мы видѣли, какъ говорилъ о Пушкинѣ „Маякъ“,—и не слѣдуетъ думать, чтобы это были только безсильныя ругательства невѣждъ: „Маякъ“ представлялъ мнѣнія большой доли общества, съ точки зрѣнія архимандриита Фотія, т.-е. невѣжественного и иногда лицемѣрного изувѣрства, отъ которого русское общество далеко не избавилось и которое оказываетъ донынѣ весьма дѣйствительное вліяніе на судьбы русского просвѣщенія. По мнѣнію „Маяка“, Россія погибла бы, еслибы у нея народились еще Пушкины; съ этимъ, вѣроятно, соглашалась и точка зрѣнія Бенкендорфа. Въ 1880 году, благочестиво-ретроградный взглядъ „Маяка“ былъ отвергнутъ въ рѣчи митрополита Макарія пожеланіями и молитвою, чтобы Господь послалъ Россіи и еще геніальныхъ людей и великихъ дѣятелей, какъ Пушкинъ, а въ 1882 г. въ духовной академіи (петербургской) читалась торжественно рѣчь²), доказывавшая, что идеалы Пушкина, очищенные отъ временныхъ заблужденій, отвѣчали именно самымъ консервативнымъ и благонамѣреннымъ воззрѣніямъ на государство, народъ, религию и нравственность,— словомъ, отвѣчали программѣ официальной народности тридцатыхъ годовъ. Но съ другой стороны на консерватизмъ Пушкина давно указывалось

¹) Стоянинъ, „Пушкинъ“, Спб. 1881, стр. 427.

²) „Идеалы Пушкина“, В. Н. (Никольскаго), въ „Христ. Чтеніи“ 1882, № 3—4.

и критиками совсѣмъ иного направленія, которые прежде искали въ поэзіи Пушкина возбужденій къ общественному совершенствованію—

Народамъ миль и дорогъ тотъ,
Кто спать ихъ мысли не даетъ;

думали, по словамъ самого поэта, что—

На поприщѣ ума нельзя намъ отступать,

и оставались огорченными за самого поэта, находя, что онъ, по тѣмъ или другимъ побужденіямъ, самъ попадалъ или давалъ увлечь себя на путь, гдѣ не предвидѣлось общественного усовершенствованія. Не иной смыслъ имѣли и известныя статьи Писарева, который комментировалъ Пушкина, какъ онъ могъ быть понятъ въ настоящую минуту, по прямому смыслу его сочиненій¹).

Приведенные примѣры можно было бы чрезвычайно умножить, прослѣдивши впечатлѣнія поэзіи Пушкина на современное ему общество, и мнѣнія позднѣйшей критики отъ тридцатыхъ годовъ и до настоящаго времени.

Воспоминанія о Пушкинѣ—въ 1880—были настоящей апоѳеозой: люди противоположныхъ мнѣній сошлись на небываломъ литературномъ празднике и отдавали уваженіе великому историческому дѣятелю—съ своихъ отдѣльныхъ точекъ зрѣнія; но въ то время какъ одни, въ истерическомъ возбужденіи, провозглашали въ Пушкинѣ пророка, „все-человѣка“, другіе съ научной точки зрѣнія не усумнились одну долю его содержанія назвать—„общественной или нравственной археологіей“²).

Итакъ, общество было раздѣлено относительно Пушкина и въ теченіе его дѣятельности, и донынѣ. Новѣйшие комментаторы объясняютъ, что именно вражда или равнодушіе къ трудамъ, которыми онъ самъ дорожилъ, внушили Пушкину то презрѣніе къ толпѣ („Поэтъ, не дорожи любовью народной“), которое приписывали прежде общей эстетической теоріи (по однимъ—возвышенной, по другимъ—фальшивой): но Пушкинъ ошибался въ своемъ отчаяніи—былъ уголкомъ общества, гдѣ питались къ нему самыя пламенные сочувствія; а, съ другой стороны, онъ самъ иногда помѣщалъ невѣрно свои идеальные влеченія.

Если это раздѣленіе мнѣній отвѣчало разнымъ элементамъ и направлѣніямъ общества, то и самъ Пушкинъ, богатой личности кото-
рого приходилось развиваться и дѣйствовать въ чрезвычайно слож-
ныхъ и трудныхъ условіяхъ, представляетъ цѣлый рядъ видоизмѣ-

¹) Ср. „Вѣнокъ за памятникъ Пушкину“, Спб., стр. 122—123.

²) Рѣчь В. О Ключевскаго.

неній своего содерянія, которыя проистекиши не изъ одного только естественнаго развитія его поэтическаго творчества, но также изъ вѣщнихъ условій, вліявшихъ на складъ его мысли и общественнаго направленія. Обыкновенно, противопоставляютъ два главные періода его жизни и дѣятельности, раздѣляемые 1824—1826 годами (пребываніе въ Михайловскомъ), видя въ первомъ — пору кипучей молодости, неясныхъ порывовъ таланта, теоретическихъ заблужденій, и во второмъ — полную зреіость характера, ясность мысли, всю силу творчества. И, дѣйствительно, есть рѣзкія противоположности: молодость была молодостью; но въ дѣйствительности, многіе взгляды его первой поры не были ошибкой, и позднѣйшіе не всегда были по-правкой. Основной чертой его характера было то, что это былъ человѣкъ преданія, но не былъ онъ и такой приверженецъ консерватизма, какъ желають представить его теперь. Вообще, Пушкинъ дѣйствовалъ среди общества, очень сложнаго, исполненнаго противорѣчій, и соприкасался именно съ обоими теченіями общественно-политическихъ идей, съ однимъ, безусловно господствовавшимъ въ практикѣ жизни — чисто консервативнымъ, и съ другимъ, выроставшимъ почти тайкомъ въ глубинѣ общественнаго сознанія — прогрессивнымъ.

Въ обществѣ шла внутренняя работа переходной поры и, наконецъ, въ самомъ пониманіи „народности“ готовились весьма несходныя точки зреія.

Возвращаемся къ вопросу о народности его поэзіи. Бѣлинскій, безъ сомнѣнія внимательнѣе всѣхъ другихъ критиковъ изучавшій Пушкина, затруднялся присоединиться къ выводу, называвшему Пушкина нашимъ „народнымъ“, „національнымъ“ поэтомъ¹⁾. Онъ при-

¹⁾ Напомнимъ его слова:

„Поэзія Пушкина удивительно вѣрна русской дѣйствительности, изображаетъ ли она русскую природу, или русскіе характеры: на этомъ основаніи, общий голосъ нарекъ его русскимъ, національнымъ, народнымъ поэтомъ... Намъ кажется это только въ половину вѣрнымъ. *Народный поэтъ* — тотъ, котораго весь народъ знаетъ, какъ, напримѣръ, знаетъ Франція своего Беранже; *національный поэтъ* — тотъ, котораго знаютъ всѣ сколько-нибудь образованыя классы, какъ, напримѣръ, французы знаютъ Гёте и Шиллера. Нашъ народъ не знаетъ ни одного своего поэта; онъ поетъ себѣ доселѣ „Не бѣлы-то снѣжки“, не подозрѣвая даже того, что поеть стихи, а не прозу... Слѣдовательно, съ этой стороны, смѣшино было бы и говорить обѣ эпитетѣ народный въ примѣненіи къ Пушкину, или къ какому бы то ни было поэту русскому. Слово „національный“ еще обширнѣе въ своемъ значеніи, чѣмъ „народный“. Подъ „народомъ“ всегда разумѣются массу народонаселенія, самый низшій и основный слой государства. Подъ „націею“ разумѣются весь народъ, всѣ сословія, отъ низшаго до высшаго, составляющія государственное тѣло. Национальный поэтъ выражаетъ, въ своихъ твореніяхъ, и основную, безразличную, неуловимую для опредѣленія субстанціальную стихію, которой представителемъ бываетъ масса народа, и опредѣлен-

водить разсужденіе Гоголя объ этомъ предметѣ и, соглашаясь съ его опредѣленіемъ, что поэтъ можетъ быть и тогда національнымъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядѣть на него глазами своей національной стихіи, глазами своего народа,—замѣчаетъ: „Если хотите, съ этой точки зрѣнія, Пушкинъ болѣе національно-русскій поэтъ, нежели кто-либо изъ его предшественниковъ; но дѣло въ томъ, что нельзя определить, въ чемъ же состоить эта національность. Въ томъ, что Пушкинъ¹⁾ чувствовалъ и писалъ такъ, что его соотечественникамъ казалось, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами? Прекрасно! Но какъ же чувствуютъ и говорятъ они? чѣмъ отличается ихъ способность чувствовать и говорить отъ способа другихъ націй?.. Вотъ вопросы, на которые не можетъ дать отвѣта настоящее, ибо Россія, по преимуществу,—страна будущаго“...

Итакъ, Бѣлинскій отказывался положительно назвать Пушкина народнымъ и національнымъ поэтомъ, и опредѣлить, въ чемъ состоить національность. Онъ предпочиталъ другое объясненіе: Пушкинъ владѣлъ такимъ могущественнымъ талантомъ и такимъ сильнымъ чувствомъ художественной правды, что достигалъ чрезвычайно вѣрнаго изображенія русской дѣйствительности. Эти-то вѣрныя картины русской жизни (насколько Пушкинъ ее затрогивалъ), невиданная раньше прелесть поэтическаго исполненія, и, наконецъ, мягкое гуманное чувство, проникающее всѣ его лучшія созданія, сдѣлали Пушкина первымъ русскимъ поэтомъ, идоломъ и любимцемъ общества, и въ этомъ заключается его „національность“. Поэтомъ „народнымъ“ Пушкинъ не былъ, и еще до сихъ поръ не сталъ—по простой причинѣ: народъ, не имѣвшій школы, не зналъ его, и (за очень небольшимъ исключеніемъ людей, узнавшихъ о немъ въ школѣ) до сихъ поръ не знаетъ,—и въ самомъ дѣлѣ это можно было наглядно видѣть во время открытія памятника, въ 1880 г.; но Пушкинъ еще могъ бы стать и народнымъ поэтомъ, еслибы народъ былъ приготовленъ школою къ чтенію и уразумѣнію его поэзіи.

Не всѣ, однако, соглашались съ мнѣніемъ Бѣлинского. Болѣе

ное значение этой субстанціальной стихіи, развившейся въ жизни образованнѣйшихъ сословій нації. Национальный поэтъ—великое дѣло! Обращаясь къ Пушкину, мы скажемъ, по поводу вопроса о его національности, что онъ не могъ не отразить въ себѣ географически и физиологически народной жизни, ибо былъ не только русскій, но притомъ русскій, налѣренный отъ природы геніальными силами; однако жъ въ томъ, что называютъ народностью или національностью его поэзіи, мы больше видимъ его необыкновенно великой художническій тактъ. Онъ въ высшей степени обладалъ этимъ тактомъ дѣйствительности, который составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника²⁾ и т. д.

(Сочин. Бѣл., т. VІІ, изд. 2, стр. 386—387).

¹⁾ По словамъ Гоголя.

поздніе судьи (другого лагеря) безусловно объявляли Пушкина поэтомъ національнымъ, и такъ какъ нужно было, наконецъ, объяснить, въ чемъ заключалась національность, они давали эти объясненія. Аполлонъ Григорьевъ¹⁾, указывая примѣры того, какъ вѣрно рисовалъ Пушкинъ различныя стороны русской жизни, новой и старой (что давно указывалъ и Бѣлинскій), видѣть въ этомъ не силу художествен-наго творчества, а именно „непосредственное чутье народной сущ-ности“: Пушкинъ—„единственный полный человѣкъ, единственный всесторонній представитель нашей народной физіономіи“; это—„пред-ставитель всего нашего душевнаго, особеннаго, такого, что остается нашимъ душевнымъ, особеннымъ послѣ всѣхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами“. Но „народная сущность“ такъ и остается не-определенна, и дѣйствующая сила личности Пушкина опредѣляется такъ: Пушкинъ—„прежде всего художникъ, т.-е. великая, на полу-вину сознательная, на половину безсознательная сила жизни, герой въ карлейлевскомъ значеніи героизма“; въ изображеніяхъ народа его спасала отъ крайностей и ошибокъ, въ какія впадали другіе писа-тели, „художественная добросовѣтность“, „высоко артистическое чув-ство правды“—то-есть, повторяется мнѣніе Бѣлинского²⁾. Достоевскій основное національное свойство Пушкина указалъ въ извѣстной „все-человѣчности“³⁾. Опять еще Бѣлинскимъ была достаточно истолко-вана эта сторона пушкинского таланта—способность глубоко прони-кать въ жизнь чужыхъ обществъ и давнихъ временъ, и возсозда-вать ее въ характерныхъ художественныхъ картинахъ. Это есть не-рѣдкое свойство сильного таланта, а въ литературѣ этимъ свойствомъ гораздо въ болѣе сильной степени владѣютъ, напр., немцы, литера-тура которыхъ представляеть, больше чѣмъ гдѣ-либо, массу произве-деній чужихъ литературъ, усвоенныхъ нерѣдко въ замѣчательныхъ художественныхъ передачахъ. Страннѣе всего было то, что эту „все-человѣчность“ выставляли какъ высочайшее, исключительно достоин-ство русской народности, люди, которые, считая свою школу самой русской и національной, отличались и грубѣйшею нетерпимостью ко всему не-русскому человѣчеству, даже къ частнымъ племенамъ соб-ственной русской народности. Наконецъ, у нѣкоторыхъ критиковъ „народность“ Пушкина, какъ мы упоминали, представляется почти прямо въ смыслѣ офиціальной программы тридцатыхъ годовъ.

Въ „національности“ Пушкина не можетъ быть никакого со-

¹⁾ См. статьи въ журнale „Время“, 1861 (Сочиненія Аполлона Григорьева. Слб. 1876, т. I) и отвѣты на нихъ въ „Отеч. Зап.“ 1861, т. CXXXV, стр. 132—143.

²⁾ „Художническая добросовѣтность“ есть именно его терминъ. Сочин. VІІІ, стр. 408, 410 Прежде Григорьевъ называлъ критику Бѣлинского „сатурналіями“.

³⁾ Рѣчь о Пушкинѣ, въ „Дневнике писателя“, 1880.

мнѣнія, какъ и въ „національности“ всѣхъ первостепенныхъ дѣятелей нашей литературы,—всѣ они люди своего народа и общества, связанны съ ними нерасторжимой связью жизненныхъ вліяній, развитія и дѣятельности, носятъ ихъ отраженіе въ своемъ характерѣ. Но тѣ мнѣнія, которые говорятъ о безусловной національности Пушкина, даже въ размѣрахъ мистическихъ, составляютъ патріотическое увлеченіе: какъ ни велико значеніе Пушкина, оно имѣетъ свои исторические предѣлы, и самое проникновеніе въ „народную сущность“ было ограничено отсутствіемъ многихъ историческихъ, общественно-бытовыхъ и этнографическихъ средствъ и свѣдѣній. Онъ—„пророкъ“, говорятъ энтузіастические поклонники; онъ самъ, въ глубокомъ сознаніи нравственно возвышающаго значенія поэзіи, приравнивалъ идеальное служеніе поэта съ служеніемъ древняго пророка; онъ считалъ условіемъ этого служенія свободу творчества, думалъ, что обладаетъ ею,—но господствующая практика жизни и не думала давать ему этой свободы, искала его дѣятельность и иногда самого вводила въ заблужденіе...

Но чѣмъ такую національность, о которой ведутся споры? Въ теченіи настоящей книги мы уже касались этого вопроса, и повторимъ нѣсколько общихъ замѣчаній.

Въ самомъ общемъ смыслѣ, это—понятіе, совмѣщающее всѣ физическая и нравственные особенности извѣстнаго народа. Очевидно, что ихъ пониманіе можетъ быть совершенно различно. Во-первыхъ, смотря по умственному развитію наблюдателя, способности проникать въ сущность явлений: міровоззрѣніе разныхъ наблюдателей различно окрашиваетъ одинъ и тотъ же предметъ; „національность“ писателя (выражающаго художественно основныя свойства народа и доступнаго массѣ) можетъ поэтому быть объясняема съ совершенно разныхъ точекъ зрѣнія: такъ относительно Пушкина разошлись Гоголь, Бѣлинскій, Ап. Григорьевъ, „Маякъ“, Дудышкинъ, Достоевскій, Писаревъ. Во-вторыхъ, сама по себѣ національность, какъ существо народа, представляетъ различное содержаніе, беремъ ли ее въ данное время съ тѣми качествами, какія являются преобладающими, или въ цѣломъ ея историческомъ бытіи, или наконецъ въ ея идеальныхъ задаткахъ. Прежде всего національность имѣеть природу исторического явленія. Въ данную минуту будетъ считаться національнымъ непосредственно господствующій порядокъ вещей (въ тридцатыхъ годахъ считали національнымъ крѣпостное право); но исторически самая національность не неизмѣнна, и въ полное представленіе ея должно войти прошедшее, гдѣ могли сказываться черты быта и народнаго характера, которыя были подавлены историческими условіями, но не истреблены, и иногда способны, даже должны имѣть

свое будущее. Если преданіе отживає свое время и, пока цѣло, стѣсняетъ развитіе народныхъ силъ, то усилія освободиться отъ него будутъ истинно національнымъ дѣломъ (хотя бы на первое время принадлежали только образованному меньшинству), какъ была національнымъ дѣломъ Цетровская реформа, хотя въ данную минуту шла наперекоръ большинству и общества, и народа; какъ было національнымъ дѣломъ освобожденіе крестьянъ, еще наканунѣ считавшееся преступнымъ покушеніемъ на національное благо; какъ было національнымъ дѣломъ все развитіе новѣйшей литературы, хотя она до сихъ поръ, въ своихъ лучшихъ созданіяхъ, остается чужда народной массѣ. Забывая эти историческія явленія національности, мы рискуемъ впадать въ грубыя ошибки. напр., дурныя учрежденія, оставшіяся отъ старины и народу ненавистныя, но могущія быть устранимыми или исправляемыми, можемъ счасть ему по существу свойственными; или счасть такими свойствомъ народную косность или рабское чувство, когда народъ невѣжественъ не по недостатку способностей, и безправенъ по наслѣдію отъ тяжелой исторіи. Вообще, народные свойства могутъ быть правильно оцѣнены лишь тогда, когда народные массы въ состояніи будутъ раскрыть ихъ, владѣя извѣстнымъ просвѣщеніемъ и свободой дѣйствій. За отсутствіемъ такого свободного и хотя нѣсколько просвѣщенного народа, за „націю“ отвѣчаютъ обыкновенно классы привилегированные, и они даютъ свой комментарій народнаго характера: этотъ комментарій создается въ тѣхъ направленіяхъ, какія выработались въ образованномъ классѣ, въ то время какъ народъ остается при традиціонномъ и инстинктивномъ міровоззрѣніи, которое, при всей силѣ инстинкта, слишкомъ подвержено заблужденію—особливо въ новѣйшихъ условіяхъ народной жизни, все больше усложняющихся.

Въ опредѣленіи „національности“, самой по себѣ или въ проявленіяхъ литературныхъ, должно быть наконецъ, кроме ея непосредственного и исторического смысла, ея представленіе идеальное. Оно присутствуетъ обыкновенно въ національныхъ пристрастіяхъ и увлеченіяхъ,—и естественно, что сознавая свою особенность, народъ и его представители стремятся видѣть въ возможно широкомъ развитіи то, что имъ представляется національнымъ преимуществомъ, какъ очевидно, что направленіе идеализаціи будетъ обусловливаться мѣркой развитія нравственного чувства и знанія. Извѣстны у всѣхъ народовъ безъ исключенія—примѣры національного самомнѣнія и самообольщенія. На грубыхъ ступеняхъ національного чувства національное преимущество всего чаще понимается какъ преимущество физической силы (въ томъ періодѣ, о которомъ говоримъ, любили повторять, что Европа „боится“ насъ, или что мы ее „кормимъ“, что Гер-

манія есть только „наши пятидесятые губерніи“ и т. п.), и иногда этимъ самообольщеніемъ матеріальной силой хотятъ вознаградить себя за сознаніе слабости внутренней, гражданской и культурной. Понятно, что въ просвѣщеннѣйшой долѣ общества идеализація національности ищетъ основаній болѣе возвышенныхъ, и какъ въ самой жизни просвѣщеннѣйшіе люди стремились къ улучшенію понятій, нравовъ и учрежденій, такъ и въ пониманіи національности они внушили болѣе высокія требованія, отвергая грубые, наиболѣе распространенные взгляды бытовые и грубые идеалы національные, — что навлекало имъ въ литературной и общественной толпѣ, безсознательной и мнимо консервативной, название „отрицателей“. Въ эту послѣднюю категорію причислялись люди прогрессивнаго направленія, стремившіеся къ улучшенію жизни путемъ болѣе широкаго образованія и общественной самодѣятельности; и къ ней же могли быть причислены люди славянофильской школы, которые, въ лучшихъ трудахъ ихъ, искали того же улучшенія жизни путемъ возстановленія подавленныхъ исторіею народныхъ учрежденій, отвергая, какъ и ихъ противники прогрессивной школы, настоящій застой, безправіе и скучность просвѣщенія. Понятно, что мнимое „отрицаніе“ было только болѣе пламеннымъ, сознательнымъ стремленіемъ къ возвышенію общественности и вмѣстѣ національнаго идеала. Въ самыхъ изученіяхъ этнографіи, кромѣ непосредственнаго желанія изучить свой народъ, однимъ изъ сильныхъ стимуловъ было желаніе найти бытовые и народно-исторические факты для теоретическаго опредѣленія народныхъ идеаловъ, которые должны бы стать и національными.

Вопросъ о національномъ значеніи Пушкина опредѣлится съ изученіемъ его литературнаго содержанія сравнительно съ предшествовавшей эпохой, общественнымъ движеніемъ его времени и съ ихъ историческими результатами въ дальнѣйшемъ ходѣ общества и литературы.

Понятно, что поэтическая литература должна была также дѣйствовать на развитіе интереса къ народу и этнографическаго знанія. Вліяніе Пушкина въ этомъ отношеніи было очень сильное. Остановимся на нѣсколькихъ указаніяхъ.

Во-первыхъ, историческое пониманіе прошедшаго. Пушкинъ не былъ историкомъ, хотя желалъ быть имъ, и заслугу его въ этомъ отношеніи составляютъ — не исторія Пугачевскаго бунта, не приготовленія къ исторіи Петра Великаго, а именно рядъ его поэтическихъ произведеній... Въ своихъ историческихъ представленіяхъ Пушкинъ былъ, какъ известно, горячимъ приверженцемъ Карамзина. „Карамзинъ,— говоритъ Бѣлинскій,—не одного Пушкина, а нѣсколько поколѣній увлекъ окончательно своею „Исторіею государства Россії—

скаго“, которая имѣла на нихъ сильное вліяніе не однимъ своимъ слогомъ, какъ думаютъ, но гораздо больше своимъ духомъ, направленiemъ, принципами. Пушкинъ до того вошелъ въ ея духъ, до того проникнулся имъ, что сдѣлался рѣшительнымъ рыцаремъ исторіи Карамзина и оправдывалъ ее не просто какъ исторію, но какъ политической и государственный коранъ, долженствующій быть пригоднымъ какъ нельзя лучше и для нашего времени, и оставаться такимъ навсегда“¹⁾). При появленіи „Исторіи“ Пушкинъ написалъ извѣстныя эпиграммы, гдѣ въ насмѣшивой формѣ повторялось мнѣніе либерального кружка, съ которымъ Пушкинъ былъ тогда близокъ. Впослѣдствіи онъ каялся въ этихъ эпиграммахъ; взгляды его, исторические и общественные, формируются въ политической консерватизмѣ, программу которого давалъ Карамзинъ, и въ смыслѣ которого Пушкинъ считалъ себя обязаннымъ действовать²⁾). Онъ отступилъ отъ Карамзина только въ одномъ—въ поклоненіи Петру Великому, хотя въ послѣднее время взглядъ его на Петра также измѣняется въ направленіи къ Карамзину. Пушкинъ думалъ, что поэзія должна возсоздавать исторію; пѣкогда онъ ждалъ отъ Гнѣдича, окончившаго „Іліаду“, эпической поэмы изъ русской исторіи. „Исторія народа принадлежитъ поэту“. Онъ самъ задумалъ историческую драму, даже во вѣшней старинной формѣ³⁾), и посвятилъ ее памяти Карамзина. Въ Михайловскомъ Пушкинъ читаетъ лѣтописи и Четь-минеи, соприкасается съ живою народностью; по въ „Борисѣ“ принято готовое карамзинское представление, и знаменитый монологъ Пимена, прелестный какъ поэтический образъ, построенъ не на изученіи подлинной лѣтописи, а гораздо больше, если не исключительно, опять па сантиментальныхъ изображеніяхъ Карамзина⁴⁾). Заслуга Пушкина для нашего исторического сознанія заключается и въ „Борисѣ Годуновѣ“ и въ „Полтавѣ“, а особенно въ тѣхъ историческо-бытовыхъ повѣстяхъ, начиная съ „Арапа Петра Великаго“, въ которыхъ онъ проводить передъ нами типы и нравы прошлаго столѣтія. Пушкинъ любилъ собирать рассказы о прошлыхъ временахъ; устное преданье имѣло для него особую привлекательность,—конечно по живому отголоску старины, какой не можетъ сохраниться въ книжномъ свѣдѣніи,—да притомъ въ тѣ времена часто нельзя было знать недавней исторіи иначе, какъ по устному преданію. Повѣсти Пушкина остались въ

¹⁾ Сочиненія, VIII, стр. 640.

²⁾ Ср. его отзывы о Карамзинѣ въ Сочиненіяхъ (изд. 8-е, подъ редакціей П. А. Ефремова, М. 1882), т. V, стр. 37—39, 57, 79—80; т. VII, стр. 43, 142.

³⁾ „Комедія о царѣ Борисѣ“.

⁴⁾ Ср. статью С. Д. (Дудышкина): „Пушкинъ—народный поэтъ“, въ Отеч. Зап. 1860, т. CXXIX, стр. 57—74.

нашей литературѣ единственными въ своемъ родѣ произведеніями, по этому рѣдкому соединенію поэтическаго творчества и свѣжаго преданія. Въ повѣстяхъ Пушкинъ проводитъ передъ нами цѣлый рядъ представителей того класса, въ которомъ собственно происходило преобразованіе русскаго общества, — въ разныхъ ступеняхъ и видахъ привившійся къ нему европейской образованности, отъ временъ Петра до Екатерины II, и, наконецъ, до Александровской эпохи, потому что Евгений Онѣгинъ есть новый потомокъ этого типа послѣ-петровской дворянской культуры. Это значеніе историческихъ повѣстей было прекрасно объяснено въ юбилейной рѣчи г. Ключевскаго¹⁾. Указавъ главные типы, изображенныя Пушкинымъ въ этихъ повѣстяхъ, г. Ключевскій замѣчаетъ: „Такъ у Пушкина находимъ довольно связную лѣтопись нашего общества въ лицахъ за 100 лѣтъ слишкомъ. Когда эти лица рисовались, масса мемуаровъ XVIII вѣка и начала XIX в. лежала подъ спудомъ. Въ наши дни они выходятъ на свѣтъ. Читая ихъ, можно дивиться вѣрности глаза Пушкина. Мы узнаемъ здѣсь ближе людей того времени; но эти люди — знакомыя уже намъ фигуры. „Вотъ Гаврила Аѳанасьевичъ, воскликаемъ мы, перелистывая эти мемуары, а вотъ Троекуровъ, кн. Верейскій“ и т. д. до Онѣгина включительно. Пушкинъ — не мемуаристъ и не историкъ; но для историка большая находка, когда между собой и мемуаристомъ онъ встрѣчается художника. Въ этомъ значеніе Пушкина для нашей исторіографіи, по крайней мѣрѣ главное и ближайшее значеніе“.

Припомнимъ, наконецъ, знаменитую „Лѣтопись“ или, какъ она называлась въ рукописи самого Пушкина, „Исторію села Горохина“. Бѣлинскій видѣлъ въ ней остроумную шутку, — но не опредѣляль, надѣ чѣмъ она шутила; по толкованію Аполлона Григорьева, это — „тончайшая и вмѣстѣ простодушно-поэтическая насмѣшка надъ цѣлою вѣковою полосою нашего развитія, надъ всею нашою поверхностью образованностью, изъ которой мы вынесли взглядъ совершенно неприложимый къ явленіямъ окружающей настѣ дѣйствительности“ и т. д.²⁾). Но гораздо ближе и проще объясненіе, что „Исторія села Горохина“ намекаетъ именно на манеру Карамзина. Въ пристрастіи Пушкина къ Карамзину была доля тенденціозности, и теперь ошибки теоріи онъ самъ исправляетъ живымъ наблюденіемъ и поэтической отгадкою. Такова „Исторія села Горохина“: предисловіе — картина изъ жизни новѣйшихъ Митрофановъ, полуобразованныхъ дворянскихъ поколѣній; самая „Исторія“ есть видимо поправка къ

¹⁾ Р. Мысль, 1880.

²⁾ Сочиненія Григорьева, стр. 253.

прежнимъ мнѣніямъ о Карамзинѣ, къ которому Пушкинъ могъ уже относиться съ болѣй критикой: написана она со всѣми пріемами историческаго изслѣдованія, съ перечисленіемъ и критикой источниковъ, съ выписками изъ лѣтописцевъ, съ народными преданіями, подвергаемыми снисходительному сомнѣнію. Въ то время, 1830, Карамзинъ былъ еще единственнымъ образчикомъ, который могла имѣть въ виду эта „шутка“; языкъ несомнѣнно повторяетъ вычурно-реторическая фразы Карамзина.

Для опредѣленія внутренней работы Пушкина чрезвычайно интересны историческія замѣтки Пушкина; иногда онъ поразительно по своей истинѣ, напр., тѣ, къ которымъ относится отзывъ г. Ключевскаго: „Наша исторіографія,—говорилъ онъ въ той же рѣчи,—ничего не выиграла ни въ *правдивости*, ни въ *занимательности*, долго развивая взглядъ на нашъ XVIII вѣкъ, противоположный высказанному Пушкинымъ въ одной кишиневской замѣткѣ 1821 г.“¹⁾). Правда, эта замѣтка, какъ и многое другое въ нынѣшнемъ текстѣ Пушкина, не была известна въ свое время и остается для насъ только фактомъ его развитія. Замѣтка стоитъ въ явномъ противорѣчіи съ господствующимъ славословіемъ и заключаетъ много вѣрныхъ сужденій объ историческихъ герояхъ и героянкахъ нашего XVIII-го вѣка, сужденій особенно цѣнныхъ, если вспомнить, что фальшивый панегрикъ процветаетъ въ нашей исторической литературѣ и до сихъ порь. Первый періодъ его жизни, которому принадлежитъ его замѣтка, теперь обыкновенно принято осуждать какъ время либерального легкомыслія: оказывается, что въ пору „легкомыслія“ Пушкинъ способенъ быть къ такимъ наблюденіямъ и выводамъ (въ явно либеральномъ духѣ), которые очень высоко оцѣняются авторитетнымъ историкомъ нашего времени.

Если, по разсказу біографовъ, Пушкинъ былъ „мало приготовленъ“ къ исторіи, то еще меньше онъ могъ быть приготовленъ въ этнографіи. Но, какъ тамъ это не помѣщало ему внести важный вкладъ въ наше историческое сознаніе, такъ въ вопросахъ чистой этнографіи Пушкинъ оказалъ литературѣ великія услуги, прямые и косвенные. Ни у кого изъ русскихъ писателей раньше и послѣ (кромѣ специалистовъ или записныхъ любителей) не было такого вниманія къ народному преданію, поэзіи, языку; никто такъ не любилъ наслаждаться оригинальностью и мѣткостью этого языка. Біографы любятъ говорить со словъ Пушкина объ его наянѣ, и не задумываются приписывать ей посвященіе Пушкина въ тайны народности. Пушкинъ

¹⁾ См. эту замѣтку въ Сочин. Пушкина, т. V, стр. 9—14; но годъ замѣтки не 1821, а 1822.

могъ съ любовью говорить о нянѣ, дорогой ему особенно въ деревенской ссылкѣ,—но довольно странно приписывать буквально ей и пребыванію въ селѣ Михайловскомъ вкусы Пушкина къ народности. Няня Пушкина была типическая старинная няня, богатая народной премудростью, сказками, примѣтами, присловьями. Одна черта, сообщаемая Пушкинымъ, до чрезвычайности характерна. Вернувшись въ деревню въ ноябрѣ 1826 изъ Москвы, куда онъ былъ вытребованъ императоромъ Николаемъ, Пушкинъ описываетъ въ письмѣ къ Вяземскому пріѣздъ свой въ деревню: „Ты знаешь, что я не корчу чувствительности, но встрѣча моей дворни, хамовъ и моей няни — ей-Богу пріятнѣе щекотить сердце, чѣмъ слава, наслажденія самолюбія, разсѣянности и пр. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лѣтъ она выучила наизусть новую молитву *о ужиленіи сердца владыки и укрошении духа его свирѣпости*, молитву, вѣроятно, сочиненную при царѣ Иванѣ¹⁾). „Владыка“ былъ, разумѣется, императоръ Николай Цавловичъ, а няня совсѣмъ годилась въ XVI столѣтіе. Няня доставляла Пушкину материалъ, и судя по тому, что было Пушкинымъ употреблено изъ него (напр. сказки), материалъ стародавній (слѣдовательно, тѣмъ болѣе цѣнны); но если Пушкинъ обращался къ источникамъ народности, то основаніемъ этому была не случайность, какъ пребываніе въ Михайловскомъ, а весь историческій ходъ его литературнаго развитія. Бѣлинскій съ большою точностью указалъ, какимъ образомъ Пушкинъ въ „годахъ ученья“ пережилъ въ себѣ весь ближайшій періодъ литературы, ему предшествовавшій, и, завершая его въ своихъ юношескихъ произведеніяхъ, открывалъ своими трудами новую ступень литературныхъ идей. Въ этомъ предшествующемъ періодѣ, съ прошлаго вѣка, были затронуты элементы народности, въ смыслѣ общественномъ, историческомъ и литературно-этнографическомъ. Начавъ дома съ французскихъ стиховъ, онъ скоро затѣваетъ „Бову“ (1815), и этимъ юношескимъ опытомъ уже кончается вліяніе карамзинской стихотворной манеры. Въ „Вадимѣ“ (1822) можно еще замѣтить манеру Жуковскаго, съ славянами на Оссіановскій образецъ; но въ томъ же году „Пѣсня о вѣщемъ Олегѣ“ уже самостоятельна въ поэтическомъ отношеніи, и если еще отзывается Карамзинъ, то уже Карамзинъ — историкъ. Первая самостоятельная „поэма“ беретъ народно-сказочную тему, развивающую на романтическій ладъ; въ 1822 онъ начинаетъ „Евгения Онѣгина“, гдѣ между прочимъ уже безъ старыхъ сентиментальныхъ и романтическихъ прикрасъ явились картины деревенскія. Въ Михайловскомъ написанъ „Борисъ Годуновъ“, „вдохновенный“ Ка-

¹⁾ Сочин., т. VII, стр. 45.

рамзинъ и слѣдующій его историческимъ взглядамъ, а своей драматической формой свидѣтельствующій объ изученіи Шекспира. „Сношенія съ няней“ въ Михайловскомъ отразились нѣсколькими произведеніями на народныя темы (какъ „начало сказки“—о медвѣдѣхъ, „Женихъ“ и пр.); но поэтическія изложенія сказокъ, безъ сомнѣнія слышанныхъ именно отъ няни, написаны уже долго спустя, въ тридцатыхъ годахъ.

Изъ Михайловскаго Пушкинъ пишетъ къ брату въ 1824: „по вечерамъ слушаю сказки и вознаграждаю тѣмъ недостатки проклятаго своего воспитанія. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма“... Этимъ словамъ давно придавали большое значеніе, видя въ нихъ рѣшительное признаніе „народности“, какъ принципа, или даже истолковывая ихъ въ смыслѣ мистического народничества. Но онъ имѣютъ болѣе тѣсный смыслъ: воспитаніе, вслѣдствіе котораго Пушкинъ не разъ называетъ французскій языкъ болѣе ему близкимъ, чѣмъ русскій¹⁾, не давало ему возможности раньше усвоить себѣ технику народнаго языка и сказочные сюжеты: это не была теорія народности, а только одинъ изъ ея разнообразныхъ литературныхъ интересовъ. Онъ дѣйствительно занялся записываніемъ пѣсенъ и сказокъ, и, по словамъ П. В. Кирѣевскаго, составилъ замѣчательный пѣсенный сборникъ²⁾. „Недостатки воспитанія“ — не только домашняго, но и лицейскаго—Пушкинъ вознаграждалъ тогда и другими средствами: чтеніемъ Карамзина и лѣтописей, изученіемъ Шекспира. Его собственныя поэтическія воспроизведенія сказочныхъ сюжетовъ не удовлетворяли уже Бѣлинскаго: это былъ „плодъ довольно ложнаго стремленія къ народности“. Бѣлинскій исключалъ только „Сказку о рыбакѣ и рыбѣ“, гдѣ народу принадлежитъ только мысль, а весь разсказъ принадлежитъ поэту): народныя сказки „хороши и интересны такъ, какъ создала ихъ фантазія народа, безъ перемѣнъ, украшеній и передѣлокъ“³⁾; для специалиста этнографа подобные пересказы вообще не имѣютъ значенія⁴⁾. Но эти произведенія Пушкина въ тогдашихъ условіяхъ литературы и литературнаго языка

¹⁾ Напр. въ письмѣ къ Жуковскому, 1824: „французскій языкъ — мнѣ болѣе почерп“; въ письмѣ къ Чаадаеву, 1831: „je vous parlerai la langue de l'Europe, elle m'est plus familière que la notre“. Сочин. т. IX, стр. 198, 341.

²⁾ См. сказки Арины Родіоновны, въ Сочин. VІ, стр. 409—414; любопытная сказка о Георгіи Храбромъ и о волкѣ, со словъ Пушкина пересказана Далемъ (Соч. Даля, 1861, томъ IV); пѣсни, записанныя Пушкинымъ, въ Сочин. II, стр. 380, 390.

³⁾ Сочин. Бѣлинскаго, VІІ, стр. 700. До Бѣлинскаго подобнымъ образомъ относился къ сказкамъ Пушкина и Надеждинъ.

⁴⁾ Такъ, между прочимъ, пропадаетъ для этнографіи сказка о Георгіи Храбромъ и о волкѣ, которая была бы чрезвычайно интересна въ подлинной народной одеждѣ.

имѣли свою важность какъ новое указаніе на источники народности, какъ образчикъ технической виртуозности; и еще важнѣе по литературному вліянію были самостоятельныя произведенія Пушкина на народные темы: именно онъ составляли главный результатъ народныхъ стремленій Пушкина, особенно въ ряду съ другими произведеніями, эпизодически касающимися народной жизни (Евгений Онѣгинъ, Борисъ Годуновъ, Исторія села Горохина, историческая повѣсти и пр.).

Такимъ образомъ Пушкинъ вносилъ свой вкладъ и въ чистую этнографію, распространяя интересъ къ прямому изученію народнаго быта и поэзіи, собирая сказки и пѣсни, поддерживая своимъ мнѣніемъ и авторитетомъ начинавшіяся изученія, напр., изученіе пѣсенъ—Кирѣевскимъ, народнаго языка — Далемъ; а вѣ собственной этнографіи — художественными изображеніями народнаго быта. У Пушкина въ первый разъ народъ явился безъ сентиментальныхъ и романтическихъ ходуль¹⁾, съ подлинными чертами быта и языка, и это было чрезвычайно важно. Въ литературной толпѣ еще долго тянулось прежнее фальшивое отношеніе къ народности, карамзинская чувствительность, въ соединеніи съ лицемѣріемъ официальной народности, но у большихъ писателей, продолжавшихъ дѣло Пушкина, оно стало уже невозможнo. Самъ Пушкинъ далеко еще не совершилъ всего дѣла; нужно было еще много изученій и художественного труда, чтобы идея „народности“ утвердилась въ литературѣ, но поэзія Пушкина давала настроеніе, тонъ этому труду. Подъ вѣщеніями этой поэзіи—которая даже горячему панегиристу Пушкина, какъ Ап. Григорьевъ, представлялись отчасти сознательными, но отчасти и безсознательными, — *правдиво-реальное отношеніе къ „народности“* было завоевано, какъ литературное орудіе, и у преемниковъ Пушкина развилось въ широкія и уже сознательныя примѣнія. Это отразилось и на работахъ историко-этнографическихъ, гдѣ—въ параллель съ указаніями новыхъ научныхъ изслѣдований—народъ сталъ болѣе и болѣе рассматриваться, какъ организмъ, на которомъ сосредоточивается историческое развитіе государства и народности.

Что не все было сдѣлано Пушкинымъ, особенно видно на его общественныхъ понятіяхъ. Въ нихъ было нѣсколько разныхъ течений, отчасти смѣнявшихъ другъ друга, отчасти одновременно существовавшихъ, иногда примиряемыхъ, иногда оставляемыхъ въ ихъ противорѣчіи. Первая эпоха, какъ известно, отличена либеральными наклонностями, которая были съ одной стороны отголоскомъ вольтеріянства, съ другой исходили изъ новѣйшаго либерализма: то и

¹⁾ И безъ ходуль псевдо-классическихъ, какъ нерѣдко у Крылова.

другое было довольно поверхностно, но въ этихъ ученияхъ были свои серьезныя понятія — какъ понятія о свободѣ мысли, о необходимости, когда-нибудь, свободы гражданской и прежде всего освобожденія крестьянъ; наконецъ, всегда сохранившееся у Пушкина требование свободы художественного творчества.

Либерализмъ приходится ко временамъ императора Александра, когда Пушкину пришлось испытать „гонение“, вслѣдствіе которого Пушкинъ до конца царствованія Александра I ему „подсвистывалъ“; но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ въ концѣ ссылки начиналась зреялая пора поэтической дѣятельности, совершилась перемѣна и въ общественныхъ взглядахъ Пушкина: онъ сознаетъ, что имп. Александръ поступалъ съ нимъ „справедливо“; онъ дѣлается мирнымъ консерваторомъ и его мнѣнія окрашиваются новымъ направленіемъ до настоящей тенденціозности—особенно съ 1826 года. Приближенный къ средоточію власти, разубѣдившись въ старомъ либерализмѣ, Пушкинъ думалъ, что нашелъ настоящій путь для своихъ гражданскихъ мнѣній и пошелъ по немъ съ усердіемъ неофита, полагающаго, что долженъ искупить прошедшія ошибки. Отсюда проискали разные факты его дѣятельности въ послѣднемъ періодѣ его жизни: записка о воспитаніи; участіе въ запискѣ кн. Вяземскаго¹⁾; отзывъ о „якобинизмѣ“ Полевого²⁾; предложеніе правительству своего журнала³⁾; отзывъ о Радищевѣ, 1836 г., совсѣмъ противоположный его прежнимъ мнѣніямъ объ этомъ писателѣ; отсюда также происходило желаніе быть не только поэтомъ, но историкомъ, чѣмъ могло казаться болѣе дѣйствительной „службой“ отечеству въ глазахъ его судей и покровителей; этотъ тонъ слышится въ его офиціальныхъ письмахъ, въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ, какъ „Клеветникамъ Россіи“ и т. д.

Точка зреенія была консервативная. Мы говорили въ другомъ мѣстѣ⁴⁾ объ его взглядахъ позднѣйшаго времени, когда онъ сожалѣлъ о паденіи стариннаго боярства, когда Петръ казался ему Робеспьеромъ и Романовы „революціонерами“ (за это истребленіе боярства), когда онъ мечталъ о „независимой“ наслѣдственной аристократіи, когда рядомъ съ этимъ у него особенно стали сказываться собственные „генеалогическіе предразсудки и т. д. Можно исторически прослѣдить развитіе этихъ теорій Пушкина (между прочимъ истекавшихъ, вѣроятно, изъ того что въ тогдашнемъ общественномъ состояніи онъ не видѣлъ кромѣ родовой аристократіи никакого иного политического элемента); но теоріи во всякомъ случаѣ были

¹⁾ Полное собр. сочиненій кн. Вяземскаго, т. II, стр. 211—226.

²⁾ Сочиненія Пушкина, т. V, стр. 233.

³⁾ Тамъ-же, стр. 180.

⁴⁾ См. „Характ. литературныхъ мнѣній“, изд. 2-е, гл. II.

ошибочныя и не оправдывали распространяемаго теперь представлениа объ его пророческомъ проникновеніи въ народныя русскія начала: теорія была невѣрна исторически, потому что у насъ именно не было, да едва ли уже и можетъ быть такая наследственная и властвующая аристократія, о какой мечталъ Пушкинъ, и если бы она даже устроилась, едва ли бы особымъ благомъ для Россіи и чѣмъ-нибудь сочувственнымъ для народа. Тѣ образчики ея, какіе могли представляться Пушкину въ прошедшемъ, были плохимъ примѣромъ. Въ одномъ изъ послѣднихъ трудовъ Кавелина,—которому трудно отказать въ знаніи русской исторіи,—находится какъ будто намѣренный отвѣтъ на слова Пушкина о революціонной дѣятельности Петра ¹⁾: „мысль, будто реформа Петра и петровскій періодъ представляютъ какой-то переломъ въ русской жизни, неожиданный, безпричинный, какъ будто съ неба упавшій, --- ни на чемъ не основана... Взглядъ на Петра Великаго, какъ на какого-то чуть-чуть не *Робеспьера*, также обличаетъ глубокое непониманіе русской исторіи и великаго царствованія, какъ и упреки въ томъ, что онъ былъ антихристъ, заклятый иностранецъ и нестерпимый тиранъ“ ²⁾.

Современникамъ Пушкина (и непринадлежавшимъ къ его кругу) не остались неизвѣстны эти его взглѣды. У нихъ не было того материала, который сталъ извѣстенъ теперь въ письмахъ и замѣткахъ Пушкина; но личность поэта была предметомъ величайшаго интереса, его сочиненія изучались внимательнѣйшимъ образомъ; намеки комментировались, а, наконецъ, были живыя свѣдѣнія и разсказы. Бѣлинскій по поводу „Бориса Годунова“ говорилъ о Пушкинѣ весьма категорически, что „онъ въ душѣ былъ больше помѣщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта“ ³⁾.

Если была возможность чувствовать въ поэта помѣщика по поводу даже „Бориса Годунова“, то понятно, что Бѣлинскій затруднился безусловно назвать Пушкина поэтомъ національнымъ: обществу и критикѣ приходилось иногда видѣть въ немъ не полное выраженіе своихъ лучшихъ идеаловъ, а только панегирикъ одной эпохи, одного порядка вещей, видѣть тенденцію одного извѣстнаго круга. Исторія не подтвердила этого панегирика... Въ этой же односторонности надо искать и причину того, что къ концу жизни Пушкина (когда, замѣтимъ, не были извѣстны многія изъ лучшихъ его произведеній, явившіяся только въ посмертномъ изданіи) публика начинала охладѣвать къ поэту. Въ иныхъ случаяхъ, это охлажденіе

¹⁾ Эти слова явились только въ изданіи Ефремова, 1882, и едва ли были въ виду у Кавелина.

²⁾ „Вѣсти. Евр.“. 1882, декабрь, стр. 937.

³⁾ Сочиненія Бѣлинского, VII, стр. 638.

было дѣломъ непониманія, легкомыслія; но въ другихъ имѣло свои основанія. Бѣлинскій самъ объясняетъ его главнымъ образомъ тѣмъ, что Пушкинъ въ послѣдніе годы удалился въ область чистаго искусства. „И чѣмъ совершиеннѣе становился Пушкинъ какъ художникъ, тѣмъ болѣе скрывалась и исчезала его личность за чуднымъ, роскошнымъ міромъ его поэтическихъ созданій. Публика, съ одной стороны, не была въ состояніи оцѣнить художественаго совершенства его послѣднихъ созданій (и это, конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны, она въ правѣ была искать въ поэзіи Пушкина болѣе нравственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это, конечно, была не ея вина). Взглядъ Пушкина на жизнь былъ болѣе созерцательный, нежели рефлектирующій; его поэзія, глубоко проникнутая гуманностью, воспріимчива къ страданіямъ и противорѣчіямъ жизни, но онъ смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ, какъ бы признавая ихъ роковую неизбѣжность и не нося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія“. Такова была натура Пушкина: этому взгляду Пушкинъ обязанъ изящною мягкостью, глубиной и возвышенностью своей поэзіи, но въ этомъ и ея недостатки. „Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе, сдѣлялись теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные болѣзnenные вопросы настоящаго...“¹⁾). Къ этому присоединялось, что созерцательная поэзія идеализировала иногда такие предметы, къ которымъ общество начинало уже относиться съ критическимъ анализомъ. Пушкинъ дѣлался поэтомъ *status quo*, и прежнее охлажденіе еще усилилось въ позднѣйшихъ литературныхъ поколѣніяхъ, и въ наше время многіе прославляли Пушкина какъ національного поэта, именно въ смыслѣ общественно-политического консерватора.

Но съ этими ссылками на его консервативныя идеи надо быть, однако, осторожнымъ. Теоретическія ошибки не могли возобладать совсѣмъ надъ поэзіей Пушкина; поэтическая проницательность и „художественная добросовѣстность“, мягкое гуманное чувство, сознаніе собственной силы и художественного достоинства шли глубже теорій, дали произведенія болѣе глубокія, чѣмъ онъ могъ бы дать какъ представитель узкой тенденціи. Его глаза не были закрыты на то, что дѣжалось въ отечествѣ, какъ могъ чувствовать себя въ немъ независимый писатель. Не мудрено, что въ годы изгнанія у него вы-

¹⁾ Сочин. Бѣлинскаго, VIII, стр. 402—408.

рывались желчные слова объ „отечествѣ“; но въ самомъ концѣ жизни, когда онъ началъ журналъ, когда онъ былъ оплтетенъ III-отдѣленскими наставленіями и угрозами, у него вырывались слова горечи и раздраженія¹⁾). Къ послѣднему году его поэтической дѣятельности относится стихотвореніе: „Не дорого пѣю я громкія права“, и стихотвореніе: „Я памятникъ себѣ воздвигъ не рукотворный“, которое роковымъ образомъ являлось въ 1836 г. какъ завершеніе его поэтическаго поприща и гдѣ мы только теперь читаемъ въ предпослѣдней строфѣ подлинные стихи самого Пушкина²⁾:

„И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждать,
Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ я свободу,
И милость къ падшимъ призываѣтъ“.

Разнообразныя воспоминанія о Пушкинѣ въ 1880 г. собрали изъ его произведеній множество мыслей и образовъ, рисующихъ возвышенный тонъ его поэзіи и проникнутыхъ глубокою любовью къ родной странѣ и народу: онъ дорожитъ славными дѣяніями ихъ прошедшаго, страстно желаетъ широкаго просвѣщенія, ждетъ освобожденія народныхъ массъ; онъ первый правдиво постигаетъ народную жизнь и изображаетъ ее со всѣмъ богатствомъ языка, изученного въ народномъ источнике. Его провозглашали національнымъ поэтомъ, и многимъ казалось, что основной источникъ его національности таится въ „прикосновеніи“ къ народу, въ позднѣйшемъ періодѣ его развитія; но историческое изученіе должно убѣдить, что именно ранній періодъ его внутренней жизни, когда въ послѣдніе годы Александровскихъ временъ въ обществѣ, хотя не безъ увлеченій и фантазій, носилось много благороднѣйшихъ общественныхъ стремленій,—этотъ періодъ оставилъ въ немъ вліянія, не изгладившіяся во всю осталенную жизнь, при всѣхъ позднѣйшихъ его колебаніяхъ. Новѣйшіе комментаторы не замѣчали, что многія лучшія цитаты, ими приведенные и говорящія о народномъ благѣ, просвѣщеніи и свободѣ, принадлежатъ этому первому періоду жизни Пушкина, періоду либеральныхъ, въ европейскомъ смыслѣ, идеаловъ. Михайловское единеніе дало Пушкину сосредоточиться, убѣдило, что онъ призванъ не къ какой-нибудь активной, а именно только къ художнической дѣятельности. События 1826 г. увлекли его въ тенденціозный консерватизмъ, въ отношенія, которыхъ онъ идеализировалъ, но которыхъ временами его страшно угнетали, и онъ возвращался къ инымъ свѣтлымъ свобод-

¹⁾ См., напр., Сочин., VII, стр. 42, 95, 174, 190, 283 и др., въ письмахъ 1824—26 гг. Вѣстн. Евр., 1879, письма къ женѣ.

²⁾ Сочин. III, стр. 411—412, 471. Любопытно, что третій стихъ этой цитаты выпалъ въ рѣчи „Идеалы Пушкина“, В. Никольского, стр. 45.

нымъ взгляда мъ своего прошлаго. „Художническій тактъ дѣйствительности“ предохранилъ его отъ литературныхъ ошибокъ, въ которыхъ могли ввести его ошибки теоретическія, и на перекоръ тому, что онъ придумывалъ теоретически относительно русской исторіи, въ своихъ произведеніяхъ прославлялъ то, что составляетъ ея истинное величие. Таково возвеличеніе Петра, на перекоръ превозносимому Пушкинымъ Карамзину, на перекоръ его собственнымъ представленіямъ Петра въ видѣ Робеспьера. „Петръ Великій,—говорить Бѣлинскій,—не только творецъ бывшаго и настоящаго величія Россіи, но и всегда останется путеводною звѣздою русскаго народа, благодаря которой Россія будетъ всегда идти своею настоящею дорогою къ высокой цѣли нравственнаго, человѣческаго и политического совершенства. И Пушкинъ *нигдѣ* не является ни столько высокимъ, ни столько національныи поэтомъ, какъ въ тѣхъ вдохновеніяхъ, которыми обнізанъ онъ великому имени творца Россіи“ ¹⁾.

О томъ, чѣмъ могли бы быть дѣятельность Пушкина въ условіяхъ тенденціознаго консерватизма, еслибы она продолжалась, мы вполнѣ согласны съ заключительными страницами книги г. Стоюнина ²⁾.

Исключительный и разнообразный талантъ сдѣлалъ Пушкина величайшимъ именемъ русской литературы, и какъ начинатель самостоятельнаго реальнаго изображенія русской жизни онъ занимаетъ высокое мѣсто и въ специальной исторіи народныхъ изученій.

Но еще многое предстояло труда впереди. Въ тридцатыхъ годахъ, къ концу жизни Пушкина, было заявлено официально начало народности; литература еще раньше называла это слово, но понятіе еще долго оставалось неяснымъ. Мы приводили выше, что это слово называлъ кн. Одоевскій въ половинѣ двадцатыхъ годовъ, что о народности говорилъ Максимовичъ въ духѣ романтическаго увлеченія народной поэзіей, что Надеждинъ искалъ въ ней средства противъ увлеченія чужеземнымъ и желалъ объяснить ее исторически; этнографическія работы предпринимаются уже съ опредѣленнымъ планомъ изслѣдованія „народности“; къ ней начинаютъ стремиться поэты и беллетристы; но въ большинствѣ случаевъ исканія остаются еще темны и поверхностны. Въ образчикъ тогдашнихъ взглядовъ приводимъ еще отрывокъ изъ статьи Плетнева, посвященной именно этому предмету ³⁾.

¹⁾ Сочин. Бѣлинскаго, VIII, стр. 406.

²⁾ „Пушкинъ“. Спб. 1881, стр. 439—440.

³⁾ „О народности въ литературѣ“ (1833), рѣчь, читанная на актѣ Спб. универ-

„Бѣ числѣ главныхъ принадлежностей,—говорить онъ,—которыхъ современники наши требуютъ отъ произведеній словесности, господствуетъ идея народности“,—и затѣмъ онъ опредѣляетъ ее какъ совокупность всѣхъ особенностей нашей жизни.

„Она представляетъ собою особенность, необходимо соединяющуюся съ идею каждого народа. Сколько жь предметовъ должно войти въ ея совокупность! Черты, составляющія физиономію души нашей, предварительно были какъ стихіи въ томъ обществѣ, которое воспитало наши страсти, въ той природѣ, которая упновѣала наши чувства, въ той религіи, которая возвысила наши помыслы, въ тѣхъ обычаяхъ, которые освящены для насъ давностію, въ тѣхъ предразсудкахъ, отъ которыхъ не спасеть насъ никакая философія. Еще болѣе: одинъ и тотъ же народъ, въ разные періоды своей исторіи, при содѣйствіи разныхъ причинъ, скрывающихся то въ политикѣ, то въ морали, то въ ученыхъ мнѣніяхъ какого-нибудь времени, является съ безчисленнымъ множествомъ отг҃енковъ, которые всѣ принадлежатъ разсматриваемой идеѣ“.

„Въ звукахъ слова *народность*,—продолжаетъ Плетневъ,—есть еще для слуха нашего что-то събѣжее и, такъ сказать, не обносившееся“,—но новой литературѣ принадлежитъ только выраженіе, а самая идея современна древнѣйшимъ писателямъ. И онъ дѣлаетъ бѣглый и весьма туманный обзоръ античной и новѣйшей европейской литературы, чтобы указать проявленіе народности и затѣмъ перейти къ русской литературѣ, древней и новой. И здѣсь изложеніе столь же туманно¹⁾). Въ XVIII столѣтіи дѣло народности русской представляетъ имп. Екатерина, Державинъ, Фонвизинъ. Со времени открытия памятниковъ древнѣйшей словесности нашей (труды гр. Мусина-Пушкина, Новикова), „черты народности пріобрѣли какъ бы иѣкоторую освязательность“. Великія заслуги окказалъ Шлѣцеръ, „мужъ правды и любви, первый въ ученомъ свѣтѣ благовѣститель нашего отечества“. „Онъ съ такою страстью доискивался истины, и открылъ, съ такимъ восторгомъ передавалъ ее, что чтеніе „Нестора“ его воспламенило цѣлое поколѣніе русскихъ къ занятіямъ отечественною исторіею“. Далѣе:

„Итакъ идея, которая иѣкогда была преимуществомъ нашимъ передъ другимп новѣйшими народами, идея, которую осуществляютъ намъ всѣ лучшіе таланты въ образованнѣйшихъ государствахъ Европы, занимала уже многіе между нами умы въ прошедшемъ столѣтіи. Самочувствіе воскресило ее въ душахъ людей, которые столько благоговѣли къ своимъ обязанностямъ, что лучшіе свои помыслы посвятили отечеству. Въ нынѣшнемъ столѣтіи еще разнороднѣе сдѣлались изысканія въ отношеніи къ нашему гражданству. Въ исторіи мысли нашей и ея проявленія, къ чему не стремился, чего не желалъ прояснить достойный сынъ героя Задунайскаго, обратившій домъ свой въ храмъ отечественныхъ музъ, котораго самая наалпись: „на благое просвѣщеніе“ слу-

ситета, въ Журн. Мин. Просв. 1834, ч. I, стр. 1—30, и въ „Сочиненіяхъ и перевѣскѣ“ Плетнева, Спб. 1885, I, стр. 217—239.

¹⁾ Стр. 230 и слѣд.

житъ для насть завѣтомъ пазидательнымъ. Если только чье-нибудь помышлениe клонилось на путь народной славы, никого не отчуждалъ сей благодушный вельможа отъ своей поучительной бесѣды и благородного вспомоществованія, быть ли то историкъ или мореходецъ, поэтъ или антикварій, географъ или художникъ, грамматикъ или законовѣдецъ. Наблюдая современныя намъ явленія въ русской литературѣ, убѣждаемся, что благіе подвиги сіи были не бесплодны, что есть дѣйствователи въ каждой отрасли знаній, и что ихъ труды устремлены къ возвышенію нравственного достоинства нашего. Съ чувствомъ народной гордости мы произносимъ имена двухъ литераторовъ, дѣйствовавшихъ на рассматриваемомъ нами поприщѣ преимущественно въ славное царствование Александра I. Для одного изъ нихъ, по выражению поэта, уже настало потомство; другой, кумиръ всѣхъ возрастовъ, поучаясь самъ въ изслѣдованіи русскаго духа, еще поучаетъ и насть, хотя къ сожалѣнію довольно рѣдко. Сколь ни разнородны ихъ творенія, но они составляютъ одно цѣлое, полную картину Россіи, вѣрную исторію ея умственной жизни. Одинъ изъ нихъ, окружась не-подкупными свидѣтелями нашихъ дѣяній, темныхъ и гласныхъ, доблестныхъ и постыдныхъ, прошелъ съ ними разные періоды существованія нашего, и душою своей вкусишъ, такъ сказать, бытіе каждой эпохи, воскресиль для насть истинный образъ Руси, навѣяль на насть ея дыханіе, породниль оять слухъ нашъ съ простотою, нѣсколько одновзвучною, но чистою и свободною музыкою языка ея, взволновалъ сердце наше ея ощущеніями и обратилъ наши мысли къ невѣдомымъ еще сокровищамъ собственно нашего же ума и вкуса. Другой, прикрывшись невнимательностю и бездѣйствиемъ, останавливался въ каждой толиѣ народа, изучаль всѣ классы людей отъ грязной черни до блестательныхъ царедворцевъ, высматриваль всѣ наши слабости, недостатки, причуды, вывѣдалъ всѣ тайны ума нашего, его оборотливость, споровку и остроту. Про его-то иносказательныя драмы должно вымолвить, что въ нихъ русскій духъ въ очахъ совершается. Произведенія писателей сихъ довершили тотъ умственный оборотъ, который получилъ начало до нихъ еще появленія. Теперь имеющими Карамзина и Крылова не только мы подтверждаемъ преимущество народности въ литературѣ, но и самые чужестранцы, ими познавшіе, чтѣ было затаено отъ нихъ въ сердцѣ Россіи.

„Сопровождая движение многообъятной идеи, выражаемой словомъ *народность*, мы видимъ, что ея успѣхи, совершенствуя гражданственность, устремляютъ умъ націи на историческое изученіе всѣхъ частей государства. Не удивительно, что въ явленіяхъ нынѣшней литературы нашей мы ежедневно встречаемъ болѣе или менѣе счастливыя покушенія на этомъ же поприщѣ. Но посреди сихъ разнородныхъ и разнообразныхъ опытовъ, какой колоссъ воздвигнутъ неутомимою дѣятельностью всеобъемлющаго ума! Гдѣ самая вѣрная и самая поучительная исторія государства, какъ не въ картинахъ постепенного развитія силъ, воли и дѣйствій правительства въ отношеніи къ націи? Какой же представляется подвигъ тому, кто бы вздумалъ всѣ мелкія, разбросанныя, исчезающія и разновидныя черты сіи собрать, устроить, согласить и оживить! Государь обширнѣйшей въ свѣтѣ монархіи, напутствуя своими совѣтами вождей, вѣстниковъ его славы и справедливости, разрѣшая тяжкія недоумѣнія сильнѣйшихъ владыкъ Европы, пріемлетъ въ собственное свое владѣніе этотъ новый, новидимому безкопечный трудъ, и къ удивленію свѣта, къ счастію своихъ подданныхъ совершаеть его въ единое пятилѣтіе. Здѣсь, въ этой совокупности нашихъ законовъ, гдѣ каждый день, каждый часъ запечатлѣнъ идею того, кто движетъ всѣ пружины и направляетъ всѣ нравственные силы

нації, здѣсь вполнѣ будеть постигнута наша історія, а съ нею и самая народность.

„Въ то время, какъ, по высочайшей волѣ прозорливаго монарха, путеводителемъ и судіею нашимъ въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія явился мужъ, столь же высоко образованный, какъ и ревностный патріотъ, его первое слово къ намъ было: *народность*. Въ этихъ звукахъ мы прочитали самыя священные свои обязанности. Мы поняли, что успѣхи отечественной исторіи, отечественного законодательства, отечественной литературы, однимъ словомъ: всего, что прямо ведеть человѣка къ его гражданскому назначенію, должны быть у насъ всегда на сердцѣ. Дѣйствовать въ этомъ духѣ такъ легко, такъ отрадно, такъ естественно, что безъ сомнѣнія въ лѣтописяхъ ученыхъ обществъ не было еще ни одного указанія, по которому бы съ такимъ единодушіемъ и съ такимъ самоотверженіемъ соединялись всѣ, какъ соединяемся мы по слову нашего вождя въ обѣтованную землю истинной образованности“.

Въ словахъ Плетнева была, вѣроятно, доля обязательнаго языка, но съ другой стороны никто не вынуждалъ избранной имъ темы, и Плетневъ, одинъ изъ ближайшихъ друзей Пушкина, потомъ Гоголя, безъ сомнѣнія, высказывалъ обычныя представленія о начинаящейся эпохѣ, которую олицетворяла официальная заявленная „народность“.

Какъ складывалось понятіе о народности у тогдашихъ этнографовъ, которые считали себя специалистами въ ея объясненіи, мы видѣли между прочимъ у Сахарова. Укажемъ еще нѣсколько строкъ изъ предисловія, которымъ вводилъ читателя въ свою книгу другой типической этнографъ того времепи, Терещенко¹⁾: книга написана совершенно ненаучно, не весьма грамотно, но это не мѣшало „народности“.

„Иностранцы,—говорить Терещенко,—смотрѣли на наши права и образъ жизни по большей части изъ одного любопытства; но мы обязаны смотрѣть на все это не изъ одного любопытства, а какъ на исторію народнаго быта, его духа и жизни, и почерпать изъ нихъ трогательные образцы добродушія, гостепріимства, благоговѣйной преданности къ своей родинѣ, отечеству, православію и самодержавію. Если чужеземные наблюдатели удивлялись многому и хвалили, а болѣе порицали, то мы не должны забывать, что они гладѣли на насъ поверхности, съ предубѣждениемъ и безъ изученія нашего народа... Перечитывая описанія, повѣствовавія и сказанія на многихъ европейскихъ языкахъ, вы постоянно читаете—и не безъ улыбки,—что всѣ иноземные писатели какъ бы условились однажды и навсегда хулить и бранить насть“... (Сейчасъ, однако, было сказано, что они многому удивлялись и хвалили).

„Оставивъ людскія страсти, которыя мы относимъ къ понятіямъ вѣка, намъ усадилительно вспомнить, что предковъ жизнь, не связанныя (?) условиями многосторонней образованности, излилась изъ сердечныхъ ихъ ощущеній (?), истекла изъ природы ихъ отчизны, и этимъ напоминается патріархальная простота, которая столь жива въ ихъ дѣйствіяхъ, что какъ будто бы это было

¹⁾ Быть русскаго народа. Сочиненіе А. Терещенко. Въ VII частяхъ. Сиб. 1848. Объ этой книгѣ мы скажемъ далѣе, когда остановимся на замѣчательныхъ статьяхъ Кавелина, юю вызванныхъ.

во всякомъ изъ наасъ (?). Кто хочетъ изслѣдоватъ бытъ народа, тотъ долженъ восходить къ его юности и постепенно снисходить по ступенямъ познаній всѣхъ его возрастовъ,—и такъ далѣ.

Правда, были и въ тѣ годы люди, которые поняли дѣйствительную стоимость заявленія „народности“, и мы, иногда почти съ изумленіемъ, встрѣчаемъ чрезвычайно ясное пониманіе вещей въ дневникѣ А. В. Никитенка именно изъ этихъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ,— но въ большинствѣ общества на первое время повидимому было очень распространено представление о томъ, что наступила въ нашей жизни настоящая „народность“ и что въ этомъ отношеніи нѣчего больше желать. Мечты двадцатыхъ годовъ были подавлены или забывались. Въ тридцатыхъ годахъ даже въ новомъ поколѣніи, которое съ большимъ возбужденіемъ предалось Гегелевской философіи, господствовало въ параллель этому ученіе о „разумной дѣйствительности“. Прежде чѣмъ сознано было могущественное значеніе произведеній Гоголя и прежде чѣмъ сложились новые школы, „западная“ и славянофильская, въ которыхъ поднять былъ совсѣмъ иначе вопросъ о народѣ, въ литературѣ еще долго держалось это консервативное представление „народности“, въ сущности безсодер-жательное.

До какой степени были въ пушкинское время не требовательны относительно литературныхъ и общественныхъ отраженій народности, видно изъ рѣчи Плетнева: „Исторія“ Карамзина, басни Крылова и Сводъ Законовъ убѣждали вполнѣ въ присутствіи „народности“. Та же нетребовательность сказалась въ успѣхѣ Загоскина (1789—1852; его историческіе романы 1829—1848). Въ 1829 явился „Юрій Милославскій“ и имѣлъ необычайный успѣхъ: автора горячо привѣтствовали и Жуковскій, и самъ Шушкинъ.

Мысль объ историческомъ романѣ была у Загоскина [слѣдствіемъ чтенія Вальтеръ-Скотта и старыхъ историческихъ повѣстей Карамзина; историческія понятія составлены всецѣло по Карамзину, общественные—были искреннимъ и наивнымъ консерватизмомъ, вполнѣ подъ стать официальной народности. На первыхъ порахъ „Юрій Милославскій“ вызвалъ великия похвалы, которыхъ уже вскорѣ потомъ должны были казаться непонятны. Въ романѣ была легкость разсказа, одушевленіе,—но отсутствіе исторического колорита, избытокъ приторной сантиментальности, которую въ другихъ своихъ произведеніяхъ романистъ одинаково вносилъ и въ X-e, и въ XIX столѣтіе, патріотизмъ, слишкомъ часто состоящій въ самохвальствѣ и ненависти ко всякой иноземщинѣ: они стали достояніемъ своей особой публики и ни мало не послужили объясненію старины для читателей.

лей, которые ищутъ въ романѣ исторического интереса¹⁾). Какая подкладка лежала въ основѣ взглядовъ Загоскина, онъ самъ объяснялъ позднѣе въ письмѣ къ издателю „Маяка“²⁾: появленіе этого журнала очень порадовало Загоскина, именно этого онъ дожидался, и тотчасъ обратился къ журналу съ привѣтствіями и нѣкоторыми замѣчаніями. Это былъ искренній обскурантизмъ, обезоруживающій своей простодушной откровенностью.—Совсѣмъ иной силы таланта и ума былъ Лажечниковъ (1794 — 1869; исторические романы 1831—1838). Его романы принадлежать также романтической манерѣ, болѣе тонкой, но, быть можетъ, еще болѣе преувеличенной; Лажечниковъ строить свои романы болѣе сложно, съ запутанной интригой, эффектами, съ романтическими страстями, — но ихъ достоинство несравненно выше: больше исторического пониманія, разнообразія картинъ, оригинальности языка. Историческая тема берется серьезнѣе, съ изученіемъ источниковъ, и несмотря на иные вопіющіе анахронизмы новѣйшихъ чувствъ и понятій, переносимыхъ въ XVI — XVIII вѣка, его романы глубже переносятъ въ выбранную эпоху, чѣмъ когда-нибудь удавалось Загоскину.—Не перечисляя другихъ тогдашнихъ произведеній этого рода, довольно привести слова Бѣлинского по поводу „Арапа Петра Великаго“, что „эти семь главъ неконченного романа, изъ которыхъ одна упредила всѣ исторические романы гг. Загоскина и Лажечникова³⁾, неизмѣримо выше и лучше всякаго исторического русскаго романа, порознь взятаго, и всѣхъ ихъ, вмѣстѣ взятыхъ. Передъ ними, передъ этими семью главами неоконченного романа, бѣдны и жалки повѣсти г. Кукольника, содержаніе которыхъ взято изъ эпохи Петра Великаго и которыя все-таки не лишены достоинства“⁴⁾.

Столь же мало глубока въ истинномъ уразумѣніи народности была обильная литература нравоописательныхъ романовъ, нравственно-сатирическихъ повѣстей, романтическихъ поэмъ, драмъ, трагедій и

¹⁾ Задавая себѣ вопросъ о причинахъ успѣха „Юрія Милославскаго“, г. Ска-
бичевскій („Сочиненія“, 1890, т. II, 695) объясняетъ, что масса нашла въ немъ романъ-сказку, каковъ былъ средневѣковой романъ приключеній, который и удовле-
творилъ элементарными вкусами. Но Жуковскаго и Пушкина безъ сомнѣнія привле-
кало и нѣчто иное — интересъ первой попытки въ новомъ направленіи, тѣмъ больше,
что въ ней была „теплота разсказа“ и „умѣренность въ изображеніи простодушной
народности“, которая отиѣчала и болѣе требовательный Бѣлинскій.

²⁾ См. „Маякъ“ 1840, ч. VІІ, стр. 101 — 105. Ап. Григорьевъ такъ поразился,
встрѣтивъ въ „Маякѣ“ это письмо, что перепечаталъ его цѣликомъ въ одной изъ
своихъ статей; см. Соч. Ап. Григорьева, стр. 581—586.

³⁾ Отрывокъ изъ „Арапа“ явился въ первый разъ въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ на
1829 годъ.

⁴⁾ Сочин. Бѣлинскаго, VІІ, стр. 701.

комедій, касавшихся исторіи и народной жизни. Были, разумѣется, и здѣсь проблески живого содержанія, но господствовала романтическая ходульность, поверхностное отношеніе къ жизни общества и народа.

Какъ писатель изъ народнаго быта, въ пушкинскую эпоху имѣть значеніе въ особенности, почти исключительно, Даль, дѣятельность которого продолжается потомъ и въ эпоху Гоголя. Мы говорили о немъ какъ объ этнографѣ. Въ пушкинское время Даль пріобрѣталъ уже великую славу какъ первостепенный знатокъ народнаго быта. Эта слава въ сороковыхъ годахъ установилась; Бѣлинскій былъ высокаго мнѣнія о талантѣ Даля иставилъ его на второе мѣсто послѣ Гоголя¹⁾). Въ настоящее время онъ почти забытъ. Время дѣлаетъ свое; въ чёмъ же оно ушло впередъ?

Бѣлинскій, при всемъ высокомъ понятіи о дарованіи Даля, замѣтилъ, однако, что это талантъ частностей, отдѣльныхъ типовъ, бытовыхъ подробностей, что онъ не идетъ дальше извѣстной границы. Сравнивая Даля съ послѣдующимъ ходомъ литературы, изображавшей народный бытъ, легко увидѣть, что Даль по своему отношенію къ народности остается писателемъ старой школы. Въ тридцатыхъ годахъ влечениѳ къ народности у тогдашнихъ партизановъ ея было инстинктивное и неясное; они восхищались народной пѣсней, обычаемъ, преданіемъ, въ народномъ языке видѣли верхъ литературного совершенства. Современники Даля догадывались, что между жизнью образованнаго класса и жизнью народа есть какой-то разладъ, и думали, что онъ можетъ быть покрыть и изглаженъ культомъ народности, но они совсѣмъ не понимали, какъ это можетъ сдѣлаться. Имъ казалось, что стоитъ сблизиться съ внѣшнимъ народнымъ бытомъ, принять нѣкоторые изъ брошенныхъ обычаевъ, покинуть „иноземщину“ и заговорить народнымъ языкомъ; — имъ не приходила мысль, что такими поверхностными и придуманными, а не выходящими изъ жизни средствами нельзя сдѣлать ничего; что такое внѣшнее, безъ измѣненія существенныхъ отношеній, принятие обычая (напр., платья) будетъ маскарадомъ, почти на смѣшной надѣ народомъ (или смѣхомъ для него); что въ „иноземщинѣ“ заключается между прочимъ вся наука; что народный языкъ, какъ ни прекрасенъ, крайне бѣденъ для выраженій понятій высшей категоріи. Но у нихъ не было совсѣмъ, или было очень мало, критического взгляда на общественное положеніе народа; большее

¹⁾ Сочин. Бѣл. I, стр. 334; II, 426; III, 87, 117; VII, 42, 203—205; VIII (по 2-му изд.), 28, 84; IX, 299, 302; X, 294; XI, 58, 109 — 115, 419, 253. Любопытно, однако, что Бѣлинскій никогда не посвятилъ сочиненіямъ Даля большой критической статьи, т.-е. не нашелъ въ его сочиненіяхъ элементовъ важнаго исторического явленія.

частью они удовлетворялись тогдашимъ ея положеніемъ, даже восторгались имъ; этнографы и писатели этой школы, на словаѣ великихъ любители народа, на дѣлѣ не разъ становились къ нему въ ненавистное отношеніе соглядатаевъ и сыщиковъ (въ дѣлахъ по расколу). Такихъ былъ не одинъ между друзьями Даля; не всѣ, конечно, доходили до этого, но вообще критической или просто человѣческой мысли о народѣ не было; люди этой школы думали, что отдаленіе общества отъ народа можетъ быть исправлено однимъ сантиментальнымъ романтизмомъ, поддѣлкой подъ народность, а самый народъ—пусть остается крѣпостнымъ; или же, не мудрствуя лукаво, они просто придерживались взглядовъ „Маяка“, какъ Загоскинъ.

Сочиненія Даля состоятъ изъ болѣе или менѣе значительныхъ повѣстей, мелкихъ очерковъ, пересказа народныхъ преданій, сказокъ и, наконецъ, специально разсказовъ, рассчитанныхъ на читателей изъ простонародного класса („Солдатскіе“ и „Матросскіе досуги“ и т. п.). Повѣсти его даютъ не столько типы, сколько биографическія исторіи, переплетенные съ бытовыми картинками — изъ жизни военной, морской, помѣщичьей, купеческой, крестьянской, заводской. При этомъ нерѣдки и автобіографическія черты ¹⁾; въ разсказѣ „Савелій Грабъ или Двойникъ“ герою приданы этнографические вкусы и народолюбіе самого автора ²⁾, и есть, быть можетъ, портреты (напр., купецъ-библіофилъ Ахтубинцевъ, въ „Небываломъ“). Бытовыя описанія отличаются вообще большими знаніемъ нравовъ, обычаевъ, языка; вездѣ виденъ бывалый человѣкъ, много повидавшій, и умѣлый рассказчикъ; нѣкоторыя описанія сдѣланы почти съ этнографической точностью, напримѣръ, прекрасное сравнительное описание деревни великорусской и малорусской ³⁾). Но оказались и тѣ недостатки, какіе должны были проистекать изъ общаго отношенія къ „народности“. Направленіе Даля осталось до конца народно-романтическимъ; его разсказы, живые, скрашенные юморомъ, были занимателыны, но читатель въ концѣ концовъ оставался безъ всякаго опредѣленного впечатлѣнія о той жизни, какую ему изображали. Ихъ содержаніе было анекдотическое. Наблюдательности автора не миновали многія жизненные явленія, — онъ умѣеть нари-

¹⁾ Напр., въ повѣстяхъ: „П. А. Игровый“, „Мичманъ Поцѣлуевъ“, „Болгарка“, „Подолянка“, „Небывалое въ Быломъ“ и проч.

²⁾ Напр., ему прямо приписаны разсужденія о народныхъ суевіяхъ и примѣтахъ, находящіяся въ предисловіи къ книжкѣ Даля объ этомъ предметѣ; приписаны упомянутыя нами раньше сравненія литературнаго изложенія съ казацкимъ, какія онъ предлагалъ Жуковскому.—Объ этомъ сравненіи см. еще замѣчаніе Бѣлинскаго. Сочин. VII, стр. 201.

³⁾ Въ „Небываломъ“. Сочиненія Даля. Спб. 1860—1861, т. VII, стр. 326—330.
ист. этнogr.

совать самодура-купчину, картины помѣщичьяго быта и т. д.,—но не умѣеть возвести ихъ къ общему началу; подмѣтиль однажды и типъ недовольнаго, пегодующаго на несправедливости¹), но, по его собственному сужденію, это только — сумасшедшій человѣкъ... Что касается собственныхъ взглядовъ автора, то уже Бѣлинскій, хотя находилъ въ нихъ много ума и оригинальности, но и такія странности, съ которыми считалъ излишнимъ спорить²); въ самомъ языкѣ, его народность выражается прибауточностью, которая въ большомъ количествѣ является вещью нестерпимой, потому что становится видна ея искусственность. Но при всемъ знаніи чудрностей быта, при всемъ обилии внѣшней народности языка, тотъ существенный вопросъ, по которому только и можетъ быть важенъ интересъ къ „народности“, вопросъ о нравственно-общественномъ положеніи народа остался у Даля совсѣмъ нетронутымъ. Можно было бы думать, что писатель, такъ горячо стоявшій за народность, положившій такъ много труда на ея изученіе, найдетъ слово участія къ общественному положенію народа въ громадномъ большинствѣ крѣпостного, — и однако, онъ не нашелъ этого слова³).

Этимъ и объясняется, почему успѣхъ манеры Даля стать невозможенъ, когда въ литературѣ стало пріобрѣтать все большую силу вліяніе Гоголя, и когда подъ этимъ вліяніемъ народность начали понимать и изображать въ ея общественномъ и нравственно-человѣчномъ смыслѣ. За Далемъ осталась въ области беллетристики лишь та заслуга, что онъ ввелъ въ нее обильный запасъ этнографического материала, послѣ которого была облегчена задача виѣшняго изображенія народной жизни. „Записки Охотника“ окончательно за-слонили прежнюю народоописательную литературу, въ томъ числѣ и Даля.

Это отношеніе прежней народно-романтической школы къ новымъ понятіямъ объ интересахъ народности ярко обнаружилось въ началѣ прошлаго царствованія, когда дѣятели этой школы во многихъ случаяхъ явились противниками новаго движенія. Въ ряду противниковъ оказался и Даль въ статьяхъ, надѣлавшихъ нѣкогда

¹) Сулейкинъ, въ разсказѣ „Отецъ съ сыномъ“, — предшественникъ извѣстнаго резонера у Г. Успенскаго.

²) „Даже самыя странности и парадоксы автора носятъ на себѣ отпечатокъ такой достоинности, что доставляютъ въ чтеніи и удовольствіе“, — говорилъ Бѣлинскій, но серьезно разбирать ихъ не счѣль нужнымъ.

³) Въ своемъ изслѣдованіи: „Крестьянский вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинѣ XIX вѣка“ (Спб. 1888), г. В. Семевскій собралъ изъ сочиненій Даля черты, указывающія его отношеніе къ крѣпостному праву: Даль очевидно ему сочувствуетъ, и неоднократно рисуетъ глупость русского мужика, которому необходимы строгія исправительныя мѣры помѣщика и исправника. Т. II, стр. 273—278.

много шуму, гдѣ этотъ писатель, всю жизнь посвятившій культу народности, высказалъ мнѣніе о вредѣ для народа грамотности (по мнѣнію Даля, грамотность должна была распространить въ народѣ развѣ только крючкотворство и писаніе фальшивыхъ паспортовъ). Люди, питавшіе къ Даля уваженіе, находили тогда, что онъ „имѣлъ несчастіе“ высказать странныя мысли объ этомъ предметѣ¹⁾).

О тонѣ мыслей Даля по этому предмету можетъ дать понятіе небольшой образчицѣ. Когда съ началомъ прошлаго царствованія русское общество было полно лучшими ожиданіями, когда уже мелькала надежда на освобожденіе крестьянъ и одной изъ первыхъ мыслей пробудившейся общественности была мысль о народной грамотности, какъ первой ступени къ нѣкоторому образованію, Даляръ отозвался на это только такими недоброжелательными, да и не правдивыми словами: „Нѣкоторые изъ образователей (?) нашихъ ввели въ обычай (?) кричать и вопить (!) о грамотности народа и требуютъ (?) напередъ всего, во что бы ни стало (?), одного этого (!); указывая на грамотность другихъ просвѣщенныхъ народовъ, они безъ умолку (?) приговариваются: просвѣщеніе, просвѣщеніе!“ и т. д. Даляръ наставительно объясняетъ, что грамотность и просвѣщеніе не одно и тоже, — хотя никто ихъ не смѣшивалъ, а говорилось о народной школѣ, какъ первомъ началѣ какого-нибудь просвѣщенія, какого можно было по обстоятельствамъ надѣяться для народа, до тѣхъ поръ абсолютно заброшенаго. Весь споръ былъ введенъ со стороны Даля крайне странно; у него не нашлось доброго слова въ пользу народной школы, и на днѣ разсужденій трудно было не найти чиновнической стараго вѣка мысли, что народу нечего дѣлать со школой, а надо пахать землю и—знать сверчку свой шестокъ²⁾...

Настоящими преемниками Пушкина въ общемъ ходѣ литературы были два геніальные таланта новаго поколѣнія—Лермонтовъ и особенно Гоголь. Какъ вообще историческое развитіе не есть повтореніе предыдущаго содержанія и формы, такъ и исторические преемники Пушкина не повторяли его и не подражали ему, а именно только восприняли основную нить его дѣятельности и повели ее да-

¹⁾ Статьи Даля о вредѣ грамотности: Русская Бесѣда, 1856, кн. III, Смѣсь, стр. 1—16: „Письмо къ издателю А. И. Кошелеву“; Отечеств. Записки, 1857, февраль, литер. и журн. замѣтки, стр. 133: „Приписка къ письму А. И. Кошелеву, по поводу возраженій на него“; Спб. Вѣдомости 1857, № 245.—Изъ статей противъ Даля довольно отмѣтить статьи Е. Карновича въ „Современникѣ“ 1857, № 10, стр. 123—138: „Нужно ли распространять грамотность въ русскомъ народа?“ и № 12, стр. 167—176: Отвѣтъ г. Даля на замѣтку „о грамотности“, помѣщенную въ 245 № „Спб. Вѣдомостей“, и тамъ же въ Соврем. обозрѣніи, стр. 296—298.

²⁾ Въ біографії Даля, „Русск. Вѣстникъ“, 1873, и этотъ эпизодъ о народной грамотности переданъ невѣрно.

лье. Этюю нитью было самостоятельное художественное творчество, и какъ пріемъ его—правдивое реальное отношеніе къ жизни. Въ результатѣ получилось съ одной стороны—глубокое отрицаніе господствующей общественной дѣйствительности, и съ другой — приступы къ изображенію народа. Относительно Лермонтова нельзя забывать, что въ его произведеніяхъ мы имѣемъ дѣло только съ начавшейся дѣятельностью, прерванной на первыхъ опытахъ: онъ еще только выходилъ изъ поры юношескаго броженія, еще не выработалъ определенного взгляда на вопросы общественной и народной жизни, но ясно было, что въ Лермонтовѣ сказывалось тоже давно созрѣвшее стремленіе къ освобожденію личности, необходимое для того, чтобы самому обществу стало возможно достиженіе иныхъ болѣе свободныхъ формъ его жизни. Лермонтовъ не успѣлъ выработать этого инстинкта въ ясный идеалъ, но онъ съ нимъ носился цѣлую жизнь, отъ „Демона“ до Печорина и до „Пророка“. Затѣмъ, мы имѣемъ у Лермонтова великолѣпные, самимъ Пушкинѣмъ недостигнутые образцы воспроизведенія народныхъ темъ — какъ пѣсня объ опричникѣ и куницѣ Калашниковѣ, давно высоко оцѣненная какъ знаменательный фактъ въ нашемъ литературномъ развитіи. Это — не манера Пушкина, а свой самостоятельный подступъ къ народно-поэтическому миру, неожиданный и блестящій. Но къ реальной народной жизни Лермонтовъ, какъ и Пушкинъ, еще не подошелъ. У Пушкина чисто народная, крестьянская жизнь, кроме „Исторіи села Горохина“, гдѣ господствуетъ сатирический плант, отражается только эпизодическими жанровыми картинками (въ „Онѣгинѣ“, „Капризѣ“, въ повѣстяхъ Бѣлкина и проч., въ народныхъ балладахъ), и мысль объ освобожденіи крестьянъ остается отвлеченной, не перешедшей въ нравственное правило ⁵⁾), — такъ и у Лермонтова. Характеристическимъ произведеніемъ является у него знаменитая „Родина“: поэтъ любить ее „странною любовью“, которой „не побѣдить разсудокъ“; онъ сознается, что его чувства не трогаютъ ни купленная кровью слава, ни покой (государства), полный гордаго довѣрія, ни завѣтныя преданія темной старины,— но онъ любить—самъ не знаетъ за что—широкую природу родины и простую картину „печальныхъ“ деревень и, въ праздникъ, шумъ народного веселья. Очевидно, что поэта не влечетъ народность официальная, въ ея тогдашней формѣ, гдѣ слава записывалась въ официальныхъ реляціяхъ, завѣтныя преданія старины внесены были въ панегирическую холодную исторію,

¹⁾ Въ цитированномъ выше письмѣ 1826 г., Пушкинъ упоминаетъ своихъ *хамовъ* (Сочин. VII, 45). Но этой терминологіи, знаменитая няня также должна бы причисляться къ разряду „хамовъ“.

и напротивъ, глубокій инстинктъ, для самого поэта еще непонятный, влечетъ его къ этому скучному народному быту, къ углубленной народной личности, къ порывамъ ея свободной жизни и одушевленія. Эта любовь была „странна“ (и разсудокъ какъ будто долженъ быть побѣждать ее), потому что противорѣчила тону всей окружающей массы общества; но чувство поэта было вѣрно: оно внушалось тѣмъ могущественнымъ народно-историческимъ инстинктомъ, какой посѣщаетъ національного поэта; это былъ тотъ же результатъ, къ которому другіе приходили путемъ научнаго и общественнаго сознанія. Переведенная на простой языкъ и растолкованная, эта пьеса становилась недозволительнымъ свободомысліемъ и отрицаніемъ. Люди старого порядка это чувствовали и слова: „туда ему и дорога“, сказанныя по смерти Лермонтова, были характеристичны.

Гораздо продолжительнѣе и несравненно плодовитѣе была дѣятельность Гоголя. Не лишено важнаго исторического смысла то, что въ лицѣ Гоголя въ русской литературѣ могущественнымъ дѣятелемъ явился малорусъ, не утратившій своихъ племенныхъ свойствъ и чувствій, — какъ будто для цѣльного развитія русской литературы требовалось равносильное участіе обѣихъ основныхъ вѣтвей русского племени, соединенныхъ въ общемъ возвышенномъ идеалѣ; какъ будто для утвержденія истинной „народности“ нужно было участіе писателя, въ собственной скромной литературѣ котораго „народность“ по существу дѣла была уже неизбѣжнымъ элементомъ. Гоголь, послѣ первого чисто романтическаго опыта, начинаетъ съ рассказовъ на малорусскія народныя темы, и ими завоевываетъ первую славу. Затѣмъ слѣдуетъ историческій романъ — опять изъ прошлаго Малороссіи, на сюжетъ именно сродный народному эпосу, — романъ, который по художественному достоинству могъ смыло равняться съ историческими повѣстями Пушкина; далѣе рядъ повѣстей, гдѣ гуманное чувство пушкинской поэзіи смыкается глубокимъ юморомъ и картинами вмѣстѣ психологическаго и общественнаго интереса, потрясающими читателя; затѣмъ тотъ же общественный интересъ выступаетъ въ геніальной комедіи и „поэмѣ“. Все это новое содержаніе находится въ тѣсномъ родствѣ съ дѣятельностью Пушкина, но вмѣстѣ составляетъ новую ступень въ развитіи общественно-народнаго характера литературы. И вѣнчаниемъ образомъ Гоголь тѣсно примыкаетъ къ Пушкинскому кругу; здѣсь, и въ кругѣ Бѣлинскаго, Гоголь нашелъ первыя сочувствія и опору противъ рутины, противъ вражды старѣвшаго романтизма, противъ лицемѣрной „благонамѣренности“ и обскурантизма. Съ оборотной стороной преданій Пушкинского круга связано и послѣднее направление Гоголя: въ „Пере-

пискѣ“ отношеніе къ крѣпостному праву было отрицаніемъ его собственного христіанскаго взгляда.

Кромѣ малорусскихъ разсказовъ, Гоголь никогда не изображалъ народнаго русскаго быта прямо, а только косвенно затрагивалъ его въ исторіи „мертвыхъ душъ“. Тѣмъ не менѣе, его вліяніе есть одинъ изъ самыхъ важныхъ фактовъ въ исторіи народныхъ изученій: полное дѣйствіе художественнаго реализма Пушкина явилось только съ его истолкованіемъ и дальнѣйшимъ развитіемъ у Гоголя. Послѣ Гоголя, романтическая точка зрѣнія съ ея ложью, художественной и общественной, стала невозможна; послѣ Гоголя возможно было идти только путемъ правдиваго изображенія дѣйствительности, и такъ какъ дѣйствительность была слишкомъ далека отъ той картины благополучнаго обстоянія, какую рисовала система офиціальной народности и лицемѣрившая, или не понимавшая, доля литературы, то новое направленіе, выросшее подъ вліяніемъ Гоголя, уже вскорѣ сошло съ тѣмъ критическимъ анализомъ, который въ то же время развивался въ публицистической дѣятельности круга Бѣлинскаго. Для Бѣлинскаго, — котораго мы опять упомянемъ здѣсь, такъ какъ въ то время не было болѣе чуткаго критика и человѣка, болѣе превзданно и ревниво искашаго успѣховъ русской литературѣ, — Гоголь былъ предметомъ величайшихъ надеждъ. Трудно сказать, кого Бѣлинскій цѣнилъ больше — Пушкина или Гоголя: первый былъ для него образцомъ художественнаго совершенства, второй (въ его произведеніяхъ до „Переписки“) — дорогимъ союзникомъ въ защитѣ его общественныхъ идей. Самъ Гоголь, подъ вліяніемъ болѣзненнаго душевнаго процесса отрѣкшійся отъ своихъ произведеній, былъ потерянъ для дѣла, которому такъ много послужилъ, но движеніе не остановилось; напротивъ, оно шло быстро и, въ связи съ другими сторонами литературы и идеями, бросавшими корень въ обществѣ, выразилось яснымъ стремленіемъ къ изученію народа общественно-политическому.

Хронологическія цифры этого движенія были таковы:

1837 — Смерть Пушкина (передъ тѣмъ, 1836 — появленіе „Ревизора“).

1838 — Сочиненія Пушкина, т. I—VIII.

1841 — томы IX—XI. Смерть Лермонтова.

1842 — „Мертвые Души“.

1845 — Валуевскій „Сборникъ“.

1846 — Первый „Московскій Сборникъ“ и полемика славянофиловъ и западниковъ.

1847 — „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“. Письмо къ Гоголю, Бѣлинскаго. Первые „Разсказы Охотника“, Тургенева.

1848—„Запутанное дѣло“, Салтыкова.

Если обратить вниманіе на то, что только въ 1841 г. закончилось первое полное изданіе Пушкина, и въ 1842—явились „Мертвые Души“, то нельзя не признать чрезвычайно быстрымъ движеніемъ, которое въ такое короткое время перешло отъ нихъ къ „Запискамъ Охотника“. Какимъ многозначительнымъ событиемъ въ исторіи нашей литературы и общественности были „Записки Охотника“, известно. Сдѣланъ былъ большой шагъ не только въ области художества, но и въ понятіяхъ общественныхъ: Гоголь далъ поражающую картину бытовыхъ условій и вызывалъ къ ихъ дальнѣйшему изслѣдованію; Тургеневъ направилъ это изслѣдованіе прямо на крѣпостной бытъ, и указалъ съ одной стороны развращающее вліяніе крѣпостного права на рабовладѣльцевъ, съ другой—гнусное насилие надъ человѣческою личностью, испытываемое рабами, на сторонѣ которыхъ остается нравственное достоинство. Какъ появленіе Гоголя раскрывало весь смыслъ Пушкина, нравственно-общественные задатки его поэзіи, такъ значеніе Гоголя становится вполнѣ понятнымъ въ группѣ его преемниковъ. Стремленія литературы выяснились. Народная стихія, которая являлась у Пушкина какъ инстинктъ, какъ художественное средство для утвержденія національного характера русской поэзіи, а въ общественномъ пониманіи окрашивалась сословнымъ консерватизмомъ, затѣмъ у Гоголя укрѣпляется въ могущественномъ реализмѣ,—у преемниковъ его выражается въ любящемъ изображеніи свѣтлыхъ сторонъ народного характера и въ протестѣ противъ народного угнетенія: для этихъ изображеній поэзія была уже вооружена знаніемъ народного быта и языка.

Тургеневъ указанъ пами какъ основной представитель этого периода. Цѣлый рядъ писателей, съ различными оттѣнками главнаго направленія, болѣе или менѣе воспитавшимися въ школѣ Гоголя, открываетъ новую полосу реального изображенія русской жизни — въ быту помѣщика, чиновника, купца, крестьянина. Некрасовъ съ своими стихотвореніями, Григоровичъ съ „Деревней“ и „Антономъ Горемыкой“, Писемскій, Потѣхинъ, Чечерскій, Островскій съ комедіей купеческой и драмой изъ народного быта, и другіе служили этому дѣлу общественного самосознанія, высказывали народныя сочувствія, созрѣвшія въ образованнѣйшей части общества, и воспитывали его массу для лучшаго пониманія гражданскаго быта и національного достоинства.

Какъ для историка, по словамъ г. Ключевскаго, большая находка, если между собой и непосредственнымъ историческимъ материаломъ онъ встрѣчаетъ художника, такъ для русского этнографа не лишено было важности между собой и предметомъ этнографического наблю-

денія встрѣтить писателей какъ Пушкинъ, Гоголь и Тургеневъ. Одна научная критика была бы суха и безстрастна; народъ, предметъ наблюденія, быль безправенъ и угнетенъ, и не легко доступенъ для пониманія; нормальность его быта была нарушена учрежденіями. Чтобы получилась для этнографіи первая правильная исходная точка, нужно было, чтобы изъ-подъ гнета тягостныхъ условій современного быта, искажавшихъ народную природу, выдѣлилась и прояснилась основная, идеальная личность народа, чтобы наблюдатель, приступая къ ея изученію, освободился отъ господствовавшаго сословнаго и административнаго предразсудка и притязанія. Для этого-то раскрытия народной личности и поработала много поэтическая литература. Задолго до правительственноаго плана освобожденія крестьянъ, она заявила необходимость этой государственной и общественной реформы и впервые отнеслась къ народу съ уваженіемъ, какъ дѣйствительной основѣ націи, и съ сочувствіемъ къ его необходимой и призываемой гражданской равноправности.

Литературное развитіе идетъ вообще сложными путями; одинъ фактъ складывается изъ нѣсколькихъ источниковъ, и въ свою очередь оказываетъ вліяніе въ разныхъ направленіяхъ. Художественное творчество дѣйствуетъ не по однимъ эстетическимъ возбужденіямъ, но и подъ вліяніемъ разнообразныхъ условій общественности; и рядомъ съ нимъ, подъ такимъ же дѣйствіемъ цѣлаго хода вещей, совершалась одпородная работа въ другихъ областяхъ литературы: исторія, археологія, языкоzнаніе, изученія экономической и т. д. вели къ тому же изслѣдованію народного быта въ его историческихъ источникахъ, и въ его этнографическомъ и соціальномъ настоящемъ. Общественная мысль съ разныхъ сторонъ подготовлялась къ его уразумѣнію и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ художественная литература овладѣваетъ реально-правдивымъ изображеніемъ народной жизни, этнографія впервые выступаетъ на правильную научную дорогу.

Исторически, не случайно художественное творчество и наука совпали въ требованіи уваженія къ народной личности.

